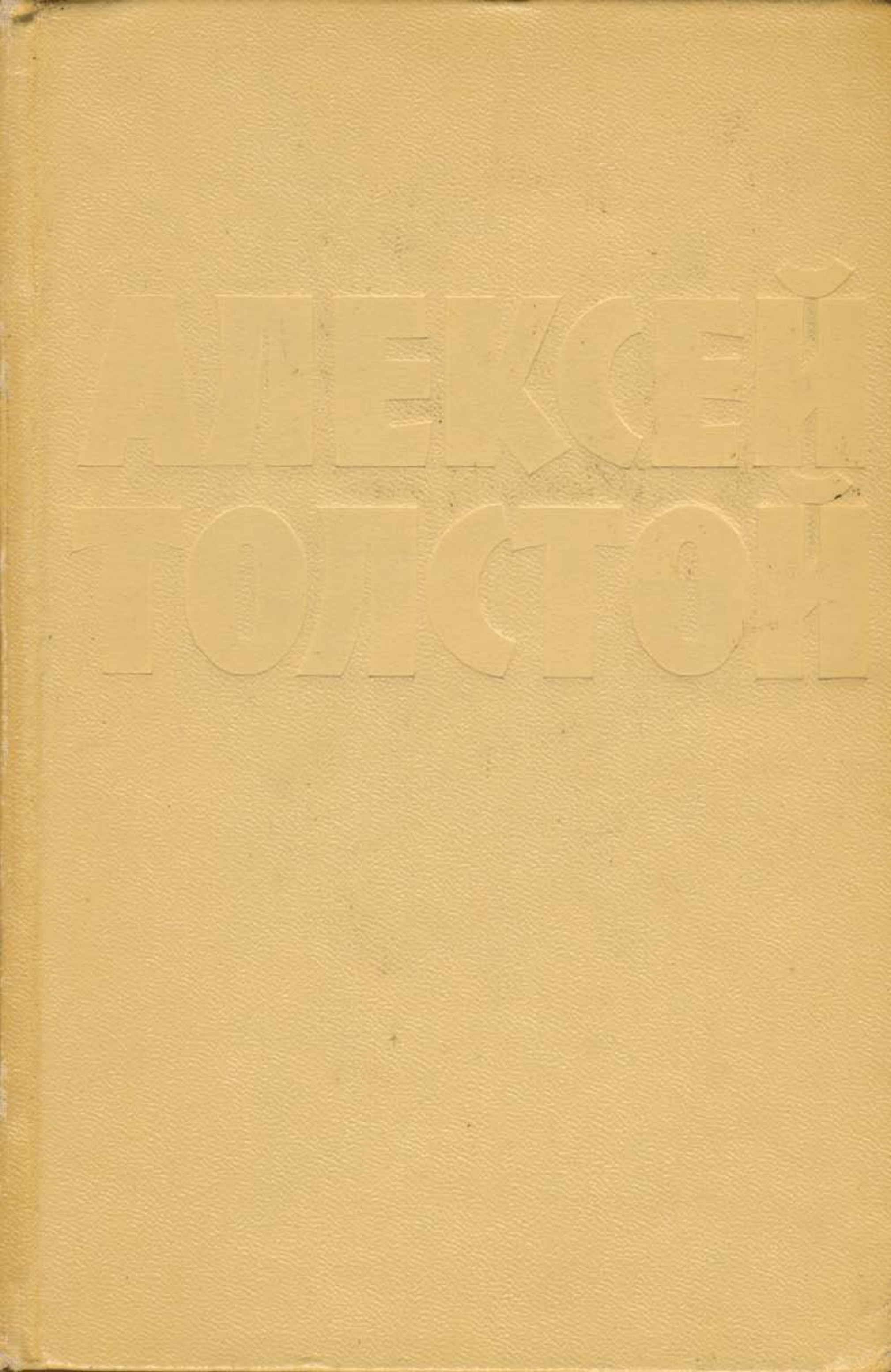

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ
1908—1911

ЧУДАКИ
Роман

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Под редакцией:

А. В. АЛПАТОВА, Ю. А. КРЕСТИНСКОГО
А. С. МЯСНИКОВА, В. О. ПЕРЦОВА,
Л. И. ТОЛСТОЙ, В. Р. ЩЕРБИНЫ

Вступительная статья *В. Р. Щербины*
Подготовка текста и комментарии
Ю. А. Крестинского

Оформление художника
В. МАКСИНА



А. Н. ТОЛСТОЙ

Алексей Николаевич Толстой — выдающийся советский писатель, один из крупнейших художников слова нашего времени. В лучших произведениях А. Н. Толстого сочетались реалистическая правдивость, необычайная широта охвата явлений жизни, крупные масштабы исторического мышления, монументальность художественных форм с изумительной рельефностью индивидуализации характеров. Его трилогия «Хождение по мукам», роман «Петр Первый» и прекрасная патриотическая публицистика получили заслуженное признание, стали любимыми книгами миллионов читателей, вошли в классику, в золотой фонд советской литературы.

Своим, особым, сложным путем пришел А. Н. Толстой в советскую литературу, по праву навсегда занял прочное место одного из ее виднейших деятелей. Его творческое развитие — живое воплощение преемственных связей русской классики и советской литературы. Бурный рост творческих сил и мастерства А. Н. Толстого в советское время — яркий пример того, как высоко поднимают искусство передовые идеи современности.

Во многих книгах и статьях утверждается, что А. Н. Толстой впервые выступил в литературе в период реакции с символистскими подражательными стихами, объединенными в сборнике «Лирика». В настоящее время исследование наследия писателя привело к выводу о несостоятельности такой точки зрения. Путь молодого писателя был иным, более сложным.

Духовное формирование А. Н. Толстого проходило в начале девятисотых годов, в то время, когда всюду в стране чувствовалось приближение «великой бури» первой русской революции. И А. Н. Толстой, студент Петербургского технологического института, в 1905—1906 годах наряду с лирикой пишет стихи-отклики на события революции, проникнутые мотивами общественного протеста. Некоторые из этих стихов были напечатаны в казанской газете «Волжский листок» («Далекие», «Сон», «Новый год»). Много юношеских стихотворений такого же рода сохранилось в архиве писателя. Хотя эти произведения в идейно-политическом отношении еще наивны и неопределенны, а в художественном тусклы и риторичны, но они служат прямым доказательством того, что их молодой автор не оставался равнодушным к революционным событиям, стремился выразить свое сочувствие борцам против самодержавия.

Однако впоследствии писатель, чувствуя незрелость этих стихов о революции, никогда не включал их в собрания своих сочинений.

Творчество А. Н. Толстого складывалось под влиянием классических художественных традиций, но в своей литературной деятельности молодой писатель испытал временное воздействие символизма, наиболее резко сказавшееся в годы реакции в раннем сборнике стихов «Лирика» (1907). Преодоление этих инородных его таланту влияний, утверждение реализма составляет главное направление первых лет литературного развития молодого писателя.

Догмы символизма оказались чуждыми «земному» таланту А. Н. Толстого. Но освобождение от них молодого писателя шло не прямолинейно, а в причудливом взаимодействии различных направлений, в напряженных поисках жизненных и художественных основ для своего творчества. Искания эти сказались в его второй и последней книжке стихов «За синими реками» (1909), в которой отчетливо видны различные источники и линии раннего творчества писателя. С декадентством связано книжно-подражательное стилизаторство. Вторая главная линия этого сборника уже носит самостоятельный характер, она основана на свободном творческом усвоении и переработке материала фольклора, главным образом славянской мифологии. Авторское предисловие к книге «За синими реками» свидетельствует о характере художественных исканий молодого, только еще определяющего свои творческие задачи писателя: «Эта книга — первое, что

я написал. Мне казалось, что нужно сначала понять первоосновы — землю и солнце. И, проникнув в их красоту через образный, простой и сильный народный язык, утвердить для самого себя — что да и что нет, и тогда уже обратиться к человеку, понять которого без понимания земли и солнца мне не представлялось возможным. Верен ли этот выбранный, быть может бессознательно, путь — укажет дальнейшее»[1].

Мысль А. Н. Толстого о растворении человека в космосе, в первооснове, в вечных проявлениях природы — любви, жизни, смерти, не была оригинальной. Символистская и акмеистская литература всячески варьировала это положение. Но в отличие от декадентов главное внимание А. Н. Толстого привлекал подлинный материал устного народного творчества, его жизнеутверждающая, оптимистическая направленность. Это устремление отличает также книгу «Сорочьи сказки» (1911), в которой автор пытался выразить в сказочной форме свои детские впечатления.

До сих пор проблема взаимодействия в раннем творчестве А. Н. Толстого стилизаторских и реалистических тенденций получала одностороннее освещение. В книгах и статьях о А. Н. Толстом достаточно полно исследованы влияние символистской эстетики, факты сотрудничества в декадентских издательствах и журналах — «Аполлон», «Весы», «Шиповник», «Гриф». Гораздо в меньшей степени выяснена вся могучая волна реалистических тенденций, пробивавших себе дорогу через всякого рода инородные влияния, по существу определявшая основное направление творчества А. Н. Толстого с раннего периода его деятельности. Еще далеко не в полной мере выявлены его связи с писателями реалистического лагеря. Так, А. Н. Толстой был близок с рядом писателей, входивших в литературную группу «Среда». Примерно с 1912 года он поддерживал связь с демократическим «Книгоиздательством писателей» в Москве, которое фактически находилось при «Среде». Именно это издательство выпустило первое собрание сочинений А. Н. Толстого. Переписка с деятелями этого издательства раскрывает не только своеобразие его позиций и творческого развития, но и внутреннюю близость к виднейшим представителям реалистического направления в русской литературе того времени. В письме к одному из редакторов «Книгоиздательства» Н. Клестову по поводу печатания романа «Хромой

---

[1] А. Н. Толстой, Собр. соч., «Книгоиздательство писателей», М. 1913, т. IV, стр. 5.

барин» (1912) писатель категорически отмежевывает себя от современного ему декадентства и натурализма, хотя он еще настаивает на своей двойственной позиции, утверждающей желательность слияния различных творческих тенденций.

Но через два года А. Н. Толстой решительно до конца рвет свои связи с декадентским окружением. Написанные в это время главы романа «Егор Абозов» (1915) представляют реалистически меткую злую сатиру на символистскую и футуристическую среду. Показательно, что рукопись этого незаконченного произведения автор передал в то же «Книгоиздательство». И совершенно правильно заключение одного из рецензентов, что, напечатав «Егора Абозова», А. Н. Толстой «отрезает себя от прошлой компании «Шиповника» и идет «на поклон к реалистам» [1].

Уже в первые годы своей литературной деятельности писатель, стремясь преодолеть отвлеченность искусственной символистской стилизации, выдвигал на первый план предметность языка, призывал литературу возвратиться к образности, к конкретности, чувственности изображения. Убежденно развивает молодой автор мысль о народных корнях искусства. «Язык — душа нации,— писал А. Толстой в заметке «О нации и литературе»,— потерял свою метафоричность, сделался газетным, без цвета и запаха. Его нужно воссоздать таким, чтобы в каждом слове была поэма. Так будет, когда свяжутся представления современного человека и того, первобытного, который творил язык.

Воссоздаются образы, полные эпического величия и нетронутой красоты горящего неба» [2]. Еще отчетливее определено стремление А. Н. Толстого к земному, вещественному искусству, насыщенному красками и запахами жизни, в статье «Об идеальном зрителе» (1912). Эта чрезвычайно характерная, постоянная для А. Н. Толстого эстетическая идея получила прочное развитие в его дальнейшем творчестве. Во всей полноте стремление к предметной полнокровности художественных образов и языка писатель осуществляет в своем дальнейшем реалистическом творчестве.

Еще первые реалистические произведения А. Н. Толстого обратили на себя внимание изобразительной точностью и образностью языка. Каждая фраза была прозрачной и тонкой. Мастерски рисовал художник картины русской природы. Поля и леса, озера и реки, безмятежность синевы в солнечный день и

[1] Архив А. Н. Толстого.

[2] Журнал «Луч», 1907, № 2, стр. 16.

блеск молний на почерневшем грозовом небе, густые тени угасающего зимнего дня, стелющийся весной с прогалин туман над сияющей местами, как чешуя, длинной лентой Волги — все это живое, дышащее, насыщенное красками подлинного бытия.

Начиная с 1909—1910 годов реализм уже становится главным определяющим в творчестве А. Н. Толстого. В 1908 году в журнале «Нива» публикуется рассказ «Старая башня», первое его прозаическое произведение, появившееся в печати. Рассказ навеян впечатлениями от пребывания на Урале в 1905 году. Последующие рассказы — «Соревнователь», «Яшмовая тетрадь», «Архип», «Смерть Налымовых», «Неделя в Туреневе» («Петушок») — автор считает началом своей художественной прозы. Вспоминая о своих литературных исканиях того времени, он говорит:

«Я начал с подражания, то есть я уже нащупал какую-то канву, какую-то тропинку, по которой я мог отправить в путь свои творческие силы. Но пока еще это была дорожка не моя, чужая.

И потоки моих ощущений, воспоминаний, мыслей пошли по этой дороге. Спустя полгода я напал на собственную тему. Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых. В 1909—1910 годах на фоне наступающего капитализма, перед войной, когда Россия быстро превращалась в полуколониальную державу,— недавнее прошлое — эти чудаки предстали передо мной во всем великолепии типов уходящей крепостной эпохи. Это была художественная находка» [1].

Наиболее значительные произведения А. Н. Толстого дооктябрьского периода — цикл рассказов «Заволжье», романы «Две жизни» («Чудаки») и «Хромой барин». Реалистичность и беспощадность обличения вырождающегося дворянства резко отличает А. Н. Толстого от других современных ему писателей, рисовавших распад усадебного быта в элегических тонах. В образе Мишуки Налымова и ему подобных подчеркнуты отвратительные черты реакционности и вырождения, характерные типические свойства уходящего помещичьего класса. Другую заметную группу персонажей А. Н. Толстого составляют чудаки — люди с необычайными, странными чертами характера, внутренняя жизнь, представления и помыслы которых по существу уже

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 411.

переключены из реальной действительности в сферу болезненных мечтаний и иллюзий. В «чудаках» — Аггее Коровине и генерале Брагине — резко выделено их главное свойство — бездейственность, неприспособленность к жизни, паразитизм. Причины упадка помещичьего класса писатель находит в его морально-этическом разложении, отсутствии твердой опоры в действительности и благородных целей.

Материалом для произведений заволжского цикла А. Н. Толстого послужили семейные архивы и воспоминания. Исследователями найден целый ряд прототипов его персонажей. В этом направлении уже сделано много ценных открытий. Но, конечно, значение дореволюционного творчества А. Н. Толстого не в создании просто семейной хроники. Самое главное, что эти исходные материалы и наблюдения были писателем подняты до высоты типических художественных обобщений.

Реалистическое дарование молодого автора первый проницательно оценил А. М. Горький. Ознакомившись с томом «Повестей и рассказов» А. Н. Толстого, он писал М. Коцюбинскому 20 ноября 1910 года: «Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого,— собранные в кучу его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим, первостатейным писателем, право же!» [1] В письме слушателям Высшей социал-демократической агитационно-пропагандистской школы для рабочих в Болонье А. М. Горький подчеркивал критическую направленность произведений А. Н. Толстого: «Хотелось бы побеседовать с Вами о Толстом и о целом ряде литературных явлений последнего времени... Обратите... внимание на нового Толстого, Алексея — писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства...

Вам было бы приятно и полезно познакомиться с этой новой силой русской литературы» [2].

На реалистическую направленность произведений А. Н. Толстого обратила внимание в 1914 году большевистская «Правда» в статье «Возрождение реализма». «В нашей художественной литературе,— писал автор статьи,— ныне замечается некоторый уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих «грубую жизнь», теперь гораздо больше, чем было в недавние годы.

---

[1] А. М. Горький. Собр. соч., т. 29, стр. 138.
[2] Там же, стр. 142.

М. Горький, гр. А. Толстой, Бунин, Шмелев, Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не «сказочные дали», не таинственных «таитян»,— а подлинную русскую жизнь, со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной»[1]. Статья «Возрождение реализма» верно определяет место А. Н. Толстого в литературной жизни того времени, решительное размежевание писателя с декадентством, раскрывает общественное и художественное значение его творчества.

Наряду с сочувственными отзывами А. М. Горького и революционной критики вполне закономерно отрицательное отношение к реалистическим произведениям А. Н. Толстого декадентов. Наиболее ожесточенно нападают на его творчество З. Гиппиус (А. Крайний), Л. Гуревич. В противовес революционной прессе эти литераторы совершенно игнорировали реализм и критическую направленность произведений А. Толстого. Его оценивали только как бездумного бытописателя, стихийный талант, далекий от каких-либо социальных и философских проблем современности. Такое тенденциозное представление, конечно, не соответствовало подлинному облику творчества А. Н. Толстого.

Засилье тупых, опустившихся помещиков, разложившихся декадентствующих интеллигентов было ненавистно А. Н. Толстому. Беспощадно правдиво обличая их, писатель стремился к другой, одухотворенной жизни, пытался найти свой жизненный идеал, своих героев.

С большим талантом созданы А. Н. Толстым образы, представляющие облик уходящего прошлого. Таков самодур Налымов («Мишука Налымов»), похотливый Николушка («Петушок»), уродливый Миша Камышин («Сватовство»), безвольный Собакин («Архип») и многие другие. Но в дореволюционный период своего творчества писатель не смог найти и художественно воплотить силы будущего, облик положительного героя. Это ограничивало его художественное проникновение в сущность исторических процессов и всесторонность типизации им явлений действительности. Вследствие отдаленности от народных масс и революционного движения гуманистические устремления А. Н. Толстого тогда носили отвлеченный морально-этический характер. Он думал, что преобразование окружающей его жизни можно решить путем внутреннего самоочищения души

---

[1] «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», Гослитиздат, 1937, стр. 15.

человека. Некоторое время писателю казалось, что человек может найти удовлетворение во всепоглощающем чувстве любви, движущем на путь духовного возвышения, добра. Отсюда общественная и духовная ограниченность персонажей, вызывавших его сочувствие, как, например, Аггей Коровин («Мечтатель»), Вера Ходанская («Мишука Налымов»), Соня Смолькова («Чудаки»), Катя Волкова («Хромой барин»), Завалишин («Овражки»). Облик и деятельность передовых людей эпохи, способных преобразовать действительность, были тогда вне поля его зрения. Поэтому А. Н. Толстой — правдивый и беспощадный обличитель темных жестоких сторон прошлого, продолжатель традиций классического критического реализма — вначале искал своих положительных героев в пределах старого общества, хорошо знакомой ему дворянской и интеллигентской среды.

Постепенное проникновение писателя в новые грани общественной действительности ввело в произведения А. Н. Толстого наряду с образами опустившихся дворян образ разночинца, несущего с собой идею социального протеста. Впервые такой новый герой воплощен в образе доктора Заботкина (роман «Хромой барин»). Донесшиеся в деревенскую глушь революционные идеи он воспринимает смутно, скорее чувством, нежели сознанием. Заботкин уже готов вступить на новый путь, хотя в конце романа эта линия развития характера героя отодвигается на второй план изображением его трагической любви. С образом Заботкина в творчество А. Н. Толстого входят острое переживание бедствий многомиллионного трудового населения и первые размышления о России, о скорбной участи русского народа, могучего, но еще придавленного вековой нуждой.

Одновременно с прозой А. Н. Толстой в дореволюционный период создает ряд драматургических произведений — «Насильники», «Выстрел» («Кукушкины слезы»), «Касатка», «Ракета», «День битвы», «Нечистая сила», «Горький цвет» («Мракобесы»). Большинство этих пьес построено на сюжетах, темах и мотивах, которые находили воплощение в его рассказах и романах. Наибольшим успехом из них в театральных постановках пользовалась «Касатка».

Ранняя проза и драматургия А. Н. Толстого основывались на семейных воспоминаниях и личных наблюдениях. Произведения этого периода составляют как бы единый повествовательный цикл. Сам писатель охарактеризовал эти годы своего творчества как «период воспоминаний». Романами «Чудаки» и

«Хромой барин» заканчивается этот период повествовательного искусства А. Н. Толстого, связанный со средой, окружавшей его в юности. В 1912—1913 годах писатель ясно понял, что он уже исчерпал темы заволжского поместного быта, остро почувствовал наступление застоя, творческого кризиса в своей литературной работе.

В годы первой мировой войны А. Н. Толстой — военный корреспондент газеты «Русские ведомости» — на фронте ближе знакомится с новой для него действительностью,— с жизнью народных масс, обогащается впечатлениями. С военным периодом писатель связывает значительные перемены в своем творчестве. На фронте и в тылу он наблюдал трагедию русского народа, вовлеченного царизмом в империалистическую войну, был свидетелем бедствий трудового населения, вызванных войной. Обязанности корреспондента заставляют его обратиться к новому для него оперативному литературному жанру — очерку (циклы — «По Галиции», «По Волыни», «На Кавказе» и «В Англии»). Работа А. Н. Толстого как автора очерков сыграла значительную роль в его литературной биографии, вплотную приблизила к крупным политическим событиям, приучила оперативно отзываться на явления общественной жизни. Вместе с тем в творчестве А. Н. Толстого появились новые глубокие противоречия.

Подлинный патриотизм, готовность защищать отечество А. Н. Толстой находил в простых людях. Поэтому основными положительными героями его произведений военного времени выступают «обыкновенные люди». Наиболее отчетливо черты нового героя в произведениях А. Н. Толстого выражены в образе офицера Демьянова из рассказа «Обыкновенный человек». Демьянов горячо любит родину, храбро воюет, но, как и все другие положительные персонажи А. Н. Толстого того времени, чужд восприятию общественных противоречий, верит в справедливость империалистической войны.

Среди литераторов оборонческого лагеря А. Н. Толстой занимал своеобразные позиции. В его изображении война лишена ложной романтической эффектности, представлена в будничных тонах, как тяжелый жертвенный труд. В некоторых произведениях верно схвачены черты военного быта, например в рассказах «Обыкновенный человек», «Под водой». Но все же подлинный политический и социальный характер войны долго оставался для него неразгаданным. Писатель разделял

националистические идеи, нередко трактуя их в мистико-идеалистическом духе. И это наложило свою печать на его реалистические в своей основе картины войны. Особенно увлекся он ложной идеей очищающего воздействия испытаний войны на чувства и отношения людей, властно переводящих героев из плоскости обычного, повседневного существования в плоскость героического, возвышающего бытия. Духовно опустошенной дворянско-буржуазной интеллигенции и обывателям писатель противопоставляет людей, перерождающихся в огне войны.

Большие исторические события войны расширили масштабы творчества А. Н. Толстого. Ближе узнав народ, он проникся верой в его гигантские жизненные силы и высокие нравственные устои. Но писатель еще не рассмотрел глубинные процессы, бурлившие в толщах народных масс, неодолимое нарастание революционных настроений, сил, готовившихся смести буржуазно-помещичий строй.

С первых своих шагов в литературе А. Н. Толстой остро воспринимал противоречия действительности. Но он их склонен был представлять не как историческую закономерность, а как извечные явления общечеловеческого происхождения. С этим связаны его высказывания о некоем мистическом «народном духе», объединяющем всех людей вне классов и сословий. Ошибочность такого взгляда наглядно раскрылась для писателя впоследствии в свете событий социалистической революции.

А. Н. Толстой приветствовал свержение самодержавия в феврале 1917 года, восторженно заявляя, что страна вошла в новый век, ошибочно считая, что Февральская революция даст свободу народу. Буря Великой Октябрьской социалистической революции рушила старые привычные представления А. Н. Толстого о характере русских людей, по-новому раскрыла духовный мир, стремления и силы народа. Не сразу писатель разобрался в происходившем. «Путь добра», открытый революцией, с каждым днем начинал казаться «бесконечно более жестоким и кровавым» [1], чем представлялся раньше.

Революция наполнила творчество А. Н. Толстого новым жизненным содержанием, властно поставила перед писателем проблемы судеб России, закономерностей истории. Он пишет новые произведения — «Рассказ проезжего человека», повесть «День Петра», пьесу «Смерть Дантона». Однако исторические

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 435.

проблемы, выдвинутые революцией, нашли здесь противоречивое, во многом тенденциозное освещение. Свою переделку трагедии Бюхнера «Смерть Дантона» автор осуществил как своеобразную проекцию на современность, развивая пессимистическую историко-философскую концепцию, отрицающую плодотворность крутых общественных переломов. На основании одностороннего искаженного восприятия современности он воспринимает революцию как разрушительный взрыв слепых кровавых инстинктов масс, чуждый интересам культуры и гуманности. Именно поэтому неблагодарная толпа бессмысленно уничтожает Дантона и других защитников народа.

Искаженные представления писателя о смысле величайшего революционного перелома в истории страны тяжело сказались на творческой и общественной биографии А. Н. Толстого, привели его в 1918—1919 годах к серьезным политическим заблуждениям. Горячо любящий свою страну, он временно оказался в эмиграции, прожил несколько лет, полных горечи и боли разъединения с отчизной, мучительной тоски по родной земле.

Чувство жизненной правды, все отчетливее раскрывавшее величие исторической миссии и творческие силы революционного советского народа, вызывали у А. Н. Толстого стремление по-новому осмыслить происходящие события, обострили у писателя тоску по родине. Настроение это нашло тогда яркое выражение в повести «Детство Никиты» (1919—1920), произведении, полном подкупающего лиризма, неотразимого обаяния и правды, высокой поэзии народной жизни, живого восприятия природы, красоты родного языка. Все свое внимание автор отдает воплощению поэтических начал бытия русской деревни, очарования невозвратной поры детства. Картины русской зимы, необозримых снежных равнин, весенних звонких дней, летней страды, золотой осени сменяют одна другую естественно, как движение самого времени, переданного в живых образах. Смена времен года изображается не как пассивно-созерцательное движение, а как активное, затрагивающее все стороны существования и деятельности людей. Такое восприятие понятно: оно определяется всем трудовым распорядком окружающей крестьянской жизни.

На первый взгляд «Детство Никиты» напоминает старые дворянские семейные хроники, однако повесть отличается от них.

Обращенный в далекое прошлое взор писателя ясно увидел, что истинный хозяин родной страны — простые трудовые русские люди. О деревенских ребятах и крестьянах в повести сказано много и тепло. И образы прочно стоящих на своей земле сельских мальчиков, товарищей Никиты — Мишки Коряшонка и Степки Карнаушкина с его «заговоренным кулаком» — и их отцов вырастают в фигуры широкого общественного смысла. Без них нет России: они хозяева земли, неотделимы от нее. Из всей совокупности картин повести встает образ родины, чистый, как детство, незабываемый, как первая любовь, дорогой, как сама жизнь.

Волнующий образ родины, горячее дыхание живой поэзии, пластичность изобразительных средств, глубокая лиричность и реалистическая красочность ставят «Детство Никиты» в ряд лучших произведений А. Н. Толстого.

Всепоглощающий пафос поисков родины наполняет также фантастический роман А. Н. Толстого «Аэлита» (1922). «Аэлита» и другой роман такого же рода «Гиперболоид инженера Гарина» (1925) отличаются резко выраженной двухплановостью. Фантастичность сюжета в этих романах оригинально сочетается с реалистичностью характеров. Двухплановость фантастических произведений А. Н. Толстого определена жизненной актуальностью задач, которые ставил перед собой автор. В романе «Аэлита» писатель перенес действие на далекий Марс. Но он говорит о земных, волнующих его вопросах. Впервые А. Н. Толстой делает попытку создать положительный образ бойца Октябрьской революции и гражданской войны. Гусев дорог автору, как человек родной страны, к которой он так стремится. Колоритная, полная стихийных сил фигура Гусева свидетельствует о решительном сдвиге в мировоззрении автора, начале понимания им глубочайших жизненных корней, народного характера революции.

В 1921 году А. Н. Толстой переезжает в Берлин, начинает сотрудничать в «сменовеховской» газете «Накануне». У писателя устанавливаются близкие, дружественные отношения с А. М. Горьким. В это время белоэмигрантская антисоветская пресса начинает ожесточенную травлю писателя. В ответ А. Н. Толстой публикует в «Накануне» свое известное письмо к одному из лидеров белой эмиграции Н. Чайковскому. Это письмо заканчивается выражением уверенности, что новые формы политического устройства в России будут созданы самим

народом, его волей и разумом. Советская общественность одобрила решительный шаг А. Н. Толстого. В номере газеты «Известия» (25 апреля 1922 г.), в котором был напечатан этот ответ Чайковскому, говорилось, что это письмо «не забудет русская литература, как не забыла письма Чаадаева и письма Белинского к Гоголю».

Искренность и решительность разрыва писателя со старым миром раскрываются в ряде художественных произведений А. Н. Толстого, в рассказах «В Париже» (1921), «На острове Халки» (1922), «Рукопись, найденная под кроватью» (1923), «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), в повести «Эмигранты» («Черное золото»), опубликованной в 1931 году. Никто из писателей не нарисовал такой беспощадно правдивой картины разложения, опустошенности, вырождения белой эмиграции. Художник представил различные колоритные типы белых эмигрантов, от патологического ненавистника — бывшего аристократа Епанчина, готового уничтожить все русское, начиная с русского языка, до расторопного спекулянта, бывшего конторщика Невзорова. Но все они раскрыты в своей подлинной сущности — ничтожестве, враждебности родине, народу.

Возвращение А. Н. Толстого в 1923 году на родину открыло перед ним новые перспективы творчества, навсегда связало его с жизнью советского народа.

II

Постижение сущности Великой Октябрьской социалистической революции, героика строительства социализма произвели решительный перелом в мировоззрении А. Н. Толстого. Идеи советского патриотизма несоизмеримо возвысили его творчество, одухотворили новым пафосом и целями. Совершенно в новом свете предстают перед писателем казавшиеся известными ему ранее исторические события, глубже вникает он в смысл борьбы народа за новую жизнь. Теперь он по-иному смотрит на мир, ставит перед собой другие творческие задачи и прежде всего — задачу воплощения величия революционного народа.

Для А. Н. Толстого характерно стремление к широкому эпическому охвату действительности. Мастерство реалистического воспроизведения целых исторических эпох во всей их неповторимости, со сложным переплетом классовой борьбы, социальных,

идейных и психологических конфликтов — отличительная черта монументального искусства А. Н. Толстого.

В своих произведениях он красочно воссоздал жизнь классов, сословий, нарисованных во всем своеобразии быта, культуры, образа мыслей и чувствований. Много раз радует он искусством изображения пейзажа, обстановки батальных и камерных эпизодов, совокупности всех разнообразных явлений, составляющих в своей целостности облик действительности. И все это одухотворено, живет, переливается всеми красками жизни, волнует читателя потому, что всегда в центре внимания художника находилось изображение *человека* во всей его исторической и психологической правде.

А. Н. Толстого особенно интересовало создание художественных типических образов советских людей, свершивших социалистическую революцию, отстоявших ее завоевания, строящих новую жизнь. Прежде всего о них хотел рассказать миру художник: «А те новые типы, кому еще в литературе нет имени,— писал автор,— кто пылал на кострах революции, кто еще рукою призрака стучится в бессонное окно к художнику,— все они ждут воплощения. Я хочу знать этого *нового человека»* [1].

Путь А. Н. Толстого к созданию реалистических образов, раскрывающих основные процессы революционной эпохи, полон сложных творческих исканий. Писателю пришлось критически переоценить многое созданное в прошлом, искать типическое не там, где он находил его раньше. Творческие поиски художника в этом направлении отличаются напряженностью и целенаправленностью. От стихийно-романтических образов борцов революции в повестях «Голубые города» и «Гадюка» он поднимается к воплощению самых основных процессов и самых передовых людей современности.

Смелее, шире, значительней становятся творческие замыслы А. Н. Толстого. Он предъявляет к себе все более строгие требования, стремится создать большую эпопею, посвященную русскому обществу в годы революции и гражданской войны. Писатель отлично понимал сложность и ответственность этой задачи. «Революцию одним «нутром» не понять и не охватить,— писал он.— Время начать изучать революцию,— художнику стать историком и мыслителем. Задача огромная, что и говорить, на ней много народа сорвется, быть может,— но другой за-

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 285.

дачи у нас и быть не может, когда перед глазами, перед лицом — громада Революции, застилающая небо»[1].

Всю значительность пути, пройденного А. Н. Толстым, приведшего его в ряд самых выдающихся художников советской литературы, наиболее наглядно можно увидеть на примере создания трилогии «Хождение по мукам».

Алексей Николаевич Толстой писал трилогию «Хождение по мукам» более двадцати лет. Когда автор приступил к работе над первой книгой трилогии — романом «Сестры» (1919), он не думал, что произведение развернется в монументальную эпопею. Бурное течение жизни привело его к убеждению в необходимости продолжить работу. Нельзя было поставить точку и оставить своих героев на бездорожье. В 1927—1928 годах выходит в свет вторая книга трилогии — роман «Восемнадцатый год». 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, была дописана последняя страница романа «Хмурое утро».

Своеобразное отражение нашли в трилогии меняющиеся, обогащающиеся представления автора о социалистической революции, черты его политической и творческой биографии. Говоря о длительности срока своей работы над эпопеей, писатель подчеркивал, что он не жалеет об этом: «за это время я сам, в своей жизни, в своем отношении к жизни, к действительности, к нашей борьбе стал относиться гораздо более зрело, гораздо более углубленно»[2].

Первая часть трилогии — роман «Сестры» — привлекает читателей пластичностью картин, словесным искусством. Художественные достоинства этого чудесного русского романа огромны. Как живые, стоят перед нами его главные герои — Катя, Даша, Телегин, Рощин. Однако сила этого произведения не только в его словесном мастерстве. Роман «Сестры» отличается глубоким реализмом в изображении старого дворянско-буржуазного общества. Правдиво в широких типических обобщениях показано здесь лицо верхушки царской России, чуждость народу декадентской разложившейся интеллигенции. Здесь образы и картины в полной мере реалистически убедительны. Роман привлек

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 296.
[2] Там же, т. 14, стр. 377.

к себе широкое внимание, вызвал и вызывает большой интерес, создает ощущение грандиозности и решительности исторических преобразований, заставляет с волнением переживать судьбу его героев. Судьба героев получила особый интерес и поучительность благодаря тому, что роман проникнут пафосом основного исторического вопроса — о смысле революционного преобразования и дальнейшей судьбе нашей страны, с огромной силой и искренностью поставленного художником. Именно в этом — один из источников значительности романа «Сестры». Во время создания этого произведения автор не имел ясного представления о дальнейшем пути России, еще не решил трудную задачу — найти самого себя и верно увидеть эпоху. Мучительные размышления и искания пронизывают роман, создают его основной тон.

Черновые записи замыслов А. Н. Толстого и сохранившиеся наброски одного из первых вариантов плана задуманного романа свидетельствуют, что первоначально он думал положить в основу своего нового крупного произведения тему «распыления нации», через историю «небольшой, но чрезвычайно сложной человеческой ячейки, распылившейся по Европе» [1].

Как основной материал для этого произведения А. Н. Толстой хотел в первую очередь использовать свои личные впечатления в годы революции и эмиграции. Вскоре у него созрело убеждение о насущной необходимости показать социальные и идейные предпосылки, вызвавшие нарастание революционного взрыва. Эту задачу он осуществил, создав роман «Сестры», события которого охватывают период с начала мировой войны до Октябрьской революции.

Как и многих других писателей старшего поколения, А. Н. Толстого в то время более всего интересовало определение отношения интеллигенции к революции, нежели конкретно-историческое изображение происходивших событий. Воспринимался роман «Сестры» прежде всего как повествование об ищущей нового пути в годы революции интеллигенции, о личных судьбах героев. Именно на эти черты произведения обратил внимание А. М. Горький в своем отзыве о романе «Сестры» в 1923 году: «Хождение по мукам» чрезвычайно интересно и тонко рисует психологию русской девушки, для которой настала пора

---

[1] Архив А. Н. Толстого.

любить. Фоном служит жизнь русской интеллигенции накануне войны и во время ее. Есть интересные характеры и сцены»[1].

Как известно, роман «Сестры» завершался противопоставлением непостоянству, изменчивости истории вечных, устойчивых человеческих чувств и связей: «Пройдут годы, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только кроткое, нежное, любимое сердце ваше»,— говорит Рощин Кате[2]. Таков лейтмотив и конец первой книги трилогии «Хождение по мукам».

Вскоре воздействие логики самой действительности изменило характер воззрений А. Н. Толстого на общий ход истории. Уже в 1922 году, в статье «О новой литературе», писатель отверг свое прежнее понимание истории, как неразумного, стихийного, иррационального процесса: «Нет разума в истории,— бытие — бессмысленный и кровавый хаос, вечные и бесплодные попытки создать порядок и счастье, вечно разрушаемый муравейник.

История разумна,— великая радость осмысленности, вечный пафос жизни, торжественность ежечасно приносимой жертвы»[3]. Впоследствии писатель значительно переработал роман «Сестры». Самым существенным изменениям текст произведения подвергся в 1925 году. Наряду с изображением исканий, «хождений по мукам», своих героев теперь на первый план выдвигается в романе патриотическая тема — утверждения величия и непобедимости русского народа.

Автор утверждал, что роман «Сестры» не исторический. Он писал его как произведение о современности, о судьбе своей, своего поколения. Создавая последующие книги трилогии — романы «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро», А. Н. Толстой ставит перед собой новую цель — «оформить, привести в порядок, оживотворить огромное, еще дымящееся прошлое»[1], художественно запечатлеть грандиозные события социалистической революции и гражданской войны. Писатель, расширяя рамки своего повествования, обращается к воплощению жизни своего

---

[1] А. М. Горький, Письмо к К. Ронигеру, 1923. Архив А. М. Горького.

[2] А. Н. Толстой, Хождение по мукам, Берлин, 1922, стр. 456.

[3] А. Н. Толстой, О новой литературе, Литературное приложение к газете «Накануне», 1922, № 7.

[4] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563.

народа в переломный момент его развития, определяющий будущую историю всей страны. Другой, несоизмеримо более широкий смысл в единстве с последующими частями трилогии приобрел и роман «Сестры», ставший органической частью монументального эпического произведения.

Широкое введение темы народного движения, как главной силы истории, определило не только своеобразие идейной концепции, но и всей композиционно-сюжетной структуры трилогии. Содержание «Хождения по мукам» воплощено в самых емких и свободных формах современной реалистической литературы. Широкая многоплановая структура этого произведения вызвана масштабностью изображаемых исторических событий, остротой классовых конфликтов, сложностью общественных процессов, богатством характеров. В советской литературе тема революции и гражданской войны в СССР получила широкое и многокрасочное воплощение. И в этом художественном богатстве трилогия «Хождение по мукам» является одним из самых выдающихся произведений.

Обращение А. Н. Толстого и других советских писателей к емкой монументальной форме романа-эпопеи определялось самой жизнью, грандиозностью событий, требованием широкого и правдивого воплощения коренного исторического перелома в жизни народных масс, ставших главной определяющей общественной силой.

Было бы односторонним ограничиваться только утверждением эпичности трилогии А. Н. Толстого. Все время здесь чувствуется горячая исповедь автора, включенная в рамки реалистического повествования. Жанр трилогии «Хождение по мукам» нередко характеризуют как роман-исповедь. Бесспорно, подобное определение является узким, оно не учитывает огромного эпического содержания произведения. Эта исповедь писателя связана с автобиографической линией романа, прежде всего с темой потерянной и возвращенной родины. В полемике Телегина и Рощина мы чувствуем столкновение различных точек зрения, присущих сознанию автора. Отсюда следует сделать вывод о неоправданности попыток представить одного из названных героев воплощением исканий самого автора. Взгляды А. Н. Толстого не персонифицированы в воззрениях какого-либо одного из героев трилогии. Они представлены в целостной концепции произведения, в борьбе различных мировоззрений, в уроках жизни героев.

С поисков личного счастья начинают свой путь основ-

ные персонажи трилогии. В первой ее книге Телегин, Даша, Рощин и Катя вначале во многом напоминают старых положительных героев А. Н. Толстого. Они так же честны и отзывчивы, в такой же степени уповают на всемогущую силу любви. История здесь лишь фон, на котором развертываются личные судьбы и переживания героев романа, аполитичных, еще наивно надеющихся, что буря революционного движения пройдет стороной, мимо них. Приобщение их к борющемуся революционному народу уничтожает противоречие между личным и общественным, гармонично сливающимся в понятии и чувстве родины.

Следует особо выделить из героев трилогии наиболее близкий писателю образ инженера Телегина, человека обаятельного своей простотой, честностью и искренностью. В этом образе воплощен приход к революции, духовный рост сотен тысяч простых людей из трудовой интеллигенции.

Художник в живых образах нарисовал небывалое по размаху историческое столкновение сил старой и новой России. Трилогия полна острой драматической борьбы, глубочайших переломов как в общественной жизни, так и в судьбе отдельных персонажей.

Особенно серьезный, внутренний перелом происходит у Рощина, человека остро драматично переживающего события революции и вместе с тем наиболее глубоко заблуждающегося. Можно сказать, что Рощин уже стоял на краю пропасти, в которую катились остатки старых классов. Но, твердо веря в неодолимую силу народного движения, автор приводит Рощина к духовному возрождению, открывает перед ним дорогу в новую жизнь.

Через восприятие действительности Рощиным писатель показывает антинародность и растленность белогвардейщины, ее чуждость подлинному патриотизму. В этом смысле образ Рощина в трилогии приобретает особенно важное значение.

Реалистически убедительно рисует А. Н. Толстой образы врагов народной России — лагерь контрреволюции. Здесь не только портреты Корнилова, Деникина, Маркова и других белых генералов и офицеров. Писатель превосходно раскрывает враждебность революции либералов, эсеров, анархистов, пытавшихся примазаться к народному движению.

Изображение крушения белогвардейщины в трилогии «Хождение по мукам» нередко сравнивалось с показом врагов революции в романе М. Булгакова «Белая гвардия», и в его пьесе

«Дни Турбиных». У М. Булгакова можно найти нечто общее с А. Н. Толстым в стремлении глубоко раскрыть драматизм и обреченность людей, пытавшихся идти против народа. Однако в отличие от А. Н. Толстого воплощение контрреволюционного лагеря у него дано односторонне, преимущественно со стороны человеческой трагедии людей, в силу рокового стечения обстоятельств оказавшихся во враждебном лагере, не нашедших верной дороги в сложной беспощадной борьбе враждебных исторических сил. Поэтому роман и пьеса М. Булгакова проникнуты жалостью к ним, чужды ненависти к контрреволюции. А. Н. Толстой дает более широкое и верное изображение противостоящих революции сил. Писатель ясно показывает, что облик белогвардейщины совсем не определен заблуждающимися, честными людьми типа Рощина, он рисует ее как зловещую реакционную силу, враждебную интересам страны.

Книга «Сестры» заканчивалась словами Рощина о том, что войны и революции пройдут, останется нетленной только любовь и привязанность близких. В последующих частях трилогии эта идея развенчивается и отодвигается на второй план, воспринимается лишь как одна из точек зрения, принадлежащая только определенной группе персонажей. Как неопровержимо показала жизнь, непрочной, иллюзорной оказывается мечта об изолированности от общества, маленьком личном счастье, счастье вопреки войнам и революциям, вопреки всем историческим потрясениям, волнующим человечество. Основная линия, выражающая пафос трилогии,— изображение пути превращения рефлексирующих, мало приспособленных интеллигентов в активных борцов, в подлинных «делателей» истории.

Глубоко почувствовал и передал автор героический пафос эпохи, остроту общественных конфликтов этого переломного периода, невиданный взлет человеческого героизма, перерождение человеческих характеров в огне революции. И отличительная черта этого периода состоит в том, что он ломает сложнейшие порядки и отношения, перестраивает убеждения и характеры многих людей, заставляет их по-новому смотреть на действительность, искать новое место в жизни и борьбе. В этом свете переход интеллигентов-героев романа А. Н. Толстого на сторону революции представляется обоснованным и закономерным.

Выдвижение во второй и третьей частях трилогии, особенно в романе «Хмурое утро», новых героев-коммунистов, революцион-

ных рабочих и крестьян, характеров цельных, целеустремленных, творящих в борьбе новую историю, имеет большой принципиальный смысл: в трилогию широким потоком врывается и как безбрежный океан все заполняет деятельность народных масс.

Особое значение в трилогии приобретает образ Ивана Горы. Такие рабочие-коммунисты, как Иван Гора, спасали страну от немецкой оккупации, боролись против интервентов и контрреволюции. Иван Гора — путиловский рабочий, красногвардеец, командир роты, а затем комиссар полка, проходит большую жизненную школу. У него есть незаменимое умение находить доступ к душе каждого бойца, каждого трудового человека, сплачивать самых различных людей идеями революции. Иван Гора героически погибает весной во время ожесточенных боев на реке Маныч. При всем своем индивидуальном своеобразии, по своему духовному складу он близок Клычкову из «Чапаева» Д. Фурманова, Суркову из «Последнего из Удеге» А. Фадеева, Давыдову из «Поднятой целины» М. Шолохова, Рагозину из «Необыкновенного лета» К. Федина.

А. Н. Толстой создал целую галерею реалистических положительных образов, людей разных биографий и индивидуальностей. Они не похожи на схемы «идеального героя». Это простые скромные люди — рабочие, крестьяне, интеллигенты. Но они окрылены самыми передовыми идеями современности, свершают историческое дело социалистической революции и строительства социализма. В своем единении миллионы таких людей составляют самую мощную, непобедимую силу в мире — хозяина истории, советский народ. И для выявления исторического значения своих героев — рядовых трудовых людей — А. Н. Толстой раскрывает эту нераздельную связь обычного и простого с возвышенным, великим.

Народ, героика его борьбы воплощены А. Н. Толстым в трилогии не только в определенных лицах, но и в массовых сценах, в обобщающих поэтических образах. Неизгладимый след в памяти оставляет сцена перед большим сражением на реке Маныч. Художник создал впечатляющую картину, где фигуры простых людей вырастают в образы большого исторического обобщения. Величие исторического дела, судьбу которого в боях решают эти простые люди, выводит их образы за пределы обычного, придает им черты гигантов, шагающих выше облаков. Перед нами уже не просто Иван Гора и его товарищи, а как бы легендарные великаны, свершающие титанические подвиги.

Реалистическое зримое изображение бойцов, как бы ставших во весь рост над земным шаром,— это замечательный образ освобожденного народа, поднявшегося на битву за свое будущее.

Трилогия «Хождение по мукам» стоит в ряду лучших произведений советской литературы о революции и гражданской войне. Но она созвучна также произведениям, посвященным теме труда. Тема творческого характера революции находит завершающее патетическое выражение в финале трилогии, изображающем переход страны к решению задач мирного строительства. В конце трилогии выступает народ-победитель, показано начало новой эпохи в истории родины — эпохи великого социалистического созидания.

Алексей Николаевич Толстой достигает художественного богатства своих произведений многообразными средствами и приемами. Однако вся его творческая работа подчинена единым реалистическим принципам, связана с задачей наиболее полного раскрытия облика времени, облика человека.

Писатель стремится воплотить образы людей и события осязаемо, зримо, чувственно. Отсюда следует особая взыскательность и целенаправленность его работы над языком своих произведений, постоянное стремление писателя усилить, находить новые изобразительные возможности слова, создать «образный, меткий, практически-точный, поэтически-гибкий, роскошный русский язык» [1]. «Язык — это есть живая плоть идеи, чувства, мысли» [2],— утверждал он. Требовательное и творчески смелое отношение А. Н. Толстого к родному языку стало основой его больших художественных достижений.

Язык не только форма мысли: язык есть точная, активная сила, орудие мышления. Активную силу языка А. Н. Толстой усматривает также в его «обратном воздействии» — в его влиянии на художника. Двойное действие языка выражается в том, что он не только воплощает мысль, но и, воплощая, возбуждает, стимулирует ее. По убеждению А. Н. Толстого, язык готовых форм, в известной мере используемый художником, не может составить словесной плоти искусства. И сам процесс литературного

---

[1] А. Н. Толстой, О великом русском народе, 4 июля 1936 г. Архив писателя.

[2] А. Н. Толстой, Лекция «Слово есть мышление», 10 апреля 1943 г. Архив писателя.

творчества всегда в известной степени включает в себя борьбу с готовыми выражениями, шаблонными рамками, в которые вначале стремятся вылиться мысли и впечатления. Поэтому писателю нельзя ни на мгновение терять напряженность языка. А. Н. Толстой советовал беспощадно вычеркивать места, написанные приблизительно, скучно, мертвыми фразами, добиваться какой угодно ценой, чтобы они засияли и засверкали.

Писатель всегда выделяет специфику языка художественной литературы, его образно-изобразительное, эстетическое качество. Не ограничиваясь познанием общих внутренних законов языка, он старался выяснить конкретные формы соприкосновения и сложного взаимодействия языка писателя с его мировоззрением, творческим замыслом. В его суждениях на эту тему подчеркивается, что в литературе язык обусловлен определенной стилистической задачей, без чего невозможно осуществление его образно-изобразительных функций.

Цель литературы — *«чувственное познание Большого Человека»*[1]. Искусство должно «пахнуть плотью и быть более *вещественным,* чем обыденная жизнь»[2]. Тяготение к вещественности, предметности, зримости изображения — главнейшая черта эстетики А. Н. Толстого, противостоящая теориям декадентского искусства, отрицающим образную основу художественного творчества. Достижение образной чувственности изображаемого — вот первая художественная цель, которую преследовал А. Н. Толстой в своей работе. Сторонник весомого слова, дающего не общее определение или обозначение предмета, а его предметный образ, он хотел писать так, чтобы читатель воспринимал изображенное словами, как доступное зрению и осязанию.

Он защищал язык правдивый, точный, идущий от острого наблюдения, от глубокого чувственного восприятия предмета. Фигуры героев в его лучших произведениях как бы физически зримы, ощутимы. В этом значение тщательных поисков художником наиболее точного, наиболее подходящего «единственного» слова. С этим связан дар «второго зрения» — способность художника явственно видеть людей, рожденных воображением, «вживаться» и «вчувствоваться» в судьбы своих героев, читать в их сердцах, представлять во всех деталях внутреннего и внешнего облика.

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 282.
[2] Там же, стр. 288.

Многоплановость сюжета, сочетание лирики и сатиры, философских раздумий и конкретно-бытовых деталей, органическое вплетение в сюжет хроники и публицистики — свойство, присущее всем большим эпическим произведениям А. Н. Толстого. Центральный конфликт трилогии определяет также целую гамму частных производных противоречий, отражавших важные процессы в бурную эпоху революции и гражданской войны. Все они находят выражение в обилии и взаимодействии различных сюжетных линий и столкновений, отражающих различные стороны развития действительности. Художник чрезвычайно внимательно следил за композицией, за ясностью, выразительностью и законченностью всех этих многочисленных сюжетных линий, составляющих живую ткань произведения, его зримую, осязаемую образную полноту.

События в трилогии «Хождение по мукам» представлены преимущественно через восприятие героев произведения — Телегина, Рощина, Даши и Кати. Точка зрения главных героев трилогии композиционно объединяет и одухотворяет изображаемые факты исторического и бытового характера. Со строго продуманной сюжетной линией каждого из персонажей связан четко выраженный цикл эпизодов, определенная, наиболее естественно и близко связанная с ним социальная среда.

Наряду с совокупностью сюжетных линий, непосредственно связанных с судьбой героев, в произведении большое место занимает историко-хроникальная линия. Наиболее обнаженно она представлена в романе «Восемнадцатый год», отличающемся изобилием авторских историко-публицистических отступлений, а также описаний эпизодов гражданской войны. Таковы, например, картины боев под Екатеринодаром, восстания чехословацких частей и захвата ими Самары, потопления Черноморского флота. В романе «Хмурое утро» автор реже обращается к таким отступлениям, последовательно включает все историческое содержание в сюжетную структуру произведения.

Для А. Н. Толстого характерна широта охвата общенародного языка, художественного проникновения во все его пласты, в многообразие его диалектных, классовых, социальных профессиональных делений. Как уже было сказано выше, писатель освещает события через призму восприятия разных героев. Это определяет в пределах ярко выраженного своеобразия художественного языка А. Н. Толстого живое многоголосье его монументальных произведений. Это многообразие речи и создает впе-

чатление естественности, полноты и широты охвата действительности, раскрываемой в ее многоцветности и движении. В зависимости от характера повествования автор широко привлекает все разновидности национального языка: книжно-литературный, эпистолярный, фольклорный, просторечье. Но все они подчинены образно-эмоциональным задачам искусства, входят составной частью в единую изобразительную систему.

Для произведений А. Н. Толстого характерно органическое слияние общего исторического колорита с индивидуальным своеобразием речи героев. Богатству человеческих характеров в его творчестве соответствует и разнообразие выразительных средств языка. Проблему собственной речи персонажей художник разрешал как важнейшую, необходимую часть создания целостного типического образа.

В речи футуриста Сапожкова, профессора, идеалиста-мистика Вельяминова, поэта-символиста Бессонова художник отражает не только общее в облике предреволюционной буржуазной интеллигенции, но и их личные человеческие особенности. «Одессизмы» Левки Задова, бессвязные, порожденные манией величия, истерические выкрики Нестора Махно, доморощенные суждения анархистского горе-теоретика Леона Черного дают ясное представление о жаргоне махновских бандитов. Простая, рассудительная речь Ивана Горы соответствует его облику сознательного рабочего-коммуниста.

Язык каждого персонажа находится в неразрывной связи с сущностью его характера, как производное от его общественно-психологического своеобразия, как незаменимое средство типизации образа. Выбор слов, стилистическое строение фразы, ритм речи, интонация определяются поставленными творческими задачами, служат прежде всего цели индивидуализации характеров. Без этого А. Н. Толстой не мыслит художественное бытие и реалистическую убедительность своих героев.

Художник избегает простого изложения фактов, однолинейного повествования. Изображение событий он обычно дает не путем отвлеченного описания, а в восприятии их героями произведения. Естественно и просто вводятся в повествование слова, взятые из самой изображаемой среды. Собственная речь героев и авторский текст у А. Н. Толстого всегда находятся в сложном взаимодействии, служат единой цели наибольшей полноты реалистического изображения героев. Различные общественные группы характеризуются свойственными им речевыми средст-

вами. Прямая речь, таким образом, драматизируется, сливается с речью косвенной. Это способствует включению описательных мест в динамику сюжета. Индивидуальные особенности того или иного персонажа выявляются не только в его собственной речи. Они накладывают свой отпечаток на весь повествовательный текст.

Замечательное художественное мастерство А. Н. Толстого наглядно видно в создании вокруг каждого героя своеобразной стилистической атмосферы, дающей образу пластичность и индивидуальную полноту жизни. При художественной целостности произведений А. Н. Толстого, с каждым из его героев связана своя органическая языковая среда, свой стилистический колорит, наиболее соответствующий его исторической и психологической сущности. Склад повествовательной речи автора определяется у А. Н. Толстого не только характером того или иного персонажа. Художник всегда находил стилистическое своеобразие повествования, производил очень тонкий отбор слов и выражений, наиболее соответствующих настроению героя.

Образному, характерному языку А. Н. Толстого чужды стремления к обнаженной фигуральности, необычности выражений, цветистости слов.

Обращает на себя внимание его требовательность в выборе синонимических средств языка. Его художественные средства — перифразы, сравнения, аллегории, образные определения — создаются преимущественно на творческом использовании неограниченного многообразия значений, смысловых оттенков слов и их фразеологических связей. Обычные слова у него в сочетании с другими приобретают новую, особую смысловую и эмоциональную тональность. Главные свои усилия художник здесь направил на то, что метко названо Пушкиным «неистощимостью» языка «в соединении слов». Художник стремился к стройности и простоте каждой фразы, избегал нарочито усложненных стилистических конструкций. В этом направлении, в частности, он редактировал свои произведения, подготавливая их для переиздания.

Литературный опыт А. Н. Толстого, его победы и поражения подчеркивают одну из важнейших закономерностей художественного творчества, состоящую в том, что правдивость исторического повествования не имеет ничего общего с перело-

жением или компиляцией документов или архивных материалов. Подлинный художник не ограничивается поверхностным правдоподобием, а стремится раскрыть сущность явлений, движущие противоречия жизни, дух времени, души людей. Только творческая переработка жизненного материала, отбор, осмысливание и художественное обобщение, открывает путь к подлинному реализму, к типичности, к большому искусству. Особенно наглядно правильность этого положения раскрывается на примере сильных и слабых сторон повести «Хлеб».

Повесть «Хлеб» близка по тематике к трилогии «Хождение по мукам», является как бы дополнением к роману «Восемнадцатый год». Боевой путь войск группы под командованием К. Е. Ворошилова, борьба частей Красной Армии против белогвардейцев и немецких интервентов, оборона Царицына — главная тема этого произведения.

Повесть писалась по договору с редакцией «Истории гражданской войны», предъявлявшей свои строгие специфические требования, прежде всего документальности показа событий.

Работая над повестью «Хлеб», А. Н. Толстой ставил перед собой задачу создать произведение, построенное на художественно обработанном историческом материале, субъективно стремился к максимальной точности изображения событий. Ряд глав автор писал на данные извне тему и сюжет, которые ему оставалось только облечь в литературную форму. Если все в трилогии «Хождение по мукам» основано на глубоко пережитом, пройденном через сердце и разум художника, то повесть «Хлеб» во многом явилась лишь беллетризацией известных исторических фактов. Иллюстративная задача, которую осуществлял писатель, вызвала описательную сухость некоторых глав произведения. И, естественно, такие места повести заметно отличаются от других эпизодов, глав, написанных образно, художественно и выразительно.

Сам А. Н. Толстой считал, что выполнение главной задачи создания литературного произведения на точном историческом материале в повести «Хлеб» не вполне удалось, так как не во всех ее главах документальный материал нашел художественное образное воплощение. Писатель осознавал недостатки своей повести. В то же время он счел нужным в «Автобиографии» полемически высказаться по поводу критических оценок произведения: «Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправ-

дание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением,— без дерзаний нет искусства»[1].

Приступая к работе над повестью, А. Н. Толстой заявлял, что сам исторический материал, сами факты настолько интересны, что незачем выдумывать особую интригу и строить ее на вымышленных лицах. Однако вскоре он почувствовал несостоятельность своего отказа от обобщенных характеров и сюжетной организации произведения. Начав писать повесть, он остро осознал невозможность обойтись без «сквозных», подробно разработанных образов вымышленных лиц. И действительно, образы этих вымышленных лиц, особенно Ивана Горы, Агриппины Чебрец и вдовы Карасевой, и все сюжетные линии, связанные с ними, оказались живыми. Они обогатили повесть реалистическим воплощением революционного пафоса масс простых людей. На обобщающий, типический характер этих героев А. Н. Толстой обращал особое внимание. Указывая в одной из бесед, что в произведении, помимо исторических лиц, будут действовать и вымышленные, писатель разъяснял, что в образах этих людей он хотел воплотить мысли и настроения народных масс героической эпохи гражданской войны.

III

Развитие исторического жанра в советской литературе связано с ростом интереса общественности к прошлому родины. На успехи и новаторский характер советской историко-художественной литературы в свое время обратил внимание А. М. Горький, поставивший «Петра Первого» А. Н. Толстого первым среди лучших исторических романов.

Нарастание могучего народного движения перед Октябрем 1917 года обратило А. Н. Толстого к исторической теме, особенно к переломным эпохам в развитии страны. Можно предположить, что именно в это время у писателя возникает замы-

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 1, стр. 88—89.

сел его первых рассказов на историческую тему («Первые террористы», «Наваждение» и «День Петра»), осуществленных несколько позже в начале 1918 года. Увлечение красотой и образностью старинного русского языка совпало у него с неодолимой потребностью найти в прошлом разгадку исторических закономерностей движения России.

Как известно, тема Петра Первого получила развитие и широкое воплощение также в драматургии А. Н. Толстого. И здесь художник прошел своеобразный сложный путь. Первая пьеса его на данную тему («На дыбе», 1929), как указывал сам автор, «попахивала Мережковским».

Писатель искренне хотел разобраться в современности, в закономерностях развития общества, понять события революции в цепи многовековой истории родной страны, обратившись к опыту сходных, на его взгляд, эпох. Но он преувеличивал близость этих эпох, поэтому подлинные закономерности истории зачастую подменялись их обманчивыми, произвольными аналогиями. Только впоследствии марксистско-ленинское мировоззрение помогло А. Н. Толстому отбросить остатки эпигонско-пессимистических взглядов на исторический процесс. Новые передовые идеи дали писателю доступ к правде истории.

Творческая история «Петра Первого» — наглядное свидетельство упорного приближения художника к научному пониманию истории. Сам он вспоминал: «На «Петра Первого» я нацеливался давно,— еще с начала Февральской революции. Я видел все пятна на его камзоле,— но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане. Начало работы над романом совпадает с началом осуществления пятилетнего плана. Работа над «Петром» прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Прежде всего — переработка своего художнического мироощущения. Результат тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства» [1].

В 1930 году была написана первая книга романа «Петр Первый». Вторую книгу романа А. Н. Толстой заканчивает в 1934 году. Первые две книги, по мысли автора, представляют вступление к третьей книге, охватывающей события от взятия Нарвы до апогея, до кульминационной точки государственной деятельности Петра — Полтавской битвы. В одном из своих последних писем автор писал: «Роман хочу довести только до Пол-

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 323.

тавы, может быть, до прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними, со старыми делать?»[1]

В «Петре Первом» воплощены лучшие черты советского исторического романа. Совершенство художественной формы, тонкая психологическая характеристика героев сочетаются с широким воспроизведением исторической эпохи. Эпическое повествование об эпохе неразрывно слито с богатством индивидуальной жизни героев.

Для успешного выполнения замысла своего романа А. Н. Толстому нужно было найти верное решение вопроса о взаимоотношениях государственного деятеля и эпохи, исторической личности и народных масс. Сила великих деятелей определена тем, насколько они умеют правильно понять и использовать реальные общественно-экономические закономерности. Писатель показывает, что преобразования конца XVII и начала XVIII столетия вызваны не случайными обстоятельствами, а порождены условиями и требованиями исторического развития России. Рисуя Петра, автор не идеализирует его. Петр в романе не имеет ничего общего с лубочными приукрашенными портретами царя-народолюба. Варварскими способами проводит он свои мероприятия по укреплению классового государства. Во всем он человек своей эпохи, своего класса, действующий дальновидно, но беспощадно. Наряду со своими положительными качествами он вспыльчив, необуздан, иногда страшен. Перед нами живой, ярко очерченный человек, с резко выраженным индивидуальным характером и внешностью, со своей манерой смотреть, двигаться, говорить.

Много раз писатель заявлял, что он очень дорожит найденной им человечностью Петра, категорически возражал против попыток какой-либо символистической трактовки его образа. В своих беседах с критиками и актерами он решительно подчеркивал чуждость облику своего героя всяких абстрактно-мистических истолкований. Перед опубликованием третьей книги романа он несколько раз с гордостью подчеркивал реалистическую зримость и земную весомость облика Петра, считал своим большим художественным достижением преодоление в его изображении всякой отвлеченности.

---

[1] Алексей Толстой, О литературе. Статьи, выступления, письма, «Советский писатель», М. 1956, стр. 412.

В воплощении образа Петра и его времени художник шел по пути, проложенному А. С. Пушкиным. В своих записках о Петре Пушкин писал о его двойственности: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика» [1].

А. Н. Толстой не пытается как-либо идеализировать личность Петра, приукрасить его, показать более мягким и гуманным, нежели он был в действительности. Это был бы ложный, антиисторический путь. Значительность деятельности Петра писатель находит прежде всего в его реальных замыслах и мероприятиях по укреплению централизованного государства.

Правдиво раскрывая острейшие драматические противоречия и конфликты эпохи, художник дал яркую картину поступательного движения страны вперед. Большое достоинство романа состоит в свободном художественном воплощении передовых исторических идей нашего времени. Укрепление Петром классового русского государства, борьба варварскими средствами против варварства и отсталости, тяжелое положение крестьянства раскрыты правдиво, естественно, с большим художественным тактом.

«Петр Первый» — произведение об эпохе, о жизни народа. В этом смысле он заметно отличается от так называемого историко-биографического романа. Судьба человеческая, судьба народная — вот главная всеохватывающая тема и пафос произведения. Историческое движение страны художник характеризует как результат усилий всего народа. Роман проникнут стремлением показать самое главное — творческий гений русского народа, без которого были бы невозможны никакие преобразования.

Советский исторический роман уже определил свои принципы. Они основываются прежде всего на устоях исторической правды, на которых строится вся работа художника над мате-

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., Изд-во «Academia». М.—Л. 1936, т. V, стр. 427.

риалом далекого прошлого, на бережном отношении к лицам и событиям прошедшей эпохи. Наиболее существенная новаторская черта советского исторического романа — взгляд на народные массы, как на главную решающую силу, как на творцов истории, освещение событий прошлого с их точки зрения. Такая позиция ведет к решительной переоценке событий прошлого, являющейся, по словам М. Горького, одной из главнейших черт советской историко-художественной литературы. В жизни народа, а не в дворцовых интригах видит писатель объяснение всех исторических событий. Это определяет эпический характер романа.

История в изображении А. Н. Толстого исполнена мужественного драматизма. Созидательная сила народа пробивает себе дорогу, несмотря на самые серьезные препятствия. Тоской по труду проникнут рассказ Кузьмы Жемова толпе бездомных, как и он сам, мужиков. Нельзя без волнения читать о неудавшейся судьбе этого талантливого самородка — изобретателя летательного аппарата. В дальнейшем мы встречаем Жемова на постройке корабля. Вот братья Осип и Федор Баженины, построившие водяную пильную мельницу без заморских мастеров. Оружейник Кондратий и Иван Воробьевы — русские богатыри. Галерея образов простого люда богата и разнообразна: особенно радует в этом отношении третья книга романа. Характерна фигура живописца — самоучки Андрея Голикова.

Сила народа еще отчетливей подчеркивается в произведении А. Н. Толстого противоречивостью общественных отношений в России того времени. Реалистически показано тяжелое положение народа. Вторая книга кончается суровой и многозначительной картиной. Бывший монастырский холоп Федька Умойся Грязью, закованный в цепи, забивает первые сваи там, где впоследствии вырастет Петербург. Прошедший сквозь многие беды, этот человек все же сохранил в себе силу и духовную крепость. Образ этот символизирует богатство русской земли непреклонными свободолюбивыми характерами.

Образ крепостного «ломаного» мужика с новой стороны развивает линию крестьянской жизни, художественно раскрывает корни революционных традиций в истории русского народа. В этом подлинно реалистическом образе превосходно переданы особенности национального характера, народного самосознания, колорит жизни масс прошедшей эпохи. В сцене беседы царя с бородатым мужиком, строителем Петербурга, можно ясно раз-

личить художественное воплощение мотивов исторических песен о Петре, запечатлевших сложные отношения народа к его личности и преобразованиям.

Писатель раскрывает вольнолюбивую душу народа. Он показывает, что народ свято хранил поэтический образ Степана Разина. Крестьянская революционность первоначально в романе нашла эпизодическое воплощение. Драматична судьба соседа удачливого Ивашки Бровкина крестьянина-бедняка Федора Цыгана. У него остается только один путь — в числе таких же бездомных, обездоленных, беглых «уходить в леса дремучие, за Дон или еще куда-нибудь, где вольнее». Колоритно нарисовав эти образы крестьян-бунтарей, А. Н. Толстой тем не менее вначале не дал им движущей роли в развитии основных линий сюжета романа. В последующих частях произведения тема крестьянской революции проходит отчетливее и последовательнее. Материалы архива писателя дают представление, насколько тщательно готовился он к воплощению в будущих главах романа темы крестьянской революции, в первую очередь восстания Булавина.

Петр жестоко подавлял не только своих врагов, заговорщиков из боярской среды, но и сопротивление других слоев населения. Трагичной и в то же время исторически необходимой выглядит в романе расправа с мятежными стрельцами.

Много внимания уделяет А. Н. Толстой раскольническому движению. За уральский камень, в Поволжье, на Дон к раскольникам от поборов бежали люди, но попадали в условия еще более тяжелого гнета сектантского невежества и притеснений. Художник сорвал декоративную романтику с раскольничества. Вопреки либеральной и народнической историографии, идеализировавшей раскол и стрелецкие бунты, писатель раскрывает объективно реакционный характер этих движений, их враждебность интересам нации.

В ожесточенной борьбе, в глубоких классовых противоречиях представлено в романе движение истории.

Произведения А. Н. Толстого — мастера исторического жанра — наглядно раскрывают лучшие своеобразные черты советского исторического романа.

В то время когда создавался «Петр Первый», в критике усиленно дебатировался вопрос об отношении автора к изображаемой им эпохе, о том, должен ли писатель, чтобы достигнуть максимальной правдивости, раствориться в прошлой эпохе, то есть смотреть на события не с наших позиций, а с позиций людей

давно прошедшего времени. А. Н. Толстой проницательно указал на ложность такой постановки вопроса и нашел верное решение. Автор исторического романа обязан оценивать события прошлого с позиций самых передовых идей современности и судить о них с высоты всего опыта человечества. Растворение писателя в мировоззрении людей прошлых веков не дает ничего другого, кроме примитива или наивности. Но знать тонкости этого мировоззрения, заставить своих героев думать и говорить, как действительно исторических людей,— это обязанность писателя. Следуя принципу исторической правды, А. Н. Толстой не допускает модернизации характеров, языка, мышления и эмоций героев, то есть навязывания понятий и чувств, не свойственных их эпохе, порожденных современной нам жизнью. Художник руководствовался в своем творчестве реалистическим принципом: «исторические герои должны мыслить и говорить так, как их к тому толкает их эпоха и события той эпохи» [1].

Роман «Петр Первый» направлен против реакционных исторических концепций, проникнут высоким патриотическим пафосом. Однако писатель далек от метода переодевания современных героев и идей в старинные одежды. Было бы ошибочным и несправедливым считать роман историческим маскарадом, а его героев переряженными современниками, занятыми решением проблем наших дней. На высказанные некогда подобные предположения А. Н. Толстой отвечал: «Что привело меня к эпопее «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер» [2].

Писатель-реалист А. Н. Толстой воспроизводит историю во всей ее истине и чувственной полноте. Художник идет по пути конкретного воплощения своеобразия эпохи, рисует историю народа, а не историю отвлеченных от реальной действительности идей. По его убеждениям, живой опыт наших предков гораздо интереснее и величественнее, нежели всякие субъективистские измышления. Правильно осмысленная история сама по себе идейно богаче и поучительнее, нежели все попытки модернистов ее поправить, втиснуть прошлое в прокрустово ложе своих абстрактных, подменяющих подлинную историческую правду, произвольных домыслов.

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 593.
[2] Там же, т. 1, стр. 88.

Исторический роман представляет особый вид творчества, в котором научное познание прошлого сливается с искусством. В своих произведениях на темы о прошлом писатель стремится добиться слияния художественного творчества с передовой исторической наукой. Еще В. Г. Белинский в свое время предсказывал рождение будущей литературы, в которой поэзия предстанет в единстве с историей. Творчество А. Н. Толстого развивалось в этом направлении.

Живое ощущение давно прошедшей эпохи с ее бытом и психологией нельзя было дать только на основе исторических документов. Здесь во всей силе сказалась творческая фантазия художника, высоко развитое у него с детства патриотическое чувство родной страны, со всей ее правдой быта, ее языка, преданий, песен и сказок.

Изобразительная выпуклость и психологическая правдивость характеристики образов, их естественность, гармоничность композиции — все это придает роману впечатляющую художественную выразительность и действенность. Эту реалистическую силу А. Н. Толстого, выдающиеся достоинства произведения отметил А. М. Горький. В 1933 году он с горячим одобрением писал автору «Петра Первого»: «Петр» — первый в нашей литературе настоящий исторический роман, книга — надолго. Недавно прочитал отрывок из 2-й части,— хорошо! Вы можете делать великолепные вещи» [1].

Роман «Петр Первый», как и другие лучшие произведения А. Н. Толстого, получил широкую известность за рубежами нашей страны, высокую оценку передовых деятелей литературы всего мира. В письме к А. Н. Толстому Ромен Роллан восторженно отзывался о романе: «Я восхищен той мощью, тем неисчерпаемым изобилием творчества, которые у Вас кажутся простыми слагаемыми... Меня особенно поражает в Вашем искусстве, твердом и правдивом, то, как Вы лепите Ваши персонажи в окружающей их обстановке. Они составляют неотъемлемую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и питают, и Вы умеете одним взмахом кисти выразить тончайшие оттенки среды» [2].

С каждой новой книгой романа мастерство А. Н. Толстого становится все полнокровнее. Творческая щедрость автора нераз-

[1] А. М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 280.

[2] «Алексей Толстой — кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР», Леноблиздат, 1937, стр. 12.

рывно связана с суровой требовательностью. Материал жизни в строгих и взыскательных руках художника приобретает все большую пластичность форм, скульптурную выпуклость.

В первых двух книгах автор еще прибегает к символизации, обнаженно-публицистическим высказываниям. Здесь в художественной ткани романа еще проглядывают выдержки из исторических источников, отрывки из записок современников, эпистолярных материалов, следственных дел и всякого рода других официальных документов. В третьей книге нет вставок, связок и пояснений историко-справочного характера. По свидетельству близких, А. Н. Толстой в третьей части романа старался добиться полного отсутствия вставок справочного характера, считая, что мастерство исторического романа заключается прежде всего в том, чтобы в книге не чувствовался поучающий автор XX века и чтобы вся описательная часть была передана глазами современников событий. По мнению художника, это дает возможность читателю перенестись в отдаленную эпоху и ближе почувствовать ее.

Роман чужд всякой идеализации старины. Писатель смело показал борьбу старого и нового. Всякие попытки идеализировать сокрушенные абсолютизмом патриархальные отношения прошлой эпохи привели бы к фальши. А. Н. Толстой хорошо понимал это. Он нарисовал правдивую картину того, как в муках, тяжко сопротивляясь, «кончалась византийская Русь». Художник, рисуя все противоречия и жестокость абсолютизма, не ищет примиряющей середины между противостоящими классовыми силами. С суровой правдивостью показывает он остроту общественных противоречий, жестокость и беспощадность борьбы этой далекой эпохи.

Проникновенно А. Н. Толстой раскрыл поэтические глубины, самый дух русской истории, выпукло передал ее драматизм и стремительное движение. Обаяние выведенных в романе «Петр Первый» лиц состоит в том, что автор в первую очередь изображает духовную силу и созидательный пафос народа, его подвиги, составляющие нашу национальную гордость. Поэтому «Петр Первый» по праву занял свое место в ряду произведений литературы, воспитывающих патриотическое чувство народа.

Язык исторических произведений А. Н. Толстого находится в полном соответствии с его общими стилистическими принципами. Менее всего писатель склонен к реставраторству временных, проходящих речевых явлений. Ему чужда самоцельная

архаическая стилизация, ориентирующая прежде всего на омертвевшие, вышедшие из обихода слова и выражения. Экзотика, речевые уникумы, сохранившиеся только в архивных глубинах, мало привлекают А. Н. Толстого. Для романа «Петр Первый» типична ориентация на жизнестойкие речевые элементы. Художником запечатлеваются устойчивые, развивающиеся коренные основы русского языка.

А. М. Горький вполне обоснованно оценивал язык историко-художественных произведений А. Н. Толстого как важную и актуальную тему для исследования, особенно для выяснения проблемы отношения языка произведений устного народного творчества и литературного языка. Утверждая значение фольклора для развития литературного языка, он считал чрезвычайно поучительным в этом смысле язык А. Н. Толстого. При разработке тем, на которые, по его мнению, следовало бы обратить внимание исследователям литературы, он рекомендовал: «Прекрасная тема для литературоведа: язык А. Н. Толстого — в «Петре», «Житии Нифонта...» [1]

Роман «Петр Первый» опирается на активный фонд современного русского языка. В историко-художественных произведениях А. Н. Толстого читатель наглядно видит устойчивость основного словарного фонда и грамматического строя русского языка. В то же время художник умело использует ценное и выразительное из языкового и стилистического наследия прошлых веков. Архаические слова служат для более яркого воспроизведения колорита эпохи, своеобразия мышления, чувствований и речи героев.

Стилевые переходы между авторским повествованием и языком исторических лиц в произведениях А. Н. Толстого неуловимы. Голос автора смешивается с голосами людей прошлого. Это дает возможность ослабить архаические элементы в языке персонажей. Достигается глубокое ощущение времени, но без резких переходов, разрывающих целостность художественного восприятия картины.

Неразрывное единство характера, ситуаций и слова — типично для творчества А. Н. Толстого. Своеобразие стиля романа

---

[1] А. М. Горький, Письмо к Н. Пиксанову, 12 июня 1933 г. Архив А. М. Горького. Писатель имел в виду повесть А. Н. Толстого «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта (Из рукописной книги князя Туренева)». Позже автор ее озаглавил «Повесть смутного времени».

прежде всего характеризуется слиянием исторической колоритности с индивидуализированностью речи персонажей. А. Н. Толстой художественно постиг дух эпохи и своеобразие характеров; следовательно, в его произведениях отпадает надобность в постоянном напоминании об истории путем архаических слов и выражений. Он свободно обходится живым общедоступным языком современной литературы. Вместе с тем иногда он несколько отходит от обычных языковых норм, чтобы выразить дистанцию времени. Писатель строго соблюдает художественную меру. Он прибегает к старинным словам и оборотам, когда в современном лексиконе нельзя найти точно совпадающее по значению слово или выражение. Ясная и доступная всем речь приобретает, таким образом, историческую тональность. Колорит ее не уводит от установившихся норм реалистического изображения. Язык органически сливается с образами людей прошедших веков и выступает как важнейшее проявление их самосознания.

В наиболее трудные дни Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, А. Н. Толстой начал писать драматическую повесть «Иван Грозный». В это тяжелое время писатель хотел опытом прошлого еще раз подтвердить свою любимую идею о величии и непобедимости русской земли. И заключительные слова повести об огне неугасимом, о нетленности «правды русской, родины человекам» имеют особое значение, выражающее сердцевину всей исторической концепции А. Н. Толстого.

Драматическая повесть носит ярко выраженный полемический характер, направленный против прежней трактовки облика Ивана Грозного и его деятельности. Как известно, существовали две основные, противостоящие концепции изображения Ивана Грозного. Первая, наиболее распространенная в «официальной» дворянской истории, шла от его врагов, в первую очередь от Андрея Курбского, и изображала Ивана Грозного только жестоким самодуром, деспотом, неразумным и непоследовательным в своих поступках. Впоследствии эта точка зрения наиболее обнаженно отразилась в произведениях А. К. Толстого — повести «Князь Серебряный» и трагедии «Смерть Ивана Грозного».

Другое, нежели в старой «официальной» истории, понимание характера и деятельности Ивана Грозного свойственно народно-поэтическому творчеству. В фольклоре, в особенности в исторических песнях, нарисован образ правителя грозного и беспо-

щадного, но всецело преданного идее укрепления русского государства. Представители передовой русской общественной мысли — В. Татищев, М. Ломоносов, А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Белинский разделяли этот взгляд на Грозного.

Иван Грозный у А. Н. Толстого — носитель основной философско-политической идеи драмы. Значительность его образа не в безудержности и непомерности его страстей, как это представлялось в большинстве произведений о нем. Писатель показывает, что главной движущей силой Ивана Грозного была идея построения Москвы — третьего Рима, создания сильного абсолютистского централизованного государства. И эта идея национального единства и государственной централизации определяет главное внутреннее устремление драматической повести А. Н. Толстого, составляет главное движущее начало основного конфликта.

Подчеркивая значение исторической деятельности Ивана Грозного, художник далек от намерения трактовать его образ только как абстрактное воплощение государственного начала. Изображение Ивана Грозного у А. Н. Толстого не сводится только к раскрытию его политической доктрины, идеи государственности. Иван Грозный в пьесе Толстого — живой, своеобразный характер. Без простого, человеческого содержания произведение лишилось бы жизненной убедительности, рухнуло бы под тяжестью отвлеченных исторических абстракций. Царю Ивану присущи жизнелюбие и сила чувств. Это властный, порой яростный, неистовый характер, со своеобразной противоречивой психологией, личность, способная и на кровавые дела и на чрезвычайно тонкие проявления души. Человек постоянного эмоционального напряжения, Иван Грозный в пьесе А. Н. Толстого до предела обнажает свои переживания, свою душу. Это создает экспрессивность образа, острый психологический рисунок.

Полемизируя с односторонней трактовкой образа Ивана Грозного, писатель иногда сам впадает в другие крайности. Если современная историческая наука отвергает тенденциозно одностороннюю трактовку Ивана Грозного реакционной историографией, то некоторое время нередко допускались ошибки иного рода. В отдельных произведениях создан благостный, елейный образ царя, лишенный внутренней борьбы, без намека на его деспотизм и жестокость. Подрумяненный образ Грозного лишен исторической достоверности, безжизненен и фальшив. Это — другая антиисторическая конъюнктурная крайность. А. Н. Толстой как

большой подлинный художник не впал в такую обнаженную фальшь. Но облик Ивана Грозного в его изображении порой выглядит идеализированным.

А. Н. Толстой справедливо объясняет все суровые меры Ивана Грозного условиями и остротой борьбы с боярством. Однако он, рельефно рисуя облик Ивана Грозного, положительный исторический смысл его деятельности, затушевывает темные стороны его личности. Кое-где царь выглядит чуть ли не гуманистом, страдающим от измены окружающих. На самом деле все складывалось не так благопристойно и гладко. В поведении Ивана Грозного имелись некоторые патологические черты, обостренная подозрительность, припадки ярости. Не приходится также отрицать большой природной жестокости царя, о ней согласно говорят многие русские и иностранные источники, хотя она целиком соответствовала нравам той суровой эпохи и была обострена сопротивлением крупных феодалов.

Сам писатель объяснял свою трактовку образа Грозного стремлением обнажить душу своего героя, освободив ее от всякого рода экзотических напластований, которым ранее в литературе отдавалось преимущественное внимание. По мысли А. Н. Толстого, в прошлом писатели односторонне увлекались изображением патологических черт и жестокости Грозного, вне воплощения самого главного — исторической правды, силы характера и смысла деятельности. Не скрывая отрицательных черт своего героя, А. Н. Толстой оставляет их в тени, выдвигая на первый план, как он много раз говорил в личных беседах, его идею и душу человеческую.

Примерно в том же духе писатель переосмысливает образ опричника Малюты Скуратова, выделяя в нем не столько жестокость, но прежде всего храбрость, преданность государю.

«Иван Грозный» — не только повествование о личной судьбе царя Ивана. Активным героем произведения А. Н. Толстого является Москва XVI столетия. Московский люд непрерывно вторгается в действие пьесы, принимает участие в ходе событий. По мысли писателя, в сложной борьбе Ивана Грозного с боярской реакцией народ поддерживал идеи единого государства, единого отечества. Писатель следовал пушкинской традиции при создании образа Василия Блаженного, который так же, как и Николка из «Бориса Годунова» Пушкина,— выразитель «мнений народных». Вместе с тем образ Василия Блаженного при своей художественной яркости довольно отчетливо от-

ражает противоречивость исторической концепции драматической повести. Он остро чувствует бедствия народных масс, но вместе с тем одобряет расправы царя с боярами, его борьбу за единство государства и даже гибнет, заслонив его своей грудью от вражеского удара.

Конечно, отношения народа и Ивана Грозного были гораздо сложнее, противоречивее. Глухой намек на глубокие классовые противоречия монархии второй половины XVI века, на тяжесть для народа царской власти дан в словах Василия Блаженного, что как бы царева милость на горбу не отозвалась: «Дорого соль продаешь, родимый. Слезами куски-то солим» [1]. Тем не менее проблема отношений народа к Ивану Грозному в пьесе А. Н. Толстого не нашла всестороннего освещения, несмотря на ряд исторически правдивых, эмоционально очень сильных штрихов. Сам автор временами чувствовал фальшивость реплик, так или иначе утверждавших близость народа к царю. В процессе работы над произведением он исключил ряд реплик подобного рода, старался глубже раскрыть сложность общественных отношений эпохи.

Историческая концепция драматической повести А. Н. Толстого отмечена полемическими крайностями. Однако она по значительности своего замысла, по своим выдающимся художественным достоинствам прочно стала в ряд лучших произведений советской историко-художественной литературы.

С художественной деятельностью А. Н. Толстого органически связана его превосходная публицистика. Острая отзывчивость, жажда познания самых разнообразных сторон действительности проявлялась в его творчестве в самых разнообразных формах.

Алексей Николаевич Толстой стал писать публицистические очерки и статьи еще в 1914 году, посвящая их событиям первой империалистической войны. Но, в значительной степени подчиненные шовинистической идее, эти статьи и очерки не стали крупными явлениями русской литературы. Такова же судьба публицистических выступлений А. Н. Толстого в 1917 году, не проникающих в сущность политических событий. Только обращение к волнующей теме родины, осознание справедливости и плодотворности революционного пути народа приобщили публици-

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 444.

стику А. Н. Толстого к передовым явлениям русской литературы, придали ей жизненную убедительность и силу. К числу таких первых значительных публицистических выступлений А. Н. Толстого можно отнести его известное письмо к Н. Чайковскому.

Содержание статей и очерков, написанных А. Н. Толстым в разные годы, наглядно показывает, как постепенно взгляд писателя все глубже проникал в действительность, все более метко находил и запечатлевал существенные процессы жизни. Наиболее широкий размах публицистика А. Н. Толстого закономерно приобретает в 30-е годы. Только в одном 1930 году А. Н. Толстой посещает Сясьстрой, строительство Балахнинского бумажного комбината. Совместно с В. Шишковым он совершает поездку по маршруту Ленинград — Рыбинск — Нижний-Новгород — Сталинград — Ростов-на-Дону. Впечатления от этого путешествия переданы писателем в очерках «Из записной книжки». Эти статьи живо представляют картину социалистических преобразований в нашей стране, новые качества советских людей.

Один из важнейших вопросов, занимавших большое место в советской публицистике и выступлениях А. Н. Толстого в 30-х годах,— это вопрос о судьбах гуманизма, о судьбах человечества. Подчеркнутое внимание к этому вопросу было обусловлено внутренней и международной обстановкой. Наша литература высоко подняла знамя гуманизма, противопоставив его античеловеческим целям черных сил фашизма. А. Н. Толстой в своих статьях пропагандировал гуманистическую сущность советского строя, твердо заявлял о необходимости борьбы против тех, кто посягает на мирный труд и жизнь миллионов людей.

Много раз А. Н. Толстой выступает представителем советской общественности на международных съездах и конференциях против фашизма, за великое дело мира. Вместе с М. Горьким он активно содействовал объединению сил интеллигенции всех стран против поджигателей войны. Великая историческая роль нашей родины — знаменосца мира во всем мире — важнейшая тема его публицистических выступлений. «Мир — первое условие развития культуры»[1]. Эту мысль писатель развивает во многих своих статьях. Постоянная и последовательная борьба

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 170.

писателя в защиту мира и свободы народов получила глубокую признательность советских людей.

С первых дней Великой Отечественной войны особенно широко развернулась публицистическая деятельность А. Н. Толстого. Среди множества книг о Великой Отечественной войне никогда не затеряется его умная, страстная публицистика. Всем памятны его статьи «Родина», «Что мы защищаем?», «Москве угрожает враг», «Народ и армия», «Великая сила», «Разгневанная Россия».

Публицистика А. Н. Толстого в полном смысле слова является художественной, сохранила в себе все особенности его всегда живого и полновесного слова. Писатель превосходно знал и учитывал своеобразие приемов публицистического письма, специфические закономерности этого жанра. В своей публицистике, так же как и в своих романах, рассказах, драматургии, он всегда оставался писателем большого эпического масштаба, стремившимся широко изображать жизнь народа, давать большие исторические картины и обобщения. Одно из наиболее выдающихся произведений такой публицистики — знаменитая статья «Родина», опубликованная 7 ноября 1941 года.

Многие публицистические статьи А. Н. Толстого тесно связаны с его художественным творчеством общностью тематических, идейных и стилевых особенностей. В годы войны он создает цикл «Рассказов Ивана Сударева» — художественные наброски, в которых воспроизведены различные эпизоды Великой Отечественной войны, отражающие облик советского человека.

Миллионы советских читателей высоко оценили публицистическую деятельность А. Н. Толстого. В одном из писем фронтовики писали ему: «В дни Великой Отечественной войны Вы, Алексей Николаевич, тоже являетесь бойцом, и мы чувствуем, как будто Вы находитесь с нами совсем рядом, плечом касаясь каждого в строю. У Вас иное оружие. Но оно так же остро, как наши штыки, как клинки наших красных конников; его огонь такой же убедительный, как огонь наших автоматов и пушек. Мы вместе громим обнаглевших фашистов» [1].

Много раз А. Н. Толстой подчеркивал, что процесс творчества носит глубоко индивидуальный характер, обусловлен своеобразием художника. Однако он всегда отвергал возможность

---

[1] Писатели в Отечественной войне. 1941—1945 гг. Письма читателей. Гослитмузей. М. 1946, стр. 19.

создания подлинно реалистических произведений искусства без наличия у художника идеи, обобщающей и пропитывающей весь материал действительности.

При всем разнообразии творчества А. Н. Толстого в нем отчетливо вырисовывается основная, всеохватывающая тема, как узел стягивающая к единому центру все написанное им,— тема родины. Эта всепроникающая тема предстает в произведениях А. Н. Толстого в самом различном воплощении. Пафосом горячего патриотизма проникнуты произведения художника и о героической революционной современности и о прошлом нашего народа. Без этой главной, патриотической идеи не было бы А. Н. Толстого — большого художника, одного из классиков советской литературы. В этом смысле его творчество отличалось ясностью и последовательностью основных мотивов, особенно отчетливо воплощенных как в его монументальных художественных произведениях, так и в публицистических статьях.

Мотив величия русского народа звучит в творчестве А. Н. Толстого патетически взволнованно. В своих художественных произведениях, в публицистике писатель показал родину в ее стремительном росте, в годы высочайшего напряжения ее исторической жизни, всю проникнутую устремленностью в «будущее». А. Н. Толстой берет в основу многих своих произведений тяжелую борьбу, влекущую за собой лишения, жертвы. Но творчество его совсем не мрачно, а наполнено светлыми предчувствиями торжества добра и правды.

Жизнелюбие и гуманность творчества А. Н. Толстого метко охарактеризовал А. М. Горький. В письме к автору «Петра Первого» он отметил: «Вы знаете, что я очень люблю и высоко ценю Ваш большой, умный, веселый талант. Да, я воспринимаю его, талант Ваш, именно как веселый, с эдакой искрой, с остренькой усмешечкой, но это качество его для меня где-то на третьем месте, а прежде всего талант Ваш — просто большой, настоящий русский и — по-русски — умный...» [1]

Огромный художественный опыт А. Н. Толстого, его победы и неудачи, его яркий путь восхождения к вершинам мастерства в полной мере сохранил свое значение и в настоящее время. А. Н. Толстым представлен в нашей литературе тип художника, занятого разработкой больших общественных вопросов, принци-

---

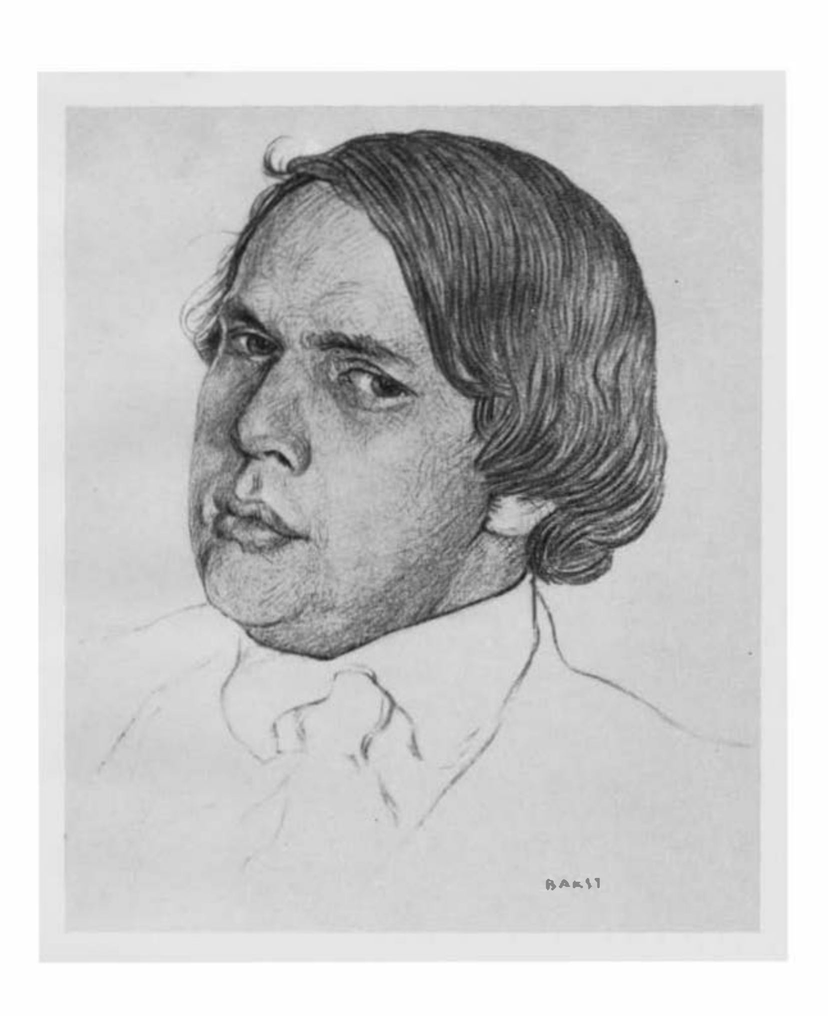
[1] М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 279.

пиально отвергавшего мысль о писателе, как иллюстраторе готовых положений. Всегда он исходил из убеждения, что художник должен быть исследователем общества, пролагателем новых путей в познании души человеческой. Образно назвал он писателей «каменщиками крепости невидимой, крепости души народной»[1]. В этих словах замечательно выражена мысль о высокой патриотической миссии советской литературы. Вместе с тем здесь А. Н. Толстой также превосходно определил пафос и смысл своей блестящей многолетней литературной деятельности.

В. Щербина

---

[1] А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 14, стр 346.


BAKST

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я вырос на степном хуторе верстах в девяноста от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск).

Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь,— приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни,— моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка».) Самарское общество восьмидесятых годов — до того времени,

когда в Самаре появились сосланные марксисты,— представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы — скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки»,— общий фон,— мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами»,— перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск. Там моей мамой были написаны две повести «Захолустье».

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность...

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потре-

вожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю.)

Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Бокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной.

Позднее, когда в Самару были сосланы марксисты, вотчим перезнакомился с ними и вел горячие дебаты, но «Капитала» не осилил и остался, в общем, при Канте и английских экономистах.

Матушка была тоже атеисткой, но, мне кажется, больше из принципиальности, чем по существу. Матушка боялась смерти, любила помечтать и много писала. Но вотчим слишком жестоко гнул ее в сторону «идейности», и в ее пьесах, которые никогда не увидели сцены, учителя, деревенские акушерки и земские деятели произносили уж слишком «программные» монологи.

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн-Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью.

До поступления в Сызранское реальное училище я учился дома: вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы

жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотова сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мною алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...

В одну из зим,— мне было лет десять,— матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным,— матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотьбе, на реке с деревенскими мальчиками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носки, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывался подпругами к перекладинам (к поветам)... В эти годы имение вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать... Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось.

В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку, купленную «почтарем» — кулаком, знаменитым тем, что он начал свое кулацкое благосостояние, ловко ограбив почту и спрятав на десять лет (до срока давности) ограбленные деньги. Мы переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям.

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и поступил на механическое отделение.

Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту,— это были стихи,— беспомощное подражание Некрасову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию — должно быть, беспредметная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними.

Но все же меня снова и снова тянуло к какому-то неоформленному еще процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перья... Уже будучи студентом, неоднократно возвращался к опытам писания, но это были начала чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться...

Я рано женился,— девятнадцати лет,— на студентке-медичке, и мы прожили вместе обычной студенческой рабочей жизнью до конца 1906 года. Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником,— меня спасла книга, засунутая на груди за шинель.

Когда были закрыты высшие учебные заведения, в 1905 году, я уехал в Дрезден, где в Политехникуме пробыл один год. Там снова начал писать стихи,— это были и революционные (какие писал тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические опыты.

Летом 1906 года, вернувшись в Самару, я показал их моей матери. Она с грустью сказала, что все это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать ее я еще не умел.

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать, Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать ученье в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен Константин Петрович Фан дер Флит,— чудак и фантазер. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же,— весною 1907 года,— я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством. В этом мне помогли А. Ремизов, М. Волошин, Вячеслав Иванов.

Тогда же я начал свои первые опыты прозы: «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы. Летом 1909 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники.

Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Туреневе» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, перешедшее к интенсивным формам хозяйства,— в моей книжке не затронуто, я не знал его.

Затем следуют два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, нетипичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и перечувствовал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрав с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я, наконец, понял тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест и, наконец,— глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту.

К первым дням войны я отношу начало моей театральной работы как драматурга. До этого — в 1913 году — я написал и поставил в Московском Малом театре комедию «Насильники»... Она вызвала страстную реакцию части зрителей и вскоре была запрещена директором императорских театров.

С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил пять пьес: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимую в Одессе, где пишу комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу,

затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мной до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Риво» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1922 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов).

«Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для левацких групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАППа.

С 1924 года я возвращаюсь к театру: комедия «Изгнание блудного беса», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедия «Чудеса в решете», «Возвращенная молодость» и театральные переработки: «Бунт машин», «Анна Кристи» и «Делец» (по Газенклеверу).

Рапповское давление на меня усиливалось с каждым годом и, наконец, приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина» и через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год».

В то же время я не прекрашал переделку и переработку всего ранее написанного мною.

В 1929 году я вернулся к теме Петра в пьесе «На дыбе», где не совсем освободился от некоторых «традиционных» тенденций в обрисовке эпохи. В 1934 году пьеса была мною коренным образом переработана (постановка Александринского театра) и в 1937 году — в третий раз, уже окончательно (новая постановка Александринского театра).

Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпопее «Петр I»? Наверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918—1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

Две или три попытки вернуться в тридцатых годах к театру были встречены решительным отпором троцкистуюшей части печати и РАППа. Только после роспуска РАППа, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкиствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей,— я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окру-

жение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР.

В 1935 году я начал повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романами «18-й год» и задуманным в то время романом «Хмурое утро». «Хлеб» был закончен осенью 1937 года. Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением,— без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе» и осенью того же года — политический антифашистский памфлет «Чертов мост».

Параллельно с этими литературными работами я готовлю для Детиздата пять томов русского фольклора. Я отказываюсь от переделки или переработки сказок. Сохраняя девственность изустного рассказа, я свожу варианты сказочного сюжета к одному сюжету — с сохранением всех особенностей народной речи, с очищением сюжета от тех деталей и наносов, которые произошли либо от механического добавления рассказчиком деталей из других сказок, либо из несовершенства рассказчика, либо от местных и нехарактерных особенностей речи.

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то,

что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываюсь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям, ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Работая над пьесой, я продолжал публиковать статьи; из них наибольший резонанс получили: «Что мы защищаем», «Родина», «Кровь народа». Статьи, опубликованные в газетах за время войны, собраны в два сборника. Первую часть «Грозного», «Орел и Орлица», я закончил в феврале сорок второго года, вторую — «Трудные годы» — в апреле сорок третьего года. Помимо этого, были написаны «Рассказы Ивана Сударева» и другие...

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

СТАРАЯ БАШНЯ

1

Гости, положив руки на круглый стол, внимательно слушали хозяина дома — инженера Бубнова, седая борода которого казалась розовой от красного абажура висячей лампы.

— Завод наш, милые мои,— рассказывал Бубнов,— самый старый на Урале: при Петре Первом построен главный корпус и домна, которую еще тогда окрестили Матреной.

Владельцы, князья Пышковы, жили в правом крыле корпуса и, так как в те времена никто не мог считать себя безопасным от набегов диких башкир, построили посреди озера на острове сторожевую башню в два этажа с подвалами для пороха и казематами и впоследствии только надстроили третий этаж, утвердив на нем часы, белый циферблат которых вы видите до сих пор в ясную погоду.

Привольно и богато жилось князьям, и ежегодно устраивали они рабочим и простому народу пир; зажигали тогда по окнам плошки, на дворе разбивали столы с мясом, хлебом и пивом, и всю ночь горели кругом бочки, налитые смолой.

Молодежь пела песни и плясала под музыку, а после ужина сам князь выходил в круг отхватить «русскую» с фабричной красоткой.

В один страшный для России год, как раз во время пира, подул с озера сильный ветер, и все услышали, как часто и гулко звонили часы... Князь, который только что собирался присесть, чтобы выкинуть невиданное колено, остановился. Замотал головой и упал на лицо, мертвый. Полил сильный дождь, переполнил бочки, и смола, треща огнем, поплыла поверх воды, поджигая деревья и службы... Озеро с ревом хлестало через плотину черные волны. В этот час пришла на завод чума и косила людей не переставая, а часы звонили всю ночь. Погиб народ, перемерли все владельцы, иные здесь, иные в столицах, где даже царских чертогов не побоялась черная смерть. Завод отошел к опеке.

Часы с тех пор бросили заводить, боялись даже подъезжать к башне, и, странная вещь, перед несчастьем каждый раз звонит часовой колокол ровно три раза. Таково предание. Вы всматривались когда-нибудь с циферблат — стрелки показывают три?

Учительница Лялина вздрогнула и посмотрела в окно, отчего и без того большие глаза ее стали круглые и темные. К ней наклонился молодой инженер Труба, спрашивая тихо:

— Вы боитесь?

— Не знаю,— ответила учительница, покраснела и сморщила губы.

Инженер Труба недавно приехал из Петербурга и был совсем новый, не похожий на заводского техника, например — Петрова, у которого нос, как у писаря, курносый, пахнет табаком и зеленые щелки — глаза, или на лесопромышленника Лаптева.

Лесопромышленник Лаптев всегда молчит, а когда ехал однажды на пароходе по Белой и увидал свои собственные плоты, притворился, будто не видит, чьи они, и принялся кричать в рупор:

— Эй, слуша-а-ай, чьи плоты-те...

Ему ответили, что — «Лаптева плоты-те», тогда он обернулся к пассажирам, глазевшим на берега, показал сам на себя большим пальцем и сказал степенно:

— Мои плоты-те.

С тех пор его повсюду зовут: «Плоты-те», и он на это обижается.

Бубнов, довольный, что развлек гостей, посматривал ласковыми своими из-под седых бровей глазами, а Труба встал на стул и, раскачиваясь, молвил:

— Дон, дон, дон, звонит привидение на башне: я отправляюсь туда и говорю: «Милостивый государь мой, вы не имеете права пугать добрых людей, не угодно ли вам пройтись со мной к почтенному нашему патрону Иерониму Ивановичу Бубнову, там вас научат, как вести себя, и угостят доброй облепихой...»

Труба один громко захохотал, взъерошив светлые усы, остальные гости молчали, глядя на него с неодобрением... Труба добавил, спрыгивая со стула:

— Честное слово, пойду туда, я не шучу.

— Побоитесь,— сказал техник злобно, а лесопромышленник Лаптев, сделав в воздухе пальцами жест, крякнул и ничего не сказал.

— Эх вы, господа, трусы,— весело молвил Труба, открыл крышку рояля и заиграл стоя...

— Спойте,— попросил он учительницу, но она так испуганно отказалась, что он запел сам дребезжащим тенорком романс; Лялина аккомпанировала, а Труба закидывал голову, высовывая кадык из разреза воротника, и ерошил пушистые усы...

С ненавистью глядел техник Петров на этот кадык и уже про себя называл Трубу — петербургской штучкой.

Ненавидел техник потому, что знал — не будет больше учительница играть с ним в крокет в школьном саду и вечером, сидя на крылечке, слушать игру его на гитаре.

Неделю назад все было хорошо, Лялина знала, что он, Петров, влюблен, не противилась этому, а гуляла с ним под руку по полю, где пахла полынь. А теперь она сидит у рояля, чужая, но еще более привлекательная; голые до локтей ее руки отражаются в лакированном дереве; голова качается в такт, и спина, выпрямляясь, выпячивает грудь — выставляется учительница перед заезжей штучкой. Эх!

Так думал техник, кусая губы: «Нашла в кого влюбиться, развратник какой-то. Вот взять бы его да головой об рояль».

Прекратив пение, инженер Труба принялся рассказывать анекдоты, над которыми Лаптев смеялся до слез, вытирая глаза красным фуляром, а Лялина краснела, повторяя: «что это, право»; потом описывал студенческую жизнь в Петербурге... Глядя рассказчику в рот, представляла Лялина свой фабричный двор, сырой и ржавый, с керосиновым фонарем посредине, у которого по ночам стоит в тулупе сторож, колотя спросонок в колотушку. От сопоставления всего этого с Петербургом становилось еще веселее и возбужденнее; а техник молчал и курил, зло подшмыгивая носом.

Около полуночи хозяин Бубнов задремал в кресле, улыбаясь во сне какому-то последнему слову, сказанному Трубой, или своим воспоминаниям, и гости тихо разошлись.

Труба пошел провожать учительницу; на крыльце мимо них, махая тросточкой, проскользнул техник, говоря:

— Желаю приятно прогуляться, да по сторонам оглядываться, а то у нас, того гляди, и камнем по башке закатят.

— Дурак! — тихо сказал Труба и, крепко прижав к себе локоть учительницы, зашагал с ней в ногу, в темноте нащупывая палкой дорогу.

— Вы верите в башню? — спросил он тихо и нежно, будто говорил о другом.

— Не знаю,— отвечала Лялина,— но иногда, когда хожу вечером одна, мне страшно.

Быстро сойдя под горку, они вступили на плотину, о которую сонно плескалась вода, а по черной ее поверхности зыбился багрово-красный столб — отсвет горящего под домной огня; вокруг же было сыро и тихо. Лялина остановилась и, касаясь плечом своего спутника, молвила боязливо:

— Башня вон там, на острову, посреди пруда.

— А вдруг зазвонит,— сказал Труба весело. Девушка вздрогнула и глубже просунула свою руку под руку Трубы.

— Не говорите так...

В темноте глаза ее чуть светились, и, все ниже скло-

няясь, заглянул в них Труба и, умилясь, нежно поцеловал девушку в губы.

Лялина молча вырвала руку и пошла было, но в это время их догнал какой-то человек и остановился, вглядываясь.

— Кто идет? — громко и грубо спросил Труба, подходя к учительнице.

Человек не ответил, продолжая стоять недвижимо; Труба вынул револьвер и щелкнул курком; человек повернулся и пошел обратно, стуча палкой по кустам ивы, посаженной вдоль воды...

— Кто бы это мог быть? — сказал Труба, идя немного позади учительницы; она молчала, ускоряя шаг.

Подойдя к окнам школы, сквозь ставню которой падал теплый свет, должно быть лампы, на сухую землю, снял Труба фуражку, сказал:

— Не сердитесь на меня, милая...

Лялина, наклонив голову, чертила зонтиком по песку.

— Вы... вы... не уважаете...— вдруг молвила она и убежала, обернув в калитке не то заплаканное, не то радостное свое лицо — во мраке трудно было разобрать...

Труба, не надевая фуражки, вздохнул полной грудью и быстро пошел вниз к плотине, весело напевая.

2

Утром надвинулись с гор свинцово-синие тучи; по лугам, через дороги, рябя воду пруда, бежали тени, а над заводом еще стояло раскаленное солнце, томя неподвижным зноем.

Труба бродил по мастерским, где пахло железом, маслом, под стеклянным потолком висела мутная гарь; резцы пронзительно скрежетали на станках, шлепали ремни, и гулко в соседней кузнице стучал молот, словно вгоняя стержень в пуп земли.

Только немногие станки работали; испачканные копотью и железом, в бездействии стояли кучками рабочие, угрюмо опуская глаза, когда проходил инженер.

— Жарко,— сказал Труба, останавливаясь подле мастера,— вон и рабочие руки сложили... Неудобно это...

Мастер поправил картуз на мокрых, косичками от поту, волосах, вздохнул и молвил неодобрительно:

— Не ждать добра, господин инженер.

— Что так?

— Добра не ждать, говорю; часы сегодня ночью на башне били.

Труба уронил папиросу, воскликнул от неожиданности, потом рассердился на себя и, притворно смеясь, молвил:

— Ну, уж вы пугайте детей вашими глупостями, а не меня.

— Не глупости, господин инженер, помяните меня — будет беда; с утра народ на работу не стал, сговариваются...

Труба поглядел на рабочих, на мутное стекло широкого окна, закурил папироску и, чувствуя, как разбаливается голова от духоты и бездействия, вышел на волю.

Лениво бредя вдоль ветхих изб поселка, он видел баб, запиравших ставни, мужиков, которые отворачивались от него, не кланяясь, и, когда он проходил, негромко и скверно бранились.

Дойдя до плотины, Труба усмехнулся, подумав: «Милая, нежная, как полевой цветочек, и влюблена совсем».

Воспоминания вчерашней ночи были благоуханны и немного тревожны; Труба ускорил шаг к дому учительницы.

Лялина, когда он вошел, стояла посреди комнаты, держа в руках серого котенка. Она ахнула и, прижимая к груди, словно защитника своего, котенка, заморгала испуганно глазами...

Труба снял картуз и поспешно, жалея застенчивость девушки, сказал, похлопывая себя палкой по сапогу:

— Знаете, сегодня ночью часы звонили.

Лялина сморщила губы, еще быстрее заморгала и, будто ее ударили, подняла ладонь, положив ее на темя.

— Неправда,— сказала она тихо.

— Честное слово, мне мастер сказал, поэтому рабо-

чие забастовали: ждем с минуты на минуту, станет завод... Вы не пугайтесь, право, мне жалко, что я вас испугал...

Труба подошел к ней, взяв за руку.

— Рабочие же вас не тронут...

— Я боюсь, будет несчастье, я всю ночь чувствовала, что будет,— молвила девушка в отчаянии.

— Душенька моя,— сказал вдруг Труба радостно и нежно,— вы совсем маленькая...

Он взял руку девушки и поцеловал; рука не отдернулась, только задрожали пальцы...

В это время быстро в комнату вошел техник Петров, перепачканный известкой, паутиной, с лицом осунувшимся и желтым...

— Домну потушили,— сказал он, глядя в угол,— вас управляющий зовет.

И, повернувшись, вышел...

Кивнув головой и поймав влюбленными глазами умоляющий взор Лялиной, вышел и Труба.

Тучи надвинулись над самым заводом; по улице крутился вихрь, поднимая солому, бумажки, трепля испуганным курам хвосты; баба, держа мальчика за ручку, бежала, гоня хворостиной поросенка; налетал холодный ветер, и становилось темно.

В заводской конторе горела свеча на конторке; в кресле, опустив глаза, сидел Бубнов; управляющий ходил из угла в угол; по временам останавливаясь, он ударял рукой по столу, говоря:

— Поймите, меня бесит их дурость; потушить домну из-за того, что какая-то полоумная баба что-то там слышала.

Управляющий убегал в угол, фыркал и продолжал:

— Я знаю, в чем дело; у них это новая мода пошла — забастовочки... Только шалишь, я им покажу прибавку.

Управляющий показал в окно фигу, а Бубнов молвил:

— Я говорил с мастером, он берется поддерживать легкий огонь в домне, угля завалено много. Мастера я запру на ключ, и рабочие его не тронут.

— Черт,— сказал управляющий,— сделайте это; а

то из Петербурга, знаете, неприятности... А вот и вы, Труба. Ну?

— Ну? — спросил Труба, оживленный и радостный входя в контору.— Отчего стал завод, неужели эти глупости...

— А вы чему радуетесь,— огрызнулся управляющий.

— Не глупости,— молвил Бубнов,— народ верит...

— Что звонит. Чудно. Я сейчас съезжу и привезу с башни колокол, мы его повесим на заводском дворе... Прощайте...

— Не ездите,— сказал Бубнов,— рабочие вам не дадут лодок. Народ возбужден.

— Хорошо, я поеду ночью...

Управляющего вызвали; Бубнов и Труба молча глядели в окно, за которым темнел день и деревья опустили вялые листья.

— Вся наша жизнь построена на случайностях,— молвил Бубнов,— и они имеют свои законы и логику. Может быть, для нас это случайности, так как мы ограничены в чувствах и можем воспринимать только обрывки явлений, а есть мир, которого мы составляем часть со всем, что видим, мир, где все ясно, закономерно и навеки предопределено... Там нет любви, ненависти, сожаления; там правит один закон — мудрая справедливость...

Инженеры вышли из конторы и пошли к Бубнову, где в прихожей их встретила Лялина, с тревогой спрашивая новости...

— А он сегодня ночью за колоколом едет,— молвил Бубнов, обняв Трубу за плечи,— ну, дай бог...

В этот день дождь так и не пошел. Насыщенная грозою, кровь стучала в виски. Губы пересыхали. Не хотелось зажигать света, и, сидя в темноте, говорил Бубнов:

— Мы изучили природу пара и электричества, овладели четырьмя стихиями, пробили шахты к сердцу земли, летаем по воздуху, а в душе нашей, как и прежде, растут дремучие леса. Мы знаем только то, что ощупываем, и заблуждаемся, думая, что это все сущее. Но есть люди, перед глазами которых опускается туман на видимые предметы, выявляя невидимые, открывая

связи между случайностями. Каждый из нас бывал таким человеком, каждый видел сны.

В это время издалека в открытое окно влетел угрюмый удар колокола. За ним второй, такой же тяжелый, и долго спустя третий.

Труба, стоя у окна, почувствовал, как подкатился клубок к горлу, затошнило слегка и закружилась голова; оглянувшись, он увидел, что Лялина и Бубнов сидели бледные, глядя на него.

— Ну, хорошо,— сказал Труба,— я иду...

Он взял со стола свечу и спички и вышел, хотя ноги его слегка дрожали.

3

У лодки пришлось оторвать замок и грести доской, так как не было весел. Сдвинув фуражку, всматривался Труба в темноту, где смутно виден был только нос лодки; булькала вода, и радостная дрожь пробегала по спине, когда Труба представлял, как привезет колокол своим друзьям... Колокол представлялся ржавый, тяжелый, со старинной чеканкой. «А вдруг я его и не сдвину,— подумал Труба,— тогда отломаю что-нибудь от часов. Но где же башня? Неужели я проехал?»

Труба перестал грести и обернулся. Лодку тихо покачивало, а кругом был ровный и теплый мрак.

— Фу ты,— сказал Труба и, помолчав, крикнул: — Эй! эй!

— Эй, эй! — отозвалось невдалеке эхо.

Труба хотел закурить папироску, но портсигара не оказалось; он зажег спичку и дождался, когда она обожгла пальцы, горя ровно и ярко. От огня стало еще темнее... Труба решил кричать, чтобы плыть по направлению эха.

— Башня! — крикнул Труба.

— Ня... ня...— отозвалось эхо.

— Где ты! — крикнул Труба и услышал ясно:

— Здесь...

Не сразу сообразив, что случилось, уронил Труба доску, которой греб; щекотная дрожь побежала от

спины к волосам, и в это время над головой полыхнуло небо синеватым огнем, и, расходясь вширь и вглубь, не переставая извивалась молния. Направо на каменной глыбе, саженях в тридцати от лодки, выросла, чеканясь над побелевшей водой красноватыми своими стенами, узкая трехъярусная башня с острой крышей и флюгером в виде стрелы.

Башня исчезла, и, обрушившись, прокатился с резким грохотом разрывающий сердце гром.

Труба опрокинулся на дно лодки, ослепленный, и лежал, пока днище не зашуршало о прибрежный песок...

Тогда он встал, мотая головой, втянул лодку на берег, расставил руки, ничего не видя, пошел, потом пополз по камням вверх, обдирая колени. Тронув стену, он поднялся по ней, зажег огарок и, обойдя четырехугольное основание, отыскал полукруглую дверь, которая вела в первую комнату, где на полу лежали кучи вынутой глины, мусор и у стены ветхая лестница вела наверх.

Труба ступил на скрипящие ступени и, высоко подняв свечу, с трудом стал подниматься, всматриваясь в черное отверстие над головой.

Со второго этажа, где у окна стояла на лафете чугунная пушка, лестница шла винтом, обшитая извне досками, в виде колодца.

— Сейчас часы,— сказал Труба и, приложив ладонь к сильно бьющемуся сердцу, закрыл глаза... Отчетливо представилась комната Бубнова; он и Лялина сидят у стола, подняв головы; Труба сделал усилие и встретился взором с Лялиной... Ее глаза были расширены от страха...

Это продолжалось одно мгновение, потом Труба услыхал мерный и сухой стук маятника часов...

«Кто их завел?» — подумал Труба, быстро взбежал наверх и оглянулся, прикрывая свечу ладонью.

Меж двух узких опущенных до полу окон был протянут вал, над ним на массивном столе высился сложный механизм, еще ниже качался вправо и влево маятник, а к валу был привинчен колокол, какие вешают на небольших звонарнях, и молоток.

Труба поставил свечу на стол и французским ключом стал отвинчивать болты. Внезапный порыв ветра задул огонь.

— Так я и знал,— сказал Труба,— надо бы фонарь,— и стал чиркать спички, но ветер гасил их, и, думая, что сейчас снова ударит гром, Труба стал пятиться к стенке.

В это время крепкие руки схватили его сзади под грудь и прижали к решетке. Труба хрипло закричал и ногтями вошел в холодные чьи-то руки, стараясь их отодрать; одна рука освободилась и ударила его резко в висок, Труба рванулся вперед, решетка в амбразуре хрустнула, и тело его, сорвавшись, тяжело упало вниз на камни.

До утра сидели Бубнов и Лялина у стола, прислушиваясь к желанным шагам. На рассвете пошел дождь, и Лялина заплакала.

— Он не придет,— сказала она.

А Бубнов, насупясь, погладил бороду.

— Такова справедливость судьбы,— молвил он, важно и медленно крестясь.

СОРЕВНОВАТЕЛЬ

Дядюшка выкатил свинцовые, с багровыми жилами глаза, повел усами и басом отчеканил:

— Я, брат, дурак, а ты, брат, вдвое, но не горюй — в люди выведу.

И многозначительно помахал трубкой, которая, как и все в дядюшкином дому, была крепка и двусмысленна: ею бивал он бурмистра, осенью однажды расправился на проселочной дороге с тремя мужиками, и однажды заезжий живописец изобразил его держащим эту трубку, как копье, придав всему виду его отвагу и высокое чувство.

После высказанного дядюшка прошелся по зальцу, где сидел с молодым племянником, Нарцисом Львовым. Повертываясь спиной, он представлял собой как бы двухспальную перину с надетым поверх бархатным камзолом, до того замасленным на локтях, спине и пониже, что неопытный глаз удивлялся, из чего он сшит; снизу на него были натянуты необычайной ширины штаны; голова же, как и все, была необыкновенных размеров.

Туфли шаркали по паркету, и сизый дым следовал за усами.

— Я тебя облагодетельствую! — воскликнул он и, дойдя до стены, обернулся, показав багровое и широкое лицо, напоминающее льва.

Племянник, Нарцис Львов, нежно улыбнулся и, склонив к плечу голову, меланхолически поглядел на дядюшку.

— Ах, черт, а не определить ли тебя в гусары? А, гусары, черт!..

Тут дядюшка захватил рукой усы, и произошло необычайное, к чему племянник привык вполне, а именно: всколебав табачное облако, раскатился дядюшка, как из пушки, и залился затем тончайшим смехом.

— Дядюшка, вас разорвет,— молвил племянник.

— Разорвет, говоришь, а знаешь ли, каков я был гусаром...— Дядюшка расставил ноги посреди залы и на минуту впал в задумчивость.— Стояли мы в сельце... вот как его... и полковник наш, граф Дибич...

— Однако, дядюшка,— перебил Нарцис,— кажется, едут гости...

— Где? — крикнул дядюшка и перегнулся, сколько мог, в окне. Нося фамилию крепкую — Кобелев, любил он также принять хороших гостей.

— Гостю рад! — закричал дядюшка.— Эй, холопы, лошадей отпрячь и в табун, а карету в пруд, чтобы не рассохлась.

Нарцис перед зеркалом завил на палец каштановый локон парика, обдернул к чулкам светлые панталоны и над головой встряхнул пальцами, чтобы побелела их кожа и кружева камзола легли приятными складками.

Длинный парень, по имени Оглобля, глядя, как птица, сверху вниз, распахнул половинки дубовой двери, и в комнату вошел гость в очках, пожилой, суховатый и плохо в дороге бритый, и не один: за ним, наклонив в соломенной с цветами шляпе лицо, на которое нельзя было смотреть без чувствительности, вошла, шурша роброном цвета неспелой сливы, с розовыми букетиками, девица, оголенные плечи ее были прикрыты китайской шалью.

Готовый принять в естественное лоно незнакомца, дядюшка Кобелев остановился, разинув рот, и, при виде несравненной красавицы, внезапно воскликнул: «Мишка, Федька!» — и выбежал вон...

А Нарцис, приложив левую руку к сердцу, ступил назад три шага и поклонился, откинув правую в сторону и вверх.

— Приятно видеть,— поспешно заговорил гость,— племянник моего старого служаки, подполковника Кобелева... узнаю. Душенька, это Львов...

— Нарцис! — томно закатив глаза, пролепетал молодой человек. В это время вкатился дядюшка, успевший поверх всего накинуть персидский каракового цвета кафтан.

— Ах я, старый кобель!..— закричал дядюшка.— Узнаю ведь, узнаю; то-то вижу... мм... м...— замычал он, приняв в объятия худощавого гостя.

— Настенька — воспитанница!

— Узнаю, узнаю,— обнимал дядюшка и Настю.

Гость, освободясь, вынул из заднего кармана фуляр, протер им очки и вытер губы и щеку, которая была мокра.

— Я проездом из Петербурга в вотчину.

— Хвалю, брат, ура! Эй, холопы, обед да вин, все, что есть в погребе... Из Петербурга, что так?

— Да стар становлюсь, хочу совершить по вотчинам последний вояж...

Дядюшка, весело на всех посматривая, грузно перевалился на своем стуле.

— Проживешь у меня недели две...

— Э, нет, завтра тронемся далее.

— Завтра не тронемся, а дней через десять отпущу. Мы, брат, тут в глуши без прекрасного пола запсели...

Дядюшка принялся смеяться столь же сильно и почти сломал стул; Нарцис, закрасневшись, склонил голову вниз и набок, а старичок сказал:

— Настенька мужа в прошлом году потеряла... Мир его праху. Да-с... Вот — вдова-с...— И он вздохнул, а Настя поднесла к глазам сиреневый платочек.

Дядюшка Кобелев закрутил усы и задушевно крякнул. Казачки — Мишка, Федька —принесли кушанья на оловянных блюдах и резного дерева, обитый железом, погребец... Сидевшие за столом одушевились.

Настенька, не поднимая глаз, деликатно кушала, едва касаясь подаваемых блюд, и всего полбокала от-

пила крепкого венгерского; шорох ног ее о шелковое платье смущал Нарциса до того, что, бледнея, ронял он поминутно стакан, ложку, забыв о дорогих манжетах, смоченных вином; дядюшка опрокидывал в свое горло кружку с надписью: «Пей три и еще трижды три» — и не давал покойно откушать гостям.

— Вот видишь,— обратился он к старичку, задумчиво жевавшему индейку с грушами,— вот видишь, дама, вследствие деликатной натуры, не употребляет пищи и вина, уподобляясь, так сказать, ангелу в совершенной оболочке...

Дядюшка запутался и, видя смущение напротив сидящей Настеньки, крикнул:

— Старый гусар пьет здоровье несравненной!

— Вы неправду говорите, при чем я — несравненная,— ответила Настенька и уронила из рук платочек.

Нарцис отбросил стул, кинулся услужить, и дядюшка полез под стол, сильно качнув его, и вылез из-под стола красный, держа в руке трофей.

— Какой вы ловкий кавалер,— нежно улыбнулась Настенька и в то же время коснулась Нарциса ногой, а он кинул на дядюшку взор, от которого тот скомкал салфетку.

— А давай-ка, Нарцис,— воскликнул он,— покажем даме, как на саблях дерутся.

— К чему показывать, ах, какие пустяки,— сказала Настенька. Но бойцы уже стояли на средине комнаты. Нарцис, ловко изогнув талию, дядюшка Кобелев — засуча рукава, и принялись колотить друг друга так, что упавшая в кресло Настенька поминутно вскрикивала, а старичок одобрительно клевал носом...

— Что, попало! — кричал дядюшка, получив по голове, и ткнул тупой саблей в жилет противника, сказавши: «уф!» На этом он не успокоился: уведя гостей в сад, показал стрельбу по коту, спавшему на воротах; потом привели всех коней, что есть на конюшне; на самого крепкого, пегой масти, дядюшка влез с великим трудом, хотел даже перескочить через забор, причем забор тут же сломался, и под конец выстрелил из небольшой брон-

зовой пушки, прикованной на площадке перед домом... После всего, вспотев, остановился перед Настенькой, недоумевая, чем бы еще похвалиться.

Тем временем солнце, замечая чудеса в сонной до сего времени усадьбе, протянуло зыбь вдоль пруда, поиграло на корме задвинутой в камыши лодки и, сонное, склонилось к холмам, и навстречу ему поднялась, розовея, пыль пахнущего молоком стада.

Время тихому ужину и отдыху на пышной постели, где под атласным пологом легко кружатся сны, не пугаясь стрелы купидона на столбике кровати. Светильник стелет мягкие лучи на нежным румянцем зацветающие щеки, и золотые локоны открывают тонкую грудь и черную мушку, прикрепленную небрежно...

Но не спала Настенька, лукаво взглядывая на позолоченного купидона. Она прислушивалась.

Рядом в комнате ходил, скрипя половицами, дядюшка Кобелев и шепотом, который слышали на деревне, отчитывал:

— Ты — молокосос и щенок, брат, рано тебе на баб заглядываться, выслужи с мое, тогда тово... Гм... И худ ты, как черт знает что. И рот у тебя желтый... Молчи, я говорю. Завтра чуть свет отвезу тебя в город, и раньше трех лет не смей показываться на глаза... Ступай и служи... Вот как... собирайся...— И дядюшка, ударив дверью, вышел, но, должно быть, заглянул в щелку другой двери, так как вдруг комната Настеньки вся наполнилась густым его сопеньем.

Обождав, пока затихли вдалеке коридора грузные шаги дядюшки, спрыгнула Настенька на пол и, придерживая на груди кружева, босая, подбежала к двери и сняла крючок...

— Ах, как вы смеете, ах, что обо мне подумаете! — шептала, прикрываясь локонами, Настенька, сидя на кровати...

Нарцис, приложа к сердцу ладони, на коленях стоял подле ног ее и молил:

— Не в силах бороться с чувствительностью, пораженный стрелой купидона, униженно падаю к ногам моего кумира — не отвергайте убитого нежным чувством...

В ночи влюбленных луна светит им таинственным фонарем. Сквозь влажные листья, заливая белый подоконник, смотрится она в лица любовников, облокотившихся на балюстраду окна, зажигает в сердцах смутные и новые ласки, холодит прикоснувшиеся уста.

Нарцис, охватив талию Настеньки, прошептал:

— Смотрите на крышу флигеля, что напротив.

По крыше флигеля, что напротив окна, освещенное луной с одного бока, ползло нечто огромное и темное, осторожно передвигаясь; плоская крыша гнулась и скрипела...

Когда это доползло настолько, что ему стала видна в окно Настенькина кровать, оно поднялось, покачиваясь, и вытащило из кармана подзорную трубу.

Глаза встретили глаза, Настенька скользнула за портьеру, а то на крыше заревело, как бы укушенное в нежное место:

— Подлец! Зарезал без ножа!

И с шумом обрушился дядюшка с крыши в крапиву.

ЯШМОВАЯ ТЕТРАДЬ

По стриженой лужайке, удаляясь от куртины повядшей сирени и огибая подпертую рогульками яблоню, гуляет, раскрыв в яшмовом переплете тетрадь, дворянин в голубом фраке.

Палевые брюки его подтянуты штрипками к туфлям, из-под шелкового жилета, цвета сливок, выглядывает, нежностью своей похожий на пенки, поджилетник из турецкой шали.

Дворянин подносит лорнет к усталым глазам, и они, скользнув по листам тетради, медленно поверх лорнета устремляются на широкий, на две трети поросший камышом пруд, с плотиной, обсаженной нагнувшимися к воде ветлами, на обсохшую заводь, где ходят деревенские девушки в белых рукавах, надуваемых ветром, и в платках, желтых, как медуница, и алых, как мак. Граблями шевелят девушки сено, а парень мечет его на воз, где, подхватывая охапки, прыгает другой, словно черт, и покрикивает, заломив гречушник.

— Найти ли предмет достойный внимания,— говорит дворянин,— когда вокруг все подвергнуто тлению; тление и смерть овладевают сердцем при виде минутных забав жизни: как эта сирень опустила белые кисти цветов, чтобы увянуть, так и я...

И, опять подняв лорнет, он прочитывает страницу из тетради:

Голубку голубь полюбил
И в роще темной с нею жил;
Гнездо вила его подруга,
А он, не ведая недуга,
В тени зеленой ворковал,
Пока осенний день настал.

Дворянин относит левой рукой тетрадь и вздыхает:

— Удел сердца — печаль, удел жизни — минутное, пока не разорвется сердце; ах, лучше не знать, когда минутное пройдет, и жить, как птицы или как те за прудом, сгребающие сено...

Снова глядит он туда, где по кошнине парень в гречушнике догоняет визжащую девушку.

— Увы, увы!..— Дворянин вздохнул, положив в карман фрака тетрадь, взял садовые грабли и провел несколько раз ими по траве.

«Хотел бы так же научиться петь, как они!» — подумал он и запел, но в горле у него неожиданно что-то пискнуло. Он зарумянился и, опустив грабли, оглянулся в надежде, что позади него никто не стоит. Но именно позади, почтительно склонив грустное лицо, за грусть и приближенный в камердинеры, стоял в зеленой ливрее Филимон. Увидев, что барин отвлекся от своих мыслей, Филимон доложил:

— Кушать подано.

Гневно сдвинул дворянин тонкие брови и сказал голосом, скорее упавшим, чем резким:

— Ты помешал мне забыться, иди вон, мой друг! — И медленно провел еще граблями по траве, но, разбитый в своей мечтательности, оставил не удовлетворившее занятие и вошел по широкой лестнице в столовую, где, развернув салфетку, попробовал кушанья, но не почувствовал в себе аппетита; лишь налил в хрустальный бокал изюмного квасу и, откинувшись в кресло, коснулся пальцами кончиков пальцев. Тогда между пальцами пробежало как бы легкое дуновение и погрузило еще более носителя этих, из слоновой кости выточенных пальцев в задумчивость, которая и убелила откинутый его лоб.

— Нет,— сказал дворянин,— не для земных утех эти руки; пусть настигнет меня на сем поприще разлучи-

тельница! — И он закрыл глаза и вздрогнул, и открыл их уже круглыми от изумления, потому что дверь отворилась и вошла, осторожно ступая, молодая баба с пунцовым широким лицом.

Таково бывает устройство иных лиц, когда над губой закинулся, словно удерживая смех, превеселый нос, черная бровь бежит прямо к переносице, а другая улетела вверх и подпрыгивает от неудержимого веселья... Баба остановилась в дверях, рукой вытерла рот и нос вместе...

— Кто ты? — спросил дворянин, хмурясь.

— До вашей милости,— сразу повалилась баба в ноги,— как зимой мужа моего, Сидора Короткого, лесиной зашибло, осталась я сиротой до вашей милости.

— Ну? — сказал дворянин, успокаиваясь.

— Филимон утрась приходил, ты, говорит, Авдотья...

— Иди, иди,— замахал дворянин рукою,— я разберу...

Брови у бабы зашевелились, румяное лицо — вот-вот сейчас лопнет, как спелое яблоко... Баба шмыгнула и вышла. Дворянин тронул колокольчик. Вошел Филимон.

— Ты что же, мой друг, кого ко мне пускаешь?..

— Сами изволили приказать вчерась,— сказал Филимон уныло,— для вас и привели...

Дворянин подскочил в кресле так, что почти выпал...

— Ах ты грубиян, пошел вон!

«В самом деле, не говорил ли я чего-нибудь этому глупому?» — подумал дворянин. Прошло некоторое молчаливое время, он опять позвонил:

— Филимон, позови бабу, а сам пойди в лакейскую...

Баба опять вошла и стала у дверей, столь же картинная в красном очипке и зеленом сарафане, в белоснежных онучах, в новых лаптях...

Дворянин закрыл глаза: было молчание, большая муха тыкалась носом в стекло, озлившись на скуку этого дома...

— Да! — воскликнул дворянин внезапно.

— Ах, батюшки,— испугалась баба.

— Да,— повторил дворянин,— подумай о том, что ожидает тебя по ту сторону жизни...

Баба вздохнула.

— Верю ли я в загробную жизнь? — воодушевясь, заговорил дворянин.— Ах, никто не знает, что с нами станет после печальной жизни.

Покинув низкое кресло, он заходил по паркету и говорил горячо и много, как никогда, а баба слушала...

— Давай умрем, умрем вместе, случайная моя подруга,— воскликнул он, наконец, и положил на ее плечи холеные руки.

Баба всплеснулась и заголосила:

— Жалостный ты мой, соколик, ягодка малиновая, сиротка бесталанная.

Брови ее подпрыгивали, лицо расстроилось, один нос не участвовал в общей скорби, вздернувшись как будто еще веселее.

— Умрем, умрем! — лепетал дворянин, и неудержимо потянуло его на участливую грудь.

Когда затем, с зажженным канделябром, вошел Филимон, у окна на кресле сидела баба, а у нее на коленях томный и слабый дворянин. Помигав на вошедшего слугу, он прошептал:

— Филимон, зачем свет, у нас есть луна.

Филимон, пятясь, прихлопнул за собою дверь и, поставив канделябр на сундук, принялся беззвучно смеяться.

АРХИП

1

Над белой скатертью, растопырив лохматые ноги, висит паук, у абажура легко кружится зеленокрылая мошкара, карамора обжег длинную лапу и волочит ее по столу... Шелестит плющ у балкона, и возится сонная птица в кустах.

Александра Аполлоновна Чембулатова разламывает бисквит, качая черной наколкой, которая на седых ее волосах похожа на летучую мышь.

— Сад охраняет Володя,— говорит Александра Аполлоновна и ласково взглядывает на собеседника своего, молодого помещика и соседа, Собакина,— я подарила ему пистолет.

Собакин улыбается, раздвигая розовые и полные щеки.

— Я вас уверяю, что нет никакого Оськи-конокрада. Увели у попа тройку, и по уезду полетели слухи — пришел, мол, Оська, а Оська просто собирательное имя,— народная фантазия одарила его таинственной силой и удальством.

Старушка покачала головой.

— Нет, все это верно; украл лошадей он вечером, а наутро видели его уже за триста верст...

— Разве видели?..

— В том-то и дело; говорят, он необыкновенно низ-

кого роста, лыс, силен и с большой, до пояса, черной бородой...

Собакин чуть-чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Появлялся он в уезде два раза,— продолжала старушка,— и наводил такой страх, что помещики приковывали лошадей, а конюхам давали ружья заряженные... И все-таки умудрялся.

— Если его знают в лицо, почему не поймают?

— Мужики никогда не выдадут, боятся, что палить будет, как сжег он вашу Хомяковку года за три до вашего сюда приезда.

— Право, Александра Аполлоновна, я начинаю бояться.

— Вам-то особенно надо позаботиться; имея такого жеребца, я бы ночи не спала, все караулила...

— Да, Волшебник — чудо что за лошадь; увидите, на рождестве поведу его на бега.

— Да, нехорошо, нехорошо; тем более что ваш Архип...

— Нет, Архип мрачный, но очень надежный; мужик косматый, глаза волчьи, но верный...

— Ох... ох...— сказала старушка.

Из сада на балкон вышел гимназист, положил пистолет на перила и застонал:

— Бабушка, чаю.

— Осторожнее с пистолетом, смотри, куда кладешь,— заволновалась Александра Аполлоновна.

— Он, бабушка, не заряжен.

— Все равно.— И бабушка, шурша широким платьем, поднялась и загородила пистолет салфеткой.

— Что, Володя, как твои разбойники? — спросил Собакин.

— Ничего,— набивая рот ватрушками, говорит Володя.

— Убил кого-нибудь?

— На плотине за ветлами кто-то, кажется, стоит, только на плотину ходить страшно.

— У пруда ночью сыро,— сказала Александра Аполлоновна.

Гимназист лукаво прищурился.

— А у меня, бабушка, порох есть...

— Откуда ты взял! Отдай сию минуту... Володя, не смей убегать. Пожалуйста, Собакин, догоните его, отнимите у него порох.

Улыбаясь, Собакин сошел в сад и скоро пробегал уже мимо балкона, размахивая руками, потеряв всю солидность, а Володя, приседая, визжал, не давался в руки.

«Дети, дети»,— подумала Александра Аполлоновна и стала считать, как в столовой часы били одиннадцать.

— Володя, где ты? — позвала она.— Иди спать,— одиннадцать часов...

В это время мимо изгороди проскакал верховой, встал у крыльца, и чей-то чужой голос позвал:

— Барин Собакин здесь?

— Кто спрашивает? — по-хозяйски сухо ответила Александра Аполлоновна.

— Работник их, Михайло.

На балкон, обняв за плечи гимназиста, вошел, отпыхиваясь, Собакин.

— Кто меня спрашивает? Это ты, Михайло? Что случилось?

— Несчастье у нас, барин,— сказал из-за плетня невидимый работник,— увели Волшебника.

Когда Собакин, во весь опор скакавший по темному полю, влетел, пыльный, на вспененном коне во двор, у растворенной конюшни, размахивая фонарем, галдели мужики.

— Что, Волшебника увели? — крикнул Собакин.

— Беда-то какая, не доглядели...

Собакин побежал в конюшню. Болт у стойла был сорван, и под наружной стеной у пола сквозила дыра, в которую, должно быть, и пролезли воры...

— А где Архип? — спросил Собакин.

— Будили мы его, спит, пьяный.

На вороху сена, закинув бледное в черной шапке волос лицо, лежал Архип.

— Жив, ничего, не тронули, пьяный очень,— успокаивали работники.

— Облейте его водой, вот мерзавец.

Принесли конское ведро, подняли Архипу голову и полили.

— Лейте, лейте все ведро.

Когда голова, рубаха и порты намокли, Архип приподнялся, сел и повел налитыми кровью глазами.

— А? — спросил он.

— Архип, где Волшебник?

Сутулый Архип поднялся и долго осматривал болт и обрывок недоуздка, в дыру даже заглянул и так же спокойно ответил:

— Увели, барин. Не досмотрел...

— Легли это мы спать, — шумели работники, — а Михайло и говорит: пойду-ка я посмотрю лошадей, а потом прибежал и кричит: увели, увели...

— Что же вы не догнали, черти окаянные!..— наскакивал на них Собакин.

Работники вежливо посмеялись.

— Где ж догнать, разве мыслимо? Он это.

— Кто он?

— Да Оська.

— Ерунда, никакого Оськи нет...

— Очень есть, его это работа, вы, барин, не сомневайтесь.

— Ерунда,— кричал Собакин,— сию минуту на лошадей!.. Догнать!..

Работники помялись, но с места не тронулся ни единый.

— Ну?

— Нет, нельзя нам.

— Где его догнать...

— Он теперь за двести верст махает.

Собакин побежал к дому и оттуда крикнул.

— Седлайте сию минуту верхового! Да зайди ко мне хоть ты, Дмитрий, за письмом к уряднику, живо!

...Утром на вопросы урядника Архип отвечал, что был вчера выпивши, ничего не слыхал и помнит только, как пал ему кто-то на грудь и скрутил руки, а были то двое или один и какие из себя — не помнит.

Так ничего и не добились от угрюмого, косолапого Архипа и отвели его в холодную, а урядник, выпив под-

несенную на тарелочке рюмку водки и крепко на прощанье пожав Собакину руку, сказал:

— Архип в сем деле причиной, с него и взыщем,— и уехал.

Затих под горой колокольчик, Собакин вышел на балкон, посвистал и, спустившись в сад, зашагал по липовой аллее.

«Следствие,— думал Собакин,— суд будет, а Волшебника не видать мне, как ушей своих. Черти, ах черти, какую лошадь увели».

Собакину с досады хотелось сейчас же куда-нибудь поехать, вообще суетиться.

— Ну нет, я разыщу лошадь, под землей достану,— бормотал он и прислушался.

Близко, словно вынырнув из-за акации, зазвякали сборные бубенцы, промелькнула за кустами и остановилась у дома коляска Чембулатовой.

— Как я вам благодарен, Александра Аполлоновна,— говорил Собакин, идя навстречу старушке,— поверите ли, увели Волшебника и следа не оставили...

— Я предупреждала вас, не верили, а вышло по-моему,— торжествующе говорила старушка,— всему причиной ваш Архип, вот у моего братца так было...

Оба они, заложив руки, заходили по аллее. Александра Аполлоновна объясняла:

— Сейчас в Уральске конская ярмарка. Поезжайте туда как можно скорее, нигде как там ваш Волшебник...

— В Уральск?..

— Поедете верхом — это и скорее и удобнее для дела: братец мой тоже верхом ездил, у него увели Вадима от нашей Звезды и воейковского Черта.

— Ну и что же?

— Нашел, конечно, нашел мужика, который увел Вадима,— его арестовали, а жеребца отдали братцу.

— Я еду, Александра Аполлоновна, с вашего благословения...

— Помоги вам бог,— и старушка поцеловала в лоб приложившегося к ее руке Собакина...

Долго еще ходили они по липовой аллее, Александра Аполлоновна в шелковом колоколом платье, Соба-

кин в куцем пиджачке из чесучи, и старушка давала подробнейшие наставления — куда ехать и как сохранить лошадь, чтоб прошла четыреста верст в четверо суток, и где остановиться...

— С казаками будьте осторожнее,— хитрые они...

2

Тепла темная степь, светят на дорогу звезды, и дорога, чуть серая, глушит частые удары копыт, и кричит коростель в колдобине; где-то, значит, близко степной хутор...

Безлесные, безводные, как дождевики, растут хутора на гладкой, человечьими курганами усеянной степи, вековечной дороге кочевников. Потянуло сыростью и дымом. Собакин привстал на стременах, вгляделся и, увидев огонек, свернул прямиком по полю. Сначала, услышав его топот, залаяли негромко, но все дружнее и звонче собаки, забил в колотушку ночной сторож, и перед Собакиным выдвинулись из темноты амбары и хлевы, крытые соломой, и под самую морду лошади, сзади и с боков, запрыгали охрипшие от ярости хуторские псы.

Подошел сторож, свистнул на собак и запахнулся в глубокий чапан...

— Здравствуй, дядя,— сказал Собакин, стараясь рассмотреть в темноте его лицо.— Чей это хутор?

— Казака Ивана Ивановича Заворыкина будет...

— А до села далече?

Сторож помолчал и тихо, в сторону, ответил:

— Далече,— словно не знал, какие тут села бывают, одна степь.

— А нельзя ли переночевать у вас? Спроси хозяина, чай, не легли еще?

— Легли,—уныло ответил сторож,—давно полегли.

— Так как же?

— Спрошу, ты погоди тут.— И он ушел.

А немного спустя зажегся свет в трех окнах, и подошедший сторож взял лошадь под уздцы, промолвив:

— Просят заехать.

Собакин прошел через сени, мимо сундуков, крытых коврами, в горницу, где пахло шалфеем, полынью — домашнее средство от блох — и кожей.

По стенам висели седла, уздечки, нагайки, и в красном углу стоял темный большой образ.

«Неловко,— подумал Собакин,— затесался ночью».

Из боковушки, гладя бороду, вышел высокий и костлявый старик — Заворыкин. Синий чекмень его перетянут был узким ремнем, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

Собакин назвал себя.

— Милости просим,— густым басом приветствовал Заворыкин,— гостю всегда рады.

В свете лампы лицо его, обтянутое желтой кожей, узкий и прямой нос и темные глаза представлялись такими, какие писали на раскольничьих образах.

— Прошу садиться, куда путь держите? В Уральск... Так...— пробасил Заворыкин, кивнул и провел ладонью вниз и вверх по лицу.— На ярмарку много коней нагнали сегодня, не в пример прочим годам.

Босая девка внесла самовар, закуску и водку.

Стесняясь и все еще не зная, как держаться, выпил Собакин водки и, должно быть с усталости, сразу захмелел и рассказал, зачем едет в Уральск — всю историю до конца.

— Из-под земли, а достану Волшебника,— разгорячась, окончил он.

Заворыкин слушал, не поднимая глаз, нахмурясь, а когда Собакин окончил, постучал пальцами и сказал:

— Я так полагаю,— ехать вам туда незачем.

— Почему?

— Убьют.

— То есть как убьют?

— Мой совет — вернуться домой, жеребца наживете еще, а жизни из-за скотины лишаться не стоит.

— Поймите, мне не жеребец дорог, а добиться своего.

— Понимаю. Молоды вы, господин Собакин, хороший барин, а разума в вас настоящего нет. Приехали

вы ко мне, меня не знаете и рассказываете всю эту историю, а жеребец-то ваш, может быть, у меня. А? Для примера я говорю. Ну, вот после этого я себя позорить не дам. У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие,— бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек. Да вы не пугайтесь, для примера говорю, бывали такие случаи, бывали. У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах — царь, не только в чем другом, в жизни людской волен.

У Собакина от духоты, от речей Заворыкина кружилась голова, и казалось — похож старик хозяин на древнее черное лицо образа, что глядело строго и упорно из красного угла,— те же рыжеватые усы над тонкой губой, и вытянутые щеки, и осуждающие глаза.

Казалось, две пары этих глаз глядят неотступно, и те, облеченные в потемневшие ризы, страшнее...

«Бог это их,— подумал Собакин,— степной».

— Чудно вам слушать, господин Собакин,— у вас в городе по-иному: тело вы бережете, а душу ввергаете в мерзости. А здесь душа вольна у каждого, как птица. Душа немудрая, нечем запятнать ее, степь — чистая... В степи бог ходит. Здесь нас за грехи и судить будет. Много грехов на нас, а многое и простится.

Собакин поднялся.

— Душно у вас...

И было ему страшно, хотелось уйти от стариковских глаз...

— Марья!— крикнул босую девку Заворыкин.— Принеси барину студеной водицы да отведи в сени на кровать.

Плыли, качались сундуки, крытые коврами, в сенях, и все еще гудел, казалось, голос: «Бог здесь ходит, бог...»

«Страшный у них бог,— думал Собакин, лежа на сундуке,— травяной...»

Наутро он, чтобы не обидеть хозяина, поехал будто бы домой, но, когда в сизой дали утонули соломенные кровли хутора и шесты с бараньими рогами, пошел к полудню широким проездом, радостный от солнца, и душистого ветра, и веселой игры горячего иноходца.

На крепком пырейном выгоне, в наскоро связанных калдах, стоят полудикие табуны злых сибирских лошадей.

Положив большие морды на спины друг другу, обмахиваются кони хвостами и жмурятся на белое солнце.

Кругом желтая степь, ни холма на ней, ни дерева, а позади гудит ярмарка и дымят железные трубы пекарен.

Вот не вытерпел рыжий конек, махнул через изгородь и частым галопом, раскинув гриву, поскакал в степь, заржав навстречу ветру.

Затараторили конюхи-башкиры, в линялых халатах, в ушастых шапках, пали на верховых, поскакали в угон. Один впереди всех размахивает арканом. Двое скачут наперерез...

Куда ни взглянет рыжий конек, мчатся на него ушастые башкиры: метнулся направо, налево, и тут захлестнул ему горло аркан, закрутили хвост, стегают нагайкой, заворачивают башкиры к табуну... Захрапел, взвился и упал рыжий конек; тогда ослабили на шее его аркан, отвели в калду.

— Что, не убежит больше? — спрашивает башкирина Собакин.

Башкирин осклабил белые на морщинистом лице зубы и забормотал:

— Не, не, умный стал, купи, господин...

— Нет, такого мне не надо, вот если бы вороной полукровный был, вершков четырех...

Подошли мужики, все в новых рубахах. Облокотясь на жердь калды, слушали, и веяло от их выцветших глаз покоем тепла и отдыха.

Подслеповатый мужичок протиснулся туда же, в рваном полушубке, заморгал собачьими глазами:

— Покупаете, барин, лошадку? Извольте посмотреть,— и заторопился, побежал было и вновь вернулся...

— Какой у тебя?

— Сивонькой.

— Нет, не надо, я вороного ищу.

— Вороного продать не умеешь,— заговорил вдруг круглолицый толстый парень,— вот я продам жеребца.

Или я продал. А? — И он уставился, как баран, даже рот разинул.

Мужики засмеялись.

Парень громко икнул и, подняв мозолистую ладонь, запел:

Когда я, мальчик, был свободный...

— Скрутили малого,— смеялись мужики.

— Пути нет.

Собакин улыбался, парень был пьян, лез грудью и под носом махал желтым ногтем, говоря:

— Шут его знает, хотел тебе продать, ан продал, жеребца, вороного, в чулках...

— Здорово же ты выпил,— сказал Собакин,— с чего гуляешь?

Парень замолчал, и белые глаза его наливались и багровели... Собакин сжался.

— Гуляю...— сказал парень, придвигаясь.

Подслеповатый мужичок захлопотал:

— Брось, милый, барину интересно, а ты ответь и отойди в сторонку,— и потянул парня за рукав.

— Не хватай!— заревел парень, и все жилистое тело его развернулось для удара; но сзади, поперек живота, ухватила его цепкая волосатая рука, увлекла из мужичьего круга.

— Иди, иди, разбушевался,— говорил лысый мужик, смешно маленького роста, на солнце лоснилась черная борода его и бегали глаза, как две мыши.

— Брось, пусти! — кричал парень и вырывался, взмахивая руками, но все дальше к возам увлекал его товарищ.

— Кто это? — быстро спросил Собакин.— Вон тот, лысый?

Мужики переглянулись, один-двое отошли, а старик, в расстегнутой на черной шее посконной рубахе, сказал:

— Кто — Оська,— и прищурился.

Осипа взяли очень быстро. Собакин с понятыми нагнал его у чайной и окликнул. Осип обернулся и словно паук заворочался в костяных, навалившихся на него

руках понятых, но веревкой скрутили его плечи, повели в холодную.

А позади, набегая, гудела толпа. Многим, должно быть, досадил Осип, и боялись его сильно, а теперь улюлюкали вслед, ругали, или вывернется кто, присядет, да в глаза: «Что, вор, взял?» — и ударит.

Понятые насилу сдерживали народ, да бравый урядник, в рыжих подусниках, вырос как из-под земли и крикнул: «Разойдись!»

До вечера гудела и волновалась ярмарка. Осип сел в темную избу, за железную решетку, и на допросе отрекся:

— Осип я — это верно, а лошадей никаких не крал, понапрасну только меня томите.

Собакин решил сам выпытать, где лошадь; напугать, если можно, посулить заступиться, и, поздно вечером, один, вошел в камеру, где сидел Осип.

Остановясь посредине избы и в темноте различая только дыхание, сказал Собакин кротко и, как ему показалось, вкрадчиво:

— Осип, все знают, что ты угонял лошадей, грехов за тобой много, сознайся лучше, я за тебя похлопочу.

Осип молчал.

— Ты пойми, не дорога мне лошадь, а дорого, что выходил ее на руках, как родная она мне.

— Это верно,— сказал Осип спокойно.

— Ну видишь, ты сам понимаешь, зачем же хочешь доставить мне еще огорчение...

— Огорчать зачем.

— А ты огорчаешь. Я за четыреста верст верхом приехал, измучился и вдруг из-за твоего упрямства лишаюсь лошади. Осип, а Осип.

И, тронутый словами, двинулся Собакин поближе.

— Не подходи, барин,— глухо сказал Осип.

Собакин остановился и от щекотного холодка вздрогнул.

— Осип? — спросил он тихо, после молчания, повторил: — Осип, где же ты?

Что-то больно толкнуло Собакина в колено, распахнулась дверь, и Осип, нагнув, как бык, голову, побе-

жал по избе, оттолкнул сонного десятского, упавшего, как мешок, и выскочил на волю.

Зашмыгали торопливые голоса: «Держи, держи!» В темноте засуетились понятые.

А вдали, как огонь, вспыхивали крики: «Держи, держи!»

Застегивая сюртук, прибежал урядник, крикнул:

— Убежал... Кто?

— Осип-конокрад,— сказал Собакин,— я сам виновен...

И скоро загудела невидимая ярмарка, низко у земли закачались железные фонари, голосила баба, лаяли собаки. Бежали, неизвестно куда и зачем, мужики, крича: «Лошадь отвязал... Да кто? Да чью? Спроси его, кто... На ней и убежал... Верховых давайте, верховых!»

Над толпой, словно поднятые на руках, появились верховые и, раздвигая народ, поскакали к городу, к реке, в степь...

Собакин наскоро сам оседлал иноходца и поскакал мимо возов на чьи-то удаляющиеся голоса и топот.

Коротко и мерно ударяли копыта его коня, гудел в ушах теплый ветер, и возникали и таяли невидимые крики... Наперерез промчался кто-то, крича: «Поймаем, не снести ему головы».

Впереди топот стал как будто тише и громче голоса...

Перепрыгивая через водомоины, похрапывая, несся иноходец и вдруг резким прыжком стал на краю кручи, недалеко от верховых. Послышались голоса:

— Река, братцы, поворачивай назад.

— Переедем.

— Круча, голову сломаешь.

А вдали, направо, опять возникли крики и топот.

Собакин поворотил и скоро нагнал вторых кричавших, спросил:

— Что, поймали?

Мужики в ответ захохотали.

— Теленка, милый барин, загнали, дышит сердешный, испугался, уши мокрые.

— Ну, вы и охотники.

— Ушел, больно уж ловкач,— отвечали мужики с уважением.

Иноходец тяжело поводил боками, и Собакин, отделившись от мужиков, ехал шагом вдоль реки.

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами ветер, и издалека долетел протяжный звериный крик и стих.

— Что это? — невольно крикнул Собакин, чутко слушая; крик не повторялся, и сердце сжалось тоскливо.

Собакин уже спал, утомленный всеми событиями, когда кто-то, громко постучав в спальню, сказал:

— Ваше благородие, Оську привезли.

Собакин спросонок вскочил, старался понять, что говорят...

— Оську привезли,— странным голосом повторил десятский...

— Сейчас иду, подожди, или нет, иди...

И, уже выйдя на воздух, понял Собакин, что случилось несчастье. В земской избе пахло крепким и кислым, у печи на полу, покрытое рогожей, лежало тело...

Десятский, присев у тела, жалостливо говорил:

— Побили его мужики наши, вон как дышит... Ах, грехи!

Собакин откинул рогожу. На боку, поджав к животу голые и содранные колени, лежал Осип, часто дыша, и глаза его сквозь полуоткрытые веки были точно стеклянные.

— Что с ним? — дрожа мелкой дрожью, спросил Собакин, боясь догадаться...

Белый зад Осипа был запачкан землей и кровью, оттуда на вершок торчал кусок дерева.

— Что это? — визгливо закричал Собакин.

Еще дальше откинул Осип серое лицо свое и запекшиеся губы быстро облизнул языком...

Плетью лежала сломанная рука его; другая, застыв, вцепилась в ягодицу и посинела.

Собакин, придерживаясь за стену, вышел в сени, дурнота подступала к горлу, и везде слышался этот кислый и крепкий запах, и вспоминался убитый на охоте тетерев, когда дробью ему вынесло весь живот...

Урядник, теребя жесткие усы, говорил:

— Вот как они расправляются по-турецки, неприятно... Осип-то признался, просил кучера вашего освободить, будто бы он в краже не замешан, и, лошадь, сказал, где находится...

— Бог с ней, с лошадью, ах, зачем я все это затеял,— сказал Собакин.

— Вы, что же, ни при чем, мужики давно случая ждали. Поверите ли, мы даже боялись Осипа... А лошадка ваша в степи у казака Заворыкина.

Старик Заворыкин долго не выходил. Собакин, измученный дневным перегоном и волнениями прошлого дня, ходил, покачиваясь, по душной горнице, и звенело у него в ушах, и тошнило его от набившейся в горло и в нос дорожной пыли.

— Расскажу попросту всю историю, конечно, старик отдаст лошадь,— бормотал Собакин.

Над столом, засиженная мухами, praванивала лампа...

«О, черт, еще угоришь; что же старик не идет? А вдруг возьмет и рассвирепеет, самодур; конечно, насчет колодцев он прихвастнул, но надо бы политичнее подойти к делу, исподволь. О, черт, как лампа воняет...»

— Здравствуй, барин,— басом, громко и вдруг сказал Заворыкин,— стоял он в дверях и похлопывал себя по голенищу плетью.— За конем приехал?

— Нет, я не требую, совсем не требую,— засеменил Собакин,— вы уже знаете, какая история вышла смешная.

— История смешная, а не знай, кто смеяться будет,— сказал Заворыкин.

Молча, не сводя глаз, подошел, положил на плечо Собакину тяжелую свою руку и вдруг крикнул:

— Щенок!

И высоко поднял плеть.

— Не позволю,— пискнул было Собакин, запахло тошной пылью и кислым, зеленые круги пошли перед

глазами, похолодело горло и лечь потянуло, прижаться по-ребячьи к прохладному полу...

Очнулся Собакин в постели, в сенях, и первое, что он увидел,— склоненный профиль Заворыкина, худой и резкий под сдвинутыми бровями... Собакин застонал и отодвинулся в глубь кровати.

А старик, наклонясь, зашептал:

— Очнулся... Нехорошее дело вышло, попутал меня бес, думал, приехал ты срамить меня, а ты, видишь, простой, как малое дитя. Ах, барин, прости меня, гордый я, разгорелось с обиды сердце, убить ведь могу тебя, и никто не узнает... А ты,— видишь,— прост.

Старик качал головой, и ласково глядели потемневшие его глаза.

Собакин протянул руку.

— Я не сержусь.

Заворыкин погладил его по волосам:

— Христос на нас смотрит да радуется. Вот как бы жить надо, а мы не так живем, нет...

Долго говорил Заворыкин,— туманно, сурово, истово...

— Ну ладно, спи, барин. Домой-то завтра попозже поедешь; ко времени и жеребца твоего из табуна пригонят. Избави бог, не возьму с тебя денег; да иноходец-то твой устал, ты моего возьми, сам не часто на нем выезжаю...

3

Александра Аполлоновна разрезывает толстый журнал; в зале, где уже топили сегодня, пахнет кофеем, и старые кресла заманивают развалистыми своими спинками на осенний покой.

Гимназист сидит на окошке, болтает ногами. Тусклый сад совсем беспомощен под долгим дождем.

— Расскажите еще про ваши приключения,— приставал он к Собакину.

— Я все рассказал, что ж еще...

— Володя, не приставай,— строго молвила бабушка, взглянув поверх очков на Собакина, который на чистом листе разбирал зерна пшеницы.

— Щуплое зерно,— сказал Собакин.— Что же вам рассказать?

— Ну, хоть про кучера, которого связали тогда,— он ужасно таинственный.

— Архип-то...— засмеялся Собакин,— таинственный.

— В самом деле, что с ним, выпустили его? — спросила Александра Аполлоновна.

— Кажется, да,— я ездил, хлопотал, мне сказали, что без суда не отпустят, а суд, кажется, был на днях...

— Не любила я вашего Архипа, злой он, и глаз у него черный, приедет и все по конюшне ходит, все чего-то высматривает, и непременно что-нибудь после случится...

— У Белячка,— помнишь, бабушка? — мокрецы на щетках сели,— подсказал гимназист...

— У Беляка мокрецы; нет, нет, не люблю я таких, и пусть бы сидел в тюрьме. Да невинный ли он? — Старушка сняла очки.— Еще до вашего приезда в деревню он избил моего объездчика за то, что тот не позволил ехать в телеге по хлебу,— представляете, нарочно едет в телеге по хлебу...

— Я помню,— сказал гимназист,— объездчика привезли, вот страшно-то: голова болтается, и по лицу мухи ползают.

— Странно,— протянул Собакин.— Архип никогда не дрался, исполнительный всегда, тихий... Хотя был странный случай... Вот, помните, в прошлом году я ехал от вас вечером, когда еще отец Иван индюка изображал; не знаю почему, взяли мы не обычной дорогой, а напрямик по выгону, а там за межевым столбом — глубокая водомоина; я говорю Архипу: ночь темна, помни кручу налево. А он прикрикнул на лошадей. Тише, говорю, Архип, и знаю, сейчас круча, а он словно тройку не сдержит...

— Ужасно,— вздрогнула Чембулатова,— ну и что же?..

— Лошади сами круто повернули. Я кричу: «Что ты делаешь?» — а он обернулся и глухо так говорит: «Бог спас, барин, беду отвел».

— Вот-вот, я говорила, завтра же велю загородить это место...

— Я думаю все-таки, что это случайность; чем ему помешали я и мои лошади? Наконец он сам мог убиться.

— Такие, как Архип, безземельные, бессемейные мужики на все способны, в них бес сидит. Служит он у вас, все ничего,— только угрюм да молчит, а потом возьмет да вас и сожжет...

— Бабушка, смотри, проясняет,— крикнул Володя и, не успела бабушка ахнуть, распахнул балконную дверь, и сырой, пахнущий землею и листьями, осенний ветер ворвался, растрепал книгу, брызнул капелью, и солнце в прорыве между туч блеснуло на каплях, на стеклах, на желтой листве...

А дверь уже закрыли, и в столовой застучали посудой.

— Бог с ними, с Архипами,— сказала, проплывая в столовую, Александра Аполлоновна,— только расстроишься, а причина всему, конечно, что нет настоящей опеки над крестьянами. Мужик обращается в первобытное состояние...

Собакину вспомнился фельетон, месяц назад читанный в случайно залетевшей петербургской левой газете, но думать об этом не хотелось,— так было уютно и тепло.

К вечеру ветер стих, и низкое солнце залило багровым светом лиловые у земли тучи и, протянув бледные, словно прощальные крылья в глубь желтой и мокрой степи, закатилось.

Но четко еще виднелись репьи на темных курганах, лужи на глянцевитой дороге лиловели, тускнели.

Почмокивая, вертелись колеса, ударяли в лицо свежей грязью, пачкали вожжи и руки.

Собакин, расстегнув кожан, потряхивался на сиденье и думал:

«Так вот они — степные дали, неезженные дороги, забытые курганы. Нет конца им, и селения такие же серые, забытые, и люди в них, как травы, молчаливые, живут бог знает зачем, из века в век одни и те же, как дикая рожь».

Ходит с дороги на дорогу, с кургана на курган, по

пашням, по селам и поет унылые песни — тоска, сестра осеннему ветру...

Дребезжала железка на колесе, и топали, скользя под горку, копыта...

Одноколка скатилась, тряхнула на водомоине, и, поскользнувшись, лошадь упала на колени.

«Трудно некованой взобраться на гору»,— подумал Собакин и ударил вожжами...

А сзади затопали частые шаги, как будто молча кто-то догонял...

Собакин обернулся: плохо видный в полумраке лощины, бежал к нему мужик, размахивая левой рукой.

«Странно!» — подумал Собакин и, еще не понимая того, что было уже ясно, сильно ударил лошадь кнутом.

Человек настигал, по траве бежать ему было легче, не так скользко...

«Черт знает, гонка какая-то, что ему нужно?» — подумал Собакин и еще раз, привстав, хлестнул кнутом. Лошадь прыгала в хомуте, поскользнулась и, вздыбившись, вынесла одноколку на ровное место.

— Эх! — резко крикнул мужик и откинулся...

— Архип — ты?..

— Эх! — опять крикнул Архип, на бегу остановился, поднял руку и кинул блеснувший топор, и наклонился весь, ожидая... Топор тяжко ударил в переднюю доску козел, упал в ноги...

— Ты что это! — закричал Собакин и сдержал лошадь. Архип устало шел вслед...— Ты с ума сошел?..

— Теперь что хочешь со мной делай,— сказал Архип и смотрел на багровую полосу заката,— поседевший, весь обвеянный ветром.

— За что ты меня, Архип? Архип, я же не виноват...

— Сына моего убил.

— Какого сына?

— Осипа...

Темнела закатная полоса, суживаясь, закрыла багровое веко.

Собакин ехал шагом, Архип шел сбоку и немного сзади...

— Архип, я ничего никому не скажу, поклянись, что это более не повторится. Послушай, Архип. Осипа убили мужики, я бы никогда не допустил до этого.

Тогда Архип негромко засмеялся, словно конь дикий поржал, и белые зубы его впервые увидел Собакин.

4

Прошло более года. Опаляя землю, пронесло золотые свои ризы новое лето, пожали хлеб, и на гумнах запахло свежей соломой; каждый день до заката гудела молотилка; на заре опускался иней и взлетал, увидев солнце; только в темном саду да на лугу, где падала тень от дома, серебрил он мелкий гусиный щавель.

Утром к Собакину опять приходили мужики жаловаться на Архипа.

Все лето Архип передохнуть не давал: то скотину загонит, то вывалит из телеги траву, что мужик на барском поле под сиденье себе накосил, и кушак с мужика снимет или шапку — приходи, мол, жаловаться, неси штрафные.

А испольного хлеба, пока деньги за него до полушки в контору не внесены, не даст свезти ни снопа. Такой уж Архип ретивый приказчик, откуда только злоба взялась.

Мужики бить его хотели, а он либо увертывался, либо на барина валил: не моя в том воля. Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и сам-трех, решили, каждый про себя, барина спалить.

Так уже стариками заведено.

К тому же на село пришла золотая грамота, читать ее не читали и не видели, пожалуй, но всякий знал, что в ней прописано: грамота старинная, давно по земле ходит.

А вслед за грамотой подкинули листки; их прочли и волновались глухо, как подземный ключ.

— Ну что, Архип, как мужики? — отдав на завтра распоряжение и позевывая, спрашивал Собакин.

Архип повел плечом:

— Что же, ду́рачье...

— Утром опять приходили на тебя жаловаться, нельзя так, Архип, ты портишь мои отношения с народом.

— С мужиком по-другому нельзя,— притесни, он тебе что хочешь сделает, а с доброго слова сядет на шею.

— Я слышал, палить собираются.

— Кто их знает.

— Вон у Чембулатовой спалили же гумно.

— То озорство, барыня в город уехала, они и озорничают.

— Ну, иди, Архип. Завтра позаботься, чтобы лошади с утра готовы были.

— А вы разве куда едете?

— В город.

Архип ушел, а Собакин лег и перед сном раскрыл каталог садовых цветов и овощей; но скоро цветы стали походить на дам и все на одну и ту же, со вздернутым носиком; кочан капусты, отряхиваясь, надел очки и стал старушкой Чембулатовой.

Собакин улыбался в полусне, думая, как ему хорошо, что он, вот такой здоровый и молодой, скоро опять увидит лукавые глаза, вздернутый носик, русые волосы...

Разбудил Собакина громкий шепот:

— Барин, барин, вставайте.

Собакин вскинул на пол голые ноги и, не понимая, глядел на стоящего перед ним со свечой возбужденного Архипа.

— Ты что?

— Мужики идут.

— Какие мужики, куда?

— Сюда, к вам. Как я побежал, они уже на плотине шумели...

Собакин прислушался и беспомощно взглянул на крепкого, угрюмого Архипа.

— Архип, что же делать?

— Двери, барин, я запер, а вы достаньте-ка ружья, попугать придется.

— А окна, ставней же нет.

Трясущимися пальцами, спеша, всовывал Собакин патроны в охотничьи ружья, сдернув их со стены над кроватью.

— Я бекасинником заряжаю, Архип, еще убьешь кого.

— Заряжайте картечью, не будет повадно...

— Господи, какой ужас!

В темноте стал явственнее гул голосов и крики, слышны были даже отдельные возгласы, и вдруг все стихло и стало тягостно ожидать...

— Что они?..— прошептал Собакин.

Со звоном разбилось стекло, и камень, упав на письменный стол, опрокинул вазу с ковылем, и в разбитое звено влетели крики:

— Бей окна, пусть выходит.

— Эй, барин, выходи, говорить хотим.

— Архипа нам давай...

Архип, ловкий и гибкий, отпрыгнул к стене и с глаз отбросил густые волосы, повелительно сказал:

— Свет, барин, туши.

Собакин дунул на свечу, и стало невыносимо страшно, и яростнее закричали мужики:

— Выходи!..

Несколько стекол со звоном вылетели, и Архип дико вскрикнул...

Прижимаясь к пахнущей потом его спине, шептал Собакин:

— Что же это будет?.. Боже мой.

— Не выйдешь, сами достанем,— кричали мужики, и несколько голов в шапках появилось в окне.

— Лезь, братцы, нечего глядеть...

Архип выстрелил... Сразу все стихло... И часто и пронзительно застонали под окном.

Мужики отступили, совещались, заспорили все громче...

— Неси, сена неси, соломы,— закричали голоса.

— Подпалим.

— Выкурим голубчика.

— Лови!.. Лови его!..— разгорелись крики.

Визг, топот, глухие удары.

— Работников наших бьют,— прошептал Архип.—

Теперь нам не иначе, как в сад бежать, палить сейчас будут...

— Балконная дверь замазана наглухо.

Архип помолчал, потом приложился и выстрелил. Осветилась стена, поваленное кресло и Собакин без штанов, в ночной рубашке...

Архип, не целясь, выстрелил еще, и едкий дым наполнил комнату. Собакин тоже выстрелил, сильно отдало в плечо и щеку.

Вдруг под окнами осветилось красное пламя и бойко затрещало.

Стало яснеть, мужики с радостными криками отбежали, камень ударил Собакина в лицо... Пошла кровь, и Собакин стиснул зубы, застонал. Архип, пригнув его к полу, пополз в коридор. Сквозь распахнутые двери изо всех комнат лился алый свет...

— Вот что, барин,— сказал Архип,— давно я хотел тебя поблагодарить...— И, толкнув Собакина, он сел ему на грудь и засмеялся.

— Архип, что ты, Архип...— шептал Собакин, стараясь высвободиться, разорвал на Архипе рубашку, царапнул по телу, и Архип словно опьянел и весь налился злобой.

Надавив коленом горло, вынул он складной с костяной рукояткой нож, зубами открыл его и, глядя прямо в белые, обезумевшие глаза Собакина, занес и опустил.

Дом пылал. Молча стояли озаренные светом его мужики, серьезно глядели, как дикий огонь пожирал сухие стены, дымя, вылизывал из-под крыши... Носились розовые голуби...

Кто-то крикнул:

— Гляди-ка, у конюшни Архип...

Поспешно выводил Архип за повод Волшебника и, когда, крича, подбежали мужики, кинулся животом на конскую спину и погнал, прильнув к холке, залитый алым, в степь...

Только его и видели...

СМЕРТЬ НАЛЫМОВЫХ

Старый камердинер Глебушка сидит в кожаном кресле и сквозь обмотанные ниткой очки смотрит на псалтырь, долго муслят негнущийся палец, чтобы перевернуть ветхую страницу, а огонь свечи колеблется направо и налево.

Льнут снаружи к стеклам мокрые ветви, и, слушая шорох их, думает Глебушка:

«Птица прошлою осенью так же в окно билась, подумал, подумал, а не пустил — неизвестно, какова она птица в такую ночь».

Вздрагивает налымовский дом; оторванная ветром, хлопает железная крыша; не видно служб; цепляясь за шумливые кусты, волокутся тучи; далеко в лугах, разрываясь и слепя, ложатся круглые молнии и стелется сплошными завесами дождь.

— Темень,— говорит Глебушка,— нехорошо! — и переворачивает страницу, где с боков стоят три надписи рукой Семена Налымова; первая надпись чернилами такая: «Женившись, не преступаю ли законы натуры»; затем через много псалмов опять пометка: «Господь, дай силы» и еще: «Наконец-то счастлив с моей женушкой, любезной Анфисой».

Качает Глебушка старой головой и глядит в окно, а далеко из пустых верхних комнат доносится протяжный крик.

Поджав губы, слушает Глебушка, а когда крик повторяется, встает и, прикрыв ладонью свечу, идет по винтовой лестнице наверх в войлочных туфлях своих и в безрукавке.

Паркет залы скрипит, на мгновенье теплится золотом рама, и кресла в чехлах стоят так, будто сидел на них только что покойный Налымов, куря трубку, и смотрел в окно.

Глебушка отворяет дверь спальни, и с красного полога над кроватью срывается и улетает на бесшумных крыльях в раскрытое окно белая сова.

— Нехорошо,— говорит Глебушка и, прилепив у пыльного зеркала свечу, прислушивается; в отдалении кричит птица, несясь над травой, и с подветренной стороны доносится звон колокольца.

— Куда человек едет? — говорит Глебушка сердито и, с трудом замкнув окно, идет обратно вниз.

Зайдя в опустелую кухню, где с плиты сняты чугунные доски и обвалился кирпич, а на шестке греется горшочек со щами, закрывает вьюшки, крестит углы, затканные паутиной, и плотнее затыкает тряпкой разбитое стекло, говоря: «Видишь, наплюхало как». Но колокольчик прозвенел совсем близко, и слышно, как подъехали к крыльцу...

— Проезжайте, проезжайте,— говорит Глебушка на стук в дверь кнутовищем,— никто здесь не живет!..

— Отвори, пожалуйста, говорю — барин приехал.

— Барин?

— Налымов, слышь,— озябнув и подпрыгивая, кричит ямщик,— молодой барин...

Через порог, нагибаясь, ступает Налымов в мокром чапане, поверх шапки его обмотан оренбургский платок, бритые щеки втянуты, и на глазах словно тень.

Глебушка, тряся головой и торопясь, снимает чапан, развязывает платок и, глядя на худого, в черном сюртуке барина, целует руку его.

— Ах, зачем ты! — Налымов опускается в кресло и, скрестив пальцы, говорит, закрывая глаза:—Не ждал меня, наверно; вот и увиделись; не узнал?

— Батюшка, как узнать, маленьким вас отсюда увезли.

— А вот и приехал, навсегда... Одни мы теперь с тобой, Глебушка, больше нет в живых никого.

Старый камердинер, заложив руки назад, стоит у притолоки.

— Нельзя вам здесь оставаться,— говорит он,— в село уезжайте. Не живут здесь Налымовы, помирают нехорошей смертью.

Тонкие губы Налымова улыбаются, а лицо остается печальным.

— Мне все равно, недолго проживу,— отвечает он.

На скулах у него выступают розовые пятна, и, сдерживаясь, он глухо кашляет, без сил опуская руки.

— Нет, уезжайте, нельзя здесь сегодня ночевать. Вам, может быть, неведомо, а мне великий грех, если случится что,— повторяет Глебушка.

— О чем ты говоришь?

— О бабке вашей, Анфисе, ее сегодня ждем.

Налымов быстро открыл глаза, пытливо и со страхом вглядываясь в старика.

— Расскажи, я ничего о ней не слышал такого.

Глебушка пожевал, оглянулся в темный коридор и притворил дверь.

— Раз дедушка ваш, Семен Семенович, позвал меня и говорит: «Затопи, Глебка, камин, скучно мне!» — а сам все прислушивается.

Я лучинки ломаю, громыхаю вьюшками, а он мне: «Постой, постой, не стучи!» И с лица белый. «Это,— говорю я ему,— батюшка барин, птица кричит ночная». А он: «Дурак, молчи», да как закричит: «Отгони ее от окна!»

Соломы я в камин подкинул, вышел потихоньку, прикорнул за дверью, а сам трясусь. Вдруг барин, слышу, говорить начал: «Не виноват, не виноват, отпусти меня... Уйди...» Да все громче да чаще... И замолчал; да как заревет и грохнулся... Побежал я в людские, взбаламутил народ. Вошли мы в спальню,— на кровати барин лежит — мертвый. Окно раскрыто, дождик в него так и хлещет... А в саду сова кричит — вот тут-то мы и ахнули... Сова-то на человеческий голос кричала...

— Не понимаю я, Глебушка, к чему все говоришь; ну, померли, и мы умрем с тобой.

Глебушка переступил с ноги на ногу и продолжал рассказ:

— Дедушка ваш, Семен Семенович, женились пожилых лет и взяли первую в губернии красавицу — Анфису. Думали, от этого в дому у нас веселее станет; а вышло по-иному. Стал Семен Семеныч сомневаться — не выйдет ли душе его через такую молодую жену изъяна. Бывало, вечером сядет в библиотеке и глядит в божественную книгу, я у двери со щипцами дремлю; крикнет — подойду, сниму светильню. Жалко мне его тогда было — ну что он в книге прочтет, пуще только расстроится. А стукнет полночь, поднимет он голову, глаза красные. «Что, говорит, Глеб, поздно?» — «Поздно, говорю, пожалуйте спать, барыня давно легли». Он и пойдет по зале к Анфисиной спальне. Станет у двери, лицо ладонью сожмет и, будто оторвали его с мясом, уйдет в кабинет. «Господи, говорит, видишь — борюсь я с соблазном». А барыне Анфисе спать одной тоже очень скучно.

— Что ты говоришь, Глебушка, у Анфисы дети были, она мне родная бабка.

— Нет, у брата Михайлы Семеновича дети были, а Анфиса как девица жила... Прошло таким-то порядком немало времени; барин уж на человека не похож, высох весь и, как услышит — жена идет, так весь и затрясется. А матушка Анфиса все песни пела вечером на окошке.

Приехал раз под осень племянник, — гусар, Александр Налымов; боже мой, шум какой поднялся. Мундир у него красный, на голове повязка (ранен был где-то); ходит, усы крутит, и, как на женщину поглядит, так глаза у него и выкатятся. Семен Семеныч сразу же задумался: очень уж Анфиса стала и хороша и весела. Весь день, весь день, то в саду, то на клавикордах, а гусар к ней как пришился. Увидит Семена Семеныча, по плечу ударит: «Ну что, говорит, дядюшка, повоюем еще». Недели не прошло — Семен Семеныч вечером и говорит мне: «Идем в сад». Пошли. Пробрались к Анфисиному окну, он опять говорит: «Лезь на дерево, смотри». Взобрался я на осину, ветки раздвинул, гляжу — перед зеркалом сидит гусар; мундир у него рас-

стегнут, волоса взлохмачены, а матушка Анфиса в рубашке одной стоит перед ним как во сне. Схватил он ее, притянул к себе, лицо она руками закрыла... Тут у меня в глазах помутилось, скользнул на траву, а барин спрашивает: «Там они, там?..» Вдруг гусар выглянул в окно, и свет в комнате потух... Мы побежали, и когда в залу вошли, под люстрой стоял гусар, подбоченясь, как черт.

Семен Семеныч кинулся на него, а он отстранился и громко сказал: «Отстаньте, дяденька, я пришел сказать, что ваша жена распутница... Сейчас, пригласив меня, как родственника, в свои покои, хотела надругаться над вашей сединой, предлагая гнусное сожительство. Вот!»

Тут он повернулся на каблуках и вышел, звеня шпорами. Семен Семенович схватился за голову, побежал к жениной спальне, дернул дверь, и увидали мы, как Анфиса вскочила на окно, оглянулась на мужа и прыгнула вниз. «Лови ее! Держи ее!» — кричал Семен Семенович. Побежали мы за Анфисой... Думали — убилась. Глядим — она уже к пруду летит... Не успели! И так ее в пруду не нашли. Глубоко там очень, омута...

Голос Глебушки сорвался; Налымов слушал, как хлестали ветви и выло в трубе.

— Неспокойная ее душа,— окончил Глебушка,— всех Налымовых увела за собой; то птицей прикинется, то мышью, а то приходит в своем виде. И вы приметьте — случилось это в нынешнюю ночь.

— Может быть, все это и правда,— сказал Налымов.— А ты видел ее, Глебушка?

— Да, сегодня перед вами кричала.

Налымов, улыбаясь, поднялся с трудом и, гладя старика по волосам, прижал, сколько было силы, к груди и поцеловал.

— Я все-таки не поеду отсюда, на что ей такого, все равно скоро умру; устал я очень, уступи мне постель на сегодня, милый Глебушка! — И, ослабев, он снял сюртук и лег, тяжело дыша.

Глебушка зажег лампады перед киотом, прилепил свечу и стал, опускаясь на колени, молиться, касаясь лицом пола. «Спаси его и помилуй, лучше мне умереть, коли нужно,— с радостью предам мой дух; и ее злое

сердце успокой, отведи руку». Потом Глебушка лег у двери на кошме.

Налымов знал, что за стеной уже давно стоит Анфиса. Снаружи по стеклу провела она костяной рукой, и, словно изваянное, лицо ее вглядывалось сквозь закрытые веки.

«Вот ты и пришла,— подумал Налымов,— не мучай меня, войди!»

С трудом хотят разомкнуться губы ее, и мокрая ветвь ударяет по лицу, отчего стекают капли по щеке, как слезы. Лежа на спине, со сложенными руками, холодеет Налымов, просит ее войти, думая, что она успокоит.

И вот Анфиса уже по эту сторону стекла, подхватывает платье, ложится, неспешно овладевая его телом. Твердая рука ее на его шее, и Налымов говорит: «Простишь ли, милая, я последний?»

Медленно наклоняясь над ним, открывает Анфиса глаза, и их прозрачную глубину видит Налымов, отделяясь от ненужной постели, чувствуя радость прощенья и любви.

Порывом ветер разбивает стекло, мокрый и темный проносится по комнате, гася лампады, и Глебушка, со стоном приподнявшись, зовет:

— Барин, батюшка, отгони ее!..

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Перед пылающим камином сидел в нижнем белье, подняв острые колени, Иван Балясный и для развлечения глядел на кончик утиного своего носа то правым глазом, закрыв левый, то наоборот.

«А вот бы суметь расставить так глаза,— подумал он,— чтобы можно видеть то, что направо, и то, что налево, сразу. Во было бы забавно...»

Вспомнив, что он не один в комнате, он нахмурил лоб и спросил сурово:

— Что ж ты молчишь, рассказывай...

У двери стоял старый мельник, держа шапку у живота. Огонь камина, когда обрушивалось полено, освещал всю седую его бороду, глубокие морщины на лице и выцветшие глаза, умильно обращенные на барина.

— Да я уж сказывал,— ответил мельник.

— Еще раз; да смотри, не ври. В эту ночь ты, стало быть, на мельнице был?

— Так и есть,— сказал мельник.— Марина, внучка моя, из-под венца ко мне забегала, больно уж плакала; а я спать лег.

Голова у старика затряслась, и долго он не мог ее сдержать.

— Не к добру сон приснился: входит будто старый барин — дядюшка ваш, и говорит: «Дай мне, мельник, мучки...» — «Как же я вам, говорю, кормилец, дам —

мука у меня мужицкая...» А он наклонился над сусеком и вздыхает: «Мучки мне, мучки!» — да как завоет, и кафтан на нем землей покрылся. Проснулся я и думаю: «К чему сон?» И так-то вышел на волю и слушаю. Не к добру, думаю, ветер в полыни свищет; поглядел я, а у мельницы крылья завертелись, завертелись, милый барин, сами собой... Вот в это время из темени на меня и налетел конь; я его отпрукал, а он на дыбки, да мимо меня и прыснул, и пропал.

Мельник переступил с ноги на ногу и развел руками.

— Только его и видел... А барин хороший был, душевный барин, мы разве что...

— К чему же ты коня приплел? — воскликнул Иван Балясный.

— А как же; к его хвосту барин наш за шею был привязан; очень я тогда усомнился...

— Ты смотри, старый черт,— сказал Балясный,— я знаю, что ты главный убийца.

— Мы не убийцы,— ответил мельник,— этим не занимаемся...

— Ну, ладно, позови Прова.

Ушедший мельник шептался за дверью. Иван Балясный подумал:

«Хотя и великий негодяй был мой почтенный дядюшка, но все-таки — так не годится... А таинственно, черт возьми, пропал старый плут...»

Вошел толстый и высокий мужик — Пров, в чулках. На щеках росла у него рыжая бородища, за которую и дразнили его:

Рыжий красного спросил:
Где ты бороду красил?
Я ни краской, ни замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

— Ты кучер? — спросил Иван Балясный сурово.

Пров поморгал веками и неожиданно тонким голосом ответил:

— Кучер я, с покойным барином ездил.

— А ты почему знаешь, что он — покойный?..— быстро повернувшись, спросил Балясный. Но Пров

только моргал.— Я тебя спрашиваю, негодяй,— почему ты уверен, что дядюшка умер, а?.. А где племенной жеребец, а?.. Это опять твое дело — знать... Где жеребец?

— Виноват,— сказал Пров,— кто ее знает... И барин, царство ему небесное, пропал, и лошадь пропала...

— А вот я тебя высеку...

— Это — как ваша милость будет...

— Мошенник ты, Пров,— сказал Балясный,— и мельник мошенник. Он, говорят, каждую ночь дядюшку видит во сне... Ну, а ты когда последний раз видел дядюшку?..

Пров тоскливо поглядел барину на утиный нос и стал рассказывать.

По ночам всегда посылал дядюшка Балясный за Провом, чтобы он играл песни; сам барин в это время сидел на кровати, слушал, пригорюнившись, и пил вино. «Голос у тебя очень жалобный»,— говаривал барин и, наслушавшись и напившись, посылал Прова узнать, нет ли на деревне молодухи.

Так было заведено, что крестьянских девушек после венца отводили на первую ночь к барину, который любил, чтобы от чистого их девичьего тела пахло еще и церковным ладаном.

— Ага, это очень приятно, дядюшка был не глуп,— прервал рассказ Иван Балясный и, щелкнув языком, поглядел налево в угол, где над кроватью висел портрет, изображавший старичка небольшого роста, молитвенно поднявшего мутные глаза, лицо было сухое и постное, с реденькой бородой.

— Марина, мельникова внучка, барину приглянулась,— продолжал Пров.— Замучил он меня — духовные стихи петь; я пою, а он усмехается: скорее бы, говорит, Пров, пост прошел, просватаем телочку. И просватали. А как от венца привез я ее ночью, она на пол упала, не хочу, кричит, старого, лучше умереть, и все на себе изорвала, ну просто ужасть... А барин, как селезень, около нее ходит. Ну, Марина поголосила, да куда же податься? Тут с ней и порешили.

Пров не кончил и повалился в ноги...

— Отпустите меня, батюшка, мочи нет...

— А ты тут при чем?

— Муж я, Маринин-то...

— Муж! — удивился Иван Балясный.— Видишь ты... Ну, а куда же лошадь делась?..

— Не знаю; должно быть, барин ночью сами ее взяли; а у нас болота кругом, долго ли до греха.

— Тебе завтра покажут болото,— сказал Иван Балясный,— завтра суд приедет. Пошел вон!

Оставшись один перед огнем, он глядел на угли, развлекаясь тем, что припоминал разные истории... Так, вспомнилось ему, что в прошлом году в Тамбове один офицер побился об заклад, что, не выходя из номера, выпьет бочонок рому... И что же, на третий день услыхали его рыканье и крики; по всей гостинице пошел смрад, а когда вбежали к нему — от офицера не осталось ни зерна, только в стену воткнута была шпора, которой отлягивался он от змия... Много тогда дивились. Очевидно, что-то вроде этого случилось и с дядюшкой Балясным...

Поднявшись, Иван Балясный подошел к постели, провел рукой по простыням, горячим от близости очага, и, посучив несколько ногами, крикнул:

— Эй, послать сюда девку! — И, когда скрипнула дверь, прибавил: — Раздень меня и почеши спину.

Но вошедшая девка остановилась, не двигаясь. Иван Балясный даже раскрыл рот, так она была красива.

Бедра у нее были широкие, на высокой груди складками разбегалась рубаха, голые до локтей руки придерживали шелковую косынку, накинутую на плечи.

А лицо! Глядя на него, пуще засучил он ногами: не лицо это было,— весенняя поляна в цветах, только глаза потуплены, и в углах губ горькая складка.

— Как тебя зовут, девка?

— Марина,— ответила она тихо,— что прикажете делать?

— Так это ты дядюшку извела? — спросил он весело и ущипнул Марину.

— Оставьте,— сказала она тихо.

— Ну, нет, не отстану,— и, охватив ее за круглые плечи, посадил на постель,— все про тебя знаю, под-

лая; вот завтра присдет суд, засудят вас с Провом да с мельником; ноздри вырвут и на щёчку каленое клеймо прижгут. Пойдете по Владимирке столбы считать... Нравится?

Марина низко опустила голову.

— Невинна я...

— Все улики на тебя, не отвертишься.

— Что вам от меня нужно? — спросила Марина.

Она метнулась, в ужасе поглядев на барина; щеки ее покрылись белизной, губы открылись.

— Нельзя, барин, нехорошо здесь,— ответила она.

Но он, крепко обхватив Марину, стал целовать ее в рот.

Марина вскрикнула и, склоняясь на подушку, схоронила голову.

— Маринушка, Маринушка,— горячо зашептал он, и безусые губы его, желтые от табаку, вытягивались, как у утки.— Я тебе, Маринушка, два рубля подарю, а утром со мной чай будешь пить, и обедать тебя позову.

И казалось ему — умирает Марина от страсти и страха, не в силах противиться.

В это время стукнули в стекло, и, вскрикнув, вырвалась от него Марина, встала посреди комнаты,— вся дрожала...

— Кто там? — закричала она не своим голосом, глядя в темное стекло...

Иван Балясный с головой залез под одеяло; но, услышав за окном кучеров голос, расхрабрился, даже вылез из постели и раскрыл раму, так что влетели ветер и дождь, и затопал ногами:

— Пошел на конюшню, Пров, прочь пошел, дурак... Не видишь — я занят...

Мокрый и сутулый Пров медленно повернулся и, отойдя несколько шагов, с воем упал в грязь. Балясный захлопнул окно...

— Долго ты будешь у меня кобениться,— крикнул он и шлепнул Марину по щеке.

Девушка только опустила глаза, легла, закрыла лицо косыночкой и больше не противилась...

Долго еще тлели угли в камине, свет от них скользил по штукатуренным стенам. Глядя с тоскою перед собою, слушала Марина вой ветра. Рядом на подушке лежало спящее лицо молодого барина с утиным носом... И, думая, Марина, должно быть, проговорила вслух:

— Вот и тот так же лежал, ненавистный, хоть старый, а похожий... Одна порода, один конец...

И вот глаза Ивана Балясного раскрылись, были они полны страха, потому что он прочел судьбу свою в ее взоре... Тогда она с пронзительным криком кинулась грудью ему на лицо, руками сжала его горло, всем телом легла на его тело и так лежала, застыв, пока в тощем теле под ней не кончились последние судороги, покуда не окостенели пальцы Ивана Балясного, впившиеся ей в бока...

ПЕТУШОК

Неделя в Туреневе

1

У тетушки Анны Михайловны, чтобы мыши не ели мыло, всегда под рукомойником стояла тарелка с накрошенным в молоке хлебом, и тетушка ни под каким видом не позволяла заводить в доме ловушек, говоря про мышь:

— Что же, она ведь тоже живая, а ты ее в мышеловку, а она еще поперек живота прихлопнется.

Кроме рукомойника, в спальне у тетушки стояли шифоньерки по углам, на одной из них — подчасник с прадедовскими часами, над кроватью — коврик, изображающий двух борзых собак, и на ночном столике — баулка с папиросами.

Тетушка курила табак дешевый и крепкий,— не вредный для здоровья. Любила она, выйдя на крыльцо, покурить, поглядеть на сизые осокори за прудом, на синие дымы села.

Дверь спальни отворялась в широкий и низкий коридор, куда выходили бывшие лакейские; в конце его витая лестница вела наверх, в девять барских комнат; туда никто теперь не ходил, и деревянная решетка в зале, когда-то обвитая плющом, и огромные очаги, похожие на пещеры, высокие шкафы в библиотеке, столы и кресла, сваленные в углу друг на дружке,— все это было покрыто густой пылью, потому что во всех комнатах на пол-аршина лежала пшеница и хозяйничали мыши.

Иногда по ночам от тяжести хлеба трещали половые балки, и тетушка, в нижней юбке, с узелочком волос на маковке, шла со свечой посмотреть — где треснуло.

Но к стукам в доме привыкли. Болезненная Дарьюшка-ключница спросонок только крестилась на кухне, веруя, что стучит это, бродя по дому, прадед барынин, Петр Петрович, который изображен на портрете в пестром халате, на костылях и со сросшимися бровями,— как коршун.

Пожалуй, и не один Петр Петрович шагал осенними ночами по колено в пшенице,— много их огорчалось запустением шумливой когда-то туреневской усадьбы, но некого больше было пугать, некому жаловаться...

Все вымерли, унеся с собою в сырую землю веселье, богатство и несбывшиеся мечты, и тетушка Анна Михайловна одна-одинешенька осталась в просторном туреневском дому. Каждый вечер выходила она глядеть, как с поемных лугов, из Заволжья, поднимается туман, кутает сад, беседку с колоннами, обрывок веревки на качелях и ползет до крыльца.

Заложив руки в карманчики серой прямой кофты, тетушка ходит все по одной и той же аллее. Папироска ее давно потухла. Вот уже совсем и не видать деревьев. Пора и на покой.

В спальне, накрошив мышам хлеба и помолившись, тетушка ложится в кровать и долго не может заснуть— все думает: о прошлом,— перед ней встают любимые ушедшие лица,— о грехах, которые она натворила за истекший день, о несчастном, единственном своем племяннике Николушке,— что-то с ним сейчас? Или думает,— голову ломает,— как бы ей обернуться с платежами. Это обертывание было главным ее занятием с юности.

Сегодня,— не успела Анна Михайловна лечь,— вдруг слышит — едут с колокольчиком. Тетушка прислушалась и подумала: «Кому бы это приехать так поздно? Неужто Африкан Ильич? А кому же кроме?»

Накинув старенькую юбку — другой у нее не было, потому что по воскресеньям всякий мог просить у тетушки все, что угодно, и деревенские бабы еще за неделю нацеливались на какую-нибудь юбку поновее,—

вышла Анна Михайловна в кухню, но, к удивлению, ни одной из девчонок, без дела живших при доме, не оказалось, а в дверь уже влезал высокий и сутулый человек в коричневом армяке. Влез и принялся трясти с себя пыль, которая по всему Поволжью такая густая и обильная, что при виде приехавшего не знаешь — арап это или просто черт?

Вытерев лицо, вошедший действительно оказался Африканом Ильичом, от природы темно-коричневым. Подойдя к тетушке, к ручке, он сказал весело:

— Вот и я, ваше превосходительство.

Анна Михайловна поцеловала его в коротко стриженную круглую голову, которой Африкан Ильич гордился, говоря: «Вот это голова, не то что у теперешней молодежи»,— и, боясь высказать радость, неуместную усталому с дороги человеку, проговорила только:

— Вот как хорошо, что вы приехали, Африкан Ильич, сейчас и самоварчик поставим. Только беда у меня с девчонками — разбегаются по ночам.

— Недурно — самоварчик,— скрипучим голосом сказал Африкан Ильич и прошел в столовую, где с удовольствием оглядел и необыкновенный буфет в виде ковчега, и спящих мух на стене, и недопитый на окне стакан с теплым квасом. Все было по-старому.

Тетушка вносила тарелки с едой, открывала и закрывала створки буфета и суетилась немного бестолково,— даже задохнулась,— покуда Африкан Ильич не прикрикнул:

— Да сядьте вы, ваше превосходительство! На кухне четыре дуры сидят, а вы тыркаетесь...

Тетушка сейчас же села, ласково улыбаясь, отчего овальное и морщинистое лицо ее стало милым. Африкан Ильич сказал:

— Новость привез. Расскажу, как поем.

Налив из рюмки половину водки на ладони, он вытер руки о салфетку, ставшую сейчас же черной, другую же половину рюмочки выпил и, крякнув, закусил маринованным грибком. Отличные у тетушки были грибки.

— Какая же новость? — спросила тетушка.— Уж не про Николушку ли?

Но Африкан Ильич принялся рассказывать вычи-

танный им недавно из одной газеты прелюбопытный анекдот, причем ел и пил между словами, растягивая их на пол-аршина, а тетушка терпеливо слушала, глядела ему в лицо, улыбалась задумчиво и все думала — про кого же это новость? Когда Африкан Ильич, покончив с анекдотом, начал описывать земский съезд в Мелекесе,— как там пили,— тетушка спросила осторожно:

— Друг мой, а когда же о том расскажете?

Африкан Ильич сморщился до невозможности, насупился:

— Завтра Николай с Настасьей приезжают. Вот вам новость.

— Господи Исусе! — тетушка перекрестилась.

— Со мной на лошадях ехать не пожелали. Приедут по железной дороге, по первому классу. Экипаж надо выслать...

— Как же они согласились? — воскликнула тетушка.— Ведь не хотели же, сколько я ни писала.

— Не хотели! — Африкан Ильич фыркнул носом и налил еще рюмочку.— Не хотели! А с голоду подыхать — хочется? Настасья все брильянты заложила — две недели отыгрывалась в карты, а Николушка в буфете шампанское в это время распивал. Все спустили до нитки.

— Как же вам удалось их уговорить, Африкан Ильич?

— Билеты железнодорожные купил,— очень просто, ваше превосходительство. Денег у них осталось рублей двадцать пять, не больше, и всюду долги — в гостинице, у портных, в ресторанах. (Тетушка часто начала крестить душку.) Я им сказал,— счет из гостиницы беру с собой, как сядете в вагон, так и заплачу. Они говорят,— мы тетушку стесним, и притом неудобно, что Настасья, мол, не жена, а так вроде чего-то. Я Николаю говорю,— тетушка тебе сто раз, дураку, писала, что если тебя эта самая Настасья любит и от прежней жизни отказывается, то будет она тетушке дочь, а тебе жена. Надоели они мне до смерти, я вперед уехал... Вчера—явились, прямо в гостиницу Краснова... Одним словом, ваше превосходительство, хоть и устроилось, как вы пожелали, но считаю всю эту затею ерундой...

— Друг мой, это не ерунда,— поспешно перебила тетушка.— Николушка — честная натура. (Африкан Ильич, не возражая, сильно почесал ногтями стриженый затылок.) А у Настеньки сердце не к шумной жизни лежит,— это ясно, если она решилась бросить Москву да ехать с ним к какой-то завалющей тетке. Вот я как понимаю... Одного боюсь, что им скучновато будет здесь после столицы... Ну, да уж я как-нибудь постараюсь...

— Что постараетесь? Я просил бы не стараться! — прикрикнул Африкан Ильич.— Довольно с них, что хлеб дадите...

Тетушка опустила глаза и покраснела.

— Не сердитесь на меня, дружок, позвольте уж послужить им,— сказала она мягко, но решительно.

Африкан Ильич, взяв пухлую, в морщинах, тетушкину руку, поднес ее к щетинистым губам и поцеловал:

— Вот вы какая у нас, ваше превосходительство,— бойкая.

2

Тетушка проснулась, по обычаю, до света, зажгла свечу и, осторожно ходя по комнате, где некрашеные половицы, такие еще прочные днем, теперь скрипели на все голоса, сокрушалась, что перебудит весь дом полоумной своей беготней.

Чтобы занять время до чая, она вытирала пыль на ризах старинных икон, с детства еще побаиваясь глядеть на фамильный образ нерукотворного спаса, темный, с непреклонными глазами, в кованой с каменьями ризе. Перебрала в шкатулке бумажки с волосами милых ушедших. Припрятала подальше, вдруг вспомнив тяжелое, костяной футлярчик для зубочистки. Разыскивала и все не могла найти рамочку какую-то.

Все эти старые вещицы разговаривали на задумчивом языке своем с тетушкой Анной Михайловной, самой молодой среди них и последней. Изо всех вещей она любила, пожалуй, больше всего широкое красное кресло, обитое штофом, с торчащей из мочалы пружиной. На нем была выкормлена тетушка и все девять ее покойных сестер.

«Вот и пришло испытание,— думала Анна Михайловна, садясь в кресло,— хватит ли сил направить на путь истинный таких ветрогонов? Настенька, та, чай, попроще,— жила в темноте, полюбила, и раскрылась душа. Богатых. поклонников побросала, продала имущество, значит полюбила. А вот Николенька — это козырь. Денег ни гроша, а шампанское в буфет — пить. Попробуй-ка такого приучить к работе. Скажет,— не хочу, подай птичьего молока. С нашим батюшкой нужно его свести, пусть побеседуют. Большая сила у отца Ивана. И не откладывать, а, как приедут,— сразу же и позвать отца Ивана».

Волнуясь, тетушка не могла усидеть на месте и вышла в коридор, где было прохладнее.

Там под потолком горела привернутая лампа в железном круге. Из полуотворенной двери слышен был храп Африкана Ильича, такой густой, точно в носу спящего сидел шмель. На сундуке, уронив худенькую руку, спала, оголив колени, любимица тетушки — темноглазая Машутка.

— Ишь разметалась как,— прошептала тетушка, наклоняясь над смуглым ее личиком, и поправила сползшее одеяло из лоскутков. На щеки девушки легла тень от ресниц, детский рот ее был полуоткрыт.— Красавица-то какая, господь с тобой...— Тетушка задумалась. И вдруг ноги ее подогнулись от страха. «Ну нет,— подумала она и потрясла головой в темноту коридора,— в обиду не дам...»

Наверху по пшенице бегали мыши. Хотелось чайку. А рассвет еще только брезжил. Тетушка вернулась к себе и закурила папиросочку, все думая, часто моргая глазами.

Настал тяжелый день. Посланная для наблюдения на крышу, Машутка кричала оттуда, что — «никовошеньки не едет, окромя дедушки Федора, и пегая корова сзади привязана».

К полднику Африкан Ильич пришел заспанный и злой; прихлебывая чай, вздыхал и курил вертуны, сидя боком на стуле.

— Дарья! — позвал он наконец...

— Дарьюшка в погребице, я сама пойду распоряжусь.

— Насчет чего распорядитесь? Ведь вы не знаете, насчет чего распорядиться, ваше превосходительство.

— Лошадей...— тихо сказала тетушка.— Вы, друг мой, устали и кашляете. Позвольте, я уж сама съезжу на станцию. Право, мне даже полезно освежиться,— сижу здесь, сижу, совсем засиделась.

Африкан Ильич, выставив челюсть, медвежьими глазками уставился на тихую, но не робкую тетушку, и неизвестно, чем бы кончился спор их, но в это время неожиданно к дому подъехал экипаж.

Все обитатели поспешили на крыльцо. Африкан Ильич, с папиросой, сощурив один глаз, стоял — руки в карманы; за спиной его шушукались четыре простоволосые девчонки в красных кофтах; а тетушка, пожимая, точно от холода, узенькими плечами, добренько улыбалась,— глаза ее совсем сморщились.

Из тележки, ухватясь рукой в лайковой перчатке за козла, тяжело вылез Николушка, в верблюжьем армяке, и, расставляя по-кавалерийски ноги, поспешил в тетушкино объятие.

На высоких подушках сидела Настя, худая красивая женщина, с маленьким бледным лицом и серыми, как серое стекло, удивленными глазами. Тетушка подошла к плетушке, протянула руку молодой женщине:

— Ну вот, привел бог увидеться. Милости прошу.

Тогда Настя, поспешно одернув платье, выпрыгнула на лужок.

— А уж мы заждались,— говорила тетушка, ведя приехавших в приготовленные им комнаты, откуда испуганно выскочила Машутка с двумя ведрами.

Африкан Ильич шел сзади и хрипел:

— А мы-то ждали,— и к завтраку и к обеду. И обед был хороший, и весь его съели...

3

Николушка ходил по комнате тяжелой кавалерийской походкой, разводил руками и поднимал плечи. Розовое, с полным ртом и изломанными бровями, лицо его

было бы красиво, если бы не легкая одутловатость щек и не беспокойство в глазах, больших и серых. Говорил он много и красноречиво.

— Моя душа опустошена, жизнь исковеркана и разбита. На моих плечах — существо, которое я люблю, существо беспомощное и усталое. Мы погибали, тетушка. Вы протянули нам руку. Теперь, среди этих дедовских стен, я чувствую прилив энергии. Я верю в будущее.

Взволнованная тетушка сидела в кресле. Позади нее сильно дымил папиросой Африкан Ильич... Настенька приютилась в тени, за кроватью.

— Тетушка, научите меня жить, научите работать, и вы спасете и меня и эту бедную женщину.

Тогда Анна Михайловна взяла Николушку за руку, посадила рядом с собою и некоторое время молчала.

— Николай,— сказала она наконец,— знаешь ты, что такое земля?

Николушка удивленно взглянул на нее и покусал губы.

— Вот то-то, что не знаешь. У вас в городе по земле-то, чай, никогда и не ходят, все по камням. А вот деды твои, Николушка, с земли-то никогда не съезжали. Бывало, в город Симбирск собраться,— комиссия: раз или два в год, не более того, и ездили,— на выборы или насчет закладной, или продажи... А о скуке или безделье — и думать-то было стыдно. Земля — твоя колыбель,— из нее вышел, к ней и вернись...

Николушка, глубоко вздохнув, опустил голову. Сидеть ему около тетушки было неловко, и, кроме того, подкуривал сбоку Африкан Ильич крепким табаком.

— Ты не смотри, что именье у нас разоренное,— все дела поправим. Об этом заботится Африкан Ильич не покладая рук, и большое ему от всего нашего туреневского рода спасибо. А вот ты покуда примись за дела небольшие, побочные. Можно раков ловить и делать из них консервы, пойдут в столицы,— дело верное. Или грибы можно сажать — дорогие сорта. Или разводить зайцев: мясо употреблять в пищу, а шкуру — за границу, там, говорят, русский заяц в большой цене,— из

него горностай выделывают; правду я говорю, Африкан Ильич?

— Истинную правду, ваше превосходительство.

— Дела найдешь много, была бы охота. А лет через двадцать подрастет наш лесок — станем тогда на ноги. Примись, примись за дело, друг мой,— и именье спасешь и сам человеком станешь. Вот Соловьев — философ так же, как и ты, в молодости неверующий был, а потрудился и в бога уверовал...

Тут тетушка, сильно взволновавшись, поднялась с кресла:

— В бога уверуешь! Теперь такая мода, что никто в бога не верит. А я говорю — есть бог!

При этих словах Анна Михайловна сильно стукнула ладонью по комоду. Африкан Ильич закутался дымом.

Некоторое время все молчали. Затем, без стука, дверь отворилась, и в комнату вошел длинный, как жердь, поп Иван, в парусиновом грязном подряснике, не спеша оглядел новоприехавших и ухмыльнулся большим ртом; при этом у него под редкими усами открылись желтые, как у старой лошади, зубы. Да и лицо его все походило на кобылье—с тяжелой челюстью и длинной верхней губой. Только темные глаза были прекрасны, но он нарочно придавал им сатирическое выражение, что происходило скорее от смущения, чем от насмешливости.

— Однако,— сказал поп Иван,— накурено! — И вслед за этими словами в комнату словно влетела, как розовая бабочка, его племянница Раиса, в розовом платьице, вся в мелких светлых кудряшках.

— Ай да девица! — сказал Африкан Ильич и густо закашлялся.

Гости поздоровались,— поп Иван подавал руку лопатой, Раиса — кончики пальцев. Затем сели. Тетушка проговорила:

— Вот, батюшка, и прилетели птенцы назад в гнездо. Николушка с женой к нам — на всю зиму.

— Одобряю,— сказал поп Иван.— Позвольте узнать все-таки, какие причины побудили вас на такой необыкновенный шаг?

— Ну и язва, поп,— захохотал Африкан Ильич.

Николушка, скромно опустив глаза, ответил, что приехал сюда учиться труду — работать.

— Полезно,— сказал поп Иван, щурясь и показывая лошадиные зубы.

— Исполняя волю Анны Михайловны, я сделаю попытку еще раз подняться. Вот,— Николушка протянул руки,— я смогу пойти за сохой. Но в душе моей останется вечная ночь. Я слишком знаю жизнь, чтобы еще чему-нибудь радоваться.

При этих словах Раиса открыла ротик и глядела на Николушку, как зачарованная птица. Наступило молчание, и вдруг в тени за кроватью громко засмеялась Настя. Поп Иван удивленно повернул к ней лошадиную голову, у тетушки затряслась папироска у рта. Николушка воскликнул сердито:

— Тебе нечему смеяться. Глупо!

Тогда поп Иван, кашлянув, заговорил:

— Уважаемая Анна Михайловна не раз в беседах высказывала мнение, что человек, трудясь, естественно доходит до понимания божественного промысла, то есть начинает верить в бога. Согласен, но отчасти. На прошлой неделе шел я по земскому шоссе, близ того места, где поденные рабочие бьют камень. И слышу,— сидят каменщики на камнях и сквернословят, понося не только подрядчика, но и господа бога. Поэтому, соглашаясь с Анной Михайловной о пользе труда, принужден добавить — не всякого.

— Ну и философ! — воскликнул Африкан Ильич, крутя папиросу и откашливаясь до того, что весь побагровел.

Из-за двери тоненький голос Машутки позвал:

— Анна Михайловна, кушать подано.

4

После ужина Николушка вышел в сад, глубокий и сырой под ясным месяцем, настроившим меланхолично томные голоса древесных лягушек. Резко и нахально врываясь в их хор, кричала квакуша, охваченная любовной тоской. На поляне, уходящей вниз, к реке, путался в траве туман.

Николушка вошел в полусгнившую беседку над заводью, куда каждую весну подходила Волга, и, чиркнув спичкой, спугнул бестолково завозившихся под крышей голубей.

Отсюда видны были поемные луга с клубами тумана над болотами, черная груда ветел у мельничной запруды и далеко, на самом горизонте, высокая, сияющая местами, как чешуя, длинная полоса Волги.

Вдыхая ночной запах травы, земли и болотных цветов, Николушка вспоминал давнишнее. И то, что было, и то, что, быть может, видел он во сне — ребенком,— сплеталось неразрывно в грустные и прозрачные воспоминания.

Вспомнилось, как в этой беседке сидела его мать, в темном платье, пахнущем старинными, каких теперь не бывает, теплыми духами. Николушка так ясно это припомнил, что сквозь болотный запах лютиков, казалось, шел к нему этот забытый аромат. Мать обняла его за плечи, глядела, как играет вдали под лунным светом серебряная чешуя реки. Николушка спрашивал шепотом: «Мама, правда, мальчишки мне говорили, будто у нас в саду живет маленький-малюсенький старичок и продает ученых лягушек — по копейке за лягушку?»

«Не знаю — может быть, и живет такой старичок»,— отвечала матушка, и на щеку Николушки падала слеза горячей каплей.

«Мама, ты плачешь?»

«Не знаю, кажется».

И в эту минуту маленький Николушка увидел под крышей беседки, на перекладине, не то птицу, не то маленького старичка, который, нагнув вниз птичью головку, смотрел на него.

Николушка невольно поднял голову к крыше беседки... Да, да, вот и перекладина, где он в далеко ушедшем тумане детства видел странную птицу. Николушка вздохнул и, облокотясь о балюстраду, продолжал глядеть на туманные очертания деревьев, на сияющую полосу вдали. И вспомнил опять... Вот, уже в городе, он сидит с ногами на диване перед горящим камином и смотрит, как, легко потрескивая, пляшут желто-красные язычки. Вдруг — звонок, и через едва

освещенную камином гостиную проходит дама, шурша широким шелковым платьем. В дверях кабинета стоит отец, высокий, худой, с орлиным носом и глубоко запавшими глазами.

— Как вы добры,— говорит он вошедшей даме странным, враждебным Николушке голосом,— как вы добры! — И он и дама скрываются за дверью. У Николушки от сладкого ужаса бьется сердце, его тянет к той двери. Он слышит шаги отца, его глухие, отрывистые слова и торопливый шепот дамы... Что-то падает на пол. Наступает молчание, затем — задушенный вздох и звук поцелуя.

Николушка стискивает горло руками, хочет закричать, убежать, зарыться с головой... Но из другой двери ему кивает мать, вся в черном, как монашка, покинутая, бледная, ужасная. Ее внезапно так делается жалко,— Николушка бросается к ней, обхватывает ее ноги...

— Иди, иди отсюда, нельзя слушать,— говорит мать и увлекает Николушку в спальню...

Там, перед образницей во всю стену, зажжено несколько восковых свечей, стоит низкий стул с высокой спинкой для положения лба,— здесь на коленях долгие часы молится мать. Под платьем у нее,— если потихоньку тронуть пальцем,— железные прутья — вериги.

— Никогда, слышишь ты, никогда не смей подслушивать,— порывисто шепчет мать,— твой отец — страстной, огромной души человек, не тебе его судить!

Мать ставит Николушку рядом с собой на колени, и он глядит, как идут пушистые, длинные, желтые лучики от свечей. Здесь пахнет воском, лекарствами, тепло, томно и скучно...

Так растет Николушка между образницей и кабинетом, куда забегает потихоньку со страхом и жадностью посмотреть на портрет прекрасной дамы в красного дерева раме, потрогать необыкновенные вещицы на письменном столе, понюхать, как остро и удивительно пахнет окурок сигары.

Однажды Николушка поднял с ковра женскую перчатку, от непонятного волнения поцеловал ее и спрятал под курточку.

И часто, часто видел во сне какую-то узкую пустын-

ную улицу, залитую мертвенным светом, и вдали — фигуру прекрасной женщины... Он бежит за ней, подпрыгивает и, быстро перебирая ногами, летит над тротуаром. Сердце тянется, заходится, но фигура ускользает все дальше — не догнать.

Николушка шумно вздохнул. Голубь, задевая за ветки, вылетел из-под крыши. Невдалеке послышались негромкие голоса тетушки, Насти и Раисы.

5

— Меня ужасно поразило, как он говорит,— услышал Николушка тоненький голос Раисы.— Ах, Анна Михайловна, я ведь очень мало что видела, и мне сделалось так интересно... так интересно... Особенно, когда сказал: «Я все испытал в жизни, в душе моей вечная ночь»,— у меня что-то в сердце оборвалось.

Николушка видел, как женщины подошли к скамейке, тетушка и Настя сели, а тоненькая Раиса осталась стоять, оглядываясь на далекий свет окна.

— За последнее время у меня сердце стало постоянно биться,— продолжала она говорить,— по правде сказать, дядя Ваня стал очень сердитый. По ночам читает, ходит, стучит... Или примется говорить так страшно громко,— слушаю, слушаю, да и заплачу. Плохо живем.

Тетушка засмеялась, притянула к себе Раису, поцеловала ее и посадила рядом.

— Вы все такие хорошие, Анна Михайловна... И всех жальче мне Николая Михайловича стало сегодня...

— Смотрите, не влюбитесь,— с усмешкой сказала Настя.

И сейчас же тетушка проговорила деловито:

— Идемте-ка, Настенька, спать,— вот вы и чихаете. И вы тоже, Раечка, марш, марш — спать.

— Анна Михайловна, я бы еще посидела, уж очень здесь приятно. Дядя Ваня позовет меня, когда домой идти. Можно?

Тетушка, опять засмеявшись, поцеловала ее и ушла, увела Настю.

Тогда Николушка усталым шагом вышел из беседки. Раиса увидела его, ахнула, поднялась было со скамейки и опять села.

— Любуетесь ночью? — сказал Николушка, опускаясь рядом с девушкой, и подпер подбородок тростью.— Дай бог вам никогда не знать горя. Да, я завидую такой юности. Сколько прекрасных мечтаний впереди. Завидуешь красивой жизни и страшишься — неужели и она разобьется, упадет в грязь.— И он незаметно покосился на Раису. Она сидела, закусив березовый листик, опустив глаза...

— Расскажите вашу жизнь,— едва слышно прошептала Раиса.

— Рассказывать мою жизнь?.. Всю грязь, в которой я утопал, все пороки, унесшие мою молодость!.. Нет, вы не должны этого слышать. Мне бы хотелось теперь участия светлой, чистой женщины,— спасти, быть может, сохранить остаток живой души.

— Господи, что вы говорите!

— Да, этот лунный свет, вся эта красота не для меня. Мне двадцать восемь лет, но жизнь — кончена...

Он опустил голову. От дома позвал Настин голос: «Николай, иди спать...»

Николушка поднял голову и горько засмеялся.

— Вот он — мой жернов на шее. Что мне ждать,— ну, конечно — вниз головой на дно. Прощайте.

Он взял Раисину холодную маленькую ручку, стиснул ее, безнадежно кивнул головой — и зашагал к дому по дорожке, пятнистой от лунного света.

Сейчас же позвали и Раису. Поп Иван повел ее через ограду старой церкви по полю, прямой дорогой; шел, размахивая руками и опустив голову, фыркал носом, затем спросил:

— О чем говорила с этим, как его?..

— Николай Михайлович такой несчастный.

— Ага! Ты плакала, кажется?

— Ничуть не плакала. Стыдно вам, дядя Ваня, смеяться. Учите, что людей любить нужно, а сами о них так отзываетесь.

— Как отзываюсь? Я тебе ни слова о нем не сказал.

— И без того понятно...

— Ничего тебе не понятно,— сказал поп Иван, отворяя калитку своего палисадника, сплошь заросшего левкоями.— И ничего тебе не понятно...— И он замолчал, глядя туда, где между огромными спящими тополями были видны дымные луга, и зыбь месяца на воде, и редкие ночные облака, как барашки, набегающие на небо перед рассветом.— И ничего тебе, Раиса, не понятно.

Тетушка Анна Михайловна, морщась от папиросного дыма, стояла в комнате, приготовленной для молодых, перед двумя большими кожаными сундуками — остатками Николушкина благополучия, и раздумывала, что хорошо бы все это сжечь.

«На какие деньги куплено! Тряпки, притирания — грязь одна,— заживешь тут по-новому...»

— Ну, вот, нашли шатуна,— сказала она Насте, вошедшей вместе с Николушкой из сада.— А ночи-то, ночи какие у нас — чудные. Особенно в разлив — до свету не уйдешь с балкона.

Тетушка простилась, поцеловала обоих, покрестила и, уже совсем собираясь уходить, спросила вдруг деловито:

— В сундуках-то что?

— В этом платья вечерние и визитные, а в том — обувь, шляпы и Колины вещи.

— К чему вам это все теперь? — спросила тетушка.— Разве здесь станете наряжаться? Пожгли бы эти вещи, право, а? Тебе, Николушка, отличный дедовский сюртук приспособим, а вам, Настенька, можно перешить платья шелковые, старинные,— у меня их поискать — так много найдется. А, ну-ну, ладно, спите, потом поговорим...

И тетушка, виновато улыбаясь, ушла. Замкнув за нею дверь, Настенька, привычным движением — руки в бока, подошла к Николушке и проговорила:

— Ты что же это,— девчонке выдумал голову морочить? Думаешь — не знаю, как ты плакался перед ней? Все подлые слова твои знаю,— она ткнула его в лоб пальцем.— Этого, милый дружок, я не допущу в порядочном доме.

— Не смей меня тыкать в лоб,— сказал Николушка мрачно.

— А хочешь — сейчас все лицо твое паршивое расцарапаю...

Николушка зашел за кровать и, посматривая, как надвигается на него Настя, вдруг крикнул громко:

— Слушай, если ты сейчас не отстанешь — я тетку позову.

6

Сидя на высоком стуле перед конторкой, тетушка сводила счета по объемистым книгам, заведенным еще лет пятнадцать тому назад покойным братом Аггеем.

Брат Аггей был необыкновенно ленив и обычно целые дни проводил здесь около конторки, лежа на клеенчатом диване, и либо ничего не делал, либо читал роман Дюма-отца «Виконт де Бражелон», причем, когда доходил до конца, то начало как будто забывалось, и он опять читал книгу сызнова. А если во время этого занятия в окошечко, проделанное из конторы, стучал ногтем кто-нибудь, пришедший по делу, Аггей говорил, грузно поворачиваясь и скрипя пружинами:

— Ну, что тебе нужно, послушай? Пошел бы ты к приказчику, видишь — я занят...

Сегодня, против обыкновения, тетушка считала невнимательно — ошибалась.

— Сто двадцать три рубля шестнадцать копеек,— держа перо в зубах, щелкала она счетами,— шестнадцать копеек. Ах, боже мой, что-то будет, что-то будет?

В контору в это время вошли, стуча сапогами и снимая шапки, мужики, пять человек, старинные приятели тетушки. Она отложила перо и приветливо поздоровалась.

— Ну, что, мужики, хорошего скажете?

— Да вот,— сказал один из мужиков, лысый и пухлый,— мы к вам, Анна Михайловна,— и покряхтел, оглядываясь на своих.

— Если насчет лугов, мужички, цену последнюю я сказала. Уступить ничего не могу, разве рубля три, как хотите...

— Нет, мы не насчет лугов,— опять сказал первый,— с лугами — как порешили, значит, так и стоим, обижать вас не будем... Нет, мы насчет вот этого...

Он замолчал, помялся; помялись и остальные.

— Да вы о чем говорите-то, я не пойму? — спросила тетушка.

— Ребята наши озоруют, Анна Михайловна, спалить собираются.

— Кого спалить?

— Да вас, Анна Михайловна. Зачем же мы и пришли к вашей милости. Вы уж не обижайтесь,— на этой неделе и спалим.

— Это верно,— сказали мужики,— так и порешили — в пятницу или в субботу Анну Михайловну жечь.

Тетушка облокотилась о конторку и задумалась. Мужики кряхтели. Один, ступив вперед и отворив полу сермяжного кафтана, вытер ею нос.

— Гумна палить или дом? — спросила, наконец, тетушка.

— Зачем дом, оборони бог,— гумна.

Самый старый из мужиков, дед Спиридон, облокотился на высокую палку и, слезясь воспаленными веками, глядел на тетушку, весь белый, с тонкой шеей, обмотанной раз десять шерстяным шарфом.

— С батюшкой вашим, Михайлом Петровичем, на охоту я ходил,— проговорил он натужным, тонким голосом,— волка тогда убил батюшка ваш. Бывало, скажет: «Приведи, Спиридон, мне коня, самого резвого...» Вскочит на него, и — пошел... Да, я все помню,— он пожевал лиловыми губами,— и дедушку вашего, Петра Михайловича, помню... Все помню...

— Чайку приходи ко мне попить, Спиридон,— сказала тетушка ласково,— давно мы с тобой по душам не толковали...

— А я приду, приду, Анна Михайловна... Вот Михайлу Михайловича, прадеда, того не помню...

— За что же вы, мужики, такую мне неприятность хотите сделать,— вздохнув, проговорила тетушка и карандашом провела вдоль разгиба книги,— чем я провинилась перед вами?

— Да мы разве сами-то по себе стали бы озорничать,— заговорили мужики,— на прошлой неделе в деревню листки какие-то принесли, ребята листки читали, ну — и обижаются... Так, говорят, и в листках написано, чтобы беспременно господ — жечь.

После этого поговорили о лугах, о сенокосе, о запашке на будущий год, и мужики, простившись, вышли, оставив в комнате крепкий дух овчины и махорки. Тетушка сидела пригорюнясь. Когда вошел Африкан Ильич, заспанный и в расстегнутом жилете, она не спеша рассказала ему, по какому делу приходили мужики.

— А пускай их жгут — гумна застрахованы,— широко зевая, ответил Африкан Ильич.

— Мне не то горько, друг мой, а отношение.

— Добротой, ваше превосходительство, добротой до этого мужиков довели. Станет на него Анна Михайловна жаловаться,— жги ее во все корки. А я вот сейчас к становому поеду.

— Нет, вы не ездите, Африкан Ильич.

— Нет, уж вы извините, я поеду.

— Я бы очень просила вас не ездить.

Тогда Африкан Ильич расставил ноги и стал орать на ее превосходительство. Но все-таки не уехал. И тетушка, сказав напоследок: «Так-то, ради гнилой соломы нельзя живого человека губить»,— попросила его позвать в контору Машутку.

Маша прибежала и стала близ тетушки, положив загорелую руку на конторку.

— Звали, тетинька?

— Вот что,— погладив ее, сказала Анна Михайловна,— ты помнишь, что бог всегда знает, кто правду говорит, кто лжет, и за неправду наказывает?

— Помню,— весело ответила Машутка.

— Ну, так вот,— знаешь, а как ты поступаешь?

— Разве я врала чего, тетинька?

— Нет, не врала, конечно. А вот что... О чем ты с молодым барином нынче утром говорила? А?

Машутка опустила глаза и ногтем зацарапала конторку.

— Николай Михайлович спросил — сколько мне лет...

— Что же ты ему ответила?

— Шашнадцать...

— Еще что?

— А еще спросил — есть ли у меня полушалка шелковая...

— А на это что ты ему ответила?

— Сказала, что полушалки нету.

— Ну, вот что,— проговорила тетушка строго,— молодой барин с тобой все шутит... А ты ему не надоедай, часто на глаза не попадайся. Поняла?

И Анна Михайловна, закрыв конторские книги и отпустив Машутку, долго еще, покачивая головой, глядела, как за окном в сирени возятся и пищат серые воробьи. «Ох, трудно мне будет, трудно с ними со всеми»,— думала она.

Когда Анна Михайловна выходила из конторы, в дверях с ней столкнулся Николушка и голосом выздоравливающего человека проговорил:

— Тетя, дайте же мне работу, ради бога...

— Какую тебе, батюшка, дать работу? Отдохни сперва, отъешься...

— Я видел, у вас наверху — библиотека... Вот ее бы взять и привести в порядок.

— Удружишь, друг мой, вперед говорю — спасибо. Еще дед твой покойный все собирался разобрать книги... Сейчас народ к тебе сгоню,— обрадованная тетушка поспешила распорядиться насчет людей.

7

В библиотеке было навалено на пол-аршина пшеницы; пыль густо покрывала шкафы, стекла, карнизы; на поверхности столов расходились следы мышиных лапок.

Матвей-кучер и девчонки лопатами погнали пшеницу из библиотеки в залу. Поднялось густое облако пыли; лица у всех стали серыми; бегали по пахучему зерну потревоженные мыши; в открытых гнездах шевелились розовые мышата; испуганный голубь летал под

потолком, задевая крыльями поломанную хрустальную люстру.

— Довольно,— сказал Николушка, вытирая потное лицо,— подметите теперь и ступайте...

В библиотеке открыли окна, и влился в заплесневелую комнату травянистый воздух вечера. Николушка, стоя на лестнице, открыл узкую дверцу первого шкафа,— оттуда легко посыпалась труха съеденных мышами книг.

— Ай! — крикнула, отряхиваясь, Машутка.

Николушка обернулся, девушка стояла под лестницей, поглядывая исподлобья на молодого барина.

— Ты зачем тут? — сказал Николушка и, захватив обеими руками труху, бросил ее в Машутку.— А это видела?

— Только подмели, барин, а вы сорите,— сказала Машутка, махнула косенкой.

— Дай-ка я тебя отряхну.

Сойдя на несколько ступеней, нагнулся он и, растрепав Машутке волосы, легонько ущипнул ее за шейку под круглым подбородком.

— Вот барыне пожалуюсь,— шепотом сказала Машутка, но не отошла.

Николушка рассмеялся и, открыв второй шкаф, где не хозяйничали мыши, с трудом вынул из плотной кипы книгу в желтой коже с золотом.

— Что с книжками-то сделаете? — спросила Машутка.

— Читать, глупая, буду. Вот слушай: сочинение Еккартгаузена — «Семь таинств натуры». А вот «Путешествие Анахарсиса Младшего». Поняла? А вот,— Николушка сошел с лестницы и сел на нижнюю ступень, читая: — «Неонила, или Распутная дщерь».

— Чего это?

— Слушай... «...погубивши в своем жестоком распутстве благородного кавалера виконта де Зарно, тщеславная продолжала гнусные козни, противные столь же людям, сколь и творцу, создавшему сию мерзкую тварь...»

Машутка, рассматривая картинку, изображающую Неонилу, без рубашки, в постели, лицом вниз, и каме-

ристку около, приготовляющую аппарат для облегчения желудка, и в дверях кавалера де Зарно, придвинулась и дышала Николушке на щеку...

— «...но обладала распутная,— продолжал читать Николушка,— столь совершенной красотой, что не было земнородного, коий мог бы противопостоять оному соблазну...»

Машутка дышала так близко и коса ее касалась лица так нежно, что Николушка, взглянув в простенькие глаза девочки, привлек ее и поцеловал в полуоткрытые холодноватые губы.

Случилось так, что тетушка, желая освежить пыльную залу, отворила балконную дверь и, войдя, увидела Машутку, перекинутую назад, с руками, упирающимися в плечо Николушки, и его, охмелевшего в поцелуе; кругом же — брошенные книги. Тетушка вскрикнула... Машутка, ахнув, убежала. Николушка же принялся сильно тереть нос.

— Николай! — в волнении ходя по библиотеке, говорила тетушка,— Маша взята мною на полную ответственность, ей шестнадцать лет. Ты понимаешь?.. Я знаю, человек ты молодой, кровь у тебя кипит, Машутка красавица... Да что в самом деле, мало тебе одной бабы! Да как ты догадался только так устроиться... Поклянись сию минуту перед крестом,— тетушка вынула из-под кофточки связку образков и крестиков,— на кресте поклянись не трогать Машутку. Не выпущу, пока не дашь честного слова.

Испуганный Николушка поклялся, и тетушка отвернулась к окну, где в зелени берез, скромный и старенький, горел в закате крест туреневской церкви. В саду гуляли Настя и Раечка.

Охватив Раису углом пуховой шали за плечи, Настя говорила, близко наклоняясь к девушке:

— Вы ему ни словечку не верьте, миленькая... Он мастер чудеса плести: таким несчастненьким представится,— послушаешь его, послушаешь и заревешь, как дура... Я ведь его весь характер, как стеклышко, знаю... без разговоров — никак не может, такая у него природа. Для этого мы ведь и сюда приехали, чтобы разговаривать...

— Нет, я про то говорю, что несчастный,— сказала Раиса.

— Это он-то несчастный?.. Ах вы, милая, совершенный ребенок... Какой же он несчастный, когда бабы кругом него так и вертятся.— Настя при этом фыркнула носом.— Когда я-то его подобрала,— в него старая женщина, понимаете, влюбилась, и он ее всю обобрал и выгнал, милая, выкинул из дому...

Раиса отвернула лицо и некоторое время шла молча. Настя искоса поглядывала на нее, потом быстро расстегнула рукав на кофточке, открыла руку до локтя:

— Вот, полюбуйтесь, как он со мной поступает... Вы видите — шрам ужасный, через всю руку...— Она, почти со слезами, прижалась ртом к розоватой полоске у локтя, пососала ее и сердито одернула рукав.— Этого шрама ему до смерти не прощу... озвереет, ему — что человек, что собака... По нему каторга давно плачет... Я на него когда-нибудь в суд подам...

— Господи,— вскрикнула Раечка,— что вы мне говорите...

— А вам-то что? Жалко его?

— Не знаю... Неправда все, что вы говорите... Я знаю, что вы нарочно мне говорите...

— Так вы, значит, влюбились... Вот что! Так бы вы мне сразу и сказали... Значит, у нас теперь другой разговор начнется...

Настя уже давно оставила Раисино плечо и теперь уперла руки в бока, сощурилась, но продолжать разговора ей не пришлось. Раиса быстро села на лавочку, нагнулась к коленям, закрыла лицо ладонями и молча вздрагивала плечами...

Настя глядела на нее, морща нос: плечики у Раисы были худенькие, и вся она, как цыпленок... Настя закурила папироску, глубоко затянулась несколько раз, швырнула ее в траву и, стремительно сев около девушки, обхватила ее за плечи:

— Слушайте... Не ревите вы из-за этого черта... Я вам все равно его не отдам, это вы сами знаете... А отдала бы — так вы все глаза через него проревете. Ладно вам в самом деле...

8

Николушку отправили в лес — проветриться. Узнав о том, что мужики собираются тетушку сжечь, он раскричался, вооружился дробовым ружьем, наведя этим великого страху на всех девчонок на кухне, и тетушке стоило больших трудов его уговорить — отказаться от расправы с мужиками. Ружье она отобрала и сказала:

— Вот бы в самом деле съездил, друг мой, осмотрел наши владения. Лес посмотри: Африкан Ильич уверяет, что через пятьдесят лет этот лес будет золотым дном.

Николушке подали к крыльцу тележку, дребезжащую так, будто она была и кузницей в то же время. Тетушка проводила его до ворот:

— Ступай, ступай, батюшка, просвежись...

Околица оказалась закрытой. Николушка долго кричал, чтобы ему отворили. Наконец из соломенного шалаша вышел согнутый ветхий старичок, снял шапку и глядел на проезжего.

— Эй, дед, отворяй! — сердито закричал Николушка.

— Сейчас, сейчас отворю,— старичок неторопливо снял лыковую петлю и отворил заскрипевшую на разные голоса околицу.— Откудова ты, милый?..

Николушка, не ответив, ударил вожжами и покатил под горку, и долго вслед ему глядел старичок,— плохо видел, а слышать — давно уже не слышал...

Лес, про который говорил Африкан Ильич, действительно был когда-то, при дедах Туреневых, могучим, мачтовым бором. С осени отборные мачты перекручивались у комля проволокой, чтобы дерево набухало смолой, делалось крепкое, как железо,— янтарное, и в январе их рубили. Но теперь Николушка, поминутно вывертывая вожжу из-под репицы ленивой лошаденки, мотающей головой на слепней, увидал лишь тощую сосновую поросль да чахлый, вдоль овражка, орешник, общипанный крестьянскими лошадьми, которые при виде едущего запрыгали на спутанных ногах подальше от дороги.

— Эй, молодой человек, где здесь туреневский

лес? — спросил Николушка у подпаска — мальчика, сидевшего, подпершись на пне...

— Чего?

— Лес, я у тебя спрашиваю, где, дурак... Наш лес...

— А вот он лес,— сказал мальчик, сдвигая шапку на нос.

Николушка дернул плечами, доехал до того места, где лесок был погуще, замотал вожжи за облучок и, с трудом вылезши из тележки, пошел по мягкой похрустывающей хвое — лесному ковру. Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль, шумел печально ветер над головой, по синему небу плыли облака. Николушка в тоске перелез через овраг, заросший папоротником, и лег на пригорке, закинув под затылок руки...

Ах, навсегда ушли хорошие времена — бессонные ночи, огни проспектов, снег, запах духов и меха, наслаждение тончайшего белья и скользящей шелком черной одежды... Настежь распахнутые привычно испуганным швейцаром хрустальные двери в ресторанный зал, где сразу все нервы натягивает музыка и играет на них пьяными пальцами... Огни люстр, сверкающие камни, теплая прелесть женских плеч... Запотевшее ведро и золотое горлышко, покрытое снежной салфеткой... Пьянящий гул голосов... И в дымной мгле исписанного алмазами зеркала — красные фраки, летящие смычки, цветы и темные, как мрак души, встревоженной музыкой, черным кофе и сумасшедшим желанием,— глаза женщины...

Николушка зажмурился, замотал головой — и сел в траве; кругом — пни, чахлые елочки, шумит хвоя над головой... Уныл был туреневский лес... Господи, господи, и здесь — коротать дни!..

Николушка перевернулся на живот и грыз травинку. Скверная вещь уединение, да еще — в лесу, в жаркий полдень... Воспоминания прошлого лезли Николушке в голову,— вспоминались минуточки, от которых вся кровь закипала... Взять бы такую минуточку и туда,— в сумасшедшие зрачки глаз, в шорох шелковых юбок, в темноту женского благоухания,— вниз головой, навек... Перед самым лицом Николушки в траву упала с дерева шишка... Он раскусил травинку и усмехнулся:

«Тетушка Анна Михайловна в бумазейной кофте, со своими мышами и религиозными вопросами... Африкан Ильич, храпящий на весь дом после обеда... Комнаты, заваленные пшеницей, книги, съеденные мышами... Настенька, знакомая до последнего родимого пятнышка... Бррр!.. Будни... Поди воспрянь, работай!.. Ни один человек не воспрянет в такой обстановочке... Болото!..»

Совсем близко, за елью, хрустнул сучок. Николушка поспешно обернулся и сквозь ветки увидел розовое платье Раечки... Край этой ситцевой юбочки словно махнул ему из безнадежной мглы... Николушка вскочил, одернул поддевку и подошел к Раисе,— она спиной к нему, нагнувшись, шарила рукой во мху. Он тихо позвал ее. Она выпрямилась, взглянула, ахнула и уронила из рук гриб...

— Вот, приехал посмотреть на наше запустение,— сказал Николушка,— а вы что делаете?..

— Грибы ищу,— ответила Раечка, словно с перепугу, тяжело дыша,— вот набрала грибов, все белые, боровики...

— Хорошие грибы... Значит, вы любите грибы?..

— Еще бы...

— А я городской житель... Не умею их собирать, наберу еще поганок...

Раечка вспыхнула, залилась румянцем и засмеялась, немного закинув голову, открыв ровные зубки... Николушка едва мог отвести взгляд от ее нежного горла.

— Пойдемте уж вместе,— сказал он,— как-нибудь помогу вам...

— Ах нет, Николай Михайлович, это для вас совсем не подходящее занятие.

— Почему же для вас подходящее, а для меня вдруг не подходящее?..

— Ну, вы такой — столичный,— сказала Раечка, перекинула с груди на спину косу и пошла...

Николушка шел рядом с ней, нахмурясь, горько сжав рот...

— Ах, Раиса, вы напомнили мне о самом больном,— сказал он после некоторого молчания,— лучше не будем говорить обо мне... Эх, все равно, туда и дорога,— он

на ходу сломал сухую ветку, разломал ее и отшвырнул,— моя жизнь кончена...

Раиса быстро нагнулась, взяла грибок и сунула его в корзиночку под кленовые листья...

— Люди слишком много мне нанесли зла,— растоптали в моей душе все святое... Что ж — буду жить здесь, забытый, никому не нужный... И жить-то мне осталось недолго с моей печенью... Пусть!.. Да иногда — гляжу вот так — и жалко,— почему я не крестьянин, здоровый, беззаботный, с топором в руках,— рублю огромные сосны, летят щепки...

— Перестаньте, Николай Михайлович,— чуть слышно проговорила Раечка, и он увидел, что глаза ее зажмурены и ресницы — мокрые...

— Раиса, Рая, девушка моя,— крикнул он пылким, самого его удивившим голосом,— вам жаль меня?.. Сердце мое родное!..— И схватил ее за дрожащие, холодные, маленькие руки.— Да? Да?.. О, помогите мне...

— Чем же я могу помочь, я такая глупая, Николай Михайлович...

— Любите меня!

Эти слова вырвались у Николушки в неудержимом порыве, сами собой. Раиса до того растерялась, что бросила лукошко с грибами, раскрыла ротик, слезы на ее синих глазах сразу высохли...

— Любите меня,— повторил Николушка и, опустившись на колени, обхватил Раису, поднял к ней взволнованное лицо.— Вы можете спасти меня... Вы спасете меня... С первой минуты, как только вы вошли — светлая, невинная, вся розовая,— я понял — сойду с ума... Или — вы, или — смерть...

Часа два спустя Николушка бегал по темному коридору и, растворяя двери, кричал в пустые комнаты:

— Тетя... Тетя же... Анна Михайловна, где вы?..

— Кто тебя, батюшка, укусил? — проговорила, наконец, тетушка, высовываясь из дверей угловой, сундучной комнаты...

— Мне необходимо с вами говорить...

— Господи, помилуй... Да на тебе лица нет!

Решительным шагом Николушка вошел в сундучную, полутемную комнату, где пахло мехом, нафтали-

ном и мышами, не снимая шапки, сел на сундук и ненавидящими глазами уставился на Настю, которая стояла у окна, у кресла, где они разговаривали с тетушкой...

— Уйди, Настя,— проговорил Николушка и вдруг бешено топнул ногой,— уходи, тебе говорят...

— Ты белены, что ли, объелся, дружочек? — спросила Настенька, внимательно следя за его взглядом.

Николушка вскочил, но сел опять. Анна Михайловна с недоумением поворачивала голову то к Николушке, то к Насте.

— Если эта женщина не уйдет, я за себя не ручаюсь,— сказал он, глотая слюну.

Настя поджала губы, спрятала руки под косынку и вышла...

— Анна Михайловна,— заговорил Николушка, обхватив руками голову,— тетушка... Вы хотите, чтобы я стал человеком... Вы хотите, чтобы я стал молод, здоров, честно зарабатывал деньги... Но, покуда около меня эта женщина, я — труп... Она тащит меня в бездну... Она, она виновата в моем позоре...

— Подожди, Николай,— перебила тетушка дрогнувшим от страха голосом,— говори по-человечески... у меня голова кружится... Что случилось?

— Тетушка, я женюсь на Раисе!..

9

В тетушкиной спальне пахло валерьяном. Анна Михайловна сидела в кресле, повесив нос, голова ее была обмотана компрессом. Около нее — Африкан Ильич, помалкивая, вздыхал и курил. Изредка вздыхала и тетушка.

Было после обеда, то время, когда по усадьбам и деревням дремлют куры и собаки, похрапывают люди в тени забора, в сараях, в каретниках; мальчуган какой-нибудь сидит на куче золы, в завязанной узлом на спине рубашонке, и сладко зевает, держа в грязном кулаке заморенного воробья; а где-нибудь в избе молодайка, на сносях, поет однообразно,— перед ней чашка с теплым квасом, по столу ходят мухи, тошно пахнет луком,

сквозь засиженное окно виден все тот же амбар и желтый выгон... Сосет под сердцем у молодайки, негромко растягивает она слова песни, под окном слушает ее свинья, отмахивая искусанным ухом надоедливых мух. Так вот и сейчас на черном крыльце пела Василиса-стряпка такую же песню. Африкан Ильич слушал, молчал и, наконец, сказал с шумным вздохом:

— Ох, баба как воет, проклятая...

Не открывая глаз, тетушка кивнула.

Нелегко досталась ей вчерашняя история: Настя, подслушав у дверей Николушкино заявление, ворвалась, как зверь, в сундучную комнату. Николушка при виде ее блестевших глаз потерял присутствие духа и вдруг, обернувшись к тетушке, всхлипнул:

— Вот видите!

Тогда Настя ударила его кулаком по лицу и вцепилась в волосы. Николушка плюнул на нее, махал руками, тетушка самоотверженно проникла между враждующими — и ей попало; прибежавший Африкан Ильич оторвал Настю от Николушки и унес, и она кричала: «Я твоей шлюхе прическу поправлю». Николушка, мотаясь головой то на тетушкином плече, то на жилете Африкана Ильича, снова рассказал историю своей пропащей жизни... Его отпоили водкой. Далеко за полночь слышны были в старом дому всхлипывания, порой дикие вскрики и монотонный голос отчитывающей тетушки. В тот же вечер Машутка, несмотря на страх к привидениям, бегала под поповское окно и рассказывала потом на кухне, что поп Иван без подрясника, в подштанниках, ходил, как журавль, по горнице и все чего-то бубнил, а Раечка горько плакала, спрятав лицо в подушку.

Рано поутру тетушка пошла к попу Ивану, но он уже усаживал Раису в старенький тарантас и, холодно объяснив Анне Михайловне безнравственность ее племянника, зачмокал на мерина и уехал, вея, как флюгером, оторванной полой шляпы.

Тетушка побрела домой, оглядываясь на уезжающих, и вдруг заметила, как навстречу им из-под плотины вылез Николушка и замахал картузом. Поп Иван, привстав, хлестал лошадь. Раечка потянулась было из

тележки, но, прижатая поповской рукой, закрылась платочком. От всех этих переживаний у тетушки сделалась мигрень.

Сдвигая с глаз компресс, Анна Михайловна проговорила слабым голосом:

— Грех ждать награды от людей, друг мой, но все-таки обидно,— уж очень он неблагодарный...

— Н-да,— сказал Африкан Ильич,— племянничек ваш действительно — пенкосниматель...

— Подумайте — во всем обвиняет меня... И Настя на меня сердится, будто я его с Раисой сводила...

— Отодрать их обоих,— вот как я это понимаю...

— Ох, нет, только не это, Африкан Ильич.

— А если не драть, так что же?

— Ума не приложу... Вот как вернется батюшка,— пойдите к нему, друг мой, и скажите, что я хочу исповедоваться и в воскресенье, если допустит, приму святое причастие.

Африкан Ильич крякнул, так как был безбожником, но из уважения к тетушке не высказывал своих убеждений. Анна Михайловна опять принялась клевать носом. На черном крыльце пела Василиса все одну и ту же песню. И лучше бы не было этой песни на крещеной Руси.

10

Прошло два дня. В туреневском дому было спокойно, но молчаливо. За столом не засиживались,— быстро расходились по комнатам. Анна Михайловна в доброте своей думала, что Николушкин страстный порыв миновал: действительно, Николушка ходил небритый, угрюмый, опустившийся, и только по внимательным взглядам Настеньки, по кривым ее усмешечкам можно было догадываться, что с Николушкой не все обстоит благополучно...

Так и вышло. К вечеру Николушка надвинул до ушей мягкую фуражку, закурил папироску и вышел из дому. Тетушка спросила — «ты куда?» Он пожал плечами — «так, никуда» — и пошел через плотину на мельницу. Африкан Ильич в это время еще опочивал в сундучной комнате, и тетушку некому было вразу-

мить, что значит — «никуда»; она не приняла даже во внимание, что не более получаса тому назад сама услала Машутку на мельницу за раками, которых мельников брат и дьячок Константин Палыч ловили бреднем в пруду.

В конце плотины, из оврага, поднималась двускатная, покрытая лишаями крыша водяной мельницы. За нею, на лугу, в тени огромных и коряжистых осокорей стояли распряженные воза. Еще подалее — вдоль низкого берега медленно двигались, по колено в воде, дьячок с рыжими развевающимися волосами и — в воде по грудь — мельников брат; тащили бредень и кричали: «Куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят!» — «Да куда же глыбже-то?» — «Лезь, тебе говорят, антихрист»...

Николушка не спеша дошел до мельницы, спустился вниз к водосливу, где по скользким, шелковым от плесени доскам тонким слоем бежала вода; где тяжело и нехотя, все мокрое и почерневшее, в зеленых волосах, скрипя, вертелось водяное колесо; где в зеленоватой полутьме пахло сыростью и дегтем и, сотрясая весь ветхий остов мельницы, скрипели, стучали, крутились деревянные шестерни; где не раз деревенские мальчики, лавливая лягушек на тряпочку, видели сквозь щели мостков, внизу, в омуте, водяного, который сидел на самом дне, ухватив перепончатыми лапами зеленые сваи...

Николушке торопиться было некуда. Он бросил окурок в пену, под колесо, поднялся по шаткой сквозной лесенке наверх, где в луче света крутилась мучная пыль, легко порхали тяжелые жернова, сыпалась пахучая ржаная мука в сусеки,— захватил щепоть муки, растер ее между пальцами и вышел за ворота.

Здесь, на лужку,— кто в траве, кто на разбитом жернове,— сидели мужики, до света еще приехавшие с возами, с помолом. Николушка, сделав строгие глаза, приветствовал их баском: «Здорово, ребята!» Из мужиков кое-кто снял шапку; мельник Пров, старый солдат, сказал приветливо: «Садитесь, баринок»,— и подвинулся, уступив на жернове место Николушке...

— Так-то оно было,— продолжал рассказывать Пров, прижимая черным пальцем золу в трубочке,—

нельзя счесть — сколько он погубил нашего народу... Вышлет генерал Барятинский войск, и все это войско Шамиль погубит... Сколько наших косточек на этом Кавказе легло,— и-их, братцы мои... Шамиль упорен, а генерал Барятинский еще упорнее: нельзя, говорит, этого допустить, чтобы русский император отступился перед Шамилем.

— Досадно это ему, конечно, сделалось,— сказал один из мужиков, нагнув голову и трогая носок лаптя.

— Ну да, вроде как досадно. Собрал генерал Барятинский огромное войско, обложил Шамиля со всех сторон,— ни ему воды, ни ему пищи: забрался он на самый верх, на гору, с черкесами, и оттуда стреляет, не сдается... Наши поставили лестницы и полезли, и полезли, братцы мои,— одних убьют, другие лезут... Генерал Барятинский стоит внизу, бороду вот таким манером на обе стороны утюжит, ревет: «Не могу допустить русскому оружию позора...»

— Бывают такие задорные,— сказал тот же мужик.

— Долго ли, коротко ли,— вышли у черкесов все снаряды. Тут наши их и осилили. Взошли на гору и видят — стоят черкесы кругом, а посреди их — Шамиль сидит на камне и коран читает. Наши кричат: «Сдавайся!» И что же, брат мой, думаешь — черкесы эти садятся на коней,— сядет, завернется в бурку и прыгает в море. А с той горы ему до моря лететь восемнадцать верст... Ну, тут наши солдатики подоспели, наскочили на Шамиля, скрутили ему руки...

— Все-таки генерал своего добился,— опять сказал тот же мужик.

Николушка сидел на жернове и курил, часто моргая. Дело в том, что он давно уже заметил неподалеку, около возов — Машутку. Она стояла у телеги, подняв колено и упираясь пяткой в спицу колеса, и весело посматривала в сторону Николушки. На ней была прямая черная кофта с желтой оторочкой,— мода сельца Туренева,— желтый платочек и красная юбочка.

— Н-да-с,— деловито нахмурившись, проговорил Николушка,— ну, прощайте, мужички.—Он лениво поднялся и пошел к возам, расставляя по-кавалерийски ноги.

Машутка глядела на него смеющимися глазами. Он,— будто только что ее увидел,— остановился, покачиваясь:

— А, ты здесь?.. Ты что тут делаешь?..

У Машутки задвигались тоненькие, точно чиркнутые угольком, брови, она приняла босую ногу с колеса и усмехнулась:

— Тетинька за раками послали, а эти черти только кричат, ни одного не поймали.— Она сейчас же затрясла головой и звонко засмеялась, махнула локтем в сторону пруда: — Дьячок не хочет в воду лезть, говорит — я лицо духовное.

Николушка обернулся в сторону широкого, синеватого к вечеру пруда. На истоптанном копытами низком берегу дьячок и мельников брат, низенький мужик, все еще ссорились, вырывая друг у друга бредень. Особенной причины для смеха в этой глупой сцене, конечно, не было. Николушка презрительно поморщился.

— А ты вот тут сидишь,— сказал он с расстановкой,— смотри — тетушка тебе задаст. Кого дожидаешься?

Смеющееся Машуткино лицо вдруг стало серьезным, рот сжался. Тенистыми от ресниц глазами она внимательно, почти сурово, взглянула на Николушку, дернула на лоб платок и пошла, осторожно ступая босыми ногами, и еще раз быстро взглянула на Николушку...

— Ах, черт возьми,— пробормотал он, втягивая особенно ставший почему-то пахучим воздух сквозь ноздри,— ах, черт!

Знакомой томительной болью завалило грудь... Стало отчетливо ясно — какая-то сила подняла его сегодня спозаранку с постели, толкала из комнаты в комнату, в коридор, на кухню, в сад и привела на мельницу...

Ноги его стали легкими, глаза — зоркими, все силы его, наливаясь сладостью и огнем, устремились к уходившей по берегу пруда девушке,— ветер отдувал ее красную юбочку, желтый платок... Давеча, когда она стояла у колеса, ее поднятое колено помутило голову Николушке,— сейчас желто-зеленая на закате трава стегала ее колени.

«Плевать на Настю, на тетку»,— с божественной

легкостью подумал он и пошел,— сами ноги погнались по лугу за девушкой. Она обернулась, ее чернобровое личико испуганно задрожало, она пошла быстрее, он побежал. Около гумна, у омета прошлогодней соломы, запыхавшись, он догнал ее и схватил за руку:

— Куда ты бежишь?

— Пустите, Николай Михайлович,— проговорила Машутка быстрым шепотом и выдергивала руку, но силы у нее не было.

— Слушай, Маша, я с тобой хотел поговорить,— вот о чем...

— Барин, миленький, не говорите...

— Дело в следующем... Я больше так не могу... Они меня сгноили... Я сегодня всю ночь не спал... Я на тебе женюсь, честное слово...

— Барин, миленький, увидят...

— Ничего не увидят... Ты смотри, как темно... Садись вот сюда, в солому... Какая ты прелесть... Когда ты шла по траве — ты ноги не исцарапала, а?.. Какой у тебя рот... Чего на меня уставилась, Маша, Машенька...

Совсем темными, косившими от волнения, невидящими глазами Машутка глядела на страшное, красивое, улыбающееся, оскаленное лицо Николушки,— будто издали слышала его бормотание. Чтобы не дрожал подбородок, она закусила нижнюю губу. И глядя,— все откидывалась, отстранялась.

Когда Николушка по берегу пруда бежал за Машуткой, мужики, сидевшие у мельницы, глядели им вслед и говорили:

— Ай, баринок-то в нашу кашу мешается.

— А женатый.

— Ну что же, что женатый... Еще хуже женатый: к сладкому привыкает.

— Испортит он девчонку.

— Чья такая?

— Василисина,— сирота.

— Хорошая девчонка...

— Ишь ты, как за ней подрал.

— Ест сытно, спит крепко — чего же ему не гонять.

— Прошлым летом у нас одному такому артисту ноги переломали.

— Да и этому не мешало бы...

— К гумну заворачивает... смекалистый... Там ее, в соломе, и кончит.

— Зря все это, нехорошо...

— Да уж это совсем зря...

Двое туреневских парней, лежавшие здесь же, в траве, поднялись и, переглянувшись, побежали через плотину на деревню. Глядя им вслед, мужики говорили:

— Побьют они его...

— Ну, что же, и побьют — ничего...

— Дорого баринок за сладкое-то заплатит!..

11

Настя сумерничала, сидя у тусклого окна, в спальне. Узкой холодной рукой она придерживала у ворота пуховый коричневый платок — подарок тетушки, любившей все коричневое, добротное и скромное. Насте и хотелось и не хотелось спать, на душе было так же тускло, как в этом пыльном окне с едва видными очертаниями кустов, унылых строений, прикрытых покосившимися соломенными крышами, и мутно белевшего в сумерках белья на веревке.

Вошла тетушка, различимая по огоньку папиросы, села у стены на сундук и проговорила негромко:

— Огня-то не зажигаешь?

— Нет... так что-то...

— Ну, ну.— Было слышно, как тетушка сдержала зевоту.— Одна сидишь, Настя?

— Да, одна...

— То-то я смотрю — Николушки все нет и нет. Ушел,— а я думала — вернулся.

— Придет.

Снаружи к окну поднялся на лапах серый кот, внимательно поглядел через стекло в комнату, убрал одну лапу и другую и скрылся. Настя зашевелилась в кресле.

— Не люблю, когда коты в окно заглядывают... У меня подруга была кокотка, до такой степени боялась кошек,— падала в обморок...

— И Машутка еще куда-то провалилась,— быстро сказала тетушка.

— Я раньше очень хорошо жила,— после молчания проговорила Настя,— своя квартира: мебель — голубой атлас, две шубы: одна — вся в соболях, другая — норка, сверху — горностай. Бриллианты какие были. Все, подлец, пропил...

— Ах, Настенька...

— Конечно — подлец, самый последний...

— Ах, Настенька!..

— Что, Анна Михайловна?

— Думаю я, Настенька, простить бы вам ему надо...

— Ах, будто я ему не прощала... А сюда зачем приехала?.. Знаете — какие у меня поклонники были?.. Один граф на коленях круг меня ползал, дом на Сергиевской хотел подарить, купчую принес,— я его с купчей вместе за дверь выкинула, потому что он мне противный был... Прощать!.. У меня до сих пор на теле раны не заживают от его побоев,— простила... А когда он последнее мое колье в ломбард потащил,— знала я, что ни копеечки этих денег не увижу... Колье заложил и деньги мои пропил с Сонькой Еврионом, с кокоткой, моей подругой... Я ему всю морду расцарапала,— простила... Я бы на каторгу за ним пошла, только бы он меня одну любил...

Настенька оборвала, шмыгнула, стала шарить под собою в кресле носовой платок.

— Лучше вы с ним об этом-то прощении потолкуйте, Анна Михайловна... Он только о том и думает теперь, как бы мне мстить, зачем я его от девчонки, от этой Раисы, оторвала... Я теперь знаю, что у него на уме: к вашей Машутке подбирается...

— Бог знает, что вы говорите! — воскликнула тетушка и встала с сундука.— Извините меня, Настенька, но у вас разнузданное воображение... Я давно к вам приглядываюсь... Трудно, трудно с вами...

Настя всхлипнула, откинулась в глубь огромного кресла. И, странно,— лицо ее словно стало светлее, розовее. На коричневых цветках старой обивки все яснее выступал ее тонкий профиль, причудливый свет золотил ее волосы, и вот выступила вся освещенная ее голова с закрытыми глазами...

— Что это? — воскликнула тетушка.— Свет какой!

Настя открыла глаза и ахнула: на штукатуренной стене лежал багровый четырехугольник окна.

— Огонь! — крикнула она, срываясь с кресла.

Тетушка молча подняла руки к голове. В дому уже хлопали дверями, слышался топот ног, испуганные голоса звали тетушку. Дверь с треском раскрылась, дунуло сквозняком, вошел Африкан Ильич.

— Пожар,— сказал он густым голосом,— гумна жгут.— Остановился у окна и глядел на зарево, заложив руки за спину, сутулый и багровый.

Настя легла на кровать, вниз лицом, в подушки.

Тетушка звала в коридоре:

— Николушка? Где Николушка? Девки, девчонки, бегите, ищите молодого барина.

Зарево разгоралось. На дворе осветились бревенчатые стены служб. От кустов легли густые мерцающие тени, у ворот черными силуэтами стояли любопытные... Послышались испуганные голоса:

— Идет, идет...

В дом заскочила одна из девчонок, громко шепча на весь коридор:

— Матушка барыня, пришел.

Тетушка поспешила навстречу и вдруг надрывающимся голосом вскрикнула:

— Господи, боже мой!..

Африкан Ильич повернулся от окна. Настя подняла голову с подушек. Вошел Николушка, без шапки, всклоченный, с белеющей под мышкой из-под разодранного кафтана рубашкой. Рот его был черный,— разбитый, глаз запух, щека вздута... Он локтем оттолкнул семенившую сбоку его тетушку и повалился на стул...

— Всех под суд!.. Перестрелять! — с воплем выкрикнул он и, быстро нагнувшись, стал выплевывать кровь...

Тетушка была уже около него с полотенцем и кувшином воды. Настя сидела на кровати, прямая, с вытянутой шеей, и пронзительно глядела страшными глазами на Николушку.

— Успокойся, успокойся, друг мой,— бормотала тетушка, прикладывая мокрое полотенце к Николушки-

ному лицу,— надо же, в самом деле, случиться такому несчастью... Кто это тебя?..

— Я одному так закатил,— в зубы!

— Ну, ну, хорошо, хорошо, успокойся, батюшка.

Африкан Ильич, расставив ноги, заложив руки в карманы, разглядывал Николушку.

— Где же все-таки вас так отделали? — спросил он.— На гумне, что ли, вы были, у вас — солома в голове...— И, нагнувшись к нему, он спросил тихо и строго: — Машу видели?

— Убежала,— ответил Николушка,— вырвалась...

Африкан Ильич быстро взглянул на тетушку, она сердито замотала щеками и подбородком. Настя, странно улыбаясь, соскочила с кровати, присела перед Николушкой и вкрадчиво, словно даже весело, сказала ему:

— Расскажи, Кока, расскажи, как же ты с ней?..

Гумна еще пылали, когда Африкан Ильич вышел в сад. Тонкий дым стлался над влажной травой, багровели стволы берез, поблескивала кое-где влажная листва, черно-красные тени чертили луг, сухая вершина тополя четко рисовалась в небе.

Старый дом, глядя в дымные луга багровыми окнами, словно поднялся по пояс из темных кущ, оживший, угрюмо нарядный, торжественный, с облупленными шестью колоннами, с полуобвалившимся фронтоном, над которым кружились в свету зарева розовые голуби.

Во втором этаже, в одном из окон, Африкан Ильич заметил прильнувшее на одну только минуту и затем отшатнувшееся бледное личико. Африкан Ильич поспешно взошел на балкон, взялся за дверь,— она была приоткрыта,— вошел в залу, где на пустых штукатуренных стенах лежали, едва шевелясь, китайскими тенями очертания листьев и ветвей, прислушался и пошел, увязая по колено в пшенице, из комнаты в комнату.

В библиотеке, где валялись у лестницы старые книги, поблескивали стеклянные дверцы и медные уголки, за черным шкафом, в углу, он увидел Машутку,— она была простоволосая, стояла, втянув голову, глядела, как прижатая крыса. Африкан Ильич взял ее за руку. Она закричала слабо и рванулась. Он взял ее крепче и повел вниз, к тетушке.

12

Когда Анна Михайловна, у себя в спальне, увидела Машутку, растерзанную, с опущенной низко головой,— у нее начало дрожать лицо, закатились глаза, она села на пол и часто, часто застонала: с ней сделался сердечный припадок. К утру припадок повторился, послали за земским врачом. В доме все присмирели. Африкан Ильич ходил в одних носках, черный, как туча. Машутка, избитая за волосы Василисой, пряталась по темным пыльным чуланам, которых много было в туреневском дому. Николушка лежал, не вставая с постели, закрывшись с головой,— не принимал ни питья, ни пищи. Настя бродила, не находя себе места, осунулась, нос у нее заострился, будто все в ней горело, жгло ее огнем...

На третий день тетушке стало легче, к ней пришел поп Иван, и она провела с ним несколько часов в беседе, никому не ставшей известной. К вечеру Африкан Ильич зашел к Николушке, выдержал минуту молчания, во время которой скручивал папироску и не спеша закуривал ее, затем сказал:

— Потрудитесь немедленно встать, привести себя в порядок и пройти к Анне Михайловне в спальню.

Николушка слабо застонал под одеялом, но все же встал, оделся и, еле волоча ноги, придерживаясь за стены, явился к тетушке и, когда ему знаком разрешили сесть,— опустился у двери на стул, уронил голову, страдальчески закрыл глаза, окруженные лиловыми кровоподтеками. Африкан Ильич сидел на тетушкиной кровати и курил, щурясь на струйку дыма, тетушка сидела в кресле, сутулая, сморщенная, едва живая...

— Во-первых,— сказала она едва слышным от слабости, но твердым голосом,— потрудись мне все рассказать... Во-первых, ты должен признаться чистосердечно...

Николушка начал раскачиваться на стуле и долго не мог произнести ничего, кроме мычания, затем, найдя линию, стал говорить о том, что вся его жизнь — сплошная борьба и трагедия: он мечтает о самосовершенстве, о честном и суровом труде, а всевозможные случайности снова и снова толкают его в бездну. Его кровь засты-

вает, душа дремлет в отчаянии, и он жадно тянется к светлому, чистому огоньку, который зажег бы его кровь, пробудил бы его к деятельности... Но каждый раз этот чистый огонек оказывается бесовским наваждением... Третьего дня, например, он пошел к возам, чтобы прогнать Машутку домой, чтобы не болталась зря... А эта девчонка, вместо того чтобы послушаться, принялась так на него смотреть лукаво, так задирала коленку на колесо, что перед ним мгновенно раскрылась бездна...

— Тетушка,— ударив себя в грудь и падая на колени, воскликнул Николушка,— неужели не понимаете, до какого падения довели меня люди... Протяните же мне руку, поднимите меня из этой бездны...

Анна Михайловна слушала, опустив нос, закрыв глаза, из-под морщинистых ее век текли редкие, должно быть, горькие слезы...

Африкан Ильич иногда покашливал, подбадривая этим тетушку. Справившись со своим волнением и горем, она сказала Николушке:

— Ступай к себе.

Он поклонился, сделав даже ручкой, и так как был еще весь в запале разговаривать, то постучался к Насте и говорил с ней до рассвета. Всю ночь скрипели половицы под его шагами, слышался его глухой, бархатистый голос в затихшем туреневском дому. Всю ночь наверху, где лежала пшеница, пищали и бегали мыши. Всю ночь сквозь кусты горело окошко в комнате у Анны Михайловны: стоя на коленях перед нерукотворным спасом, она молилась о том, чтобы господь сошел своим светом в унылую темноту этого ветхого, развалившегося, грешного дома.

Наутро к чаю Николушка вышел просветленным,— все завалы души были очищены и выметены за эту ночь. Настя пришла грустная, усталая и тихая. Африкан Ильич, взглянув на них, крякнул и, повернувшись спиной, продолжал пить чай с блюдца. Николушка попросил у него табачку. Африкан Ильич двинул ему табачницу локтем. Настя, разливавшая чай, усмехнулась. Николушка сказал:

— Куренье — дорогая и нездоровая привычка, думаю бросить курить.

В это время в столовую вошла тетушка, в черной, чепчиком слежавшейся шляпке с лентами под подбородком, и, глядя в угол, сказала:

— Николай, собирайся, мы едем...

У Николушки задрожало блюдце и пролился чай.

— Куда, тетенька?..

— В монастырь,— твердо ответила тетушка и, взяв Африкана Ильича за рукав, отвела в сторону для секрета.

Настя сидела, раскрыв серые глаза, молчала. Николушка водил пальцем по мокрой клеенке...

— Возьми с собой самое необходимое, в дороге мы поговорим,— сказала тетушка и присела к столу — выпить чашечку перед дорогой.

Час спустя тетушка и Николушка сели в тарантас на вышитые крестиками подушки. Николушка, в криво надетом картузе, жалобно улыбаясь, помахал Насте рукой в последний раз:

— Прощай, миленький.

Настя стояла на крыльце, закрыв до половины рот пуховым платком, не то плача, не то смеясь. Тетушка сказала:

— С богом.

Лошади тронули. Из-под тарантаса выбежал пес. Закудахтала, бросаясь в сторону, испуганная курица. Уехали.

Настенька сошла и села на ступени крыльца, облокотясь под платком о колени, подперев подбородок. В синем, синем небе,— над туреневской усадьбой, над дорогой, на которой на завороте еще раз показался тарантас, над погибающими родовыми лесами,— плыли белые, равнодушные облака.

Африкан Ильич, прислонясь к столбику крыльца, курил, вздыхая. Вдруг один глаз у него, отвислый, как у собаки, подмигнул:

— Ай, ай, укатали петушка.

ЗЛОСЧАСТНЫЙ

Дописав четвертинку письма, положил барон Нусмюллер перо и щипцами снял наплывшую светильню, отчего свеча, разгораясь, позволила увидеть облупленную стену и сводчатый потолок, где старые пауки, наскучив бессонницей, выползают из щелей и глядят на обитателя, и листы толстой бумаги, исписанные рукой, водимой высоким чувством, и глаза офицера, полные слез, и в сердце упрек — зачем жизнь не фиал, наполненный драгоценным маслом.

«...Перечтите сии робкие страницы,— продолжал с тихим поскрипыванием писать барон Нусмюллер,— не огорчаясь над смешным чувством бедняка, не сетуя на бога, зачем даровал вам несравненную красоту, столь губительную, и, садясь в голубую карету, чтобы совершить утреннюю прогулку, вспомните, что видел вас кто-то два раза, две вечности переживший в этих встречах, и первая из них в час, когда падают желтые листья дубравы в канал, среди гранитных берегов, в каменные вазы, где цветы уже поблекли и потемнела позолота высоких копий решетки, и бедный офицер, ступая по влажному песку, вздрагивает от стука колес по набережной, ожидая — вот пролетит голубая карета, покачиваясь на золотых рессорах, влекомая рыжими конями, грызущими цепи, и всколеблется ткань окна дыханием вашим, коей нет достойного имени на земле.

Не расскажу чувства при виде несущейся, как голубое видение, среди желтеющей зелени, кареты; все в жизни нашей уносится мгновенно. Увядший лист, примятый поспешным колесом, поднял я и положил на грудь. Простите... И вот иная встреча: в дождливых сумерках у широкого подъезда фонарь со скрипом раскачивается ветром, и около, пряча подбородок в воротник шинели, стоит молодой офицер, глаза его горят, следя, как за окнами в вальсе кружатся дамы. Уже кучерам, запрудившим улицу, выдано по калачу и стакану пенного; уже вальс затих и начата мазурка, и дождь насквозь пробил шинель, и вот, наконец, крик — «пади!» — и фыркнули перед лицом морды лошадей, и, гремя, подкатила карета. Закутанный в меха грум раскрывает дверцы, и, пахнув теплотою духов, выходите вы, ваше лицо закрыто розовым капором, и тяжелый шлейф, ревниво оберегающий ноги, не в силах сопротивляться ветру, приоткрывает башмачок... и несчастный пошел, пошатываясь, к своим паукам в плохо штукатуренную комнату, на третьем этаже у мадам Фриц, что на Гороховой.

Не знаю имени вашего, я не видел ваше лицо: к чему? Оно несравненно, как роза, опьяненный ароматом которой поет в ночной прелести соловей предсмертную песню. Предсмертную, увы!.. Ибо что остается мне в такое меланхолическое время... Пистолет со взведенным кремнем передо мною, сейчас я ставлю последний знак на этом письме, которое, после того как отлетит душа из несовершенной моей оболочки, отнесет вам, прелестница, мой денщик!»

Поставив точку, барон Нусмюллер отложил перо и, все еще стоя в узком мундире, в лосинах и ботфортах, у конторки, задумался, склонив худощавое и длинное лицо свое на ладонь.

Ветер хлопал оторванным ставнем, обильно мочил окно, заклеенное с угла синей бумагой, и свистел в трубе так, что нельзя было не грустить.

— Безумный,— прошептал барон Нусмюллер и, поглядев на пистолет, погрузился в черные мысли. Позади

него у закопченного камина на мольберте стоял акварельный рисунок голубой кареты; рядом на кресло брошены плащ и трубка.

Барон Нусмюллер, запечатав письмо, отошел от конторки, горько улыбнулся, затем, оттолкнув трубку так, что она упала и разбилась, завернулся в плащ и сел в кожаное кресло...

— Разбилась,— молвил он, глядя на трубку,— а жаль, я любил ее, надо же любить кого-нибудь...

И затем глубокий вздох вырвался из груди его, и взор остановился на картине.

— Неслышными шагами крадется любовь,— говорит барон Нусмюллер,— и сердце не ожидает, спокойно бияcь, и вот уже занесено лезвие и глубоко вонзается... И сердце не знает, что с ним, отчего потоком льется кровь?.. Бедный, злосчастный...

Наступило продолжительное молчание, во время которого ветер, найдя щели, колебал свечу, голова барона клонилась на грудь. Вдруг безусый, с толстыми губами денщик подошел, лукаво прищурясь, к креслу, взял из руки барона письмо с еще не написанным на нем адресом и, повернувшись, как деревянный, замаршировал за дверь, которая захлопнулась сама собой, и барон похолодел от страха.

«Начинается»,— подумал он и, помимо желания, поглядел на карету, написанную акварелью им самим.

— Грешно думать, чтобы господь, пренебрегая величием, снисходил для устройства житейских наших дел, но есть явления, приписываемые по легкомыслию случаю, проникнув в существо которых, видим в них руку создателя.

После таких слов молодого офицера колеса оглядываемой кареты повернулись и закружились, мелькая спицами, грум в картузе с длинным козырьком покосился на барона Нусмюллера, толстый кучер взмахнул кнутом, и ясно послышался звон грызомых конями цепей.

«От кого они убегают? — думает барон.— Почему так торопятся ехать?»

А сбоку, скользнув по раме и протянув выше верстового столба руку с растопыренными пальцами, появился на поверхности картины денщик, догоняя карету. Кучер хлестал кнутом, карета подпрыгивала, и барон Нусмюллер застонал:

— Боже мой, боже мой, оставь... Не надо... Я еще не хочу умирать...

Денщик, наконец, повис на ручке кареты, волоча высоко подпрыгивающие ноги, просунул в окно руку с письмом, шторка заколебалась, и барон увидал... злое, ах, совсем не ангельское лицо... Она взяла письмо, разорвала пополам и бросила...

Барон Нусмюллер, вскочив с кресла, подбежал к конторке, оправил свечу и, закинув локти, с раскрытым ртом обернулся, глядя на мольберт. Карета, как прежде, катилась по желтым листьям. Но только на голубом ее кузове, словно брызги от колес, были заметны пятна. «Картину уже заклевали мухи»,— сказал барон; расстроенный, отвернулся и заметил между пальцами смятое письмо.

— Мечты и действительность,— сказал он, дав себе успокоиться.— Господь, милосердуя, открыл моим глазам грядущее и отвел удар, прежде чем был он нанесен. Сатана, приняв ангельский образ, ездит в голубой карете.

Затем, взяв за уголок, поднес он веленевый конверт к пламени свечи, бумага задымилась, скоробилась, пожелтев, и ярко вспыхнула, добежавший огонек обжег пальцы. Барон пососал пальцы и, обмакнув перо, быстро написал:

«Дорогой родитель, вот уже третий день, как я ничего не ел, посему осмелюсь просить Вас прислать мне 35 рублей ассигнациями, за что буду по гроб благодарный и почтительный сын ваш Игнат...»

МЕЧТАТЕЛЬ

(Аггей Коровин)

Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —
Мне снишься ты, мне снится наслажденье.
Обман исчез, нет счастья, и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

Боратынский

1

Весеннее солнце, обогнув положенный путь, садилось в голую степь за длинными холмами, золотя края неба, и пыль от стада, и большие окна коровинского дома, обращенные на закат. Сходясь под карнизом двумя пологими дугами, окна, вверху из цветного стекла, опускались почти до пола, так что Аггею Коровину, сидевшему в кресле, не нужно было приподниматься, чтобы видеть поляну сада, где широко разрослись одичавшие розы, и два полукруга аллей, и старые яблони, и куртины сирени, окаймленные петуниями, ромашками, резедой.

Подперев ладонью крупное лицо, в русой бородке, с небольшими татарскими усиками вниз, подолгу молчал Аггей, держа в руке книгу, наудачу взятую из шкафов.

Торопиться было не к чему и некуда, и мысли скользили от воспоминаний к предметам, без любопытства останавливаясь, когда краснощекая скотница в подоткнутом сарафане проходила садом, громко крича:

— Сидор, а Сидор, что же ты, рыжий шут, не идешь?

Глядя на толстую бабу, Аггей думал: «Кричи, кричи, а Сидор на деревню ушел».

Потом на темнеющую поляну прибегал охотничий пес — сеттер: нюхая кусты, останавливался и кусал какую-то траву, и Аггей тоже знал, для чего сеттер ест траву,— вчера его погрызли овчарки.

Края неба зеленели, тускнели, и вечерняя звезда загорелась над последней оранжевой полосой.

Аггей вздохнул и, заложив книгу в щель кресла, подперся, поворочался и сел удобнее.

Десятый год доживал он одиноко в богатой усадьбе. И только раз, после кончины матери, пришел в душевное смятение, не выдержал тоски и сказал приказчику:

— Ильич, я бы за границу съездил...

— Воля ваша,— ответил на это Ильич.

— Так как же, Ильич, надо собираться, денег достать, да паспорт, да повидать родных...

И, так говоря, Аггей угасал, поездка казалась невероятной: жизни не хватит переделать все дела перед дальним отъездом.

«Шумно там,— думал он,— суета».

Но сегодня Аггей чувствовал небольшое беспокойство: нарочный поутру привез письмо, и до вечера Аггей держал его в кармане, не распечатывая, и улыбался иногда, думая, что если захочет — прочтет новость.

— Может быть, незнакомая девушка,— мечтал Аггей,— одинокая, как и я, хочет приехать, и мы будем сидеть вдвоем у окна...

Зажмурив глаза, старался Аггей представить лицо девушки; оно всегда было одно и то же, где-то виденное давно; но как только он начинал всматриваться, улавливать эти черты — они расплывались, и память глохла, а потом и голова разбаливалась от таких дум.

«Скоро темно станет, не прочтешь»,— подумал Аггей и, сделав усилие, достал и вскрыл серый толстый конверт.

Письмо было от Степана Людмилина — товарища детства, который извещал, что вместе с сестрой заедет проездом дня через четыре.

— Людмилин,— повторил Аггей и представил худенького гимназиста, в очках, с полуоткрытым ртом, в широкополой фуражке; у фуражки был выломан герб, потому что даже самые тихие мальчишки мочили кар-

тузы водой, клали на ночь под тюфяк и выламывали буквы из герба...

«Ах, как хорошо,— думал Аггей,— вот он войдет, близорукий, ища меня глазами, и поцелует... И мы, как прежде: он внимательно станет слушать, а я расскажу всю свою жизнь, смерть мамы и одиночество, и о том, что всегда хотел полюбить; мы обнимемся и пойдем в сад. Я скажу: оставайся со мной, милый. Конечно, он согласится. А если хочет, пусть занимается хозяйством... Маленький гимназист в куртке с ремнем... По вечерам будем пить чай на веранде».

Потом Аггей вспомнил, что Людмилин приедет не один.

— Ну зачем с сестрой: наверно, она взрослая и суетливая, будет всюду ходить, ей надо все показывать; еще, пожалуй, заведет моду — гулять...

И Аггей третий раз повернулся в кресле, шумно вздохнул...

«Через четыре дня,— подумал он,— а письмо было послано четыре дня назад».

Он, торопясь, раскрыл хрустящий листок и прочел: «Понедельник...»

«Так и есть, сегодня пятница, поезд приходит в шесть, сейчас они должны подъехать...»

Сильно взволнованный, потирая затекшее колено, вышел Аггей на балкон.

Ночь закрыла полосу заката. Возникли звуки, всегда таинственные, как будто сама темнота шевелилась в кустах, ломала ветку и меланхолично ухала вдруг далеко за прудом, где, сидя на пловучих листах, пели, надув брюшко, маленькие лягушки.

Облокотясь о балюстраду, Аггей прислушивался. Вспомнил один день, когда на мгновение упали все звуки.

Тогда посреди поляны стоял он — маленький, синеглазый мальчик — и сквозь закопченное стекло глядел на солнце.

Не было теней, красноватая темнота будто пеплом осыпала траву и деревья; на солнце надвигался черный круг. Когда остался тонкий серп, все замолкло. Колонны

дома поднялись, стали серыми, и Аггей думал, что сейчас расколется беззвучно солнце...

Аггей вспоминал, слушал звуки, а когда за садом на плотине запел ямской колокольчик, тихо засмеялся...

Аггей поставил свечу на комод в прихожей и раскрыл парадные двери, вглядываясь в темноту прохладной лестницы.

Там, внизу, вносили, должно быть, чемоданы, шаркали ногами, и слышались негромкие голоса:

— Узнаешь, Надя, эту лестницу; она мне казалась гораздо больше... А вон и Аггей... Здравствуй, Аггей...

— Степан, иди же,— закричал Аггей,— я не могу посветить, свечу задувает сквозняком...

— Узнаю голос,— проговорил Степан, появляясь в крылатке, в золотом пенсне,— здравствуй.— Мягкие губы его коснулись Аггея.— А вот Надя, сестра, ты помнишь?

— Помню, помню,— торопливо бормотал Аггей и тряс им обоим руки,— пойдемте, пойдемте. И этот чемодан унеси, кучер.

— Ты все такой же торопыга,— спокойно улыбаясь, говорил Степан, и углы его губ приподнимались полукругом.— Дай нам вымыться, мы все в пыли.

Худой и маленький, он пошел по коридору, подняв голову, словно мог видеть только из-под пенсне.

Аггей крикнул вдогонку: «Вон направо твоя комната»,— и, умиляясь, стоял около Нади, распутывавшей вуалевый шарф...

— Я тоже буду мыться,— сказала она,— ужасная пыль.

— Господи, что же я думаю, а ужин! — воскликнул Аггей.— Впрочем, я сию минуту.— И он пошел в столовую.

«А он все такой же,— думал Аггей, стоя под висячей лампой.— Я уже вижу, что обрадовался; а она ничего,— кажется, мешать нам не будет».

К столу, уставленному домашними яствами, проплыла и неслышно села за самовар Марья Ивановна — экономка.

— Марья Ивановна,— сказал Аггей,— хорош ли ужин сегодня?

— Не знаю, батюшка, так это все сразу да кувырком распорядились; что выйдет — не пеняйте, а завтра постараемся.

— Что они как долго моются?

— А барышня настоящая красавица, и сундук с платьями, вот бы... Эх... да что и говорить... Не то что уездные наши...

— Перестаньте, Марья Ивановна, всегда вы скажете глупость...

Надя вошла под руку с братом. На ней было синее платье. Оглядываясь, она сказала:

— У вас здесь все чудесное, старинное. Наверно, мебель так же стояла сто лет назад...

— Да, все старое,— сказал Аггей и, притянув вымытого одеколоном Степана, трогал волосы его и плечи,— я так рад, я совсем один живу. Нам нужно о многом переговорить...

— Ты очень гостеприимен,— говорил Степан, слегка запрокинув лицо в большой бороде каштанового цвета,— мы в Петербурге отвыкли от деревенских обычаев... И если глубже рассмотреть, то деревенская жизнь более значительна, чем городская.

— Да, да,— говорил Аггей, придвигая им блюда с сдой,— ешьте же...

— Тем смешнее, что я — агроном по профессии — никогда не вижу деревни.— И, самому себе улыбаясь, Степан глядел повыше головы собеседника.

— Какой у вас костюм? — спросила Надя.— Очень вам идет...

Аггей, оглядывая огромное свое тело в расстегнутом на груди кафтане, из-под которого была видна белая рубаха, смутился, запахнулся.

— Мне кажется, что я толстый такой, неловкий.

Надя засмеялась, так же как и брат, закидывая голову на высокой шее, морща подбородок, прикрывая глаза длинными ресницами, и Аггей подумал, с тоской вглядываясь: «Где я видел ее?»

— Нам по дороге попался пьяный мужик,— говорила Надя,— большой и косматый, у пояса привязана

целая куча уток; брат его спрашивает: «Как ты из такого ружья столько настрелял?» А он тряхнул головой и говорит: «Когда я, чудесный барин, выпью, что угодно могу сделать...» И попросил гривенничек за знакомство.

Надя, рассказывая, подняла руки, и, глядя на них, Аггей подумал: «Какая она театральная все-таки».

Степан сдержал зевок.

— Вот теперь я чувствую, что устал, иду спать.

«Милый он,— слегка волнуясь, думал Аггей, ведя друга в спальню,— сейчас ему все расскажу».

Но Степан раздевался и говорил, сладко зевая:

— Завтра возьму почву для исследования: не знаю, как у тебя, но крестьянские земли совершенно лишены фосфатов. Их нужно сдабривать жжеными костями или американским гуано. Ты бы сделал опыт.

— Хорошо,— сказал Аггей уныло,— попробую.— И сел на кровать, устало опустив руки.

— Степан, ты знаешь, я десять лет прожил один. Тяжело.

— Как же, знаю.— Степан отстегнул помочи и погладил впалую грудь.— Гуано, конечно, дороговато, но крестьяне могут пользоваться суперфосфатом. Я усиленно провожу в земстве раздачу томасова шлака.

И он залез в постель, глядя поверх головы собеседника на свои какие-то суперфосфаты, а Аггей сидел около, освещенный сбоку свечой, так что блестел кончик его крупного носа и один тоскливый глаз...

— Слушай,— сказал Аггей,— я десять лет все один и один...

Но у Степана уже закатывались глаза.

— Убийственны эти дороги ваши... Задуй свечу и не буди меня поутру.

Аггей посидел немного в темноте и пошел по коридору, опустив голову. В конце коридора была наглухо закрытая дверь в зимние сени... Остановясь перед дверью, обитой кошмой, Аггей глядел на медные гвоздики.

— Ну, конечно, он устал, а я пристаю с глупыми речами. Все-таки раньше Степан был добрее. Или уж я одичал очень и смешон.

Тронув шляпку гвоздя, он подумал: «Вот эти гвозди

зимой покрываются инеем и делаются белые, как грибы...»

Вдруг тень его на стене переместилась направо. Оглянувшись, Аггей увидел улыбающуюся Надю, со свечой в руке.

— С кем вы разговариваете? — спросила она.

— Я ни с кем,— ответил Аггей, подойдя и краснея.— Вы не спите?

— Я хотела потихоньку обойти весь дом. Здесь можно заплутаться, проблуждать всю ночь. Мне все кажется: в комнатах пахнет плесенью и старой пачулей.— Она села на подоконник открытого в сад окна.— Какой вы счастливый, Аггей Петрович.

Она вздохнула и, откинувшись, положила ногу на ногу, охватила колено...

— Резедой пахнет, слышите? Сыростью и резедой.

Аггей, глядя на ее колено и голые до локтей руки, не замечал улыбки, растягивавшей полный его рот...

— Я вспоминаю,— продолжала Надя,— у вас в комнате стояла игрушечная изба с печкой и лавками, как настоящая, туда можно было заходить...

— Да, отец велел ее построить на елку...

— Мы ехали к вам на елку в возке. Я все время почему-то боялась огнедышащих гор,— начиталась, или Степан меня напугал: они представлялись вроде кучи песку, но очень страшными. Я помню комнату, где проснулась: на стене висело оружие и меч в три раза больше меня, а в углу стоял человек, одетый в латы; я все думала, что он поднимет руку и кивнет мне пальцем.

— Хотите, я покажу эту комнату,— сказал Аггей, глядя в глаза,— она наверху; но все покрыто пылью и паутиной...

Надя тоже молча и внимательно глядела ему в глаза. Аггей больше не улыбался. Надя сказала:

— Я иду спать. Устала. Покойной ночи,— и, прощаясь, пожала руку спокойно и крепко маленькой своей рукой.

Войдя к себе в спальню, Аггей лег не раздеваясь на постель и платком стал вытирать нос и сморкаться.

— Как глупо,— сказал он,— и не с чего; просто не нужно было им приезжать.

2

Утром Аггей долго ждал пробуждения гостей и, не дождавшись, побрел на речку. На тропинке попался садовник Сидор. Аггей сказал ему:

— Идем купаться.

Сидор ухмыльнулся в ярко-рыжую бороду и пошел за барином, немного отставая. Вялым голосом Аггей говорил:

— Надо бы купальню построить вон у той ветлы, я давно тебе толкую, Сидор.

— Отчего же, можно построить,— отвечал Сидор с полной готовностью, хотя такой разговор начинался каждую весну.

— Построим ее в виде портика и окрасим в белое... Вот ко мне гости приехали и купались бы...

Раздевшись, Аггей долго сидел на траве, глядя, как около корней ивы плавают пиявки.

Сидор мылил лицо и бороду, приговаривая:

— С мыльцем-то чище.

Аггей представлял белую купальню, отраженную в воде, себя в этой купальне, сидящего на скамейке, и Надю: она будто бы пальцами пробовала воду и, улыбаясь, вся залитая солнцем, начала снимать башмачки.

— Ах, боже мой, как же это так! — испуганно воскликнул Аггей. Подошел к берегу и плюхнулся в воду и, почувствовав свежесть, поплыл, громко фыркая. Из камыша выбежал гуськом выводок домашних утят, утка, крякая, вытягивала шею, пугала Аггея, и он вдруг обрадовался и солнцу, и реке, и свежести.

— Чай, гости мои давно встали,— говорил Аггей, одеваясь.— Сидор, ты возьми простыню, а я побегу.

На веранде за чайным столом сидел Степан в белом пиджаке; когда Аггей подошел, он сказал, щурясь:

— От тебя рекой пахнет... Знаешь, Надя и сейчас бы спала, если бы я не разбудил...

Аггей от неизвестной причины засмеялся, покраснел и вдруг, к удивлению экономки, потрепал ее за чепец:

— Сегодня вы, Марья Ивановна, просто красавица.

Марья Ивановна только ахнула. Степан, не спеша намазывая масло, сказал:

— Этим липам, должно быть, больше ста лет. Вообще — сад хорош.

— Я на тебя обиделся вчера,— ответил Аггей весело,— хотел поговорить откровенно, а ты заснул...

И он радостно вздрогнул: из дому донеслись быстрые шаги и голос Нади.

Она вошла в холщовом платье, коротком и ловком, каштановые волосы ее были причесаны просто и тоже так ловко, что Аггею показалась точно чем-то священным эта ловкость, и захотелось вытянуться самому в кресле, стать вдвое худее.

Надя вдруг спросила:

— Как вы спали, Аггей Петрович?

Он даже открыл немного рот. Она спросила просто, из учтивости, и продолжала пить чай маленькими глотками и забыла, конечно, про вопрос, но Аггей видел, что угол глаза у нее был лукавый.

С боков веранды по натянутым бечевкам вились темно-зеленые ипомеи, цветущие утром, пока их лиловых колокольчиков не коснется солнце. Аггей оторвал плеть и подал с поклоном Наде, чтобы она украсила ею платье.

— Так на портрете моя бабушка, когда была девицей,— проговорил он, густо краснея.

Надя посмотрела внимательно, взяла цветы, взглянула на брата, поднялась и плечом задела ветку акаций, осыпавшую ее крупными каплями росы.

— Мы идем гулять,— сказала она,— покажите мне сад и речку. Степан, иди же!

Они пошли по поляне. Аггей шагал рядом с Надей, глядя под ноги.

— Почему бы вам не остаться у меня подольше,— вдруг сказал он и отвернулся,— неужели уж так скучно здесь?

— Я не могу больше,— охнул Степан и лег в траву.— Знаешь, почву исследовать пойду завтра.

Он закрыл глаза, защитив их от солнца ладонью.

Надя села рядом, поджав ноги; нежная кожа плеч ее и рук была видна сквозь кружева платья, и чувствовал Аггей ее запах, сладкий, нежный, женский.

— Сегодня я точно выздоровел после болезни,— сказал Аггей, тряхнув плечами.— Я ведь очень сильный, только не приходилось никогда применять.

Надя сказала, кусая травку:

— Сломайте дерево.

И, обняв колено, запрокинула голову и глядела на облака, ее шея казалась прозрачной.

Аггей подошел к березке и стал трясти.

— Ну, ну,— проговорил он,— ломайся,— и, крепко упершись ногой в корневище, выгнул березку, напружился, присел и сломал; дерево хрустнуло и, медленно клонясь вершиной, легло с печальным шумом на траву.

— Браво! — воскликнула Надя, захлопав в ладоши, а Степан сказал лениво:

— Зачем сломал, росла она, росла...

— Я еще могу,— сказал Аггей, застенчиво улыбаясь.

— Нет,— ответила Надя,— сядьте.

Аггей послушался, сел около.

— Теперь лягте и глядите вверх, что вы видите?

— Небо,— сказал Аггей тихо,— голубое. Коршун чуть виден...

— А ну, прищурьтесь, видите: небо уходит вглубь, и повсюду золотая пыль, а облако похоже на чашу.

— Перестань, Надька,— сказал Степан.

— Не на чашу,— сказал Аггей,— а на вас.

Надя засмеялась. Степан сказал:

— Фу, господа, я иду купаться.— Он не спеша поднялся и пошел, на ходу срывая листья.

Аггею стало страшно с Надей один на один.

— Расскажите, как вы живете в таком раю? — спросила она ласково, вздохнула и легла рядом с ним, заложив ладони под затылок.— Вы любили когда-нибудь, Аггей Петрович?

Аггей закрыл глаза и не ответил ей на это.

Прошел Степан с полотенцем на голове, что-то пробормотал неразборчивое. Надя неизвестно над чем стала смеяться. Потом приподнялась, опустила обе руки и, рванув траву, осыпала ею лицо Аггея.

— С вами что-то нужно сделать особенное,— сказала она,— ах, Аггей Петрович, какой вы...— она приостановилась и протянула: — глу-у-пый!

Надя в этот день восхищалась всем, что видела: канавой, поросшей мягкими лопухами, зарослями вишенника, мостками через речку, шлепающими по воде.

Аггей объяснил, что на мостках этих рано поутру, пока не встало солнце и над водой туман, мальчишки ловят рыбу удочками, плюют на червяка; слюны будто бы червяк не любит и долго корчится на крючке.

Из сада по выгону пошли к глиняным оврагам, где стояла часовня над помершим когда-то странником без рода и племени. От часовни по дороге спустились домой через деревню.

Аггей, всю дорогу объяснявший Наде деревенские подробности, теперь замолчал, глядя, как приплюснутое солнце садилось в степь за холмами.

Оранжевый свет оттуда тоскливо бежал по голому выгону, по колючей траве.

Аггею показалось, что он, как больной, снова глядит на надоевшие обои у кровати. Хрустнув пальцами, он сказал:

— Вы спросили, любил ли я когда-нибудь? Нет, не пришлось.

— А я, Аггей Петрович, не помню, когда не была влюблена. Весь мир другой, когда любишь,— все для меня: и солнце закатывается для меня и поля бегут...

Взойдя на пригорок, откуда видна усадьба, Надя запыхалась немного и положила руку на высокую грудь и мгновенно вырисовалась, четкая и тонкая, на красной полосе заката.

Таким представлялся Аггею ускользающий образ девушки, о которой он мечтал по вечерам. Оттого, что сейчас можно было видеть ее въявь, закружилась голова, и, стоя внизу пригорка, Аггей раскрыл рот.

— Что вы увидели? — воскликнула Надя.— Привидение?

Затворив за собою дверь кабинета, Аггей остановился около письменного стола, зажег свечу и долго глядел на тихое ее пламя...

Чернила в чернильнице давно высохли, единственный конверт был захожен мухами, и Аггей, отыскав карандаш, сел на низенький диванчик.

— Надя,— сказал он и слегка похолодел, услышав свой голос,— неужели возможно...

Поднеся к лицу ладонь, едва пахнущую ее духами, он подумал: «Я целую ей руку... Вот так...»

Закрыв глаза, Аггей стал морщить подбородок так, как делает это Надя, когда смеется. Поднял пальцы к голове, тоже как делает Надя, поправляя волосы, и, весь выпрямившись, не в силах сдержать удары сердца, сказал:

— Люблю...— и, похолодев, открыл глаза и увидел в темном зеркале себя — толстого, с руками, неестественно растопыренными.

Аггей замотал головой, присел к столу, долго молчал, охватив лицо руками, потом решительно, крупным, неровным почерком, стал писать.

«Простите, но вы спросили — люблю ли я? Поэтому я осмеливаюсь писать. Вас я люблю так, как никто и никогда не любил. Вы не такая, как все женщины; вы особенная, вы прекраснее всех, и бог привел меня к вам... Я молюсь вам и прошу — сделайтесь моей женой, то есть я прошу вашей руки! Я несчастный...»

Много еще написал Аггей такого и, запечатав конверт, пошел к Марье Ивановне.

Старая экономка, сидя на сундуке, гладила больную ногу. На стене, около жестяной лампы, шуршали тараканы...

Громче прежнего ахнула Марья Ивановна при виде барина:

— Что это, батюшка, не спите, или живот болит?

— Запомните, Марья Ивановна,— сказал Аггей поспешно,— это письмо отдадите барышне поутру, смотрите только, не будите ее. Поняли?

Наутро Аггей встал рано и пошел в конюшню, где кучер мыл щеткой каракового жеребца, который косил белым глазом, топал ногой.

Рассеянно Аггей обнял морду коня, поцеловал его в серую губу и велел оседлать верхового. Затем потер ладонью свои покрасневшие за ночь глаза и потянулся, запах конюшни был мил ему; подходя к решеткам конских стойл, он гладил рыжие, сивые и черные морды, ласково губами ловившие его пальцы, и думал:

«Проснулась? А вдруг — проснулась? Прочла...» Он вышел на стук выводимого из каретника верхового.

— Шибко Ваську не бейте, барин,— сказал кучер,— не любит.

Рыжий Васька покосился на Аггея и присел, когда плотно уселось на нем восьмипудовое тело.

От быстрой езды Аггей приободрился, и неотступные мысли его просветлели.

«Нет, еще спит,— думал он, повертывая к лесу,— ручку положила под щеку, спит».

Ветви задевали лицо не просохшими от росы листьями, и, глядя на грибные тропки, бегущие от дороги в чащу, крикнул Аггей, приподнимаясь на седле:

— Нет, Надя проснулась и читает письмо... Милая, милая...

Хлестнул коня плетью и поскакал, придерживая шляпу.

Дорога сбегала круто вниз; там шумела хвоя и желтел песок. Чтобы не утомить лошадь, Аггей повернул вдоль косогора и скоро выехал на поляну, где курилась обложенная дерном куча и у шалаша на пне сидел в полушубке согбенный старичок, держа в руках кисет... Реденькая борода у старичка так и не поседела, хотя курил он деготь на этой поляне пятьдесят лет, и сколько прожил до того — не помнит. Заезжал к нему иногда барин и давал двугривенный; старичок за это кланялся ему в ноги. Увидев Аггея, он встал и снял шапку.

— Здравствуй, дед,— сказал Аггей, тяжело спрыгивая на землю,— ну что, все еще живешь?

— Не дает господь бог смерти,— заговорил старичок торопливо и многословно, словно боялся, что его перестанут слушать.— Летом я с молитвой ему служу — за пчелкой ли присмотришь, солнце встанет — перекрещу

ее, а ночью врага колотушкой от ульев гоню... Господу это угодно; он от грехов-то и ослобонит... А за зиму лежишь на печке — такое надумаешь — тьфу! — все лето пойдет насмарку: опять грехов полон рот... Оттого и зажился. И еще комар, прости господи...

— Донимает?

— Лют, дыму не боится; вот ужей тоже много, ох, много ужей завелось, бог с ними.

Аггей сел на обрубок и, оглядываясь кругом, прислушивался, как часто бьется сердце. А старичок все говорил, и прыгали воробьи на шалаше.

— Я у тебя до полудня посижу,— сказал Аггей,— разнуздай-ка лошадь.

И, когда старик, охлопотав коня, принес из шалаша дикого меду в бурачке и кувшин ключевой воды, Аггей сказал, краснея:

— Знаешь, дед, я женюсь.

Старик перекрестился:

— Вот и слава богу, а то я все думаю — нет и нет у нашего барина хозяйства.

— Увидишь скоро ее: мы кататься поедем, а ты забеги на дорогу и посмотри; такой красавицы не только ты — я не видал. Ты что это — меду мне принес. Дикий? А смотри, в нем пчела.

— Утопла; за добро своей жизни лишилась.

И старик стал глядеть, как Аггей ест мед...

— Всегда по лицу видно, что человеку бог пошлет,— сказал он,— вот у тебя, гляди-ко, глаза белые, будто со страху.

Аггей потянулся и, отойдя, лег на траву, где легкий ветер отдувал мух; возбуждение улеглось, и сладкая дремота закрыла веки; поплыла земля, и, положив руку на грудь, Аггей улыбался, слушал шорох листьев, говор старика.

— Кормят тебя, рыжий, овсом,— говорил старик, подсев к Ваське,— а сено ты жрешь от жадности. Вот и видно, что бог скотине душу не дал, одну утробу... Ну, что ногами топаешь, я, брат, истину тебе говорю...

...С легким криком Аггей проснулся и сел, осматриваясь.

— Дедушка,— окрикнул он старика.— Где ты? Скорей, скорей лошадь...

Ударяя плетью, Аггей скакал, потеряв шляпу, и сучья хлестали по бледному его лицу.

«Поздно, поздно»,— думал он, тоскливо глядя на солнце, взошедшее уже к полдню.

Обозлившийся Васька летел прямиком, но на плотине удалось Аггею задержать ход, и, чем ближе к дому, тем страшней становилось, а на самом дворе поворотил было Аггей коня обратно и, став, крепко сжал руки.

— Все равно,— сказал он. Быстро перекрестился несколько раз и спрыгнул у крыльца.

В доме было тихо; подойдя к кабинету, Аггей осмотрелся, не видит ли кто, и отворил дверь.

На диванчике, с книгой в руках, сидела Надя. Она повернула строгое лицо к вошедшему... Аггей ахнул, взялся за косяк. Надя, встав, сказала:

— Я давно жду вас, Аггей Петрович; я получила письмо...

Глядя, как она опустила глаза, Аггей возликовал, но сейчас же лицо его покрылось смертельной тоской.

— Аггей Петрович,— сказала Надя тихо,— я замужем...

Она тряхнула головой и, вынув из книги, подала Аггею его письмо.

— Милый, не огорчайтесь, я вас очень люблю...

Потом, легко коснувшись губами лба Аггея, подобрала синее дорожное платье и вышла, не обернулась в дверях — не спеша, удаляясь, стукали ее каблучки по коридору.

Письмо дрожало в руке Аггея, когда он подошел к пыльному окну; на дворе, выкатив, смазывали людмилинскую коляску.

— Вот и конец,— сказал Аггей, и ноги его задрожали, став бессильными, как после испуга.

— Что же, я возьму и лягу... Должно быть, меду съел натощак: тошнит...

Мотая головой, он лег на спину, скользя пальцами по гладкой коже дивана.

— Дурно мне...— сказал Аггей. Пот крупными каплями выступил на лбу, и тело холодело. Аггей прижался к холодной спинке дивана; не в силах привстать, глядел на клочок мочалы, торчащей из-за обивки, и, жалея себя, начал глотать соленую слюну.

Приходил Людмилин, сконфуженно объяснил, что должны они уже уехать, иначе опоздают на агрономический съезд, и что непременно ждут Аггея в Петербург, где сейчас белые ночи...

Аггей приподнялся, взял Степана за руку и, глядя в сторону, сказал:

— Хорошо, я постараюсь приехать.

И сел опять, комкая носовой платок. Степан вышел, ударившись плечом о косяк.

В коридоре разговаривали; топая ногами, пронес кучер, должно быть, чемодан. Нежный, изумительный голос Нади у самых дверей произнес:

— Он спит, не тревожьте его...

Тогда Аггей вышел на крыльцо и, стараясь улыбнуться, помахал отъезжающим рукой.

Когда же тройка выкатила за ворота и Надин лиловый шарф еще раз мелькнул сквозь зелень, Аггей, пожавшись, словно от холода, пошел в залу и сел против окна на любимое кресло.

Не было видно — закатилось ли солнце, или нет: сизая туча клубами поднялась из-за холмов; порыв ветра нагнул ветви, поднимая выше окон обрывок бумаги; на террасе с силой хлопнуло окно...

Несколько капель ударилось в стекла, потекли струйками; брызнуло сильнее, и зашумел по листьям крупный дождь.

Звуки в просторных комнатах утихли, запахло травой, сыростью, и стало совсем темно...

Аггея звали ужинать, а он все смотрел в окно и думал несвязное.

3

Три дня ливнем лил дождь. Аггей ходил по залу, где шум дождя был слышен всего сильнее, становился спиной к изразцовой печи и щурил глаза.

Ровно и глухо барабанил дождь по крыше и листьям, стремительно бежали вниз потоки, и напрасно, приотворив дверь, шепотом звала Марья Ивановна к столу.

Аггей глядел на нее, не видя, и экономка бормотала, бредя обратно в столовую:

— Вот беда-то... Наехали, намутили и след хвостом замели,— тоже гости.

Постояв у печки, Аггей уходил в библиотеку. Отворив один из темных шкафов, где пахло затхлыми книгами, он поднимал руку, чтобы взять волюм, но рука так и оставалась поднятой, а глаза видели сквозь полупрозрачное от струй дождя стекло сизую лужайку со сломанной березкой, склоненной к земле вершиной, и около примятую траву.

«Дождик все следы прибил»,— думал Аггей и шел обратно в кабинет...

Но в кабинете стоял тот низенький диван, обитый коричневой кожей, тошный и раскоряченный,— свидетель всех неприятностей; глядя на него с ненавистью, Аггей думал:

«Как глупо, для чего мне нужно вообще шататься по этому дому... Будто бы я обязан видеть всю эту гадость...»

И, вдруг страшно рассердившись, он выдвинул ящик стола; дрожа от легкого озноба, перевернул бумаги и вынул тяжелый кобур.

С любопытством рассматривая револьвер, Аггей взвел курок, направил дуло на себя и легко нажал гашетку.

Рука его вдруг отдернулась, и он проговорил глухо:

— Нет, это страшно...

Часто дыша, он положил револьвер и отошел к окну...

Было сумеречно и безнадежно сыро там, на воле, где висели мокрые ветви; Аггей отворил раму, холодные капли упали на руки и лицо, и он опять побрел к столу.

— Куда деться! — сказал Аггей. И снова взял револьвер. Начал поворачивать холодный барабан.

«Он будто приказывает,— подумал Аггей,— тупой какой-то, с дыркой. Ах, нет, только не сюда...»

Собрав всю волю, вытянул Аггей руку от себя, за-

жмурился... Оглушительно грохнуло, дернуло руку, защекотал в носу пороховой дым.

И сейчас же в доме все затихло, будто все присели в страхе... Аггей облегченно вздохнул и повалился в кресло.

А в коридоре уже слышались испуганные голоса и хлопанье дверей...

«Они думают, я в себя выпалил, беспокоятся, милые...» — томно думал Аггей и, желая сделать этим людям приятное, застонал и вбежавшим в кабинет приказчику и Марье Ивановне проговорил слабым голосом:

— Промахнулся...

В тот же вечер нарочный привез письмо, распечатывая которое Аггей волновался и долго не мог понять, что написано.

«Милый Аггей,— писал Людмилин,— мне очень жалко, что вышло смешное недоразумение. Я благодарю за честь, оказанную моей сестре, и надеюсь, что ты не будешь сердиться на эту курьезную историю. Я и Надя ждем тебя в Петербурге посмотреть белые ночи и освежиться от твоего коровинского сиденья. Надя очень просит тебе кланяться; она говорит, что провела у тебя самые очаровательные дни в жизни. Так приезжай, смотри, и не сердись... Твой Степан... Ваша Надя...»

— Ваша Надя,— повторил несколько раз Аггей, как во сне, и охнул, держась рукой за грудь.

Радость его была велика. Все нежные слова, сказанные Надей, все ее движения припомнились, словно вырвались, как птицы на волю из темного гнезда.

— Ваша Надя... Ваша Надя...— повторял Аггей,— да я просто дурень, ничего не понял, ну что же, что замужем... а — ваша — Надя...— И он, поспешно вынув из бокового кармана красненький платочек, оброненный ею и тайно им похищенный, со всей силой принялся вдыхать его аромат, говоря:

— Милая, нежная, благодарю тебя за все...

Потом потянулся, выпрямил грудь, хрустнул пальцами и засмеялся.

— Как хорошо!

Позванная Марья Ивановна немало была удивлена, видя барина, который уже решился на отчаянность, а теперь стоял посреди комнаты, напевая в нос:

Три девицы шли гулять,
Шли гулять, да...

— Марья Ивановна,— закричал Аггей,— милый друг, укладывайте скорее чемодан да крикните — лошадей закладывать; сейчас еду в Петербург...

В темноте по кочкам трясся тарантас, закидывая закутанного в чапан Аггея грязью и водой...

Ничего не замечая, глядел он вперед, думая только, когда же станция выглянет из этой хлюпкой, ночной степи...

Казалось, с приездом на станцию изменится вся жизнь: впереди ожидался город и счастье, а сзади оставалась вот эта глушь... Аггей закрывал глаза, и казалось — отовсюду тянутся обозы, скрипя и скользя по грязи, летает воронье...

Боже мой, боже мой, как медленно ехать! Когда была утрачена последняя надежда, кучер сказал:

— Вон и станция.

Аггей вскинулся. Кучер продолжал, тыкая кнутом в темноту:

— А вот и машина подходит,— как бы не опоздать.

Лошади помчались, тарантас кидало в стороны, Аггей стоял, держась за козлы, глядел на три приближающихся из темноты фонаря, и в немигающие его глаза бросало грязью и водой. Немного не доезжая станции, грузно упал коренник, пристяжные взвились, спутало сбрую. Аггей же принялся трясти кучера за плечи, повторяя:

— Что ты, что ты!

Потом, захватив чемодан, побежал, путаясь в длинном чапане, к подошедшему поезду и, когда ударил третий звонок, впрыгнул в вагон, тяжело дыша.

В вагоне было душно. Свеча, прикрытая шторой, едва освещала спавших на койках пассажиров и чьи-то мешавшие проходить огромные ноги в шерстяных чулках.

Аггей, сняв мокрую одежду, бросил ее вместе с чемоданом в сетку и этим движеньем задел несносные ноги. Тогда зарычало наверху, ноги подобрались, и, кашляя, свесилась взлохмаченная голова.

— А вы поосторожнее,— сказала голова.

— Извините,— ответил Аггей,— я очень торопился, я едва добежал, представьте, какое счастье.

Наверху чиркнули спичкой, и можно было увидать, что у головы одутловатые щеки, бородка клином и посреди спутанных волос плешь, исцарапанная ногтями...

— Ну, что нового? — сказала голова, и, спустив ноги, сел на лавку человек в измятом пиджаке, довольно толстый и сонный. Человек вывернулся, зевая, и продолжал:— Спать не могу. Вы в Петербург едете? Попутчики значит... Кто вы такой?..

— Коровин,— ответил Аггей с готовностью: он уже любил этого человека, едущего в Петербург...

— Помещик?

— Да, у меня пять тысяч десятин.

— А я Синицын,— сказал человек, помолчав,— разночинец, по-вашему — хам.

— Что вы, что вы... Разве так можно...

— Так вы либерал?.. А вас жгли?..

— Нет. Еще ни разу. Господи, как поезд идет медленно.

Аггей откинулся на спинку койки, с тоскою слушая удары колес о рельсы и шум дождя...

— Вы в Петербург зачем едете? — спросил Синицын, закурив папиросу и смотря прямо в глаза, не мигая.

— Я — так... меня ждут, не по делу, а... почти...

— Понимаю,— сказал Синицын, усмехаясь,— насчет баб,— освежиться.

— Нет, что вы говорите... Я к моим знакомым еду.

— Предположим. Ну, а знаете, ваша физиомордия мне понравилась, я побегаю с вами по городу: без опытного человека нарветесь, знаете ли, на такого бабца...

— Вы напрасно думаете...

Но Синицын перебил:

— К вам в имение тоже заверну как-нибудь.

— Пожалуйста, очень буду рад...

— Ну, рады не будете... Стойте, сейчас буфет. Идем пить водку...

И когда поезд остановился, сколько ни сопротивлялся Аггей, увлек его Синицын к буфету, заставил выпить водки с перцем и еще какой-то черной настойки и, захватив бутербродов и пирожков, притащил в вагон.

— Вы, конечно, считаете меня за последнюю собаку,— говорил Синицын.— Вполне вас понимаю. Шутка сказать, за пять лет я дня не имел, чтобы прожить спокойно... Весь вот так ходуном и хожу: пью и грублю своим меценатам. Я, знаете ли, живу по современной системе: найду мецената, отдою его до последней копейки и жду другого. Мысли безумные, поступки каторжные. Ницше меня погубил... Это вам понятно. Вы земляной человек, а я современная плесень,— ницшеанец.

Синицын самодовольно усмехнулся, посмотрел в глаза и добавил:

— Все-таки я — человек, а вы ерунда на постном масле.

— Чем вы занимаетесь?—поспешно спросил Аггей.

— Чем? Продавал резиновые изделия, потрошил животы в Кишиневе, потом сделался революционером: надоели дисциплина и нравственность. К тому же мне на людей наплевать. Теперь занимаюсь литературным маклачеством, сводничеством и мелким репортажем.

— Вы клевещете на себя.

Но Синицын, сильно подмигнув, завалился на койку, сказал: «До завтра» — и захрапел скоро на весь вагон.

Отогнув штору окна, Аггей увидел сырое утро и бегущие навстречу неясные поля.

«Что это,— думал Аггей,— все нерадостно»,— и, поймав себя на невеселых мыслях, постарался поскорее уснуть...

Проснулся он поздно, когда солнце клонилось к закату, и долго лежал на спине. Потом пришел откуда-то Синицын; лицо у него было желтое и мрачное, а разговор сдержанный, как будто он стыдился вчерашних слов.

— Меня мучит одна мысль,— сказал Аггей, приняв спокойный вид,— мой лучший друг едет сейчас в Петербург, чтоб увидеться с одной дамой. Он ее любит; так

вот мне хочется знать, обрадуется ли она его приезду...

— Несомненно,— сказал Синицын,— пусть смело едет...

— Вот как! Я потому вам говорю, что вы были откровенны со мной... Отношения у них престранные...

И Аггей, блаженно улыбаясь, стал рассказывать про Надю...

— Любопытно,— молвил, наконец, Синицын,— вашему другу весь свет бабьей юбкой закрыт; только я бы советовал ему посмотреть хорошенько, может получше сюжет найдется.

— Нет,— сказал Аггей,— мой друг не так смотрит...

Не докончив, он стал брезгливо морщиться, откинувшись в глубину койки.

В вагоне темнело. Скоро мимо окон стали пролетать фонари, освещая на мгновение лицо соседа.

От Синицына пахло перегаром; он лез с разговорами, дымил папиросой в глаза; Аггею казалось — случилось большое несчастье: нарушен тихий восторг, и чем дальше уносился поезд, чем больше уплывало станций и однообразных телеграфных столбов и за окном вытягивалось проволок, опускающихся, чтобы мерно опять вознестись до белых чашек,— тем глубже удалялся в неясное образ Нади.

Пересадки и новая ночь в купе, где, кроме Синицына, разговаривали еще двое пассажиров дорожными голосами, от которых тошнит и кружится голова, измучили непривычного к дороге Аггея, и наутро, когда он взглянул на тощие сосны и желтые будки среди ржавых болот, стало ясно, что незачем было ехать и нечего ждать впереди.

Петербург стал виден справа, огромный, окутанный мглою и копотью множества труб.

Быстро миновали кирпичные заводы, прудки с вербами, площадку, на которой унылый гимназист ждал дачного поезда, кладбище. Прогремели стыки и стрелки подъездных путей, и поезд въехал под холодный вокзал, где, заглядывая в окно, побежали вслед носильщики в белых фартуках.

Синицын посоветовал Аггею остановиться на Пушкинской и торопливо убежал, крикнув на ходу:

— Смотрите же, на Пушкинской!

Аггей, вслед за носильщиком, вышел на площадь, вдыхая влажный воздух петербургского утра.

Аггей надел серый костюм с большими клетками и сел на красный диванчик у стола; на захватанной скатерти только что отпищал самовар.

«Какой маленький самоварчик»,— подумал Аггей и обернулся к окну.

Оттуда слышался стук ножей, голос старьевщика и удары палкой по ковру. В желтом колодце двора было много окон, на некоторых спущены шторы, из некоторых выглядывали лица с усами и без усов.

«Сколько окон»,— подумал Аггей и поглядел налево.

На вешалке висели его пальто и шляпа; рожа нарисована была карандашом на обоях, и за дверью все время разговаривали, звенела посуда, и все звуки покрывал грохот едущих телег.

Аггей лег, положив руку под голову. От дороги все еще стучали рельсы в ушах, покачивая — тошнило. В номере пахло кислым. Глядя на потолок, Аггей подумал:

«Сколько здесь людей; все живут по-своему и хотят делать свое. Почему же именно я должен сказать: Надя, брось мужа и люби меня. Я такой же, как все».

Закрыв глаза, он представил большие соты, полные пчел, и себя внизу, в этой комнате с треснувшими обоями, маленьким червяком.

«Полежу здесь до завтра,— думал Аггей,— поеду домой. А дома темно, идет дождь, и дыра от пули в шкафу... Нет, нельзя туда ехать. Куда бы нибудь на светлую поляну попасть, где стена монастырская и зеленые купола. Поглядеть бы на них и на речку. Отдохнуть».

Аггей хотел задремать, но не смог. Бессильная вялость томила, а в глубине сердца точно посасывал червячок.

Затем шумно ворвался в дверь Синицын и воскликнул:

— Вот вы где! Хорош тоже,— разлегся, думает — каша ему сама в рот полезет.

— Оставьте,— сказал Аггей с гримасой,— какая там каша? Я утомлен.

— А мы подкрепимся коньячком. Я позвоню.

Синицын развалился на стуле, не мытый еще с дороги, в затхлом пиджаке, и стал курить и рассказывать, что успел натворить за это утро.

«А глаза у него злые»,— подумал Аггей и добавил слабо:

— Нет, право, оставили бы меня...

Синицын не обратил на это никакого внимания.

Коньяк сначала обжег горло, потом Аггею стало тепло. слегка зашумело в голове, и шум этот заглушил городские звуки...

— Теперь идем завтракать! — воскликнул Синицын, подхватил Аггея под руку и, нахлобучив ему шляпу на глаза, увлек на улицу.

На улице солнце, припекая, не жгло, и приятно было идти в тени домов мимо сквера, где играли дети, где маленький бронзовый Пушкин упрямо глядел на крышу...

Первое, что бросилось в глаза Аггею при повороте на Невский,— длинный ряд дураков в зеленых шапках и кафтанах; они шли один за другим, неся на спине доски с нарисованным голым человеком, скрестившим руки... Потом Аггею дали какую-то бумажку, и он прочел: «Цыпкин — портной»... При переходе через улицу на Аггея налетел рысак, и велосипедист затрещал над ухом. Аггей неловко побежал.

— Не разевайте рот! — крикнул Синицын.

На тротуаре тотчас же принялись толкаться прохожие, и, так как Аггей был выше всех головой, сверху ему представлялось, будто копошились одни черные котелки, шляпы и фуражки.

— Ох,— сказал он, вытирая пот,— что они так толкаются, отойдем в сторону.

И он отошел к окну гастрономического магазина. Хотел что-то сказать Синицыну и вдруг сильно побледнел: за окном толстый приказчик, стоявший, заложив руки и подняв бровь, быстро посторонился, мимо него в дверь прошла дама со сверточком в узкой руке.

Это была не Надя, но совершенно подобная ей, с детским лицом, бледным и нежным, в черной шляпе, с рукою, затянутой в белую перчатку.

Проходя мимо Аггея, она повернула голову и посмотрела внимательно, даже чуть-чуть приоткрылся под вуалью ровный ряд ее зубов. Она была необыкновенно прекрасна.

— Видал? — сказал Синицын и, кашляя, засмеялся.— Хороша! А хотите, познакомлю...

— Кто она? — спросил Аггей.

— Кто она? Вот чудачина. Это же и есть Машка Кудлашка.— Синицын, надув щеки, хлопнул себя по бокам: — Ах вы, деревенская душа! Машку Кудлашку не знает.

— Синицын,— сказал Аггей,— я бы пошел к себе, мне нехорошо.

Но Синицын повел его завтракать и, под модную песенку оркестра, стуча в такт по тарелке, уверял, что, если Аггею хочется поспать с Машенькой, не так это трудно...

— Оставьте, не люблю я этого,— бормотал Аггей, избегая его взгляда,— пустите меня.

Не докончив еду, вдруг ставшую противной, Аггей поднялся, оттолкнул стол и, дав Синицыну обещание приехать вечером, сел на извозчика. Дома, экипажи и прохожие поплыли перед глазами. Аггей чувствовал себя грузным, словно налитым кровью...

— Невозможно, невозможно,— бормотал он, придя в номер,— подойти и тронуть ее...— Он повалился на диван, чувствуя, как жар сушит горло и все тело знобит.— Зачем она доступна? — с отчаянием, вслух проговорил он и, помолчав, скрипнул зубами...

4

Начиналась не то лихорадка, не то какая-то ерунда — знобило так, что вся кожа покрылась пупырышками. Натянув до подбородка пальто, сунув кулак под щеку, Аггей лежал, едва умещаясь на узеньком диване. В мыслях были отрывки слов, видений, выхваченные из

далекого прошлого, словно горячие пятна воспоминаний, и среди этой волнующей путаницы появлялась время от времени Машенька, в перчатках, со сверточком, в суконном, ловком платье... под ним,— это было самое страшное,— Аггей чувствовал то, что было покрыто, скрыто, невозможно, немыслимо. И все же, стоило только подойти, протянуть руку... Нет! Нет! Грузно, скрипя пружинами, он поворачивался к диванной спинке. Силился представить поляну, березку, сияющее золотой пылью небо — всю свою не повинную ни в чем влюбленность... Вот Наденька поправляет прядку волос и, опустив руки в траву, склоняется над лежащим Аггеем; грызя стебелек, вглядывается ему в глаза... Ее уши прозрачные и розовые, а лицо в тени... Но лицо не ее, а этой... И под легким белым платьем — эта... эта...

«Лихорадка... сил нет... Черт, зачем я сюда заехал»,— с тоскою думал Аггей. И вдруг из заповедной глубины памяти появилось поле, поросшее густой полынью; вдалеке идут две бабы и мужик — богомольцы. Шли, шли и сели у канавы... Посидели и легли, смеются. У Аггея стучит сердце, он спрятался за кустиком полыни и видит, как две бабьи, в красных чулках, ноги поднялись над травой... А вот Аггей идет с лопаткой мимо скотного двора; заскрипели ворота, с мычаньем выходит стадо, и посреди него верхом на ком-то — рогатый, головастый бык с багровыми глазами... Аггей глядит и чувствует, что это—то,—страшное. Бросает лопатку и по глубокому снегу идет в поле, где, занесенный сугробом, стоит плугарский домик на колесах. Аггей становится в домике на колени и молит бога — дать силы пережить виденный ужас, касается горящим лицом снега. И бог дает ему силы. А весной он опять, присев, рассматривает двух жучков, прильнувших друг к другу, палочкой перевертывает их на спины и вдруг, с застывшей улыбкой, гневно топчет их ногами.

До сумерек Аггей томился, то забываясь, то бормоча чепуху. Когда же снизу, со двора, проник зеленоватый свет фонаря и лег на потолке тошным до дурноты переплетом — стало невыносимо. Аггей поправил на шее большой мягкий галстук, надвинул шляпу на глаза и

вышел, тяжело ступая и видя только тени, призраки людей; шел он по левой стороне Невского, к Адмиралтейству.

Там, где в перспективе сходились дома, трамвайные столбы и проволоки, за медным шпилем башни угасал закат, и выше небо зеленело, как морские воды. А направо, среди потемневших домов, один дом, будто приподнявшись, плыл багровыми окнами, точно полон был огня, не разрушавшего мрамор и бронзовые переплеты.

— Вот и ресторан этот,— сказал Аггей и, войдя, тотчас же увидел Синицына.

— Минута в минуту пришел, вот что значит дворянское слово,— подняв салфетку и нож, воскликнул Синицын.— Ну-с, ваше превосходительство, что намерены предпринять?

— Делайте, что хотите,— сказал Аггей, стоя перед ним.— Ну, давайте кутить.

— Вот это ответ,— воскликнул Синицын,— давно бы так. Значит, идем в сад и Машеньку поищем...

Когда извозчик повез их по Фонтанке, Синицын обнял Аггея за спину, добродушно уверяя:

— Вы мне сразу понравились — породистый помещик и очень симпатичный...

Аггею стало стыдно, и он сказал:

— Вы тоже очень симпатичны.

В саду, промозглом и прокуренном, Аггей, слегка задыхаясь, стал протискиваться сквозь шумную толпу гуляющих. Здесь все было фальшивое: и цветы, и гроты, и песок,— крашеное и захватанное, и даже листья на деревьях, как из жести.

— Тише, чего прете! — кричали вдогонку.

Синицын, посмеиваясь, шел сзади. На открытой площадке Аггей шумно вздохнул и оглянулся на полутемный навес, где в глубине, ярко освещенная красным, танцевала испанка.

— Машенька, должно быть, у столиков,— сказал Синицын,— да вон и она с двумя кавалерами.

Аггей сейчас же увидел сидящую в профиль к нему Машеньку, с милой улыбкой, положившую ногу на ногу, и двух ухаживателей в котелках. Он резко отвернулся и пошел в глубь сада.

— Полно вам дурить! — крикнул, догоняя его, Синицын.— Это коты с ней сидят, мы сейчас ее приведем.— И убежал рысцой.

— Боже мой,— шептал Аггей, садясь на скамью,— неужели она со всеми... они целуют ее лицо, делают, что хотят, она же...

Стиснув зубы, он положил руки на колени и сидел красный и тучный. В оркестре одна труба, издающая всего два звука, ревела сама по себе низким басом все громче и ближе, наполняла всю голову тупым уханьем.

Мимо шли, с неестественными улыбками, наряженные девушки, прошмыгнул, оглянувшись, завитой франт в котелке; проплыл, хрустя песком, толстяк с окурком сигары в бритых губах.

«Уйти надо, лечь»,— подумал Аггей и сейчас же, увидев подходящих Машеньку и Синицына, стал жалобно улыбаться. И вдруг, чувствуя, что гибнет, вскочил со скамейки и, спотыкаясь, зашагал к выходу через газон.

— Аггей Петрович! — закричал Синицын так злобно, что многие оглянулись.

Аггей остановился, шепча про себя:

— Трус, трус...

Машенька ничего не говорила, только, чертя зонтиком по песку, вскидывала прекрасные свои глаза на проходящих. Аггей же не смел на нее взглянуть, боясь, как бы не прочла она в его взгляде вожделения, и церемонно молчал, склоня голову набок.

— Долго мы будем здесь торчать? — спросил Синицын.

Машенька сказала, растягивая слова:

— Поедемте кататься,—и улыбнулась Аггею,—у нас по ночам светло...

— Угадала, что ты провинциал,— захихикал Синицын.— Это, Машенька, закадычный мой друг, Петрович...

— Да, да,— сказал Аггей.

Они вышли из резкого света на белый сумрак к реке, где за решеткой спокойно отражались дома с темными окнами.

Ступив на узкий тротуар набережной, Синицын за-

ложил руки в карманы куцего пиджака, сдвинул шляпу и пошел вперед, а Машенька просунула руку свою под руку Аггея и, обернув к нему бледное лицо с синеватыми под глазами кругами, улыбкой открыла два ряда ровных зубов.

— Ну что,— сказал Аггей, точно во сне нагибаясь к ее раздвинутым губам,— душенька моя...

Когда он так сказал, Машенька охватила его шею и, закрыв глаза, поцеловала холодными губами.

— Вот и поцеловались,— со вздохом сказала она.

— Браво! — ответил Синицын, не оборачиваясь...

Аггей поглядел на небо, оно светилось мягким светом, белым и ровным.

— Это лучше, чем все, о чем я думал, и более странно...

В нанятой Синицыным коляске они втроем поехали через мост, где у перил стоял человек с поднятым воротником и глядел на воду.

— Чего он смотрит? — оборачиваясь, с неодобрением проговорила Машенька.— Ничего в воде не увидишь, нехорошо,— и завернула лицо вместе с носиком в мех.

У колонны Исаакиевского собора сидела оборванная старушонка, подперев кулаками подбородок. По набережной летел рысак, увозя даму и офицера... Дама закинула голову, держа руки в муфте, офицер целовал ее.

— Поцелуйте и меня,— сказала Машенька, придвигаясь.

Аггей откинулся в угол коляски. Перед ним текла Нева — свинцовая, студеная, словно выпуклая. На той стороне лежали два сфинкса. Все это было как сон.

Машенька привлекла Аггея за руку и, погладив по щеке, шепнула:

— Поедем ко мне, у меня отдохнете. Хорошо?

Тогда Аггей опять почувствовал тупую тяжесть и озноб и, закусив губу, чтобы сдержать дрожь, увидел на открытой Машенькиной шее родимое пятнышко. От этого вся девушка стала родной и сладкой. Разжав рот, Аггей кашлянул хрипло и вдруг страшно покраснел.

Синицын, не поднимая век, сонным голосом крикнул кучеру адрес.

Аггей со всей силой сжимал руки, пока Машенька отворяла на темной лестнице дверь. В прихожей, где пахло духами и калошами, он прислонился к стене, не в силах снять пальто.

— Я в столовой на стульчике посижу,— сказал заискивающе Синицын,— куда мне идти, тут я и подожду Петровича.

Машенька покачала головой:

— Ну, уж сиди, только не стащи чего-нибудь...

— Ну, это я-то стащу! — ответил Синицын и, увидев в столовой бутылки, начал прыгать, поднимая пиджак, так что видна была пряжка засаленных его панталон.

— Жалко мне его все-таки,— сказала Машенька,— хоть он и свинья. Женатый ведь и детей любит. Пойдемте в спальню.

Взяв Аггея за руку, она прошла через две двери в комнату, устланную желтым ковром, с деревянной кроватью посредине и белым чистеньким туалетом из трех зеркал.

Сев перед ним на шелковый пуфчик, она провела пальцем по бровям, расстегнула кофточку и слегка откинулась, обнажая плечи и тонкие руки с двумя оспинами. Потом взглянула на Аггея и потрясла головой, наморщив носик, вытянув губы. Но, видимо, ей все же очень хотелось спать,— устала.

Аггей, до того стоявший у окна, осторожно опустился перед ней на колени, охватил руками, спрятал лицо в ее ногах. Челюсти у него были сжаты, он не мог сказать слова.

Машенька запустила пальцы в его волосы:

— Нехорошо на коленях стоять, сядьте...

И, когда он послушался, аккуратно сняла платье, стряхнув, повесила его за простыню, зевнула и села Аггею на колени, покачивая, точно баюкая.

— Хорошо тебе со мной? — сказала она.— И спать не хочется. А на улице светло, светло.

Одним глазом Аггей взглянул в окно. Там за перистыми облаками, над лиловой тучей, разгоралась золотая полоса. Он разжал зубы и проговорил:

— Маша, Машенька!

Глаза его расширились, сознание словно бродило по осунувшемуся лицу, и когда Машенька проговорила, приподнимая шелковую юбку: «Смотри, какие у меня чулочки ажурные»,— Аггей коротко вздохнул, поднялся, прошел несколько шагов, держа на руках прижавшуюся к нему девушку, и, вдыхая ее запах, повалился на ковер.

Потом Машенька поднялась с ковра, озабоченная походила по комнате, накинула на плечи теплую шаль, нагнулась над Аггеем и сказала участливо:

— Встань, миленький, запылишься на ковре...

Но Аггей не отвечал, лежа с откинутой рукой. Бледное лицо его было спокойно, как у спящего.

— Встань же,— повторила Машенька и, присев, потрепала Аггея по волосам.

Он открыл глаза. Щеки его порозовели, приподнявшись, он схватил Машеньку за руку, словно боясь, что она убежит...

— Ты любишь меня? — спросил он важным голосом.

— А как же,— смеясь, ответила Машенька.— А ты ночевать у меня останешься или домой поедешь?

— Домой,— сказал Аггей медленно и сел на стул,— куда я пойду?

Машенька, достав из стеклянной коробки папироску, закурила, перекинула угол шали через плечо.

— У всякого человека есть дом, дружок. А со мной все равно жить ведь не будешь...

— Зачем ты куришь? Дым из носу у тебя идет,— проговорил Аггей тоскливо.— Ты мне ведь раньше являлась, я тебя давно любил! А теперь разговариваешь, как обыкновенная...

— Какая же я должна быть? Вот уж ненавижу, когда начинают говорить непонятное...

— Молчи, молчи,— сказал Аггей.

Машенька поджала губы.

— Пошел бы ты спать в самом деле. А завтра приходи... а то разговаривать — я ни за что не стану. Так ты и знай. Засну сейчас как мертвая.

— Уйду, уйду,— сказал Аггей торопливо,— только молчи...

Он надвинул шляпу и взялся за ручку двери. Машенька спросила тихо, будто удивляясь:

— А деньги?..

Тогда Аггей быстро обернулся, глаза сузились, стали зелеными. Не глядя, подал он ей одну бумажку, другую бросил на пол и, покраснев так, что надулись жилы на лбу, кинул весь бумажник Машеньке под ноги.

— Мерзость,— медленно проговорил Аггей,— мерзость...

Машенька отбежала за постель и оттуда крикнула испуганно:

— Вы с ума сошли!

— Да,— говорил Аггей, наступая,— с ума сошел!— Он поднял кулак, но, встретив большие, полные слез глаза Машеньки, прижавшейся в теплой шали в углу, неуклюже отвернулся, подумал: «Как у собаки глаза, когда бьют». И, морщась, побрел к двери. Когда же распахнул ее — против замочной скважины на стуле спал, уронив голову, Синицын, с угла раскрытого его рта текла слюна.

Аггей постоял мгновенье, размахнувшись, грузно ударил по лицу Синицына и вышел.

Спускаясь по сырой лестнице, он задыхался от отвращения. На улице была все та же белая ночь, томительная, непонятная, нечистая...

Только перистые облачка стали жестче. Неподалеку дремал извозчик, почти свалившись с козел, да в мелочной лавке открывали ставню...

— Ничего больше нет,— сказал Аггей. Помолчав, поглядел под ноги.— Тоже — любовь!

И, сунув руки в карманы, пошел, сутулясь, к мосту, который держали в зубах четыре чугунных льва. Здесь, в похолодевшей воде, отражались с обоих концов канала тусклая вечерняя и оранжевая утренняя зори. Аггей смотрел на дома, на небо, на отражение зорь. Ноги его стали вялыми. Он сел на гранитную плиту, опустил голову.

— Никогда, никогда теперь ее не увидать...

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

1

По низовому берегу Заволжья,— в тени сырых садов, с прудами, купальнями и широкими дворами, заросшими травой, с крытыми соломой службами,— издавна стояли помещичьи усадьбы дворян Ставропольского уезда.

Проезжему человеку, сидящему на подушке, вышитой по углам петушками, в тарантасе, запряженном парой облепленных слепнями почтовых лошаденок, не на что было смотреть сквозь сонные веки: жара, пыль, пыльная, чуть вьющаяся дорога по степи, жаворонки над хлебами, далеко — соломенные крыши да журавли колодцев... Лишь изредка из-за горки поднимались вершины ветел, и тарантас катил мимо плоского пруда с рябым от отпечатков копыт берегом, мимо канавы, поросшей акацией, мимо белеющих сквозь тополевую зелень колонн налымовского дома.

Хотя в этом случае знающий уездные порядки непременно сворачивал лошадей с дороги и ехал не через усадебный двор, а задами, особенно если у окна сидит в халате сам Мишука,— Михал Михалыч Налымов,— с отвислыми усами, с воловьим, в три складки затылком, и поглядывает, насупясь, на проезжающий тарантас.

Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости,— лошадей отпрячь и —

в табун, тарантас — в пруд, чтобы не рассохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак,— моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти окаянные!..» А налымовских собак лучше и во сне не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать ему метлу — замести за собою след через двор. Хочешь не хочешь — вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами.

Так знающий уездные порядки далеко огибал по степи налымовскую усадьбу. Редко заезжали в нее и гости, но уже по другой причине.

После полудня Мишука сидел, как обычно, у раскрытого окна. На другом конце зеленого двора, в каретнике, ворота были раскрыты, ходили конюхи. Вот они расступились, и из каретника, разом отпущенная, вылетела караковая тройка, запряженная в венскую коляску,— описала по двору полукруг и стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные сели на хвосты, коренник задрал голову, вошел копытами в рыхлую землю. Кучер, в черной безрукавке, с малиновыми рукавами, снял осыпанную мелом перчатку и, приставив большой палец к ноздре, высморкался. Подбежавший прямиком от каретника конюх взял коренника под уздцы.

Мишука, перегнувшись за окно, смотрел на лошадей,— хороша тройка — львы. Наглядевшись, он поднялся с кресла, пошел в соседнюю комнату и крикнул: «Ванюшка!» Вошел толстомордый мальчик, называвшийся еще по старине — казачком. Мишука присел на деревянную кровать и протянул казачку одну за другою толстые ноги, на которые Ванюшка натянул просторные панталоны, наместо халата Мишука надел парусиновую поддевку, взял в руки белый картуз с красным околышем, короткий арапник, выпятил полную грудь и, тяжело ступая по половицам дома, вышел на крыльцо.

Коренник, завидев Мишуку, обернулся и коротко, нежно заржал. Подошел приказчик — Петр Ильич, в долгополом зеленом сюртуке, и стал докладывать почтительно:

— Барышня Марья, да барышня Дуня, ваше превосходительство, да барышня Телипатра лошадей требовали утрася,— я не дал.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, погрозил туда арапником, расправил усы.

— Без моего разрешения никаких лошадей никому не давать, черти окаянные,— сказал он и шагнул к коляске.

— Слушаюсь... И еще садовник приходил в контору — жаловался, что барышня Фимка да барышня Бронька малину порвали, всю ободрали...

— Ах, черт,— сказал Мишука и побагровел,— вот я им задам...

Он подумал и ступил в коляску, которую сейчас же перекосило, грузно опустился на пружинное сиденье и двинул большой козырек фуражки на глаза. Кучер подобрал вожжи, обернул голову.

— В Репьевку,— сказал Мишука и, когда лошади тронули, крикнул: — Стой! Эй, Петр Ильич, позови их сюда. Живо!

Приказчик побежал в дом. Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья — неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня,— равнодушно глядела на небо, в дверях жались Фимка и Бронька, деревенские девчонки,— глядели на Мишуку, наморщив носы...

— Вы,— сказал Мишука, поводя рыжими усами,— смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня,— он хлестнул арапником по голенищу,— смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

— Очень нам нужно,— сказала Клеопатра, скривила рот.

Красавица Дуня лениво повела плечами.

— Привезите сладкого,— сказала она, глядя на небо.

Мишука насупился, засопел, хотел сказать что-то еще, но раздумал, только крикнул кучеру: «Пшел!» — и уехал.

Дорогой, глядя по сторонам на ржаные до самого горизонта и пшеничные поля, Мишука вытирал время от времени багровое лицо платком и особенно ни о чем не думал. Навстречу проехал мелкопоместный дворянчик на дрожках. Мишука приложил два пальца к козырьку и строго, выпученными светлыми глазами, посмотрел на кланяющегося ему дворянчика.

Проехали овраг, где в колдобине едва не сели рессоры, окатило грязью, и пристяжные, взмылясь, вынесли на горку,— дорога пошла покосами, продувал ветерок.

— Репьевские,— сказал кучер, показывая кнутовищем вперед, на межу, по которой катила запряженная парой длинная линейка. В ней над белыми рубахами сидящих покачивался красный зонт. Когда тройка поравнялась с линейкой, оттуда закричали: «Дядя Миша, к нам, к нам!» Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая рослая, светловолосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте, светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал:

«Кто такая? Кому бы это быть? — и перебирал в медленной памяти всех родственников.— Не иначе, как это — Вера Ходанская,— она».

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, покуда за горкой не показался большой репьевский сад и вдалеке играющая, как чешуя под солнцем, Волга.

2

На террасе, обращенной к саду и к прудам и тенистой от зарослей сирени, сидели на креслицах брат и сестра — старшие Репьевы.

Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в круглых очках, поджав губы, вышивала шерстью дорожку для чайного стола, а Петр Леонтьевич, одетый, как всегда, в черную безрукавку, помалкивал, прищуря один глаз, другим же лукаво поглядывал на сестрицу и топал носком сапога, голенище которого из моржовой

кожи любил он, бывало, подтянуть, говоря: «Ведь вот, двадцать лет ношу, и нет износа». На голове у него была надета бархатная скуфейка. Ветерок веял на седую его бороду, на белые рукава рубахи.

— Не понимаю,— сказала Ольга Леонтьевна,— чем это все кончится?

— А что, Оленька?

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

— Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

— О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю.— Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее.— Да, да, это вопрос — серьезный.

— Перестань стучать ногой,— сказала ему Ольга Леонтьевна.

Брат стукнул еще раза три и сощурил оба глаза.

— Сереже, по-моему, надо бы на время уехать,— сказал он и подтянул голенище.

— Ах, Петр, и без тебя давно это знаю... Но дело гораздо, гораздо сложнее, чем ты думаешь... Помяни мое слово...

— Вот как?

— Да нет же, нет, как тебе не стыдно, Петр... Но — гораздо, гораздо сложнее, чем это кажется...

Брат и сестра замолкли. Пели птицы в саду. Шелестели листья... Старичкам было тепло, покойно сидеть на балконе. Издалека доносился звон колокольчика.

— Чей бы это мог быть колокольчик? — спросил Петр Леонтьевич.

Ольга Леонтьевна сняла очки, вслушалась:

— Налымовский колокольчик. Неужели Мишука? Какой его ветер занес?

Мишука, взойдя со стороны сада на балкон, подошел к ручке Ольги Леонтьевны и поцеловался с Петром Леонтьевичем, подумав при этом: «Целуется старый, а именье протряс,— либерал».

Мишука сел, снял фуражку, вытер платком лицо и череп. Петр Леонтьевич, улыбаясь, потрепал его по коленке. Ольга Леонтьевна, продолжая вышивать, сказала не совсем одобрительно:

— Давненько, Мишенька, не был.

— Занят,— земские выборы.

— Ну, что,— она мельком взглянула на брата,— мужичков, видно, опять прокатили?

— Да, мужиков мы прокатили,— Мишука хмуро отвернулся к саду,— не то теперь время, крамольные времена пошли...

— Давно я хочу тебя побранить,— после молчания заговорила опять Ольга Леонтьевна,— недостойно, Мишенька, дворянину выкидывать такие штуки, какие ты выкидываешь.

— Какие штуки?

— А вот, как недавно: зазвал в Симбирске какого-то купчика в гостиницу, напоил, обыграл и выбросил его из номера, да еще — головой его сквозь дверь, и дверь сломал.

— А! Это когда я этого, как его,— Ваську Севрюгина...

— Ах, батюшки, что же из того, что Ваську Севрюгина... а того три дня в чувство приводили... Гадко, Мишенька, недостойно...

— Севрюгин под утро в уборную пошел,— сказал Мишука,— в коридоре увидел лакея без фрака,— тот окошко моет... «Как,— говорит он ему,— ты смеешь при мне без фрака!» И принялся его колотить. А лакей — Евдоким — у моего еще отца в казачках был, всех нас помнит,— почтенный. Севрюгин вернулся из уборной в мой номер и рассказывает, как он бил Евдокима... «Понимаете, говорит, я суконный фабрикант». А я ему говорю: «Ты — хам, тебя на ситцевого переворочу...» Он обиделся, я его толкнул и — угодил в дверь... Только и всего.

Мишука после столь длинной речи долго вытирался платком, а Ольга Леонтьевна, опустив вязанье, не выдержала — засмеялась, покрылась морщинками, вся тряслась — по-старушечьи.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней — Сергей, прыгавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбавшийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

— Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

— Да, да, вспоминаю, кажется,— Мишука поднялся с трудом,— ну, как же,— Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно теперь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минуту, она приподняла платье и присела важно:

— Поздравьте,— завтра мне девятнадцать лет...

Пётр Леонтьевич, глядевший с радостной улыбкой на Веру, засмеялся, толкнул локтем сестру. Никита приложил ладонь к уху:

— А? Что она сказала?

— Сказала, что завтра я старая дева. По этому случаю у нас — гости, будем кататься на лодках...

— Да, да, конечно, будем кататься на лодках,— подтвердил Никита и закивал головой.

Вера села на балюстраду, обняла белую колонку, прислонилась к ней виском, Сергей, черный, горбоносый, с веселыми и недобрыми глазами, стоял рядом с Верой, заложив руку за ременный поясок. Никита то подходил на шаг, то отходил и, наконец, уронил пенсне. Мишука, глядя на молодых людей, начал хохотать. Ольга Леонтьевна, быстро поднявшись с креслица, сказала:

— Вот что — идемте-ка пить чай.

Никита замедлился на балконе. Стоя у колонки, протирал он пенсне и все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным,— и весь он был немного нелепый — в чесучовом пиджачке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась и стала рядом.

— Никита, мне грустно,— не знаешь, почему?

— Что ты сказала?

— Я говорю — грустно.— Она взяла его за верхнюю пуговицу жилета.

Он вдруг покраснел и улыбнулся жалобно.

— Нет, Верочка, не знаю, почему...

— Ты что покраснел?

— Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лицо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

— Ну, показалось,— проговорила она нараспев.

Минуту спустя Никита спросил:

— Верочка, ты очень любишь Сергея?

— Конечно. Я и тебя люблю.

Никита слабо пожал ее руку, но губы его дрожали, он не смел взглянуть на Веру. В дверях появился Сергей, жуя ватрушку.

— А, сентиментальное объяснение! — Он хохотнул.— Приказано вас звать к столу...

3

Вдоль камышей, под ветлами, плыли лодки. В передней сидели Вера, Сергей и Мишука, который греб, глубоко запуская весла, тяжелые от путавшихся водорослей. Поглядывая из-под мокрых бровей на Веру, Мишука сопел и думал, что вот — гребет, унижается из-за девчонки.

— Жарко,— сказал он, вытирая усы.

— Дядя Миша, пустите меня на весла,— Вера поднялась, лодка качнулась, с задней лодки закричали: «Вера, Вера, упадешь!»

В камышах тревожно закрякала утка.

— Нет, я начал грести, я и буду грести,— сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок. «Ах, черт, девчонка какая,— думал он,— ах ты, черт. Приемыш, отца-матери нет, норовит замуж выскочить... Ах, черт!..»

Сергей сидел, поджав ногу, наклонив горбоносое лицо к плечу,— играл на мандолине. Черные его, хитрые глаза весело блестели, щурились на воду и, словно нарочно, избегали взглянуть на Веру. Солнце уходило на покой, но было жарко. Летел пух от деревьев, садился на зеркальную воду. Над головой Мишуки некоторое время трещали два сцепленных коромысла. Далеко в

беседке, отраженной шестью колонками в воде, сидел Никита...

— Ника,— звонко по пруду закричала Вера,— чай готов? — но сейчас же под взглядом Мишуки покраснела, как и вчера, слегка сдвинула брови.

Сергей сказал, перебирая мандолину:

— У тебя голос очень красивый, Вера, право, право,— очень красивый голос...

Вера еще гуще покраснела, закусила губы. Мишука ухмылялся.

Лодку их перегнала другая, где на руле сидела тетка Осоргина, та, которая не могла ездить на рессорах,— ломались. Она была одета в лиловое просторное платье, в наколке и в перчатках и строго из-под густых бровей глядела на Нуну, Шушу и Бебе — трех своих дочерей, сидевших на веслах.

Нуну, маленькая и полная, украдкой всплакнула, не в силах вытащить из водорослей тяжелые весла. Шушу была зла от природы,— худа, с длинным красным носом. Бебе — младшая, с распущенными волосами, хотя ей уже было за двадцать,— гребла неумело и капризно, зная, что она миленькая,— в семье ее считали красавицей и звали «капризуля».

Проплывая мимо, тетка Осоргина сказала грудным басом:

— Что же, новорожденная, пора нам пить и есть.

Лодки подъехали к беседке, где, подперев щеку, сидел Никита у накрытого снежной скатертью и синим фарфором чайного стола.

С писком и вскриками, подбирая платья, вылезли барышни Осоргины, степенно вышла тетка, выскочили Вера и Сергей, треща ступенями, грузно поднялся в беседку Мишука.

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, руки, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистыми, как разливаемый ею чай. Тетка Осоргина, посадив дочерей по возрасту сбоку себя, приказала басом:

— По две чашки с молоком, кусок хлеба и масло.

— Прелестный пруд, такая поэзия,— сказала Бебе и откинула косу с плеча на спину.

Шушу сказала:

— Наш пруд лучше здешнего пруда, только что лодки нет. И сад лучше.

Нуну молча, с грустными глазами, уписывала хлеб с маслом, покуда мать не сказала ей:

— Воздержись.

Никита сидел в стороне, молча поправляя пенсне, улыбался в чашку. Сергей опять взялся за мандолину. Вера, подавая ему блюдце с малиной, шепнула:

— Ты обидел меня на лодке, проси прощения.

— Губы так близко — сейчас поцелую,— так же быстро, шепотом, ответил Сергей, не глядя.

Мишука вдруг всполошился:

— Или шептаться, или не шептаться... Тогда уже все давайте шептаться...

Барышни Осоргины захихикали. Вера залилась румянцем, блеснула влажными глазами.

Из-за потемневших лип поднялся красный шнур ракеты и рассыпался звездами. Бух,— ахнуло в высоте, завозились на ветлах в гнездах грачи.

— Прекрасная иллюминация, пойдемте ее посмотрим хорошенько,— сказала тетка Осоргина и первая сошла по хлопающим мосткам на берег.

Беседка опустела. Круглая ее крыша и шесть облупленных колонок неясно теперь отражались в темном с оранжевыми отблесками пруду. Там, в воде, она казалась лучше и прекраснее,— совсем такая, какою ее задумал построить прадед Репьев в память рано умершей супруги. Галицкие плотники срубили ее из любимых покойницей деревьев, поштукатурили и расписали греческим узором. Посредине ее был поставлен купидон из гипса,— в одной руке опущенный факел, другою закрыты плачущие глаза. Над входом сделана надпись, теперь уже стершаяся:

Подруга милая, увы,—
Все в жизни нашей быстротечно...
Я ухожу туда, где вы
Живете мирно и беспечно...

Прадед Репьев каждый вечер сиживал в этой беседке один, думал, вспоминал и шептал имя ушедшей подруги. Осенью, когда пруд был покрыт падающими

листьями, камыши застилало туманом и в тусклую полосу заката улетали утки,— прадед Репьев исчез. Его нашли баграми на дне пруда, среди водорослей.

В аллее, в сырой листве лип, догорали разноцветные фонарики. Сквозь ветви была видна низкая над садом, желтоватая луна. Кучкой между стволами стояли деревенские девушки. Только что они отпели, по просьбе Ольги Леонтьевны, старинную песню и грызли подсолнухи, отмахиваясь локтями от парней.

Сидя на земле, играл на скрипке скрипач-татарин печальную степную, дикую песню, покачивал бритой головой в тюбетейке. На стульях, слушая, как играет татарин, сидели Ольга Леонтьевна, Петр Леонтьевич, Осоргина и Шушу. Остальные ушли костюмироваться. Ко всеобщему удивлению, с ними увязался и Мишука.

— Ох, не нравится мне сегодня Мишука,— шептала Ольга Леонтьевна брату.

В кустах посыпались искры, зашипела ракета, провела в ночном небе шнур и лопнула высоко... Девушки, татарин, переставший пиликать, гости — все следили за ней, подняв головы. Когда ракета ухнула, Ольга Леонтьевна сказала со вздохом:

— Как это было красиво.

Наконец появились ряженые: Вера в турецкой шали, в старинном чепце — турчанка, Бебе — рыбачкой — в сетке на волосах, с веслом в руке, Нуну — в длинной черной вуали — «ночь», Никита, все время поправлявший пенсне,— оделся кучером. Мишука был в накинутой на голову простыне...

— Ну, уж это я не знаю, что это за маска,— сказала, указывая на него, Ольга Леонтьевна.

Тетка Осоргина вынула из сумки лорнет, посмотрела и сказала:

— Маска — привидение...

Татарин заиграл полечку. Вера закружилась с Никитой, Нуну с Бебе, Мишука потаптывал ногами один, как гусь. В ветвях загорелся фонарик и упал.

Вдруг из кустов на деревенских девушек выскочил черт, в овчине, весь измазанный сажей. Подпрыгнул,

именно как черт, схватил отчаянно завизжавшую красавицу Васёнку и стал вертеть ее, приплясывая...

Вера оставила Никиту и, часто обмахиваясь веером, пристально, с улыбкой, глядела на прыгавшего чертом Сергея, на Васёнку. Мишука придвинулся к Вере, загудел на ухо:

— По-моему, это слишком: ничего смешного и непристойно...

Вера, не слушая его, подошла к запыхавшейся, поправлявшей сбитую полушалку Васёнке, взяла ее за лицо, заглянула в глаза и поцеловала их, поцеловала в щеку:

— Какая ты красавица, Васёна.

Васёнка вырвалась, со смехом убежала, схоронилась за девушек.

Осоргина неодобрительно закачала головой. Барышни Осоргины зашушукали, как осиное гнездо. Ольга Леонтьевна поднялась и предложила гостям идти в дом — ужинать.

Вера вдруг сказала Мишуке:

— Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажной серебристо-сизой от лунного света поляне, дошла до скамейки и села:

— Душно под липами...

— Душно, да,— сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

— Ах, дядя Миша...

— Что?

— Нет, я говорю только — ах...

Мишука сдержанно засопел:

— Вера?

— Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

— Какое твое отношение ко мне?

— Люблю, дядя Миша...

Тогда Мишука молча, медведем схватил Веру, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами ей в шею, под ухо...

— Поедем ко мне. Ну их всех к черту! Обвенчаемся. Слушай, едем.

Молча, глядя ему в лицо, Вера боролась, царапалась, ломая ногти, вырвалась, накинув шаль и чепец, побежала по траве до середины луга. Мишука побежал за ней. Она, сжав руками грудь, крикнула:

— Вы с ума сошли!

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

— Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шепотом, заикаясь:

— Я видел, Вера...

Ее рука сразу стала тяжелой. Вера обернулась, потом подняла к нему лицо. Он увидел,— в лунном свете,— по щекам ее текли слезы.

4

Сад опустел, только несколько девушек осталось в липовой аллее: сели тесно друг к дружке на траву, шушукались, сдержанно посмеивались. Три китайских фонарика горели еще между ветвей. Один вспыхнул и упал, задевая за ветви. Луна стояла высоко. Сергей, положив измазанную сажей голову на колени красавице Васёнке, рассказывал страшные истории. Девки толкали друг друга, охали со страху, хихикали...

— Вот, значит, сидит ночью дед Репьев в беседке,— вполголоса говорил Сергей,— рука Васёнки лежала у него на голове, то поглаживая волосы, то перебирая их,— ну, хорошо,— сидит он, сидит, вдруг видит — кто-то идет к нему по воде...

— Ох!

— Васён, это ты толкнула?..

— Кто это трогает?..

— Тише, девки!

— Идет она, идет к нему по воде,— деда взял страх. Прижался он в беседке, в углу, не шевелится... А ночь

была лунная, как сейчас... Это — белое — идет, идет по воде. Остановилось у беседки. И дедушка видит, что это покойная бабушка к нему пришла...

— Ой, боюсь!..

— Да кто это меня трогает, в самом деле?

— Будет вам, девки...

— Ну, хорошо. Надо бы ему тогда не глядеть, зажмуриться. А он — взгляни. Бабушка засмеялась и указала ему пальцем на глаза. Дед встал со скамейки и пошел... Сошел с лесенки в воду. А бабушка смеется, манит его, летит по воде... Дед уже по пояс зашел — она манит. Деду вода уже по горло — идет... А впереди — омут. Дед — поплыл, хочет ее схватить. А бабушка наклонилась к нему и ушла с ним под воду, в бучило, где сомы с усищами...

Девушки полегли друг на дружку...

— Сергей! — крикнул вдруг в кустах чей-то голос. Девушки тихо застонали от страха. Сергей поднял голову.

— Что тебе, Никита?

— Пожалуйста,— мне тебя нужно.

— Я после приду.

— Понимаешь, случилась неприятная история.

— Опять история.

Сергей с неохотой поднялся, перепрыгнул через ноги девушек и пошел за Никитой к пруду.

— Ай да Налымов,— засмеявшись, сказал Сергей, узнав обо всем.— Ай да Мишука. Надо его проучить. Где он сейчас?

— Кажется, сидит в беседке. Он ходил к Верочкину окну и кричал ей, чтобы вышла — разговаривать. Он уверен, что она придет.

Никита слегка задыхался, поспевая за широко шагающим по мокрой траве Сергеем. Заблестели лунные отблески черного пруда. В беседке белела поддевка Налымова.

Мишука, сидя в беседке, думал, что стариков Репьевых ни капли не боится, но все же ему было скверновато на душе.

«Завелись около два кобеля,— думал он,— хвостом завертела... Царапаться... Я сам царапну... Приемыш,—

моли бога,— жениться посулил... А Сережку с Никитой вот этим угощу...»

Мишука мрачно осмотрел волосатый кулак. В это время послышались голоса, раздвинулись кусты, на поляне перед беседкой забелел пиджачок Никиты, рядом с ним, шибко, дерзко шагал вымазанный, как черт, Сергей...

Мишука в уме быстро сосчитал до десяти, загадав, что если Сергей в это время не успеет дойти до мостков, то — хорошо. Сергей дошел. Мишука засопел. Сергей, встав перед ним, спросил нахально:

— Я бы хотел знать — что это все значит?

— То есть как это — что значит?

— Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

Никита сочувственно закивал: так, так...

— Убирайся, послушай, к чертям,— сказал Мишука.

— С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

— Что? — Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя,— начал расправлять локти, но соображение у него работало туго.

— Ну, ну,— только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу — доска треснула.

Взяв дуэльный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была пуста. Сергей крикнул:

— Налымов, Мишка, Мишука!

В ответ лишь завозилась грачиха в гнезде в темных ветлах.

— Вот тебе раз,— сказал Сергей,— удрал. Ну, погоди!

Он зарядил пистолеты и выстрелил два раза в воздух... Круглое эхо покатилось по пруду. Закричали грачи спросонок. Братья, смеясь, пошли к дому. В узком

месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

— Простите меня, Никита, Сережа,— проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

— Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать,— проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел, посвистывая.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

Никита сказал:

— Он, кажется, умываться пошел,— весь ведь в саже.

Вера глядела на месяц,— глаза ее были печальные, такие чудесные,— будь Никита не так робок, попросил бы позволения умереть сию минуту — такие любимые были глаза.

— Верочка, ты не думай,— Сережа тебя очень, очень любит,— проговорил он, запинаясь.

— Ну, хорошо... Пойдем домой, Никита, милый.

Мишука, ломая кусты, вылез из гущи сада и шел теперь по огородам и цветникам, перелезая через канавы и чертыхаясь.

Когда громыхнули вдали два выстрела, он сразу присел, бормоча:

— Афронт, афронт,— ух, пронеси, пресвятая богородица.

Но выстрелы не повторялись, погони не было слышно, и Мишука осмелел — опять начал ругаться, ломал по пути ветки молодых яблонь. Наконец, выбравшись из чертовых канав, зашагал по травянистой поляне вдоль пруда. Здесь у воды паслась, позвякивая железными путами, сивая лошадь.

— Ага, ты вот чья, сволочь вонючая,— сказал Мишука, выставляя челюсть. Подскочил к лошади, закрутил ей хвост и со всей силой пихнул ее с берега в воду.

Лошадь, фыркая и щеря зубы, поплыла к тростнику. У Мишуки немного отлегло сердце, мысли прояснились, и вдруг, потерев нос, он сказал:

— Отниму лес. Довольно я вам спускал. Выдумали,— межа через Червивую балку, врешь — межа через Ореховый лог. Вот вам и репьевский лес — кукиш.

5

— Три раза в прошлый год в Москву ездили: есть у нас там такая Софья Ивановна,— говорил налымовский кучер, лежа в траве около конюшни и грызя соломинку.— Барышень нам поставляет. Намеднись всучила Селипатру — худущую девку,— зла, как дьявол, но барину угодила. Привезли ее на усадьбу, сию же минуту устроила скандал: весь бутор, платьишки, сундучишки других-то барышень из окошка как начала кидать... Барышни — ах, ах! — бегают по двору в одних рубашонках. Мы с барином животы надорвали.

— Татарин, прости господи, твой барин,— проговорила, сидя на траве около садовника, умильная скотница.

— Это он с жиру,— сказал садовник,— с жиру завсегда человек бесится по бабьей части. Я знал одного человека — с шестью бабами жил, и хороший был человек.

Скотница вздохнула, поправила платок на голове. На конюшне топали лошади, хрустели сеном.

Налымовский кучер рассказывал:

— На прошлые именины гостей у нас два дня поили, которых поплоше — носили на ледник опамятоваться. Что же барин наш выдумал: повел гостей к барышням. Гости, конечно, рассолодели, а барин шепчет мне: «Поди принеси с пасеки колоду с пчелами». Принесли колоду, просунули ее в окно. Пчелы, известно, греха не любят и принялись гостей в голые места чкалить, а гости все до одного голые. Вот мы с барином животы и надорвали.

Скотница плюнула.

Садовник сказал:

— Да. Наши господа — это господа: аккуратные, правильные, не безобразничают.

— Мелкопоместные.

— Ну что ж из того! А ты бы лучше молчал, чем барина своего срамить,— холоп.

Налымовский кучер собрался ответить садовнику, но в это время к сидящим подошел Мишука.

— Запрягать! — крикнул он и уставился выпученными глазами на садовника и умильную скотницу.— Чего расселись, не видите, кто перед вами стоит?

Скотница поднялась. Садовник, сидя, свертывал папироску, закурил, осветил сернячком черную бороду.

— Я что тебе сказал, встать! — крикнул Мишука.

— Полегче, барин. Не на своем дворе.

Мишука фыркнул носом и повернулся к скотнице:

— Баба, ты кто такова?

— Мы скотницы, барин.

— Вот тебе, дура, три рубля. Отрежь у коров сиськи. Я завтра тебе еще три рубля подарю. Поняла?

— Что вы, батюшка, у коров сиськи резать!

— Я говорю — режь. Вот тебе еще полтинник.

— Нате ваши деньги... Грех, прости господи.

Лошадей подали. Мишука влез в коляску, плюнул на репьевскую землю и уехал — залился малиновым налымовским колокольцем.

В репьевском дому все уже легли спать, только у Петра Леонтьевича еще теплился свет в окошке.

Каждый вечер, перед тем как помолиться на сон грядущий, Петр Леонтьевич заходил к сестре. Ольга Леонтьевна в это время либо сидела за приходо-расходными книгами, либо читала листок отрывного календаря, придумывая: что бы такое заказать на завтра вкусное?

Поцеловав руку сестре и дав ей свою руку для поцелуя, Петр Леонтьевич говорил неизменно:

— Не забудь, душа моя, помолиться.

Так было и сегодня. Петр Леонтьевич сказал Ольге Леонтьевне, поцеловав ей руку: «Не забудь, душа моя,

помолиться» — и не спеша пошел в свою комнату, осторожно притворил дверь и вдруг увидел на белой печке таракана.

Петр Леонтьевич снял сапоги, осторожно и покряхтывая влез на лежанку и стал читать заговор. Таракан пошевелил, пошевелил усами и упал. Петр Леонтьевич сказал:

— Так-то.

И полез с лежанки. В это время вдалеке раздались два выстрела. Петр Леонтьевич открыл окно и стал слушать.

Долго после выстрела была тишина в саду, затем приблизились голоса — мужской и женский.

— Милый, голубчик, что мне делать? Я не могу.

— Конечно, конечно, Верочка, ты права, ты совершенно права...

— Не сердись на меня, Никита...

— Я повторяю — ты совершенно права, иначе ты и не могла мне ответить.

— Покойной ночи, Никита.

— Спи спокойно, Верочка.

Хлопнула балконная дверь. Петр Леонтьевич некоторое время подмигивал в темное окошко. Затем за стеной послышались шаги, скрипнула кровать. Это вошла Вера и начала плакать, сначала неслышно, потом все громче. Сморкалась. Петр Леонтьевич накинул безрукавку и постучался в дверь к Верочке.

— Ну вот, ты и плачешь,— сказал он, садясь против нее и топая ногой.

— Дядя, уйдите.

— Уйти-то я уйду, а ты все-таки расскажи, отчего ты плачешь,— голова, что ли, болит?

— Да, болит.

— Кто стрелял-то?

— Сережа.

— В кого?

— В грачей.

— Ну-ну, Верочка,— Петр Леонтьевич положил ей руку на голову,— дитя милое?

— Что, дядя? — Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

— Сережу очень любишь?

— Да.

— Это я все устрою,— сказал Петр Леонтьевич задумчиво.— Ты, знаешь что? — ты ложись-ка спать, а я пойду к себе, да и подумаю. А утром пойдем с тобой гулять в рощу. Сядем на травку, ты поплачешь немножко, мы поговорим, и все устроится.

Петр Леонтьевич поцеловал Веру и, вернувшись к себе, стал перед киотом, где горели лампады и восковые свечи, и долго не мог собраться с мыслями — начать молиться: все улыбался в бороду.

6

Приехав с подвязанным колокольчиком на восходе солнца к себе на усадьбу, Мишука оставил лошадей у конюшни и пошел по черной лестнице в мезонин к барышням, предполагая, что врасплох накроет девиц за блудом.

«Ну, уж накрою, ну, уж я накрою»,— думал он, распаляя сам себя. Ступени скрипели. Он ударил ногой в дверь и вошел в девичью, дико озираясь.

В душной девичьей, сумеречной от розовых штор, было тихо и сонно. Фимка и Бронька подняли взлохмаченные головы с подушки,— спали они в одной постели,— увидели грозного барина и спрятались под одеяло.

— Вставать! — крикнул Мишука.

Марья, зачмокав спросонок, потянулась так, что вся выворотилась, зевая оглянулась на барина и прихлопнула рот ладонью. Дуня повернулась голым боком. Клеопатра неподвижно лежала на спине, прикрыв остро торчащим локтем глаза.

— Водки,— сказал Мишука появившемуся в дверях непроспанному Ванюшке,— закуски. Живо!..— И, подойдя к Клеопатре, потянул ее за локоть: — Продери глаза, грачиха.

Девушкам он приказал, не одеваясь, оставаться в рубашках. Снял кафтан, сел на диванчик за стол и до-

вольно свирепо поглядывал, посапывал, покуда Ванюшка не принес на большом серебряном подносе разнообразную закуску, графин с водкой и прадедовскую круглую чарку.

Тогда Мишука, расставив локти, принялся за еду. Наливал чарку, сыпал в нее перец, страшно сморщившись, медленно выпивал,— дул из себя дух, затем приноравливался вилкой к грибку поядренее.

Марья, раскрыв глаза, следила за тем, как во рту Мишуки исчезают куски балыка, ветчины, целые огурцы, пирожки, помазанные икрой. Фимка и Бронька переминались у печки и тоже пускали слюни. Клеопатра, положив ногу на ногу, спустив с плеча рубашку, шибко и сердито курила. Дуня прибирала большие волосы. Вдруг Мишука поперхнулся, фыркнул и принялся хохотать, тряся животом стол.

Дуня сейчас же подбежала к нему, села на колени, ластилась:

— Что это мне спать хотелось, а увидела тебя — весь сон прошел. Чему смеешься-то?

— Подлиза,— проговорила Клеопатра, пустив дым через нос.

Мишука, захлебываясь, сказал:

— Как я мерина-то, мерина — в воду... А мерин-то — их любимый: старый, на покое, а я его — в воду...

Фимка и Бронька засмеялись, сделав куриные рты, и вытерлись. Мишука встал из-за стола, потянулся, все еще улыбаясь. Дуня заглянула ему в глаза:

— На мою постельку ляжете?

Мишука, не отвечая, подошел к Фимке и Броньке, взял их за загривки и стукнул друг о дружку. Девчонки взвизгнули, присели. А он подошел к Марье и хватил ее ладонью по жирной спине. Марья ахнула:

— Ах, батюшки!

— Ничего,— сказал Мишука,— для этого тебя и держу, корова.

Затем начались возня и всевозможные игры. Мишука барахтался, хохоча под навалившимися на него кучей девушками, стаскивая их за ноги, за головы, катался, ухал. Половицы ходили ходуном, и внизу, в полутемном, всегда запертом зале с портретами дам и ка-

валеров в напудренных париках, с золоченой мебелью, изъеденной мышами, печально звенела подвесками хрустальная люстра...

Навозившись и взмокнув, утешенный и веселый, Мишука ушел по внутренней лесенке вниз, в кабинет, и лег спать.

К вечеру надвинулась большая гроза, было душно,— погромыхивало. Пошел дождь — мелкий, отвесный, теплый, слабо шумел в сумерках в листве. Изредка озарялись окна далеким синеватым светом.

Мишука сидел на диване, подложив руку под острую морду борзой суки, любимицы,— Снежки, и слушал сонный, однообразный в сумерках, шум дождя за открытым окном.

Снежка взглядывала выпуклыми глазами на хозяина и снова опускала сонные веки. При раскатах грома она оборачивалась к окну и рычала. Мишука поглаживал ее голову и думал о происшествиях вчерашнего дня.

Только теперь, в эти дождливые сумерки, додумался он до того, что вчера произошел с ним жестокий афронт, что над ним насмеялись, потом его отвергли, потом его побили, потом напугали,— грозили застрелить.

Мишука даже зарычал, все это ясно себе представив:

— Не уважать меня, Налымова... Меня бить по щеке... Меня, Михала Михалыча Налымова,— оскорбить... Захочу — губернию переверну... А меня — они... Меня — эти...

Он спихнул собаку с колен. Снежка слабо визгнула, полезла под диван и там стала вылизываться, щелкать зубами блох. Мишука сидел, раздвинув ноги, глядя перед собою на неясные пятна портретов. Необходимо было что-то сделать: гнев подпирал под самую душу. Мишука стал было думать, как изорвет платье на Вере, как измочалит нагайкой Сережку,— но эти представления не облегчили его...

Он тяжело поднялся с дивана и зашагал по кабинету. «Ага, пренебрегаете, ну, хорошо...— Он взял

пресс-папье и расшиб его о паркет. — Ну и пренебрегайте». Гулкий стук прокатился по пустынному дому. Мишука стоял и слушал,— все было тихо. Он взял со стола переплетенную за пять лет сельскохозяйственную газету,— волюм пуда в два весом,— и тоже швырнул его на пол. Опять прокатился стук по дому, и — снова тихо,— никто не отозвался.

«Мерзавцы, никому дела нет до барина... Только бы воровать. Только деньги с барина тащить»,— подумал Мишука и вдруг с омерзением вспомнил давешнюю возню в мезонине.

— Твари,— уже совсем зарычал он,— я вам покажу, как на меня верхом садиться!.. Ванюшка!

Мишука пошел по темной комнате к лакейской и закричал:

— Ванюшка, беги на конюшню, скажи — барин приказал запрячь две телеги, живо... Да позови мне приказчика... Живо, сукин сын!..

Дождь хлестал в нарочно настежь раскрытые окна мезонина, где девушки, растрепанные и растерзанные, всхлипывая, завязывали в узлы платьишки, бельишко, разные грошовые подарки. Дуня уже сидела внизу, на телеге под попоной, со зла — молчала. Промокшие рабочие ходили с фонарями, посмеивались. Дождь шибко шумел в тополях, наплюхал большие лужи. Сбежала с крыльца Марья, вспухшая от слез,— поскользнулась, и узел ее шлепнулся в лужу,— заржали рабочие, Марья завыла и полезла на телегу. В доме на мезонинной лестнице Мишука кричал, щелкая арапником по голенищу:

— Вон, грязные девки, вон!

Кубарем, с вытаращенными глазами, скатились вниз Фимка и Бронька,— Мишука для смеха подстегнул их по задам.

— Батюшки! Убивают! — заорали Фимка и Бронька и заметались по лужам между телегами. Их посадили, прикрыли рогожей. Мишука кричал:

— Коленкой ее, коленкой поддавай ворону!

Приказчик и Ванюшка вывели, наконец, Клеопатру.

Она отбивалась, кусала руки, выворачивалась, дикая, как ведьма.

— Врешь,— хрипло сказала она Мишуке и ощерилась,— не прогонишь, не уйду, я тебе не собака...

Наконец Клеопатру усадили. Возы тронулись. Рабочие, громко смеясь, раскачивая над травой фонари, ушли к людской, пропали за отвесной завесой дождя. Мишука, удовлетворенный, наконец, за эти два дня, отомщенный за все обиды, ушел в дом.

Никто, даже конюх, сидевший на переднем возу, не видел, как на повороте сплошь залитой водою дороги Клеопатра соскочила с задней телеги и скрылась за кустами в саду.

7

Петр Леонтьевич вошел в комнату мальчиков, которая называлась так по старой памяти. Комната была, как и все комнаты в репьевском доме,— высокая, штукатуренная, со старой попорченной мышами и молью мебелью. На одной стене, над диваном, висели распластанные крылья уток, стрепетов, кобчиков, грачей, давным уже давно насквозь пропыленные. Когда сюда входили со свечой, то казалось, будто по стене ползают безголовые чудища. Трофеи эти принадлежали Сергею, не позволявшему к ним притрагиваться. Лет двенадцать тому назад, когда ему подарили первое ружье, он с утра до ночи бухал по саду, на пруду, в лугах и до того провонял падалью и сад и дом, что Ольга Леонтьевна решила не выходить из своей спальни.

С улыбкой, глядя на стену, покрытую вороньими крыльями, вспоминал Петр Леонтьевич прошлое время. Хорошее было время. Многие, многие милые люди были еще живы. Сережа и Никита, славные мальчики, подавали большие надежды. Жива была дорогая Машенька, всегда в белом, всегда приветливая, всегда озабоченная, — как бы получше накормить гостей, или поженить кого-нибудь из близких родных, или уладить какую-нибудь неприятность.

Каждый день в столовой или на балконе шумели гости, приезжал дядя, старый Налымов, большой шут-

ник,— любил, бывало, на удивление всем, откушать ломоть дыни с нюхательным табаком. Приезжала с прогулки Ольга, красивая, веселая и загадочная, в бархатной амазонке. Снимая высокую перчатку, давала целовать руку... Многие, многие были в то время влюблены в Ольгу Леонтьевну... Ушло все, как туман, ушли хорошие дни...

Петр Леонтьевич в то же время пытался поправить свои сильно запутанные дела: построил суконную фабрику, но не застраховал, считая, что страховка — величайший из грехов. Человек должен быть открыт перед богом, как Иов, но не перестраховывать свое счастье. Фабрика сгорела. Петр Леонтьевич придумал построить раковый консервный завод. В реке Чермашне водилось непостижимое количество матерого рака,— рвались бредни, и деревенские мальчишки, купаясь, бывали не раз ими щипаны за животы и другие места.

Раковый завод построили, даже заказали в Москве две майоликовые скульптуры, чтобы поставить у входа. Приготовлено было десять тысяч расписных горшочков, в которых предполагалось посылать прямо в столицы консервный биск. Но внезапно на раков в реке Чермашне напала чума, и рак полез подыхать на берега и весь вымер. Это было почти разорением.

Тогда Петр Леонтьевич стал придумывать что-нибудь более подходящее к современному веку пара и электричества и построил конный утюг для расчистки снежных дорог и заносов.

Издалека съехались помещики и мужики глядеть, как в облаках пара и дыма двинулся сквозь сугробы огромный железный утюг, растапливая снег раскаленными боками. Шесть пар лошадей протащили его более чем с версту. День был морозный. Петр Леонтьевич вылетел на беговых санках на расчищенную дорогу, но раскатился, упал и вывихнул ногу.

Утюг он приказал поставить в сарай и с тех пор не изобретал более уже ничего, так как имение его, Соломино — Трианон тож,— пошло с торгов, и пришлось с мальчиками навсегда перебраться к сестре в Репьевку,— доживать тихие дни.

Так, вспоминая, вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табаком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

— Ты ко мне, папа?

— Да, да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

— Сережа, скажи мне по чистой совести,— ты любить способен?

— Да, папа, способен.

— Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал — какой это удивительный человек. Ты прямо недостоин ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

— Ты хочешь меня спросить — люблю ли я Веру? — насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

— Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю,— у тебя что-то легкомысленное... Вера — удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь затаится,— ты понял?.. Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич оборачивался к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

— Прости, но на Верочке я жениться не могу.

— Не можешь, Сережа?

— Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но — не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я — нищий.

Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

— Я уезжаю в Африку,— сказал он.

— Так, так.

— В Трансвааль. Во-первых,— там меня еще не ви-

дели,— это раз. Во-вторых,— там есть алмазы и золото. А Вера...— он опять остановился, черные глаза его блестели,— пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

8

Вера перебирала клавиши рояля. Ольга Леонтьевна, опустив на колени вязанье, глядела на спустившиеся за окном сумерки. Никита сидел у стены, опершись локтями о колени, и тоже молчал. Утихали птицы в саду. Вера брала теперь одну только ноту — ми, все тише, тише, потом осторожно, без стука закрыла крышку рояля. Помолчав, она сказала:

— Поеду в Петербург, поступлю на курсы, обрежу волосы, стану носить английские кофты из бумазеи.

— Вера, перестань,— тихо сказала Ольга Леонтьевна.

— Ну, никуда не поеду, волосы не обрежу, не буду носить английские кофты.

Никита осторожно поднялся со стула, постоял, плохо различаемый в сумерках, и на цыпочках вышел. Вера прижала голову к холодному роялю.

— Ох,— шумно вздохнула Ольга Леонтьевна,— какие все глупые.

— Я тоже, тетя?

— Ну, уж об этом сама суди.

— Тетя Оля,— сказала Вера, не поднимая головы,— я очень дурная?

— Знаешь, я вот сейчас уйду к себе и запрусь от всех вас на ключ.

— Мне, тетя Оля, Никиту жалко... Он такой — печальный. Все бы, кажется, сделала, чтобы не был такой.

Ольга Леонтьевна насторожилась:

— Верочка, ты серьезно это говоришь?

Вера молчала; не было видно, какое у нее лицо. Ольга Леонтьевна тихо подошла, остановилась за ее спиной.

— Я сама знаю, как тяжело быть отвергнутой,— даже самой красивой женщине это всегда грозит: не оценят сокровища, и все тут.— Ольга Леонтьевна по-

молчала.— Только иное сокровище должна ты охранять, Вера. Душа должна быть ясна. Все минет — и любовь, и счастье, и обиды, а душа, верная чистоте, выйдет из всех испытаний... Теперь твои страдания очищают душу.— Ольга Леонтьевна даже подняла палец, голос ее окреп.— Посланы тебе твои страдания...

— Тетя Оля, не понимаю — о чем вы говорите,— какие страдания?

Ольга Леонтьевна помолчала. Осторожно взяла голову Веры, прижала к себе, поцеловала долгим поцелуем в волосы.

— Ты думаешь,— у нас, стариков, радостей было много? Ох, как тяжело в молодости вздыхалось.

Вера вытянулась, медленно сняла с плеча руку Ольги Леонтьевны:

— Хорошо, я останусь с вами. Навсегда. Замуж мне не хочется — я пошутила.

— Ах, не то говоришь.— Ольга Леонтьевна с отчаянием даже толкнула ее.— Не жертва мне от тебя нужна. Не в монастырь же я тебя уговариваю.

— Что же вам от меня нужно?

Ольга Леонтьевна даже сделалась как будто ниже ростом. Вера опять опустила голову. В доме — ни шороха. Зашелести ветер листами за окном — Вера, может быть, и не сказала бы того, чего так добивалась тетка. Но в саду — та же ночная тишина. Все затаилось. И Вера сказала едва слышно:

— Хорошо. Я выйду замуж за Никиту.

Ольга Леонтьевна молча всплеснула руками. Затем пошла на цыпочках. Но за дверью шаги ее застучали весело, бойко — так и полетели.

Пришел Никита. Стал у печки. Вера, все так же, не поднимая головы, сказала:

— Знаешь?

— Да, знаю, Вера.

— Ну вот, Никита.

Она поднялась с рояльного стульчика. Взяла голову Никиты в руки, губами коснулась его лба.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи, Верочка.

— Что-нибудь почитать принеси мне.

— Хочешь новый журнал?

— Все равно.

Никита долго еще смотрел на едва видную в сумерках дверь, за которой скрылось, легко шурша, милое платье Веры. Потом сел на рояльный стульчик и молча затрясся.

С открытой книгой, но не читая, Вера лежала на низеньком диванчике, обитом ситчиком. За бумажным экраном с черными человечками колебалась свеча. Брови Веры были сдвинуты, сухие глаза раскрыты. Она приподнималась на локте, прислушиваясь.

Уже несколько раз из кустов голос Сергея шепотом звал: «Вера, Вера». Она не отвечала, не оборачивалась, но чувствовала — он стоит у окна.

Затем стремительно она поднялась. Сергей стоял с той стороны окна, положив локти на подоконник. Глядел блестящими глазами и усмехался.

— Что тебе нужно? — Вера затрясла головой.— Уйди, уйди от меня.

Сергей легко вспрыгнул на подоконник, протянул руки. Вера глядела на его короткие сильные пальцы. Он взял ее за локоть, обвил ее спину. Вера присела на подоконник. Закрыла глаза. Молчала. Только по лицу ее словно скользил темный огонь.

— Люблю, милая,— сказал он сквозь зубы,— не гони. Не будь упрямая.

Вера коротко вздохнула, опустила голову на плечо Сергею. Он наклонился, но губы его скользнули по ее щеке.

— Не надо, Сережа, не надо.

Она слышала, как страшно бьется его сердце. Теперь она чувствовала эти удары — грудью, своим сердцем. Сергей охватил ее плечи. Стал целовать шею.

— Можно к тебе, Вера, можно?

— Нет.— Она откинула голову, взглянула ему в лицо, в красные глаза.— Не трогай меня, Сережа, я ослабею.

Он прильнул к ее рту. Она чувствовала — его пальцы расстегивают крючочки платья. Тогда она медленно, с трудом оторвалась от него. Он упал ей головой

в колени, дышал жарко. А рука все продолжала расстегивать крючочки.

— Сережа,— сказала она,— оставь меня. Сегодня я дала слово Никите. Я его невеста.

— Вера, Вера, это хорошо... это хорошо... Я же не могу на тебе жениться... Тем лучше... Выходи, выходи, все равно — ты моя...

— Сережа, что ты говоришь?

— Глупенькая, пойми,— ты его не любишь, и не он будет...

— Что? Что...

— Он ничего не узнает. Пойми — он будет счастлив от самой скупой твоей милости... Но я, Вера... с ума схожу... Так все делают...

Сергей спрыгнул в комнату, дунул на свечу и опять плотно взял Веру. Но вся она была как каменная. Он бормотал ей в ухо, искал ее губ, но ее локти упрямо и остро упирались ему в грудь. Вера освободилась и сказала, отходя:

— Поздно уже. Я хочу спать. Покойной ночи.

Сергей шепотом помянул черта и исчез в окошке. Вера, не зажигая свечи, легла опять на ситцевый диванчик — лицом в подушку, прикрыла голову другой подушечкой и так заплакала, как никогда не плакала в жизни.

9

В доме появилась портниха, с треском рвала коленкор, стучала машинкой, поджав сухой ротик, совещалась с Ольгой Леонтьевной.

Никита несколько раз ездил в Симбирск, в Опекунский совет, в Дворянский банк. Дом чистился. В каретнике обивали новым сукном коляску.

Вера жила эти дни тихо. Редко выходила из своей комнаты. Садилась с книгой у окна и глядела, глядела на синюю воду пруда, на желтые, зеленые полосы хлебов на холмах. Слушала, как древней печалью поют птицы в саду.

Сергей пропадал на охоте, возвращался поздно с полным ягдташем, пахнул лесом, болотом, пухом птиц.

На Веру поглядывал с недоброй усмешкой, много, жадно ел за ужином.

Петр Леонтьевич совсем притих, понюхивал табачок.

Однажды Сергей забрел с ружьем и собакой в налымовский лес, в топкую глушь. Пойнтер бодро колотил хвостом папоротники, шарил, время от времени поворачивая к хозяину умную, возбужденную морду. Сергей шел, задираясь ногами за валежник, проваливаясь в мочажники,— перед глазами мотался собачий хвост. Сергей неотступно, угрюмо думал о Вере.

Сколько десятков верст исколесил он за эти дни, только чтобы утолить, погасить в себе свирепое желание! Все было напрасно.

«Фррр»... Вылетел тетерев. Сергей, не глядя, выстрелил. Сорвалось несколько листьев. Собака унеслась вперед скачками, высматривая — взмахивала ушами из папоротника.

Почти сейчас же, неподалеку, гулко затрубил рог. Затрещали сучья. Зычный голос заревел в чаще:

— Кто стреляет в моем лесу, тудыть в вашу душу! Кто смеет шататься по моему лесу!

Сергей быстро оглянулся. На поляне стоял вековой дуб, упоминавшийся во всех налымовских и репьевских хрониках,— дуплистый, ветвистый, корявый, подобный геральдическому дереву.

В ту же минуту с другой стороны поляны, валя кусты, выскочил на рыжей кобыле Мишука. Размахивая над головой медным рогом, орал:

— Ату его, сукины дети, ату!

Две пары налымовских зверей — краснопегих гончих — неслись прямиком на лягаша. Сергей подхватил заскулившую у ног его собаку, посадил в дупло, подпрыгнул, подтянулся к ветви и живо влез на вершину дуба...

— Ату его, сукины дети! Улюлю! — наливаясь кровью, вопил Мишука. Подскакал к дубу, закрутился, поднимаясь на стременах, хлестал арапником по листьям:

— Слезь, сию минуту слезь с моего дуба.

— Дядя Миша, не волнуйтесь,— хихикнул Сергей,

забираясь выше,— желудок расстроите, вам вредно волноваться.— И он бросил желудем,— угодил в живот.

Мишука заревел:

— Убью! Запорю! Слезь, тебе говорю!..

— Все равно, дядя Миша, не достанете, только соскучитесь, и есть захочется.

— Дерево велю срубить.

— Дуб заветный.

— Слезь, я тебе приказываю,— я предводитель дворянства.

— Я вас не выбирал, дядя Миша, я на выборы не езжу.

— Крамольник!.. Стражникам прикажу тебя стащить. Высеку!

— Дядя Миша, лопнете.— Сергей опять бросил желудем, попал в картуз.

Гончие подпрыгивали, визжали от ярости. Лягаш скулил, высовывая нос из дупла, щелкал зубами. Мишука и Сергей долго ругались, покуда не надоело. Наконец Сергей сказал примиряющим голосом:

— Охота вам, в самом деле, сердиться, дядя Миша. Я ведь тоже с носом остался. Вера-то за Никиту выходит.

— Врешь? — удивился Мишука.

— Чем матерно ругаться, поехали бы мы на лесной хутор. Там выпить можно.

— Вино есть?

— Две четверти водки.

— Гм,— сказал Мишука,— все-таки это как-то так. Ты все-таки подлец.

— Вот это верно, дядя Миша.

Мишуке, видимо, очень хотелось, после всех волнений, поехать на хутор и выпить. Сергей спустился ниже, подмигнул и сделал всем понятный жест:

— И то найдется.

Задрав голову, Мишука заржал,— уцепился даже за седельную луку. Затем ударил кобылу арапником и ускакал на хутор.

Через час Мишука и Сергей сидели в жарко натопленной избе,— Мишука расстегнулся, пил водку стаканами, вспотел, тряс животом сосновый стол.

— Ха-ха... Смел ты, что пришел, Сережа.

— Нам делить с вами нечего, дядя Миша, я вас люблю...

— Рассказывай, ха-ха...

— Люблю, дядя Миша, в вас богатырство, не то что — теперешние дворяне,— сволочь, мелкота...

— Мелкота, говоришь, ха-ха...

— Вы, дядя Миша, все равно как князь в старые времена... Силища...

— Богатырь, говоришь? Князь? Ха-ха...

— Едемте, дядя Миша, вместе в Африку. Вот бы мы начудили...

— В Африку, ха-ха!..

— Эх, денег у меня нет, дядя Миша, вот бы я развернулся...

— Подлец ты, Сережа... Денег я тебе дам, но побью, ха-ха...

В избу вошла ядреная молодая баба, румянец во все лицо,— лукавая, сероглазая. Смело села рядом с Мишукой на лавку, толкнула его локтем. Мишука только ухнул. И начался пир. Изба ходуном заходила.

10

Ольга Леонтьевна и Никита с утра ходили по Симбирску из магазина в магазин,— сзади ехала коляска, полная покупок. Лошади осовели, кучер каким-то чудом успел напиться, не слезая с козел. Никита в тоске бродил за теткой из двери в дверь. Ничего этого не было нужно—ни суеты, ни вещей. Хоть скупи весь Симбирск, хоть ударься сейчас о камни,— разбей голову,— Вера не станет счастливее, не вернется к ней прежняя легкость, блеск глаз, веселый смех: не любит, не любит...

— Ну, уж, батюшка мой, ты — совсем мокрая курица, осовел, жених,— говорила ему Ольга Леонтьевна,— минутки без невесты не может — нос на квинту... Сейчас, сейчас мы поедем.

Тетка летела через улицу к башмачнику, нечесаная голова которого моталась в окошке, тоже пьяная... Ло-

шади и Никита томились на горячей мостовой. Кучер время от времени громко икал,— каждый раз пугливо оглядывался:

— Вот притча-то, ах, господи.

К вечеру, наконец, Ольга Леонтьевна угомонилась, влезла в коляску, много раз пересчитала вещи, махнув рукой:

— На паром, Иван. Смотри только — под гору держи лошадей,— ты совсем пьяный.

— Господи,— отвечал кучер,— напиться-то не с чего, весь день у вас на глазах,— и на всю улицу икнул:— Вот притча-то.

Поехали вниз, к Волге, к парому.

Река темнела. Зажигались огни на бакенах, на мачтах. Вдали шлепал по воде пароход. Тусклый закат догорал на луговой стороне, над Заволжьем. На берегу уютно осветились прилавки с калачами, лимонадные лавки, лотки, где бабы продавали жареное, соленое, вареное. Пахло хлебом, дегтем, сеном, рекой. Вдалеке, с горы — с Венца — уже слышна была духовая музыка,— в городском саду начиналось гулянье. Играли не то вальс, не то что-то ужасно печальное, улетающее в вечернее небо.

По реке, огибая остров, приближался паром, полный, как муравейник, голов, дуг, телег, мешков, поклажи.

Вот заскрипели связки прутьев у борта, конторку качнуло, зашумели голоса, затопали подковы по дереву,— теснясь, ругаясь, стали съезжать на берег возы.

Между телег, прижимаясь к оглоблям, фыркая тревожно, прогремела вороная горячая пара, запряженная в плетушку. Выскочила на песок,— мягко зашуршали колеса. В ту же минуту Ольга Леонтьевна метнулась к плетушке и крикнула диким голосом:

— Вера!

Закутанная темная фигура в плетушке поспешно обернулась. Кучер осадил вороных.

— Что с тобой? Лица на тебе нет. Что случилось?— спрашивала Ольга Леонтьевна, толкая народ, протискиваясь к Вере.

— Ничего не случилось,— ответила Вера холодно,

голос ее задрожал,— я не за вами, я прокатиться. До свидания.

Тогда Ольга Леонтьевна молча ухватила коренника за узду, повернула лошадей назад, на паром, велела Никите идти к коляске, чтобы покупки не растащили, и сама села в плетушку рядом с Верой.

— Зонтик где? — сказала она и раскрыла зонт.—Не к чему,— закрыла зонт и сунула под козлы.— Ну, мать моя, спасибо, удружила.

Вера только низко наклонила голову и медленно закуталась по самые глаза в пуховую шаль.

11

За три дня до свадьбы большая родня Репьевых съехалась в Симбирск, в гостиницу Краснова.

День и ночь буйные крики вылетали из номеров, где резались в карты полураздетые помещики.

Выпито было необыкновенное количество вина,— в особенности пили коньяк. Бутылки складывались здесь же, кучами, в номере, для удивления вновь приходящих.

Очумелые половые без памяти бегали по коридору, сизому от дыма. На площади перед окнами торчали зеваки, привлеченные шумом и светом, и говорили, дивясь:

— Заволжье гуляет.

Никто из дам не решался заходить на мужскую половину в гостинице, потому что в коридорах устраивались кавалерийские атаки.

Молодежь — корнеты, поручики, вольноопределяющиеся гвардейских полков,— все в ночном белье, садились верхом на стулья и скакали, размахивая саблями. Командиром был Мстислав Ходанский, двоюродный брат Веры, павлоградский гусар. Кавалерия налетала на проходящих по коридору, отбивала женщин, брала штурмом коньячные батареи.

Помещики, отсидев за картами зады, ходили — как были — в неглиже — под утро освежаться в городской сад,— выворачивали скамейки, боролись, качали де-

ревья. Жутко было простым жителям, спросонок кидаясь к окошкам, глядеть на эти игры.

На четвертые сутки весь Симбирск поплыл в винном чаду. Полицмейстера пришлось увезти за Волгу в сосновый лес, чтобы пришел в себя. Помещик Окоемов видел черта на печке, в круглом отдушнике. Зеваки на площади божились, что слышали, как в гостинице ржут пожеребячьи.

Но вот, наконец, приехал жених, а за ним и Ольга Леонтьевна с невестой и с братом. Много нужно было ушатов студеной воды — освежить хмельные головы. К двум часам вся родня собралась в собор.

Сергей и Мстислав Ходанский держали венцы. Невеста была бледна и грустна,— неописуемо хороша собой. Жених озабоченно прикладывал ладонь к уху, переспрашивая священника. Ольга Леонтьевна строго поглядывала на родственников: иные из них грузно стояли, выпучив глаза на плавающие огоньки свечей, иные начинали отпускать словечки.

Из церкви молодые проехали прямо на пароход. Там вся родня выпила шампанского, бокалы бросали в воду. Пароход заревел и отчалил, Вера вынула платочек и, взмахнув им, прижала к глазам. Никита рассеянно улыбался,— видимо, совсем ничего не понимал, не видел.

С парохода родня поехала в гостиницу пировать. В большом зале с двух концов на хорах одновременно заиграли два оркестра. После первого тоста об улетевших ласточках Ольга Леонтьевна заплакала. В это как раз время в залу важно вошел Мишука. Он был в черной поддевке, наглухо застегнут. Лицо его было желтое, отечное, под глазами собачьи мешки.

Мутным взором он обвел длинный стол. Все встали. У Ольги Леонтьевны затряслись руки. Мишука подошел к ее руке, затем поцеловал Петра Леонтьевича, не успевшего вытереть усов, и сел, больше не глядя ни на кого,— налил себе большой стакан водки...

Грянули было польку оркестры на хорах, но Балдрясов, чиновник особых поручений, распорядитель пира, зашипел, страдальчески выпучась на музыкантов, вытянулся на цыпочках,— тише!

Мишука съел половину судака, затем немалый кусок гуся, поморщился, отпихнул тарелку.

— Хотя племянница обидела меня,— хрипло и весьма громко сказал он и поднялся во весь огромный рост,— хотя я сказал, что на свадьбе мне не быть,— вот приехал. Пью здоровье молодой. Ура! За молодого не пью — сам за себя выпьет. А сам я скоро помру, вот как.

Он грузно сел... Балдрясов заливчатым тенором крикнул: «Ура!» Грянули музыканты с хор, понесли спьяна такой туш,— даже Мишука оглянулся на них: «Ну и хамы».

Пировали до заката. По просьбе дам отодвинули столы, и начались танцы, для чего пригнали из училища юнкеров. Раскинули карточные столы. Молодежь ломила буфет. Мишука бродил среди гостей скучный, грузный, брезгливо морщился. Развеселило его только небольшое происшествие,— случилось оно за полночь.

Около буфета, в дыму и толкотне, Сергей подошел к Мстиславу Ходанскому, взял его за шнуры гусарки и, качаясь, выговорил мокрыми губами:

— Стива, твоя сестра весьма умно поступила, а?

Мстислав Ходанский сразу вскинул голову,— был он высок, мускулист, с черными кудрями, бледный от вина.

— Стива,— опять сказал Сергей,—Вера умная женщина, ты понимаешь? — Он пальцем поводил у носа Ходанского.— Она хитрая, у нее тело горячее и хитрое.

— Поди выспись,— сказал Ходанский.

— Стива, понимаешь,— если бы я пальцем поманил, она бы с парохода убежала...

У Мстислава Ходанского дрогнули ноздри. В это время Мишука, подойдя к нему, ткнул волосатой рукой в Сергея:

— Плюнь ему в морду, он — хам.

— Я это вижу,— сказал Ходанский, показав ровные белые зубы.

Сергей засмеялся невесело. Затем толкнул Ходанского. Тогда Мстислав Ходанский взял его за живот и

швырнул на буфет, на тарелки. Посыпалось стекло. Мишука громко захохотал.

— Скандал, скандал! — заговорили в надвинувшейся толпе.

Кто-то помог Сергею слезть с буфета. Балдрясов старательно отирал его носовым платком. Сергей, криво усмехаясь, глядел блестящими глазами на Ходанского:

— Хорошо, ты мне ответишь.

— Ага, дуэль, вот это дело,— захохотал Мишука.

Спустя некоторое время в номер, занятый Мишукой, собрались секунданты обеих сторон. Шибко пили коньяк, обсуждали условия предстоящей сатисфакции,— несли чепуху и разноголосицу.

— Ерунда,— сказал Мишука,— пусть стреляются у меня в номере.

Секунданты осели. Выпили. Придерживая друг друга за лацканы фраков, стали совещаться и решили:

— Место для дуэли действительно подходящее.

Один из секундантов даже заржал неестественно и повалился под стол. Принесли ящик с пистолетами, позвали противников.

Сергей вошел бледный, озираясь. Мишука толкнул его к столу:

— Выпей коньяку перед смертью.

Мишука сам зарядил пистолеты. Противников поставили в двух углах комнаты. Мстислав стал, расстегнув гусарку, раздвинув ноги, откинул великолепную голову. Сергей сгорбился, втянул шею, глядел колючими глазами.

— Господа дворяне,— сказал Мишука, высоко держа перед собой пистолеты,— мириться вы не желаете, надеюсь? Нет? И не надо. Стрелять по команде — раз, два, три,— с места.

Он подал пистолеты,— сначала Мстиславу Ходанскому, затем Сергею. Отошел в угол и разинул рот, очень довольный.

Два канделябра, поставленные на пол, освещали противников.

Секунданты присели, зажали уши, один, схватившись за голову, лег ничком на оттоманку.

— Раз, два,— сказал Мишука.

В это время четвертый секундант, помещик Храповалов, красавец в черных бакенбардах, во фраке и в болотных сапогах, крикнул:

— Подождите.

Взял с карточного стола мел, твердыми шагами подошел к Ходанскому и начертил ему на груди крест, пошел к Сергею и ему начертил крест.

— Теперь стреляться.

Храповалов отошел к стене и скрестил руки. Мишука скомандовал:

— Три!

Враз грохнули два выстрела, дым застлал комнату. Секундант, лежавший на диване, молча заболтал ногами.

Мишука сказал с удивлением:

— Живы.

Взял мел, повернул Мстислава Ходанского лицом к стене и на заду ему начертил крест:

— Стрелять сюда.

Сергею он тоже поставил крест поперек фалд фрака. Противники вытянули позади себя руки с пистолетами. Мишука стал командовать:

— Раз, два...

Сергей покачнулся и, бормоча несвязное, повалился на ковер.

— Готов,— крикнул Мишука,— суд божий!

Ходанский отошел от стены и выстрелил в горлышко бутылки — вдовы Клико. Сизый дым струей потянулся к Мишуке,— он чихнул, замотал губами:

— Шампанского. Лошадей. К девкам... Сережку отлить водой и ко мне в коляску.

Под утро шесть троек с гиком и свистом понеслись по мирным улицам Симбирска. Обыватели подымали головы и говорили заспанным своим женам:

— Заволжье гуляет,— Налымов.

12

Жарко натопленные печи, легкий запах вымытых полов, зимний свет сквозь морозные стекла покоят увядающие дни Ольги Леонтьевны. Тихо улетает время за

письмами, разговорами вполголоса, за неспешным ожиданием вестей.

В чистой и белой, наполненной снежным светом комнате трещат дрова в изразцовой печи. Ольга Леонтьевна сидит близ окна за тоненьким столиком и пишет острым, мелким почерком длинные письма. Повернет хрустящий листочек и пишет поперек строк:

«...Я понимаю эту постоянную грусть — ты проверь хорошенько, непременно сходи к доктору. Мне кажется, что ты — в ожидании. Дай бог, дай бог.

Родишь, смотри — не пеленай ребенка, англичане давно это бросили, а уж я — скажу тебе по секрету — второй месяц шью рубашечки и подгузнички. Ты молода, смеешься над старой теткой, а тетка-то и пригодится...

...Пишешь — Никита утомляется на службе, плохо спит, молчалив. Это ничего, Верочка,— обойдется. Трудновато ему, но человек он хороший. Ходите почаще в театр, говорят, Александринский театр очень интересный. Познакомьтесь с хорошими людьми, сдружитесь. Нельзя же, никого не видя, сычами сидеть на Васильевском острове да слушать, как ветер воет,— этого и у нас с Петром Леонтьевичем в Репьевке хоть отбавляй...

...А мы с Петром поскрипываем. Только я беспокоюсь — брат по ночам стал свет какой-то видеть. Поутру встает восторженный. Работает — выпиливает и точит — по-прежнему. Недавно придумал очень полезное изобретение — машинку от комаров,— в виде пищалки. Эту пищалку нужно поставить в саду, она станет пищать, и комары все сядут на листья — не смогут летать и умрут от голоду. Жалко, что проверить нельзя — на дворе зима, комаров нет. И смех и грех... А ты, Верочка, поласковее будь с Никитой,— любит он тебя, любит и предан по гроб... Мороженых куриц и масло, что я тебе послала,— ешьте: к рождеству пошлю еще партию».

Гаснет зимний день. Лиловые студеные тени ложатся на снег, резче выступают следы от валенок. В столовой Ольга Леонтьевна и Петр Леонтьевич, сидя в конце длинного стола, пьют чай и помалкивают. Тонким

уютным голоском поет самовар,— прижился к дому. Большие окна столовой запушены снегом.

— Сегодня опять письмо от Сережи получила,— говорит Ольга Леонтьевна,— прочесть?

— Прочти, Оленька.

Ольга Леонтьевна вполголоса читает:

«Вчера вернулся в Каир. Видел старичка сфинкса, лазил на пирамиды. (Петр Леонтьевич начал постукивать ногой, Ольга Леонтьевна взглянула на него,— он перестал стучать.) Пришла мне в голову блестящая идея, милая тетя: решил я здесь купить мумию, дешевка, рублей за пятнадцать. На спине где-нибудь у нее выпилю кусочек и спрячу его. Мумию запакую и — в Россию. В нашем лесу,— помнишь, в том месте, где, говорят, был скит,— закопаю этого фараона, посыплю сверху фосфором. Пущу слух: что, мол, в скиту могила по ночам светится. Народ — валом. Монаха туда нужно какого-нибудь заманить оборотистого.— Копайте. Раскопают — мощи. Пожалуйте,— продаю место с могилами, с мощами, с подъездной дорогой. Купят. Гостиницу построят. Государю императору пошлют телеграмму. А тут-то я кусочек и представлю: извините, это мой собственный фараон, вот кусочек из спины,— счетик из магазина. Стами тысячами не отделаются от меня монахи. Вот, милая тетя, что значит — африканское небо,— боюсь, что стану финансовым гением или женюсь на негритянке. Одновременно с этим пишу дяде Мише,— деньги у меня на исходе».

— Нехорошо,— после молчания сказал Петр Леонтьевич,— нехорошо и егозливо. Всегда он был безбожником, а теперь и кощунствует. Напиши ему, чтобы он больше нам не писал про фараонов.

Однажды в сумерки в Репьевку приехал нарочный, налымовский работник, привез Ольге Леонтьевне странное письмо. Каракулями в нем было нацарапано: «Приезжайте, Михайле Михайловичу вовсе плохо, хочет вас видеть».

Налымовский работник сказал, что действительно барин — плох, письмо же это писала Клеопатра, дев-

ка,— никакими силами барин ее выгнать из усадьбы не мог, потом привык, ныне она за ним ходит.

Ольга Леонтьевна немедленно собралась и в крытом возке поехала в Налымово по большим снегам, по мертвой равнине, озаренной ледяной и тусклой, в трех радужных кольцах, луной.

В полночь возок остановился у налымовского крыльца. Окна в столовой были слабо освещены. Брехали собаки.

В сенях Ольгу Леонтьевну встретила высокая тощая женщина в черной шали, поклонилась по-бабьи. Из дверей зарычала белая борзая сука.

— Что с ним? Плох?— спросила Ольга Леонтьевна, выпутываясь из трех шуб.— А вы кто такая? Клеопатра, что ли? Ведите меня к нему.

Клеопатра пошла впереди, отворяя и придерживая двери. Сука рычала из темноты. У дверей в столовую Клеопатра сказала шепотом:

— Сюда пожалуйте, они ждут.

У круглого стола, покрытого залитой пятнами, смятой скатертью, под висячей лампой увидела Ольга Леонтьевна Мишуку. Он был страшен,— распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп его был исцарапан, желтые, словно налитые маслом, щеки закрывали глаза, еле видны сопящие ноздри.

Под локтями и сзади, придерживая затылок, привинчены были к креслу деревянные бруски,— на них, опустив опухшие кисти рук, висел он огромной тушей. Дышал тяжко, с хрипом.

Из студенистых щек устремились на Ольгу Леонтьевну зеленые его глазки. Она в великом страхе подбежала:

— Мишенька! Что с тобой? До чего ты себя довел!

— Сестрица,— с трудом проговорил Мишука,— спасибо,— и стал глотать воздух.— Все сижу, лежать не могу, водянка.

— Гниет у них в груди,— сказала Клеопатра.— А едят беспрестанно,— не успеваем подавать.

Действительно, на нечистой скатерти стояли тарелки с едой. Усы Мишуки, щетинистые, тройной подбородок были замазаны жиром. Озираясь, Ольга Леонтьевна

увидела там же на столе большую банку с водой и в ней раскоряченную белопузую ящерицу.

— Крокодил,— проговорил Мишука.— Сережка из Африки прислал в благодарность живого. Сегодня подох, значит и я...

В ужасе Ольга Леонтьевна всплеснула руками:

— Доктора-то звали?

— Доктор сегодня был,— ответила Клеопатра, стоявшая, поджав губы, у буфета,— доктор сказал, что они сегодня помрут, в крайнем случае — завтра.

— Зав... зав... зав...— пробормотал Мишука, с усилием поднимая вылезшие брови.

Ольга Леонтьевна спросила:

— Что он говорит? Завтра? Ох, трудно ему помирать...

— Завещание спрашивают...

Клеопатра достала из буфетного ящика сложенный лист бумаги, подошла к лампе:

— Для этого вас и вызвали, для свидетельства.

И она стала читать:

«Пахотную землю всю,— луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее,— жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселей на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, по прозванию Клеопатре, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся, дарю мое благословение, деньгами же и землями — шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это завещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш,— который предназначался ближайшим родственникам,— Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи — почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел,— проговорил Мишука,— Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак,— сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме — озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Багровея, пучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завыла диким голосом под столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... попа,— выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Изо рта хлынула сукровица...

Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

Клеопатра не торопясь подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой.

АКТРИСА

Все, о чем здесь идет речь, случилось в нашем уездном городишке, который в давние времена, быть может, и назывался городом, но теперь, когда в нем живет не более двух тысяч захудалых обывателей, кличется, по непонятной игре русского языка,— городищем, что более подходило бы, конечно, какой-нибудь столице. Тинная речка, Лягушка, не спеша, пологим изгибом, течет по городу. Кое-где, наклонившись над ней, стоят ивы. Кое-где далеко в зеленую воду выдвинуты мостики, и, белея на них ядреными икрами, бьют бабы белье,— звонко по речке стучат вальками. На жаркой воде под июльским солнцем вдруг загогочет гусь и, приподнимаясь, замахает белыми крыльями. В лопухах, в крапиве на берегу роются свиньи. На сгнивших сваях вихрастые мальчишки, привязав к веревке копченую рыбью голову, ловят раков. Бредет по площади красная поповская корова, заходит в речку по брюхо и пьет и, напившись, думает, пуская слюни.

Площадь посреди города большая и пыльная. Посреди нее круглый год стоит лужа, откуда недавно вытащили бывшего помещика Дмитрия Дмитриевича Теплова в нетрезвом виде,— попал туда нечаянно.

На площади — три примечательные постройки: кирпичная, крытая ярко-зеленой крышей лавка Ильи Ильича Бабина, напротив нее — церковный дом с пали-

садником, куда под вечер выходят поп Иван с попадьей — садятся на лавочку и благодушествуют, и у самой реки, подпертая с заднего фасада сваями, стоит деревянная, в два этажа, облупленная гостиница «Ставрополь», видная издалече при въезде в город. Под вечер в гостинице, во втором этаже, в номере с окном на площадь, сидят обычно бывший помещик Дмитрий Дмитриевич Теплов и напротив него, на диване,— его друг, Языков, тоже бывший помещик, и пьют водочку. Денег у обоих давно уж нет, и дела тоже нет никакого.

Языков поднимает дрожащей рукой рюмку, медленно выпивает ее и, вздохнув, глядит на пыльное окошко. У него длинное, грустное, пыльное лицо и подстриженные усики. Он покусывает их и молчит. Говорить не о чем,— все давным-давно переговорено.

Теплов, наваливаясь большим, в пестром жилете, животом на ветхий овальный столик, пытается вызвать друга на разговор. Иногда это удается, иногда Языков так и промолчит весь вечер. Но у Теплова раз и навсегда припасен ядовитый разговорчик, на который друг его никак уж не может промолчать.

Теплов выпивает,— хлопает пташку,— затем, вытянув губы, выдыхает из себя спиртную крепость, закусывает кусочком давно остывшего шнельклопса, разваливается, закинув руку за спинку кресла, и на лице его, полном, с висячим подбородком, с горбатым носом, как у попугая, с выпученными, мешкастыми, серыми глазами, изображается недоумение.

— Скажи, пожалуйста, Коленька,— говорит он гнусавя,— все-таки, в конце концов, как ты — женат или не женат?

Языков отвечает через некоторое время басом:

— Женат.

— Вот как? А скажи, пожалуйста, все-таки, в конце концов, где у тебя жена?

— В Москве.

— В каком она театре-то играет, я опять забыл?

— У Корша.

— А как ты думаешь, Коля, прости меня, пожалуйста, ведь она тебе изменяет?

— Вероятно.

Теплов ударяет себя по коленкам и крутит головой:

— Эх, жизнь проклятая... Слушай, Коля,— выпьем.

— Выпьем.

В коридоре половой чистит ершиком стекло, зажигает лампу, и желтоватый свет ее ложится в щель приоткрытой двери. Из коридора тянет жареным. Теплов грузно поворачивается к двери.

— Дай срок,— говорит он,— я этому подлецу буфетчику покажу кузькину мать. Эй, Алешка!

По коридору расторопно шаркают вихлястые шаги, и в дверях, весь криво-накосо, появляется половой с подносом под мышкой, в красной рубахе и в разодранном фраке поверх. Теплов тяжело смотрит на него:

— Поди к буфетчику, прикажи подать еще порцию шнельклопса.

— Обойдетесь,— отчетливо говорит Алешка, захватывает грязную тарелку и, уходя, ловко — ногой — прикрывает за собой дверь.

Теплов некоторое время ругает буфетчика и Алешку. Водка выпита. Языков молчит. Теплов начинает врать о том, что он на будущей неделе перепродаст наумовского жеребца Ильюшке Бабину и заработает двести целковых.

— Не веришь? Эх ты, размазня несчастная. Лоботряс, бездельник. Зачем именье прожил?

— Да ведь и ты прожил,— говорит Языков.

— Нет, я не прожил; меня кредиторы съели. А ты чигири какие-то строил. Зачем тебе чигирь понадобился? Вот из-за этого-то тебя и жена бросила. Как ты смеешь мне не верить, что я жеребца продам!

Он грузно поднимается и идет к двери.

— Алешка! Ну, что — говорил буфетчику? Тьфу!

И с шумом захлопывает дверь.

— Давай спать ложиться.

В один из таких вечеров неожиданно было получено письмо от жены Языкова, Ольги, со штемпелем из Кременчуга: «Вот уже пять лет, как мы ничего не слышим друг о друге, и я не получаю от тебя, Николай, ни денег, ни писем. Не знаю, кто в этом виноват. Но мы уже не молоды, нужно научиться прощать друг друга. На-

пиши — как ты живешь, продолжаешь ли сам хозяйничать, что твой фруктовый сад? За эти годы он стал, наверное, тенистый и чудесный. Я почему-то все вспоминаю мою бывшую комнату, из нее был такой милый вид. Сейчас я играю в Кременчуге».

После этого слова стояла клякса, и все письмо было написано загнутыми вниз рыжими строчками.

Письмо прочли вслух. Языков закрыл ладонью лицо и сидел не двигаясь.

— Ну, как же ты теперь намерен поступить, друг мой? — проговорил Теплов, и тройной подбородок его задрожал.— Пиши: виноват, дорогая, в настоящее время нет у меня больше прелестного сада, и принужден, к сожалению, протягивать руку за милостыней. Так?

— Я не могу ей написать правды,— глухим, страшным голосом ответил Языков,— пусть думает, что я жесток, ревнив, злодей, но не это... Нет, нет! Митя, я тебе никогда не говорил: я продолжаю любить Олю... Ах, боже мой, боже мой!

Языков ответил жене сухим письмом, где ссылался на чрезвычайную обремененность занятиями по хозяйству и земству, и при письме перевел в Кременчуг пятьсот рублей, все, что у него осталось от продажи именья. По совету друга он написал также уездному предводителю, Наумову, предлагая себя в управляющие, но Наумов ему не ответил. Тогда Языков впал в совершенную молчаливость и целыми днями теперь лежал на кровати в номере и думал.

Прошло недели две. Теплов за это время отлучился,— взял с собой шкатулку с картами и уехал, полный надежд, на пароходе в Саратов, и вернулся с заплывшими сизо-лиловыми глазами и без денег,— уверял, что вышло квипрокво. И вот однажды, ночью, когда друзья уже спали, в «Ставрополь» принесли телеграмму:

«Выехала почтовым, целую, Ольга».

Это было как удар в голову. Языков сейчас же оделся и стоял у темного окна. Теплов в ночной рубашке, на кровати, со свечой в руке, перечитывал телеграмму.

— Батюшки мои,— громко прошептал он,— завтра в три часа приезжает. Что же будем делать, а?

Друг его только низко опустил голову.

— Отвечай, идиот несчастный! — заорал Теплов.— Где ты будешь жену принимать — в нашем свинюшнике, да? Греться к тебе после Кременчуга приехала. Лгун бессовестный!

— Не кричи на меня, Митя,— неожиданно твердо проговорил Языков,— я все решил. Ты жену мою завтра встреть и привези ее в гостиницу, в лучший номер. Корми ее, пои и не отходи ни на шаг. Пусть она проживет здесь три дня, отдохнет после Кременчуга. Ты ей деньги достань, Митя, откуда хочешь.

Он повернулся от окна и стиснул руки.

— Ты ее проводи на вокзал с цветами,— она актриса, слышишь...

— Ну, а ты?

— А я, Митя, уйду. Я даже сейчас уйду. Про меня ты скажи ей, что я в уезд уехал по делам, в неизвестном направлении. Митя, не отнимай у меня последнего достоинства.

Он взял картуз и пошел к двери. Теплов кинулся за ним из постели, но запутался в простыне и уронил свечку.

— Остановись! Вернись, тебе говорят!.. Сумасшедший!

В вагоне второго класса, в купе, сидел медно-красный человек в поддевке, с жесткой бородкой, с оскаленными от смеха белыми зубами, Илья Бабин. Он был весь мокрый от жары, опирался согнутым указательным пальцем о крутое колено и похохатывал.

Напротив него, на койке, лежала слегка поблекшая, но еще красивая женщина с соломенно-светлыми, высоко взбитыми волосами, в шелковом, персикового цвета, плаще, со множеством видных отовсюду кружев. Пухленькими пальцами, на которых постукивали огромные перстни, она играла цепью от лорнета, вытягивая капризно губы, и говорила:

— Ах, эти вечные проводы, вечные встречи! В Кременчуге меня принимали, молодежь хотела выпрячь лошадей, но один местный богач отбил меня у них и умчал в автомобиле.

Илья Бабин слушал и похохатывал. Дама ему нравилась, но очень была смешна: носик вздернутый, на щеках наведен, точно на яблоке, круглый румянец, глазами она такое выделывала, что — не приведи бог, и все у нее не настоящее,— перстней хотя и много, но грош им цена: все медные, со стекляшками, лорнетка без стекол, кружева — как на кукольных юбках.

— Огни сцены, цветы, поклонники, ужины — надоело. Устала, еду к мужу,— говорила она, охорашиваясь, то одергивала юбку, то плащ тянула на плечо.— Какие вы все странные: «Актриса, актриса!»— но я тоже человек, уверяю вас. Я обожаю природу, ах,— пробежаться по росе босиком — вот мечта. У нас с мужем были странные отношения, он меня ревновал, как мавр. Боже, я не святая! Мы пять лет не видались. Скажите, вы его знаете? Ну? Какой он стал за эти годы?

Илья Бабин еще веселее рассмеялся.

— Фу, какой вы противный! А как его дела? Нет, я серьезно спрашиваю.

— Дела — как сажа бела...

«Пускай, пускай разлетится к муженьку,— весело думал Бабин,— досыта нахохочемся».

И сказал, вытиря ребром руки мокрые глаза:

— Погостите у муженька, потом к нам на хутор пожалуйте, у меня тройки и шампанское, чего душа просит.

Ольга Языкова покачала головой, задумалась, потом, улыбаясь загадочно, сказала:

— Голова кругом идет, как подумаешь: визиты, приемы, праздники; у мужа моего — весь уезд родня. Ах, и не говорите мне о светской жизни. А соскучусь — приеду к вам на хутор.

Закрыв рот, она засмеялась тихим, грудным смехом, подбородок ее задрожал. Бабин внимательно посмотрел на нее, и ноздри его задрожали.

Огромное ржаное поле перед железнодорожной станцией, измятое ветром, ходило желто-зелеными волнами, шуршало колосом, веяло горечью повилики и медовым запахом на межах мотающейся желтой каш-

ки. Над полем, невидимо, точно комочки солнечного света, заливались жаворонки жаркими голосами. В палисаднике станции шумела висячими ветвями большая береза, и ветром отдувало куцый парусиновый пиджачок Дмитрия Дмитриевича Теплова, неподвижно стоящего на перроне. Он глядел, щурясь на плавно изгибающуюся в ржаных полях красноватую ленту пути, и поправлял на голове дворянскую фуражку. Позади, на лавочке, на солнцепеке, сидел сонный начальник станции с таким животом, что на нем не застегивалась форменная тужурка. Вглядываясь, Теплов, наконец, чихнул.

— Господи, прости,— пробормотал он, еще раз чихая,— спичку в нос. А что же поезд?

— Придет,— сладко, с хрипом зевая, сказал начальник станции.

И действительно, далеко у горизонта, где волнами ходил жар, появилось облачко дыма. Долетел протяжный свист.

Теплов, обернувшись, крикнул буфетчику:

— Бутылку донского, живо!

И вот, все увеличиваясь и свистя, напирая горячей грудью воздух, появился голенастый локомотив, замелькали окна вагонов, ударили в колокол.

Ольга Языкова, сходя с площадки вагона, выдернула руку свою из руки Бабина.

— Пустите, я на вас рассержусь наконец,— прошептала она торопливо, спрыгнула на перрон и ахнула.

Шаркая со всей силой ногами по асфальту, налетел на нее Теплов с отнесенной в сторону фуражкой. Позади него делал какие-то неопределенные жесты, широко улыбался начальник станции. Подбежал буфетный мальчишка со звенящими на подносе бокалами.

— Это так неожиданно... Я так тронута... Я не знала, что моя скромная известность докатилась до ваших мест,— говорила Ольга Языкова, беря бокал рукою в перчатке.

— Господа, еще раз — уррра! — захлебываясь, завопил Теплов и закрутил над головой фуражкой.

Когда затем, подсаженная в тарантас, Ольга Языкова спохватилась и спросила про мужа, Теплов ответил, прямо глядя ей в глаза выкаченными, остекленевшими от подагры глазами:

— Николай уехал в уезд до получения от вас известия, и в неизвестном направлении.

В «Ставрополе» Языковой был отведен лучший номер внизу, окнами на площадь. Теплов позаботился и об угощении: на столике перед плюшевым диваном кипел самовар, стояли тарелки с едой и бутылка донского шампанского. Но Языкова, бросив шляпу с вуалью на подзеркальник, с видимым неудовольствием оглядывала лопнувшие обои, кумачовые ширмочки, помятый вонючий умывальник, бумажную розу, воткнутую сверху в ламповое стекло. Теплов вертелся около, стараясь обратить внимание актрисы на еду.

— А это что за ужас?! — спросила, наконец, Языкова, останавливаясь у окна.

Теплов деликатно коротким мизинчиком стал указывать на достопримечательности:

— Вот то — лавка местного богача Бабина. Это — домик батюшки. А вот торчит — пожарная каланча.

— Нет, я спрашиваю — это что? — сквозь зубы спросила Языкова, кивая на лужу, где рылись свиньи.

— Озерцо. Городское хозяйство предполагает обсадить его деревцами и зимой устроить каток. Вы, может быть, присядете, Ольга Семеновна, откушаете?

Ольга Языкова села на диванчик, откушала чашечку чаю и опять задумалась. Зато Теплов приналег на еду и на вино и развеселился.

— Вспомните слова поэта,— воскликнул он, прижимая к груди руку с вилкой,— лови момент. Оставьте задумчивость, выпейте винца. Ей-богу, жить на свете недурно.

— Где мой муж, я хочу знать? — мрачно спросила Языкова.

— Солнышко, да любит, любит он вас... Ей-богу, в уезд уехал. Я уж за ним и верховых разослал. Найдется, прилетит... Ах, милая вы наша... Вы луч, можно

сказать, упавший в болото... Ведь мы в грязи живем, как поросята... Ну... Пью за искусство, за мечту.

— Я желаю знать, почему вы привезли меня в эту мерзкую гостиницу, а не прямо на усадьбу, в наш дом?

— Да ведь дом-то сгорел, богом клянусь... Николай думает строить новый. Моя, говорит, жена артистка, ей нужен дом с колоннами, храм. Через всю, говорит, спальню пущу трельяж с ползучими розами. Так, бывало, размечтаемся с Коленькой,— и все вы, наша красота, в мечтах... Ольга Семеновна, не побрезгуйте, поживите с нами денька три, потом мы вас с цветами в Москву проводим.

— То есть — почему это только три дня? — с тревогой спросила Языкова.— Я не намерена отсюда уезжать: я бросила сцену и приехала к мужу навсегда.

Теплов глядел на актрису выкаченными глазами, у него даже щеки вдруг отвисли.

— Это невозможно,— хрипло сказал он.

Языкова быстро поднялась с дивана и крикнула отчаянным голосом:

— Я знала, что вы от меня что-то скрываете. Николай всю жизнь отвратительно поступал со мной. За два года прислал пятьсот рублей! Актриса, актриса. А вы знаете, что такое актриса? Прошлым летом я в Козьмодемьянске привидение играла и, когда в люк проваливалась, так треснулась головой, что я Николаю этого люка никогда не забуду. А рожать в холодной гостинице вы пробовали? А вы знаете — сколько стоит пара панталон для офицерского фарса? Николай должен меня кормить, я устала. Вот, полюбуйтесь,— дрожащими руками она раскрыла сумочку и вышвырнула на стол из нее несколько серебряных монет,— вот все, что осталось, считайте...

Ольга Семеновна опять упала на диван, закрылась руками и зарыдала глухо, как дети плачут в чулане. Теплов отер со лба холодный пот. Что угодно, но слез он боялся пуще всего.

— Мы это как-нибудь устроим, ради бога,— пробормотал он, пятясь на цыпочках к двери.

Из гостиницы Теплов пошел прямо к Бабину через площадь. Были сумерки. Около каланчи зажгли керосиновый фонарь, и свет его отражался в луже. У батюшки, сквозь герань на окнах, было видно, как собирали ужинать. За городом в огромных тучах догорал тусклый закат. Ухали, ахали многие миллионы лягушек по всей реке. У Теплова сжалось сердце: «Вот глушь. Вот тоска».

— Что, брат, нос повесил? — позвал его насмешливый голос Бабина. Он стоял у ворот, в расстегнутой поддевке, в бобровой, набекрень, шапке, руки заложил за шнур, высоко перепоясанный по шелковой рубахе.

— Вот я насчет чего, Илья Ильич,— Колина жена, актриса, удивительный талант, театры ее прямо на части рвут, и представь — квипрокво: собираясь в дорогу, деньги и драгоценности положила в багаж, а его взяли да и отправили на Харьков,— дня через три придет. А пока одолжи рублей четыреста,— в самом деле...

Бабин громко рассмеялся:

— Ну и штукари! А куда же ты мужа-то ее спрятал?

— Ну, на речке, на мосту сидит. Мы решили наше положение скрыть. Дай деньги, пожалуйста.

Но дать деньги Бабин отказался наотрез. Видимо, он собирался идти в гостиницу, но, узнав, что актриса плачет, сказал, что явится завтра, после обедни, двинул шапку на брови и шагнул в калитку, за которой зазвенели цепями, захрипели от ярости знаменитые бабинские кобели.

Теплов постоял у ворот, плюнул и пошел через площадь. Внизу, у реки, темными очертаниями стояли осокори, под ногами чмокала грязь, пахло крапивой, болотной гнилью и мокрыми досками. Лягушки ухали теперь во весь голос, квакали, булькали, стонали. Кое-где за рекой невыразимо тоскливо желтел свет в окошечках. На мосту, у перил, стояла согнутая фигура Языкова,— казалось, он внимательно слушал лягушиное пение.

— Иди к ней сам, вались в ноги, объясняй, как хочешь. Ну вас всех к черту! — подходя, с раздражением

проговорил Теплов и, вглядываясь в бледное, как полотно, лицо друга, увидел, что оно все в слезах.

— Ну, как же ты встретил Оленьку? — спросил Языков, вытирая глаза.— А меня, знаешь, лягушки очень расстроили.

В сумерки Ольга Семеновна опустила шторы, зажгла свечу, разделась и, присев на постель и поглаживая бока, уставшие от корсета, вдруг изнемогла, уронила голову.

Она получила в Кременчуге пятьсот рублей от мужа и за все эти двенадцать лет на одну минуточку тогда задумалась внимательно — и вдруг со злорадным отчаянием поняла, что она скверная и пошлая актриса, что ей тридцать пять лет, что больше надеяться не на что. В тот день она рассказала своим товарищам по сцене, что муж ее, богатый помещик, вот уже пять лет зовет ее вернуться к обязанностям жены и светской женщины.

Актеры и она сама поверили этому. Ольга Семеновна заплатила неустойку антрепренеру, продала туалеты,— часть денег сейчас же взяли у нее взаймы, остальные куда-то делись,— устроила прощальный ужин, расплакалась, прощаясь навсегда с театром, и уехала, и вот она сидит на железной жесткой постели в затхлом номерке, мигает свеча в позеленевшем подсвечнике, за обоями шуршат тараканы. Сидит одна, мужа нет, и весь сегодняшний день — непонятный, тревожный, зловещий...

Ольга Семеновна поежилась от холодка, влезла под одеяло и поджала ноги. Несмотря на природное легкомыслие, заснуть все-таки она не могла. Вдруг за окном раздались сдавленные торопливые голоса: «Не пущу!..» — «Пусти руки!..» — «Не пущу!..» — «Убью, пусти руки!..»

Ольга Семеновна села на постели. С отчаянно бьющимся сердцем она различала, что — один голос был Бабина, другой чей-то страшно знакомый.

В это время рванули ставню, и мимо окна прокатились два человека. Минуту спустя послышался скрип

половиц в коридоре. Шаги приблизились. Несколько раз, осторожно, повернул кто-то дверную ручку. Ольга Семеновна сидела не двигаясь, в ужасе.

Дверь приоткрылась, и в ней появился Николай Языков. Он был в драповом пальто с поднятым воротником и без шапки. Рот — черный, глаза побелевшие, безумные. Ольга Семеновна поднесла ладони к щекам и втянула голову в плечи.

— Николай, это вы? — стуча зубами, прошептала она.

Языков хотел что-то сказать, но только облизнул запекшиеся губы, отделился от двери, подошел,— от него, как от утопленника, пахло болотом,— и опустил, наконец, зажмурил нестерпимо горевшие глаза.

— Оля,— проговорил он, едва ворочая языком,— я на минутку, проститься... Ухожу.— Ледяными пальцами он взял ее руку, лицо его все сморщилось, затряслось. Он опустил ее руку, отвернулся и вышел. И только тогда, когда шаги его затихли и хлопнула наружная дверь, Ольга Семеновна начала кричать, затыкая рот подушкой. Потом соскочила с кровати и заперла дверь на ключ.

Теплов в это время бегал за реку к старухе закладчице, пригрозился сжечь ее живьем вместе с лавчонкой, но вернулся без денег. Языкова он не нашел ни в гостинице, ни на мосту, покричал было его, но слишком уж все получилось скверно, и решил просто — лечь спать.

Из-за осокорей поднялся тускло-оранжевый шар луны, и отблеск ее лег на черную воду. Было душно и сыро. Теплов повернул с моста прямиком через лопухи и у дощатой высокой стены гостиницы, на которую падал лунный свет, между сваями, подпирающими задний фасад, увидел Николая Языкова. Он сидел, положив на поднятые колени локоть и уткнув в него лицо.

— Что, Коля, говорил с женой? — спросил Теплов, взбираясь по откосу.— Что она?.. Ну, ну, не стони, не буду, не буду.— Вздохнув, он сел рядом с ним.— Какая она милая, красивая, прелестная женщина... Знаешь, Коленька, пойдем домой, водочки выпьем, а то — про-

студишься на сырой траве. Завтра мы непременно что-нибудь придумаем. Можно тебе, например, сделаться земским начальником. Честное слово,— замечательная идея. Три тысячи жалованья, казенная квартира, свое маленькое хозяйство... А я вас такие научу селянки делать — язык проглотишь. Слушай,— по вечерам твоя жена будет нам что-нибудь декламировать. Лампа горит, тепло, уютно... А тут как раз тетка какая-нибудь умрет, получишь огромное наследство.

— Живот болит,— сквозь стиснутые зубы проговорил Языков.

Теплов заботливо наклонился к нему:

— Ты не ел, что ли? Коля, что с тобой? Николай, отвечай... Что это у тебя? Отдай!..— Теплов вытащил из стиснутой и похолодевшей руки друга старый дуэльный пистолет. Он был весь липкий. Языков, часто, часто вздыхая, как собака во сне, повалился набок и поджал колени к самому подбородку. Теплов отполз от него, поднялся и, уже не помня себя, закричал: — Спасите!

Но на его крик в темном спящем городке только брехнула где-то собака да за рекой сонно и успокоительно застучал в деревянную колотушку ночной сторож.

Илья Бабин сидел у себя, в горнице, на жестком диване и пил донское шампанское. Брови у него перекосило, после давешней драки на щеке осталась багровая царапина. Постукивая пальцами по столу, он мутно глядел на фотографический портрет тятеньки, висевший на стене: «Ну и скука!»

Вдруг в ворота раздался отчаянный стук. Рванулись на цепях, завыли кобели. Бабин кинулся к окну, но ночь была темна. Он надел шапку и пошел отворять.

Через минуту в горницу, впереди Бабина, вбежала Ольга Языкова. Она была в рубашке, завернута поверх в клетчатое одеяло, и на растерзанных ее волосах была надвинута вчерашняя ярко-красная шляпа с черными страусовыми перьями. Ольга Семеновна остановилась, стуча зубами, повернулась к Бабину, подняла голову, сложила под одеялом руки.

— Он застрелился, спасите меня, ради бога,— сквозь дробь зубов прошептала она,— я погибаю, у меня ничего нет, я боюсь!.. Делайте со мной все, что угодно.

Бабин провел большой ладонью по лицу своему, решительно подошел к столику, взял бутылку и стакан, вышвырнул то и другое в раскрытое окошко и оправил вязаную скатерточку.

— Здесь вам будет чисто, располагайтесь, живите, сколько душе угодно... Мы не звери,— сдвинув брови, сурово проговорил он,— мой дом — ваш дом. Сейчас бабу вам позову.

Он вышел и крикнул за стеной:

— Матрена, продери глаза-то, иди в горницу, там барыня плачет. Да самовар поставишь. На — ключи.

Затем Ольга Семеновна видела, как Бабин с фонарем зашагал через площадь к гостинице.

Ольга Семеновна уронила голову. Страусовое перо повисло у нее перед лицом. Тогда с омерзением она содрала с себя шляпу и швырнула ее на пол, под диван. Вошла молодая круглолицая баба, жалостливо улыбаясь.

СВАТОВСТВО

1

Лизавета Ивановна сидела у окна за рабочим столиком с вязаньем в руках и, постукивая костяными спицами, говорила ровным своим, надоедным голосом:

— Вот хотя бы Шабалова, хорошая женщина — сказать нечего, а я не могу ее терпеть. Все-то у нее куры да индюшки на уме, нет другого разговора... «А сколько у вас, Лизавета Ивановна, матушка, гусей родилось?» — «Двадцать»... Что ж из того, двадцать — так двадцать, а она молчит полчаса. «У меня ныне тридцать один гусь»,— скажет и вздохнет, будто сама тридцать одного гуся снесла. Нет, друг мой Миша,— вынув спицу и мельком взглянув на сына, продолжала Лизавета Ивановна,— небольшие мы с тобой помещики, а дворяне... Так-то... Я не говорю, чтобы зазнаваться нужно — для этого купилок нет, а так на ночь, помолившись богу, и шепни в подушку: слава тебе, создатель, что родил меня дворянином. Что же ты, Миша, молчишь, понять меня не можешь,— голова у тебя дурацкая?

Действительно, голова у Миши, или Михайлы Михайловича Камышина, была в виде огурца — кверху у́же. Брови — белые, ресницы и жидкие волосы, как лен, зато толстые щеки и губы, которые Лизавета Ивановна звала не иначе как шлепанцы, краснели от здоровья...

Миша глядел на тарелку с бумажкой, где мерли мухи, слушал надоедные слова маменьки и молчал, обиженно поджав рот...

— Дуралей ты, дуралей,— продолжала Лизавета Ивановна,— третий раз тебе говорю — поди посмотри свинью,— всех поросят сожрет.

— Меня, маменька, тошнит, когда свинья поросится,— ответил Миша мяукающим голосом,— у меня и так голова болит...

Лизавета Ивановна обеими руками гневно ударила вязанье о рабочий стол и, раскрыв круглые глаза, которые были светло-голубые, как у галки, угрожающе протянула:

— Миша!..

Миша встал и, повернувшись к маменьке спиной, замечательной тем, что внизу была она мясистая, как у женщины, ушел...

«В кого у него зад такой,— думала Лизавета Ивановна,— у дедушки Павла был громадный живот, должно быть, перепуталось».

Миша зажег железный фонарь и вышел на крыльцо. От оттаявшей в конце апреля земли шел густой и душистый запах. Позади дома глухо шумели ветлы; далеко гудела вешняя вода в овраге. В синих сумерках еле видны были строения, крытые соломой, шест колодца и перевернутая телега. Мычала корова, хотела пить. Шлепая по грязи, подошел к Мише пес, ткнул холодным носом в руку.

Миша поднял фонарь и, осторожно обходя лужи, освещенные желтым кругом свечи, пошел к закутке.

«Тепло,— думал Миша,— мороза не будет. Маменька небось в кресле сидит, а я по грязи шлепай; всё панталоны замажешь; что это за жизнь такая! Дворянский сын! Я бы показал, как живет дворянский сын».

Миша вдруг остановился в волнении. Всю зиму ему хотелось жениться, а с весною стало невмочь.

«Извела меня маменька своими разговорами, не могу больше так жить...»

И, вздохнув громко, отчего шедший сзади пес зарычал, Миша отворил дверь хлева.

В теплой закутке лежала на боку белая толстая свинья; увидав свет, она сердито подняла морду и взвизгнула. Миша присел около и в лукошко, на солому, положил двух только что рожденных поросят... Ухо свиньи начало двигаться, по телу пробежали судороги; она опять опоросилась.

Свинья была молодая, и Лизавета Ивановна боялась, как бы она не сожрала приплод, и велела Мише ударять свинью кнутиком, если вздумает трогать поросяточек.

Миша, сидя на корточках с кнутом в руке, брезгливо морщился, моргал светлыми ресницами, думал:

«Мамаша нарочно меня унижает, какой мне интерес на свинью смотреть... Вот пойти бы да сказать маменьке — идите сами в хлев, а я лучше в кресле тихо посижу».

Миша немного утешился, представив себе Лизавету Ивановну с кнутиком, на корточках, и, взяв на руки поросенка, сосавшего палец, умилился...

«Свинье уютно,— у нее дети, у всякой скотины дети, а мне одному холодно, не к кому прижаться...»

Миша любил меланхолию и теперь, чувствуя в горле слезы, радовался своей чувствительности. Положив всех поросят в лукошко, он вытер руки о шерсть свиньи и пошел в дом, обиженно опустив губы.

В столовой кипел самовар, горела висячая лампа. Лизавета Ивановна на углу стола раскладывала пасьянс.

— Ну? — спросила она, не поднимая головы.

Миша вздохнул:

— Десять. Эх, маменька...

— Что, дуралей?

— Какой я дуралей? — воскликнул Миша сердито, но под взглядом матери смирился.— Была бы у меня жена... не звала бы дуралеем,— добавил он тихо.

Лизавета Ивановна положила колоду и, облокотясь, стала глядеть на сына. Миша пил чай и ел, сопя носом. Самовар пел тоненько.

— Гостей зазывает! — молвила Лизавета Ивановна, оканчивая нить своих мыслей, взяла колоду и разложила «большого слона».

С этого вечера Миша все время думал о женитьбе, воображая себя отцом маленьких, многочисленных детей. Матери он начал грубить.

Однажды Лизавета Ивановна сказала:

— Поросята подросли, отвези-ка пару Павала-Шимковскому, он любит йоркшир. Да не растряси дорогой... Вот ведь, хороший, кажется, человек Павала, а детей распустил, срамота. Я всегда говорю, не давай детям воли.

Миша приоделся, сам выбрал двух лучших поросят, посадил их в мешок, положил его под козлы в тележку и на гнедом мерине поехал в село Марьевку, где земским начальником служил Павала-Шимковский, живя с дочкой Катенькой и сыном Алексеем.

2

В крытых, вдоль дворовой стены, сенях и на крыльце стояли мужики,— здешние и из дальних деревень,— и с утра ожидали выхода земского начальника. Мужики пришли насчет податей и шумели. Иных вызывали по повесткам для судебного разбирательства, стояли они в сенях без шапок. Мальчик в синей рубахе, с оловянным крестиком на толстом шнурке и в новых валенках, ходил то в дом, то к мужикам, отбирая повестки. Его спрашивали: «Что барин-то — все спит?» — «Спит он, я тебе сто раз говорил — спит»,— отвечал мальчишка.

— Ох, господи,— вздыхает рябой мужик,— мы, пестравские, с утра не евши.

— Все спит,— отвечает ему статный крестьянин с курчавой бородой, с серьгой в ухе,— все спит. Давеча я приходил,— что барин? Спит еще, говорят. Теперь прихожу,— он, говорят, опять спит... Ну, ну.

— Теперь спать не полагается,— громко заговорил, протискиваясь к ним, черный и злой крестьянин, Назар,— теперь закон — свобода.

— Это правильно,— ответил лысый мужик,— наш барин околицу стал затворять на замок,— езди, говорит, кругом. Хорошо. Мы ему говорим: теперь околицу запирать не полагается, теперь свобода. А он по морде

бить. Околицу мы поломали. Мы разве бунтуем, мы насчет дороги... Нам без дороги нельзя.

— В одно слово,— говорил красивый мужик с серьгой,— летось к нам худощавый человек приходил, все яйца ел сырые, посолит и съест. Собрал сход и говорит: «Помещик вами пользуется, жиреет, а вы без земли». Хорошо так рассказывал, только все прибавлял: «благодаря тому» да «благодаря тому», так и не поняли, за что благодарит...

В сенях мужики задвигались и замолкли; вышел Алексей и тихим голосом, заикаясь и вытягивая жилистую шею, проговорил:

— Подождать придется, мужички, до вечера,— папа спит...

Мужички разглядывали его молча, как диковину. Без усов и бороды, зеленое, обтянутое лицо Алексея было все в морщинах, словно истомленное тайным недугом, страдальческие глаза глядели жалобно, как у больного щенка.

Алексей нырнул шеей и, с усилием вытянув губы, добавил:

— Так вы подождите.

Мужики, насмотревшись и решив, что раз это барский сын, то может быть чудаком каким угодно, сразу зашумели:

— Нам ждать нельзя, у нас лошади не кормлены, сами есть хотим. Что за порядки — деньги принесли, а он не берет... Разбудить его. Потом отоспится... Будить его, ребята, будить...

— Как хотите,— говорил Алексей ближайшим к нему мужикам,— я бы сам, конечно...

— Идем, ребята,— покрывая все голоса, закричал Назар,— разбудим его. Что стали, напирай!

Мужики все сразу заговорили и двинулись к сеням, тесня Алексея; Назар, протискиваясь, взялся за скобу двери, но дверь распахнулась сама, и на пороге появилась полная девушка небольшого роста, красивая русской красотой, насмешливой и ленивой...

— Молчать! — сказала она.— Это что еще такое! Узкие брови ее сдвинулись. На круглой белой щеке чернела маленькая мушка.

Мужики сняли шапки, девушка спросила сурово:

— Что вам надо? Деньги принесли?

— Мы к его милости — нельзя ли доложить? Тяжело нам, рабочее время...

— Отец примет ночью, а я, если хотите, сейчас. Эй, Степка,— крикнула девушка,— вызывай очередных...

Она закрыла дверь, и мальчик в валенках закричал тонким голоском:

— Петр Терентьев Карнаушкин Сизов!

— Здеся,— торопливо ответил красивый мужик с серьгой и, встряхнув блестящими от коровьего масла волосами, вошел в дом.

Тем временем Михайла Михайлович Камышин, потряхиваясь в дребезжащей тележке по горбатым доскам моста через глинистую реку Марью, въехал в село и, завидя зеленый купол церкви, перекрестился, не теряя достоинства, то есть помахал пальцами между подбородком и животом.

Всю дорогу представлял себе Миша, как лихо проедет по селу и все скажут: «Вон камышинский помещик». Но больше всего хотелось ему, чтобы так воскликнула дочь земского начальника: о ней Миша много думал, лежа в постели, хотя видал ее не часто.

Миша нахлестал мерина и, распугивая кур, сопровождаемый лающей собакой, подкатил по площади к крыльцу Павала-Шимковского и скосил глаза на окно с кисейной занавеской.

Маленькая ручка приподняла занавеску. К стеклу придвинулась женская голова...

«Она,— подумал Миша и поскорее отвернулся,— а я, господи, в пыли, и нос, наверное, не чист...»

Ворота отворил мальчик в валенках, и, бросив ему вожжи, Миша взошел на крыльцо, где, склонив головы в круг, что-то рассматривали крестьяне.

— Пропусти-ка, милейший,— важно сказал Миша, указательным пальцем нажав плечо загораживавшему дорогу мужику.

Мужик оглянулся, посторонился и сказал:

— Да ты прочти, Сизов...

— Я неграмотный; я отдал ей платежных шестнадцать рублей, получил фитанец.

— Вот, барин, прочитайте, мы тут не разберем,— обратился к Мише тот же мужик.

— Сомневаемся мы,— сказал Назар громко.

Миша брезгливо, так же как тогда в хлеву, улыбнулся и поднес к близоруким глазам клочок бумаги.

— «Получила от Петра Терентьева Карнаушкина Сизова долг шестнадцать рублей, Екатерина»,— прочел он.

— Правильно,— кивая радостно головой и улыбаясь, сказал Сизов,— это я самый...

Степка выкрикнул следующего недоимщика, а Миша, отерев лицо, вошел в дом за мальчиком, который сказал:

— Не сюда, направо, в гостиную пожалуйте.

3

Войдя в длинную, с лопнувшими коричневыми обоями комнату, где вдоль одной стены стояли венские стулья, у другой — ломберный стол и лампа, накрытая вязаным колпачком, где засиженные окна были полны мух, Миша обернулся и поклонился сидящему в высоком кресле у стола сутулому старику.

На старике был надет серый капот, продранный на локтях, на шее красный платок. Когда он обернул к вошедшему узкое, давно не бритое, с крючковатым носом лицо, Миша еще раз поклонился, оробев от пристальных, устремленных на него, зеленых глаз.

— Что надо? — спросил старик шепотом.

— Мамаша прислала вам пару поросят... Лизавета Ивановна...

— Поросят,— прошептал старик Павала, и глупая улыбка растянула присохшие к беззубым деснам его губы,— Лизавета Ивановна, помню, помню и люблю вашу мамашу, садитесь, молодой человек.

Тощей рукой Павала запахнул халат и указал Мише на стул...

— А я кашку ем,— продолжал он, еще раз запахиваясь,— устаю от дел...

Придав глазам строгое выражение, Павала пододвинул к себе синюю кастрюльку и стал ложкой размешивать манную кашку.

— Хитрая штука хорошо сварить кашку,— продолжал он,— одна Катенька моя только и умеет. Нужно, чтобы кашка была не слишком густа и не слишком жидкая, молоко нужно сначала хорошенько истопить, да чтоб оно не подгорело, а изюм мочить всю ночь в мадере...

Павала положил в рот ложку каши и, закрыв глаза, начал часто пережевывать ее беззубым ртом, причем конец сухого его носа тоже двигался.

Миша так засмотрелся на Павалу, что из угла губы пустил слюну, подхлебнул, покраснев, а старик открыл глаза и проговорил:

— Вашей матушки дело у меня есть, тяжба с мужиками... разберем, разберем... Я, молодой человек, старого закала, я мужика знаю, он всегда виноват. Вор он, пьяница, в церковь не ходит, жалуется, что попы плохи... А сами друг у дружки снопы воруют. А помещицу Чембулатову сожгли и лошадям ее ноги перебили...

Павала, не в силах громко говорить, захрипел и, выкатив глаза, стал дергать шейный платок.

— Папаша, нельзя волноваться! — проговорила, входя, Катенька и улыбнулась Мише.

Он поднялся. Девушка протянула ему пухлую маленькую руку:

— Я вас в окно увидала... Давно у нас не были.

Нагнувшись к Мишиному уху, словно близко знакомая, она шепнула, повела выпуклыми своими, блестящими глазами на отца:

— Не волнуйте его...

— Лизаветы Ивановны сынок,— сказал Павала-Шимковский,— как вас зовут-то?

— Миша,— подсказал Миша и тотчас добавил: — Михаил-с.

За стеной в это время послышались голоса, и Катенька поспешно подошла к двери, прихрамывая. От

этого еще милее показалась она Мише. Павала же, повернувшись на шум, заорал, к изумлению Миши, басом:

— Гони их к черту, Катя! Алешка!

Голоса за дверью усиливались, и слышно было, как кричал Назар:

— Разве это порядки! Мы деньги платим, а она нам фитанец не выдает... Разве это фитанец? Цигарку свернуть...

— Дурак,— сказала Катенька тихо.— Куда же это старшина провалился?

Внезапно шум затих, и густой, спокойный голос вразумительно произнес:

— Чего шумите... шумите-то с чего? Какой фитанец, покажи?.. Самый истинный... А зачем тебе печать? Да ты за грудь не хватай! Эй! десятники!..

Возня и шум усиливались. Затем мужики затопали ногами, расходясь,— громко бранились.

В комнату вошел, без шапки, кланяясь, коренастый мужик с черной бородой, в синем кафтане, с глазами чистыми, как цвет воды,— старшина Евдоким Лаптев.

— Здравия желаем,— сказал старшина, провел широкой рукой по бороде и усам, словно прогоняя улыбку, и крепко стал на коренастых ногах.

— Бунтует общество...— сказал он, не в силах, наконец, сдержать улыбки.

Павала, подняв голову, прищурился; Евдоким продолжал:

— По ихнему расчету, приходится податей по девяти рублей, да недоимок три, а начальник, мол, требует шестнадцать. Что с ними поделаешь... Я говорил, что начальство лучше их знает... Да еще в фитанцах сомневаются...

— Бунт...— прошептал Павала, багровея так, что на лбу налились жилы.— Бунтовать!.. За стражниками послать...

Он подпрыгнул в кресле, протянул над столом костлявые руки. Потом вдруг сел, успокоился и посмотрел на кашку.

Евдоким вздохнул:

— Слушаю-с...

Катенька, прихрамывая, подошла к Мише, тронула его за руку и улыбнулась опять, еще слаще:

— Пройдемте в сад, папа о делах будет говорить.

То, что Катенька называла садом, был огород, где рос крыжовник и малина и около плетня раскинула плакучие ветви старая ветла.

Миша, глядя на Катенькину округлую спину, потряхивающуюся на ходу и припадающую чуть-чуть, в розовом с бантиками платье, краснел и бледнел от волнения, вытирал украдкой пот с лица. Проходя мимо своей тележки, он вытряхнул из мешка завизжавших поросят. Катенька обернулась с улыбкой. Наклонила набок голову, сказала «merci» и отворила калитку в огород.

— У нас много будет крыжовника этим летом,— сказала она, пристально глядя на ветлу,— а у вас есть крыжовник? — И, гневно стиснув брови, топнула ногой.

— Да, маменька любит крыжовник,— ответил Миша, с изумлением глядя туда же, куда глядела девушка.

Под ветлой, лицом к плетню и голому выгону, сидел, подперев обе щеки кулаками, Алексей; грудь его вздрагивала и по впалым щекам текли слезы.

— Алеша,— позвала Катенька,— ты опять?

Алексей вздрогнул, но не обернулся; обтерев ладонями глаза и щеки, он сказал тонким голосом:

— Скучно мне очень, надоело...

Катенька усмехнулась. Поправляя на полной груди низко вырезанный ворот, объяснила Мише:

— Больной он, пить ему ни капли нельзя давать. Вот и плачет от скуки...

— Поле какое голое,— продолжал Алексей,— ничего нет интересного.

— Поди насчет чая похлопочи,— перебила его Катенька и, взяв Мишу за руку, повела в глубь огорода, где в густой лебеде стояла скамья.

— У нас в Марьевке огород да поле,— защебетала девушка, близко садясь около Миши,— а весело только во время ярмарки... Вот вы счастливый, у вас все есть, к соседям можно ездить, а нас никто не приглашает...

— Приезжайте к нам... Непременно... Ну, пожалуйста,— сказал Миша, покраснел и, вспомнив о Лизавете Ивановне, решил: «Пусть ругается, что же, не могу я, в самом деле, гостей угощать?»

— А я приеду,— близко наклонясь и глядя в глаза, протянула Катенька.— Вы рады будете?

— Я-то... конечно...

Катенька заморгала ресницами и, грустно склонив голову, коснулась ею Мишиного плеча.

— Любить как хочется, Михайло Михайлович.

Миша тотчас же вспотел, с ужасом и восторгом глядя на близкую от его губ белую щеку с мушкой... Грудь девушки часто поднималась. От нее пахло теплой прелестью.

«Вот оно,— подумал Миша, словно проваливаясь,— дождался...»

Катенька медленно подняла веки затуманенных своих серых глаз, полураскрыла рот, придвинулась и, внезапно оттолкнув Мишу, проговорила глухим голосом:

— Что я делаю, вы бог знает за кого меня примете...

А Миша только растерянно улыбался и мял Катенькину руку в потных ладонях...

— Довольно! — Катенька встала, поправляя волосы, оглянулась на калитку и, вдруг взяв Мишу за плечи, с невыразимой нежностью сказала: — Милый мой! — громко поцеловала в щеку, оттолкнула его и побежала...

— Послушайте! послушайте! — завопил Миша, ослепнув и хватая ускользающую со смехом Катеньку...

Он прикладывал руки к груди, и толстое лицо его расплылось, как у поросенка, нащупавшего, наконец, губами родимую грудь.

4

Катенька как будто рассердилась на высказанные Мише чувства и стояла, обрывая цветок; рябая девка отворила калитку огорода, почесала волосы под платком и сказала:

— Идите чай хлебать!

Катенька обернулась, сорвала ягоду крыжовника,

воскликнула: «Ах, какое гнездышко в крыжовнике», раздвинула ветки и, оцарапав палец, поднесла его ко рту.

Миша взял ее за этот палец, потянул, что-то бормоча; она ударила его веткой, и он, блаженно улыбаясь, пошел за нею в дом. Сели за чайный стол.

Поцелуй был, как солнце, сразу осветивший все вокруг, и, как солнце, была сама Катенька, розовая и нежная. Она предлагала то чай, то варенье... Усмехалась. А родинка, родинка!..

Вечером Миша уехал и долго оглядывался на милый дом Павалы-Шимковского и на крыльцо, где махала Катенька носовым платком.

В поле, среди зеленых хлебов, Мишу застала звездная ночь и крики невидимых перепелов.

Не шибко, похрапывая, бежала лошадь; Миша, запрокинувшись, глядел на небо. Радость кружила голову, он шептал:

— Господи, как хорошо!

Катенька со всеми своими бантиками, полными ручками, с мушкой на щеке, представлялась как сон, и только выпуклые глаза ее глядели отовсюду — между звезд, из темных зеленей, из-под покачивающейся над горизонтом дуги бегущего коня.

— Катенька, Катенька...— шептал Миша и вдруг запел диким голосом на всю степь какие-то несуразные слова.

И так пел, улыбался и плакал, пока лошадь не завезла тележку в овраг.

— Только бы не отказала,— говорил Миша, вытаскивая из грязи задние колеса,— согласилась бы выйти за меня замуж.

«Спать пора!»— закричал перепел на горке.

«Трк...— ответил коростель из сырой лощины.— Трк...»

Миша выпрямил спину, сдвинул картуз на затылок и громко засмеялся.

— Я вас! — крикнул он птицам.— Что вы кричите?..

И тотчас же, должно быть по тону голоса, вспомнил маменьку — Лизавету Ивановну. Вспомнив маменьку, Миша перестал петь и смеяться и стал думать, что бы

такое предпринять, чтобы Лизавета Ивановна оставила его в покое и разрешила жениться.

Но, несмотря на смелость таких мыслей, приближаясь к дому, чаще вздыхал Миша, вертелся на сиденье и хотел даже повернуть обратно в степь, где так славно кричали перепела, но лошадь внезапно быстро побежала, остановилась у крыльца, и вот из окна, высунувшись, проговорила Лизавета Ивановна охальным своим голосом:

— Опять заблудился, дуралей... отпусти тебя одного...

— Маменька,— превозмогая себя, сказал Миша и вошел в комнату,— маменька, я в последний раз вам повторяю...

Тут он остановился, взглянул на круглую, маленькую маменьку, в ночной кофте и белом на голове чепце, концы которого, торча в виде рогов, покачивались на стене огромной тенью, и подался несколько к двери.

— Маменька,— повторил он в третий раз, махнул рукой и ушел в спальню.

5

Катенька, проводив Мишу, убирала со стола, швыряла чайными ложками.

— Идите-ка спать, будет вам глаза пялить,— сказала она отцу,— надоели.

Павала робко снял руки со стола и прошептал:

— Я уйду, Катенька, зачем же сердиться...

Глаза его, потеряв с уходом Миши всю строгость, робко помаргивали.

— А затем,— крикнула Катенька,— что мешаете! Вон под столом нагадили... рот у вас оглоблей, есть — и то разучились.

— Уйду, сейчас уйду...— Павала встал, опираясь на палку и горбясь.— А где, Катенька, поросеночки, что этот милый молодой человек привез?

Катенька только фыркнула и понесла чашки в буфет.

Павала поплелся к себе, но дочь у двери схватила его за руку и дернула так, что он едва не упал...

— Не сюда! — крикнула Катенька.— Мученье с ва-

ми... В Алешкину комнату идите спать, у меня гости сегодня...

Павала, улыбаясь, закивал головой, делая вид, что все понял и одобряет. Затворяя за собой дверь, он обернулся и, заметив, что Катенька его не видит, показал ей язык.

Катенька поправляла волосы перед зеркалом. Этот розовый Миша, свежий, как огурец, взволновал с трудом сдерживаемые ею чувства. Каждый месяц (особенно сильно это было весной) Катенька бунтовала и искала удовлетворения, насколько это было возможно в деревенской глуши. Потом наступал упадок, раскаяние, и с тупой злобой мучила девушка отца и брата...

— Глупый поросенок,— прошептала Катенька, самой себе улыбаясь в зеркало,— туда же с любовью полез. Погоди у меня, оберну тебя вокруг пальца, буду камышинская...

Катенька дернула выбившийся локон, посмотрела на мушку, на алые губы, на вырез платья и позвала сначала не громко, потом гневно:

— Алеша, Алексей...

Алексей вошел с коробкой гильз, которые набивал, затыкая бумажкой от обертки...

— Сбегай, Алеша, за вином и за этим,— быстро проговорила Катенька, замялась и, рассердившись совсем, добавила: — Ну, знаешь за кем,— старшиной. Сил больше нет моих... Скорее...

Она села на стул у стены, странным взором потемневших глаз глядя на Алексея, губы которого скривились с одного бока не то усмешкой, не то болью.

— Ты же обещала, Катя, что больше не будет этого,— сказал он, не в силах сдержать трясущуюся в руках коробку с папиросами,— помнишь обещание?

— Ах,— ответила Катенька, быстро охватив колено,— разве я что могу... Все же Евдоким лучше, чем никто...

Она сказала это шепотом и усмехнулась бесстыдно и жалобно, словно грубостью желая прикрыть, не тревожить больного места.

Щеки Алексея вспыхнули, но сестра гневно топнула:

— Иди же, что стоишь!

Чтобы не видно было с улицы, ставни затворили и зажгли одну лампадку, скудно освещавшую стол. На нем стояла водка, пиво, огурцы и конфеты в бумажках.

Евдоким Лаптев сидел без поддевки, подливал себе пиво в стакан, потряхивал кудрями, усмехался, скаля белые зубы.

Алексей тихо играл на гитаре, сидя в отдалении, и пил, ничем не закусывая, водку из чайной чашки. Катенька, положив на колени Евдокиму ноги, смеялась плачущим смехом каждому слову бородатого мужика...

— Ах ты, барышня,— говорил Евдоким,— большой я до тебя, барышня, любитель...

— Еще бы, губа не дура.

— А чем я хуже других? Играй, Алеша...

Евдоким Лаптев, хотя и понимал, что не к добру ведут эти пирушки, и мужицким своим умом осуждал их и прежде всего Катеньку, но, обязанный по долгу службы, притворялся более пьяным, чем был, и разгульным.

— Платье расстегни, Катя,— заплетаясь, говорил Евдоким,— желаю вас посмотреть.

— Чего захотел, сам расстегни!.. Ай, облапил, разорвешь...

Евдоким разрывал петли на кофточке. Катенька отбивалась и льнула. Алексей изо всей силы дергал струны гитары...

— У тебя нога деревянная,— бормотал Евдоким,— обман! На что мне деревянная нога?

— Молчи,— крикнула Катенька,— она не деревянная, дурак, что ты понимаешь.

Евдоким, схватив девушку в охапку, целовал ее в горло, зарывался бородой.

— А по мне хоть деревянная.

— Уйди, Алеша,— вдруг, почти задыхаясь, проговорила Катенька...

Алексей бросил гитару на диван и, повернувшись к стене, судорожно всхлипнул.

В это время громко ударили в ставню, за окном загудели голоса. Послышались шаги в сенях...

Евдоким вскочил, ища поддевку. Катенька, придерживая кофту, подбежала к двери... Грубым голосом крикнула:

— Кто здесь?..

Вместо ответа дверь дернули, крючок соскочил, и из темноты сеней просунулась лохматая, злая голова Назара...

— Здесь они,— сказал Назар...

За ним, возбужденные, тесня друг друга, двинулись в комнату мужики...

6

Миша, войдя в свою комнату, поставил свечу и, подперев щеку ладонью, сел на диванчик, на котором обычно спал под шубой даже в летнее время.

В узкой комнате, с единственным окном в сад, пели комары. На подсвечнике тонко жужжала муха, опалив крылья об огонь.

Миша стал жалеть себя и громко вздыхал, стараясь поддерживать возникшие при встрече с маменькой черные мысли.

— Пусть, пусть,— повторял он, теперь уже позабыв, что́ «пусть», а в голову лезли сладкие воспоминания.

Припоминался весь сегодняшний день, и образ Катеньки, еще более прекрасный и туманный, выглянул из темного угла.

— Катя, Катюрочка,— проговорил Миша громко и до слез умилился, лег на диван, прикрылся тулупом.

Продолжая думать о сладком, вспомнил Миша одну ночь, когда не мог заснуть на этом диванчике, зная, что на дворе, в угольном сарае, спит девушка (имени ее он теперь не помнил) с голубыми глазами. Миша ворочался тогда под шубой, глядел на серый квадрат окна и распалялся, хоть не живи. Сознательно в первый раз решил он тогда обмануть маменьку — утаить, что хочет сделать, и вылез в окно. Девушку он увидал сразу — спала она между двух баб, слегка всхрапывая во сне. Нагнувшись, Миша различил тоненькую ее руку, положенную на грудь, и вытянутую ногу в шерстяном чулке и лапте... Еще раз превозмогая стыд, приподнял Миша платье и хотел поцеловать белую ногу выше мочалки, подвязанной под коленом, но локтем задел соседнюю бабу. Баба заворочалась. Девушка вздохнула и подо-

брала ноги... Миша в страхе прижался к земляному полу.

— Кто тут? — спросила баба громко.— Ах ты бесстыдник, вот маменьке пожалуюсь...

Миша выполз на волю и долго кружил около каретника, забредая в канавку и все думая о мочалке...

Потом, на следующий день, сорвал дыню и понес той девушке на работу.

Увидав рядом с ней вчерашнюю бабу, сел поодаль и, глядя в сторону, стал дыню есть. Тогда явился конюх Василий и сказал, что за эту самую дыню покажет Мише фокус — протащит сквозь щеку иглу с ниткой. Миша не поверил. Конюх Василий вынул из картуза иглу с черной ниткой и начал изнутри прокалывать щеку. Игла шла туго, и Миша морщился, потом Василий все-таки проткнул и, захватив конец пальцами, протащил иглу и нитку. На щеке осталось черное пятнышко. Съев дыню, Василий стал рассказывать такие штуки про девушку с мочалкой, что Миша убежал, расплакался.

— Трус,— теперь ругал себя Миша,— постоянно упускал случаи. Когда Катенька меня поцеловала — нужно было решительно поступить. Эх!

Это было настолько очевидно, что Миша приподнялся, замычав от боли. Потом опять повернулся, лег на спину, продолжал думать.

Мысли бежали, бежали, бежали, но, добежав до маменьки Лизаветы Ивановны, спутались, и получилась каша — черт знает что...

— Маменька, маменька! — повторил Миша.— Вот поеду завтра в Марьевку и сделаю предложение. Хочу жениться — и все тут... Я в расцвете лет.

Миша не помнил — долго ли пролежал так, думая и вздыхая. Проснулся он в восемь часов и глядел на обои, пока не вошла Лизавета Ивановна и сразу дребезжащим голосом проговорила:

— Спишь все, лентяй... и так тебя низ перетягивает.

— Какой там низ, маменька! — сказал Миша отчаянным голосом.— Ничего такого нет... я не позволю!

— Что?

— Мамаша,— продолжал Миша, натягивая на себя

шубу и все более утверждаясь в самостоятельности,— мамаша, я жениться хочу!

И, не давая маменьке опомниться, окончил:

— Все равно — убегу, женюсь.

— На ком же, дурень, женишься? — удивясь, с любопытством спросила Лизавета Ивановна.

— На Катерине Павала-Шимковской. Вчера я предложение сделал.

— На потаскушке!.. Да ты с ума сошел! — Лизавета Ивановна всплеснула короткими ручками и вдруг засмеялась, трепыхаясь всем телом.— Одурел, одурел! Пойду в кухню, расскажу...

— Индюшка! — прошептал Миша.— Ах, Катенька, душа моя, если бы ты знала!

Он проворно выскочил из-под шубы, надел покойного папеньки сюртук, розовый галстук, часы и, обернув шляпу платком, чтобы не запылилась, пошел, топая ногами, на конюшню.

По пути он слышал из кухни захлебывающийся голос маменьки и визгливый смех кухарки Марфы. Но Миша не обратил на это внимания: мысли его были далеко, белые брови решительно сдвинуты,— страсть закалила сердце за эту ночь.

Гнедой мерин, добежав до косогора, откуда стали видны соломенные крыши Марьевки, колодцы, деревья на огородах и белый корабль церкви, пошел шагом, поводил боками.

От села в унылую степь шли тощие телеграфные столбы с подпорками,— словно от усталости выставили подпорки. У перекрестка дорог, в ямах, росли кусты шиповника.

Рассказывали, что здесь стояла когда-то усадьба, но помещика убил его же кучер. Привязал к конскому хвосту и пустил в степь...

Проезжая мимо ям, Миша остановил коня: навстречу ему, раздвигая ветки шиповника, поднялся человек.

Поднявшийся взмахнул руками и присел, словно от безмерного отчаяния. Миша по шляпе и рубахе узнал Алексея.

— Остановитесь,— дребезжаще закричал Алексей,— туда нельзя ехать. Боже мой, боже мой, что-то будет...

Он схватился за голову. Миша испуганно спросил:

— Что случилось?

— Я убежал.... Сестру и старшину Евдокима связали, посадили в мирской амбар. Живы ли, не знаю... Что с папашей — тоже не знаю.

Миша похолодел, затем ударило его в пот. Алексей вдруг опять замахал руками и полез в кусты.

По дороге от Марьевки поднималась телега с двумя мужиками. Миша сейчас же поворотил лошадь, стал хлестать ее. Колеса запрыгали по целине. Но телега с мужиками удалялась спокойно. Мише стало совестно.

«Что делать? Как ее спасти? Что сделаю один? — в волнении думал Миша.— Трус трус,— тотчас же повторял он,— а еще жениться хочешь...»

Незаметно натягивая правую вожжу, описал Миша большой круг по целине, и испугался и обрадовался, увидав себя на прежней дороге, лицом к селу. Привстал в тележке. Село казалось мирным. Белела церковь.

— Э! — воскликнул Миша.— Спасу!

Ударил лошадь кнутом и быстро покатил под горку.

Не доезжая церковной площади, у мирского амбара увидал он сильно шумевших мужиков. Мальчишки, чтобы лучше видеть, повлезали на крыши и ворота.

Мужики стояли кругом, мешая проезду. Миша крепко сжал в руке кнут, сказал: «Эй, борода, посторонись-ка!» — но голос его потонул в общем шуме, а близстоящий крестьянин поставил ногу на подножку тележки и, глядя в глаза веселыми, подвыпившими глазами, проговорил:

— Нет, барин, прошла ваша воля, теперь наша воля настала.

У Миши задрожали губы.

— Пусти проехать...— сказал он.

— Что же, я тебя не держу. Да ты не к земскому ли? То-то я тебя вчера видал. Эй, ребята,— обернулся мужик к толпе,— барин-то к земскому чай кушать приехал!..

Стоящие около тележки громко засмеялись, а веселый мужик продолжал:

— С земским мы, милый, пошабашили, ищи другого... А дочка его с милым другом в амбаре спит...

Опять захохотали мужики. Миша, выдернув вожжи, закричал пронзительно: «Пустите меня!» Голос его был визгливый и отчаянный, внушивший добродушно смеявшимся мужикам злое желание. Многие лица нахмурились. Из тесного круга послышался охрипший голос Назара:

— Теперь, ребята, друг за дружку стоять твердо.

— Что ж,— раздались кругом голоса,— разве мы зря.

— Разве это закон — баба с нас деньги берет! А на что берет-то? На сладкое. С Евдокимом водку жрет. Веревку ей на шею да в воду — расправа короткая. Погуляла на мужицкие деньги...

Назар опять начал говорить, но в это время закричал кто-то испуганно и задыхаясь:

— Дядя Назар, дядя Назар, сейчас тятька из Утевки приехал, говорит — стражники оттуда едут...

Толпа сразу замолкла. Расталкивая локтями, продрался из круга Назар; увидев Мишу в тележке, спросил злобно:

— Тебе что здесь надо?

Миша, притихший было во время шума, жалобно улыбался. Теперь же вдруг покраснел от злости и, хлестнув кнутовищем по козлам, закричал:

— Бунтовщики, сию минуту пропусти... Знаешь, кто я?

— Полегче,— тихо сказал Назар.

— Сию минуту освободить барышню. Иначе... стражники... стражниками тебя...

Мотая головой и губами, захлебнулся Миша слюной. Назар вытянулся и крикнул так, что все слышали:

— Ребята, камышинский барин за стражниками послал, этот самый,— и указал на Мишу...

Толпа вздохнула. Возвышаясь над всеми головами, вчерашний красавец Сизов налег плечом на мужиков, подошел к тележке и левой рукой взял Мишу за грудь... Мокрые волосы падали Сизову на медно-крас-

ное лицо, из открытого рта пахло вином. Миша забился, затих ненадолго, тонко закричал, как заяц, и ногтями стал отдирать руку Сизова. Закинув голову, закусил губы... Мужики, выгянув шеи, молча глядели. Назар, взявшись за железо тележки, насупившись, смотрел Мише в лицо. Сизов, как бы примериваясь, встряхнул Мишу на левой руке, отвел правую, долго стискивая мозолистые, черные пальцы. Вскрикнув вдруг не своим голосом, сухо ударил Мишу в переносье.

Миша мотнул головой, лошадь дернула, и множество рук потянулось, вытащило из тележки и смяло тело.

— Девку, девку давай сюда! — закричал народ...

Пихаясь, хлынула толпа к амбару, открыла дверь. На мгновение поднялась и канула вниз оттуда черная, с разинутым ртом, голова Евдокима Лаптева...

Согнув в розовой рубашке спину, первым вскочил в амбар Сизов. В узкой и темной двери теснились мужики... Покрывая все голоса, вылетел из амбара долгий, острый женский вопль.

Старуха, гонявшая ребят хворостиной, перекрестилась:

— Задавили рабу божью.

По площади к толпе, подобрав полы капота, бежал без шляпы, гримасничал и спотыкался старый седой Павала...

Лизавета Ивановна похоронила Мишу в саду и до зимы лежала больная. Земский врач к ноябрю поставил ее на ноги, и кухарка Марфа по вечерам опять ходила спрашивать: «Каки каклеты варить на завтра?»

Лизавета Ивановна, подперев щеку ладонью, по целым дням сидела у окна за рабочим столиком. На вопросы Марфы отвечала:

— Да все равно, Марфуша, готовь что-нибудь... Ведь... ведь...

Губы Лизаветы Ивановны начинали дергаться, слезы повисали на ресницах, и Марфуша, громко взды-

хая, уходила на кухню, чтобы отвести душу в заунывной песне, слов которой она не понимала.

Однажды вечером залаяли собаки. В сенях послышался топот промерзших валенок и голоса.

Лизавета Ивановна, как в лихорадке, задрожала всем телом. Марфа побежала отворять. В коридор вошел запорошенный снегом Алексей, поддерживая под руки отца. Голова Павалы была обвязана пуховым платком...

Увидев гостей, Лизавета Ивановна громко зарыдала, замахала руками.

— Мы с папашей обогреться хотели,— сказал Алексей,— папашу со службы уволили, мы на родину едем, а лошадка у нас одна...

Тогда Лизавета Ивановна обняла старика Павалу, прижала Алексея к своей груди и повела в столовую, где кипел самовар, а за окнами выла вьюга, и старый дом дрожал под ветром.

— Покушайте, покушайте,— говорила Лизавета Ивановна,— вы бездомные, а мне жить незачем... Оскудели мы...

Павала голодными глазами глядел на масло. Алеша молча сидел в тени, щеки его совсем вытянулись и глаза стали огромны. Лизавета Ивановна проговорила трясущимися губами:

— Вот как мы с вами сосватали дочку вашу с моим... дуралеем...

Павала перевел глаза с масла на чайное полотенце, которым Лизавета Ивановна вытирала глаза, и сказал вдруг, беззубо улыбнувшись:

— А помните, как он мне поросеночка привез?

КАЗАЦКИЙ ШТОС

Наш городок был взволнован, как лужа в грозу, ночным приключением у штабс-капитана Абрамова; с утра в управлении чиновники облепили стол столоначальника Храпова, которому всегда и все известно; офицеры в собрании пыхали друг на друга папиросками и выпили сгоряча у буфетчика всю содовую; а барышни с ямочками на локтях (наш городок издавна славился такими ямочками) умирали от любопытства и смотрели сквозь тюлевые занавески на улицу в надежде — не пройдет ли мимо неожиданный и страшный герой.

А на улице медленно падал, со вчерашнего еще дня, первый снег, садясь на соседние крыши, за решетки палисадников, а на столбах ворот и на подоконниках лежали из него белые подушки, в которые приятно опустить пальцы, вынув их из теплой варежки на мороз.

И повсюду и в комнате гостиницы «Якорь», где остановился Потап Алексеевич Образцов, был тот же ясный и прохладный свет.

Потап Алексеевич, лежа в помятой рубашке на кровати за ширмой, курил крепкие папиросы и морщился, говоря с досадой:

— Фу, как это все неловко вышло... не офицеры здесь, а бог знает кто. Я давно говорил: запасный офицер, будь он хоть сам полковник, карту в руки взять

не умеет и больше все лезет в лицо. А я тоже хорош — с первого раза закатил им казацкий штос... Нет, нет, сегодня же марш отсюда...

Потапу и не хотелось вставать и было скучно одному в номере; свесив с кровати голову, он поднял сапог и бросил его в дверь, призывая этим полового. Половой тотчас вошел, накинув для уважения поверх тиковых штанов и косоворотки фрак с продранным локтем.

— Что это у тебя, братец, прыщи на носу? — сказал Потап, с отвращением глядя на полового.

— Бог дал-с,— ответил тот и почесал босой ногой ногу, приготовляясь этим к долгому разговору.

— А что, меня еще никто не спрашивал?

— Да заходил офицерик один, обещался еще наведаться.

— Что ему нужно? — воскликнул Потап, скидывая на зашарканный коврик полные ноги. Половой живо подскочил и натянул на них панталоны со штрипками. Потап встал у зеркала и конской щеткой стал расчесывать львиные свои кудри с проседью и русую бороду на две стороны, подбородок же был гол, то есть с пролысинкой.

— А что, офицер сердитый приходил? — спросил Потап сквозь зубы.

— Нет, не сердитый. Офицерик маленький, зовут Пряник.

Тогда Потап сел на диванчик и выпустил воздух из надутых щек; да и было отчего.

Вчера вечером (Потап заехал в наш городок на днях) у штабс-капитана Абрамова устроили в честь приезжего гостя банчок. Ночью, часу в пятом, когда оплывшие свечи были усажены снизу, как ежи, окурками, когда молодой офицер уже лил вино на расстегнутый мундир, когда старые капитаны отмахивались только от табачного дыма, лежа на оттоманке, а пьяный денщик силился, сидя у двери на полу, раскупорить бутылку, тогда Потап Образцов вдруг предложил казацкий штос.

Все очень удивились, ответив, что такой игры в полку не знают. Потап приказал денщику подать пунш

и, когда все его выпили, встал и объяснил примером.

Наметив около банкомета пачку кредитных денег, вдруг дунул на свечи, левой рукой схватил штабс-капитана за воротник, правой — кредитки и, как из пушки, крикнул:

— Штос!

В темноте офицеры полезли друг на дружку, прапорщик Бамбук выстрелил даже. Потапа у самой двери схватили за ноги, отняли деньги, помяли, и вообще вышло совсем не то, не по-товарищески и противно законам игры.

— Теперь всего можно ожидать,— сказал, наконец, Потап, поджав под диванчик ногу.— В сущности, что есть нравственность? — выдумка дам и разночинцев, а мы выше мещанских понятий. Нужно только уметь уважать себя.

Так рассуждал Потап, любя иногда отвлеченные мысли, а за дверью офицер тихонько позвякивал шпорой.

— Звенят,— сказал половой, которому надоело торчать перед Потапом,— впустить, что ли?

Потап поднялся, сказал: «Проси», и шагнул к двери, в которую пролез маленький, розовый, с черными усиками офицер, по прозванию Пряник.

Потап раскрыл руки и притиснул офицера к себе, целуя в щеки. Пряник же, встав на цыпочки, поцеловал Потапа в губы.

— Я пришел-с,— сказал офицер, заикаясь,— с покорнейшей просьбой — объяснить мне игру в штос.

— Ого-го, батенька, это серьезная игра. А, кстати, офицеры не собираются меня бить?

— Что вы, да все от вас без ума.

— Ну,— сказал Потап,— уж и без ума... Вы все славные ребята; мы еще перекинемся. А сведите-ка меня, покажите ваших дам; кстати, вчера я видел мельком прехорошенькую бабенку.

— Боже мой, это была Наденька Храпова. Я весь в поту, когда думаю о ней.

Пряник действительно, ослабев, сел на стул. А Потап принялся громко смеяться.

Наденька Храпова каталась в это время на катке, куда Потап и Пряник пошли вдоль Дворянской улицы, причем Пряник припрыгивал на ходу. Потап же, надев цилиндр набекрень, распахнул волчью шубу и разрумянился, поводя выпуклыми глазами. Навстречу через улицу перебежал чиновник в башлыке, с ужасом глянул в лицо Потапу и, пропуская его, прижался к стене, втянув живот.

— Удивляются вам очень,— сказал Пряник вкрадчиво,— вы ужасная знаменитость.

— Ну уж и знаменитость,— сказал Потап.

А Пряник просунул руку Потапу под локоть и строго взглянул на барышень, которые, хихикая, скользили по снегу противоположного тротуара. Гимназисты, чиновники, мещанки с подсолнухами — все шли на каток и все оглядывались на Потапа. Вдоль улицы, разметая снег, летел полицеймейстер на отлетной паре. Увидев Образцова, он приложил два пальца к шапке, и воловий затылок его покраснел от удовольствия.

На катке было черно от народа; играла духовая музыка, и всем известный пиротехник Буров ставил шесты и привязывал колеса для сегодняшнего фейерверка.

К Образцову тотчас подошли офицеры, и штабс-капитан Абрамов с лиловым носом, хохоча, обнял его при всех, говоря громко, как труба:

— Ну, Образцов, даешь ответный банк?

Офицеры замолчали; подошли штатские в калошах, какой-то парень плевал семечками на спину Прянику и вытирал пальцем нос. Образцов сказал громко:

— Даю ответный, прошу сегодня ко мне всех.

— А мы тебя штосом,— захохотал штабс-капитан, но все продолжали молчать, удивленные смелости Образцова.

Потап только сейчас сообразил, как в руку ему сыграла вчерашняя выходка; намерения его были огромны, и недаром звал себя артистом Потап Образцов: он умел создавать события и потом пользоваться ими, оставаясь всегда отставным гусаром в душе.

Сегодняшний день был словно бокалом шампанского натощак, и в ясной голове Потапа возник необычайный план.

— Господа,— сказал Потап офицерам,— я вас покидаю для пары хорошеньких глаз,— и тотчас отошел, крепко держа Пряника. Пряник сначала шел спокойно, потом заволновался, перегнулся через перила и зашептал:

— Вон она, Наденька, боже мой, она одна только и есть на катке.

Действительно, Наденька, клонясь то вправо, то влево, скользила вдалеке по льду, придерживая иногда заячьей муфтой меховую шапку.

Увидев Пряника и Потапа, Наденька круто завернула и села около мужа на скамейку, опустив глаза; не подняла Наденька глаз, когда Пряник представлял ей Образцова и когда Потап тайно вдруг и быстро сжал ее маленькую руку в белой перчатке, а только вспыхнула еще ярче и, вместо ответа, унеслась по льду, тоненькая, как девочка, в узком платье и мехах.

А столоначальник Храпов, которому Потап наступил на башмак, задрал серую бороду кверху и проворчал, глядя через очки:

— Осторожнее бы надо.

Столоначальник был вообще гадок, и его сейчас же оставили.

А Наденька, обежав круг, прикрылась муфтой и блеснула из-за меха лукавым глазом на Потапа. Образцов перегнулся через загородку и негромко, но ясно сказал:

— Милая.

Наденька ахнула и задумалась. Опустив голову и покачиваясь, она медленно двигалась по льду; а потом сильно оттолкнулась и понеслась гигантским шагом. Пять раз обгоняла она Образцова, на шестой взглянула на него, как на солнце, и влюбилась.

— Вы страшный человек,— сказала она, остановясь у загородки и глядя из-под шелковых темных бровей.

— Я люблю вас,— сказал ей Потап. Пряник отошел, сморкаясь.

— Какие вы пустяки говорите,— прошептала Наденька, и круглое лицо ее в ямочках и родинках стало нежным.

Дальнейшему разговору помешал подошедший столоначальник. Потап только успел спросить — будет ли Наденька на катке вечером, и тотчас ушел. Пряник проводил его до гостиницы.

У себя Потап раскрыл потертый чемодан, вынул из потайного дна «верную» колоду и, развалясь, крикнул полового.

— Опять зовете,— спросил половой,— что надо?

— Вот тебе на чай, хоть ты и дурак, как я вижу.

— Никак нет,— сказал половой,— не дурак. Это вам насчет верной масти подкинуть? Я могу.

— Молодец, вот тебе еще на чай.

Половой разгладил бумажки на ладони, подмигнул и сказал:

— К нам летось тоже один жулик приезжал...

— Пошел вон! — воскликнул Потап.

Половой сейчас же выскочил, унося колоду. Потап раскрыл стол, бросил на диван медвежье одеяло, попрыскал в комнате одеколоном и раскрыл форточку, заложив руки за голову. На бороду ему и лицо сели снежинки. Потап вдохнул пряный и морозный холод и сказал:

— Потап, ты дурень, она погубит тебя. Бедная девочка. А все-таки ей нужно узнать счастье.

Офицеры пришли все сразу; за ними протеснились трое штатских в нафталиновых сюртуках и, не смея сесть, стали у печки.

Штабс-капитан упал на диван и захохотал, потирая руки. Потап сел напротив, и его тяжелое, в бакенбардах, лицо с орлиным носом словно повисло меж двух свечей.

Офицеры обступили стол, Пряник сжимал в руке мокрую кредитку.

Образцов вынул дорогую табачницу, закурил, пуская дым сквозь усы, положил гладкий портсигар перед собой и, постучав по столу, крикнул половому,

чтобы принес карты. Потом с треском разломил колоду и, опустив глаза, сказал:

— Прошу, игра начата, в банке тысяча.

Диван затрещал под штабс-капитаном.

— Половина,— сказал он с трудом.

Штатские отошли от печки и нагнулись над свечами.

— Дана,— спокойно ответил Образцов во время молчания, когда слышался только шелест карт.

Так началась игра. Ловкие руки Потапа словно летали над столом, разбрасывая «верные» карты, и, отдав первые ставки, он стал брать, складывая деньги под табачницу. Лицо Потапа точно окаменело, и, словно освещая его, поднимал он иногда злые, серые глаза.

Штабс-капитан сидел с распухшим носом и вытирался, офицеры хмурились, иные грызли усы и торопливо доставали бумажник, штатские осмеливались даже наваливаться сзади на спины. В номере с полосатыми обоями было душно и прокурено. Вдруг на улице затрещали выстрелы, и морозные узоры на окнах осветило багровым светом.

Потап выронил колоду и, поспешно встав, подошел к окну. Там, наискосок, на катке вертелись огненные колеса, трещали бураки, рассыпались фонтаны. И в этом аду бегал, с развевающимися рыжими волосами, и все поджигал сам пиротехник Буров.

Образцов быстро повернулся, обхватил вставшего подле Пряника за плечи и шепнул:

— Ради бога, ты меня любишь?

— Хочешь, я палец отрежу,— прошептал Пряник.

— Хорошо, я верю. Милый, беги сейчас на каток, скажи ей, что я люблю, надень коньки, катайся с нею, я приду.

— Образцов, что же вы,— зашумели офицеры,— мы ждем.

— Одну минуту, господа. Пряник, беги же.

Потап вернулся к столу, сдал карты, облокотился и, улыбаясь, задумался.

— Да ты, братец, раскис! — воскликнул штабс-капитан.— Не вовремя, братец.

Образцов посмотрел на него, топорща усы, потом осторожно двумя пальцами взял несколько карт, рванул, бросил под стол и сказал:

— Спросим новые, правда? Эти попачканы.

На катке в это время по темному льду, по отблескам пламени из десяти адских колес, свиваясь и легко наклоняясь, проносились, как тени, барышни и гимназисты; загородку облепил черный народ, на заборах торчали головы и скрюченные мальчишки, а на льду на скамейке столоначальник Храпов брезгливо морщился, отворачиваясь от жены.

— Я не знала, когда выходила замуж, что вы мучитель,— говорила ему Наденька, вынув из муфты платок.— Что я сделала вам плохого? Господин Образцов высшего общества, и у него манеры, а вы ко мне придираетесь. И вообще вы должны помнить, что я молодая женщина.

Столоначальник, который терпеть не мог ни катка, ни фейерверков, обиженно молчал. Наденька прикладывала к щекам платочек. Вдруг она увидела подбегающего Пряника, поднялась навстречу, подала ему руки и, взмахнув краем юбки, унеслась по льду.

— Он вас любит безумно,— сказал Пряник, задыхаясь.

— Тише,— прошептала Наденька,— за нами следят,— и углы ее нежного рта воздушно усмехнулись.

Так скользили они и кружились, то вступая в пламя фонтанов, то пропадая в тени, и все говорили об одном, торопясь и перебивая. А длинные, зыбкие тени двигались по зеркалу катка, и много было тонких, и тучных, и наклоненных вперед, и взмахивающих руками, то сцепившихся, то пишущих круги, но ни одна тень не походила на Образцова.

Наденька, наконец, примолкла и опечалилась. Пряник оглядывался на ворота. Наконец он потихоньку сжал Наденькины руки и сказал:

— Его не пускают, я уж знаю, там идет страшная игра. Наденька, если бы вы знали — он герой, честное слово.

И Пряник, сбросив коньки, побежал наискосок в гостиницу, где у подъезда стояла тройка и толстый ямщик похлопывал рукавицами.

Распахнув дверь, Пряник в табачном угаре увидел Образцова, который, сложив на груди руки и закинув голову, стоял у стенки; на него напирал штабс-капитан в расстегнутом мундире; офицеры, протягивая руки, грозились и негодовали; Бамбук, позади всех, размахивал саблей; штатские, увидев Пряника, стали объяснять, что Образцов, обыграв всех, увиливает теперь от игры...

— Пряник,— воскликнул Потап сквозь шум,— она ждет, да?

Пряник, мотнув головой, сделал страшные глаза и показал за окошко. Потап топнул ногой и крикнул:

— Хорошо, мне нет больше времени, я ставлю последний раз все деньги, прошу идти — ва-банк. Пряник, мечи, мне они не верят.

Потап бросил на стол толстую пачку денег и отвернулся к окну. Пряника подхватили, сунули колоду в руки, штабс-капитан, ломая мел, пометил карту, и Пряник стал класть направо и налево.

— Скорее,— крикнули ему.

— Бита,— ответил он шепотом. Штабс-капитан схватился за голову и сел на пол.

Тогда Потап, криво усмехаясь, повернулся от окна и сказал:

— Ну что, теперь отпустите меня?

— Нет! — заорал Бамбук. Штатские стали у дверей, а штабс-капитан простонал:

— Не пускайте его!

— Хорошо,— продолжал Потап,— тогда окончим игру, как вчера.

Он приостановился, провел по волосам и вдруг крикнул:

— Казацкий штос!

Штабс-капитан, вскочив, кинулся на стол, который затрещал и повалился вместе с ним; погасли свечи, и на обоях затанцевали тени рук и голов и красные пятна огней.

Потап в это время, выбежав с Пряником на мороз, вскочил в сани, пересек улицу и, остановив тройку у ворот катка, сказал Прянику:

— Милый, скорей, скажи ей, что я умру, если не придет.

Но из ворот в это время вышла Наденька; столоначальник сзади нес ее коньки. Наденька ахнула и прижала муфту к груди. Потап взял ее за руку, сказал: «Ваш муж один найдет домой дорогу», и потянул к себе. Наденька, слабея, ступила ногой на подножку, Потап увлек ее в сани, крикнул: «Пшел», и прозябшие кони рванулись вскачь.

Столоначальник тотчас же побежал в другую сторону за полицейским, а Пряник, до которого из морозного вихря долетели слова Потапа: «Скажи всем, что сегодня я был честный человек», долго еще стоял у ворот катка, снимая и надевая белые перчатки.

Потом уже, когда весь городок был потрясен скандалом, объяснили Прянику, что Потап был не иначе как подослан каким-нибудь графом — похитить Наденьку. Или был просто австрийский шпион. В нашем городке любят вообще создавать слухи.

КАТЕНЬКА

(Из записок офицера)

18 мая 1781 года я получил, наконец, командировку и стал поспешно готовиться в отъезд.

Привлекала меня не выгодность ремонтного дела (я был достаточно богат), а желание поскорей вырваться из Петербурга на свежий ветер степей, провести остаток мая в деревнях (где по вечерам поют на озере девушки), поспать в бричке под открытым небом, мечтая о глазах, в которые в этот день успел заглянуть; послушать на взъезжей рассказы побывальщиков... словом, я был молод и жаждал приключений.

И вот на третий день утром бричка моя, прогремев по деревянной мостовой Московской заставы, мягко понеслась мимо сосен и моховых болот торной дороги; побежали верстовые столбы навстречу, ласково покрикивал ямщик, и цветы можжевельника пахли так, что на глаза навертывались слезы.

Я же, сбросив с плеч казенную шинель, сунул ее вместе с мундиром в чемодан, надел просторный халат и, закурив трубку, стал следить полет коршунов над лесом.

Не описываю первого времени долгого пути — дни были однообразны, и каждый увеличивал радость, и сердце мое сильнее щемила грусть.

Что может быть слаще любовной печали? Есть ли в свете более желанная боль, чем мечты о той, которую

еще не видел, но чей образ, ежечасно изменяясь, прекрасный и неуловимый, то склоняется во сне к губам, то сквозит за листьями дубравы, заманивая в глушь, то всплеснется в озере, и отовсюду слышится легкий его смех.

Однажды, после полудня, я подъехал к земляной крепости, ворота которой были отворены и на чистом дворике два инвалида играли в карты, сидя на пушке, причем взятки записывали на зеленом лафете мелом.

При моем появлении оба они подняли головы, защитив глаза от солнца, а я спросил строго:

— Где комендант?

— А вон там комендант,— отвечал тот, кто был помоложе, ткнув пальцем по направлению деревянного, с воротами и забором, домика, прислоненного к крепостной стене...

В прохладных сенях, куда я вошел, на меня залаял пес, но был настолько стар, что, едва прохрипев, принялся опять ловить блоху, кусавшую его.

Не обратив на собаку внимания, я отворил дверь в комнату, обитую желтым тесом, с низким, но длинным окном; сквозь него солнечный луч играл на изразцовой лежанке, на которой сидел старый инвалид, занимаясь вязанием чулка.

Кряхтя, инвалид поднялся мне навстречу и спросил:

— Кого вам, батюшка, надобно?..

— Коменданта! — воскликнул я.

— Комендант спит,— ответил старичок,— пообедал и спать лег.

— Так разбуди его, скажи, что приехал адъютант Зарубный.

Старый инвалид, качая головой, подошел к двери и стал осторожно стучать, на что после некоторого молчания послышалось шарканье туфель и сердитый голос:

— Вот я тебя поколочу — меня будить...

— Ваше благородие,— сказал старичок, слегка отступая,— к вам приехали...

Дверь тогда отворилась, и вошел комендант, с лицом, плохо бритым, красным и четырехугольным; на

голове у него надет был коричневый колпак, а халат из тармаламы замаслен.

— Ну, что надо? — сердито сказал комендант, беря у меня подорожную.— Не могли подождать!

И, читая, он надел очки.

Но, увидев мой высокий в сравнении с ним чин, так растерялся, что уронил с носа очки и, сняв колпак, молвил:

— Сударь мой, не угодно ли присесть,— и тотчас же добавил:— Батюшка, изволили вы кушать?

В это время ямщик внес мой чемодан, и я поспешил надеть мундир, из-за отсутствия которого вышло все недоразумение, и приосанился...

Тогда бедный комендант воскликнул:

— Если так, то и я надену мундир,— и, придерживая халат, вышел.

Я же, присев на лавку у окна, принялся рассматривать гравюрные портреты генералов на стене, комендантов орден, лежащий вместе с парадной треуголкой и париком под стеклянной крышкой, и не заметил поэтому, как отворилась третья в комнате дверь и женский голос произнес:

— Ах, посторонний мужчина.

Оглянувшись, все же я успел рассмотреть, пока захлопывались половинки, розовый подол платья, из-под которого выглядывала ножка в белом чулке, и нежную руку, поднесенную к груди; лицо же было скрыто от меня темными локонами...

Сердце мое слегка билось; вошедший комендант попросил откушать.

Мундир на коменданте был смят, узок, чрезвычайно пахнул листовым табаком, и высокий воротник врезывался в багровую его шею.

Во все время обеда комендант посматривал на дверь и сопел носом, как мне показалось, тайно беспокоясь...

Когда же я спросил, кто та дама в розовом, испугавшаяся меня, он уронил стакан и, откинувшись на спинку стула, испуганно выпучил глаза, а туго затянутая салфетка, торча за его затылком двумя ушами, увеличила сходство коменданта с ослом...

— У нас, сударь, нет никакой дамы,— произнес он, заикаясь.

Я понял, что комендант лжет, но пока не настаивал, хотя любопытство мое было разожжено.

После обеда я лег в полутемной комнате коменданта на кожаный диван и, расстегнув мундир, слушал утомительное жужжание мух и скрип сверчка; но, когда веки смежились, сквозь дремоту услышал я негромкие голоса из столовой.

— Вот этого-то и нельзя,— поспешным шепотом говорил комендант,— ну, хочешь, я сошью тебе еще одно платье...

— Не хочу,— отвечал капризный голос,— сам носи, и запираться не хочу. Фу, какой ты противный... старый...

— Что же,— ответил комендант, помолчав,— зато я комендант.

Я хотел было приподняться, чтобы поглядеть, кто так горячо спорит, но усталость превозмогла: голова моя сладко ушла в подушку, и тело отделилось от земли...

...Проснулся я от странного чувства — близости человеческого существа; было совсем темно; протянув руку, я тронул шелковую юбку и, ощупывая, понял, что пальцы мои скользят по ноге, горячей, несмотря на покрывающую ее одежду...

— Кто тут? — спросил я тихо.

В ответ мне засмеялись, и на диван присела дама, раскинув по мне легкое платье; я приподнялся на локте, но горячие ее пальцы погладили меня под подбородком и ущипнули; я потянулся и, прижавшись губами к руке, весь задрожал...

— Тише,— сказала дама и, легко толкнув меня, легла рядом, тесно придвинувшись.

Каких безумств не делает молодость! И то, что читателю покажется невероятным, совершилось,— наше объятие было шаловливо-сладко, прерываемое иногда нежным смехом незнакомки.

Но, услышав дальние шаги, поспешно соскользнула с дивана моя возлюбленная и скрылась за дверью; я

же крепко уснул и вторично был разбужен тяжелым топотом шагов и словами:

— Проснитесь, ваше благородие, несчастье...

В испуге я сразу сел, сбросив ноги, и открыл глаза; передо мною стоял комендант в высоких ботфортах, в мундире, перевязанном портупеей, и колпаке; в руке же держал он железный фонарь.

— Что случилось? — воскликнул я и, заслонив глаза от света, почувствовал, как пахнут духами мои пальцы... Потому улыбаясь, я плохо слушал доклад перепуганного толстяка.

— Как уснули вы,— рассказал он,— донесли мне, что близ крепости бродит шайка разбойников; тотчас же, в сопровождении моих солдат, я ускакал: как видите, вот потерял шляпу; нам почти удалось их окружить; но, возвратясь, я не нашел ни ваших лошадей, ни экипажа.

— И я не был с вами! — воскликнул я.— И беспечно спал!..

Комендант тотчас поставил фонарь и, поглядев на меня искоса, спросил:

— А вы действительно спали?

— Вот ревнивец, не сидел же я с вашей женой.

— Женой! — закричал комендант.— Почему вы знаете, что я женат...

— Я видел и слышал, как вы разговаривали за дверью, послушайте, сейчас же познакомьте меня с вашей супругой.

— Она спит,— застонал комендант, хватаясь за остатки волос, и вдруг сел на стул...— Отложите хотя бы до утра, ваше благородие. Ах, это не женщина, а черт. Вот скоро год, как я женился, а сплю все время на этом диване, один, как перст...

И, глядя на свой указательный палец, комендант зарыдал, я же участливо потрепал его по коленке.

На следующее утро, волнуясь, я тщательно заплел косицу, перевязав ее лентой, выбрился и, охорашивая мундир, надушил усы.

В столовой у самовара сидела моя вчерашняя возлюбленная, в том же розовом платье, скромно опустив глаза. Высоко подхваченные ее волосы были напуд-

рены, углы подведенного рта приподняты, и на левой щеке у ней было маленькое родимое пятно.

Увидев меня, она привстала и подала руку, которую я поцеловал...

— Катенька,— воскликнул комендант, не сводя с жены ревнивых глаз,— налей же его благородию чаю...

— Его благородие не обессудит,— слегка покраснев, молвила Катенька и подняла на меня свои светло-зеленые, длинные, разрезанные вкось глаза.

Я тотчас стал без умолку болтать, забавно описывая свое путешествие, и долго не мог понять: для чего Катенька, несмотря на прохладное утро, обмахивается веером.

Она опускала веер на колени и поднимала вновь, то прикладывая к губам, то к уху и плечу, и слегка хмурила брови...

Тогда я сообразил, что она говорит мне языком вееров, припомнил уроки петербургских модниц и прочел: «Разбойники выдуманы, ваши лошади в надежном месте... Вам будет скучно?»

— Нет, конечно, нет!— воскликнул я с жаром.

— Чего нет? — подозрительно спросил комендант.

— Разбойники, они не осмелятся вновь прийти.

— Эге,— мрачно сказал комендант,— тут есть чем поживиться...

Катенька быстро опустила веер и приложила к сердцу.

— «Вы меня любите?»

— Безумно, да, да!— воскликнул я...

— Что вы, батюшка, все «нет» да «да»,— забеспокоился комендант,— живот, что ли, болит?..

— «...Нам нужно увидеться сегодня ночью. Придумайте, как устроить»,— прочел я на веере.

— Комендант,— воскликнул я, вставая,— идемте же осмотрим укрепления...

Я проявил большой интерес к служебным обязанностям и торопил коменданта, чтобы усыпить его мнительность.

Комендант шел впереди меня по форпостам и, размахивая руками, объяснял:

— Вот здесь мы починим, а здесь заткнем, а здесь...

На полслове он обрывал и тер себе лоб, бормоча:

— Что она придумала?..

Но я ободрил его:

— Вы лучший из комендантов, почтеннейший.

Мы осмотрели арсенал, где сушилось белье и пегий теленок лежал в углу, жуя казенную портупею... Наскоро пробежали отчетные книги, причем комендант так быстро водил по строчкам пальцем, что мне казалось — я скачу на тройке и смотрю под колеса.

Потом пошли обедать. Катенька, разливая суп, раскраснелась и сложила губы так, что я, во избежание неосторожности, стал смотреть в стакан, успев все-таки прочесть на чудесном языке ее веера:

— «Торопитесь. Муж догадывается».

Тогда, сделав строгое лицо, стал я объяснять, что не позволю разбойникам под носом у себя из крепости красть лошадей, поэтому приглашаю коменданта после обеда поехать со мной в лес для поимки негодяев.

Комендант с радостью согласился и велел принести вина; я же подумал: «Ах, плут!»

Выкурив после обеда по нескольку трубок и отдохнув, мы сели на верховых лошадей и, в сопровождении четырех пеших инвалидов, вооруженных с головы до ног, поехали в лес.

Сердце мое сильно билось, и я, тихонько смеясь, горячил коня, прыгавшего через валежник.

Между красных стволов показывалось заходящее солнце, в овраге же, куда мы спустились, было сыро и темно.

Я положил руку на плечо коменданта и прошептал:

— Оцепим этот овраг; я подожду здесь, а вы поезжайте в обход и ждите, пока выстрелю из пистолета.

Оставшись один, я видел, как со дна оврага поднимался белый туман; скоро хруст ветвей и шаги вдалеке затихли; тогда, ударив коня плетью, я поскакал в крепость...

Катенька ждала меня в темных сенях и, когда я, запыхавшись и целуя ее в щеки, говорил: «Милая, родная, душа моя», откинула голову и стала так хохотать, что я, испугавшись, увлек ее к двери.

— Здесь нельзя оставаться,— сказала она сквозь веселые слезы,— услышит старикашка...

— Катенька, не мучай,— молил я,— минуты дороги...

Катенька сжала мою руку и, соскочив с крыльца на дворик, подбежала к крытому тарантасу, стоящему под соломенным навесом. Смеясь, приподняла она платье и прыгнула в тарантас, преследуемая мной.

Внутри тарантаса пахло кожей и пылью, и мы могли целоваться, не видимые никем.

Катенька дергала меня за усы, щекотала, возилась, как котенок, и, сидя на коленях, говорила всякий вздор.

Но вдруг за воротами послышался топот и громкий голос коменданта:

— Где он? Я не посмотрю на чины... Эй, дураки, чего смотрите, ищите их...

Катенька закрыла мне рот рукой, смотря в окошко тарантаса, я же взялся за эфес шпаги, готовый на все.

По дому, в сенях и на дворе ходили инвалиды, освещая фонарями все углы; комендант же топал ногами и махал обнаженной шпагой.

Пробегая мимо тарантаса, он остановился и, подумав, открыл дверцу.

— А,— воскликнул он,— нашел, вяжи их!

И направил на меня шпагу; я же, быстро вынув свою, скрестил клинки и, вышибив оружие из рук коменданта, кольнул его в плечо.

Комендант охнул и сел на землю, а я, подняв пистолет, приказал инвалидам:

— Ни с места, я ваш начальник!

Инвалиды отдали честь, стоя с фонарями; комендант же сказал:

— Вор, бери мою жену, вези куда хочешь!

И вдруг закричал в ярости:

— Запрягайте лошадей в тарантас, везите их к черту!

И, разорвав на груди кафтан, зарыдал...

Так я обрел себе верную жену, а впоследствии сделался счастливым отцом четырех малюток.

РОДНЫЕ МЕСТА

1

В винной лавке за стойкою Коля Шавердов грыз каленые подсолнухи и тоскливо слушал, как Сашка, сидя против него на табуретке, докладывал, в третий раз сегодня, наблюдения свои над дьяком Матвеем Паисычем, бегавшим, по словам Сашки, в «страчно́м» виде по огороду.

У Сашки было круглое и белое, с лисьим подбородком лицо, томные глаза и гнилые зубы. Был он вдовой попадьи Марьи сыном.

Но, несмотря на такое отличие от серого народа, все на селе звали его просто Сашкой, потому что, выгнанный из духовного училища, вернулся он лодырем в село раз и навсегда и был бит попадьей Марьей при помощи уполовной ложки на смех соседям, смотревшим в окно.

А спустя недельку побили его и парни за двухорловый пятак в орляночной игре и наказали близко не подходить к девкам, до которых Сашка был великий охотник. Шавердов же, как старинный друг, не то что любил Сашку, а просто выдавал ему из бакалейной их — шавердовской — лавочки десяток папирос в день и терпеливо слушал вранье.

— Я тебе говорю,— рассказывал Сашка,— непременно он выиграл по билету, мне почтмейстер к нему из

Петербурга письмо показывал; попусту так не стал бы летать по огороду; знаешь, так и кидается, бормочет: «Эх, говорит, окаянные, очки завалились — я бы всем это письмо прочел: выкусь-ка, говорит, получи такое письмо. Ах, говорит, что мне огород, потопчу его весь,— мне все равно...» Потом присел, да как захохочет и рыжими сапожищами пошел капусту топтать... Я, знаешь, за плетнем стою и говорю ему: «Здравствуйте, Матвей Паисыч. Что вы, говорю, так летаете, или в церковных суммах какой недочет вышел?» Подпустил, знаешь, ему шпильку, а он ко мне кинулся, плетень ухватил, трясет: «Я, говорит, в горнице сидеть не могу, у меня от радости одышка нутро завалила». И вижу я, лезет целоваться; я, знаешь, плюнул в него и ушел. Противный такой...

— Ну, впрочем, ты не плюнул,— сказал Коля Шавердов.

— Ей-богу, плюнул. Что же ты мне не веришь? Вот друг.

— Я тебе не друг,— грызя подсолнухи, равнодушно ответил Шавердов,— а это ты ко мне лезешь, мои папиросы куришь; только мне не жалко, кури...

— Ах, милый,— молвил Сашка, скривив голову и сложив губы бантом,— а не помнишь разве наше детство? Вот было веселье: я тебе тогда в альбомчик стишки написал:

Ты капризна, мила и ленива,
И твой чудный локон...

Видишь, какой я тебе друг.

— Это стихотворение подходяще к женщине, а не к мужчине,— ответил Шавердов и поглядел на вошедшего с улицы мужика.

Мужик, медленно притворив стеклянную дверь, снял меховую шапку и стал шарить глазами образ, чтобы перекреститься. Не найдя, он подвинулся и положил на прилавок пригоршню меди, сказав натужным голосом:

— Вина три полбутылки.

Все, как и голос,было у него натужное и натруженное, словно самим этим мужиком пахали землю и лицо оттого стало землистое и корявое, сивые волосы стояли

бугром, а сваленная рыжая борода росла повсюду, где только можно.

Шавердов, схватив с полки полбутылки, стукнул их о прилавок. Но мужик не ушел, а залез внутрь коричневых портов и вынул оттуда пустую посуду.

— Получить,— сказал он.

Шавердов швырнул бутылки под лавку и отсчитал деньги. Мужик долго их пересчитывал на ладони, потом сказал:

— Запамятовал я...— и из-за пазухи вынул еще несколько бутылок, потом из карманов армяка и еще черт знает откуда. Все это было перемазано, затертое и теплое.

Шавердов сказал:

— Что, или загулял, Митрофан?

И, когда мужик, надвинув шапку на глаза, вышел, Шавердов обратился к Сашке:

— Так зачем же ты опять к дьяку бегал?

Сашка хитро усмехнулся.

— Прибегаю я опять, а он уже ставни красит, честное слово, зелеными птичками пускает... Я ему говорю...

Но тут Сашка вдруг искривился на табурете, поднял палец и хихикнул, так как в лавку, трепаный и красный, вбежал сам дьяк, Матвей Паисыч Перегноев.

2

Матвей Паисыч, как только вбежал, ухватил Шавердова за локоть и потянул к себе, ища облобызаться, но, видя со стороны Коли равнодушие, отскочил и беззвучно принялся смеяться, кривляясь всем тощим своим телом в пегом подряснике; на Сашку он не обратил внимания.

— Многие теперь с ума сходят от дурости,— сказал Шавердов.

— Дурость,— сейчас же согласился дьяк,— глупость. А что поступать мне иначе нельзя. Выкусил...

Дьяк присел и, слегка раскрыв рот, поглядел на собеседника.

— Почему дьяк Матвей по огороду бегает? — проговорил он скороговоркой.— Почему дьяк ставни красит? А я не только ставни, я и крылечко выкрашу, я на полу половички расстелю,— от покойной дьяконицы у меня остались. Как это понять? Вот этот вот юнкер (дьяк ткнул пальцем в Сашку) весь день у меня на плетне висел, любопытство одолело. А я не сержусь: всякому человеку знать интересно, почему у Матвея Паисыча третий день голова нечесана. А я не желаю голову чесать и об этом объявляю всенародно.

При этом дьяк поднялся на цыпочки и широко развел руками.

— Не желаю и не желаю, пока...

Дьяк присел и щелкнул языком:

— Что пока? Ах вы шельмецы! Что это такое за «пока»? Дьяк священство получил? Дьяк капитал в банке выиграл? Суета, юнкера... Вам бы все деньги. У меня корова есть — раз, яиц лукошко на пасху, да десять мешков хлеба к рождеству — два. Гречиху я сеял или нет — три... А молебствие о дожде?.. А народ православный жениться, помирать должен? Я по двунадесятым — коровьим маслом власы мажу. Так что за причина, почему дьяк обезумел?

В эти слова Матвея Паисыча Шавердов вслушивался внимательно, и костлявое, с пушком на щеках, худое лицо его стало необычайно серьезно. Сашка же безмерно ржал, сидя на табуретке.

— Восемь ведь лет птицей пролетели,— продолжал дьяк,— как дал я тогда дочери моей Аннушке две сотни рублей и в столицу отправил. Пустяки сказать — столица. Не то что наша Утёвка... Утёвка,— презрительно сказал дьяк,— тысяча двести дворов и один храм божий. Лаптем щи хлебают... Здесь дочь моя нежное свое воспитание получила, да не с вами ей жить пришлось: не к тому рождена, душа у ней высокая... В столице ее, как дочь родную, встретили. У самого Мейергольда училась...

— У кого? — переспросил Сашка.

— Мейергольд — полный генерал... Поутру его государь император призывает: «Развесели, говорит, генерал, столицу и весь русский народ».— «Слушаюсь,

ваше величество»,— отвечает генерал,— кинется в сани — и марш по театрам. А в театре все как есть представят — Бову королевича, пожар Москвы... Вот что за человек. Аннушке моей бумагу выдал — во всех городах играть — и фамилию переменил: теперь Аннушка не Перегноева, значит, а — Волгина-Мирова... Поняли? Эх, юнкера!..

Тут дьяк, вынув красный платок, вытер глаза:

— Восемь ведь лет не видел дочку... А бывало, гладишь светлые ее волосики, а она глазки поднимет, спросит: «Вы что, папенька, или о маменьке вспомнили?» Ручки на коленях сложит, аккуратненькая такая, чистый ангел.

Дьяк не смог продолжать и полез за прилавок к Шавердову, который спросил тихо:

— Что же, Матвей Паисыч, замуж они, что ли, выходят?

— Нет же,— завопил дьяк,— в том-то и дело, что не выходит. А такая штука, что я, как Давид, скакать должен и петь. А я плачу потому, что как же я со своим образом ей на глаза покажусь?

Образ у дьяка был действительно несуразный: серая его бороденка косицами росла на впалых щеках, бугром поднимались красные скулы, из-за которых выглядывали мигалки, нос же был морщинистый, как коровья сиська.

— Так они сюда приезжают? — спросил Шавердов и, оглянувшись на Сашку, нахмурился.

— Я ничего не говорил, ничего не говорил,— забормотал дьяк испуганно и вдруг, увидев Сашку на табуретке, нагнулся к нему. Сашка забегал глазами и усмехнулся, ощерив гнилые зубы.

— Смотри ты у меня,— сказал дьяк, едва не колотя попадьина сына по носу пальцем,— ты меня не знаешь. Сашка, я тебе голову сверну, гад навозный.

— Нашелся один такой,— сказал Сашка весело. У дьяка задрожали колени.

— Ты за ним пригляди,— обернулся он к Шавердову,— как же можно его Аннушке на глаза показать. Ах, боже мой, что за люди... Ведь у ней душа нежная. А я вдруг ее и ввергну в этакую пакость.

— Да,— сказал Сашка,— они теперь барышня, от нас нос воротят, а когда-то вместе купались.

— Сашка,— визгливо закричал дьяк и стукнул кулаком по прилавку,— я тебе сам в руки дался... Аннушка моя завтра приезжает... Дьяк, дьяк, заткнись... Забудь это, Сашка. Что за язык мой окаянный... Все я наврал... Никто не приезжает, и дочери у меня никакой нет... Она да — в Утёвку... Вот ваша Утёвка... тьфу.

В безмерном волнении дьяк заметался и, бормоча, поспешно вышел на улицу, где ветер подхватил сивые его волосы и бросил на глаза.

3

Как только вышел дьяк, Сашка перегнулся через прилавок и прошептал:

— Друг, я слышал, что она конфетка. Ах, друг, вот радость... актерки, знаешь, такие добрые, а во-вторых, я ей вроде начальства: она — дьякова дочь, а у меня дядя благочинный.

Шавердов молча поглядел на Сашку, замкнул кассу и пошел к внутренней дверце, ведущей в дом. Сашка проворно последовал было за ним, но в дверях Шавердов, обернувшись, толкнул его кулаком в грудь и затворился.

— Что ты, друг,— жалобно вскрикнул Сашка и побрел на улицу, куда, пройдя домом, выходил Шавердов, чтобы замкнуть и бакалейную лавку.

Отойдя шагов на десять, исподлобья наблюдал Сашка, как Шавердов спокойно навесил замок, попробовал его рукой и, не оглядываясь, ушел опять в дом.

Худая его, костлявая фигура в нагольных сапогах и пиджачке, надетом на косоворотку, делала все движения размеренно и спокойно, потому что Коля Шавердов по матери был из саратовских немцев и лицо сохранил, бог знает, сколько поколений, тевтонское — большое и угловатое.

Отец его, волостной писарь, потом винный сиделец, отморозил себе в овраге руки и ноги и помер, оставив

после себя восемь человек детей, бакалейную лавку и Каролину Ивановну — супругу, у которой в изобилии росли борода и усы; но, несмотря на все это, Каролина Ивановна нежно любила свой приплод и весь день хлопотала и кудахтала по дому, только под вечер выходя посидеть на скамеечке в огород над речкой.

Глядя на степную зарю, которая тоскливо отражается в воде за ивой, слезилась Каролина Ивановна:

— Васенька, Васенька, зачем ты не сидишь рядом со мной со своим добрым лицом,— хотя у покойного Шавердова лицо вовсе не было доброе и сидеть с женой в огороде над речкой он не сиживал.

Погрустив, Каролина Ивановна спохватывалась и спешила домой, зовя громким голосом:

— Ванька, Васька, Федька, Лешка, noch ein mal Лешка, Коленька, идите есть, паршивцы...

Услышав в обычный час маменькин голос, Коля Шавердов вошел в большую кухню и сел за чисто выскобленный стол. Тотчас изо всех дверей налетели братишки и уселись по лавкам, болтая ногами; два Лешки — забияка и нытик — все время щипались, пока Коля не ударил их ложкой по головам. Каролина Ивановна поставила щи и придвинула к себе единственную тарелку с вилкой; остальные ели ложками, окуная куски солонины в чашку с горчицей.

Братишки чавкали, как поросята, маменька, ощерив зубы, морщилась от черного хлеба с горчицей, который очень любила, Коля сегодня есть не мог.

— Дьякова дочь приезжает, Анна Матвеевна,— сказал он, бросив ложку.

Каролина Ивановна усмехнулась:

— Говорят, она с офицером живет... Дьяк-то не знает?

— Это, маменька, не вашего ума дело,— воскликнул Коля.— Ели бы лучше да молчали,— и он встал из-за стола, захватив с окна книжку.— Рады язык почесать... Противно.

Каролина Ивановна промолчала, но, когда Коля вышел, нашлепала по щекам Лешку-забияку и Лешку-нытика, и те долго ревели.

А Коля прошел к лошадям, завалил сена, закрыл ворота, посадил на цепь собаку и полез по лесенке на крышу сарая, где из веток и соломы сделана у него была вышка-шалаш. В шалаше лежали донельзя засаленные красная перина, две розовые подушки, и в медном тазу стоял огарок, который Коля сейчас же и зажег.

Здесь, в уединении, лежа под тулупом, Коля мог смотреть на звезды и читать приложения к «Свету». Но сегодня не занимали его ни похождения игрока в «большом свете», ни «развратная графиня Кармоньяк». Глядя на пламя свечи, над которым толкалась мошкара, думал Коля:

«У самого Мейергольда училась, имеет бумагу, поди-ка, высокая теперь стала, взрослая... А как уезжала, говорила: «Не забывай меня, Коленька...»

Коля оперся на локоть, лицо его стало детским и задумчивым.

«Я-то не забыл, а меня, конечно, давно забыли. У нее все переменилось, а здесь всех перемен и есть, что пройдет зима — лето настанет, и я в шалаше живу. А все-таки,— Коля вздохнул,— никто ее так не любит, как я... Следочки бы ее целовал... Она взяла бы аршин мой, например, я бы это место, где она держала, отрезал пилой и закопал бы в огороде у плетня, чтобы никто, кроме меня, не дотрагивался... С офицером живет. Эх, маменька. Врут же люди без совести, без понятия. Людям до всего дело. Только я всем покажу, как языки чесать, первому пащенку Сашке язык оторву. Ах, дрянь...»

Коля сбросил тулуп и сел в сильном волнении.

«Он непременно под нее подкопается, он, я знаю, чего придумал».

И Коля стал поспешно одеваться, путаясь, бормоча и сердясь все сильнее.

Потом, задув огарок, сбежал по приставной лесенке вниз и вышел на улицу. Из-за крыши поднялась луна, и длинные от нее густые тени легли на свежую дорогу; отсвечивали неровные окна изб, за речкой пьяный человек кричал истошным голосом.

4

Сашка, раздумывая над Колиным невежеством, постоял у лавки, потом щелкнул пальцами и побежал по огородам к дьячкову дому. У самых ворот нагнал он Матвея Паисыча и, забежав вперед, засматривал дьяку в глаза.

— Неужели вы, Матвей Паисыч, шуток не понимаете? — сказал он слащавым голосом.— Я, например, ужасно уважаю Анну Матвеевну и всегда готов ей услужить...

Дьяк остановился и, не поднимая головы, навострил ухо.

— Я чувствую, кто они и кто я,— продолжал Сашка,— я неуч и лодырь, а они — образованность, приятность в обращении, рафинад.

— Верно,— сказал дьяк и вместе с Сашкой нехотя взошел на крыльцо.

— Я на тот предмет говорю, Матвей Паисыч,— у Сашки даже голос стал томный,— что если они прокатиться пожелают, у вас ведь, Матвей Паисыч, лошади даже нет, а у маменьки два жеребца, так я всегда, только крикните, прибегу и доставлю...

— Это хорошо ты насчет жеребца,— сказал дьяк и вдруг схватил Сашку за руку.— Не знаю я, парень, что у тебя на душе... Ах, Сашка, не верю я тебе... Растревожил ты меня...

— Матвей Паисыч, отец вы мой родной, Анна Матвеевна как сестра мне, вместе ведь выросли.— Сашка вдруг оглянулся и зашептал, близко наклонясь: — А Шавердов-то, как вы ушли, говорит: «Лопни мои глаза, если я ей салазки не загну...»

— Врешь,— сказал дьяк басом и оттолкнул Сашку,— Шавердов не скажет...

Сашка вытащил даже крест из-за пазухи, чтобы побожиться, и вместе с дьяком вошел в дом. Расстроенный Матвей Паисыч прошел в зальце, где стояли сундуки, покрытые кошмою, на окне висел в клетке воробей и повсюду были постланы чистые половички...

— Пол-то ножищами не топчи,— сказал дьяк отчаянно и, схватясь за голову, сел на табурет. Напротив

него поместился Сашка и, трогая дьяка за колено, продолжал:

Мне маменька сегодня говорит: «Вот, хоть бы душенька наша, Аннушка, приехала, хочу глазком на нее поглядеть».

— Ну, так и сказала? — спросил дьяк.

Сашка опять принялся божиться.

— Я, чай,— маменька говорит,— выросла Аннушка-то. А что же у вас, Матвей Паисыч, карточки ни одной ее нет?

— Есть,— сказал дьяк и вдруг весело подмигнул,— в заветном месте запрятаны, боюсь, украдут, тебя боюсь... А показать?..

Сашка, зная дьяка, смолчал; тогда у дьяка даже руки вспотели — до того хотелось ему показать,— и, наконец, едва не плача и говоря: «Позднее время, Сашка, иди спать, уходи», вытащил из сундука шкатулку с карточками и, вздув лампу, еще раз сказал: «Уйди».

Снята была Аннушка множество раз, сначала в простеньком платье, с косой и удивленными глазами, потом коса исчезла, появилось драповое пальто, даже пенсне на одной фотографии. «Ученость»,— прошептал на это дьяк. Далее платья улучшились, из снова отросших волос завилась прическа, и на последней, наконец, фотографии снялась Аннушка в бальном туалете с открытою грудью и руками,— такая прекрасная, с едва начинающейся нежной полнотой, что дьяк, закрыв ладонью дочку, в волнении прошептал:

— Пошел прочь, Сашка, недостоин...

Тогда произошло очень странное: Сашка так сильно оперся о край круглого столика, что он хрустнул, и все фотографии, кроме одной, посыпались на пол; дьяк взмахнул руками и тотчас присел, подбирая, а Сашка, быстро схватив карточку Аннушки в бальном платье, сунул в карман...

— Показывай тебе, растяпа,— ругал его дьяк.

Сашка же, повертевшись еще с минутку, надел картузик набекрень и, нащупывая в кармане карточку, побежал домой.

План у Сашки возник внезапно, и он знал теперь,

что дьякова дочь не откажет ни в чем, потому что очень хитро и ядовито было придумано одно дело.

Круглая и рыхлая попадья Марья тоскливо ела лапшу, сидя в столовой, когда вошел Сашка.

Мебель у попадьи стояла в парусиновых чехлах, над столом висел увеличенный портрет попа, и в шкафчике аккуратно были расставлены золоченые чашки; но, несмотря на всю эту роскошь, на кружевные занавески и пальму в углу, тосковала попадья по двум причинам: во-первых, сегодня свистнули у нее из кухни два ржаных хлеба, а во-вторых, ей было вообще скучно. Кругом жили одни воры да ругатели и ругательницы — Шаверлова, новая попадья, писарша и весь народ; не с кем поговорить по-человечески; покойный поп «Ниву» хоть выписывал и был балагур, а Сашка неизвестно в кого уродился, дурак дураком.

На вошедшего сына попадья не поглядела и сказала:

— Садись, жри.

Сашка немедля сообщил:

— Дьякова дочь приезжает, актерка.

— Ну,— всполохнулась попадья.— Такая дрянь смеет являться... Она с офицером живет.

— Дайте-ка мне, мамаша, папашину фотографическую камеру, я шутку подстрою...

— Что у тебя в голове? — спросила попадья уныло.— Свиной ты огрызок.

И попадья Марья долго бранила Сашку, потом всех людей, зевнула, наконец, перекрестив рот, и окончила:

— Что за жизнь — тоска, хоть бы поколеть скорей.

— Живите, маменька,— подмигнул Сашка, хлебая лапшу,— я вас развеселю.

И он рассказал свой план. Попадья сначала не слушала, потом положила толстые локти на стол и усмехнулась.

— Так ей, потаскушке, и надо,— сказала она,— подстрой, пожалуйста, Сашка, это,— мы поржем...

— Не беспокойтесь, мамаша, я ее перед всеми оголю, я мастер...

И оба они, наклоняясь друг к другу, принялись хихикать, показывая гнилые зубы, поводя маслеными глазами, схожие, как два блина.

5

Тем временем Коля Шавердов, подойдя к дьякову дому, поглядел через окно и удивился: на полу около лампы сидел Матвей Паисыч, в одних кальсонах, и рылся в карточках, кидая их в стоящую около шкатулку. В комнате валялись кошмы с сундуков, и вся мебель была перевернута.

Коля стукнул пальцем в окно, дьяк, вскочив, подбежал, вгляделся и закричал:

— Убирайся, разбойник; рано еще салазки загибать, не приехала.

— Какие салазки? — спросил Коля.— Поди-ка сюда, Матвей Паисыч, дело есть.

Дьяк поднял оконце и, высунув голову так, что живот его уперся в подоконник, схватил Колю за плечо и притянул к лицу своему, шепча в остервенении:

— Приятель твой, гад навозный, карточку самую прекрасную подтибрил... И ты за этим пришел?.. Я вас обоих в храме опозорю, я донесу...

Дьяк ощерился, показав единственный нижний зуб, а Коля в испуге взял дьяка за обе руки:

— Матвей Паисыч, милый мой, не вините меня, это он все подстраивает, а я за Анну Матвеевну жизнь готов положить. Вы знаете, зачем он карточку украл? Он давно мне хвалился, что может у какой угодно карточки голову отрезать и к голой девке,— снята у него такая,— приставить и всем показать.

— Что ты? — испугался дьяк, и оба они, замолчав, глядели друг на друга. Наконец Матвей Паисыч жалобно воскликнул: — Что же это, в самом деле, за беда такая с людьми... Ведь жить нельзя...

— Нельзя,— подтвердил Коля.

— К отцу родному приедет, а тут мальчишки голыми карточками осрамят. Этак и затравят, а?

— Не затравят,— решительно сказал Коля и вдруг, потянувшись, поцеловал дьяка в губы.

— Прощайте, Матвей Паисыч. Я все устрою, а если что выйдет — моя вина... Анне Матвеевне скажите,

что есть один человек на свете, который... ну, да что там...

И он быстро зашагал на длинных ногах, освещенный луною, словно догонял свою же тень...

— Юнкер, юнкер, вернись,— звал перепуганный дьяк.

Коля торопился, потому что было уже половина десятого. Вступив на мост, он остановился перевести дух. Направо речка разливалась в большой пруд, заслоненный за темными ветлами. Налево два раза из-за изб выбегала ясная, чуть дымная, та же река.

— Аннушка, Аннушка,— проговорил Коля,— помнишь ли?..

И, вздохнув от защемившего сердца, он побежал быстрее в конец села, к мазанке без крыши и ворот, где жил Митрофан.

6

Митрофан стоял посреди избы, держась за низкую перекладину полатей, и говорил троим своим рыжим, бородатым сыновьям, сидевшим у стола на одной лавке:

— Я вас родил, я вас женил, я вас вином пою, чтите?

— Чтим,— сказали сыновья и отпили из чайной чашки.

— А теперь я скажу, что есть крестьянин? значит, ваш отец? корень видели, корень я и есть. Чтите?..

В это время в избу зашел Коля, всем поклонился, сел на лавку и сказал:

— Я к вам, мужички, с поклоном...

— Это ты правильно,— сказал Митрофан...

— Ведром кланяюсь,— продолжал Коля взволнованно,— уважьте, мужички...

— Можно,— отвечали все сразу,— мы всегда, сам знаешь...

— Сашку, попадьи сына, знаете?

— Как не знать...

— Поучить нужно...

Рыжие парни быстро переглянулись, а Митрофан сказал уклончиво:

— Мы хлебопашеством занимаемся...

— Я знаю,— вскочив, заговорил Коля и прошелся по избе.— Ведь не до смерти... а только, если его не поучить, житья нам не будет...

— К девкам очень пристает,— сказали рыжие парни,— мы и сами по себе насчет этого думали.

— Отчего не поучить,— прохрипел Митрофан,— от этого человек завсегда в разум входит.

Так они и порешили. Коля пообещал накинуть еще полведра и, уговорившись о времени, ушел.

Не доходя моста, он повернул к пруду. Темный и тихий лежал пруд в окаймлявших его густых ветлах, с того края до этого прорезала его ясная полоса лунной зыби, двигаясь к белой купальне в кустах.

Коля зашел на березовый полуостровок и сел в корнях у воды... Все еще думая о том, как будут бить Сашку, он понемногу отходил, и сердце его наполнилось воспоминаниями этих мест.

Когда полоса света дошла до купальни, он вспомнил Аннушку, еще девочкой, стоящую по колено в воде, брызгая на него, друга своего, ладошками. Над прудом тогда горело солнце, и в каплях воды, когда они взлетали, изгибалась радуга.

Коля тогда, смеясь, длинной камышиной, с метелкой на конце, щекотал Аннушке щеки и плечи, а она, прижав острые локти, закинув голову, подставляла шею, хохоча на весь пруд.

«Неужели в самом деле это было?» — думал Коля, глубоко затягиваясь папиросой, и вздрогнул, когда над водой низко, со свистом, пролетели утки, садясь в камыш...

Это повернуло его мысли; он закурил новую папироску и лег на спину.

Аннушка представилась ему взрослой. То воспоминание о ней — купающейся — связалось с новым представлением, и от этого Коля почти чувствовал шелест ее платья и тот запах, какой издают девушки, когда разгорятся на солнце...

Коля не смел, но думал все дальше, пока не повернулся ниц и закрыл горящее лицо руками...

— Господи, да она дня здесь не останется,— сказал он,— не будет же она у меня в лавке подсолнухи грызть, с попадьей пить чай. А я слова ей не сумею сказать. Поживет денек и уедет навсегда. А я что буду делать? Опять вино продавать. Сашку слушать? У мамаши есть хлеб с горчицей?.. Да ведь я не могу больше всего этого делать... Поймите.

В отчаянии Коля застыл. Понемногу голова его, подвернутая в руки, заболела, и, приподняв ее, он стал вглядываться в то место около купальни, где был яр; клочок прозрачного тумана заколебался над яром. Был ли то туман, Коля не знал хорошо, но сердце его задрожало радостью, как никогда. Это белое отделилось и, тихо летя по лунной зыби, приближалось к березовому полуостровку, и из неясной тени отделились две легкие руки...

«Русалка»,— подумал Коля, и сладкая любовь разлилась по всему его телу. Захотелось положить голову в руки той, кто была и русалкой и Аннушкой вместе.

«Подойди поближе,— думал Коля,— я тебя люблю». А лягушки квакали, и звук их летел сквозь тело призрака...

Высокая луна побледнела в утренней заре. Колина одежда и волосы были мокры от росы, и голову ломило; он несколько раз вздохнул, помотал головой и, не оглядываясь на пруд, пошел в село, где уже мычали на дворах коровы и просыпались воробьи.

Подойдя к дьячкову дому, Коля увидел, что на крыше сидит верхом Матвей Паисыч, в новом подряснике и шляпе.

Коля прижался к забору; светало быстро, дьяк наверху вытягивал шею, силясь высмотреть что-то вдали. Когда же солнце поднялось алым бугром над полями, увидел Коля пыль на дороге, уходящей черной лентой в росистую степь.

Матвей Паисыч заслонился от света ладонью, и скоро утренний ветер донес ясный звон колокольца... Тогда дьячок привстал, поднял обе руки, и преобразилось радостное, красное лицо его, все в слезах.

7

Рано утром Каролина Ивановна, доя посреди двора корову, увидела сынка Коленьку, входящего в ворота, и воскликнула, повернувшись на скамеечке, но не отрывая рук от сосков:

— Напился... С кем же это ты насандалился так, паршивец?

Коля блаженно вдруг засмеялся и полез в хибарку свою на крыше, откуда крикнул:

— Аннушка приехала.

— Скажите, радость какая,— проворчала Каролина Ивановна; корова в это время ступила в блестящую дойницу, что и привело Шавердову в дурное настроение, продолжавшееся до самого вечера.

Хотя Каролина Ивановна и делала вид, что нет в приезде Аннушки никакой радости, но, убрав скотину, вымыла она в горнице пол, постлала на стол вязаные скатереточки и к обоям приколола бумажную розу.

Потом испекла пирог с зеленым луком и яйцами, надела зеленое шелковое платье и вышла на крыльцо, так как сегодня было воскресенье.

По площади мимо лавки проходили благообразные мужики, в новых рубахах, перепоясанных под грудями, в новых картузах; все они кланялись Каролине Ивановне; она грызла подсолнухи так быстро, что изо рта у нее шла шелуха, застревая на подбородке, и, глядя на мужиков, думала: «Постой, обедня пройдет, нальете зенки».

Все время в церкви звонил колокол; миловидная баба с младенцем у груди подошла, поклонилась Каролине Ивановне, сказала:

— Утром к дьяку барышня приехала, нарядная, как ягодка.

Каролина Ивановна попросила бабу сесть рядом и стала расспрашивать, потом, поджав губы, сказала:

— А мой-то старшенький с утра напился; непременно с этой актеркой, ну, да я ее вытравлю отсюда.

Вдовая попадья Марья тоже с нетерпением ожидала прихода Аннушки, но не готовилась, как Шавердова. а нарочно перебуторила все в комнате и напустила из

кухни чаду, чтобы показать приезжей зазнайке, как порядочные женщины могут думать о «девице, которая путается со всяким и в театре за деньги голые груди показывает».

Сашка, запершись в чулане, все утро мастерил свою штуку и прибегал несколько раз к мамаше показать; разглядывая штуку, попадья уныло радовалась, сердилась, что актерка не идет. Наконец, в нетерпении, послала стряпку к дьяку за сметаной, наказав узнать, как там и что.

Но стряпка скоро вернулась, сообщив, что у дьяка кругом заперто и ставни заложены, а на стук никто не отвечает. Тогда попадья пошла сама на огород и, подобрав вязаные юбки, долго глядела на дьяков дом, ничего особенного не заметила и, возвращаясь, столкнулась с Каролиной Ивановной, которая тотчас сообщила, что бегала к дьяку за капустой, но у него уж очень тихо, и надо бы доложить об этом попу.

Попадья Марья, брезгливо поджав губы, оглянула Каролину Ивановну, сказала со злобой:

— Вот что, вы уж сынка вашего к нам не пускайте, больно лезет. Сашка и так жалуется. Вот что...

— Как,— завопила Каролина Ивановна,— это ваш паршивый сынок...

Но попадья уже ушла за плетень, довольная, что обидела немку, а Шавердова долго еще грозила ей, выкрикивая неприятности...

Так прошло время до обеда. Аннушка не выходила из дома. В селе только и было разговора, что о ней.

Наконец на пыльной и знойной площади перед лавкой появился Сашка, в ярко-пунцовой рубашке, в гороховом пиджаке, с часами и в картузе набекрень. Сашка прошелся мимо шавердовского крыльца, стуча сапогами, дождался, пока бородатая Каролина Ивановна появилась в окне, выплескивая из полоскательницы, и тогда подскочил.

— Убирайся от нашего дома,— крикнула Каролина Ивановна.

Сашка заржал, вынул из кармана карточку, поднес ее к самому носу Каролины Ивановны и спрятал тотчас же обратно:

— Дьякову дочь видели?

Каролина Ивановна успела только рассмотреть голую девку верхом на стуле; любопытство одолело ее до того, что, забыв обиду, полезла она в окно, ухмыляясь во весь широчайший рот. Сашка, отступив, сказал:

— Колька-то на ней жениться хочет. А мамаша к вам запретила ходить, говорят, вы казенное вино водой добавляете...

Захохотав, он убежал показывать карточку писарше. Каролина Ивановна кинулась на двор к сыну, разбудила его, кидая палки в шалаш, и рассказала все.

Спавший, не раздеваясь, Коля молча слез, хмуро выслушал маменькин доклад и тотчас же пошел в винный погреб, крикнул братишек — Лешку-забияку и Лешку-нытика.

Вместе они вынесли шесть четвертей и понесли вино к Митрофану.

Коля по дороге был растрепан и молчалив. До самой ночи его никто более не видел.

8

Дьяк Матвей Паисыч, наврав дочке, что любит подремать перед обедом, и этим заставив ее отдохнуть после утомительного пути, лежал на сундуке в сенях.

Рукой он осторожно отгонял мух от потного лица своего и думал об Аннушкиных двух чемоданах.

Чемоданы эти, из желтой кожи, поразили его воображение; ему казалось, что дочка была очень важная и богатая особа. Точно такие же два чемодана он видел однажды у графа. Это было очень давно, когда он, еще учеником духовного училища, проходил мимо «центральной гостиницы» губернского города. У подъезда стоял извозчик, на которого швейцар, с галунами на картузе, положил кожаные чемоданы и низко поклонился графу, полному и высокому мужчине с проседью. Граф сказал: «Пшол на вокзал»,— и Матвей Паисыч с благоговением снял фуражку...

Не представляя иначе аристократа, как летящего с чемоданами на вокзал, думал теперь Матвей Паисыч:

«Ведь моя дочка — Перегноева, а до какой высоты дошла, так что я ей не отец прихожусь, а только родитель. Платьев шелковых навезла, и даже кошелечек есть — маленький, кожаный. И не горда, а как прежде: «Папаша, милый, позвольте квасу попить»; а я не то что квасу, а сам живьем расшибусь. Вот господь,— дьяк медленно перекрестился,— несмотря на грехи мои и пакости, послал счастье. Что мне нужно? Ничего. Теперь я могу с радостью умереть. Посмотришь, у людей — лодыри дети, пьяницы, сквернословы, прямо черту на рога лезут, а Аннушка моя беленькая, все улыбается, песенки поет, утешает старика».

Дьяк не мог далее думать,— по щекам его в бороду текли слезы. Из комнаты позвал звонкий голос:

— Папаша, вы все еще спите?..

Дьяк, испуганно вскочив, плюнул на ладони, пригладил ими волосы и, с порога еще приседая, вошел к Аннушке.

Анна Матвеевна, в нижней юбке и батистовом с цветочками лифчике, сидела перед зеркальцем; когда вошел отец, она обернула лицо, с маленьким ртом и большими синими глазами, и сказала, дуя на пуховку:

— А я так и не спала, очень хочется пойти — на всех посмотреть. А вы зачем гримасничаете?

И Аннушка, засмеявшись, поднялась и обняла отца прохладными голыми руками; дьяк обомлел и отодвинулся, стараясь не замарать нарядную дочку.

— Не ходила бы ты к ним,— сказал Матвей Паисыч,— вот невидаль; попадья как попадья, Сашка у нее сын, ну там Шавердова... Они и слова с тобой не сумеют сказать...

— Так они же забавные, папаша, поймите, таких днем с огнем не сыщешь. Умру со смеха, глядя на них.

Дьяк, потупившись, угрюмо молчал.

Через час они под руку подходили к дому вдовой попадьи.

— Дом ничуть не изменился, и скворечня та же! — воскликнула Аннушка, подняв кружевной зонт.

Тогда к окнам изнутри придвинулись два толстые лица, испуганно отшатнулись, заколебался тюль, и спустились занавески...

— Уйдем, уйдем,— заторопился дьяк, поняв, в чем дело, но Аннушка отворила дверь крыльца и столкнулась с попадьиной стряпкой, которая сразу же забормотала ерунду:

— Барыня, мол, приказали не ходить, потому что, мол, карточки подметывают...

— Васенка! — удивленно воскликнула Аннушка, и стряпка тотчас расплылась, засунув руки под передник.

Аннушка, смеясь, поцеловала стряпку и отворила дверь в комнаты, где и наступила на попадью, которая подсматривала в щелку.

— Марья Николаевна,— заговорила было Аннушка, протягивая ей руки, но попадья, с каменным лицом открыв рот, стала отступать и захлопнулась в спальне...

Тогда другая дверь приотворилась, выглянули быстрые глаза Сашки и скрылись. Потом стало очень тихо. Дьяк увлек на улицу Аннушку и все время держал за руку. Аннушка оглянулась на дом попадьи, странно улыбнулась и пожала плечами.

Дьяк вел ее через знакомые места — где те же стояли амбарушки, с четырехугольной дырой в двери для пролаза кошек, те же бревна у забора, колодец с колесом, милые когда-то канавы, поросшие лопухами. Понемногу морщины на лбу Аннушки разгладились, она сказала весело: «Вот чудаки» — и захотела, несмотря на отговоры дьяка, пойти к Шавердовой и посмотреть старинного своего приятеля Колю.

В зальце шавердовского дома никого не было, но за стеной слышались шепот и возня. Аннушка потрогала бумажную розу на стене, посмотрела на клетку с больным скворцом и нетерпеливо обернулась к дверям. За стеной, отделяющей кухню, хихикали все громче, Аннушка, подняв голову, увидала в узком и длинном окне под потолком семь веселых рож, с прижатыми к стеклу носами... Аннушка громко засмеялась, высунула шавердовским мальчишкам язык, мальчишки завыли от веселья.

— Это что за мода... Оставить моих сыновей! — злобно крикнула вошедшая в это время Каролина Ивановна.

Аннушка двинулась было к ней, но немка затрясла головой и губами:

— Бесстыдство в доме у себя не потерплю, не позволю моим сыновьям язык казать, голые карточки подметывать.

— Что вы, Каролина Ивановна, какие карточки... что она говорит? — жалобно воскликнула Аннушка, и глаза ее наполнились слезами.

Но в это время, крякнув в ладонь, выступил дьяк и сказал:

— Дочь моя сделала вам честь, она дама и особа, а вы, Каролина Ивановна, как есть баба деревенская и должны перед ней стоять по швам, а насчет карточек, так это сынок ваш и Сашка подстроили, потому что я на всех вас плюю...

Дьяк действительно плюнул в лицо Каролине Ивановне и, захватив дочку, вышел; Шавердова, нарочно не вытираясь, догнала гостей в сенях и толкнула со всей силой в спину Аннушку так, что та ударилась о косяк, Матвея Паисыча дотянула за косу до полу, завыла и, выбежав на площадь, стала кричать всенародно, что ее избил дьяк.

— Папаша, папаша, за что они меня? — спотыкаясь, повторяла Аннушка, задыхалась и хватала дьяка за рукав, а дьяк тянул дочь с площади в огороды, говоря:

— Идем, идем, потом поплачем, на улице люди осмеют.

9

Аннушке давно хотелось съездить в родное село, показаться, чтобы все, видевшие ее простой девчонкой, сказали: «Наша-то Анютка, кто бы подумал, актриса, в газетах про нее пишут...» Надевая первое бальное платье, мечтала она о том, как удивятся старые друзья, если она, такая красивая и нарядная, вернется в родные места погостить. Но собраться и поехать было дорого и склочно. Постепенно воспоминания стирались в памяти, и Аннушка только в часы грусти вздыхала потихоньку о невозвратном.

Но нынешним летом, получив ангажемент в Самару, села она на волжский пароход, увидела зеленые берега с белыми монастырями, вылинявшее от грусти небо Заволжья, дымный простор воды, баржи и караваны плотов и, взволнованная, послала телеграмму отцу, что едет.

День за днем, приближаясь к родным местам, волновалась она все более и радовалась; увидев же на рассвете крыши Утёвки и единственный в степи дубок, на корне которого еще осталось (или это показалось только?) вырезанное слово «Анюта», заплакала Аннушка и вся в слезах подъехала к дому отца.

Но сегодняшний прием у попадьи и Шавердовой напомнил ей, что не милые люди жили в этом пыльном селе, а злые и угрюмые мещане, обижавшие когда-то девочку Анютку, бегавшую в ситцевом платьишке, с тоненькой косицей.

Аннушка долго рыдала на огороде и отмахивалась от дьячка, думая, что как же ей жить, когда близкие так грубо оттолкнули.

Назавтра она решила ехать в Самару и поспешно стала укладывать вещи. Дьяк пошел к вечерне, поклявшись, что если в храм явится попадья или немка — показать им при всем народе кузькину мать.

Уложившись, Аннушка села на крылечке и долго вздыхала, глядя, как солнце клонится к скучным полям. Грачи полетели в гнезда спать, воробьи на пыльном кусту чирикали, утомленные дневной вознею. Мимо крыльца пролегала мягкая от пыли дорога, луг весь зарос гусиным щавелем, который вдалеке щипали белые гуси.

Аннушке очень себя стало жалко, и она раскачивалась, подперев рукою щеку... Неужели даже следов от ее ног не осталось на этом лужке, а сколько раз с Колей вперегонки бегала она к заброшенному погосту, чтобы ловить там кузнечиков, среди камней и зеленых бугорков... А с погоста виден пруд...

— Пруд,— сказала Аннушка,— как я забыла к нему сходить.— И она пошла, огибая село по выгону, к тому березовому полуостровку, где вчера спал и бредил Коля Шавердов. Сев над водой, Аннушка сняла шляпу и прищурилась, вспоминая далекое. Под березками

было темно и влажно. Аннушка с веселой улыбкой расстегнула кофточку, развязала шнурки юбок и, освободившись от всего этого, стала разуваться.

Оранжевое солнце склонялось у того края пруда за деревья. Аннушка, смеясь, схватилась рукой за ветку, опустила ногу в пруд... В это время хрустнуло позади, Аннушка быстро обернулась и увидела за березой Сашку, делавшего ей знаки рукой.

— Уйдите,— воскликнула Аннушка, прикрываясь рубашкой,— видите, я раздета.

Сашка вылез из-за дерева и, помахивая карточкой, проговорил сбивчиво:

— Ты не фыркай, у меня документик есть... Будешь добрая — разорву, а не то в газете пропечатаю.

Сашка задыхался немного; от волнения рука, державшая карточку, дрожала и прыгали щеки...

— Убирайся, дрянной мальчишка! Какой документик? Я стану кричать...— путаясь в платье, громко шептала Аннушка и глядела в круглые глаза Сашке. Он медленно подходил.

Так, пятясь, Аннушка оступилась. Сашка схватил ее за голые плечи и зашептал у самых губ:

— Аннушка, сдайся, я ласковый...

И, захватив ее руки, стал ломать, наваливаясь грудью. Аннушка молчала, чувствуя, как слабеют и разгибаются мускулы, застилает глаза...

— Не надо, пожалейте меня,— тихо сказала она.

Сашка тогда, высоко сигнув, навалился и ударил Аннушку коленкой, но в это время громко заговорили совсем близко грубые голоса и на волосы девушки наступил сапог. Сашка рванулся, отделился от ее тела, поднялся на воздух и протяжно, как заяц, которому пускают в нос соломинку, закричал.

Аннушка, слыша только этот крик, оперлась руками о землю и побежала между деревьев. Один раз взглянула она на рыжего мужика, державшего под мышки Сашку, двое других, тоже рыжих, били кулаками в Сашкин открытый и окровавленный рот.

— Оставьте,— закричала Аннушка; все надрывалось в ней от громкого воя... Мужики уже отпустили

Сашку и, наклонившись, копошились, тяжело дыша. В это время дорогу ей преградил Коля Шавердов.

— Аннушка,— сказал он, заломив руки...

Не останавливаясь, хлестнула его Аннушка по щеке и побежала на косогор. Коля присел, вынул платок и стал сморкаться.

В ту ночь на площади перед лавкой две бабы и отставной солдат слушали вопли и крики, глядя в окна шавердовского дома, где, таская друг друга за волосья, бранились Каролина Ивановна и вдовая попадья...

Да еще по узкой дороге между хлебов и ковыля потряхивалась, дребезжа, плетушка, на козлах сидел дьяк Матвей Паисыч, позади него, лежа калачиком на сене, горько плакала Аннушка, уткнув лицо в ситцевую подушку...

Месяц светил и летел навстречу обрывкам ночных облаков; по той же дороге шел Коля Шавердов. Прицепив к поясу узелок и стуча палкой, думал он, что никогда уж больше не вернется в проклятое село... А что делать будет — не все ли равно, лишь бы жить в городе, где Аннушка...

Заглянул месяц в попадьин дом, сквозь щель ставни, за которой, свесив с кровати голову, стонал и отплевывался Сашка, клянясь завтра же поджечь Шавердовых со всеми потрохами... Но это ему не удалось...

Месяц закатился за родными местами и, когда нужно, снова взошел и светил, и летом и зимою, много годов на село, на степь, на приволжский город, где на крутом берегу, невдалеке от пароходной конторки, торговал Коля Шавердов в своей лавочке лимонадом, арбузами и воблой...

Однажды Коля, подвешивая связку ядреных баранок на дверь, увидел извозчика, взбиравшегося от конторки в гору; на пролетке лежали чемоданы и желтые сундучки, а среди них, закутанная в зеленую вуаль, сидела Аннушка, усталая и постаревшая, придерживая рукой крошечную собачонку... Коля снял картуз, низко поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Анна Матвеевна, с приездом...—

Но Аннушка не обернулась, должно быть не слыша за грохотом колес...

Все тот же месяц выглянул однажды сквозь снеговые облака, побежал вдоль холодной стали рельсов; между ними по занесенной снегом насыпи шел Сашка, пробираясь после долгих, тяжелых лет в родные места, где, должно быть, все уже умерли...

Сунув обмерзшие руки в рваные рукава, подставляя плечо вьюжному ветру, спотыкался Сашка и все брел, не оглядываясь, в страхе, что догонит его стражник или повалит буран... Только в отчаянии может помыслить человек — пробраться за десятки верст сквозь снеговую степь, где живой только он один и то ненадолго.

ПАСТУХ И МАРИНКА

В крымских горах, по ущельям, над синим морем живут маленькие добруши.

Ростом они не больше зайца, когда тот, услышав свист, сядет на хвост, подняв одно ухо; ноги у добрушей покрыты красной шерстью, а голова и грудь женские.

В сумерки быстро влезают добруши вверх на острые скалы и, вертя, как птицы, головой, высматривают — не заснул ли где-нибудь на плоской лужайке молодой пастух.

И, если увидят, скатываются клубком вниз, и одна ляжет кошкой на грудь пастуху, другая гладит ему ладошками щеки, третья шепчет на ухо:

— Что ты, пастух, спишь? В долине на песке сидит девушка и глядит на синее море, которое унесло девятой волной ее одежду.

Засмеется пастух во сне на такие слова, подумает — наверно, это бриз зашелестел сухим кизилем — и так, сонный, захочет спуститься в долину. Хорошо ему, если все тропы знакомы,— сойдет без труда, разве обдерет на сучке холщовые портки, а заблудится — сорвется под кручу и, растопырив руки, долго будет лететь по острым камням, пока, ахнув, не ударится насмерть у морского прилучья.

Рады тогда добруши, пляшут на козлиных ногах и, ложась, заглядывают вниз на глупого человека, покатываясь птичьим смехом, а из ущелья отвечает им позык.

Весело добрушам и в лунные ночи... и также, когда ветер, долетев с пенного моря, бьет камнем о скалы, и рвет кусты, и хлещет дождь.

У костра сидели Михайло и его дед, а овцы легли на склоне, а выше всех стоял неподвижный, словно камень, сторожевой козел с крутыми рогами, выше звезд.

Много доброго говорил дед Михайле: про огонь в море разбойничьего баркаса, что летит, не касаясь волны, по ветру и против ветра; про звезды, о которых никто ничего не знает; про огонь рассказывал дед, беря пальцами уголек, чтобы закурить трубку, а Михайло молчал, гневя этим деда.

— Что же ты заклеил рот,— сказал дед,— или добруши тебе нашептали глупые сказки? Смотри, как бы не побил я тебя...

— Не весело мне,— ответил Михайло,— должно быть, я скоро помру...

— Я знал, что ты дурак,— сказал дед,— неужто я не могу различить весеннего козла, когда он воняет шерстью, мычит и лезет куда ни попало, от козла осенью; борода у него тогда в репейниках и брюхо гора горой. Я тоже был молодой, и мне хотелось в долину к девчонкам бегать, но отец хорошо меня учил ременной уздечкой. Я слышал, как ты кричал давеча: «Маринка, не нужно ли тебе козьего молока?» Подивился я, думаю — зачем это девке молока понадобилось, когда она купается...

Михайло, глядя на огонь, засмеялся, и козел наверху медленно повернул рогатую голову.

Луна в эту ночь, задолго еще до вечерней зари выйдя из моря, ясная и полная, стояла над острыми пиками синеватых скал, тени которых, черные, как смола,

покрывали костер, заснувшего деда и многих овец, другие же овцы лежали на свету неподвижные и белые, как валуны. Но напрасно добруши, вытягиваясь на козлиных ножках, высматривали с вершин, заслонясь от лунного света, спящего пастуха Михайлу,— быстро сходил он по крутым тропинкам в долину, то перехватываясь за корни и выступы камней, то, сев на палку, скатывался вниз вместе с землей и травою.

Направо от него, внизу, от берега до окоема, играла ясная полоса света, и по обеим сторонам вода казалась чёрной и тяжелой; но Михайло и не оглядывался даже на море, он выбирал такие тропки, чтобы ни разу ни скала, ни дерево не закрыли от его глаз белой сакли, у окна которой сидела Маринка.

А Маринка, лежа грудью на окне, пела песню, волосы ее были перевязаны широкой тесьмой на красной шерсти, а в темных, как вода, глазах горели два лунных зрачка.

Михайло перескочил каменную изгородь, нагибаясь, чтобы не видно было, проскользнул виноградником до угла белой сакли и присел, слушая Маринку. Маринка пела негромко:

Сухая трава пахнет полынью,
А земля вечерним солнцем;
Я люблю запах водорослей...
А ветер — с берега на море,
И томит меня полная луна...

Потянулся из-за угла Михайло и посмотрел: у Маринки лицо бело, тяжелые брови насуплены, и темные губы ее, и голые руки, и вся она словно налилась черной кровью.

— Маринушка,— позвал Михайло,— это я, не бойся...

Марина резко повернулась, отыскала зрачками глаза пастуха и откинулась, а когда Михайло подбежал к окну, створка упала, и изнутри завесились шерстяной юбкой.

Крякнул Михайло — так ему было досадно, даже руками себя ударил по бедрам; пошел потом и лег у изгороди за куст, на котором висели красные барбарисы.

Против гор, по другую сторону лукоморья, лежали коричневые и голые холмы. Когда заре настало время и зазеленели звезды, над холмами снизу поднялись и раскинулись два оранжевых крыла; затрещали цикады, и птицы, которых было мало у морского берега, просыпаясь, запели... Крылья растаяли в свете, разлившемся на полнеба, над жесткой травой, по солончакам и по водомоинам поднялись пауки, и солнце встало, безжалостное и сухое...

Когда освободилось оно совсем от морской прохлады и обожгло не отдохнувшую за ночь землю, вышла Маринка на берег полоскать белье.

Легкие волны, набегая, мочили песок, Маринка сняла рубашку, зашла по пояс в море и окунула всю охапку белья; вынесла его потом на песок и ногами стала засыпать и топтать.

Михайло, сидя за барбарисовым кустом, видел то спину девушки, по которой шевелилась черная коса, то высокую грудь, белое лоно и тугие колени.

Колени поднимались и опускались в мерной пляске Маринки по белью, и ступни ее ног звонко пришлепывали.

И захотел тогда Михайло, чтобы рожала от него Маринка детей; вышел из-за куста и, глядя в сторону, пошел мимо девки.

Увидев Михайлу, присела Маринка, спросив:

— Ты зачем сюда пришел?

— За солью,— ответил Михайло.

— Знаю я, как ты врешь.— Маринка бросила в пастуха песком, поглядела на солнце и сказала: — Уходи отсюда, мне стыдно!

Михайло и в самом деле, не зная, что делать дальше, пошел вдоль берега, где не вязла нога, к подножью гор...

Там, высоко над обрывом, посреди стада, стоял, опираясь на посох, дед и кричал:

— Михайло, эй, вернись в горы! — И овцы, опустив над пропастью головы, блеяли.

Михайло поглядел вверх, потом на то место, где белела вдалеке Маринка, сел на землю и стал скрести в голове...

В полдень, когда солнце раскалилось, как белый уголь, все живое затихло и заснуло, кроме пауков, лежащих, наливаясь ядом, на каменьях, обогнул Михайло Маринкин дом и, зайдя с теневой стороны, увидел девку, которая, не мигая, строго смотрела ему в глаза и ела вишни.

Дыша, как баран на солнцепеке, потоптался Михайло и подошел; тогда Маринка, бросив вишни, сорвалась и полетела по винограднику, а Михайло за ней. У забора он нагнал девку, схватил под мышками и обернул лицом к себе... Маринка открыла рот, чтобы укусить; но, промахнувшись, зубы ее только щелкнули.

— Пусти! — сказала она.— Ты мне не любый...

— Все равно,— ответил Михайло,— здесь нет парня красивее и сильней меня...

— Дурак,— помолчав, молвила Маринка и вдруг закричала...

— Не услышит никто в этакий жар,— сказал Михайло, не помня себя, и подставлял Маринке ногу, пока она и он не упали.

Маринка не оттолкнула Михайлу, но и не поцеловала его ни разу.

Михайло не пошел больше в горы, а с того полудня стал жить в Маринкиной сакле; рано поутру ловил сетью рыбу, искал крабов между камней, а днем перекапывал виноград.

Хорошо ему было жить, но стало бы лучше, когда хоть раз улыбнулась бы Маринка, разжала суровые свои брови.

Луна пошла на ущерб, скоро и совсем пропала, а ночь так быстро стала опускаться, темная и звездная, будто землю сразу накрыли дырявой шкурой...

Крепко спала Маринка в эти ночи рядом с Михайлой на кровати, покрытой кошмой. И заметил пастух, к большой своей радости, что жена его тяжела. Когда Маринка узнала об этом,— отвернулась от Михайлы и заплакала, словно бы со злости.

Утром вышла она на порог и запела:

Кто взрастил тебя, милое мое тело,—
Земля взрастила.
Кто золотом тебя осыпал —
Белое солнце.
А кто навел синие жилы —
Синее море...

— Чего ты ждешь, Маринка, чего ты хочешь? — спросил ее Михайло...

Маринка посмотрела на море и ответила, словно не мужу, а самой себе:

— Родится новая луна, тогда увидишь.

Новая луна родилась из черных туч, выскользнув красным серпом, будто разрезала их, облилась кровью и поплыла между звезд.

Маринка как раз доила козу в медную дойницу, когда на меди блеснул алый свет; подняла баба голову, ахнула, увидев запрокинутые ввысь два лунных рога, пролила ведро и пошла, как слепая, к морю.

Михайло, увидев козу с веревкой на рогах и пролитое молоко, понял, что неладное стряслось, и стал звать Маринку громким голосом...

Тучи в ту пору надвигались, грудились над морем, и первый вестник-ветер сорвал пену с волн.

Тучи открылись, осветились синим светом, и выпал из них на вольный простор гром. Второй ветер, сильнее, поднял валы, кинул на берег, и глухо зашумело море, разбивая лунный свет...

Михайло нашел Маринку на берегу; стоя лицом к ветру, кричала она непонятное, махая, словно зазывая, рукой...

Побоялся подойти к ней Михайло и, прищурясь, стал глядеть — кого это она зовет...

Между пенных гребней — показалось ему — опускались и поднимались как будто зеленые волосы: не то чайки там плавали, не то белые раковины; а к луне из-за тучи протягивался черный рукав.

Увидела это Маринка, пуще закричала и по колено вошла в воду. И вот уже явственно видит Михайло русалку, которая силится подняться над водой и, смеясь, падает навзничь от удара волны. На Маринке волосы растрепались, и она зовет:

— Сестрица, скорей... Тяжело мне.

Упало сердце у Михайлы, зажмурился он и, забежав в воду, схватил Маринку за край рубахи, крича:

— Идем домой, оставь свои проклятые дела...

И не понял Михайло, как случилось,— испугалась, видно, его Маринка, закричала, вырвала подол и канула в море — и она и русалка, а вслед им налетела волна.

А луну закрыл черный рукав, и ветер грохотал один по вольному раздолью.

Костер давно разнесло ветром; тесно прижимались друг к другу овцы; посреди их, завернувшись с головой в чапан, сидел, прислонясь к валуну, дед, охая понемножку, потому что очень ломило от холода старые колени.

Думал дед о черном ягненке, что сорвался с кручи, о чабанском своем псе, убежавшем от стада за барсуком, о Михайле же совсем не думал, не желая даже имени его вспоминать ночью.

— Куда это пес мой забежал? — проворчал дед и свистнул. Ветер сорвал свист, понес в ущелье, ударил и растрепал, как птицу.

А в ответ свысока долетел слабый крик:

— Дед, где ты? Я ничего не вижу...

Всполохнулся дед, живо приподнялся, прислушиваясь, ответил было «ого-го!», но ветер опрокинул старика на старое место.

Ударился старик спиной о валун и лежал, не двигаясь, до утра.

А под утро заморосил дождь, и солнце, поднявшись из-за гор, ускользнуло прямо в серые тучи.

Отряхивая шерсть, заблеяли мокрые овцы, вставали сначала на передние ноги, потом на задние и брели в ущелье к ручью, где мягче была трава.

А позади, плохо разгибая застывшие колени, шел дед и вдыхал запах шерсти...

Но вот передние овцы шарахнулись, сбились в кучу и затоптали.

Дед, держась рукой за ветку, перегнулся над кручей и посмотрел, уронив и посох и шапку.

На дне ущелья, ничком, раскинув руки, лежал Михайло, и около него в сырой земле, словно от веселого танца, остались вдавленными двукопытные следы, слишком маленькие, чтобы быть овечьими.

МЕСТЬ

1

Февральский сильный ветер дул с моря, хлеща дождем и снегом вдоль улицы, лепил глаза, барабанил по верхам экипажей, забивал хлопьями огромные усы городовому, брызгал из кадок и надувал полосатую парусину на подъезде спортивного клуба барона Зелькена...

Придерживая полы раздувающейся шубы, прикрываясь воротником, в подъезд быстро вошел небольшого роста человек; сдерживая нетерпеливые движения, сдернул перчатки, сбросил великану швейцару шубу и, положив ладонь на пробор, вгляделся у зеркала в суженные свои зрачки; лицо его было нервное, худое, с небольшими усами и русой бородкой. Оглянув себя, поморщился...

— А вас, Александр Петрович, ждут... Барон уж три раза спускался сюда,— все не едете,— густым голосом сказал швейцар.

— Все в сборе?

— Только вас и дожидаем.

Александр Петрович Сивачев взбежал по красному ковру лестницы, на второй площадке потрогал сердце, нахмурился...

«Так нельзя, проиграю.— Он лениво опустил веки, поднялся еще на один пролет и нажал ручку тяжелой

двери.— Ужели удача? Да, иначе быть не может, иначе...»

В длинном и низком зале спортивного клуба, громко разговаривая, ходили молодые люди в черных визитках, в студенческих сюртуках, в гимнастических фуфайках. Из конца в конец шнырял короткий и крючконосый барон Зелькен, блестя глазами подагрика и пломбами зубов. Все, и особенно Зелькен, были взволнованы: сегодня на пари в тридцать пять тысяч состязались князь Назаров и Сивачев.

Князь был богат; отец его, суконный фабрикант, купил в свое время в Италии титул и завещал сыну раз и навсегда показать, какие такие есть на свете князья Назаровы. Александр Сивачев жил, как уверяли друзья, «на проценты со своих долгов». Сегодняшнее пари было решающим для него: выигрывая его, он выигрывал жизнь. Проигрыш — гибель.

Князь, одетый в клетчатое, просторное, как мешок, платье, долговязый, с оттянутым подбородком, стоял поодаль у стены и лениво переминался, стараясь гримасами показать двум своим постоянным льстецам, Жоржу и Шурке, что они такие же свиньи, как и все люди вообще.

— В сущности это почти дуэль,— сказал Жорж.

— А не хотел бы я быть на месте Сивачева,— сказал Шурка.

— Он сам виноват, таких учат,— брезгливо ответил князь. На щеках у него выступили красные пятна, глаза забегали: в зал вошел Сивачев. Он извинился за опоздание и с улыбкой поклонился князю; тот торопливо ответил и, будто застыдясь торопливости, строптиво вздернул голову.

— Начинайте, начинайте,— заторопили все.

В конце залы на окованном и подбитом железом щите укреплена была мишень, отступя десять шагов, протянули на столбиках пеструю веревку; за зеленым столом сели судьи; барон, свернув жребии, тряс их в котиковой шапке.

— Господа участники,— сказал он взволнованно,— правила состязания следующие...

2

Год тому назад князь Назаров, сидя на Крестовском в кафешантане за бутылкой шампанского, отчаянно скучал. Постоянные компаньоны его, Жорж и Шурка, отсутствовали, женщины надоели, все насквозь было известно. Грызя миндаль, морща кислое лицо, он разглядывал безголосую «этуаль», прельстительно вертевшую подолом среди цветов на эстраде... «Стерва,— думал он,— раздеть ее в кабинете, да и вымазать горчицей, только и стоит».

Скверное настроение князя Назарова усугублялось еще и тем, что наверху, над столиком, где он сидел, за окном кабинета слышалось цыганское пение и порою такой громкий, раскатистый, веселый хохот, что князь невольно косился на плотно занавешенное окно. «Хамы,— думал он,— вот хамье...» Наконец он подозвал лакея и спросил:

— Кто там шумит?..

— А это, ваше сиятельство, господин Сивачев третий день бушуют и хор задерживают. Даже кровать приказали поставить. Ничего с ним не можем поделать...

— Какой Сивачев?.. Синий кирасир?..

— Так точно, ваше сиятельство...

Этот синий кирасир, Сивачев, не давал покою князю Назарову; он был адски шикарен, красив и, как никто, имел успех у женщин. Где бы князь ни появлялся — в кабаке, на скачках, в балете, на Морской в час гулянья, на Стрелке,— всюду поперек горла становился ему синий кирасир. За плечами его клубилась скандальная слава отчаянного кутилы, беззаботного игрока и обольстителя женщин... Все бы на свете отдал Назаров, чтобы так же, как этот наглец, проматывающий последние деньги, пройтись по крепкому морозу в распахнутой бобровой шинели, нагло звякая шпорами, небрежной улыбкой отвечая на взволнованные взгляды женщин... У князя распухала печень при мысли о Сивачеве...

Сейчас, например, он видел, что взгляды всех сидевших в зале обращены на окна кабинета, где буше-

вал Сивачев. Князю нестерпимо захотелось попасть туда... Он даже засопел от возмущения,— а все-таки хотелось: только там, черт возьми, было весело...

Кончилось это тем, что он послал в кабинет записку, полную унижения и наглости. Сивачев должен был знать про миллионы князя Назарова. Нищий аристократишка, что бы там ни было, но согнется в три дуги. Несомненно! А все же у Назарова екало сердце от робости, и он до бешеного сердцебиения сердился на себя. Вышло так, как нельзя было и ожидать: штора на окне кабинета отогнулась резким движением, окно раскрылось, и в нем, облокотясь о подоконник, появился синий кирасир. Он был бледен, под глазами — круги, мундир расстегнут, шелковая сорочка помята, на шее, нежной, как у женщины, висела связка образков и ладанок. Он был так жутко красив и странен, что чей-то женский голос в зале ахнул громко: «Ой! Красавчик!..»

Рядом с Сивачевым стоял лакей, державший записку Назарова. По приказу Сивачева он согнутым мизинцем осторожно указал на князя. Само собою вышло, что князь приподнялся, кланяясь. Но синий кирасир не ответил на поклон. Одна бровь его пьяно полезла вниз, другая задралась.

— Пошли его к черту,— отчетливо произнес он, и штора упала...

Скандалец этот получил некоторую огласку. Тысячи способов мщения приходили Назарову в голову — дуэль, мордобитие, скупка сивачевских векселей и так далее. Но ничего поделать было нельзя. Оказалось, что та ночь на Крестовском окончилась плачевно: Сивачева увезли домой в белой горячке. Кроме того, Назаров узнал, что его враг проматывал тогда последние деньги: он был разорен.

Сивачеву пришлось выйти из полка. С полгода его нигде не было видно... Осенью Назаров встретил его в балете,— он был уже в штатском,— во фраке, сидевшем на нем, как перчатка. Назаров почувствовал, что голова сама так и гнется — поклониться Сивачеву... Это было как болезнь... Он навел справки,— выяснилось, что Сивачев получил какие-то деньжонки от вовремя умершей

тетки, но, в общем, крайне стеснен в средствах... Все же он всюду бывал,— самый элегантный человек в Петербурге. Назаров невольно стал подражать ему в уменье носить платье, цилиндр, выбросил бриллиантовые перстни и запонки, перестал разваливаться в экипаже. Когда ловил себя на всем этом,— скрипел зубами от ярости. Он делался тенью Сивачева. Он искал с ним знакомства.

Наконец их представили друг другу. Сивачев сказал подобающие в этом случае учтивые слова, но к себе не подпустил ни на волосок. При встречах с тех пор он всегда первый кланялся, и затем Назаров как бы переставал существовать для него.

Однажды они встретились в спортивном клубе барона Зелькена, куда Назаров заезжал каждый день — стрелять. Прихлебатели, Жорж и Шурка, затеяли спор о стрельбе. Стали состязаться. Назаров и Сивачев стреляли почти одинаково. Затем Назаров пригласил всю компанию к Донону завтракать. Назаров шепнул Зелькену: «Непременно тащите Сивачева...» Сели на лихачей, запустили по Невскому. У Назарова прыгало сердце от возбуждения и радости. За столом он сел напротив Сивачева... Он рассматривал это ненавистно красивое лицо, в величайшем возбуждении тянулся к нему с бокалом, чокаясь... Опьянев, откинулся на стуле, засунул между зубов зубочистку:

— Господа, сегодня мы стреляли с Александром Петровичем Сивачевым. Говорят — мы равны по силам... Я утверждаю, что я сильнее и перестреляю Александра Петровича... Что? Не согласны?.. Александр Петрович, желаете пари?.. Из десяти выстрелов — десять в точку... Что?

— Хорошо, держу пари,— ответил Сивачев.

— Ваше слово... Ага!.. Но зачем же так — всухую... Держу пари на тридцать пять тысяч...

Сивачев мгновенно побледнел, лицо его стало злым. За столом — ни дыхания. У Зелькена апоплексически начали выкатываться глаза...

— Держу,— ответил Сивачев и ледяным взором взглянул в оловянно-мутные глаза князя Назарова.

3

Вытянув жребий, Назаров с коротким хохотом сказал: «Ага, я первый...» Подошел к веревке. Ему подали пистолет... Осмотрев, поджал губы и, почти не целясь, выстрелил.

— Есть,— тихо сказал Зелькен, глядя в бинокль.

В зале все стихли. Назаров выстрелил еще и еще. Все пули ложились в центральный черный кружок. После десятого выстрела он наклонился, всматриваясь.

— Не умеете заряжать,— грубо крикнул он Зелькену и швырнул пистолет на пол: пуля отошла на полдюйма, но все-таки это был верный выигрыш. Все окружили князя. Он лениво потряхивал натруженной рукой и собирался чихнуть от порохового дыма, ходившего под низким потолком. Жорж ударил себя по колену, Шурка визгливо хихикал.— Ну что же, может быть, Александр Петрович отказывается теперь от пари? — сказал Назаров насмешливо...

Не ответив, Сивачев подошел к веревке, заложил левую руку за спину, раздвинул ноги, отыскал ими верную опору. Касаясь пистолета, он почувствовал, что мускулы тверды и напряжены свободно... Он посмотрел на десять черных кругов мишени. Круги зарябили и поплыли. Сивачев закрыл глаза и снова взглянул; теперь различал он одну только среднюю точку и ее продолжение — обе мушки. «Надо взять на дюйм с четвертью ниже, вот так». Он выстрелил... «Центр»,— сказал Зелькен. После выстрела рука его стала стальной, сердце хорошо, покойно билось. Он выпустил еще четыре пули. Оглянулся на Назарова. У того лицо застыло в гримасе. Сивачев отошел от веревки на пять шагов, снова взглянул на князя.

— Это не меняет пари, правда, князь? — спросил он небрежно и с этого дальнего расстояния всадил остальные пять пуль, одну как в одну. Протянул кому-то из стоящих пистолет, слегка поклонился и пошел к двери.

Раздались аплодисменты. Сивачева окружили. Зелькен, поздравляя, тряс его за руки... Тридцать пять тысяч здесь же были переданы ему Жоржем и Шуркой,— Назаров вышел раньше, ни с кем не простившись.

4

Дождь хлестал в окно автомобиля, где, засунув в меховой воротник злое лицо, сидел Назаров. Напротив него уныло дрогли Жорж и Шурка, один горбоносый, другой — нос башмаком, в чем только и было у них различие.

— Омерзительная погода,— закатив оловянные глаза, сказал Жорж.

— Куда бы нам поехать? — прошепелявил Шурка.— Черт знает какая скука...

— А, по-моему, с этим Сивачевым так нельзя оставить...

— Прошу о Сивачеве не напоминать,— бешено крикнул Назаров. Друзья пришипились, замолчали. В окно хлестало грязью...

— Послушайте, господа, pardon, я все-таки скажу,— зашепелявил Шурка,— я придумал план. Вы согласны?

— Какой план?

— Дело в том, что мы страшно будем хохотать... Мы лишим Сивачева этих денег... Согласны, князь?..

Назаров только засопел, не ответил, но явно это было знаком согласия. Шурка постучал длинными ногтями шоферу и дал адрес на Кирочной. Густой снег сразу залепил воротники и цилиндры вылезших из автомобиля молодых людей. Шурка стал звонить в сомнительный подъезд.

— Дома Чертаев? — спросил он у горничной.— Идем, господа.— Они сбросили шубы и вошли в накуренную столовую. Под абажуром у стола сидели двое — стриженый, словно каторжник, высокий человек, с глубокими морщинами и черными, как у турка, усами, и старый какой-то полковник. Из двери в спальню высунулась рыжая растрепанная голова молодой женщины в черном китайском халате.

Человек с усами поднялся и проговорил басом:

— Ба, ба, ба,— да это Шурка... И Жорж (он вопросительно уставился на Назарова)... Имею удовольствие...

— Аполлон Аполлонович Чертаев,— подскочил к

Назарову, представил его Шурка.— Князь Назаров... Полковник Пупко... Князь Назаров...

— Очень приятно,— прибавил Чертаев.— Садитесь, ваше сиятельство... А мы, кстати, кофеек собрались пить...

— Дорогой,— похлопывая Чертаева, сказал Шурка,— мы к тебе по важному делу. Нужна твоя услуга, твое уменье, если хочешь, и все такое прочее...

— Что же,— рад служить... Так что же — кофейку, князь?..

5

В тот же вечер Сивачев ходил у себя в номере по вытертому ковру. Две свечи горели на туалете, где в поцарапанном зеркале отражались разрозненные флаконы для духов,— остатки роскоши, поношенные галстуки, пара дуэльных пистолетов и пачки кредиток,— тридцать пять тысяч,— разложенные на ровные пачки.

«Сомнения быть не может,— стряхивая ногтем пепел с папиросы, думал Сивачев,— я заплачу по тем фамилиям, которые подчеркнуты (у него имелась книжечка, где против фамилии стояла черта, нолик или крест); нолики подождут, а крестики — когда-нибудь... Итак, у меня остается две тысячи восемьсот... (Он взял одну из пачек, пересчитал и сунул в боковой карман.) Скажем — это сегодняшний вечер... Завтра я уплачиваю самые позорные долги... А что — дальше?

Он продолжал хождение по вытертому ковру... Нищета этой гостиничной комнаты, безнадежность завтрашнего дня, непомерная усталость — ощутились им именно сейчас, когда он держал в руках деньги... Он вдруг почувствовал, что — погиб, что он давно уже погиб... Все растрачено, прожито, развеяно по ветру... И сил жить, бороться не было... Служить — на гроши,— нет!.. Жениться на богатой,— бред, бред!.. Словом, он почувствовал с необычайной ясностью, что если сейчас же не закрутится в чертовом вихре, не забудется,— то неизбежен единственный выход: он тут под руками...

Еще раз Сивачев просмотрел список долгов... Вырвал страничку с ноликами, черточками и крестиками, скомкал, швырнул, сунул все деньги — все тридцать пять тысяч — в карман, надвинул на глаза бобровую шапку: «А, черт, все равно!..» — и быстро вышел из номера.

Мрачно шумели оголенные деревья на островах, куда мчал его лихач. На Крестовском швейцар кинулся высаживать. Сивачев вошел в теплый, устланный красным бобриком вестибюль, где пылал камин. Привычный запах кабака вздернул его нервы. У огня стояла рыжая великолепная женщина в собольем палантине. Из-под огромной шляпы с перьями глядели на Сивачева расширенные зрачки темных тяжелых глаз. Со смехом он взял красивую руку женщины и поднес к губам:

— Вы здесь одна?

— Да...

— Проведем вечер вместе?..

Под собольим мехом ее розовое плечо приподнялось и опустилось. Ало накрашенные губы словно нехотя усмехнулись. Она освободила правую руку из-под меха и просунула ее под локоть Сивачева. Они вошли в зал.

— Здесь скучно... Может быть, пройдемте в кабинет?

— Пройдемте...

— Я вас никогда раньше не встречал... Как вас зовут?

— Клара...

6

После полуночи лихач, с храпом выбрасывая ноги, уносил Сивачева и Клару по набережной. Нева вздулась, и черно-ледяные волны плескались совсем близко о гранитный парапет. Обхватив Клару, Сивачев наклонился к ее лицу, отвернутому от резкого ветра, вдыхал запах духов, меха и вина.

— Ну, что еще? — сказала Клара, прижимаясь к нему.— Ну, что?..— Сивачев прильнул к ее губам: они были нежные и теплые,— она запрокинулась, подняла

руку. Шапку его сорвало ветром, она прикрыла ему голову муфтой.

— Довольно,— отрываясь, сказала Клара,— слушай: если у меня сидят, ты входи, все равно нам не помешают...

— Я люблю тебя...

— Ну, уж в это-то я не верю...

— Молчи, молчи, ты все равно ничего не поймешь... Эта ночь моя, эта ночь наша...

В доме на Кирочной окна были освещены. Клара опять зашептала: «У мужа гости, ты заходи, мы всех спровадим». В темном подъезде она скользнула поцелуем по губам Сивачева. Он взошел за ней, как в чаду, ничего не видя.

В столовой, пыхая дымом, Чертаев и полковник Пупко пили коньяк и ликеры; Пупко крутил бакенбарды, разноцветный нос его сиял; увидев Сивачева и Клару, он опустил брови и запел басом: «Он ей сказал: клянусь я вам, я жизнь и шпагу — все отдам для поцелуя». Чертаев, поведя усами, отошел к буфету и достойно поклонился. Сивачев едва ответил на приветствие. Клара сердито топнула ногой: «Опять напились, убирайтесь отсюда, пьяницы!» Она растопырила пальцы, как маленькая, и шепотом Сивачеву:

— Что с ними делать?.. Пьяные оба...

— Люблю,— сказал Сивачев.

— Тише, молчи... Знаешь что — надо их в карты усадить играть... Проиграй им какую-нибудь мелочь... Они будут очень довольны, оставят нас в покое...

Согнутым коленом она коснулась его ног... Шептала, бормотала, дышала в лицо горячим дыханием. От волнения, духоты, вина — Сивачеву стало дико на душе.

Сизоносый Пупко кричал, мотал бакенбардами:

— Желаю выиграть руп двадцать...

Чертаев все с тем же достоинством начал раскрывать ломберный стол. Зажег свечи...

— Я мечу банк,— кричал Пупко,— руп двадцать!..

Сивачев сел к столу, Клара — рядом, положив голую руку ему на плечи. Он вынул из кармана, не глядя, пачку денег, сдал и выиграл. Клара засмеялась. Пупко, схватив себя за бакенбарды, разинул рот, пялился на

свет свечей, хрипел. Сивачев опять сдал и снова выиграл. Тогда Чертаев спросил его хмуро:

— Примете вексель?

«Ох, слишком везет, не надо играть»,— быстро подумал Сивачев. Клара подала стакан с вином, он выпил залпом. Пупко ерзал бакенбардами по кредитным бумажкам.

— Ва-банк,— сказал Чертаев, закусывая длинный ус, и — выиграл. Теперь стал метать он. Сивачев ставил, не считая, и проигрывал. Из-за плеча белая Кларина рука опять поднесла ему стопочку огненного напитка. «Гибну, гибну»,— подумал он с диким весельем. Пупко теперь перестал кривляться, багровое лицо его было серьезно. Чертаев сдавал все так же мрачно и невозмутимо.

— За вами семь тысяч,— сказал он. Сивачев полез по карманам. Там ничего больше не было. Клара исчезла.

Сознание гибели словно пронзило его от головы до коченеющих пальцев. Сквозь сигарный дым лицо Чертаева казалось страшным, как у разбойника.

Упал стул. В дверях прихожей стоял князь Назаров, с боков его кривлялись две морды, Жоржа и Шурки. Сивачев провел рукой по глазам. Поднялся. Назаров, отвратительно улыбаясь, сказал:

— Не одолжить ли вам, сударь, несколько денег...

Тогда Сивачев глухо вскрикнул, поднял стул, замахнулся им, но сзади насели на него, поволокли к двери, выпихнули на холод, вдогонку швырнули пальто.

Сивачев ухватился было за угол дома, но, скользя, сел на ступеньки, и так сидел, засыпаемый, при свете фонаря, мокрым снегом.

7

Прошла зима... Невский клуб, известный в ту пору крупной игрой, гудел, как улей. У золотого стола стояла толпа, жадно глядя, как люди в смокингах поднимали скользкие карты, осторожно заглядывали в них, и на сукно сыпалось золото и бумажки.

Банк метал Сивачев, не спеша раздавая карты. Его

лицо сильно изменилось за это время, осунулось, пожелтело, между бровей лежала резкая морщина... Через стул от него сидел Чертаев. Напротив — князь Назаров,— этот был, как в лихорадке, красный — пятнами, весь обсыпан сигарным пеплом... Карты дрожали у него в пальцах.

В толпе, окружавшей стол, расспрашивали про Сивачева. Он играл в клубе всего третий раз... Говорят, в первый-то раз пришел худущий, страшный... Но ему дьявольски повезло оба раза... А сегодняшний банк перевалил за сто тысяч...

Никто из присутствовавших не знал, что месяц тому назад Чертаев, зайдя однажды в один из карточных притонов у Пяти Углов, чтобы поиграть для души — честно и недорого, в подвальной комнате, где резались в «железку», увидел Сивачева, но такого обшарпанного, с ямами на землистых щеках, с воспаленными глазами, в грязном белье, что, не стесняясь, взял его под руку:

— Александр Петрович, вот не ожидал, дорогой... Идем водку пить.

У Чертаева мгновенно возник особый и замечательный план, и, хотя Сивачев, быстро обернувшись, оскалил зубы и скользнул было в толпу «арапов», он, добродушно хохоча, увлек его в грязный буфет и, глядя, как тряслась у Сивачева рука, держа студеную рюмку, сказал ему, значительно подмигнув:

— В нашем деле, Александр Петрович, главное — верная и точная рука. Эка у вас как трясется...

— Идите к черту,— ответил Сивачев,— денег, что ли, хотите дать?

— Давно в таком положении?

— Пью четвертый месяц.

— Значит — вдрызг, до нитки?

— А вам какое дело?

— Послушайте, Александр Петрович, вы — дворянин, так нельзя все-таки, вы даже, вот видно, и не мылись.

Сивачев с бешенством поглядел на Чертаева, потом уперся локтем о столик, перекосился и вдруг легко, по-алкоголичьи заплакал. Крепко взяв его повыше локтя, Чертаев сказал:

— Вы должны мне довериться... Мы все поправим...

Сивачев задвигал бровями, силясь понять; глаза его на минуту, словно прояснев, расширились:

— Вам, что ли, нужен свеженький, для гастролей?..

— Да!..

Тогда Сивачев медленно схватил себя за голову, глаза его закатились,— скрипнул зубами, но — и только... Чертаев увез его к себе, вымыл в ванной, и Сивачев ровно сутки спал у него на диване... Затем Чертаев много с ним говорил, посоветовал к нему переехать жить на некоторое время, на что тот без возражения согласился... Оказалось, что у него не было даже перемены белья. Чертаев все это ему купил и в продолжение одиннадцати ночей обучал Сивачева знаменитому чертаевскому приему с шелковым поясом, который надевался под жилет,— в нем скрывалась «накладка», или особым образом стасованная колода. Неожиданно Сивачев проявил большие данные. Было условлено, что Сивачев играет только три раза. Двадцать пять процентов с выигрыша идут в его пользу, остальное — Чертаеву. Сивачев и на это согласился...

Сегодня после огромного напряжения Сивачеву удалось, как и в первые два раза, незаметно положить «накладку» (Чертаев затеял в это время ссору в другом конце стола). В «накладке» было шестнадцать ударов,— целое состояние... Девять раз он уже прометал. Князь Назаров шел все время ва-банк. В это время к Чертаеву подошел Шурка и шепнул:

— Сегодня Сивачев купил билет в Париж,— понимаете?..

Сивачев убил десятую и одиннадцатую карты.

В банке было восемьсот тысяч... На всех столах бросили играть, столпились у золотого стола. Тогда Чертаев, перегнувшись через соседа, сказал:

— Александр Петрович, возьмите меня в половинную долю.

— Нет,— резко ответил Сивачев...

— Двадцать пять процентов мои?..

— Нет.

Князь в это время пошел опять ва-банк. Сивачев убил и двенадцатую карту.

В зале стало слышно, как со свистом дышит кто-то апоплексический... Князь вынул платок и отер череп...

— Ва-банк,— сказал он...

— Десять процентов? — спросил Чертаев.

— Нет,— как ножом полоснул Сивачев...

Тогда Чертаев поднялся, ударил костяшками руки по столу и крикнул:

— Господа, прошу снять деньги: карты краплены.

У Сивачева сейчас же упали руки. Он позеленел, отвалилась челюсть.

— Я был уверен в этом, мерзавец! — закричал ему Назаров, схватил, царапая по сукну ногтями, три карты, разорвал их и бросил Сивачеву в лицо.

Сивачев поднялся, рванул на себе фрачный жилет, из-за шелкового пояса вытащил обменную колоду, подал ее князю и кинулся в ревущую толпу...

Утренняя заря ударила в окна, вдали загромыхала по рельсам первая конка, а Сивачев все еще сидел у себя в номере, курил, глядел на высокие над Петербургом розовые перья облаков.

Мыслей не было,— только мчались воспоминания, иногда сожаления. До мелочей припомнился сегодняшний вечер,— весь страх перед тем, как сделать роковое движение, усилие воли и — удача... Зачем он заупрямился? Отдать бы Чертаеву половину... Нет!.. Он чувствовал, что в этом упрямстве он весь... А — Назаров?.. Ну, этот заплатит за все...

Сивачев вынул из ящика пистолет, отмерил пороху, разорвал носовой платок — запыжил, вкатил пульку, забил ее деревянным молоточком и, сунув пистолет в карман брюк, вышел... Но через несколько минут он вернулся, ища папирос... Он избегал зеркала... Папиросы лежали на туалете... Беря их, он все же взглянул на себя... Из мутного зеркала смотрели на него побелевшие глаза, расширенные ужасом... Тогда он осторожно снял шляпу, провел по лбу, где был красноватый рубец от нее, резко отдернул кверху рукав. Приложил дуло к середине лба и, криво усмехаясь, нажал курок...

В ЛЕСУ

1

В начале апреля ночь была темная, а земля такая топкая, что лошаденка, дергаясь в хомуте, насилу выворачивала из колдобин тяжелую телегу, в которой, вцепясь в нахлестки, сидели мужики.

Место было глухое и перекопанное ямами по всей долине, между озерами Кундрава и Лебяжьим на юго-восточном склоне Урала. Налево, невидимый, глухо шумел бор, а в лицо сырой ветер гнал острый и гниловатый запах вскрывшегося озера.

— Смотри, Лекся, не выверни под кручу, держи левее,— сказал один из мужиков тому, кто правил. Правящий нагнулся и, силясь разглядеть колеи, натянул вожжи; лошаденка стала. Тогда явственно послышался плеск воды, мягкий звон и шелест льдин, которые в темноте высовывались на берег, осыпались, и между ними бурлило студеное озеро.

Мужики прислушались — не настигает ли конский топот, не брешут ли собаки. Позади телеги фыркнул, а потом громко заржал краденый конь.

— Замолчи ты, махан,— сказал тот же голос, а другой, с развальцем, произнес:

— По дому скучает...

— Дымком потянуло,— должно, попова заимка.

— Она и есть. Барин спит, по видимости. А не попытать ли сейчас, братцы?

Крякнув, один из мужиков тяжело соскочил наземь, за ним другой и третий; отойдя, они пригнулись, вглядываясь, а Лекся проворчал:

— Ловкачи, только барин половчее, он вас угостит...

В это время совсем близко тявкнула собака, другая, и, заливаясь, принялись бегать псы неподалеку вдоль невидимых сейчас ворот заимки. Мужики сели в телегу, и первый сказал:

— Эдак не ухватишься, мы ловчее подстроим; у него, Наташка сказывала, деньги в земле зарыты. Айда к рыбаку...

Вскоре телега завернула в лес, и собаки с поповой заимки хоть и выбегали, подняв ухо, на поляну и скулили, но уже так — со старого перепугу, и не было слышно более ни стука колес, ни плеска по грязи копыт.

Но струхнули собаки недаром, потому что в станице и кругом лежащих заимках не было казака, который бы ночью в поле, услыхав позади себя грохот телеги, не погнал бы коня, оглядываясь в страхе и думая: «Наверно, это Назарка Черный с товарищами едет на дубовой телеге».

2

Иван Семенович проснулся на поповой заимке, как всегда, в семь часов, сощурился от луча сквозь ставню, сбросил ноги с жесткой кровати, покрытой кошмой, а под ней полынью от блох, и потянулся, распахнув окно. Свежий ветер, пахнущий озерной водой, зелеными почками и навозцем, поднял волосы на голове Ивана Семеновича и омыл заспанные его глаза, зашелестев на столе письмом.

— Хорошо,— сказал Иван Семенович,— ух, как славно,— и высунулся в окно по пояс.

Синее небо было еще прохладно, и по нем плотные, как снег, шли облака, отражаясь в большом озере, то ясном, то, местами, тронутом зыбью. На дальнем берегу, опрокинутая серыми крышами и двумя белыми

церквами в воде, лежала станица Кундрава; направо от нее бежали красноватые поля вплоть до едва видных лиловатых гор, а налево берег круто поднимался, кое-где поросший деревьями и перелесками, отступившими от темного бора. Древний этот бор покрывал всю долину за озером, окаймлял непроходимой чащей Лебяжье, взбирался на хребты, спускался вновь к долинам и залегал вплоть до севера, прорезанный железными путями, вырубаемый у Шайтанских, Тагильских заводов, палимый пожарами, но все еще дикий и темный. Водилось в нем много зверья: и лосей, и коз, и бурых медведей, а на вершинах сосен сидели, прижав ушки, желтые рыси, карауля путника, чтобы с мяуканьем кинуться ему на грудь и перегрызть горло.

Для этого-то зверя и заехал сюда Иван Семенович вместе со слугой Кучерищем и не заметил, как подкатила пасха. Да не все ли равно, где было жить Ивану Семеновичу: на Уральском ли озере, в лесах Кавказа, или на севере, у поморов. Повсюду, где, не совсем еще выбитое, кричало на заре зверье, пели птицы, токовали тетерева, появлялся Иван Семенович с двухствольным ружьем за плечами, ко всему приглядываясь серыми и спокойными глазами, в страхе за одно только — потерять мир бродячей своей души.

— А трава-то ползет,— сказал Иван Семенович, поглядывая на чистую от снега, едва начинающую зеленеть поляну между озером и ветхой заимкой, у завалины которой было уже совсем сухо и пестрая курица на солнцепеке, опустив от удовольствия крылья, караулила пеструю мушку на стене...— то-то, больно уж тревожит меня зеленая травка. Совсем весна.

В это время вошел Кучерище, неся самовар; Кучерище — было прозвище, данное, не знай почему, слуге, который был худ от рождения, долгонос и белобрыс, а выражаться любил высоким слогом. Ставя на стол самовар, он сказал:

— Ночью Назарка Черный мимо проезжал. Надо бы его угостить соответственно ихнему душегубству. Что за подлый народ...

— Какой там Назарка, чего ты мелешь?

— Извольте на колеи посмотреть,— вон как близко

проехал; к тому же я, как от моего организма за ворота выбегал, все и слышал...

Иван Семенович усмехнулся и пошел за перегородку, где Кучерище ковшом принялся поливать ключевую воду на волосатые руки барина, на обветренное от снегов лицо его, улыбка которого была скрыта за каштановыми усами и курчавой бородой.

— А ведь завтра разговенье, Кучерище,— сказал Иван Семенович, фыркая,— приготовь патроны.

3

В апреле вековой лес шумит по-особенному. Нет в нем скрипов и тресков зимней стужи, когда в морозной тишине пробирается по рыхлому снегу лось, нет жалобного свиста мокрых осенних ветвей, не шелестит он медвяно, как в летнее утро, и не рвет его и не клонит с тяжелым шумом гроза.

Весною, когда, ухая по ночам, тают в лесных оврагах снега и ясные ключи поблескивают под желтой травой, когда ветер то угонит за край земли белые облака, то налетит на талые ветви, лес зашумит медленно, словно колдует, зазывая вешние воды.

Иван Семенович, неслышно погружая в мох тяжелые, выше колен, сапоги, медленно шел к Лебяжьему озеру, поглядывая и усмехаясь, как все охотники, стыдливые перед лицом земли. В лощинах и ямах лежал еще серый снег, а на бугорках цвели желтенькие цветы, раздвигая прошлогодние листья; стволы сосен были красноватые, а дубы покрыты зеленым мхом.

Иван Семенович чувствовал в это утро преувеличенную резвость в ногах, поэтому и шел так тихо, не понимая, отчего ему беспокойно; как будто грудь раздвинулась, влетел туда душистый ветер, и сердцу стало пусто; вокруг же набухали почки, все допьяна напивалось солнцем, горело лицо, и руки жег вороненый ствол ружья.

Когда сквозь голый тальник и орешню стала видна ясная гладь Лебяжьего озера, Иван Семенович остановился, подумав: «Так вот куда меня ноги несут».

Сейчас же сделал сердитое лицо, перешел дорогу, на которой чернели две свежие колеи, и повернул было назад, но, втянув через раздутые ноздри запах травы, прелых листьев, смолы сосновой, открыл рот, словно задыхаясь, и сердце сжалось нежно и больно.

— Что за глупости,— громко сказал Иван Семенович,— странно только, почему я зимой даже и не думал о Наташе, а теперь третий день...

Иван Семенович опустил ружье, положил на него обе руки и, зажмурясь, ясно припомнил занесенную снегом на берегу озера, под горкой, избу рыбака Игната, куда, несмотря на дурную славу старика, Иван Семенович завертывал частенько, возвращаясь на лыжах. Под потолком низкой избы на жердях был растянут невод и свешивались гончарные грузила; у закоптелой печи при свете коптилки, в зимние вечера, плел Игнат широкие сети, а если был собеседник, строго выговаривал, не поднимая от бечевы белобородого, иконописного лица своего:

— Пущего нет греха, как теперь пошли безбожники; ты можешь человека, к слову говорю, порешить, и, если имеешь веру, тебе, как разбойнику, все простится,— потому что, убивая, ты знал, значит, на какую себя муку обрекаешь, а муки там зачитаются пуще всего. А вот Наташка — как есть коза, нет в ней души, а грех мой: мало порол.

Наташа, кровать которой по другую сторону печи была задернута кумачовой занавеской, сиживала у обледенелого окошка, глядела через надыханную дырку на большие звезды, а днем — на белые снега озера и мурлыкала песни, не слушая дедовых слов. Стан у Наташи был крепкий, лицо маленькое, нахмуренное, и на нем зеленые глаза. А в избе пахло дымком, рыбьей чешуей, веревками и еще тем опасным, отчего сейчас раздувались у Ивана Семеновича ноздри и приливала к щекам кровь.

— Этого еще не хватало,— медленно проговорил Иван Семенович,— застрять в лесу из-за девчонки... А сейчас она расцвела, наверно, как почка... две недели ее не видал.

Не заметив, как сами завернули ноги, Иван Семено-

вич быстро стал огибать озеро и, ломая ветки, старался поскорее увидать каменистую сопку, по ту сторону которой прилепилась Игнатова изба.

— Вот и горка, и Наташа, кажется, на камне стоит,— сказал Иван Семенович, на миг остановясь и опуская глаза.

На высоком и каменистом пригорке, поросшем между серыми плитами корявой сосной, стояла, упираясь крепкими руками в бока, Наташа и глядела вниз.

На девушке поверх красной и широкой юбки надет был синий кафтан, расстегнутый на высокой груди, а волосы повязаны оранжевым платком, концы которого торчали на затылке двумя ушами.

— Что-то давненько не захаживал,— сказала Наташа низким, срывающимся на смех голосом,— лезь ко мне, я руку протяну.

— Здравствуй, Наташа,— проговорил Иван Семенович, становясь рядом с девушкой на камень.— Пошел было к разговенью козочку подстрелить, да, видишь, к тебе ноги занесли. Ты что-то уж очень красивая сегодня.

Наташа обернула высоко поставленную голову, прищурилась, янтарные щеки ее залил румянец, маленький подбородок и рот задрожали, и она засмеялась, толкнув Ивана Семеновича в плечо.

— Петух, право петух, ах ты, сударь мой.

— Чего смеешься... Конечно, красивая...

— Красивая, да не для тебя...

— Сядем-ка сюда, я тебе вот что скажу...

Иван Семенович тронул Наташино плечо, прося сесть, а она вдруг, нахмурясь, отчего брови ее сошлись, взяла ружье и сказала:

— Как тебе не грешно в страстную субботу из ружья пыхать; дай-ка я от греха его к дедушке унесу...

И Наташа быстро побежала прочь, унося ружье; а на краю обрыва обернулась; ветер раздул ее юбку, хлестнул полой кафтана, и она, усмехнувшись, сбежала вниз.

— Наташа,— сказал Иван Семенович,— глупая!— и, потихоньку смеясь, дергал себя за бороду.

Наташа вернулась через минуту.

4

— Дедушка не увидит нас? — говорил Иван Семенович, положив одурманенную голову на колени Наташи.

— Дедушка на эдакую кручу и не влезет,— отвечала девушка, медленно гладя волосы Ивана Семеновича; лицо у нее было бледное, а глаза, будто не видя, блуждали по вершинам сосен, по белым облакам, видным далече с высокой сопки,— да он ведь к заутрени пошел спозаранку; дедушка у нас — богомольный.

— Наташа, почему ты на меня не смотришь, о чем ты все думаешь?

— Как тебе не совестно? — отвечала Наташа.— Я же глупая, а ты меня тревожишь в эдакий день.

Теплые ее ладони, скользнув по волосам, крепко сжали щеки Ивана Семеновича, и, быстро нагнувшись, поглядела она сердито ему в глаза; когда же Иван Семенович потянулся к ней,— медленно отстранилась.

— Я совсем как пьяный, Наташа, дай я поцелую в щеку.

— Нельзя.

— Когда же можно?

— Не знаю сама когда...

Наташа вдруг усмехнулась, словно расцвела, углы ее рта приподнялись, осветились глаза, и, наклонившись так, что грудь коснулась Ивана Семеновича, протянула она вдоль тела его руки и, покачивая головой, молвила:

— Может быть, я тебя и полюблю, очень ты желанный.

Иван Семенович взял ее руки и обвил ими свою шею: глядел на небо, и казалось ему, что белый камень, вместе с пригорком и соснами, медленно плывет под облаками, и в легком этом движении словно уносился Иван Семенович, обнимая Наташу, к облакам, в простор, и сердце падало, сжимаясь. Вдруг со стороны кручи скрипнула дверь, и грубый голос позвал:

— Наталья, подь-ка сюда...

Наташа выпрямилась, сбросила голову Ивана Семеновича с колен, побежала было, но, вернувшись, легко присела, оперлась ладонями в мох, поцеловала в лоб и скрылась.

5

Солнце медленно падало в лиловое облако и, золотя его края, одевало сумерками низины, по полянам протянуло тени дерев и выпустило на волю ветер, зарябивший синее озеро, и вершины глухо зашумели вечерним шумом.

Иван Семенович, голодный и продрогший, все еще ждал Наташу, сидя на камне. Несколько раз подходил он к обрыву, глядя вниз на трубу и земляную крышу избы, на перевернутые сани, обрубок с воткнутым топором и пару продранных лаптей на шесте; все было тихо. Он спускался вниз, трогал запертую дверь и заглядывал в оконце, негромко зовя: «Наташа». Один раз (но это показалось, наверно) всхлипнули в избе или засмеялись...

— Что за безобразие,— то обхватив колени и раскачиваясь, то прилегая на локте, бормотал Иван Семенович,— почему она не приходит? Случилось, что ли, недоброе или дурит? Право, сейчас встану и уйду; ружья нет. Фу, как нехорошо.

Но Иван Семенович, конечно, не уходил, прикованный чарами девушки к холодеющему камню, и вздрагивал, когда хрустела ветка вблизи.

А над лесом, издалека, летел теперь медленный звон: то звали к великой заутрени, ударяя в большой колокол, в станице Кундрава.

Слушая дальние эти звуки, затосковал Иван Семенович один в лесу и подумал, не ушла ли Наташа в церковь.

А солнце закатилось; туча окровавилась и погасла, залив озерную гладь тусклым светом; внизу, между кустов, вился легкий туман, и казалось, к подножью сопки подходила вода; в оранжевом закате открылась зеленая звезда; ветер упал, и морозец стал пощипывать концы пальцев и нос. Налево свистнул тетерев спозаранку, ему откликнулся другой, и, ломая по берегу валежник, просунул к воде ветвистую голову лось; глотая хрустальную воду, бил копытом и, отступив, закричал раскатисто на все озеро.

Иван Семенович вытянулся, набрав холоду полную грудь, и позвал:

— Наташа!

И, словно в ответ ему, затопали под кручей тяжелые шаги: то несколько человек взбирались на сопку. Иван Семенович быстро обернулся: из-под кручи поднялась чернобородая голова и другая, опухшая и рыжая...

— Вовремя поспел,— сказал черный,— дожидается. Вяжи его.

Иван Семенович, отступая, повернулся, чтобы бежать, но с пологого спуска преградил ему путь высокий парень. Иван Семенович, подскочив, вытянутой рукой ударил его, и парень, ахнув, упал, цепляясь за ноги. Двое первых насели на плечи; Иван Семенович стиснул зубы, вытянулся, но руки его уже опутала ременная петля.

6

В Игнатовой избе, наклонясь у стола над коптилкой, трое мужиков потрошили бумажник Ивана Семеновича. Сам Иван Семенович, связанный по рукам и ногам, лежал навзничь на нарах и ободранным языком старался выпихнуть изо рта кляп. За кумачовой перегородкой ворочалась Наташа, а у порога щепал лучины тощий парень, Лекся, Наташин брат.

— Сто целковых и еще два,— сказал черный мужик, разгибая спину,— маловато, надо попытать — в каком месте у него остальные.

Мужики подошли к нарам, и парень, захватив вместе с волосками, выдернул у Ивана Семеновича кляп изо рта.

— Где деньги? — спросил черный, наклонясь к самому лицу, и обдал Ивана Семеновича горячим духом водки, лука и крепкого тела.

— Пытать будем,— тоскливо сказал парень.

— Разве это порядки? — молвил рыжий, шепелявя.— Честью просим; тебе деньги на что? — пропуливаешь их из ружьишка, а мы народ рабочий.

— Денег у меня больше нет, все в бумажнике,— ответил Иван Семенович, облизывая губы.

Мужики отошли к окошку, совещаясь. Иван Семенович внимательно следил за каждым их движением. Когда же Лекся, нащепав лучину, разжег самовар — в тоске завертелся, напрягая ногу, чтобы порвать ремень. Прошло немного времени. Тогда, легонько отогнув занавеску, выглянула Наташа, ища глазами, полными слез и страха, глаз Ивана Семеновича. Он отвернулся и негромко застонал. Наташа в отчаянии приложила кулачки к вискам, вытянула шею, шевеля губами, потом закрестилась, показывая на мужиков и тряся головой. Наконец черный спросил громко:

— Самовар готов?

— Готов,— поспешно ответил Лекся тонким голосом и сейчас же вышел.

Мужики опять подошли; парень, сняв с себя ременной пояс, оскалился и стал со всего плеча хлестать Ивана Семеновича по ногам. Иван Семенович закричал сначала, потом закусил губу, зажмурил глаза.

— Ладно уж тебе,— сказал рыжий тихо,— чай, это не лошадь. Барин, скажи, Христа ради.

— Нет у меня денег. Что, себя мне, что ли, не жалко! Стал бы я скрывать.

— Давай кипяток,— сказал черный, глядя исподлобья.

Наташа в это время вскрикнула, выбежала из-за занавески, опрокинула ногой самовар и заговорила:

— Не позволю шпарить, ах вы душегубы. Деньги бери, а его не трогай! Хочешь — меня шпарь! Все равно через вас, проклятых, себя погубила... Я знаю, нет у него дома денег, он сам сказал.

Наташа наступала, размахивая руками, словно отбиваясь, зубы у нее открылись от страха и злобы.

— Молчи, сука,— сказал парень.

Рыжий мужик весело ударил себя по бокам, воскликнув:

— Ну и девка! Атаман! — и засмеялся, краснея с натуги.

А черный подошел к Наташе. Но девушка увернулась, подбежала к нарам, откинулась, загораживая

Ивана Семеновича, и со всей силы толкнула черного в грудь.

— Не шали, Наталья,— сказал он сурово; подошедшего парня она ударила в лицо, все не сводя глаз с черного, который, не торопясь, усмехнулся невесело, уверенный, приземистый и крепкий.

— Ружье под нарами, заряжено, Наташа,— тихо сказал Иван Семенович.

Наташа быстро нагнулась, но черный отшвырнул ее, поднял ружье, взвел курки и сказал:

— Нет, уж ты нам не помощница...

Наташа закрыла голову, но рыжий мужик, отведя стволы, сказал степенно:

— Не годится нынче кровь проливать. Ты, милый, как хочешь меня зови, а этого тебе не позволю.

Глаза у черного налились, он засопел, и быть бы большой беде, если бы снаружи не застучали конские копыта; послышались неспешные голоса, и в скрипнувшую дверь вошел крепкий широкогрудый старик, держа пестрый узелок за уголки перед собой.

Старик медленно положил узелок на лавку, снял шапку с намазанных маслом белых волос своих, поклонился всем, подошел к нарам, из кармана вынул складной ножик, разрезал ремни на руках и ногах Ивана Семеновича, поклонился ему, сел у стола, положив перед собою кулак, и сказал мужикам:

— Вот так-то, братцы, с праздником...

— Этак, Игнат, мне не нравится,— начал было черный, но старик перебил его, постучав:

— Нынче, Назар, я на клиросе пел, да и подумал: сегодня всякому малому зверью прощенье выходит. А вы вот как распорядились... Прости нас, барин, ступай с богом да держи язык за зубами.

7

На полпути к поповой заимке, в редком березняке, догнала Ивана Семеновича Наташа, высокая и бледная в свете больших звезд.

Запыхавшись, обняла она его, запрокинув залитое слезами лицо, глядела, не отрываясь, огромными,

теперь темными глазами, в которых отразились две синие звезды.

Иван Семенович поспешно стал гладить волосы ее и щеки. Наташа, продолжая сжимать его, легонько вскрикивала, как раненая дикая коза. От взглядов ее, от звездных зрачков, от белого лица стало казаться все сном Ивану Семеновичу, и он медленно улыбнулся.

— Нет, нет, не надо,— зашептала Наташа и, оторвавшись, схватилась за концы платка у шеи; постояла, медленно отвернулась, подняла плечи и побежала к темной стене сосен.

Иван Семенович долго вглядывался в деревья, за которыми скрылась Наташа, потом оглянул широкую поляну. По ней, легко клубясь, ходил туман, и березки, казалось, росли из его облаков, кое-где поблескивая, недвижные и легкие. А в небе, выкатившись из-за леса семью огромными звездами, стояла Большая Медведица. Иван Семенович закинул руки за шею и сказал:

— Весна.

ПРОГУЛКА

1

Каждый вечер, поглазев на пассажирский поезд, Яков Иванович шел, прогуливаясь, мимо деревянного трактира с облезлой вывеской, мимо оврага, полного навоза и разной дряни, мимо обгорелого, с незапамятных времен, кирпичного дома, у которого прилепилась кузница Голубева и в станке упрямая лошадь, не даваясь ковать, тянула к себе, а присевший кузнец — к себе, мимо телеграфных столбов — вниз по спуску, на Песочную улицу.

На спуске Яков Иванович приостанавливался, поправлял на голове картуз акцизного ведомства, из секретного портсигара доставал папироску, пускал дым сквозь рыжеватые усы, оглядывался налево, где за унылым полем угасал закат, смотрел вниз на Песочную, на низенькие дома, плетни и сады за ними, видел, как зажигались керосиновые фонари, сплевывал через плечо в овраг и, покручивая тросточкой и свистя, сходил вниз, хорошо зная, что на Песочной горит в крайнем окне свет и Маша Голубева играет с дымчатым котенком.

Опершись на трость, среди пустынной улицы, подолгу глядел Яков Иванович через окно на красивое, чернобровое лицо Маши. Маша положила на стол

локти — и ни скуки, ни веселья нельзя прочесть на ее лице, освещенном лампой.

— Обо мне думает,— решил Яков Иванович.

Брови у Маши слегка сдвигались, верхняя губа приоткрывала ровные зубы; усмехаясь думам, она перевертывала на спину дымчатого котенка и щекотала ему белую грудь; котенок кусался, отбиваясь задними лапами.

«Вот ведь характер,— думал Яков Иванович,— вчера говорила: «Приходите, может быть вечерком за воротами постою»,— и осторожно царапал по стеклу. Маша взглядывала сердито в окошко, поднималась, схватывала котенка, сажала на плечо и, махнув косой, уходила за перегородку.

Но постучать громко или войти он не смел, потому что за перегородкой спал Машин папаша, Голубев, кузнец, а его Яков Иванович боялся, как огня.

— Ты у меня доиграешься, я тебя растревожу,— ворчал Яков Иванович и, досадливо поковыряв палкою песок, брел по Песочной на Сокольничью, где жила старинная приятельница — Вера Шавердова,— душевный друг.

2

Так было и нынче. На Сокольничьей, у керосинового фонаря, Яков Иванович поднял трость и резко постучал в перекошенную дверь ветхого домика. Зашлепали туфли, загремел тяжелый крюк, и в щель просунулось испуганное, помятое лицо.

— Это я, Верка,— сказал Яков Иванович; тогда его впустили в сени и в низкую комнату. Осторожно сняв картуз, Яков Иванович положил его вместе с палкой на комод, расстегнул китель, сел, протянул ноги в узких брюках со штрипками и вздохнул. Вошла Верка, успевшая попудриться. На ней было всегдашнее красное платье и пуховый платок; завернувшись в него, она обычно, скуки ради, спала на диване. Присев напротив Якова Ивановича, у овального столика, Верка припустила огонь в лампе, прикрыла рот, сдерживая зевоту, запахнула платок и сказала:

— Не знаю, холодно, что ли, мне или чай пить хочу.

— Машка одна сидит, с котенком играет,— сказал Яков Иванович,— очень много о себе думает.

— Подлец ты, Яша,— проговорила Верка негромко.

— Чем же я подлец, когда я влюбился!

Яков Иванович оглянул надоевшую комнатешку с кисейными занавесками, канарейкой, лампадой в углу, скатерточками и половичками, закурил и окончил:

— Она молоденькая, не то что ваша милость.

— Хочешь, в дураки сыграем,— уныло, после молчания, сказала Верка и поползла рукой по столу за колодой.

Яков Иванович надул щеки, придвинулся и взял покробленые карты. Но масти он не видел и ходил наугад: такая брала его досада,— всю весну ухаживал он за Машей, похвалясь однажды, что трех дней не пройдет, как начнет она бегать к нему на огород. Но девушка вертела им, как хотела; принимала мелкие подарки и посмеивалась или гнала, когда он очень приставал; такая уж родилась своевольная и ни разу не оставалась с глазу на глаз надолго, говоря, что отец не велит, хотя и намекала, что, пожалуй, на лодочке покатается. А в акцизе сослуживцы спрашивали: «Ну, как, не угостил еще тебя кузнец?» Терпеть больше не хотелось, и в голове копошился план.

И так и этак размышлял над ним Яков Иванович, а Верка теребила пальцами рот; толстый нос у нее лоснился; в лампе пищал керосин.

— Знаешь что,— положив карты, сказала Верка,— дура я была, что с тобой связалась.

— А что?

— Так. Нехорошо. Думается.

Яков Иванович усмехнулся, придвинулся, охватил Верку и томно опустил голову ей на плечо:

— Ты, Верушка, любишь меня, так устрой завтра штуку... я буду помнить.

— Какую штуку?

— Уговори Машу на лодке кататься, а я, будто невзначай, пристану к вам, или как там уж выйдет; она с тобой поедет.

— Ты мне это говоришь? — воскликнула Верка, отталкивая Якова Ивановича.— Нет, дружок, не дождешься.

Яков Иванович заходил по комнате, уговаривал, приставал, грозил даже, пока Верка, уставясь припухлыми глазами на лампу, не сдалась:

— Ладно уж, отвяжись, все равно.

3

На следующий день кузнец Голубев постукивал по наковальне молоточком, отбивая такт молотобойцу — высокому парню Лаврушке, который, засучив рукава выше локтей, описывал тридцатифунтовым молотом круг и, подаваясь вперед, с аханьем бил в раскаленный лемех.

«Еще поддай, еще поддай»,— выговаривал молоточек; у Лаврушки на рябом носу выступил пот, как горох; искры из горна летели в колпак, освещая белые волосы Голубева, сивую его бороду, суровое лицо в круглых очках, перетянутый фартуком согнутый стан, земляные стены кузни и круглую головенку подмастерья, раздувающего мехи.

Голубев, постукивая, пел духовный стих:

Ты в саду его носила —
Сына — бога твоего...

Следя за ударами молота, легко сочинял он стихи; ухватив клещами лемех, совал его в угли, думая: «Вот так и душа неправедного скочевряжится».

Лаврушка вытирал пот широкой ладонью. На хозяина он смотрел с почтеньем и не посмел бы слова молвить, но сейчас, заикаясь, сказал:

— За водой я, хозяин, бегал; у окошка опять Яков Иванович стоит, сговаривается с нашей Машей...

Голубев поглядел поверх очков и ничего не ответил, только молоточек его заходил не в лад.

— Хозяин, он нашу Машу уговаривает на остров в лодке ехать, говорит: «Я в кузню к тятеньке добегу, спрошу».

— Молчи,— сказал Голубев.

Долго они работали молча. В кузницу, приподняв картуз, вошел Яков Иванович.

— Здравствуйте, почтеннейший, как работаете?— сказал он развязно и принялся вертеться около наковальни, помахивая тросточкой.— Удивительно, железо не согнешь, а вы что угодно сделаете из него.

— Железо — оно железо и есть,— сказал на это Голубев,— а вы что, Яков Иванович, за делом пришли?

— Подковать себя хочу, ей-богу, чтобы резвее бегать,— хихикнул Яков Иванович и беспокойно покосился.— Вы, кажется, Голубев, баптист? Говорят, большие гонения сейчас на вашего брата?

Голубев оставил молоток, поднял очки, подошел к Якову Ивановичу и спросил, когда стало в кузнице совсем тихо:

— Ты к чему подбираешься-то?

Но Яков Иванович уже попятился за дверь и, очутившись на лужке, поправил картуз.

— Поосторожнее бы надо с чиновниками, Голубев,— и, не дожидаясь ответа, зашагал под горку.

Кузнец долго глядел в землю.

— Лаврушка, поди позови Марью,— сказал он, опуская очки.

Лаврушка побежал, скоро вернулся и сообщил, что не нашел ни Маши, ни Якова Ивановича, должно быть, чиновник успел уже обольстить девушку и увез ее на остров.

Голубев не спеша вымыл руки, снял очки и фартук и, кликнув Лаврушку, вышел из кузницы, по пути достойно кланяясь тем, кого он уважал.

4

От кузницы Яков Иванович поспешил под горку, минуя Песочную, на лужок, где в ожидании прогуливались под руку Маша и Вера. «Позволил, позволил»,— закричал Яков Иванович еще издали; забежал вперед и, вертясь, старался прельщать дам шутками и прыжками.

Маша ленивой походкой в козловых башмаках ступала по лужку, ветер, плеща широким ее ситцевым платьем, обрисовывал полный, сильный стан. Зеленую полушалку она придерживала на плечах, отвертываясь от Якова Ивановича с усмешкой, в ушах у нее позванивали серебряные серьги.

— Настоящая гусыня,— шепнул ей Яков Иванович, указывая пальцем на впереди идущую Верку,— будто с яйцом идет.

Маша громко засмеялась и стала еще лучше.

— Я ее всегда зову: гусыня да гусыня, страшная дура,— продолжал довольный Яков Иванович. Маша из-под ресниц повела на него серыми глазами; Яков Иванович заликовал; по пути нагнали они гусей, щипавших щавель; Маша опять засмеялась, а Яков Иванович ухитрился даже поддать Верке подножку, и Вера, красная от злости, обернулась:

— Нечего на других выезжать, сам хорош, стрелок, вот ты кто.

Маша нахмурилась. Яков Иванович постарался замять неприятность. Они подошли к реке. В зарослях тальника краснела корма лодки, которую Яков Иванович тотчас сдвинул в воду. Маша, подобрав юбки, влезла первая. Вера сердито шлепнулась на скамью, зачерпнув башмаком; Яков Иванович, стоя на носу, уперся веслом, и лодка, мягко осев, скользнула, покачиваясь, по речке, залитой солнцем.

Яков Иванович сильно выгребал против течения, стараясь пристать по ту сторону к зеленому острову. Прищурясь, взглядывал он на Машу. Верка, рядом с нею, казалась уродливой и старой.

«Вот увязалась, чучело,— думал он,— нет, чтобы довести до лодки, а самой остаться». Лодка въехала в полосу водорослей, оставляя след; Яков Иванович, поднимая отяжелевшие весла, брызнул водой, Верка вскрикнула; Маша рассеянно оглядывала березовый тенистый островок.

Яков Иванович помог вылезти девицам, и они одни побежали в лес — поискать будто бы грибов, а он уселся на бережку, покручивая усики. Над водой низко пролетели тяжелые утки; ворковал в березняке дикий

голубь; от воды играли зайчики. Вдруг он вздрогнул, услышав за деревьями плеск воды и женский визг. «Купаются»,— подумал он и побежал через лесок.

Вера сидела в реке по горло, Маша плавала, болтыхаясь ногами, и просвечивала под водой.

Яков Иванович, сидя за кустом, отстранял от лица ветку и глядел, как вышла на берег сначала Вера, очень просто, словно из бани, и, стыдясь, прикрываясь, выбежала красавица — вся белая — Маша, присев, быстро накинула платье. «Мучительница»,— пробормотал он.

5

Яков Иванович, видя, что Верка, несмотря на подмигивания, не отходит от девушки, придумал играть в горелки; сам завязал себе коричневым фуляром глаза, обе женщины стали позади, проговорили боязной скороговоркой: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», дернули его за рукава и побежали. Яков Иванович, сорвав платок, пустился догонять, тут-то Вера и поняла, что ее перехитрили: на коротких ножках не могла она поспеть за легкой Машей, которая, протянув руки, неслась, едва касаясь травы, сзади летели косынка и ее темная, еще влажная коса. Яков Иванович, нарочно пугая криками, далеко загнал Машу в лес, где девушка, запыхавшись, положила руки на грудь, со смехом увернулась и стала кружиться у дерева. Когда Яков Иванович совсем было ухватил Машу за платье, она понеслась далее, отдохнув и весело смеясь.

Яков Иванович обозлился даже; по пути сучок разорвал ему ботинок. «Эх, жалко, плакали денежки»,— подумал он мимоходом. Маша обертывалась, глаза ее пылали смехом,— чудно, как была хороша.

В островок врезывался узкий заливчик; Яков Иванович загнул налево и, подогнав к воде, ухватил Машу за бока. Она сильно обернулась и вытянутыми руками уперлась ему в грудь.

— Маша, что ты, не бойся,— сказал Яков Иванович.

— Пусти, пусти,— зашептала Маша. Яков Иванович ослабел от волнения.

В это время из-за кустов, окаймляющих берег, поднялись Голубев и Лаврушка. Маша ахнула и попятилась.

Яков Иванович нахмурился, хотя ноги его сделались ваточными, и отчего-то защемило в животе.

— С дочкой играшь? — сказал Голубев, быстро подходя.

— Ну, ты не особенно кричи,— воскликнул Яков Иванович, пятясь. Кузнец словил его за воротник, нагнул и толкнул лицом в траву; Лаврушка сел на ноги; кузнец, упираясь коленкой в плечи, запустил руку, отстегнул пряжку его штанов, обрывая пуговицы, оголил тощий зад у Якова Ивановича и, сняв с себя ременный пояс, начал хлестать. Яков Иванович от страха молчал сначала, потом принялся кричать, даже выть, вертясь и царапая землю. Верка скрылась, а Маша, присев у дерева, закрылась ладонями, не то плача, не то без удержу смеясь.

Когда, наконец, отпустили, Яков Иванович медленно сел на битое место, схватился за него. Голубев уводил за руку дочь. Лаврушка шел сзади них и, оглядываясь, скалился, как эфиоп.

6

Пока Яков Иванович отлеживался — прошло дней десять. В городе говорили разное: что кузнец, мол, застав у себя дочь с чиновником, ввернул Якову Ивановичу кольцо, как медведю, только в другое место; иные уверяли, что Голубев вешал на острове Якова Ивановича, да тот сорвался.

Когда же он явился, наконец, на службу, товарищи окружили его, спрашивая наперебой, что случилось на острове. На все вопросы он отвечал, поджав губы: «Хворал-с пищеварением». Так ничего и не добились от него, хотя и заметили, что он уже не прежний — скучен.

В тот же день Яков Иванович посетил и вокзал; но не крутил, как бывало, тросточкой, прохаживаясь по асфальту, а скромно стоял у колонны, глядя, как из подкатившего поезда вылезали студенты с чайниками, толстяк помещик в поддевке и разный полупочтенный люд.

Помещик пил водку в буфете, студент оглядывал жандарма, и никому не было дела до Якова Ивановича; у каждого было впереди что-нибудь интересное. У Якова же Ивановича впереди была унылая комнатешка, где потренькает он на гитаре, ляжет на кровать, покурит папироску, и делать больше ему нечего.

После звонка помещика подсаживал кондуктор, студент, окончив уничтожать взглядом жандарма, бойко вскочил на площадку, подбежали люди с кипятком, влезли, поезд тронулся, и на месте его открылись грязные пути, штабели дров, голое поле. Уныние.

Ушел и Яков Иванович, не глядя вокруг на опостылевшее; на спуске он вдруг остановился и поправил съехавший картуз: у дома Голубева к трем телегам были привязаны лошади, во всех окнах горел свет. Яков Иванович подошел медленно и вгляделся. В дому, у длинного стола сидели благообразные мужики, положив руки на скатерть, уставленную угощениями; в конце сидел припомаженный Лаврушка, в синем кафтане, и рядом с ним Машенька, в новом розовом платье. Рядом с ней Голубев читал книгу, и все его важно слушали. Потом все раскрыли рты и запели. Лаврушка утерся рукавом; Маша сидела бледная и серьезная.

«Пропили девушку»,— подумал Яков Иванович тоскливо и побрел на Сокольничью; у ворот босые мальчишки, припрыгивая, принялись дразнить: «Кольцо в спине, кольцо в спине». Яков Иванович поспешил пройти, но в спину ему запустили песком; он обернулся и поднял трость, мальчишки разбежались.

Дойдя до Веркина дома, он жалобно скосоротился и повернул назад; но Вера высунулась по пояс в окошко и позвала отчаянно:

— Войдите, Яков Иванович. У меня самовар горячий.

Яков Иванович подумал. Зашел, подал холодную руку и сел у лампы. Вертя колоду карт, искал он нужное слово, а оно не подвертывалось; рассмотрев трефового короля, он сказал: «В дураки, хочешь, сыграем?» — и чуть поднял глаза, боясь увидеть улыбку на толстом лице подруги, но Вера, подойдя сзади, тихо провела по волосам Якова Ивановича. Он быстро обернулся, охватил Верку и прижался к ней лицом.

— Женился бы на мне, Яков Иванович,— сказала Верка серьезно,— что так-то — измаешься...

— Очень тошно,— ответил он,— ах, Вера, Вера. Все-таки — скучно здесь, тошно.

САМОРОДОК

1

Лопыгин повернулся на спину и, прищурив глаза, отчего звезды лучиками потянулись в темном небе, сказал негромко:

— Так-то было оно, Ваня; шли-шли два брательника без пути, без дороги; хлеб весь вышел, и видят,— приходится им или воротиться, или умереть.

Один и говорит другому: «Давай воротимся». А тот ему: «Ты иди, а я вон в долочек забегу, копну,— может, там и найдем золото».

Назад пошел один брат, а другой забежал в долок и копнул. И хрустнуло под лопатой. «Песок!» — подумал брат; насыпал песочек в ковш, помыл в ключевой воде, и в ковше загорелось золото, как жар.

Тут оба брата пали на землю, в которой река золотая лежала, и заплакали с радости, а наплакавшись, поставили веху и пошли до первой деревни купить инструментов и коня.

Долго шли они лесом, и горами, и быстрыми речками; путь искали — днем по солнцу, а ночью по ясным звездам.

А как пришли, голодные, в первую деревню, закупили все, что нужно, и на коне повернули к заветному месту в тот же день.

А лес все один, куда ни поезжай: на полдень ли, или на закат, и реки похожи одна на другую, и все те же горы.

Проколесили так-то два брата тридцать дней, коня у них комары заели, и не нашли золотого долочка, где ставили веху.

До глубокой ночи пешком они шли и молчали, друг друга боялись.

А ночью отвязали кушаки и повесились на сосне.

Лопыгин повернул скуластое свое лицо и, глядя на Ваньку, разинувшего рот, добавил:

— А сосна стояла на краю того долочка.

— А правда это? — спросил Ванька.

Лопыгин промолчал, а потом негромко молвил:

— Если бы достать мне тысячу рублей,— пошел бы искать я то место; да вот руки связаны.

— Деньги,— протянул Ванька,— да, отлично.

И он натянул полушубок, так как на огороде, где лежали они, вился легкий туман.

— Или бы самородочек найти,— продолжал Лопыгин,— фунта на полтора; хозяин мой глупый; ни за что не отдам.

— Василий Иванович, а ты Василису знаешь? — вдруг спросил Ванька.— Вот она бы тебе рассказала. Слышь-ка, ей-богу, сбегай отнеси ей полбутылки да три пятака... Так-то Парфен в прошлом году ворожил, лошадь у него увели; и сказала Василиса то самое место, где найти коня; и нашел.

— А ты не врешь? — спросил Лопыгин, приподнявшись, и сел на корточки.

— Вот, с чего мне врать; я, чай, крещеный,— и Ванька закрылся с головой, бормоча перед сном несвязное.

Лопыгин долго глядел на звезды, думая все об одной мечте своей заветной — золотой реке; а потом неслышно встал, свернул полушубок и, перепрыгнув через забор, пошел по светлой дороге к выселкам, стуча подковками.

Над озером встала из-за темного леса красная луна, и дорога от нее, расширяясь, как меч, протянулась до крытых соломою хат у самой воды.

Подойдя к крайней мазанке с одним окном, прикрытым ставней, сотворил Лопыгин крестное знамение и стукнул в дверь кольцом.

— Кто там? — ответили на стук так поспешно, что Лопыгин отступил в испуге, но в дверь уже просунулась женская голова, вглядываясь.

— Вот,— сказал Лопыгин, показав полуштоф, и потряс пятаками,— гадать пришел, сделай милость.

— Входи,— ответила голова и скрылась.

Лопыгин вошел, нагнувшись на пороге, в хату. По стенам и на потолке висели пучки трав и ладанки; посреди пола лежала кошма, и на подушке спал рыжий кот.

«Отлично,— подумал Лопыгин,— все в порядке»,— и повернулся к Василисе.

На лавке перед ним сидела молодая баба, полногрудая и краснощекая, заплетая распустившуюся во сне косу.

— Ишь ты,— сказал Лопыгин, но Василиса словно кольнула его злыми глазами.

— Потерял, что ли, что, или нашел не вовремя,— сказала она,— не ври только, все равно насквозь тебя вижу и под тобой в земле на сажень вижу.

— Но, но,— молвил Лопыгин и, поставив полуштоф на лавку, пятачки прикрыл ладонью,— ищу я, Василиса, одну вещь.

— Золото ищешь?

— Что золото? В земле много, ни крови на нем, ни пота,— чистое, бери только.

Василиса налила водку в стакан и, выпив, вытерла рот рукой.

— А ты не забоишься?

— Чего бояться-то,— сказал Лопыгин, но попятился к двери.

Василиса из-под лавки взяла ведро, коптилку поставила около и, наклоняясь, стала шептать:

— Вода ключевая, дождевая, болотная, беги, точи белый камень на камне сундук, в сундуке кочет, в кочету лежит, что найти хочу. Кочеток воспоет, лес зашумит, земля расступится; направо не вижу, налево

не гляжу, а гляжу под собой на аршин; вода в земле гудет; золото глаза сосет.

Косы Василисы упали, пальцами вцепилась она Лопыгину в руку и забилась:

— Беги, мужик, торопись! — и, закричав не своим голосом, опрокинулась на лавку.

Сколько ни тряс ее за рукав Лопыгин,— ничего не добился от ошалелой бабы, а когда вышел на волю, дверь с силой за ним захлопнулась и звякнул затвор.

— А ведь она про мой забой рассказала! — воскликнул Лопыгин, став посреди дороги.— Налево я бил,— ничего не нашел, и направо тоже, а бить мне нужно под собой на аршин.

И Лопыгин, щелкнув языком, пустился бежать к огороду, где спал Ванька.

2

Когда Лопыгин, став в петлю каната, опустился в шурф — неширокий колодец, кое-как укрепленный досками, Ванька кричал сверху:

— Осторожнее, Василий, как бы обвала не было, вода очень напирает! Хозяин приезжал, ругался.

Лопыгин поглядел вверх, где птичьим свистом звенело утро, потрогал доски сруба и, перекрестясь, ударил киркой.

Забой за ночь затянуло красноватым илом, и пришлось долго откапывать отверстие, куда, согнувшись, можно залезть, работая заступом с короткой ручкой.

Подпорки расшатало, и сквозь щели выпирал грунт, как тесто.

— На аршин под собой,— бормотал Лопыгин и, напирая грудью на черенок, выбрасывал почву назад между ног.

— Все ил да ил,— говорил Лопыгин,— где тут золоту быть,— и, сняв рукавицу, чтобы вытереть пот, заметил, что стойки ползли вместе с илом в глубь вырываемой ямы.

«Беда»,— подумал Лопыгин.

Минуту можно еще пробыть в забое, но затем рухнула бы земля, засыпая человека и золото.

Понял это Лопыгин и, стиснув зубы, нажал спиной и боком на подпорки:

— Господи, благослови!

Со всей силой ударил лопатой, еще и еще раз; хрустнула галька; гнулись подпорки, и, захватив руками обнажившегося песку со дна ямы, выскочил Лопыгин задом из забоя, и с гулом рухнула за ним земля, ломая крепи.

А между сложенных ладоней Василия, тяжелый и матовый, лежал самородок.

— Василий,— кричал сверху Ванька,— жив ты, эй, эй!

Лопыгин дернул за канат и, когда, скрипя, поднял его ворот из холода и сырой темноты на теплую траву поляны, ахнул Ванька, ударив ладонями по бокам.

По бородатому лицу, спине и рукам Лопыгина, запекаясь, текла кровь, колени тряслись, и, опустясь на землю, сказал он чуть слышно:

— Водицы.

Но самородок, веский и холодный, лежал в кармане, воплощая далекое странствие на север Урала и отыскание заветного долочка, где залегла несметной цены золотая река.

Оправившись, Лопыгин сказал Ваньке, что работать больше у хозяина, через которого чуть жизни не лишился, не станет; умылся на озере, переменил рубаху и к вечеру пошел в выселки, сам думая: зачем пошел?

— Первым делом вина выпить,— сказал Лопыгин,— а потом смекнем.

Проходя мимо Василисиной мазанки, Лопыгин обернулся,— так и есть: подняв раму, глядела на него румяная Василиса, не мигая, зелеными глазами.

— Гуляю,— сказал ей Лопыгин,— видишь ты, какая толстая,— и он вошел в хату.

— Плачу за все.

Василиса молча накрыла пестрой ширинкою стол, принесла еду, вино и села рядом, сложив голые до локтей руки под грудями.

— Что ты глядишь,— сказал Лопыгин,— как корова на новые ворота; деньги есть,— и гуляю.

— Нашел? — спросила Василиса тихо.

— Мало ли чего я находил, да тебе не докладывал; на, выпей.

Василиса выпила, вздохнула и, прижавшись к Лопыгину, закрыла глаза.

От горячего чая и водки, от Василисиных белых плечей захмелел Лопыгин и, бахвалясь, вынул самородок, стукнув им по столу.

— Это видела! Значит,— я сам себе хозяин и завтра народ найму и всех увезу на машине. И тебя возьму — мне портки зашивать,— очень я лютой до работы. А вернусь,— куплю всю Расею.

Лопыгин, сунув самородок в карман, поднял ногу и запел дурным голосом:

...Эх, да мальчишка...

— Спать идем,— шепнула Василиса на ухо,— смотри.

И, расстегнув кофту, показала Василию белые груди...

...Накинув шаль, вышла Василиса на дворик, поглядела, как звезды горят, и слушала тявканье вдалеке собаки.

— Спит, чай,— сказала Василиса и, поведя от холода плечами, стукнула в забор, позвав: — Федя!

На оклик заворчал кто-то, почесался, и через забор перелез высокий мужик, в армяке и сутулый.

— Федя,— зашептала Василиса,— слиток у Васьки фунта на два, поутру нашел.

Молча Федька пошел к хате, а Василиса повисла на его руке.

— Не убей, смотри; не шибко бей.

Федор стряхнул Василису и открыл дверь.

Лопыгин спал у окна на кошме, закинув голову и подняв колено, рукой же в кармане крепко сжимал самородок.

А когда скрипнула дверь, сразу проснулся и, увидав черное перед собой лицо Федьки-кота, ткнул в него сапогом и, вывернувшись из-под облапивших рук, выпрыгнул в окно.

— Режут! — закричал он и, сжав зубы, пустился рысью, звонко стуча по крепкой дороге, к лесу.

А за ним на длинных ногах бежал Федя и позади Василиса.

Перепрыгнув через плетень, сосчитал Лопыгин шагов полтораста до лесу и понаддал, но вдруг встал, тяжело дыша, на краю узкого болота, соединяющего озеро с мельничным прудом.

— Пропал,— сказал Лопыгин и прыгнул на кочку, на другую и погрузился по грудь в холодную грязь.

Подбежавший Федя схватил его за волосы и потянул.

— Не бей,— тихо сказал Лопыгин и, подняв руку с золотом, далеко отбросил самородок в плеснувшую воду: — Держи, Федя, ни тебе, ни мне.

Василиса заголосила:

— Батюшки, добро утопил!

А Федя отошел, сказавши:

— Что же, вылезай, Василий Иванович!

ЭШЕР

1

Над морем по зеленым склонам, через мосты и повороты, бежит шоссейная дорога. Близ нее, у селения Лохны, стоит вот уже вторую тысячу лет кряжистый дуб, вершина его гола, расщепленная грозою, и только к югу над землей протянул он кривую и крепкую ветвь, покрытую листьями. Проходя мимо, всегда оглянется путник и, быть может, припомнит предание: когда весь еще дуб шумел зеленой листвой, собирались под ним в лунные месяцы абхазские князья и наездники судить и решать важнейшие дела. Дуб этот считался священным.

Когда русские покоряли Кавказ — старый абхазский князь Анчабадзе произнес под дубом великую клятву и послал трех сыновей своих биться за свободу.

Многие, многие тогда легли на поле славы, многие бежали в Турцию, не желая приносить покорность русскому царю. Из трех сыновей Анчабадзе вернулся только один, весь покрытый ранами и славой.

Тучные земли от Самурзаканда до Сухум-Кале отошли от князя, заглохли сады, обвалились военные дороги в глубине гор. И в те годы священный дуб, где собирались абхазские воины, был расщеплен ударом грозы.

Прошли годы. Из рода Анчабадзе остались трое: тот, что вернулся с войны, теперь уже старик, внучка

его — Эшер да племянник — Джета, прятавшийся в горах за многие дела.

Говорили, Эшер — самая красивая девушка в Абхазии, но видели ее всего раз, в студеную зиму, когда выпали большие снега и дед Анчабадзе вместе с Эшер спустились к морю на одном коне, спасаясь от голода.

. . . .

В духане «Остановись» за стойкой сидел духанщик Сандро. Из-под папахи торчал у него длинный нос, а под ним жесткие, как щетки, усы. Сандро щурил воровские глаза, усмехался.

По другую сторону прилавка сидел урядник, по прозванию «Крепкий табак»; стуча ногтями по столу, он зевал, рыжая щетина на подбородке его вставала ежом, и позвякивали побрякушки ремней и оружия...

— Скучно? — спросил духанщик.

— Скучно,— ответил урядник,— очень скучно, понапрасну только время теряю, никто тебя не обидит...

— Эх, не обидит, не обидит,— вздохнул Сандро и, качая головой, вылез из-за стойки и стал в дверях. За горы закатывалось солнце, заслоняемое краями древней, неведомо кем построенной башни; пунцовые и желтые облака потянулись дымами в закате. Перед духаном лесной хребет потемнел и в расщелинах задымился; внизу тихое и теплое море покрылось рябью. В нем, у края воды, поднялись зубчатые тучи, озолотились и побагровели; небо стало чище и зеленей; под месяцем зажглась звезда, и лунный серп стал ярче. У поворота белой дороги, под кипарисами, заверещали жабы, низко, над влажной травой, ныряя, стала носиться мышь.

— Опять ночь, опять беспокойно,— сказал Сандро, затворил ставню и зажег лампу.

— Как же он здесь появился? — спросил урядник, щурясь на свет лампы.— Неужели ему головы своей не жалко?

— Глупо спрашиваешь,— ответил духанщик, засовывая руки в широкие штаны.— Прошлым летом я к начальнику бегал, убери, говорю, пожалуйста, убери Джету Анчабадзе. Он скотину на ночь в хлев не загоняет: честный абхазец буйволов и на замок замкнет и собаку спустит; хорошо, говорю, пускай у Джеты буй-

волы гуляют. Но почему ему каждый праздник денег давай, вина давай? Ну, хорошо — бери деньги, бери вино... А зачем с ним приходят пятнадцать абхазцев?.. И он дает им мое вино, и барашка, и табак... И деньги отдает... А кто генеральшину дачу обокрал? Кто стражника к дереву кинжалом приткнул? Джета... Все Джета. Начальник меня благодарил, послал Джету ловить. А Джета в горах как по ровному полю скачет. Поди его поймай... И он с прошлой недели опять здесь появился... Он знает, что я тогда на него пожаловался... Послушай, «Крепкий табак», убей его, пожалуйста, я заплачу.

И духанщик, присев перед урядником, сказал:

— Ва! — погладил его по щеке...

— Убей, убей,— сказал урядник,— это дело строгое...

Так они разговаривали. Вдруг дверь распахнулась, и в духан быстро вошли два абхазца; один — рослый юноша в белой черкеске и пестром платке вокруг головы. Увидев урядника, он жарко вспыхнул и прислонился к косяку, ноздри его затрепетали, большие глаза глядели исподлобья. Товарищ его, в коричневом бешмете и в башлыке, до половины закрывавшем черно-загорелое лицо, подошел к прилавку и грубо сказал:

— Пить.

Урядник даже зажмурился — такая у юноши была белая, красивая черкеска с золотыми газырями. Сандро боязливо покосился, кряхтя, полез за прилавок, налил два стакана вина.

— Один стакан,— крикнул черный.— Алек, мальчик,— не пьет...

Алек, стоя у дверей, нетерпеливо переступил; черный, отерев усы, обернулся и что-то сказал гортанно; Сандро в страхе задвигал бровями, но урядник, развалясь, продолжал удивляться красивой черкеске...

— Поздно, духан запирать пора,— робко сказал Сандро.

Черный, подняв широкие рукава, мягко и быстро подошел к двери, поднял ладонь и прислушался.

— Идет,— воскликнул он, отступил, склонился и, когда из темноты в светлую дверь духана вошел тре-

тий, поймал у вошедшего полу и поцеловал, то же сделал и Алек. Вошедший одет был весь в черное, бритую голову его прикрывал черный башлык с золотой кистью; на низком лбу резко сдвинуты брови, небольшие усы не закрывали рта, оскаленного в злой гримасе. На согнутом локте левой его руки сидел копчик, с бубенчиком и в колпаке...

Духанщик, увидя вошедшего, попятился, раскрыл рот и сел на табуретку,— шапка у него свалилась. Урядник почтительно привстал; Алек, не поняв этого движения, прыгнул между ним и вошедшим, который, прищуря глаза, оглянул урядника, усмехнулся, быстро повернулся к двери, копчик взмахнул крыльями — и все трое вышли, сразу пропав в темноте...

— Иди, иди за ним,— плюясь, зашептал Сандро,— это и есть Джета Анчабадзе. А те — его товарищи.

— Что ты! — радостно воскликнул урядник.— Ну и атаман.

— Поди убей его, пожалуйста, убей, он же за мной приходил, я сто рублей заплачу, бери сейчас деньги.

Сандро полез в конторку. Урядник поднял стоявшее в углу ружье и проворчал:

— И то сказать, если они не в законе... А кафтан у того важный, не пропадать же этакому доброму кафтану.

Скоро огонь в духане погас. Ясный месяц, протянув серебряную полосу по морю, погнал густые тени от кипарисов и тополей, через луга и дорогу, на склоны, где в густых зарослях тявкали чикалки, а выше на лесных горах ярко горели костры: то армяне жгли на полянах сухой папоротник.

2

Джета, указывая пониже этих огней, сказал двум спутникам: «Идите к армянам и ждите, пока «Крепкий табак» в духане; когда нужно, я позову». Он приложил ко лбу пальцы и легко, как на цыпочках, пошел к полянке, где, привязанный к сухой ветви древнего дуба, стоял оседланный конь. Джета вынул из дупла ружье и бурку, прыгнул на коня, покрыв его буркой, взглянул

на море, сбросил башлык и, нагнувшись, как ветер, поскакал в горы...

А правее князя, прямиком по крутым обрывам, перекинув за плечи винтовку, карабкался «Крепкий табак». На открытых местах он перебегал согнувшись. Под луной горы чернели в сине-лиловом небе. Остро пахли травы. Шорохом и шуршаньем были полны заросли... Затем в горах гулко прокатился выстрел; ему ответили ущелья; сорвались, закликали ночные птицы.

А еще правее взбирались к армянским огням черный, в коричневом бешмете, и Алек. Черный говорил:

— Опять вернулись хорошие времена: Джета — настоящий абрек...

Но он не успел окончить, вблизи грохнул тот самый выстрел. Алек кинулся за камень, и когда осторожно выглянул из-за него, спутник его лежал на земле ничком, держась за голову.

3

За горами по узкому ущелью прыгал по камням, бурля и пенясь, седой поток; над ним, прилепясь к скале, белела сакля старого Анчабадзе; по склону земля была распахана под чечевицу, за саклей, под защитой серых скал, росли, в давние еще времена посаженные, одичалые яблони; плодами их и кукурузной мамалыгой питались два буйвола, батрак, сам князь и внучка Эшер. Князь никогда не работал; в хорошее время он ходил бить копчиком перепелов, в плохое время сидел в сакле или у порога, поглаживая крашеную бороду; батрак, идя за плугом, кричал на буйволов, которые норовили залезть в воду; из воды их ничем уже не выгонишь — ложись на берегу спать; в синем небе над глубокой долиной плыли облака, бросая тени на снега высоких скал; там иногда, быстрее тени, пролетал рогатый тур; свистали перелетные птицы. В маленькое окошко сакли смотрела Эшер. Так проходили дни.

Поджав под себя ноги в черных шелковых шальварах, сидела княжна и распутывала шелк. На коленях у нее лежал осколок зеркала. Проводя мизинцем по

бровям, она смотрела на свое смуглое лицо, широкое во лбу, с глазами такими большими и темными, что ей самой становилось жаль человека, который их полюбит. Потом глядела она на далекие снега, опускала на колени пряжу и, поглаживая босые ступни, пела старинные абхазские песни, которым научил ее дед...

Когда свечерело, и снега порозовели, покрылись пепельными тенями, затем засиял на них лунный свет, и из ущелья заклубился туман, Эшер вышла на порог двери.

— Ну, что же не едет твой Джета,— крикнула она деду,— видно, наврали, что он три дня в наших местах; мне-то все равно, хоть бы он совсем не приезжал.

— Приедет, приедет,— ответил князь, поглаживая бороду,— сегодня будет большой туман. Может быть, Джета побоится погубить коня и не приедет.

— Джета ничего не боится,— ответила Эшер.— Я не видела его целый год. Про какой ты говоришь туман?

Но вот издалека докатился по ущелью выстрел. Эшер вытянула шею, прислушиваясь; четыре косы свесились от висков ее, на смуглой груди звякнуло ожерелье; князь вошел в саклю и сказал:

— Стреляли по человеку.

— Я боюсь, такой туман,— ответила Эшер.

Действительно, туман вставал со дна ущелья, густой и непроглядный, закутывая огромные чинары, лез по скалам; завивался, полз сплошной, зыбкой стеной и, наконец, закрыл все кругом.

На вершине одной из гор лунный свет скользил по белым клубам тумана; здесь, словно из волн, поднимались каменные пики да кое-где чернела вершина дерева. Здесь было тихо и прозрачно. Звякнули копыта, и, храпя, последним усилием взмахивая жилистое тело на кручу, из тумана на лунный пик вылетели конь и всадник. Осадив коня, всадник привстал, оглянулся, плотнее закутался в бурку и нырнул через перевал в молочные облака.

Эшер различила дальний топот; она не велела деду шевелиться и слушала у окна. Топот приближался, залаяла собака, всадник свистнул близко и знакомо; у сакли зафыркал конь, и спешились. Эшер усмехнулась,

взмахнула косами, убежала за перегородку. В саклю вошел Джета, снял башлык и опустился перед князем, поцеловал ему руку. Князь, гладя Джету по голове, вздохнул — очень он был слаб и древен.

— А Эшер? — спросил Джета, оглядываясь.

За перегородкой коротко вздохнули. Старый князь покачал бородой. Джета пошел за перегородку, вывел Эшер, отвел ее руки от лица и поцеловал. Она вновь убежала.

Джета и князь, поджав ноги, сели на ковер у низенького стола и молча принялись есть. Насытясь, Джета сказал:

— Я приехал, чтобы отомстить духанщику; потом я вернусь в горы — и клянусь, я сделаю русским много вреда.

— Ты хороший мальчик, Джета,— ответил князь,— благословляю тебя.

— Когда Кавказ будет наш,— продолжал Джета, расширяя глаза,— я женюсь на Эшер.

Эшер за перегородкой опять коротко вздохнула, Джета вскочил и крикнул:

— Иди же к нам, горлинка.

— Ох,— сказал князь,— не время теперь любиться, уезжай; меня знают, за тобой сюда придут; уходи, Джета.

— Нет,— ответил он,— я давно не видал мою Эшер.

4

Наутро, чуть свет, духанщик Сандро поскакал в город и донес начальнику про Джету. Начальник послал на помощь уряднику пять человек, приказав взять князя живым. Сандро на обратном пути поил солдат в каждом духане так, что, когда доехали до «Остановись»,— все уже были пьяны. Здесь они встретили урядника. Он потребовал с духанщика все деньги вперед. Выпили, закусили и пошли на перевал. Ночь спали в горах.

На другой день старый князь после обеда лежал на кошме в тени сакли. Шумел поток. Плавали орлы в

синеве. Сквозь дремоту старый князь слушал смех Эшер и гортанный, будто воркующий, говор Джеты.

Когда он замолкал, раздавался тоненький, как звенение струны, голосок Эшер, и в нем слышалась такая любовь, такое взволнованное счастье, как у птицы, купающейся после долгой непогоды в лучах солнца...

«Все одно, все одно и то же с самого утра,— думал старый князь. Глаза его слипались, и рука лениво отгоняла мух.— А то — убивают, а то — мучат, народ разбредается во все стороны... Сады покинуты, сакли опустели, приходят чужие люди и сеют кукурузу на наших полях... Где закон? Где справедливость?»

Вспоминая былое, он не услышал шороха шагов и только сквозь дремоту почувствовал опасность, открыл глаза; с винтовкой наперевес стоял урядник «Крепкий табак», за ним — пять солдат,— холодом блестели их штыки...

— Подайте нам племянника,— сказал «Крепкий табак», и распухшее лицо его побагровело.

Князь приподнялся на локте и вдруг крикнул сильно, как юноша:

— Джета, берегись! — Тяжелый сапог урядника ударил ему в лицо. Князь повалился на кошму.

Джета уже стоял в дверях сакли,— бледный, только глаза его наливались кровью. Руку с кинжалом он прижимал к груди, мускулы напряглись для прыжка.

— Сдавайся, гололобый! — закричал «Крепкий табак», прицеливаясь в него из винтовки.— Ребята, стреляй, коли его...

— Стреляйте,— тихо ответил Джета, делая шаг вперед.

— Подожди, не стреляй,— заговорили солдаты,— начальник велел его живого взять.

— Живого, так и вяжи сам,— еще злее закричал урядник.

И тотчас Джета прыгнул на него, широким взмахом кинжала ударяя в живот... Но отскочило острие, попав в патронташ, согнулось, разорвало только бешмет. И сзади уже насели на Джету солдаты, заломили руки ему за спину, крутили ремнем локти. Урядник, охая и ругаясь, бил его в грудь прикладом. После каждого

удара лицо Джеты желтело, глаза меркли, вздувались жилы на шее...

— Крепкой, лихой,— заговорили солдаты. В это время раздался слабый револьверный выстрел из окна.

— Эшер! — гортанно крикнул Джета, рванулся.— Не трогайте, это девочка.

Связанного ремнями, его повалили на траву, и двое солдат вошли в саклю... Оттуда послышались голоса, возня, и боком из двери выскользнула Эшер. Сжатые зубы ее были оскалены, глаза прищурены, сквозь разорванные шальвары белело бедро; двигаясь, как кошка, вдоль стены, она увидела Джету и остановилась...

— Ишь ты, чертова сучонка, ну и зла! — засмеялся один из солдат.

— Жив ты, жив, Джета? — хрипло спросила Эшер, кинулась и присела около его головы, положила ладони ему на глаза.

— Ишь ты — жалеет,— сказал солдат,— ничего, не горюй, мы его не обидим...

— Ну ты, не обидим, вяжи девчонку,— крикнул урядник и, схватив ее за плечо, пригнул к земле... Эшер коротко вскрикнула, вцепилась в Джету... Их связали, поставили на ноги. Из сакли вышли солдаты, неся ковры и кувшины... Приполз из-за угла князь, отирал разбитое лицо, просил и кланялся; ему пригрозили и ушли, уводя пленников. И долго, клекая, как филин, вслед уходящим грозил палкою, проклинал старый князь. Когда те скрылись — упал на кошму и не двигался...

5

Эшер и Джета шли по горной тропинке, привязанные друг к другу: она участливо взглядывала на него; он облизывал пересохшие губы, что-то бормотал, будто звуки гнева сами вырывались из его горла. Если бы не Эшер — так, на веревке, пленником он бы не пошел... Он бы показал, как умирают гордо. Направо от тропинки поднимались отвесные скалы, глубоко внизу пенилась, прыгала по камням река. В ста шагах впереди дорога заворачивала и оттуда сбегала вниз к морю...

Поотстав, урядник сказал солдатам:

— Ежели он попробует бежать — стрелять по нем будете?

— Да, уж тогда доведется, как по закону,— сказали солдаты.

— Вы, ребята, не сомневайтесь, по целковому на водку, а девчонка пускай бежит, ее пымаем.

«Крепкий табак» догнал пленников, ударил Джету по плечу:

— Ну как, князь?.. Плохо твое дело,— повесят... Бежать хочешь, а?.. Я тебе не враг... Давай деньги.

Джета сразу стал. Эшер поглядела на него, и глаза ее налились слезами.

— Расстегни бешмет, в кармане,— прошептал Джета и передернулся, когда за пазуху залезли ему короткие пальцы. Достав деньги, пересчитав, урядник пошел сзади него, распутывая узлы на руках.

— С богом,— сказал он и обернулся к солдатам, чтобы скомандовать стрелять, но не успел; Джета крепко схватил его, поднял болтающегося ногами и швырнул в пропасть. Схватил на руки Эшер и побежал. Девушка прижалась к нему, закрыла глаза. Едва касаясь камней мягкими ичигами, он летел к повороту, где можно было спастись в кустах, скрыться, уйти... И всего только оставалось несколько прыжков, но он почувствовал, что никогда ему не достигнуть до этой нависшей скалы, где спасение... За спиной железными бичами хлестнули выстрелы, ткнуло горячим в спину, и ноги уже не слушались, и нельзя было их поднять... И Джета, помня, что всего дороже то, что держит он на руках, положил Эшер к скале, лег на бок и, взглянув на снежные вершины, на бездонную синеву,— умер. Подбегали солдаты... Эшер, упираясь, подхватывала, приподнимала Джету, он был очень тяжел. Все же она приподняла его, обхватила, дотащила до края и, взглянув упрямо и гневно на подбегающего солдата, толкнула Джету вниз и сама легко прыгнула в сырое ущелье, в пенящийся поток... И тотчас, и один только раз, над пенной водой появилась ее маленькая голова с четырьмя крашеными косами, с открытым ртом...

НЕВЕРНЫЙ ШАГ

(Повесть о совестливом мужике)

Посв. А. С. Ященко

ГРЕХ

По горячим плитам зеленого монастырского двора медленно шел, скрестив на грудях ладони, великий постник — отец Андрей. Зной был такой ослепительный, что птицы на ветках присели, разинув клювы, а кипарисы вдоль белых стен распушились, потемнели и капали смолой. В густой их тени стояла монашья братия, в клобуках и скуфейках, и, когда отец Андрей приблизился, все ему низко поклонились, прикрывая от смеха рты.

Андрей смиренно ответил, скосив при этом глаза на самого толстого из монахов — отца Пигасия, сдвинул густые брови, в тоске оглядел синее, словно раскаленное, небо и, вновь уронив голову, повернул к страшной келье игумена.

Братия двинулась было вслед, но напрасно, в окне монастырской лавочки появился малого роста монах, поднял сухонькую руку и тонким голосом воскликнул:

— Остановись, напущу труса!

Братия, любопытствуя, окружила окно, и отец Пигасий, двигая длиннейшим, раздвоенным на конце носом, стал спрашивать у воскликнувшего отца Нила: за что гневается?

Отец Пигасий (что значит: «источающий воду») имел легкий нрав, любил в трапезной хорошо покушать и потом, не в силах подняться с лавки, стонал от

удовольствия, морщился и подмигивал, над чем братия много смеялась.

Нил же, читая духовные и светские книги, на полях писал замечания автору, вроде: «Ты умен, а скажи: не есть ли это место жестокий блуд и больше ничего». После некоторых книг постился голодом, истязал себя, и тогда от маленького его, бледного, в черной бороде, лица исходило кроткое сияние.

Но выше всех и крепче, как дуб среди березняка, стоял до вчерашнего дня отец Андрей. Вчера же приключилась с ним такая история, что Нил, сгорая ревностью, вцепился пальцами в подоконник и уставился на монахов, глотая слюну, не в силах пересохшим горлом молвить слово.

«Посмотрим, как он напустит труса»,— подумал Пигасий, засунув большие пальцы за кушак; монахи нагнули головы, и Нил произнес:

— Дождались... Да как вам близко-то подходить к Андрею не совестно. Он воздух сквернит; вокруг него бесы, как у осиного гнезда, толкутся; забились и к вам они за подрясники да в бороды. А кто, спрашиваю, бесов наплодил?.. Прочь от меня! Была одна надежда — отец Андрей, молитвенник, и того заели... вопить надо. Кто теперь спасется? Никто. Попомните: придет великий трус, а будет поздно... Прочь...

— Ох,— вздохнули монахи.

Отец же Пигасий, отойдя к стоявшему поодаль старенькому отцу Гаду, весь даже промок, говоря:

— Знаю я, все знаю, не могу этого слышать.

А в это время Андрей, нагнув широкие плечи, перешагнул порог игуменовых сеней, взялся за скобу да так и задумался. Но не то что убоялся Андрей криков старого игумена или жестокой эпитимии, а просто, к удивлению своему, не мог ни унизиться, ни почесть во вчерашнем невиданном грехе себя виновным.

Три года назад Андрей, безродный, одинокий мужик, пришел сюда пешком из-под Ярославля. Хозяйственно оглядел монастырские крепкие постройки, поковырял землю и попросился на послушание. Приста-

вили его к иеромонаху Нилу, который, мучаясь глазами, тотчас обучил Андрея грамоте и заставил в постные дни читать духовное, а в скоромные и из светских книг избранные места.

Андрей обычно садился у окна на обрубке и, придерживая русую бороду, чтобы не лезла в книгу, ровно, густым басом, не понимая ни слова, с особенным удовольствием, читал; Нил же, заложив руки за спину, хаживал по белой келейке и восклицал:

— Вот, видишь, и проглянуло неверие!.. Истина скрыта от светского человека.

Веки у Андрея нависали козырьками, и не то что хотелось спать, а было необыкновенно приятно слушать, как выходят сами собой складные, непонятные, чудесные слова.

Иногда Нил до того разгорался, что выхватывал с полки скоромную книжку и сам читал срывающимся на гнев голосом:

Как испанец, ослепленный верой в бога и любовью
И своею опьяненный и чужою красной кровью,
Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде,
Я хочу цветов багряных, мною созданных везде...

«Что с ним?» — думал Андрей. Нил же кричал, захлопнув книгу:

— Разве я могу перенести такое распутство? Я, может быть, больше него испанец, а истязуюсь и молчу... Становись, Андрей, на колени, молись: «Отче наш... избави нас от лукавого...» Все, что видим, слышим и трогаем,— есть тело лукавого — вся земля, и, стало быть, велик наш дух, если может еще бороться с плотью. Одна есть молитва — «дай отрясти прах земли от ног моих: не видеть, не слышать, не чувствовать...» Страшно это и невозможно... Все во власти земли.

После таких разговоров отпрашивался Андрей на черную работу; и пошлют ли его на высоченную гору — пихты рубить,— с утра до вечера стучит наверху его топор и валятся с грохотом вниз по каменному желобу тяжелые бревна. И во всяком рукомесле Андрей — мастер: плотину ли загатить, плести корзинки,

или расписывать на морских камушках красками монастырский вид... В церковь приходит Андрей раньше всех и поклоны кладет с таким умилением, что игумен однажды улыбнулся, глядя на него, подозвал к себе, расспросил, возлюбил и возвысил чином.

Вот тогда-то Андрей, как мужик совестливый, и решил оправдать милость: заперся в келье и перестал есть совсем.

Подивились ему монахи, а отец игумен, все провидя, немедленно приказал отвести Андрея в пещеру, за монастырем, близ озера, а пищу и питье подавать через сутки на конце шеста.

Пошли слухи о новом пещернике, полетели далече за монастырь, и заезжие богомолки, становясь на колени перед крутой тропой, ведущей в пещерку, умиленно поглядывали на ореховые кусты и шептали: «Сподобилась раба, сподобилась раба».

Пуще от этого совестно стало Андрею, и до того он истощил себя, что мог только лежать близ выхода навзничь, поглядывая помутневшими глазами через зеленые ветки на небо, по которому со свистом проносились стрижи и плавали медленно ястребы.

И в то же время стал догадываться, что дальше идти некуда и приходится смертью помереть.

Возмутился таким мыслям Андрей, но ничего не придумал путного, кроме как ночью сползать вниз и наедаться орехов.

Богомолки, видя множество скорлупы у пещерки, порешили, что орехи затворнику щиплет и приносит вран, возревновали и поблизости на сучках стали привешивать маленькие, вырезанные из жести ноги, глаза или голову,— что у кого болело...

А осень к тому времени окончилась, настали прохладные дни; по ночам опускался на желтую и алую, увядающую листву сизый иней, богомолки наезжали все реже, и Андрея в пустой пещере стал пробирать лютый мороз.

Тогда он, не глядя даже на совесть, сошел в монастырь, упал перед игуменом и попросился послушником к самому последнему из монахов, отцу Гаду.

Отец Гад был седенький, немудрый монашек, за ве-

ликое пристрастие к нюхательному табаку назначенный чистить поганые места.

— Любишь нюхать, так у меня нанюхаешься,— сказал ему игумен раз и навсегда,— уж подлинно — Гад: набиваешь нос эдаким зельем и вывертываешь при этом пальцы в виде шиша.

Ревностно заработал у Гада отец Андрей, а по вечерам, лежа на камне, слушал длинные рассказы про монастырское житье: как Пигасий, например, в лесу чадо родил с богомолкой, как послушники играли в хлюст, как отец Ипат напился в четверг и ревел верблюдом, за что его три раза спускали в студеный водопад.

Про всех узнал Андрей подноготную, и стало ему тошно от ленивого, ненужного такого житья.

Опять пришла весна; зацвели акации и магнолии, запахли остро эвкалипты, залиловели лесные горы, побежали мутные реки с гор, снег на вершинах стал белей и ярче, загрохотал первый гром, зашумели дожди. И заметался Андрей... Попросился опять в пещеру, но не смог, затомился, и, увидя однажды, как за плугом, подгоняя ленивых буйволов, шел армянин, ударил Андрей ладонью о землю: такая взяла его досада — никчемный он мужик, к богу не знает как и подступиться, а в мир идти незачем. И как раз подвернулась в то время захожая бабенка из Андреева села. Поговорила она с Андреем, подперев румяную щеку, повздыхала на великие ему муки и, по-бабьи, не к месту, усмехнулась, опустив серые глаза; а наутро, чуть свет, когда вышел Андрей полоть капусту, явилась бабенка на огород, села аккуратно у плетня в траве, сорвала соломину и говорит:

— Как же ты, Андрей, без нас обходишься?

— Что ты, что ты,— воскликнул Андрей, уронив мотыгу,— великий это грех.

— Какой же это грех,— опять говорит молодая бабенка,— бог женщину сделал, для чего-нибудь сделал он ее...

Поглядел Андрей на землячку, потом на затуманенное утренником море, на ясное небо, вздохнул изо всей мочи душистый ветер, засмеялся вдруг и ответил:

— А говорят люди, что грех.

Присел около бабенки и, повернув ее за полные плечи, поцеловал в рот... На этом их и накрыли монахи и завели такую историю, не дай бог.

Долго держался Андрей за скобу игуменовой двери, раздумывая — неужто капли не найдет в себе покаяния, и вдруг догадался, что игумен-то улыбнется на его рассказ, покачает седой головой и скажет: «Ах, милый ты человек, сил в тебе много, ну, иди, работай с богом».

— Верно! — воскликнул Андрей и, стукнув три раза, вошел.

В пустой белой и низкой келье, перед огромной образницей, на некрашеном, чистом полу, освещенный косым лучом из окошка, лежал маленький старичок, весь в черном: из-под клобука выбивалась у него седая прядь.

Игумен, не замечая, долго лежал ниц, как мертвый; когда же Андрей, переминаясь, неуместно напомнил о себе, старик уперся о пол костяшками рук, поднялся с великим трудом, еще раз поклонился, встал, оказавшись маленьким, как ребенок, и вдруг резко обернулся, причем исказилось землистое его, иконописное, в белой бороде, лицо и стали кровяными глаза.

Ужаснулся Андрей и рухнул на колени.

— В чем грешен? — спросил игумен шепотом.

И дернуло Андрея сказать: «Не знаю, мол, греха...» Тогда отшатнулся игумен; ухватил прислоненный к образнице посох и ударил Андрея по голове. Андрей зажмурился, выставил плечи и старался не дышать, пока игумен обеими руками поднимал трость и колотил. Потом, утомясь, пихнул Андрея ногой и сказал, словно плюнул:

— Поди прочь!

ПОБЕГ

Выскочив из кельи на солнцепек, пощупал Андрей с огорчением голову, молвил: «Ишь ты, какой сердитый»,— и, оборотясь, увидел монахов, которые держались от смеха за животы,

«Вот отчаянные,— подумал Андрей,— пойду-ка я к Нилу, он мне разъяснит».

Нил стоял в прохладной лавочке, за прилавком, подперев кулачками щеки, и странно глядел на подходящего; когда же Андрей попросил благословить, Нил отскочил и воскликнул:

— Не подходи, замараешь!

— Да чем же я замараю, господи,— сказал Андрей.— Вон Пигасий и не такие шутки выковыривал, да не били же его палкой.

Но Нил, всплеснув ладошами, устремился к иконке, прибитой на столбе, поддерживающем свод лавки, и, бормоча, нарочно неприятным голосом стал читать молитвы от злого духа.

Андрей подождал; потом молвил жалобно:

— Отец Нил, да пожалей ты меня, голова ведь кругом пойдет: неужели я хуже беса,— и, ударив себя по бокам, он побрел медленно к морю, где сел пониже мостков у воды.

Невдалеке вливалась горная речка, и желтый след от нее уходил в море. Вдоль берега плыли гагары, приподнимаясь от находившей волны, которая потом медленно взлизывала на песок. Солнце, склоняясь к лесным горам, золотило облака у окоема, легкую пыль над белым шоссе, монастырские стены и над кипарисами пять куполов огромного храма.

— Никому не угодил,— сказал Андрей,— кругом тишина господня, а я отвержен и мятусь.

И, пересыпая горстью песок, припомнил Андрей, что никогда не мог найти себе покоя: всегда казалось,— жил ли он в те поры в батраках, гонял ли плоты по Волге, ходил извозом в Москву, или нанимался в знойные степи на страду,— что временное это житье, случайное и неважное. В самом деле: неужто нет другого занятия, чем щи хлебать, будь они и первейшие, или в праздник, сидя на завалине, смотреть, сладко зевая, как Шарок и Каток — дворовые собаки — возятся на куче золы, хватая друг друга за пестрые уши. И не для работы же определен человек, если тоскует, не устраиваясь даже на отличных местах.

Много хуторов и деревень исходил Андрей, а одно лето взялся гнать деготь: так ему понравилось пожить одному в лесу. Тут-то и нашел на него чудесный странник; был странник невелик ростом, сутул и слезлив, а как принялся рассказывать про монастыри — голова кругом пошла у Андрея, и представил он себе седых и высоких монахов, сидя на горах, ликующих в божьей славе... Тотчас Андрей бросил все и пошел, не останавливаясь, на юг, и никогда еще сердце его так не ликовало...

И так теперь стало Андрею обидно за то время, когда шел он, без шапки, постукивая палкой, не в силах наглядеться на солнце, ни наслушаться птичьего свиста, что, воскликнув: «Нет, не поверю я, чтобы не было на свете чистого места»,— вскочил и, увязая в песке, побежал прямо к себе в келью.

Отец Гад сидел у стены на лавке и ухмылялся во весь рот, раздвигая ежом седую бороденку. При виде Андрея он вытер слезы и сказал:

— Смеялся я над тобой, милый человек. То есть дураков таких и не сыщешь: ну, кто же днем на огороде с бабой занимается? Теперь про монастырь такая слава пойдет — богомолок навалит видимо-невидимо. Сейчас я с Пигасием о тебе беседовал — много смеялись.

И вновь отец Гад захихикал, держась за лавку, Андрей же сказал угрюмо:

— Ухожу я, не хочу с вами жить...

— Куда ты пойдешь, любезный мой, обтерпись, прими муку...

— Прощай, отец Гад,— ответил Андрей угрюмо, поклонился Гаду до полу, надвинул колпак на глаза и вышел на волю.

Звонили в ту пору к вечерне, и последние монахи, медленно поднимаясь по залитой красным солнцем тропинке, неспешно оборачивались, заслоняя глаза рукой, и скрывались за кипарисами у высокого храма. Защемило сердце у Андрея, и самому захотелось взойти наверх, благословляя вечер; но, вспомнив все и особенно сегодняшнюю молитву отца Нила, мотнул Андрей головой и побрел прочь вдоль берега синего моря.

НА ШОССЕ

До вечера шел Андрей по шоссе, раздумывая и колеблясь — правильно ли поступил, покинув так монастырь; а когда потемнел поздний закат, над морем высыпали крупные звезды и на горах стали виднее горящие круглыми полянами костры, присел Андрей на щебень у дороги, положил около посох и поднял лицо, которого внезапно едва не коснулась неровным полетом летучая мышь.

Недаром говорят, что ночь, приподняв широкий рукав, выпускает оттуда крылатых мышек, чтобы не допускали они к вечерним сумеркам нечистую силу. Поэтому черти в потемках по глухим оврагам ловят мышек и отрывают им крылышки. А ты, когда носится она вблизи по кустам, будь спокоен и забудь о суете.

Так, улыбаясь, думал Андрей, и показалось вдруг ему непонятным — для чего маялся он весь год, когда здесь, например, да и повсюду — спокойно, радостно и тихо...

— Неужели опять нужно метаться, искать, чего и сам не знаю,— сказал Андрей,— останусь сидеть вот здесь. А куда ветер подует, туда и пойду. Будь в горах тропинка кверху, пошел бы по ней через колючки, ободрался бы весь, без воды затомился и, когда настал бы смертный час, сделал бы последний шаг и очутился бы в раю, где ключи бьют, ходят звери и над травой висит белое облако.

В это время, нарушая Андреевы думы и дребезжа, словно кузница, подъехала по шоссе плетушка. Андрей зажмурился, чтобы глаза не запорошила пыль; но лошадь вдруг отпрукнули, и женский голос воскликнул негромко:

— Конечно, это Андрей, вот встреча...

Андрей открыл глаза, вглядываясь. Перед ним в кривобокой плетушке, запряженной хромым мерином, тоже обернувшим к Андрею старую морду, сидели двое — баклушинские помещики: тетушка, худая барыня, в черном платье, старенькой шляпке блином, из-под которой внимательно выглядывало узкое лицо, с длин-

ным носом, в золотом пенсне, и рядом, лениво улыбаясь, сидел сутулый и тощий племянник, в американском картузе.

— Здравствуйте, Анфиса Петровна, здравствуйте, Сергей Алексеевич,— сказал Андрей, встав и кланяясь.— Из монастыря едете?..

— Оттуда, конечно,— заговорила Анфиса Петровна быстро.— У Нила в лавочке покупала чай и всякую всячину... Нил все про тебя рассказывал... Все, конечно, возмущены. Но я, Андрей, иначе смотрю на это дело...— Анфиса Петровна передала веревочные вожжи племяннику, чтобы, разговаривая, свободнее размахивать руками. Андрей же, потупясь, держался за железо тележки, стоя у колеса.— Ты, Андрей, поступил очень грязно, но естественно. Ты меня чрезвычайно интересуешь, как тип. Но, заранее говорю, я никаких отношений не признаю, кроме братских, между людьми. И ты, Сережа, мне глубоко непонятен, даже чужд, устраивая свои попойки...

— Да перестаньте вы, тетка, язык трепать, поздно ведь, когда ужинать будем,— перебил Сергей Алексеевич.— Ты, Андрей, куда теперь пойдешь?..

Андрей вздохнул и ответил:

— Не знаю...

Анфиса Петровна вдруг схватила его за руку:

— Отлично. Знаешь что? Поступай к нам в караульщики и управляющие; за последнее время ужасно сколько здесь разбойников развелось, а ты сильный и будешь нас защищать, да? Хочешь?

— Где же он, тетка, жить будет, вот ей-богу...

— В беседке, где гуси... Андрей, это прямо судьба... Что?

Андрей поглядел на тощее лицо Анфисы Петровны, оглянул темно-лиловое, теперь звездное, небо, вздохнул и полез на козлы.

ГОСПОДА БАКЛУШИНЫ

Усадьба Баклушиных лежала у самого моря, между монастырем и городом N. Подъезжающему нужно было подняться по кипарисовой, черной и звездной вверху,

аллее на пригорок, где росли огромные эвкалипты и стоял низенький белый дом с крыльцом и мезонином, от крыши которого до земли шла трещина, заткнутая паклей.

На облупленных стенах, двух колонках, ставнях и полусгнившем крыльце играли зайчики, а перед окнами благоухала пять раз в году белая акация.

Под широкими ее ветвями было устроено ложе с возвышением для головы; здесь любил полеживать Сергей Алексеевич, слушая, как с тихим треском лопаются и падают стручки. Весь сад кругом одичал и не вычищался. Кустами заросли рухнувшие надворные постройки, а в заколоченном мезонине по ночам бегали мыши.

У Баклушиных была, конечно, земля где-то и в Тульской губернии, но отец Сергея Алексеевича, большой любитель садоводства, поспешил ее заложить и, арендовав здесь сорок десятин, завел первое в России садоводство. Но один только каталог, в котором каждому предлагалось выписать букет из всевозможных цветов за 75 копеек, обошелся во столько, что Баклушин руками развел,— деньги были просажены, в саду дышать было нечем от запаха роз, нарциссов, гиацинтов и резеды, над фонтанами играли радуги, развевались флаги везде, а подлый этот российский мещанин не выписал ни одного букета... Вот взять бы всем да в морду и ткнуть.

С этою мыслью Баклушин и помер от дворянской сложной болезни, оставив круглым сиротою восемнадцатилетнего сынка, Сергея Алексеевича, который во время отцовских увлечений отбился от рук, самовольно вышел из гимназии и решил себя посвятить исключительно охоте.

Узнала об этом тетка Сергея Алексеевича — Анфиса Петровна, жившая в тульской разоренной усадьбе, тотчас собрала чемодан с полезными книгами и свалилась на беспутного племянника, чтобы сделать из него человека.

На пепелищах старых имений рождаются такие милые женщины, всегда неопределенного возраста и необыкновенной доброты; никогда они не выходят замуж,

берут на себя всевозможные тяготы, воспитывая удрученных племянников, и, воспитав, перебираются, все в том же черном платье и с картонным футляром для очков, на новое пепелище, мечтая о прочитанных книгах и всемирном добре.

Анфиса Петровна терпеть не могла Кавказ, беспокойное море, страдала мигренью от запаха цветов и боялась разбойников, но все претерпела; только, не желая ничего этого видеть, на воздух выходила редко и все время сидела на продранном кресле в прохладной спальне, читая книги, или говорила вслух, чтобы не мешали жучки-точильщики или куры, от жары стонущие за окном.

Ущипнув большой нос золотым пенсне, осторожно перевертывала Анфиса Петровна страницы журнала; над курьезными местами неслышно смеялась, закрыв сухонький рот,— словно ворковала; если же попадался портрет автора, вырезывала его и вешала на стенку в гостиной, где повсюду валялись пыльные книжки, заложенные тряпочками или окурком.

Рядом со спальней Анфисы Петровны помещался ободранный кабинет Сергея Алексеевича, куда тетка заглядывать прямо боялась: повсюду на двух столах, сундуке и полу навалены были — дробь, пыжи, патроны, звериные шкуры, банки с порохом, клыки, рога, нечищеные ружья, из которых пахло тухлыми яйцами и тряпками. Под кроватью же проживал старый кот, пуская ночью блох на Сергея Алексеевича, отчего тот во сне скребся, ударяя костлявыми коленками в стену, и тем пугал тетку.

Из кабинета и гостиной двери вели в длинную, выкрашенную охрой столовую, с выцветшей занавеской, за которой Анфиса Петровна на двух керосинках готовила ужин и обед.

Таково было хозяйство и дом, где Анфиса Петровна прожила с племянником шесть лет, и, несмотря на терпение, туго ей приходилось.

Особенно не любил Сергей Алексеевич чтения. Соберется ли на охоту или в город — ходит около него Анфиса Петровна с книжкой в руках, все не решается, потом скажет мягко:

— Почитали бы лучше Щедрина вслух, Сережа...

— Что такое? — спрашивает Сергей Алексеевич.— Меня, кажется, без воздуху уморить хотят.

— Ах, Сережа, ты прежде всего должен выработать идеалы; и притом ты уже лежал сегодня под акацией.

Расстроясь, уходила Анфиса Петровна в спальню, долго еще не то воркуя, не то покашливая от огорчения. Сергей же Алексеевич, тронутый, наскоро просил прощения и убегал, свистнув собаке, которая уже прыгала, стараясь лизнуть в лицо.

Сутулый, с рыжими усами и бритой головой, прикрытой чаплажкой, без устали бегал Сергей Алексеевич по горам; ночью зажигал костер, ложился в стороне за камень, чтобы на огонь не подстрелили разбойники; а на другой день, бодрый и без ненужных мыслей, возвращался домой, принося иногда козла на плечах...

Анфиса Петровна, обрадованная, что племянник и на этот раз не завалился где-нибудь в трещину, жарила ему еду, не переставая размышлять о важном, и так иногда задумывалась, что все пригорало; Сергей же Алексеевич ворчал, кусая усики...

— Что ты все ноешь, нытик,— говорила Анфиса Петровна,— вот у меня, например, времени не хватает передумать все, что дает человеческий ум; разве можно ныть? Учиться нужно.

— Я есть хочу, а вы ко мне с науками пристаете,— отвечал Сергей Алексеевич.

— Меньше всего, Сергей, нужно думать об еде и удовольствиях. Боже мой, что из тебя выйдет?

Анфиса Петровна ставила на стол сковородки и присаживалась с папироской напротив; Сергей Алексеевич поедал все молча, потом на красном лице его расползалась улыбка, он потягивался, расстегивая пуговку, и говорил:

— Вы, тетка, ужасно оригинальная женщина, разве можно меня обижать, когда я сирота; дайте я вас в носик поцелую.

— Ну, замолол глупости,— отвечала Анфиса Петровна и уходила в спальню, но, тотчас вернувшись, отвечала: — Знаешь, я не люблю, когда меня называют

оригинальной женщиной или целуют; у тебя, Сергей, всегда одна гниль в голове.

После ужина Сергей Алексеевич садился на крылечке, насвистывал собак, стравливал их или, увидев гусыню, кричал:

— Эй, баба, возьми прут, посеки гусыню, почему на яйцах не сидит...

Солнце в это время направо закатывалось за гору, откуда тянулись по зеленоватому небу алые облака; ветер с моря шевелил листы; позванивали буйволы вдалеке бубенцами; быстро опускалась ночь, зажигались над темными кипарисами крупные звезды, и Анфиса Петровна говорила, стоя в балконных дверях позади племянника:

— Конечно, это — неважно, но мне, Сергей, иногда хочется в Россию вернуться, посидеть на пруду под ветлами... хоть перед смертью...

— Подождите, тетенька, умирать, вот я на ноги встану,— кобенился Сергей Алексеевич,— а сейчас мне еще повеселиться хочется... Варенька-то что мне сказала: «Может быть, в окошко вас и впущу ночью...» А? Тетенька, зачем это она впустить хочет...

— Ну, замолол... противно слушать... Сергей. Твоя Варенька и все ее подруги какие-то обжоры... Я не люблю, когда ты даже так шутишь...

— Я не шучу,— отвечал Сергей Алексеевич, поднимая к тетке веселое, масленое от воспоминаний лицо.— У Вареньки был уже любовник... а теперь я.

Анфиса Петровна после таких слов сдергивала пенсне и тыкалась во все углы, покашливая, потом запирала ставни и ложилась в постель...

И, лежа в темноте с открытыми глазами, перебирала все слова свои и Сережи, ужасалась, что опять прошел пустопорожний день, обещалась взять себя в руки и далеко уже за полночь, когда Сергей давно похрапывал, болтая иногда коленкой в стену, зажигала свет, накидывала шаль и, войдя к племяннику, трясла его за костлявое плечо со словами:

— Сергей, очень важно... полно тебе спать!

Сергей Алексеевич, дико оглядываясь, щурился на свечку, дрожащую в теткиной руке, натягивал рыжее

одеяло, засовывал грязную подушку за спину и зевал, приготовляясь слушать; он знал, что теперь лучше не возражать. Анфиса же Петровна начинала длинный разговор о жизни, воздержании и об идеалах.

Так у Баклушиных проходило время, нарушаемое отлучками Сергея Алексеевича в город. За последнее время стал он пропадать все чаще, и Анфиса Петровна, боясь оставаться без собеседника и сторожа одна, ужасно была рада, найдя верного Андрея. Во всю дорогу, пока плетушка крутилась по извилинам шоссе над морем, тетушка взволнованно молчала. Андрей же глядел на шоссе и звезды, думая: «Вот бы уйти по этой дороге одному, не зная куда».

В ПЛЕНУ

Подъезжая к дому, Анфиса Петровна воскликнула:

— Да, Андрей, мы больше пяти рублей дать тебе не можем, у нас совсем нет денег.

— Все равно,— сказал Андрей, спрыгивая с козел, чтобы легче было мерину влезать по кипарисовой аллее,— я и так послужу.

Навстречу подъехавшим прибежала собака с перебитой ногой, другой пес гремел цепью в будке и лаял. А дом казался белым и чистеньким при свете звезд.

Анфиса Петровна, говоря: «Славу богу, вот мы и дома», захватила кулечки и взошла на балкон, Сергей же Алексеевич еще немного постоял, прислонясь грудью к перилам,— потому что торопиться было некуда.

Андрей, отпрягая и проваживая мерина, видел, как в столовой зажгли жестяную лампу на стене и сели ужинать... Потом Анфиса Петровна вышла на черное крылечко с подушкой, кошмой и свечкой в руках и, крикнув Андрея, повела его в беседку, неподалеку от крыльца, в кустах... Позади беседки стояли высокие пеньки, на которые Сергей Алексеевич садился по своей надобности, а у стенки спали гуси... Гуси, увидев Андрея, зашипели по-змеиному, и Анфиса Петровна сказала:

— Они не тронут, вот здесь и ложись; когда встанешь, разбуди меня, мы обсудим твои обязанности.

Андрей разостлал на полу кошму и лег, оглядывая беседку... В дощатой ее стене чернело разбитое окошко, в котором, освещенные свечой, толклись два комарика; с пыльных стропил висели паутиновые сети, и над дверью, меж двух синих колонок, была надпись стертым золотом: «Вот в чем мое блаженство».

Андрей вслух повторил эти слова и, дунув на свечу, стал думать, отчего ему все-таки неясно на душе.

В полночь проснулся вдруг Андрей от света, приподнялся на локте и в разбитом окне увидел фонарик, которым был освещен глаз Анфисы Петровны, подбородок и длинный нос в пенсне.

— Лежи, лежи,— поспешно заговорила тетушка,— я вот для чего: представь — засыпаю, и вдруг меня точно подкинуло — мы же тебя ужинать не пригласили. Нет, Андрей, надо сейчас же установить правильные отношения. С одной стороны, ты простой работник, а с другой — монах, почти интеллигент... это ужасно сложно...

— Я есть не хочу, барыня.

— Не смей произносить слово — барыня; мы все равны. Я решила: ты будешь есть с нами за одним столом и вечером даже сидеть в гостиной... Ах, Андрей, у меня сейчас возник другой план... пока не скажу... Ну, спи...

И, заворковав от волнения, тетушка поспешно ушла. Когда же стало опять темно, Андрей подумал: «Святой человек, а душа и у ней неспокойна».

Рано поутру Андрей нашел в беседке косу, выточил ее и стал выкашивать у крыльца запущенную поляну. Выставляя ногу, размахивался он и со свистом срезал мокрый и сизый ряд травы; от увядающего ее запаха, от света солнца над морем разгорелись щеки у Андрея, вспотела спина и отошла грусть...

Анфиса же Петровна глядела на Андрея через окошко, мяла недокуренную папироску и шептала:

— Кто знает, вот этими руками, которые держат косу, будут, может быть, созданы великие вещи... Но как приступить к нему?

И все утро, пока Андрей полол дорожку, рубил сучки, таскал валежник, постоянно за кустами где-нибудь

оборачивалось к нему внимательное лицо Анфисы Петровны, проходившей здесь будто случайно..

К обеду Андрей умаялся, помыл руки и, не стесняясь, вошел в столовую, довольный и веселый. Анфиса Петровна шипела керосинками; у стола, положив локти на клеенку, сидел в ночной, растерзанной на груди рубашке Сергей Алексеевич и ерошил волосы... Увидев Андрея, он поднял руки и закричал:

— Святые отцы пришли!.. Ну что, Андрей, заморила тебя тетка работой? Меня, брат, она совсем в гроб вогнала.

— Полно тебе шутом прикидываться,— сказала тетушка.— А ты его не слушай, Андрей, садись и ешь...

— Спасибо вам,— молвил Андрей,— уж очень мне у вас нравится.

После обеда Анфиса Петровна заставила Андрея рассказать всю свою жизнь и слушала, сдвинув брови.

Сергей же Алексеевич ушел под акацию прилечь и, когда к вечеру тетушка и Андрей сошли с крыльца на полянку, все еще разговаривая, крикнул им вдогонку:

— Тетка, а хорошо бы Андрея в город повезти, дамам показать, вот была бы шутка: знаменитость ведь он!

Тетушка на это промолчала; Андрей же удивился: каким дамам? И представил толстых, в розовых платьях дам, которые смотрят на него, а он едва только не голый и очень стесняется.

За ужином Анфиса Петровна не ела — все курила папироски и думала; а взор ее иногда так подолгу останавливался на Андрее, что Сергей Алексеевич крикнул:

— Тетка, проснитесь!

Лежа ночью в беседке, недоумевал Андрей, к чему уж очень ласкова с ним Анфиса Петровна, и боялся, как бы и здесь не подгадить, не сорваться, а доверие оправдать вполне. И чем дольше Андрей думал над Баклушиными, тем больше путался, и так с перепутанными мыслями он и уснул.

Назавтра, только что Андрей воткнул в дерево топор, глядя на пеструю сиворонку, распустившую с шумли-

вым клекотом на сухой ветке нарядные крылья и хвост, как Анфиса Петровна открыла окно и позвала.

— Птица какая, видели? — сказал Андрей, обернув к тетушке веселое лицо.— Будто на радость к нам прилетела...

И, встретив глаза Анфисы Петровны, Андрей любовно заглянул в их глубину и заметил, что они вдруг испугались, сморщились у концов и помутнели... Анфиса Петровна быстро захлопнула окно. Андрей же нагнул голову, удивился и пошел в дом.

В гостиной Анфиса Петровна приказала Андрею сесть в кресло напротив себя, открыла большую книгу и заговорила, вертя черепаховый нож:

— Я знаю, что отец Нил выучил тебя грамоте в один месяц и ты много читал. Дело вот в чем: в этой книге прямо-таки доказывается, что бог есть создание нашего воображения, и все религиозные писатели и аскеты жестоко заблуждались... Ты, Андрей, умный, молодой и талантливый мужик... Да неужто с твоими увлечениями и исканием правды ходить по монастырям или жить в лесу, как дикий человек... Тебе врали, затемняли сознание, учили басням... Боже, сколько сделано зла... Андрей, ты должен вступить на истинную дорогу; я всю ночь не спала, вот что придумала: я приготовлю тебя за восемь классов экстерном, ты поступишь в университет, и, кто знает, может быть, в тебе скрывается великий ученый, писатель или философ...

От волнения с носа Анфисы Петровны соскочило пенсне. Андрей же, ничего не поняв, перепугался.

— Пойми, Андрей,— продолжала тетушка,— ах, я всегда мечтала всю жизнь посвятить себя большому делу — сделать человека... Сергей молод и... право... в нем дурные наклонности, а ты, как дуб, земляной и цельный...

— Вы это для спасения души? — спросил Андрей.

— Ах, нет же... что за манера!.. Так вот, хочешь, сейчас мы начнем первый урок из французского. Будь внимателен и скажи, когда утомишься...

Анфиса Петровна поближе пересела к Андрею, все еще не в силах совладать с тиком в глазах и легким задыханием, что делалось у нее от радостного волне-

ния, а в это время, говоря: «Тетка, я есть хочу»,— вышел из кабинета Сергей Алексеевич.

Андрей вскочил ему навстречу, а тетка покраснела, опустив книгу.

— Это вы за него принялись? — наморща лоб и сунув руки в карманы, сказал Сергей Алексеевич.— Да вы, тетка, действительно оригинальная женщина.

НЕОЖИДАННАЯ СМЕЛОСТЬ

Тогда, неожиданно для всех и для самой Анфисы Петровны, вскочила она, изменяясь в лице, затопала ногами и закричала:

— Ты, молокосос, еще меня учить хочешь: у тебя всякие пакости в голове, а не идеи, бездельник и Митрофан!.. Боже мой!.. Разве в мое время смели над старшими издеваться... Как ты войти сюда осмелился без спросу! В лакейскую тебя — сапоги чистить... Натерпелась я, возьму сейчас и уеду... оставайся один...

В необыкновенном волнении убежала Анфиса Петровна в спальню, щелкнула ключом... и стало тихо...

— Вот так рассердилась,— молвил Сергей Алексеевич,— никогда с ней этого не бывало... а ведь она уедет, ей-богу уедет.

— У ней доброты много,— сказал Андрей,— она за вас душу хотела положить, а уж такому человеку только до черты дойти: все перетерпит, а дойдет до черты,— ничего не жалко, пускай все валится...

— Да, да, насчет черты, это сбивчиво, но верно,— пробормотал Сергей Алексеевич и, постучав к тетке, жалобно молвил: — Я пошутил, тетенька, шуток вы не понимаете, что ли; я страшно огорчен, а?..— и, отойдя на цыпочках, прошептал Андрею: — Отойдет, она добрая. А я вот что — в город уеду на весь день, она забеспокоится, и гнев пройдет. Только не обедали мы, даже тошнит.

И Сергей Алексеевич, морщась, надел кожаную куртку и очки, вывел из-под балкона мотоциклет, сел в седло, заработал изо всей силы ногами, с треском

его само подхватило; и, поднимая облако пыли, он скрылся за поворотом.

Андрей же побрел в сад, думая, что счастье и здесь непрочно и одного слова достаточно, чтобы озлобились люди и рухнула их любовь...

А Сергей Алексеевич, все поддавая, катил в N, по дороге распугивая буйволов и проезжих лошадей, которые становились на дыбы.

Мотоциклетку Сергей Алексеевич завел еще в прошлом году, и выезжающие из города в монастырь каждый день встречали облако пыли, из которого с кваканьем и шипом выносился баклушинский племянник. Сергей Алексеевич до того доездился, что от постоянного стука оглох, и однажды, с налета наскочив на собаку, перелетел через руль, ткнувшись головой в кучу щебня... И долго еще потом Анфиса Петровна выговаривала:

— До какого унижения может дойти человек, увлекаясь низменным...

Увлекался же Сергей Алексеевич всем и притом досыта, чтобы как ножом отрезало. Покупал винтовку, например, и тогда ни одной теткиной картинки не оставалось целой: во все Сергей Алексеевич ухитрялся выстрелить, даже в мух. И всякий раз, когда от продажи остатков тульского леса перепадали деньжонки, придумывал Сергей Алексеевич новую забаву. Теперь он увлекался N-скими дамами.

А дамы в N были замечательные: не считая чахоточных, которые жарились под солнцем на широких верандах с видом на крыши, залив, лодки на нем, дымы и синее море, в N насчитывали пять веселых дам; из них одна только, вдова Варенька, была черная и цыганистая, остальные же походили скорее на корабли, когда под белыми зонтиками, одетые в пестрые, чудом не лопнувшие платья, проплывали по бульвару в ресторан, где, по выражению Анфисы Петровны, и наедались до расстройства желудка. Мужья их, местные чиновники, не хотели давать денег на рестораны, и дамы поэтому искали кавалера, который бы их кормил, а потом возил катать на единственном в городе автомобиле, взятом у содержательницы веселого дома. А когда «корми-

лец» издерживался, огорченные дамы устраивали ему на прощанье «интимный» чай. Два раза таким образом был «съеден» Сергей Алексеевич, а сейчас у него начинался роман с Варенькой, и так как дамы стояли горой друг за друга, делая все сообща, то приходилось идти на общее съедение и в третий; но теперь не хватало денег для «шикарной попойки» — надо было придумать что-нибудь необычайное, извернуться подешевле, и, уже подъезжая к N, вдруг остановил Сергей Алексеевич мотоциклетку, сел у дороги и принялся, размахивая руками, размышлять: у него возникла замечательная идея...

Тем временем Андрей, сдирая лопатой дерн с поросшей травою дорожки, пожимал плечами и бормотал; уж очень ему не нравилась вся эта путаница: чего требуют господа и из-за чего сами мечутся? И, кажется, святой вот человек Анфиса Петровна, а накричала же и запуталась. Будто во всем этом есть тайный какой-то грех. От мыслей таких опять смутно стало и темно на душе у Андрея; работа повалилась из рук, и, крякнув, вонзил он скребок в землю, пошел к Анфисе Петровне, постучался в спальню и сказал:

— Дело есть у меня к вам, насчет давешнего; как разговор понимать...

Анфиса Петровна не ответила; Андрей сел в кресло и, отмахиваясь от надоедливой мухи, стал терпеливо ждать...

Наконец дверь спальни приоткрылась, Анфиса Петровна просунула голову, с распущенными волосами, вскрикнула вдруг, захлопнулась и спустя время сказала:

— Поди вон...

— Так-то проще,— пробормотал Андрей,— понятнее,— и, покачав головой, медленно побрел к морю.

Там на золотом и теплом песке, щурясь на низкое солнце, разулся он, разделся и, войдя в воду, вытянул тело, откинул косматые волосы, грудью вдохнул солоноватую прохладу и сказал:

— Отлично; я завтра уйду, мудрят господа очень со мной.

И пока он ворочался и полоскался в зеленоватой воде, простучал мотоциклет, и по берегу, увязая в песке и махая Андрею картузом, бежал Сергей Алексеевич... Андрей, прикрываясь, вышел, а Сергей Алексеевич, присев на корточках у самой воды, поспешно заговорил:

— Андрей, я тебе сейчас принесу белье и шляпу; мы едем в город... Пожалуйста, не отказывайся... Понимаешь, замечательная штука вышла... Тебя страшно там ждут, да кто еще — очаровательные дамы... Я им все рассказал, рвут и мечут — подай им знаменитого затворника, и все тут... Останешься доволен; там есть одна такая — Зязя, влюбчивая — страсть... Она тебя непременно осчастливит, ей-богу...

И Сергей Алексеевич убежал за бельем и шляпой. Андрей хотел было крикнуть ему вдогонку, но кровь ударила в голову, пересохло горло, и, перегнувшись, он ухватился за колени, бормоча:

— Экая пакость, поманили—и перекорячило всего...

Когда же Сергей Алексеевич вернулся, Андрей сидел, обхватив голые колени, уперев в них бороду, и от закатного солнца он казался весь красным. Сергею Алексеевичу он ничего не ответил, уговоров будто не слушал, а потом стал глядеть Сергею Алексеевичу в глаза, спросил к чему-то: «А выручать кто будет?» — медленно оделся и, не поднимая головы, пошел к дому...

— Ты подожди на крылечке,— сказал Сергей Алексеевич,— я живо буду готов... Да смотри, тетке ничего не говори.

Андрей, прислонясь к перилам, стоял как в тумане; что делать? ехать ли? Страшно это. А ни воли, ни совести нет. И Андрей не почувствовал, как Анфиса Петровна, сойдя к нему с крыльца, потянула за рукав.

— Прости меня,— сказала она,— я не хотела обидеть... Видишь ли... Сядем на приступки. Андрей, я не знаю, какой ты человек, и не сужу, но ты меня обидел...

Андрей, сев рядом, повернул к Анфисе Петровне голову; лицо ее казалось оранжевым от заката, и глубокие, в старушечьих морщинах глаза теплились огоньком.

— Ты меня не уважаешь, Андрей,— продолжала тетушка, и под взглядом Андрея побледнели ее щеки,

она встала, откинулась на перила, закрылась рукой, быстро ее отдернула и продолжала торопливо: — Ты меня не уважаешь, это ужасно... Но я все равно скажу... В тебе, Андрей, слишком много животного, но душа прекрасная и страшно близка мне. И, хотя ты для одного себя живешь и страдаешь, у тебя есть идея, а это главное... У Сергея ее нет... И молодежь и все потеряли веру... Я вот путаюсь, но пойми, у меня здесь пустота... Чем ее заполнить... Не знаю...

Анфиса Петровна запнулась; Андрей продолжал глядеть не то насмешливо, не то нагло; тогда тетушка, не в силах отвести взгляда, вытянула шею, челюсть у нее дрогнула, и, брызгая слюною, крикнула: «Ах ты, мужик»,— и ткнула Андрея ногой...

И Андрей, не зная сам почему, закинул косматую голову, раскрыл бородатый рот и принялся хохотать густым басом...

От неожиданного смеха стало ему вдруг все ясно и легко, словно отвалили камень.

Анфиса Петровна закрыла лицо и принялась молча плакать.

ДАМЫ

В тот вечер во дворике ресторана «Экспресс» (таковы названия на юге), за белой скатертью, освещенные свечами, сидели пять дам, в нетерпении оборачивая огромные шляпы, с перьями и кружевами, к небольшой дверке, которая вела через проход на улицу.

Четыре кирпичных стены ограждали дворик, посыпанный красным песком. Посредине бил фонтан, и брызги с тонким звоном падали на стеклянные красные шары, утвержденные вокруг бассейна на белых тумбах; и каждый шар поблескивал; по стенам, цепляясь за ветхую решетку, полз дикий виноград, и кудрявыми шапками темнели лавры; на углу перед плюшевой беседкой стояла гипсовая Диана с отбитой рукой, невдалеке на палке была прибита доска с кривою надписью: «Шашлыки». И сверху, из-за черных труб, заглядывая в глубокий этот колодезь на полные и напудренные лица дам, вылезала большая луна...

— Чего же он нейдет, это несносно,— сказала Варенька.

— Я умираю, хочу видеть монаха,— простонала самая полная из дам, Зязя, и тронула язычком красные губы.

— Вот еще, от этого не умирают,— ответила Софочка, жена почтмейстера.

Остальные дамы — Аня и Маня, наморщив лбы, сидели прямо и важно, дожидаясь еды.

На дворик зашли два татарина; один, седой и усатый, сел на сырой песок, зазвенев бубном, другой же, слепой юноша, принялся играть на скрипке жалобно, негромко и дико.

— Ах, как я люблю меланхолию, —прошептала Зязя... А Варенька, закинув за голову руки, так что с острых локтей ее упали черные кружева, прикрикнула:

— А ну вас тут, жилы только тянут, играйте веселое...

Старик поднял выше бубен, юноша затоптался, но песня осталась такой же печальной.

Недолго дамам пришлось томиться: из глубины прохода послышался шум и голос Баклушина:

— Как хочешь, отец, не пущу, честное слово. Mesdames, идите на помощь!

Зязя приложила полные руки к сердцу и шумно ахнула; Софочка захлопала в ладоши, крича: «Пришли, пришли!» — и, подняв бокал, выпила; Варенька же, подхватив красное платье, побежала в проход.

Там, при свете фонаря, увидела она у стены косматого человека, который упирался, показывая белые зубы, а Баклушин, одетый в смятый фрак, толкал его коленкой; два лакея в стороне хихикали, прикрывая грязными салфетками рты.

И, делая все по вдохновению, поднялась Варенька на цыпочки, охватила Андрея голой рукой и поцеловала в мягкие губы...

Андрей ахнул и ослаб. Сергей Алексеевич обиженно закричал «браво», а Варенька, обернув к Андрею горбоносый свой правый, более красивый, профиль, подняла, опустила и быстро скосила глаза и, молвив: «Идите же к нам», — убежала во дворик. И Андрей, у которого

от внезапного поцелуя все перепуталось, покорно пошел вслед; его усадили между Варенькой и Зязей, обвязали салфеткой, и дамы, наперерыв расспрашивая, наклонялись к нему, щекоча перьями и краями шляп.

— Жил я, ничего особенного,— говорил Андрей, как во сне.— А сейчас ничего не понимаю, будто я и не на земле...

Взяв подсунутый стакан, Андрей выпил его медленно, по-мужицки, перед тем перекрестясь... Все переглянулись и притихли. Андрей положил на стол кулак и, помотав головой, сказал:

— Чудно очень... Гуляю с барынями... А я думал, барыни на диване сидят за окошком и вот так только пальчиком: квик, квик.

— Вы довольны, дуся? — наклонясь к Варенькиному уху, прошептал Сергей Алексеевич.— Я столько трудов с ним потратил. Теперь да?

— Может быть, и да,— медленно ответила Варенька, глядя на Андрея.

Принесли шашлыки, и дамы доверху наполнили тарелку Андрея; Варенька поднесла ему ко рту стакан; Зязя, навалясь грудью, улыбалась великолепными губами. Андрей, задыхаясь, ел и пил, и в отуманенной голове его возникла дикая идея.

А в это время из темноты на скатерть скользнула неслышным полетом мышь, тронув холодком лицо у Зязи. Зязя пронзительно вскрикнула и потянула за скатерть. Андрей, словно ему напомнили, встал, следя полет летучей мыши... Потом ладонью провел по лицу, усмехнулся в ответ на повернутые с любопытством головы, согнул руки кренделем и начал топтаться; все засмеялись, мерно ударяя в ладоши; Варенька, выхватив у татарина бубен, стала около, выгибаясь и позванивая.

Тогда Андрей, загребая ногами, пустился вприсядку...

— Вот он какой у меня,— закричал Сергей Алексеевич,— и, подняв фалды, тоже запрыгал; Маня и Аня громко шептали: «По-моему, это неприлично...» Зязя так рассмеялась, что на груди у нее лопнул лиф; Софочка вскочила на стул, плеща из бокала.

Наконец Андрей, шатаясь, подошел к столу, охватил

Зязю, посадил на колени и поцеловал... Зязя взвизгивала и отбивалась, а Варенька бросила бубен, часто дыша.

— Нечего визжать, когда довольна, как свинья,— сказала она Зязе.

У Андрея налились жилы на крутой шее, и, целуя все чаще, поднялся он и пошел к выходу, прижимая толстую Зязю к себе. Все переполошились; Сергей Алексеевич преградил было дорогу, но, отброшенный ударом ноги, выругался... А Зязя, вцепясь Андрею в бороду, побелела, закинула голову и круглым коленом уперлась ему в грудь.

И Андрей уже достиг выхода, но на пороге в это время появилась тетушка Анфиса Петровна, в сбитой шляпке, вязаной мантильке, и подняла пыльный зонт.

БУЙСТВО

— Андрей, опомнись! — сказала Анфиса Петровна, пристально глядя.— Ты забылся...

Зязя вывернулась в это время и побежала к дамам, оправляя платье; Андрей нагнул голову и отступил.

— Я пришла за тобой,— повторила Анфиса Петровна, положив руку Андрею на рукав,— успокойся, если хочешь, я с тобой вместе помолюсь...

Такова была порода Анфисы Петровны: где предстояла опасность или драма, туда шла она, готовая радостно поднять крест в уверенности, что кротость и любовь все победят...

— Ты гадок, Сергей,— обратилась она затем к племяннику,— прости, но я тебя презираю. И вы, сударыни, лучше бы мужьям штаны зашивали, чем желудки здесь портить и совращать идейного человека. Вы вот пляшете, задрав юбки, а он, может быть, за вас и за себя кровью обливается. Вы уж меня простите, старуху, я прямо говорю — уходите отсюда вон...

И, говоря так, Анфиса Петровна вновь подняла зонт. Зязя громко заплакала, Аня и Маня, возмущенные, зашептались. Софочка вздернула носик; Сергей Алексеевич со злости сел ко всем спиной и дудел в бутылку; Варенька же резко вдруг вскочила, крикнув:

— Андрей, я приказываю, подойди ко мне.

— Нет,—твердо возразила Анфиса Петровна,— он пойдет со мной,— и вновь дотронулась до Андрея, а он, откинув тетушкину руку, закричал, тряся бородой и приседая от злости:

— Вон отсюда, вон, старая пакостница...

— Господь с тобой, господь с тобой,— забормотала Анфиса Петровна, попятясь к выходу.

Сергей Алексеевич, крича, побежал на Андрея, но, схваченный за плечи, полетел на тетку в проход; Андрей захлопнул дверь на задвижку, повернулся к дамам и медленно стал подходить...

Дамы отступили к беседке, потом завизжали все и разбежались; задетый юбкою, упал стеклянный шар на край бассейна и рассыпался со звоном. Андрей не торопясь высматривал и щурился, мягко ступая по песку. Преградивший дорогу стол он опрокинул; загрохотала посуда, погасли свечи, и над двориком, погнав густые тени, встала ясным кругом плоская луна... И когда глянул на нее Андрей, все в нем заликовало, задрожали жилки; раскинув руки, он воскликнул: «Чего боитесь, вот дуры!» — и, прыгнув, схватил даму, что стояла ближе и не увернулась; это была Варенька, которая закрыла глаза, сложила ладони у груди и затихла, едва вздрагивая...

— Любишь? — спросил Андрей.

В это время дверь, на которую навалились снаружи, затрещала, повалилась, и первым во дворик вбежал Сергей Алексеевич, размахивая плетеным стулом, за ним следовали дворники, два лакея со щетками и городовой в белой рубашке. Дамы скрылись. Варенька вырвалась и стала в дверях... А когда Сергей Алексеевич, крутя стулом, подступил, Андрей ударил его в лицо так сильно, что Баклушин тут же упал навзничь, повернулся на песке и лег ниц. Андрей насел сверху и обхватил его за шею. На плечи Андрея навалились, но он медленно приподнялся, стряхнув всех, и, качаясь, пошел к выходу; Вареньки уже не было... Еще раз сбили с ног Андрея, но он, вновь освободясь, выбежал на улицу...

А на дворике, у ног Дианы с отбитой рукой, остался

лежать на влажном песке Сергей Алексеевич, силясь приподняться; из лица его шла кровь.

По светлой от луны пустынной улице пробежал Андрей до набережной, стал в тени лапчатой пальмы и оглянулся. Позади, удаляясь, трещали свистки полицейских, и в тишине раздавались голоса... Неподалеку звякнуло окно, просунулась заспанная голова, но сон ее одолел, и, довольная прохладой, голова тут же и поникла.

Андрей усмехнулся, отер ладонью лицо и повернул налево в гору, где в темной зелени стояли, белые при свете электрических фонарей, каменные дачи... Но фонари вдруг погасли, несколько мгновений краснея угольями; выступили из мрака лесные горы, голые холмы; над садами и дачами разлился синеватый, прохладный свет, глубоко открылось туманное море, а внизу за пальмами поднялись мачты с поникшими флажками — то начиналось утро.

И напали на Андрея истома, равнодушие и лень. Пробродив по тротуарам у чугунных решеток, присел он на каменные ступени крыльца и, подперев щеки, стал глядеть поверх моря в рассветающее синее, родное небо, где, гряда за грядой, шли белые облака...

— Слава тебе, господи! — сказал Андрей.— Ты жестоко испытал меня, я не захочу больше ничего, я вернусь...

Но не было сил подняться, не было воли захотеть, а над головой послышался легкий смех и голос Вареньки:

— Неужели это ты, Андрей? Вот молодец, они не справились с тобой... Скорее лезь в окошко, пока не видят...

Андрей медленно обернулся, зная, что это лишь обман. Все обман в этом мире. А над ним в окне, облокотясь на голые руки, лежала, сладко улыбаясь, Варенька в одной кружевной рубашке; колечки черных волос вились у нее на висках, и одна прядь падала с белого лба на глаз.

— Скорее же, медведь,— смеялась Варенька,— я спать ложусь, ухватись за подоконник и прыгай. Вот так.

На следующий день, когда Сергей Алексеевич, с припухшими губами и обвязанной полотенцем головой, лежал, стоная, на кровати, а тетушка, не переставая курить, ходила молча по столовой, нагоняя этим на племянника еще пущую тоску, к Баклушиным постучался отец Нил.

Отец Нил сел в столовой у стены, подобрал под стул серые от пыли ноги, вытер платком лицо, на котором совсем ввалились почерневшие глазницы, увеличив и без того обезумевшие глаза, и вдруг спросил со злобой:

— Теперь успокоились, привели его в свою веру?..

— Ах, оставьте меня, отец Нил,— сказала Анфиса Петровна, хрустнув пальцами,— я ничего не знаю и весь этот ужас и унижение едва ли переживу.

— Вот я на вас жалобу напишу, разбойники; спалить вас вместе с монастырем мало! — крикнул Сергей Алексеевич из кабинета.

— Я принес утешение, а вы полны злобы,— молвил Нил и, тотчас вскочив, стал расстегивать на груди подрясник.— Нечестивые помыслы нужно палить, юноша, а не монастырь... Выжечь все желания, оставив единую мысль о смерти. О смерти думайте, Анфиса Петровна, а не о похоти на старости лет; вот так, вот, как я...

И Нил распахнул подрясник на голой груди, где, среди ссадин, кровоподтеков и гнойников, болтались острые вериги...

Анфиса Петровна приложила пальцы к вискам и отошла к окошку. Сергей Алексеевич слез с кровати, морщась выглянул из кабинета на Нила и опять лег.

— Вот,— продолжал Нил, ударив по веригам,— это есть православие, ну-ка, попытайтесь...

— Прикройте, Нил,— перебила Анфиса Петровна,— это больно и только, вы сами себя обманываете... Да, сознаюсь, по слабости, и я захотела для себя ничтожного счастья, а вышло смешно, гадко и глупо... Перед вами и Сергеем повторяю: я полюбила... Вы довольны... за этим только ведь пришли... Вот глупая старуха перед вами и кается... А жить, Нил, нечем...

— Как нечем, а бог! — закричал Нил.— Ах вы, нытики, гнилые затычки. Через вас православная вера погибает... Я теперь по базарам пойду, при всех себя истязать буду, восстановлю истинную веру... Весь народ подниму, а вас на суд... Для этого и пришел, чтобы проклясть... Меня не обманешь, знаю, в чьем обличье дьявол...

Нил поднял руку, да так и остался... Анфиса Петровна, обернувшись к окну, побелела и прислонилась к стенке...

За окном по дворику шел Андрей, в порванной одежде, без шапки и босой. Ни на кого не глядя, распахнул Андрей дверь, подступил к Анфисе Петровне, опустился на колени и медленно поклонился ей до земли...

А тетушка, прижимая затылок к стене, вытянулась и закаменела, закрыв глаза. Андрей так же молча вышел и пропал за кустами, и Нил, весь даже передергиваясь, прошептал:

— А передо мною, гордец, не согнул спины... Нет, поклонишься и мне; я покажу...

Но Анфиса Петровна не слушала уже монаха... Так стало ей тошно, что едва добрела до спальни, заперлась, легла лицом к стене и представилась себе совсем маленькой и одинокой...

Этим поклоном Андрей словно украл ее гнев; теперь некому было прощать, не о чем тревожиться, не осталось ни надежд, ни радости, одна усталость... «Так с покойниками прощаются,— думала Анфиса Петровна.— А ведь страшно умереть, будто уйти в потемки... Затомишься, задохнешься, и все... Или в пруд бы упасть, около старых ветел,— отнесет тебя темная вода к плотине, изотрет об коряги, объедят раки тело...»

И наутро объявила Анфиса Петровна племяннику, что больше она никому, даже себе, не нужна и едет в Тулу.

Сергей Алексеевич уговаривал тетку, прикидывался маленьким, обещаний надавал, но Анфиса Петровна собрала чемодан с ненужными теперь книгами, походила по дому, воркуя и трогая вещи, потом села в плетушку, сказала:

— А ты, Сережа, в юнкерское училище еще можешь поступить,— и, вынув платочек, она подержала его в руке, улыбнулась, чтобы ободрить Сергея Алексеевича, и уехала навсегда.

Сергей Алексеевич из всех теткиных вещей нашел в спальне одни прюнелевые башмаки, которые, бывало, из отвращения и озорства закидывал на крышу, и горько теперь над ними плакал; потом, глядя на керосинки, вспомнил, что теперь некому готовить обед, читая нравоучения, и в необыкновенной тоске поспешил в N.

В городе Зязин муж — жандармский ротмистр — увел Сергея Алексеевича в кабинет, похлопал надушенной рукой по плечу и сказал ободряющим голосом:

— Оставим-ка, молодой человек, слезы женщинам и будем с вами дела делать.— И при этом так внимательно поглядел, что Сергей Алексеевич, покраснев до пота, сознался:

— Я думал летчиком на аэроплане сделаться, а впрочем, все равно, если меня бросили...

Так началась самостоятельная жизнь Сергея Алексеевича, и он выходит из плана этой повести.

В ГОРАХ

От Баклушиных Андрей долгое время шел по шоссе, и, как тогда, в день побега, опустился над морем звездный вечер, открылись огни в горах и залетали мышки.

Но Андрею не хотелось ни на что смотреть, будто по горло был полон он гадостью и только последним этим поклоном тетушке в ноги свалил самый грузный камень. И, кланяясь, думал он, что отрезывает себя от мира, где оставалась только дорога впереди, неведомые странствия и, когда-нибудь, конец.

С утра Андрей не ел и не пил, а теперь, заметив вдалеке у подножья гор, пониже горящих полян, едва видимые огни селения, повернул туда, удаляясь от моря.

Из-под первого тына вынырнули на Андрея две собаки и забрехали; Андрей постучался в ставню, огонь

в щели погас, и из-за угла сакли вышел с ружьем в руках приземистый армянин, в косматой шапке и с усами.

— Дай мне кукурузы,— сказал ему Андрей,— луку и топорик, я иду в горы спасаться, помолюсь и за тебя...

— Хорошо,— вглядываясь, ответил армянин,— топорик и кукурузы я тебе дам, а ночевать иди наверх, где костры: я тебя боюсь.

Костры казались близкими — рукой подать, но сколько Андрей ни лез по косогорам, обдираясь о невидимые колючки, все над головой его, словно глаза, горели, догорали и закрывались желтые огни. И только к полуночи учуял он запах гари и вышел на поляну, где, подергиваясь черной золой, краснели кучи пепла и под высоким дубом, освещенным снизу, шумело зыбким языком красное пламя.

Перед огнем, в башлыках и бурках, сидели на пятках пять человек с такими разбойничьими рожами, что Андрей перекрестился и сказал, низко кланяясь:

— А не помешаю я вам, добрые люди? Одному-то боязно, зверь в лесу лютый.

Все пятеро повернули к Андрею горбатые носы, ничего не сказали и снова уставились на огонь.

Андрей присел подле на пень, покряхтел, помолчал и снова молвил:

— Разбойники будете? Что же, всякому свое. А я вот место ищу, где бы людей не было, хочу спастись; а впрочем, и сам не знаю, спокою мне нет, вот что, опостылело...

Тогда все пятеро сразу затараторили на непонятном своем гортанном языке, и старший сказал, поведя на невидимые горы усами:

— Мы укажем тебе хорошее место, там наш святой одно время жил,— и, назвав неведомое имя, человек с усами закрыл лицо; остальные четверо тоже закрылись, просидев так некоторое время; из уважения прикрылся и Андрей...

Потом усатый объяснил, куда идти и как разыскать безлюдное место. Андрей поблагодарил и скоро под шорох огня и листвы заснул, прислонясь к дубу.

Когда же проснулся, из-за острой синеватой скалы вставало солнце, разгоняя по лугу и пепелищам легкий

туман, который поднимался к лесу. Немного пониже, на краю обрыва под одиноким деревом стоял буйвол, а буйволица лежала у его ног, и за рогатыми их головами внизу раскинулось серое, как серебро, море, прохладное и парное; у дальнего края поднялась невысокая гряда белых и желтоватых облаков, а может быть, то были горы Трапезунда.

Проснулся Андрей от птичьего свиста, солнца в глаза и запаха трав и долго еще лежал, подперев голову и думая о трех, пролетевших, как дурной сон, томительных днях...

— Вот стряхну-ка я все это,— сказал Андрей,— пусть люди живут, как жили, мне какое до них дело... Я не по-ихнему устроюсь... Только бы поскорее отсюда...

И, вновь все оглянув, поднял Андрей голову и прищурился на солнце. Тогда на мгновение открылась ему великая радость, и, веселясь, вскинул он мешок с мукой, сбежал к ручью, напился и, не раздумывая, пошел на перевал...

С вершины перевала, где пихты стояли реже, увидел Андрей узкую и скалистую долину, куда нужно было, по указаниям, сойти, а дальше стоял крутой хребет с приметой — каменным седлом, левее высокого пика.

Не останавливаясь и не отдыхая, спустился Андрей в ущелье, а когда вновь стал всходить, был уже вечер.

«Велено идти, и дойду,— думал Андрей.— Чудесные люди мне попались; как это я на них набрел; разбойники, а сразу поняли. Дивно! Все дивно на свете».

Последний подъем был крут, и Андрей совсем умаялся, хватаясь за выступы и корни.

Солнца не было видно; внизу под ногами, покачиваясь, ползал туман, и тишина и глушь давили сердце.

Наконец Андрей достиг седла, с которого должен был увидеть обетованное место; последним усилием запустил пальцы в щель, скользя ногами и повиснув над пропастью, приподнялся и лег на живот, закрыв глаза.

«Ну, здесь я помру,— подумал Андрей,— без пищи, да и звери заедят».

И пока он так в изнеможении думал, ухо его различило ясный, звонкий олений крик... И вслед запела вечерняя птица, словно играя на дудке...

Затрепетало сердце у Андрея, привстал он, дополз до края седла и глянул вниз...

Под ним на страшную глубину залегал отвесный обрыв, на дне его в сырых теперь сумерках, меж теснин, как лента, извивалась река; направо шумел, прыгая, водопад, и за ним, с северо-востока окаймленная серыми скалами, лежала зеленая полянка, кончаясь нисходящими в туманное ущелье уступами, по которым росли древние пихты, и одна из них, опрокинувшись, повисла над крутизной, напротив Андрея.

Алое солнце налево, в конце узкого ущелья, последний раз проглянув меж землей и тучами, ударило в крутые скалы над полянкой, и на ней стали видны три старые яблони и белая стена полуразрушенной сакли...

— Радость-то какая,— сказал Андрей,— слава богу!

ЗВЕРИ

Помня указание, Андрей тотчас дополз до водопада, перебрался через него по скользким камням и вдоль узкого карниза, прижимаясь грудью к скале, стал пробираться к полянке, лежавшей впереди, под ногами.

В это время над ним из щели высунулась птичья голова на длинной шее и пронзительно закликала.

Приостановился Андрей и посмотрел, кто это его предостерегает. И красными глазками на Андрея уставилась горная индюшка... (Впоследствии Андрей узнал, что индюшки на зиму собирают сено для быстроногих туров и всегда живут близ них, предупреждая опасность.)

Засмеявшись своему страху, быстро перехватился Андрей и спрыгнул вниз на мягкую траву. Ноги у него подкосились, и, упав ниц, он тотчас заснул, ни о чем не думая.

Поутру пробудился Андрей от жажды и, открыв веки, увидел над собой медведя; мокрый от росы, черный, с белым пятном на шее, стоял медведь, фыркал и поглядывал, оттопыря ухо.

— Кыш, кыш,— сказал Андрей негромко,— я тебя не трогаю, иди с богом...

Медведь испугался, круто откинул перед и побежал вниз к лесным уступам, поджав маленький хвост...

«Ну, вот и не задрал меня зверь,— подумал Андрей,— а потом и совсем попривыкнет»,— и, отерев мокрое от росы лицо, пошел по густой траве искать, где бы напиться, не взбираясь вновь к водопаду.

Обошел Андрей яблони, которые давно отцвели и наливались, заглянул в разрушенную саклю, откуда фыркнул большой еж, скрутясь клубком, и приметил, наконец, звериные тропы, со всех сторон бегущие к бугру, что посередине поляны. Там на голом месте лежал плоский водоем, полный хрустальной воды, из которой летели пузырьки и клубился дымок: то бил волшебный нарзан — источник жизни, и вокруг отпечатались козлиные, медвежьи, свиные и барсучьи лапы...

Андрей приник к воде и пил зажмурясь. И весь день сидел около источника и не мог наглядеться на синеватое узкое ущелье за поляной, на темные вершины леса у ног и вдалеке, на синем небе, белые, как облака, вершины снеговых гор. Некуда было торопиться, и мысли медлительно и легко проходили перед Андреем, он и не гнал их и не принимал, зная, что теперь все равно.

На следующий день Андрей опять встретил медведя. Нужно было наломать ветвей, чтобы прикрыть остатки сакли, и собрать валежнику для костра... Спустившись для этого по уступам вниз, Андрей услыхал странный стук, будто кто хлопал в деревянные ладоши. Присев за кустом, Андрей оглянул впереди себя небольшую прогалинку, посредине которой стоял расщепленный вдоль до корня ствол сосны; около него хлопотал давешний медведь: зацепив лапами половинку, оттягивал и отпускал; половинка звонко хлопала и, отскочив, продолжала долго еще стучать, а медведь, радуясь своей шутке, приплясывал, наставя свиные уши, и музыке его отвечали ущелья...

— Вот так музыкант! — воскликнул, наконец, Андрей, вскочив из-за куста... Медведь опять испугался, Андрей же долго еще дивился, сколь мудро устроен мир и сколько в нем забав для простого человека.

В этот день он начал всковыривать близ водопада чернозем, насадил луковиц и пригоршню кукурузы. Водяная пыль освежала посев, и над водопадом в этом месте выгибались две радуги, соединяясь пологим крестом. На него-то Андрей и помолился, отходя вечером второго дня на покой.

Когда поднимался ветер, шумя травой, яблочки падали с яблони, из лесу выбегали дикие поросята, жрали их и с визгом рассыпались при виде человека.

Только в первые дни побаивались звери Андрея. И он, чтобы не пугать их, двигался легонько и ложился в траву, когда сквозь кусты просовывалась медвежья морда, раздумывая — не испугаться ли. Но медведь все-таки скорее всех пообтерпелся, и Андрей за расторопность назвал его Иваном...

А расторопность у Ивана была большая... Ранней еще весной, поднявшись из берлоги, спервоначала принялся Иван выбрасывать пробку, для чего весь день елозил по валежнику, ревя ревом на весь лес. Выбросив же, наконец, сероватую и плотную, как резина, пробку (ее ни нож не берет, ни подпилок, и один англичанин, говорят, приезжал даже ее собирать и навалил целый короб), пустился Иван бегать от радости взад и вперед; прострекал так неделю, пока не облезла на нем вся шкура и захотелось есть. Тогда, в ожидании орехов и диких яблок, принялся он разорять осиные гнезда, поедать муравьев и сладкие коренья. Вынюхав муравьиную кучу, наваливался Иван на нее, засовывал лапу и слизывал муравьев и приставшие яйца; у осиного же гнезда нередко поревывал, обмахивая нос, в который вцеплялись злые осы.

Обтерпевшись, Иван походил по полянке, перекувыркнулся даже, как шар, покосясь на Андрея, и полез на яблоню сшибать яблоки. Но только начал он трясти дерево, как из лесу выскочили поросята и стали падалину жрать. Иван помолчал, потом задом вниз принялся слезать, чтобы накласть поросятам, но те сразу разбежались. Опять влез Иван на дерево, и вновь прибежали поросята; тогда, рассердясь, он изловчился и прыгнул на них прямо сверху, но промахнулся и ушел в лес.

Глядя на это, много смеялся Андрей, обижаясь, когда звери, увидев его, выходящего из сакли, пятились и поджимались. Андрей узнал и полюбил все звериные привычки: на заре и вечером приходили звери по тропам пить нарзан, а на ночь залезали в глухие норы. Самым умным был старый седой барсук. На водопой он шел не спеша и не оглядываясь; попив водицы, умывался и брел обратно, метя хвостом траву. Жил барсук под дубовым корневищем и на сваленном пне сушил грибы, расставляя их рядком, кочерыжками кверху. Андрей сначала и не догадался, а потом увидел самого барсука, который нес во рту гриб; упершись лапами в пень, положил барсук гриб, отошел — не понравилось, видно, поправил гриб попрямее и, захватив высохший, влез в нору.

«Разум у зверей простой и не лукавый,— думал Андрей,— и они же меня учат, как надо здесь жить...»

И, приглядываясь, прислушиваясь в вечерней тишине, замечал Андрей, что он не один, а повсюду, под каждой землинкой, кто-нибудь да живет. Словно вся земля дышит и колышется единой жизнью. Наверху, как тени, пролетают козлы, самые робкие изо всех зверей, и к нарзанному ключу забегают попозже. Ухватив живой воды, поднимает пугливый козел ветвистую голову, прислушивается, наставя уши, и от шороха, согнув красную спину, прядает вверх по уступам,— и уж нет его, словно и не было. Только тени бегут по горам от белых, тронутых алым, бог весть куда и откуда плывущих, облаков. У Андрея и мысли даже пропадали в такие часы, ни о чем он не мечтал и не думал, а хотел быть ни человеком, ни зверем, ни птицей, а облаком этим белым и легким, чтобы носило его в синем небе да ласкало ветром.

Но сердце все-таки было тревожно. Что-то мешало приобщиться ко всей тишине, а что — Андрей не знал.

И вот однажды вечером Андрей, положив подбородок на ладони, глядел в глубину задымившегося ущелья. Вдалеке выскакал на острую пику скалы и неподвижно, упершись в одну точку всеми копытами, стал тур; поднял рога, обернулся; заходящее солнце повисло

алым шаром за его головой. И показалось Андрею — глядит козел ему в глаза издалече. И в тишине не то закричал, не то засмеялся тур так страшно и раскатисто, что Андрей, закрыв лицо, пал на колени, шепча: «Слышу, слышу!»

ЧЕРТИ

Настала для Андрея великая радость — жить. Трава на поляне поднялась по пояс, раскрывались в ней и увядали цветы, и над пунцовыми, желтыми, синими их чашами гудели тяжелые пчелы, прилетев из леса; у водопада широко распушилась кукуруза и зацвела.

Просыпаясь на восходе, Андрей шел по сизой и мокрой траве к источнику и, попив, читал «Отче наш», поглядывая на большое, раскинувшее воронкою свет и голубые тени косое солнце. Теперь Андрей понял слова об отце на небесах: имя его светло, воля его повсюду, и царствие всегда грядет; он дает хлеб. И не есть ли великая радость просить очистить себя и простить всем, когда душа и без того открыта и все в ней ликует безмерно... И перестал понимать Андрей, как можно думать о зле, потому что нет ни зла, ни добра — одна радость.

Одного он не мог постичь, о каком искушении идет речь и кто есть лукавый. И, присмотрясь, заметил, что звери невинны.

Внизу, пониже водопада, в реке была излучина, полная тихой воды; там жили уточка и селезень, всегда плавая вместе, а в полдень выходили на песок. Уточка принималась носом гладить селезню голову и, покрякивая, терлась теплой шеей; селезень тогда, потоптавшись, укладывался и засыпал. И сверху Андрею отлично было видно, как уточка бежала к воде, заплывала в камыш, где свила гнездо, и несла там яйцо потихоньку от заснувшего селезня, который, если бы увидал, разбил яйцо, а утку оттаскал бы за хохолок.

«Но ведь нет же греха в таком лукавстве,— думал Андрей,— вот давеча лиса тоже слукавила: залезла в барсучью нору, напакостила там, насорила и ушла; бар-

сук — зверь аккуратный, вернулся, все выскреб, а лиса опять намарать ухитрилась; барсук рассердился и ушел в иное место. А лисе того только и нужно — не любит она сама норы копать. Но и это выходит одна только смехота; вот если бы я, примерно, эдакое с добрым каким-нибудь человеком устроил — было бы в том злодеяние. Вот и разберись. Стало быть, я от зверя чем-нибудь отличен. Или в мыслях моих сидит еще лукавый и так рассуждает... И радость моя от лукавого, и его это я голову видел на красном солнце!»

Забеспокоился Андрей, а потом стала одолевать его совесть, что живет он спокойно и радостно, когда каяться нужно, быть может, в совершенных делах; может быть, молиться за людей... Или пострадать?.. И, пока так думал, настала ночь, но туман из ущелья не поднялся, как всегда, а завился над травой; было душно и жарко, на небе высыпали большие звезды, потом с моря стали прикрываться невидимой тучей, и, когда за ущельем погасли багровые вершины снегов, напали на Андрея сомнения и страх.

В темноте зажглись светляки; над травою, как искры, понеслись жучки, чертя синеватые полосы; близко ухнул сыч, и совы вылетели из расщелин.

— Ох, тоска, тоска,— шептал Андрей, стоя у шалаша,— расплата это, что ли, настает за грешную радость...

А туча покрыла все звезды, и совы залетали над самой травой, стуча клювами.

Чем темнее совам, тем лучше. Трава, деревья, звери и камни светятся в темноте синеватым и желтым светом, не видимым для нас, а совы летают в голубом, словно из серебра и свинца, лесу, шарят под светящимися камнями заснувших мышей, от шкурок которых идет мягкое сияние, пьют птичьи яйца и, зачарованные неведомой нам жизнью, стонут и кричат, как дети во сне.

Слушая совиные крики, не знал Андрей — во власти ли он нечистой силы, или все вокруг в опасности и нужно бежать, потому что всем существом почуял Андрей приближение смерти.

Поляна была пуста, и тоска и страх сковали Андрея...

Но вот в темноте над головой возникла извилистая молния, осветила неподвижные деревья, скалы и траву; темнота вновь все прикрыла, и разорвался гром... Андрей протянул руки и побежал. Вторая молния завилась высоко, распушилась и отвесно пала у сакли в вершину яблони, которая затрещала и вспыхнула, как свеча... И одна за другой, все ослепительней и чаще, падали молнии позади Андрея, а он бежал, скатываясь по уступам, в глушь леса, обдираясь и падая. От грома оглохли уши; под ветром затрещали и стали клониться древние пихты, и отвесный дождь хлестал и сек, крупный и теплый. И, желая только выбраться отсюда, полез Андрей на перевал; щебень, гонимый водою, стал сбивать его, хватающегося за скользкие корни, резать лицо и слепить... Отплевываясь и тяжело дыша, Андрей влез на каменную площадку и оглянулся, где бы укрыться... От света молний открывались и закрывались ущелья, темный лес скрипел под ногами, то невидимый, то озаренный во всю ширь, и летели крупные нити дождя... Наконец в конце площадки Андрей увидел темный вход пещеры, забежал туда и прислонился... И вдруг около его уха, а потом в глубине пещеры и со всех сторон зафыркало, словно темнота полна была котами. И при внезапном свете увидел Андрей перед собой большую голову с бородой, рогами и горящие глаза...

— Свят, свят! — закричал Андрей; выскочил из пещеры, споткнулся и, не помня более ничего, завалился за гладкий камень.

ПОЛДЕНЬ

Солнце теперь сразу поднималось в притин и палило оттуда белым потоком, пока земля не повертывалась серыми своими скалами на закат. Трава высохла и, не освежаемая росой, шуршала, как мертвая; по камням извивались гады, бегали черноглазые ящерки, и скорпионы вылезали из нор, чтобы жалить ядом. Андрей, сплетя широким венком листы мяты, мочил их водою и прикрывал голову; нельзя было двинуться, не обливаясь потом, и темнело в глазах.

Томились и звери, по многу раз приходя пить: Иван места себе не находил, мотая тяжелой мордой; барсук не мог доползти до воды и прилег на жесткой лужайке белым боком; и никого не задирали даже лютые поросята.

В ту грозовую ночь, увидя зубров, выходящих из пещеры, подумал Андрей, что вплотную черти подступили к нему, принимая разные обличья, и нет более спасения. И Андрей в сакле на коленях молился несколько дней, царапая себя ногтями, чтобы проняло; но все ослепительнее палило солнце, молитвы не проникали, а потом перепутались, как нитки в мотке, и Андрей понял, что он — подлый человек. Тогда, не в силах более держаться, словно зажмурясь, принялся Андрей вспоминать Вареньку, слова ее в темной спальне, отчаянные поцелуи... а потом крики и хруст рук, когда он, сначала камнем заснув от усталости, вдруг от резкого толчка пробудился, увидел рядом помятое и дурное Варенькино лицо, с затхлым ртом, и хотел тотчас уйти, а она опять прильнула, и нужно было оторвать ее со всей силой... а что потом он сделал — не помнит; да и Сергей Алексеевич до сих пор, должно быть, лежит на песке с разбитым ртом.

И Андрею казалось, что все остановилось: солнце и земля, и он, не в силах ничего сдвинуть и бежать от воспоминаний, принужден, словно скованный, глядеть на все совершенное.

Андрей стоял посредине лужайки на солнцепеке, и даже мухи неподвижно повисли невысоко над его головой.

И вот из лесу вышла медведица и за нею семь больших медведей. Медведица стала пить нарзан, а медведи глядели на нее глазами, красными, как угли; шерсть на них стояла дыбом, изо рта текла слюна. Медведица кончила пить и, пройдя мимо Андрея, обернула морду и, приседая, глухо ревнула; и так же, один за другим, ступая вслед, обернулись и рявкнули семь медведей... И долго еще видел Андрей, как с увала на увал поднимались и вновь нисходили черные медведи...

Тогда Андрей закинул голову и взглянул на солнце,

в ослепительном кругу которого давно уже смеялось широко открытым ртом человечье, с козлиными чертами, лицо...

«Конец,— подумал Андрей,— окружили меня, все заполонили»,— и, закрыв глаза, лег ниц...

ЛУННЫЙ СВЕТ

Когда опустилась вечерняя прохлада, Андрей сел у водопада и глядел вдоль сырого ущелья, на дне которого от реки курился туман...

Впереди Андрея над пропастью лежала поваленная пихта, и на ней стоял медведь Иван. Иван мотал головой, потом тихонько пошел вперед, и дерево наклонилось. Тогда Иван отступил, пихта поднялась, он, забеспокоясь, метнулся опять вперед, дерево быстро нагнулось, и медведь, цепляясь и глухо ревя, полетел вниз, увлекая каменья, и тело его ударилось, как мешок.

«Вот и все,— подумал Андрей,— очень просто... и никому не нужно...»

Тем временем встала ясная луна, осветила неживым светом выступы скал, вогнала черные тени в расщелины, тронула серебром вершины дерев, трава стала синей, и в стоячей луже у ног Андрея опрокинулся ясный ее, желтоватый диск. Андрей взял камень и бросил в лужу; диск разбился, как зеркало, полетев лунными брызгами вверх... Андрей положил локти на колени, подпер голову и наморщил лоб.

Тогда из лесу вышел барсук, выгнул спину, ощетинился от ушей до хвоста и, запрыгав боком, будто пугая, описал полукруг и пропал.

А месяц все выше вставал, укорачивая тени; было душно, и Андрей, как очарованный, продолжал глядеть. Опять появился барсук, а с другой стороны из лесу выбежали поросята, шарахнулись и стайкой сгрудились близ Андрея... Потом вылезли из-под кручи медведица и семь медведей. А на скале, опустив рога, встал зубр... И вот, должно быть от колдовского света, закопошились в тени между зверей, в трещинах, под камнями криво-

ногие, с носами, как дудки, и бабьими животами, мерзкие дьяволята...

Андрей глядел на них, не мигая, не думая и не боясь. Тогда один дьяволенок, самый гадкий, подскочил вплоть и на носу, перебирая пальцами, принялся выигрывать, как на дудке,— пискливо и нудно... И звери слушали его, смыкая круг... «Молись, молись,— подумал Андрей.— Некому молиться»,— и захотелось выругаться ему как можно гаже, чтобы скорей пришел конец. Рот наполнился слюной, Андрей вытянул губы и плюнул в дьяволенка. Тогда все словно провалилось. Лужайка была пуста... Андрей зачерпнул воды горстью, омыл глаза и принялся бродить, боясь, как бы сон опять не одолел... И когда подошел к висящему над кручей дереву, где сорвался Иван, взялся Андрей за ветки и наклонился, силясь рассмотреть в сыром тумане тело медведюшки.

«А если оступиться,— подумал Андрей,— далеко вниз лететь,— зато сразу со всем и покончить... Кому я нужен?»

Зашлось у Андрея сердце, потемнели глаза, и, подняв колено, сделал он последний, неверный шаг.

НОЧЬ В СТЕПИ

1

Плетушка — хотя и прочный, но очень скверный экипаж: куда в нем ни привались — железка какая-нибудь так и вопьется в спину или бок; а если, глядя на большие звезды над степью, задремлешь, успокоенный далеким посвистом перепела, натрешь себе затылок и онемеют ноги, согнутые под ко́злами, где лежит сундучок.

Лошади ровно бегут, ямщик согнулся да изредка скажет протяжно: «Но, милые», и поднимет руку, а за плетушкой вьется невидимая пыль, оседая на серую под звездами траву.

Скучно было ехать в такую ночь Алексею Петровичу, да еще по неудобному делу, хотя рядом и дремал, будто кивая кому-то козырьком, попутчик, землемер. И, глядя слипающимися глазами на длинный нос землемера, сунутый в густые усы, на поблескивающие пуговицы воротника, слыша ровное дыхание, думал Алексей Петрович Видиняпин:

«Развалился, черт, а ты трись об его сундуки. Хорош попутчик».

— А вон и село горит,— сказал вдруг ямщик, показав рукой в ночную даль, где, медленно мигая, раскинулось дымное зарево красным хвостом.

Ходят по ровному раздолью багровые эти пожарища, освещая небо и землю, и мало, кажется, дневного

зноя, чтобы выжечь хлеба, высушить пруды и реки, послать мор на людей,— полыхает еще над деревнями по ночам и багровый огонь.

Долго рассматривал зарево Алексей Петрович, потом сказал:

— А ты не спи, ямщик, потрагивай.

Проснулся и землемер, насупился, сел повыше и молвил:

— Горит в сорока верстах от села Тараканова, куда едете.

— В гости к барину жалуете? — спросил ямщик.

— Такому гостю не обрадуется,— ответил Видинялин.— Вот глупость,— живо обратился он к землемеру,— поверил ему быков под простую расписку, а теперь поди взыскивай.

— Взыскать с таракановского барина трудно,— усмехнулся ямщик,— а насчет быков мы стороной слыхали: некоторые еще живы, только тощи очень.

Ямщик совсем повернулся и продолжал:

— По-вашему, надо рабочему человеку платить или нет? Зять мой из Тараканова и рассказывал: барин их, вместо денег, ярлыками платит. «Это, говорит, все равно: мы друг с дружкой на веру, а деньги осенью». Так третью осень и ждут. Барин кругом огородился: ни скотину прогнать, ни проехать; а за луга или другое что ярлыков назад не берет... Такой дошлый.

— Тараканов большой оригинал,— молвил, наконец, землемер.— Разве вы ничего не знаете?

— Откуда же знать, когда я недавно в уезде.

— Любопытно,— усмехнувшись, продолжал землемер,— рассказывают про него многое...

2

...Однажды Тараканова, Вадима Андреевича, выбрали предводителем, и почувствовал он на себе такую большую ответственность, что сейчас же поехал в Париж.

В Париже надел мундир и думает: кому бы это визит сделать? Подумал и прямо явился к маршалу

Мак-Магону. Маршала не застал и оставил карточку: Wadim, мол, Tarakanoff, maréchal de Noblesse.

Удивлялся Мак-Магон — никогда про такого маршала не слыхал, и, на всякий случай прицепив ордена, поехал отдавать визит.

А Вадим Андреевич, поджидая гостя, икры накупил, шампанского, и когда Мак-Магон вошел, опять-таки на всякий случай сделав вежливые глаза, бросился к нему Вадим Андреевич, схватил за руки, говорит: «Вот обрадовал»»,— сунул Магона в кресло, сам напротив сел и руки потирает. Француз, конечно, спрашивает: «Чем заслужил такую честь и для чего русский маршал сюда пожаловал?» Ничего не понял по-французски Вадим Андреевич, но, чтобы отвязаться от разговора и скорее к выпивке перейти, где все языки равны, припомнил коечто и говорит: «Пуркуа, мол, пердю Седан». А впоследствии сам рассказывал, что французы прямо невежи.

Приехав из Парижа к себе в уезд, решил Тараканов завести порядки и для начала везде понаставил околиц, наказав спрашивать проезжающих — кто и куда.

И такие развел строгости, что сам, однажды возвращаясь в коляске с фонарями из гостей, ввел своего же сторожа в большое беспокойство: окликнуть — обидится: не узнаешь, мол, своего же барина, а не окликнуть — почему, скажет, приказа не исполняешь, и тоже обидится. Вот сторож и кричит на тонкий голос:

— Вадим Андреич, кто едет?

— Тараканов,— ответил Вадим Андреевич басом и дал сторожу на чай.

Дворяне были им довольны: четыре раза в году устраивал Тараканов обед, а потом каждый звал всех к себе, извиняясь по средствам. В уезде жили очень весело: дарили друг другу собак и коней, осенью съезжались на конскую ярмарку и, конечно, бог знает что вытворяли: женились все друг на дружке, и было будто одно теплое гнездо.

Но пришли тяжелые года: земля стала уплывать из-под дворянских ног, да так живо, что остался в уезде один Вадим Андреевич, да и у того были отхвачены немалые куски.

Кругом в имениях засели новые люди, повырубили

сады, перекрасили дома, с мужиками повели иные порядки. Один кудрявый купчик сунулся было к Вадиму Андреевичу на поклон: может быть, за дочку его Зою думал посвататься (про дочку его бог знает что плетут, говорят: городская она совсем — в городе воспитание получила, худая, как вермишель, стихи пишет и коньяк пьет); но Тараканов собственноручно сковырнул купчика с крыльца, заперся и объявил: «Покуда, мол, всю сволочь из уезда не выгонят — ноги не вынесу за околицу». И слово свое сдержал...

3

Много всякой всячины и ерунды рассказывал землемер, а Видиняпин уже давно дремал, навалясь на его плечо. Вдруг Алексей Петрович, подкинувшись, сел: то кони стали у околицы...

— Приехали,— сказал землемер, странно улыбаясь, а ямщик, спрыгнув с козел, постучал по околице кнутом.

Спустя время из темноты послышался голос:

— Проехать, что ли, надо? Вот народ беспокойный: все едет, все едет,— и со скрипом отворилась околица. Ямщик прикрикнул на коней, и понесли они вдоль деревни, где направо и налево стояли темные, словно присевшие избы, с шестом у ворот, скворешней и засохшей веткой на ней.

Переехав шагом, под старыми ветлами, плотину, по обеим сторонам которой залегали звездные сейчас пруды, взобрались кони, испуганные громким уханьем жаб, на изволок и стали у второй заставы, где, колотя в колотушку, ходил мужик с фонарем. Мужик, подойдя, посветил в прищуренное, с козлиной бородкой, лицо ямщика, оглянул седоков, вздохнул, запахнувшись в чапан, и отошел.

— Что же ты не отворяешь? — крикнул Алексей Петрович.— Эй, поди-ка сюда, подожди,— и, выскочив из плетушки, схватил мужика за полу.

— Пропускать не велено в эдакую пору,— сказал мужик сонно,— а ты меня не хватай, я тебя не обидел.

Видиняпин, взяв мужика за плечи, стал трясти; го-

лова у мужика болталась, и он, говоря: «Какой же ты неуютный», пропустил Алексея Петровича через калитку в дубовую аллею, откуда Видиняпин крикнул землемеру:

— Подождите меня часика два на селе, покормитесь, я живо оборочусь.

Дубовая аллея окончилась поляной, наверху полной звезд; из-за кустов углом вышел сюда белый барский дом, с плющом по стене и пятнами облупившейся штукатурки; около стены, брехая, бегали черные собаки на очень высоких ногах. На брех и на оклик Видиняпина показался свет в окне, потом на крыльцо вышел бритый старичок в длиннополом сюртуке.

— Здравствуйте, батюшка,— сказал старичок,— с приездом, пожалуйте,— и, заслоня свечу, лукаво улыбнулся, отчего крошечное лицо его собралось в морщины, словно сразу высохло.

«Ох, как бы не попасть в историю,— думал Видиняпин, идя вслед старичку по коридору,— не заплатит он, еще отколотить велит... Не надо бы мне одному являться».

Старичок постучался в широкую дверь и прошептал:

— Вы непривычный здесь, батюшка, так не обижайтесь, если выйдет чего: озорник он у нас, а хороший барин.

Алексей Петрович вошел и в изумлении стал на пороге.

В глубине залы, освещенной одной свечой, поставленной перед трюмо, сидел в кресле за столиком Вадим Тараканов; на голых и растопыренных ногах его лежал живот, прикрытый ночной рубашкой, расстегнутой на груди; в руке держал он стакан, а на круглом, с татарской черной бородкой, лице его под изломанными бровями прыгали свирепые глазки.

— Не подходи,— сказал Вадим Андреевич шепотом, подался вперед и крикнул: — Вон!

Старичок подхватил Видиняпина и, вытащив в коридор, объяснил:

— Это пугнули вас на всякий случай, а теперь он смеется; идемте, я вас пока наверх отведу; ничего, батюшка, не бойся.

4

Фыркая от обиды и ничего не понимая, поднялся Алексей Петрович по винтовой лесенке в низкую антресоль, сел на кровать и, ударив себя по коленям, крикнул:

— Каков нахал! Нет, сию же минуту подай мне деньги, а? — при этом наморщил лоб и потер его. А дверь напротив в это время приотворилась, просунулась женская голова с распущенными волосами, спросила: «Можно войти?» — и в комнату подпрыгивающей походкой вошла худая девушка в белом и узком платье и села на стул у окна.

Алексей Петрович встал, насупился и поклонился боком. Девушка длинными пальцами расправила платье на коленях и, сказав: «Вас удивляет мое появление»,— подняла на Видиняпина великолепные, неправильно поставленные глаза и усмехнулась большим ртом, причем углы его поднялись, словно у клоуна, кверху.

— Мне сказали, что приехал гость, а я уж давно никого не видела,— продолжала девушка.— Мы живем только ночью, потому что мужики хотят меня и папу убить. Я вам нравлюсь? — вдруг спросила она просто и серьезно.

— Простите,— перебил Алексей Петрович,— но ваш папа выгнал меня, и мое положение здесь очень странное...

— Ах, вы не поняли,— воскликнула девушка с досадой,— он был пьян и сам напугался... А вы любите пить? Ведь счастье только во сне и в забытьи.

Девушка полузакрыла глаза, мечтательно улыбнулась и охватила колено.

— Чего вы молчите? Вы боитесь? Я не провинциалка. Я семь лет жила в Петербурге. Вы не поэт? Неправда. Я тоже пишу стихи. Хотите, прочту?

Она вдруг вытянула длинную шею; Видиняпину стало неловко. А девушка хрустнула пальцами и сказала:

Я б тебя затомила;
Я б убила любя,
Женская темная сила
Страшна для тебя.

Целуя бы, я укусила
Твой алый, твой алый рот.
Знает ли кто наперед,
Какая у девушки сила?

«Что за чепуха»,— подумал Видиняпин в страхе.

А девушка чуть покосилась на Алексея Петровича, потом громко засмеялась, прыгнула на подоконник, протянула руки и молвила:

— Подойдите сюда; правда, плохие стихи? Ах, вы — трезвый человек. А стоит ли жить трезво? — Скучно. Поглядите на звезды; это я их рассыпала. Хотите их собрать? А любить вам хочется?

Алексей Петрович сильно провел по глазам ладонью: стыдно ему было — хоть плачь, и, главное, путано и от стихов и от неприличных вопросов, которые, как осы, кололи со всех сторон.

— Я стихов не читаю, человек некрасивый и дикий, а приехал насчет быков,— сказал он, глянул на девушку и добавил поспешно: — Хотя ничего, я побаловаться не прочь.

Тогда она ударила кулачками по подоконнику, засмеялась невесело, взяла Алексея Петровича за рукав, потянула к своему лицу и стала глядеть в глаза скошенными глазами. Видиняпин вспотел и хотел увернуться, а она, гневно мотнув головой, сказала:

— Что же вы не «балуетесь»... Страшно?

И Алексей Петрович, задев маленькую и твердую ее грудь, почувствовал необыкновенное волнение, охватил девушку за бока и стал тащить с подоконника, подумав: «Черт с ними, с деньгами».

Но девушка ловко увернулась и сказала насмешливо:

— Так только мужики делают, дамский вы кавалер!

— Все равно, все равно,— бормотал Алексей Петрович,— я кавалер, ей-богу,— и тянулся, даже на колени встал, но девушка, подобрав платье, обошла его, толкнула раму окна, перегнулась к деревьям сада и молвила равнодушно:

— Вы или глупы, или наивны.

Но в это время постучали в двери, и голос старичка произнес:

— Барин извиняются и сойти вниз просят.

Видиняпин покраснел и вышел на лестницу, не понимая: что же теперь делать ему после всего?

5

Вадим Андреевич при виде гостя приподнялся на своем месте, протянул руки и обнял Алексея Петровича, прижав его к жирной груди.

— А ведь я не узнал тебя, не узнал, Алексей Петрович... Напугал, наверно? Прости, душа... Погостить приехал? А у меня, брат, такая скучища — мы с дочкой Зоей совсем раскуксились. Забыли все старика, никому он не нужен. Да ты чего стоишь, плюнь на меня, садись, бери стакан, не стесняйся, душа; этот коньячок мне приятель из гвардии присылает. А твои дела — сам вижу: похорошел, возмужал.

И Вадим Андреевич принялся пребольно похлопывать Видиняпина, отчего тот морщился, проливая вино на колени; а когда коньяком обожгло ему все нутро, подумал: «А ведь в самом деле — старик славный, не отложить ли должок?» — и поглядел на дверь, за которой прошумело платье Зои.

— А я, брат, совсем профершпилился,— продолжал Вадим Андреевич,— продал последний лесок, а деньги, как птички — только хвостики показали. Да, Алексей Петрович, конец нашему уезду, крах. Двадцать лет назад — да мы царями сидели. Выкатишь, бывало, в коляске — все шапки долой, кругом хутора дворянские, родня, благородство имен: Собакины, Репьевы, шесть сыновей Осокина, Теплов старик и я — Тараканов, столпы. А теперь сволочь какая-то сидит, сволочь к тебе и в дом лезет.

— Вадим Андреевич, не обижайте,— сказал Видиняпин.

— Да я не про тебя — про остальных, не хорохорься. Ты вот думаешь, что я старый дурак и спился. А я, быть может, обдумываю план. Испугался? А как затрещит уезд со всех концов, да встанет дворянство

за свои коренные права... У меня, быть может, тайный комитет составлен и адресок кое-кому припасен. Показать? Подождешь. А в подвале, вот здесь под тобой, бомбы-с. А в уезде дворянство начеку, а в Петербурге двенадцать тысяч молодых дворян моего слова ждут. Как объявлю — сейчас купца Шихобалова на березу, Синицына на березу, и пошла писать губерния. А я в Петербург с адреском. Помилуйте, принуждены. Ага! А ты думал — я пьяного дурака валяю. Сознайся: думал, что я дурака валяю? Ну скажи: пьяный дурак!

Вадим Андреевич поднялся во весь рост и, упершись в бока, распалялся гневом, а Видиняпин, задрав в страхе голову, сидел перед ним, шепча: «Ей-богу, не думал, Вадим Андреевич, ей-богу, нет».

— Врешь. Я знаю — ты, мерзавец, за деньгами приехал. Черт с тобой, бери мои деньги. Не это обидно, а что мое дело рухнет... Так, значит, ты против дворянства идешь?

— Господи, да какие там деньги, Вадим Андреевич, конечно, я за вас.

— Вот что,— воскликнул Тараканов, топнув босой ногой,— мы будем на дуэли драться. Побьешь меня — твои деньги, или быков назад бери. Тут, брат, дело верное.

И Вадим Андреевич вытащил из ломберного стола кремневой пистолет, бормоча: «По очереди, брат, по очереди, на узелки».

Видиняпин, ухватясь за кресло, глядел на пистолет, выкатив глаза. В комнату в это время быстро вошла Зоя, взяла пистолет из рук отца и сказала: «Батюшка, сядь, довольно»,— потом налила себе в рюмочку вина, отпила и присела у трюмо, в синей глубине которого отразилась маленькая ее голова с тенью под глазами.

— Ты думаешь, я шутки шучу,— потише продолжал Вадим Андреевич, валясь в кресло,— вот Зоя только спасла тебя, подстрелил бы, как муху.

— Его нужно хорошенько проучить, папа,— молвила Зоя,— он наверху бросился на меня.

— Господи,— завопил, наконец Видиняпин,— да чем же я виноват! Ничего у вас не пойму, вертится в голове, чепуха какая-то лезет... Простите меня...

И, стоя посреди залы, подгибал Видиняпин колени; складывал руки у лица, до того перепуганный и пьяный, что Тараканов вдруг захохотал, а Зоя подошла к Видиняпину, взяла его за руки и стала кружить. Видиняпин уперся было сначала, потом поплыли перед глазами его три окна, комод, часы, трюмо, диванный угол, столик с бутылками, Вадим Андреевич Тараканов, оленьи рога над дверью, потом опять окна, все быстрее и быстрее... И, блаженно улыбаясь, чувствовал Алексей Петрович нежные, тоненькие и теплые ладони девушки, тянулся к ее закинутому лицу, а Зоя медленно усмехалась клоунским ртом. Вдруг она отпустила руки, подошла к дивану и легла в тени; а Видиняпина неудержимо потянуло прижаться к полу, что он и сделал... И сквозь дремоту казалось ему, что заиграли на рояли и ужасно стали топать ногами. А спустя время, когда Видиняпин открыл глаза, в зале никого не было и в окно лился голубой лунный свет.

Алексей Петрович, не чувствуя головы, будто ее и не было, с трудом поднялся на ноги и, пробираясь вдоль стены, чтобы не кинуло в сторону, отворил дверь в коридор. Там, одетый, в картузе, засунув руки в широченные штаны, стоял Тараканов.

— Поди-ка, поди-ка сюда,— сказал он.

— Вадим Андреевич, шутки в сторону,— удивляясь своей смелости, проговорил Видиняпин,— отдайте мне быков, если платить не можете.

— Я тебе покажу быков,— сказал Тараканов,— у меня уж и дрожки заложены.

6

Сидя на дрожках позади просторной спины Тараканова, вздрагивал Алексей Петрович — до того его развезло, а репьи, в которые нарочно заехал Вадим Андреевич, пребольно хлестали по ногам, и на кочках так потряхивало, что зубы щелкали и отбилось нутро.

Обогнув старый сад, Тараканов въехал на плотину, откуда был виден летавший над прудом туман, грузно

повернулся, указал на лесную опушку, на которой лежал скот, и сказал:

— Вот твои быки; у них еще и приплод есть.

— Какой же у них приплод, Вадим Андреевич, когда они быки, да еще холощеные?

— Значит, ты мне не веришь, я вру?

— Верю, Вадим Андреевич, мои быки были красные, а это пегие и представляются коровами, мне бы поближе посмотреть.

— Ближе не могу: глаза дальнозоркие, режет, когда близко гляжу.

Алексей Петрович вздохнул и попросил:

— А вы бы зажмурились.

Тогда Вадим Андреевич вплоть придвинулся к лицу Видиняпина и крикнул:

— Пошел с моих дрожек прочь,—и, когда Видиняпин слез, принялся Тараканов махать невидимым пастухам, крича пронзительно:

— Вот я вас, негодяи! Зачем скотину на луг выпустили? Гони ее в лес, я вас...

— Это уж бог знает что,— воскликнул Видиняпин,— да вы меня прямо надуть хотите.

Тогда Вадим Андреевич схватил Видиняпина за грудки, подтащил к себе, потряс, плюнул в Алексея Петровича и пихнул под плотину вниз, где росли крапива и лопух. От падения и страха обморокнулся Видиняпин и долго лежал, а когда очнулся, просидел еще немного в густой чилиге и ползком выбрался из-под плотины.

Разбитый, приплелся он обходом в деревню, разыскал коней и землемера, лег в свою плетушку, сказал: «Все к черту пошло, увозите меня скорей» — и тут же заснул.

Когда он проснулся, лошади нешибко бежали по серой дороге; наверху были звезды, и месяц встал над степью; ямщик согнулся на козлах, а землемер кивал козырьком, словно здоровался.

— А что, долго я спал? — спросил Видиняпин.

Землемер вскинул голову, потянулся и ответил:

— Да, порядком.

— Слава богу,— пробормотал Видиняпин,— постой, постой, мы вперед, что ли, едем или уж обратно?..

ХАРИТОНОВСКОЕ ЗОЛОТО

В крещенские лунные ночи по снежному тракту от Екатеринбурга до Исетского завода катаются кошевники на взмыленной тройке, запряженной в легкую кошеву...

В кошеве лежат друг на дружке пять человек, в собачьих дохах, подвязанных кушаками.

Ямщик правит стоя, закутанный в башлык. От коней валит пар, и за кошевой на санном следу играет свет месяца.

Нехорошо повстречаться с такою тройкой, не скроешься от нее в снежной равнине — горы далеко, перелески редки, гони что есть дух, и то нагонят... И хотя нет на кошевников управы, а под нынешний крещенский сочельник и на них нагнали страх.

Выехали они из Екатеринбурга все пьяные и доскакали вплоть до холмов, за которыми лежит Исетский завод... На раскатах кошеву стало трепать, ударяя отводом о сугробы, и хотели было воры повернуть коней назад, как показался впереди задок саней, запряженных в одиночку.

В санях спал человек, и лошадь шла шагом...

Ямщик в кошеве сразу осадил тройку; двое кошевников поднялись: один держал аркан, другой плеть; ямщик спросил: «Готово?», свистнул по-разбойничьи, гикнул и хлестнул по коням.

Пронеслась тройка мимо саней, спящего в них седока захлестнул аркан и вынес на дорогу, а санки опрокинулись, и лошадь шарахнулась в сугроб.

Выкинутый седок волокся на длинном аркане за кошевой; петля захлестнула ему под мышки, и он, растопырясь, как черепаха, кричал низким басом: «Караул». Все это видел присевший неподалеку за кустом заводской конторщик — шатался он ночью по зайчикам — и рассказал потом всем на удивление, как проволокли кошевники седока, чтобы обеспамятел, сажень сто до поворота, где стоял столб... У столба тройка замедлила, и волокущийся человек, налетев на столб, схватился за него, влип, аркан, привязанный к задку кошевы, натянулся, и тройка стала...

Ямщик в башлыке обернулся и вдруг закричал не своим голосом:

— Руби, руби веревку, это Ванька Ергин.

Но неужто из-за одной Ванькиной силы струсили кошевники — народ отчаянный? Была, значит, иная причина? Причина действительно была.

Рассказывают, что от Харитоновского дома в Екатеринбурге до озерка в городском саду (на озере по зимам каток) проделан еще в древнее время подземный ход.

Начинается он в подвале Харитоновского дома и завален дровами. Если дрова раскидать, откроется люк с кольцом, за которым двадцать ступеней ведут под землю к длинному коридору с наклоном и поворотом под озеро.

Коридор выложен кирпичами, покрытыми плесенью. Вдоль стен чугунные держала для факелов, и в конце железная с двумя засовами дверь.

За дверью же в подземелье сто лет назад жили, прикованные цепью, люди, чеканя для Харитонова золотую монету из собственных боярина рудников.

Неизвестно, кто осмеливался проникать туда, и, пожалуй, врут в городе, рассказывая, что в подземелье висит шкелетина на ржавых цепях, сторожа хозяйское золото. Кто ее видел?

Но в том-то и дело, что Ванька Ергин видел и через эту шкелетину нагнал великий страх на кошевников, поймавших Ергина в прошлом году точно так же на том же Исетском тракту.

Иван Ергин, занимаясь по мучной части при своем отце, от скуки гулял в трактире каждый вечер с субботы на воскресенье исключительно в компании с приятелем своим Володей Кротовым, служившим в палатке мер и весов.

А как закрывали трактир, шел Ергин на отцовский двор, запрягал мерина в санки и ехал пьяный бог знает куда, для того чтобы никто к нему с противной рожей не лез и не придирался, а на воле только снег да месяц, и попеть можно и подремать.

Однажды его в таком душевном расстройстве и накрыли кошевники (столба по дороге не было, чтобы ухватиться), проволокли верст пять, измаяли, раздели и пустили с богом...

«Не быть им живу»,— сказал на такую маету Ергин. По прибытии пешком в Екатеринбург явился к приятелю Володе Кротову, все рассказал и просил совета, как ему кошевников изжить...

Володя Кротов был старичок с бритым подбородком, прокуренными усами, щуплый, пьяный всегда и великий выдумщик.

Ергина он выслушал, перебирая гитару, зажмурил глаз для хитрости и сказал:

— Умен ты, брат, а не догадлив,— знаешь что?..

Приятели на этом порешили, Володя взял денег у Ергина и попал в трактир «Миллион».

Трактир «Миллион» стоит на Телегином переулке; с боков его заборы, напротив засыпанные снегом избенки, а сам трактир на двенадцать окон, одноэтажный и с крыльцом, в котором бухает дверь с колокольчиком.

Воздух в трактире стоял теплый и глухой; под потолком горели керосиновые шары, шипя, как электрические. Близ двери пило чай мелкое купечество до великого

пота, а в дальнем конце кишмя кишело веселым народом.

Пил там и буйствовал и мужик в нагольном полушубке, и казак, и старатель, и оборванец, и отставной поручик, и заезжий итальянец в лисьем салопе.

Все они работали кулаками и били посуду, поздравляя с удачей и золотом Игната Лопыгина, в тот день и еще с неделю гремевшего на весь Екатеринбург.

Сам же Игнат Лопыгин, до этого дня просто Игнашка — вор, пьяница, искатель приключений и золота, сегодня расплачивался, вместо монеты, золотым песком.

Одежду он не успел сменить, надел только поверх отрепья богатую шубу и прел в ней, требуя несуразного и больше всего гордясь, что величают его Игнатом Давыдычем.

Хозяин же трактира стоял за прилавком, бренча на крутом животе цепочкой, и весело посматривал на буйную компанию, зная доподлинно участь Игната Давыдыча.

Много прошло перед трактирщиком таких Давыдычей, и у всех был один конец — почесывая в затылке, идти в горы, откуда пришли.

Вот к этой-то компании и подсел Володя Кротов, присматривая — нет ли кошевников: он знал их в лицо... Да кто их, прости господи, и не знал?

Кошевники оказались тут, все пять, гуляли на ергинские деньги и на лопыгинские и шумели пуще всех.

Володя хлебнул вина и, притворясь навеселе, завел с близсидящими такой разговор.

— Угага,— сказал он и показал пальцем на Игната Давыдыча, красное лицо которого то и дело поднималось над гостями, крича: «Пейте, мошенники, народ православный».

— Посмотрите — как есть свинья, а удачлив,— говорил Володя,— а ведь дальше трактира не уйдет, оберут его здесь начисто, постараются. Действительно мошенник, а не народ.

Говоря это, Володя посмотрел на кошевника, который возразил:

— А ты полегче.

— Сам-то ты из каких? — спросил другой кошевник. Остальные захохотали.

— Нет, я не к тому,— продолжал Володя,— я человек маленький, никого не обижаю, а только, глядя на вас, обидно — ведь какие деньги даром лежат, прямо под носом, а никому невдомек. Смелости нет, народ измельчал, вам бы только по карманам шарить — вот что...

— Ты про какие деньги? — спросил первый кошевник.

— Будто не знаете? Под Харитоновым прудом в землянке зарыты, где при покойнике Харитонове тайная плавильня была. Харитонов с самой государыней Екатериной, удостоясь играть в карты, своей монетой платил. Государыня Екатерина, все это зная, глазком подмигнула и говорит: «Старый ты, Харитон, а плут, ну, виданное ли дело своей же государыне воровской чеканки монетой платить». Харитонов на это огорчился и, не доезжая из Петербурга до города Верхотурья, отдал богу душу. А золото и рабы-печатники, никаких распоряжений не получив, до сих пор в подвале под прудом лежат.

— Дивно,— сказали кошевники,— а ты все это откуда знаешь?

— В палатке мер и весов служу.

— А если знаешь, почему сам в подвал не проник?

— В том-то и дело, что заячья у меня душа, через нее принужден жить невежей. Харитонова боюсь, ты не смотри, что он мертвый, он свое добро стережет, братцы, у него замашки боярские: как поймает тебя в подвале да начнет учить, ой-ой!..

Кошевники при этих словах подсели к Володиному столу, и Володя все рассказал, и про озеро и про вход, заваленный дровами, а многое и прилыгнул. Потом посмотрел на всех косо и принялся крестить себя и отплевываться, уверяя, что наврал спьяну, и хотел уйти.

Тут уже кошевники совсем вверились в Володю и, выйдя из трактира, прижали Володю к забору в сугроб, где, грозясь, приказали не медля вести их в Харитонов подвал.

Кошевники бросили через ворота Харитонова дома кусок волчьего мяса, пес, на цепи, мясо сглотнул и тут же подох, а кошевники, захватив под локти Володю, перемахнули через забор, прокрались по снегу вдоль каретников, подломали у сарая замок, и Володя указал на дрова.

В Харитоновом дому в это время не жили, а сторож играл на кухне в дураки со сторожихой, поэтому никто не потревожился, пока раскидывали кошевники дрова и, найдя вход, спустились в него, неся фонарь.

Володю же захватили с собой и, сколько он ни просился на волю, не отпустили, отчего Володя сильно перетрусил, сам будучи не рад, что затеял всю эту ерунду.

Подземный ход оказался таков, как рассказывали, только поотвалился местами кирпич, было тяжело дышать, и шаги звякали, как в бочке.

Вдруг передний кошевник стал, низко опустив фонарь, и воскликнул: «Золото!»

Все нагнулись; действительно, на кирпичном полу, открытый из пыли ударом подошвы, лежал, ярко блестя, золотой.

Кошевники, весело крича, поволокли Кротова дальше. Коридор повернул направо и окончился ржавой дверью на замках.

Ударами лома сбили замки, дверь подалась, застонала, как больная, и оттуда, из темного подземелья, дунуло могильным духом.

Светя фонарем, кошевники осторожно вошли, оглядываясь. Подземелье было сводчатое и низкое, с четырехгранными колоннами.

Вдруг один из кошевников, отойдя за колонны, закричал и кинулся назад к товарищам, схватясь за шапку. Все шарахнулись к двери, потом, друг друга подталкивая, стали заходить. Фонарь дрожал в руке переднего, и желтые блики, ползая по закопченным стенам, осветили горн у одной из колонн, около каменный стол с таврами для чеканки, истлевший сапог на полу, осколок глиняного горшка и у дальней стены, на которую падала густая тень колонны, мраморную на ступенчатом подстолье вазу, как будто полную верхом пыли... «Вот

оно, вот оно»,— забормотали, подступая, кошевники и не заметили, что вазу стерегут.

Под пальцами легкая пыль улетела, и свет фонаря загорелся на золоте, которым доверху полна была ваза.

Кошевники хватали звонкие империалы, Володю сбили с ног, и, отброшенный к стене, он ухватился за чьи-то сухие ноги, и от стены на вазу между присевших кошевников упал иссохший труп.

Коричневый, с обрывками одежды и волос, он словно прикрыл собою вазу, которую охранял сто лет.

Руки его, со скрюченными пальцами, повисли вдоль вазы, спина хрустнула, сквозь пыльную кожу в изломе вылезли белые позвонки, голова же покачалась, оторвалась от шеи и, покатясь по ступеням, легла около фонаря.

Кошевники, наконец, толкаясь, побежали к двери; фонарь остался у вазы, и тени от убегающих метались по стенам, пуще того пугая...

Но первый, достигнувший выхода, воскликнул вдруг отчаянно: «Дверь заперта».

Кошевники сначала искали выхода из глухого подземелья, обходя с закрытыми глазами вазу и труп. Потом принялись допрашивать Володю и побили его. На это Володя ответил, что и сам пропал, и сознался, как сговорились они с Ергиным заманить сюда кошевников, как Ергин караулил за углом Харитонова дома, чтобы, пропустив кошевников, сойти в подземелье и запереть за ними дверь, и как, наконец, Ергин не заметил, промахнулся и обрек своего же друга на голодную смерть.

При таких словах кошевники притихли, двое же из них громко плакали, сидя на полу.

Прошло много времени, и стала мучить жажда. Фонарь догорал, а когда настанет темнота, придет и смерть...

Иногда кто-нибудь из пятерых вставал и, ругаясь, тормошил Володю, который скрючился в старой шубейке у двери.

Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и на пороге стал сам Харитонов, умерший сто лет назад.

На нем была волчья шуба мехом вверх, лицо же черное, как сажа, и в руке арапник.

— Так вы вот как? — грозно закричал Харитонов, отшвыривая Володю ногой за дверь.— Мое золото красть, моего верного слугу калечить...

Засучив рукава, шагнул Харитонов в подвал и принялся стегать арапником и без того ошалелых кошевников...

Крича не своими голосами, метались кошевники по подвалу, потом один за другим выскакивали в дверь и неслись из подземелья вон...

А Харитонов ругался над ними, покуда всех не выгнал.

Так вот что рассказывают в Екатеринбурге досужие люди, и не верить этому нельзя.

В одном сомнение — будто не Харитонов учил кошевников в подвале, а говорят, сам Ергин, увидев, что промахнулся и Володю на мучение обрек, устроил такой маскарад.

Действительно — откуда вдруг у Ваньки Ергина появились большие деньги и почему кошевники, как завидят его, прочь бегут,— в нем была, значит, причина...

Харитонов, пожалуй, действительно ни при чем — виданное ли дело боярину, хотя бы и мертвому, так шибко за ворами бегать.

А все остальное истинная правда.

ТЕРЕНТИЙ ГЕНЕРАЛОВ

Наш городок завалился за крутой горой у синей реки.

Гора высокая и наверху поросла лесом; а все дома и домишки обращены окнами на реку, что бежит бог знает откуда, загибает пологой дугой у горы и уходит на юго-запад в леса.

За лесом солнце каждый день садится на покой, и тогда окна в городе загораются, как пожар, и путнику, бредущему издалече по кочкам и тропам заречной луговины, радостно смотреть на яблоки церквей и кресты, и под ногами его в лужах и перетоках играют красные отблески.

Теперь от города в луга бежит песчаная насыпь с двумя полосами рельс, пропадая в лесах, откуда два раза в день вылетает белый дым и свистит машина.

Теперь летом и зимой можно подъехать к нашему городку, где на главной улице в праздничный день гуляют и начальник станции, и телеграфист, и заезжие жулики.

Теперь горожанин запирает на ночь окна и двери; Павел Иванович, например, живет за восемью железными крюками; а Кузьму Кузьмича недавно нашли связанным — во рту кляп, горница студеная; спасибо, кот спас, лег на живот и предохранил от простуды.

Теперь и мехов меньше и мясо дороже, а гарнизонные инвалиды только слава, что со штыками ходят (раньше стояли у нас калмыки в ужасных шапках, с луками и стрелами — как черти), и в церкви служат не так уж уютно,— все старое вывела железная дорога за пятнадцать лет...

Не изменился только звон литых колоколов, да, пожалуй, сапожник Терентий — человек необыкновенный.

В дни, одному Терентию понятные, одолевал его злой запой; когда же все это кончалось — летом или зимой,— уходил Терентий на речку, неся удочки, а впереди бежала белая его собачка, держа во рту ведерко с червями.

Завидя Терентия, увязывались и мальчишки за ним на реку — глядеть, как сапожник будет есть рыбу.

— Пескарь — тонкая рыба,— говаривал Терентий, вытянув пескаря,— надо его умеючи кушать,— и, хлебнув из пузырька водочки, ел пескаря живьем.

Мальчишки, толкая друг друга, показывали пальцами Терентию в рот, собачка глядела на поплавок, наставя уши, а Терентий, подмигнув, продолжал:

— Ох, боюсь я, как бы из-под коряги опять водяной не вылез: не любит, когда на берегу кричат...

Мальчишки, зная Терентьеву славу, разбегались в страхе; Терентий же, очень довольный, досиживал до темноты, когда в речной воде за опрокинутым лесом разливался и погасал багровый закат. Тогда, в сумерках, опускал Терентий волосатую голову на ладонь и принимался петь жалобные песни — не то звал кого-то, не то жалел.

Слыша отчаянные эти песни, городские кумушки, стоя у открытых калиток, говорили друг другу:

— Терентий опять воет. Что и за человек!

— Женить, что ли, его, ведь как мается...

— Кто за такого пойдет; разве не знаете, милые, что с Терентием было?

— Слыхала я что-то краем.

— Если бы не ночь, рассказала бы, милые...

— Неужто деньги делал?

— Нет, не деньги... Слышите, как воет: вот оно что...

Неизвестно, выделывал Терентий деньги или нет, но часы, например чинил отлично; вытравлял клопов и мышей; и не только эта дрянь — черви в лошадях слушались Терентия: заговорит он их на три зори, черви клубком свернутся под лошадиной шкурой и вывалятся на навоз.

Но кумушки у отворенных калиток не знали и половины необыкновенной истории, которая произошла с Терентием, когда еще железная дорога не пересекала от леса топкую равнину; когда к нашему городу можно было пройти только через опасные тропы или по снегу на лыжах; когда на реке и в узких переулках да в ригах творились дела... Но их на ночь и не вспоминать лучше.

Терентий пришел в наш город босым парнишкой, с мешком за спиной, и назвался генеральским сыном — «папенька, мол, пролил кровь через турок, а я принужден добывать пропитание в невежестве».

В то давнее время у нас враждовали и бились Кулычевы с Капустиными. Старики Кулычевы и Капустины жили на краях города в скатных избах, имея каждый по шести сыновей, много скота и урочищ.

Старики гневались друг на друга, хорошо не зная, из-за чего (говорят, полсотни годов назад подрались Кулычева с Капустиной из-за куриного яйца). Окончив за день жнивье, или на покосе вечером, непременно садились каждый с шестью сыновьями на коней и скакали по мокрой траве до брюха друг к дружке с разных сторон, сильно бранясь.

А потом брали дубинки и сшибали друг друга дубинками с верха, обещаясь друг дружку искоренить.

А осенью на свадьбах озорничали без разума. И трудно было соседям звать их, и отказать нельзя.

Но однажды старого Кулычева свалил хмель посреди улицы. Прибежали Капустины ребята, схватили старика и сунули в студеную речку... А мороз был сильный, и пока сыновья отыскали отца, примерзли отцовские сапоги ко льду, отчего пришлось в реке их так и оставить.

Тут вот и подвернулся Терентий и в два дня сшил Кулычеву первые свои сапоги с двойным скрипом за во-

семь гривен, на хозяйской коже. Увидала сапоги сваха Акилина, побежала к старику Капустину и говорит, что Кулычеву, мол, генеральский сын сапоги шьет.

Досадно стало Капустину, приказал он сыновьям изловить на кулычевском огороде генеральского сына, запереть в бане и предоставить шило и шкур — пусть шьет на всю семью сапоги с кисточками, а наградят без обиды.

В бане Терентий и прожил всю зиму, а по весне кулычевские ребята баню подожгли, Терентия похитили и увезли на покос. Терентий ничему этому не препятствовал, переходил не споря, а деньги брал не стыдясь.

А года через три открыл в переулке близ улицы свою лавочку, развесив на двери сапоги, козловые коты для девушек и простые бахилы.

Потом сшил синий кафтан и присватался к вдовушке. Вдова была не прочь пойти за генеральского сына, но вдруг, неизвестно почему, заперся Терентий в своем домишке, заказы не удовлетворял, а когда за нуждой и появлялся на улице,— смотрел сентябрем. Пошли догадки, и вспомнили только, что до этого Терентий повадился на реке рыбу ловить.

Но через рыбную ловлю отчаяться человеку нельзя, и была, стало быть, иная причина.

Шли года. Прошло немало времени, Терентий не менялся,— все такой же был хмурый, запойный временами и нелюдим, только открылся в нем талант — заговаривать гада и есть живых пескарей.

Горожане к нему хотя и с опаской, но привыкли. И вдруг все разъяснилось сразу и очень необыкновенно.

До сих пор еще проезжие, шатаясь по городу (идет человек и на дома смотрит — стало быть, жулик или проезжий), много дивятся, стоя перед лавкой Терентия, где над дверью на синей доске написано вохрой: «Терентий Генералов», слева нарисован генеральский сапог со шпорой, а направо — голая с рыбьим хвостом девка.

Кажется, чтобы нарисовать сапожнику на вывеске по своему ремеслу: шило, например, и молоток или теленка, с которого шкуру на шевро дерут, ну, себя нарисуй в очках и с ремешком на лбу... При чем же девка?

Но выходило, что очень при чем: в этой девке и была причина терентьевского характера и вся его история, которая открылась через Игната Давыдовича Чмокина — исправника, царствие ему небесное.

Игнат Давыдович был мужчина великой тучности и двадцать лет пил вино, а потом сразу перешел на чай, сидя весь день около самовара, и до того опился, что в грудях у него появилось молоко — подавишь и выльется. От этого и помер.

До чайной этой полосы одолевали Игната Давыдовича лютые черти. Несмотря на чин исправника и медали, черти глумились над ним по-своему. Игнат Давыдович пробовал против чертей и мундир надевать и ногами на них топал, считая, что черти как жители подземные — под какой землей живут, той власти и должны повиноваться: русские — русской, английские — англиканской,— ничего не помогало.

Как вечер — лезет из-под лавки кукиш или хвост, схватишь,— нет ничего; или в темных сенях чхнет в лицо, как кот, или вонь распустит по всему дому.

На всякие штуки пускались черти, но во всем своем виде на глаза показываться ни один еще не смел; а Игнат Давыдович и этого ждал.

Обращался он к бабам и колдуну, но советы их не помогали.

Намекали ему и на Терентия. Прохудился одно время сапог у Игната Давыдовича,— послал он десятского с бляхой за сапожником. Привел десятский Терентия. Игнат Давыдович снял сапог, затосковавшую ногу в шерстяном чулке потрогал, десятскому глазом показал выйти вон и говорит Терентию:

— Вот тут у меня сапог прохудился; усовершенствовать можешь?

— Все могу,— ответил Терентий смело, потому что у него тоже был запой.

Начинал его Терентий с того, что нанимал коня и в кашемировой рубашке катался взад и вперед по улице, пел и плакал.

Потом остервенялся и с топором кидался на всякого, кто останавливал Терентия в переулке или по делу стучал в окно.

А после всего желал Терентий душевно разговаривать, но это ему не удавалось: то щека его начинала прыгать сама по себе и все потешались, или в середине разговора валился Терентий, куда ни попало, бормоча: «У меня же все-таки душа человеческая, не могу больше так жить». Слов этих никто не понимал. Терентия это еще хуже растравляло.

В таком именно расстройстве сидел он на полу перед Игнатом Давыдычем, держа в руке сапог с дыркой.

— Неужто все умеешь? — спросил Игнат Давыдыч и тоскливо поглядел за окно.

Стояла на дворе зима, и в снегу трещали крещенские морозы.

Под вечер народ гулял, катаясь вдоль улицы на ковровых санках, с лентами на конской гриве и пестрой дуге.

Подгулявшие бабенки, в крытых шубах и желтых платках, пели веселые песни, вповалку лежа в санях, и махали бутылками.

Молодцы задирали девушек, толкая в сугробы; под окнами ходили старики, хрустя снегом; у всех щеки краснели, как клюква, и уже скрипели ворота, принимая пригнанных с речки коров; солнце село. И, видя все это, Игнат Давыдович тяжело вздохнул.

— Народ гуляет, а я принужден маяться... Надоело очень,— сказал он и застегнул на костяные пуговицы парусиновый с медалями халат, в который можно было поместить трех десятников и писаря.

— Помочь можно,— ответил Терентий и, скосив глаза, спросил: — Угарно?

— Страсть; так все и ползет перед глазами.

— Я сам понимаю.

— Сделай милость, Терентий, истреби их словом каким, ты, говорят, мастер...

— Мастер, мастер, а сам который год маюсь.

— Что ты?

— Вот вам — что! Сам себе их навязал и не через вино, а через воду.

— Как через воду?

Но тут Терентий, сообразив, что проговорился, закрутил головой и смолк. Игнат Давыдыч даже ногами на него затопал, потом повел носом, встал, упершись о сиденье, и сказал:

— Пирог принесли. Ну ладно, Терентий, окажу я тебе уважение, ведь ты все-таки генеральский сын, идем со мной пирог есть!

Голова у Терентия пошла кругом — виданное ли дело: у самого исправника пирог есть!

Вскочил он тотчас на ноги, отказался до трех раз и пошел вслед Игнату Давыдычу из канцелярии, где они сапог примеряли, в столовую. А в столовой от пирога шел такой приятный чад, что, кроме пирога, ничего не было видно.

Исправник сел, расправил усы, показал Терентию на стол, отрезал угол у пирога и сказал:

— Ну-с.

— Эх,— молвил Терентий,— зарок дал, а вам скажу... С русалкой я живу девять лет, как с бабой...

Игнат Давыдыч только что раскрыл рот, поднеся к нему на вилке немалый кусок, но при этих словах поперхнулся, отодвинул стул и спросил, выкатив глаза:

— Что ты?!

Потом раскрыл пошире, зажмурился и принялся смеяться так громко, что Терентий даже обиделся.

— Смешно вам, Игнат Давыдыч,— сказал он,— а я принужден после, как помру, в реке жить... Это мне неудобно.

Исправник отсмеялся, наконец, перекрестил себе сосцы, приосанился и воскликнул:

— Ах ты мошенник, как же ты без дозволения начальства с гадом столько лет живешь? Почему раньше не доложил?

— Совестно, Игнат Давыдыч, разве бы я пил, если бы не совестно.

— Где же ты ее поймал?

— Конечно, в реке, где оне и водятся. Около плешивого камня, в яру, там их плавает видимо-невидимо.

— Слово на них знаешь?

— Какое слово, сама навязалась...

— Все-таки баба, значит?

— Да. Рыбу ловить я большой охотник. Закинешь крючок с наживой в реку и жди, вода как пустая, а глядь — и тащится со дна живая рыбина, даже руки трясутся. Так вот, плыву это я раз под вечер на лодке, гребу и пою, а позади леса́ тянется; мастер я был тогда романсы петь — дворянское, знаете, занятие, а к невежеству я еще не совсем привык. Вдруг дернуло за лесу — и лодка стала. «Не может быть, думаю, чтобы это рыба,— крючок за корягу задел». Стал я на корму, лесу вокруг руки обмотал, тяну и гляжу на дно. И вижу — на дне вот эдакая рыбина хвостом повела, повернулась и показала белое пузо. Обмер я. Левой рукой взял весло и стал к берегу подгребаться. А она видит, что хитрят, как потянула — я за лесой в воду и бухнулся. Вынырнул, а лодку отнесло. Поплыл я стоя к берегу, а лесу крепко держу; боюсь только, чтобы рыба ноги не отъела. И совсем за куст ухватился и уж коленку задрал,— как принялась она меня под микитки да под мышки пальцами щекотать. Я за куст держусь, а сам хи-хи, смеюсь, ха-ха, на всю реку, даже слезы проступили, и страшно,— понимаю, кто щекочет. Оглянулся и вижу: пальчики проворные по мне бегают; вот-вот под воду уйду, сил нет... Козел меня выручил — покойной бабушки Лукерьи,— любопытное было животное; видит — человек барахтается и не своим голосом кричит, подбежал, стал над водой, рога опустил да как топнет копытами... Русалка тут же и притихла: боится она козлиного духа. Вылез я кое-как, со страху лесу за собой тяну; иду, тяну, оглянулся, а над водой уж голова показалась,— такая красивая: брови подняла, рот, как у младенца... потом и по грудь вышла, и на берег лезет (крючок у нее в волосах запутался), и зовет тихонько: «Не беги, Терентий, возьми меня к себе». А мне куда бежать! Как дурак, стою перед ней; белая она, волосы, как пепел, от колен рыбьи ноги, а за ушками — красные жаберки, вроде сережек. «Уходи,— говорю ей,— ну, что тебе нужно, я не подводный житель».— «Очень ты мне понравился,— отвечает и руки сложила,— возьми меня к себе, как жену. Я буду покорна». Тут у меня, конечно, в глазах помутнение пошло; поднял я камень, кинул в козла, чтобы перестал

пугать; сам кафтан скинул, русалку обхватил, прикрыл кафтаном; она присунулась, будто кошка тихонькая, и в глаза глядит... И побежал я с ней по задам к себе...

Игнат Давыдыч со страхом слушал Терентия. На дворе давно настали потемки, молодежь разбежалась по домам, а в такой час, оборони бог, притащится кто-нибудь под окно из речки с рыбьими ногами...

— Ну, как же ты вообще? — спросил Игнат Давыдыч и перед носом помахал пальцами.

— Вообще она женщина,— ответил Терентий,— добрая и тихая и жалеет меня нестерпимо. Только насчет пищи — сырую рыбу ест и меня к этому приучила. Жили мы очень хорошо. Раз я ей и говорю: «Что же, Мавочка, на тебе креста нет?» — «Нет и нет, отвечает, не нужен он мне; а будешь приставать — заплачу». А я опять про свое. «У тебя, говорю, ноги чертовы. Ну, виданное ли дело на рыбий хвост башмаки приладить». Она смеется. Пошел я и напился. И понял всю свою низость. Пришел пьяный домой, думаю — ушибу ее, брошу в реку, душу свою освобожу... А Мавочка мне и говорит: «Ты ведь меня убить пришел... Меня убить нельзя, а ты лучше разгляди меня». И показывается — бровки поднимает, повернется, то волосами вся прикроется, то примется за усы меня дергать и щекотать пальцем. Сел я на лавку и заплакал. Тут она мудрости меня начала учить. Да что мне в мудрости... Православный народ в царствие божие пойдет, а я в речку, ихним царем сидеть. У них такой обычай: состарится ихний царь, посылают они русалку покрасивее к людям — выбрать нового царя. У них цари из людей, не кое-как, да!

— Ты, значит, о превышении власти толкуешь; ах, шельма,— сказал на это Игнат Давыдович,— вот я тебя. А паспорт у твоей животины есть?

— Паспорта у нее действительно нет, не полагается, Игнат Давыдыч.

— Теперь понимаю, отчего ко мне черти лезут,— продолжал исправник,— раз в моем участке такое безобразие развелось. Кончено, всякий поверит, что с моего согласия эта гадость. Ах ты, Терентий, а еще я тебя пирогом накормил.

Терентий принялся благодарить и кланяться.

Игнат же Давыдович раздумывал: оставить ему это дело (не хотелось трепыхаться после пирога) или нет,— как вдруг под столом в потемках вильнул ощипанный хвост.

Игнат Давыдович быстро его схватил, посмотрел в ладонь — нет ничего, поднялся и приказал во весь голос:

— Веди меня к ней, властью приказываю!

Повинуясь власти, повел Терентий Игната Давыдовича к себе по снегу вдоль улицы, над которой всходила ущербная луна.

На синеватый снег из окошек лился теплый свет, и когда одурелая чья-нибудь голова, подняв запотелую раму, высовывалась, клубом вылетал из окошка пар и веселый смех и топот танцующих девушек с кавалерами.

— Ах, шельмы распутные, погоди — пресеку это безобразие,— говорил Игнат Давыдович, держась за кушак Терентия, чтобы не свалиться,— а ну как, избави бог, ревизия нагрянет, что стану отвечать? — в городе содом и бесовское действо.

Терентий же завернул в переулок и, став у занесенной сугробом двери, вынул ключик, отомкнул замок и сказал со вздохом:

— Пожалуйте, убедитесь...

Игнат Давыдович, постучав оснеженными валенками, нагнул под низким косяком голову, вошел в избу и тотчас в смущении сел у дверей на стульчик... Посреди пола на белой кошме лежала, подперев кулачком румяную щеку, русалка; в другом кулачке она держала мышь. Длинная спина русалки светилась, как раковина, под светом лампы в круге у потолка, темные волосы, в четыре косы, лежали на круглых плечах и кошме, а рыбьи зеленые ступни похлопывали.

Русалка подняла на исправника чернобровое лицо и, открыв зубы, засмеялась, отчего красные жаберки у нее за ушами оттопырились.

— Совестно, ушла бы за перегородку одеться,— сказал Терентий, стоя у печки с шапкой в руке.

Русалка медленно поднялась, не стыдясь подошла, переступая на лапках, к Игнату Давыдовичу и засмеялась в круглое его с красными усами лицо.

Игнат Давыдович сам ухмыльнулся, и бросило его в жар: а ну, как защекочет?

— Не дозволяется,— сказал он,— и вообще не указано насчет жительства...

Бормоча так, Игнат Давыдович вынул из варежки руку и пальцем потрогал русалкину грудь.

Русалка придвинулась и быстро пощекотала у него под бритым подбородком.

Губы у Игната Давыдовича размякли, и он сложил их в трубку, норовя чмокнуть. На заплывшие глаза поползли веселые морщины, и он уже до половины сполз со стула, стараясь ухватить ловкую девчонку, как вдруг ударил его Терентий по рукам и, заслонив русалку, красный и злой, воскликнул:

— Не смей, не твое! Пожалуйте на улицу...

— Ты это меня ударил? — спросил Игнат Давыдыч.

Русалка же опечалилась, глядя исподлобья.

Игнат Давыдович попятился к двери; Терентий напирал, сопя и косясь на топор. Тогда русалка схватила Терентия за руки и хотела покружить по избе...

Но Терентий крикнул:

— Не мешай, не я, так он со свету сживет.— Толкнул русалку и нагнулся за топором.

Русалка отлетела, покрутилась и вцепилась в халат Игнату Давыдовичу.

А Игнат Давыдович пхнул ногой дверь и, подхватив русалку, с криком выбежал на улицу.

За ними выскочил и Терентий с топором, но от злости запутался в сенях, а когда, опрокидывая горшки и кадки, завернул, наконец, скрипя зубами, за угол на улицу,— вдалеке вдоль домов по снегу, залитому лунным светом, голубая, как тень, неслась русалка; за ней поспешал исправник, стреляя из пистолета и крича:

— Держи, держи!

Слыша выстрелы и крики, кинулся веселый народ к окнам, увидел завертывающего к реке исправника и Терентия с топором, и, так как в городе подобного никогда

не случалось, повалил народ из теплых изб на мороз и на речку тесной толпой.

Когда же прибежали на речку, все увидели на льду около проруби исправника, который, раскинув шубу, глядел в черную воду, а напротив сидел Терентий, крутил головой и навзрыд плакал, не вытираясь.

Оба до того были пьяны, что их взяли под руки и развели по домам.

Исправник спал полторы сутки, крича во сне и колотя вокруг себя кулаками, а когда проснулся, вышел на площадь и всенародно объявил, что видел черта в образе бабы и гнался до реки, а баба нырнула смело в прорубь, и оттуда был голос:

— Не пей!

Так Игнат Давыдович закаялся и, заказав молебен, велел лавочнику доставить к себе на дом трехведерный самовар, чаю цыбик и голову сахару, а постом — изюм.

Что из этого вышло — уже сказано.

А Терентий долго не показывался на улицу; соседи слышали по ночам, как он выл, словно пес в опустелом доме, и тосковал до тех пор, пока душу не отвел, написав синюю вывеску с русалкой и сапогом.

Так вот что случилось в нашем городке в давнее время.

Жители верят этой истории. И как же не верить, когда каждый день проходит с ведерком и удочками на реку Терентий, темный, как туча, и, сидя на берегу, поет не своим голосом — сердце надрывает.

А заезжие смеются нашему рассказу. Ну, да теперь надо всем смеются: веры ни у кого нет.

ЧУДАКИ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор.

(«Полтава». Пушкин)

Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексеевича: «Старуха, старая старуха».

Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста.

Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашки, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани, и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои шестьдесят лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости.

Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о жестоких мужниных словах, сказанных с хлопаньем дверьми, когда, противно всем долголетним привычкам, ушел Алексей Алексеевич спать один в кабинет.

— Не смей меня ревновать! — крикнул тогда он, топорща усы и багровея.— Гадко и гнусно. Э, да что с тобой говорить! — Отшвырнул ногою стул и распахнул дверь.— Пойми, что ты старуха, старая старуха...

«О жене вспомнил, о покойнице,— думала Степанида Ивановна.— И Софью любит потому, что с ней сходство».

Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра ознобила тело.

— Нет, Алексей,— воскликнула она,— одна я для тебя, не смеешь ни о ком думать... Ах, боже мой!

Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии. Но сухи были ее глаза и сердце ожесточенно.

Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбой на Степаниде Ивановне.

Тогда она — девица на выданье — жила в уездном городе с отцом, помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшой, пустынный, пыльный: дрянные деревянные домишки, выгоравшие время от времени целыми кварталами, собаки, сопливые мальчишки, чахлые палисадники, мухи — вот и весь город.

Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны — Иван Африканович — охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал цыплятам.

Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфеткой вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пес, жмурясь от солнца, или по жаре бредет акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ.

— Замуж хочу! — говорила Степанида Ивановна сначала тихо, потом все громче и злее и, когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричала ему в улыбающееся лицо:— Выдай меня замуж, старый мухобой, выдай меня замуж! Хуже будет!

Худенькое ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и огромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок.

Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидала тройку серых лошадей, мчавшую блестящую коляску; в ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке набекрень.

Офицер обернул к изумленной девушке краснощекое усатое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя.

Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и едва не лишилась чувств — так пронзило ее предчувствие.

На следующий день предводитель устроил бал в честь приезжего офицера — племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное свое нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за веера за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красных с золотыми шнурами чикчирах.

Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степаниды Ивановны — и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отер прекрасный лоб свой.

Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на нее так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений — его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая.

За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев... И Степанида Ивановна никогда не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала... Выпуклые серые глаза его глядели и дерзко и нежно.

От мужского здорового запаха раздулись у нее ноздри, медленно клонясь, подставила она Алексею Алексеевичу пунцовые губы,— лишь ахнула негромко.

Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, все же минут через пять все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна «целовалась».

Предводительша, желая рассеять сомнительное впечатление, велела играть русскую и сама пошла плясать с платочком, причем полная ее грудь так подпрыгивала, что пришлось ее поддерживать сверху рукой. Предводитель, щелкнув тузом козырного короля у помещика Тараканова, крякнул и сказал: «Эге, племянник не дает маху!» Иван же Африканович, папенька, стоя в закусочной около спиртного, только сморкался трубой и жалобно посматривал на двух клюкавших с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком.

На все это Алексей Алексеевич объявил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степаниды Ивановны отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться.

Иван Африканович, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал и, водя носом, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мундиру красавца Брагина, лепетал: «Ведь я же люблю мое дитя, сироту несчастную, сделай милость, женись на ней, благодетель».

Только долго спустя догадались, что Иван Африканович свыше всякой меры «набодался» наливками, и увели его в садовую беседку спать.

Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, сидела в гостиной, прямая и белая, как свеча, и, как свеча, горели ее глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город.

Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя.

Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его, и если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою теперешнюю супругу, все же легче было бы Степаниде Ивановне.

Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссор, когда, побледнев, с трясущимися губами, выкрикивала Степанида Ивановна: «Ты ее любишь, ты о ней думаешь... поди ищи

ее...» — только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы.

Со временем ревность к *той* не только не сгладилась, но «перешла в характер» Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та, Вера, только что была между ней и Алексеем: невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала свое страшное дело с мужем... Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича и, когда он, большой и сонный, мычал, закрывая голову одеялом, льнула к нему, вся обожженная ревностью, страстью, злостью.

Временами наступало затишье. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки. Но ненадолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думая ли о мужниной военной карьере или о быстро уменьшающихся средствах,— Алексей Алексеевич крупно играл в карты,— шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту: в такие-то часы муж был неизвестно где,— значит... Она опускала вязанье, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и, смущенный, сбитый с толку, Алексей Алексеевич сознавался, что действительно поухаживал слегка за какой-то там Варенькой.

Степанида Ивановна швыряла вязанье, заламывала руки и лишалась чувств.

Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности.

Однажды он уехал и замолчал. Прошло три дня. Степанида Ивановна не велела никого принимать, разогнала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялось бог знает что,— непереносимые ужасы.

На четвертые сутки пришла телеграмма: «Проиграл сорок тысяч, стреляюсь. Алексей».

Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард.

Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог

тульского имения еще пять тысяч, не хватало десяти. У кого достать? Степанида Ивановна боялась огласки. В этот день была минута, когда ей изменили силы.

К вечеру она решила. Накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя: «Хороша, хороша».

Карета, ждавшая у подъезда, помчала ее по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший блестящую карьеру дипломат — Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной.

Без доклада войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч соболью шубку.

Что произошло в кабинете у Ртищева — Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальный городишко.

Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидав даму в бальном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, по коридору.

Половой загородил было ей дверь, но Степанида Ивановна ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресла, дремали офицеры, валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа, он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами, затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам. Но все же была слишком рада (или чувствовала и себя отчасти не безгрешной), чтобы долго сердиться.

Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем.

В походе жила она в палатке, чинила мужнино белье, ругала денщика, который так боялся барыни, что только неестественно мычал, когда она его о чем-нибудь спрашивала, давала мужу военные советы, один раз

даже собственноручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанткой.

В палатке в час, когда горнист играл утреннюю зорю, она родила девочку, но ребенок не прожил и трех дней. На десятые сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай...

Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича, он быстро пошел по службе, Степанида Ивановна была принята при дворе. Но волосы ее уже стали седеть, тело подсыхать, и, несмотря на удовлетворенное честолюбие, мучилась она пуще прежнего, глядя на дородную, веселую фигуру мужа, всегда окруженного хорошенькими женщинами.

Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его легкий ударчик, пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню — родовую вотчину Гнилопяты на луговой стороне Днепра.

Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены — Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на меланхоличные письма друга.

Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать Репьеву удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в Гнилопяты дочку его Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крестным отцом.

Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на ее приезд оттого, что все помыслы ее заняты были новым, необыкновенным делом, о котором она никому пока еще не сообщала.

Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка шведа (приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственником по бабушке шведке, урожденной Вальдштрем) и теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории.

Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег, состояние Брагиных сильно

поиздержалось, Гнилопяты приносили тысяч пять дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад.

По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островках, открывались время от времени богатые клады,— зарывали их с незапамятных времен и варяги, и запорожцы, и гайдамаки, и польские паны, и булавинцы,— все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашенок соседнего с Гнилопятами монастыря. Монашенки толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила, что недавно у игуменьи появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для воцарения на малороссийском престоле и покинутых во время бегства со шведским королем.

Монашенка во всем этом клялась и божилась. Степанида Ивановна собралась к игуменье, но приезд Сонечки отвлек на время ее внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры.

Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно язвительная для генеральши, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела ду́хом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Боже мой, сколько тягот! Ах, Алексей, и все, все это — для тебя. Неблагодарный, жестокий!

Степанида Ивановна села в кровати, натянула на колени одеяло, поправила чепец и позвонила.

Вошла горничная Люба с чашкой шоколада и серебряным подносом с печеньями. У окна закричал в клетке попугай:

— Любочка!

Люба, улыбаясь, поставила поднос на столик, подошла к клетке и просунула между прутьями палец,— попугай тотчас же стал тереться о него зеленой головкой.

— Оставь попугая,— сказала генеральша, сердито глядя на молоденькую горничную.— Генерал встал?..

— Их превосходительство сюда идут,— улыбаясь, ответила краснощекая Люба.— Барышня давно в столовой.

— Подай зеркало и пуховку. Скорее же!

Люба, подняв овальное в бронзовой раме зеркало, подошла и, опершись коленом о кровать, откинулась так, чтобы Степанида Ивановна, поднявшая руки к седым буклям, могла видеть маленькое свое, с синевой под черными глазами, смуглое лицо в мелких морщинах.

Степанида Ивановна провела пуховкой по щекам, налила из хрустального флакона на плечи и руки сладких духов и карандашом отчеркнула тонкие брови...

— Теперь хорошо, ваше превосходительство,— сказала Люба.— Только бровка левая чернее вышла...

Степанида Ивановна посмотрела на круглое с поднятым носом веселое лицо горничной, перевела взор на себя, повернулась в профиль и подрисовала бровь.

В дверь постучали. Люба поспешно прислонила зеркало к кровати и побежала отворять. Вошел генерал.

Высокую его дородную фигуру свободно охватывал китель без погон, на ногах были панталоны с лампасами и бархатные туфли. Львиное, слегка насупленное лицо розовело от здоровья, полные губы добродушно улыбались. Белые, с подусниками, усы — расчесаны.

— Проснулись, ваше превосходительство,— сказал Алексей Алексеевич и заложил руки в карманы.— А ведь я недурно выспался в кабинете. А! — и, взглянув на горничную, захохотал, довольный, что победа на его стороне...

Люба выскользнула из комнаты. Алексей Алексеевич прошелся по ковру.

— С вечера у меня, ваше превосходительство, в бок немного кольнуло, а я и думаю: пусть лучше покалывает, чем упреки твои, душа моя, слушать...

Генерал прищурил один глаз, желая, очевидно, примирения, и болтал всякий вздор. Степанида Ивановна поджимала губы, ноздри у нее вздрагивали.

— Я ответственна за Софью,— вдруг ни с того ни с сего сказала она сухим голосом.— Я не допущу, чтобы ты ее целовал и сажал на колени.

Генерал сразу остановился, вынул из карманов руки.

— Она не кровная родня, чтобы относиться к тебе, как к деду,— продолжала генеральша.— Ваше с ней поведение считаю неприличным, если не...

— Молчать! — сказал генерал.

— Вчера меня старухой назвал,— не сдерживаясь более, закричала генеральша,— находишь эту девчонку слишком молодой. Вижу, вижу — она на тебя не по-родственному посматривает...

— Что? — Алексей Алексеевич начал багроветь...

Но бес генеральшин сорвался, и чем больше раздувался генерал, тем безрассуднее, ядовитее придумывала генеральша слова...

— Ох, ох! — повторял Алексей Алексеевич, оглядываясь, чтобы найти метательный предмет. Солнце блеснуло на резьбе серебряного подноса.

— Замолчи! — воскликнул генерал, хватая поднос, поднял его над головой.

— Я ее выгоню! — взвизгнула генеральша...

— Генерал, ура! — закричал попугай...

Алексей Алексеевич, целясь так, чтобы не попасть, бросил в генеральшу подносом. Печенья рассыпались по простыне. Степанида Ивановна сейчас же затихла. Генерал вышел, ударив дверью.

Когда испуг миновал, Степанида Ивановна усмехнулась, сбросила с колен печенья и, босая подойдя к двери, повернула ключ.

Генеральша была очень довольна тем, что Алексей Алексеевич едва не убил ее подносом. Вчера, увидя нежную привязанность мужа к Сонечке, решила она выдать во что бы то ни стало девушку поскорее замуж и в уме подыскала даже жениха — молодого дипломата Смолькова.

Алексей Алексеевич терпеть его не мог, может быть потому, что Смольков приходился племянником Ртищеву, с которым у генерала были старые и особые счеты,— он наотрез отказался его видеть. Степаниде же Ивановне особенно тогда захотелось выдать Сонечку за Смолькова. Теперь представлялся удобный случай: генерал будет каяться в поступке с подносом, размякнет и напишет Смолькову.

Затворив дверь, генеральша выпила шоколад, наки-

нула пеньюар, легла на диванчик и принялась громко вздыхать и стонать: «Боже мой, боже мой!..»

Она знала, что Алексей Алексеевич будет на цыпочках подходить к двери и прислушиваться, но решила из комнаты не выходить, пока генерал не даст нужного обещания.

Алексей Алексеевич, как только выбежал от жены, отер платком пот со лба и, выпустив из надутых щек воздух, пошел по коридору в столовую, дверь в которую была из разноцветных стекол.

— Фу, как гадко! — сказал Алексей Алексеевич.— Ведь довела же человека! Фу! — Чтобы войти в столовую веселым, он помедлил около двери.

Смотря сквозь красное стекло, увидел он столовую, обитую дубом, с резными панелями, с саксонскими блюдами на стенах, и за столом — девушку, терпеливо сложившую руки в ожидании прихода деда. Сквозь стекло все это казалось красным.

Алексей Алексеевич передвинулся налево к зеленому стеклу, и комната и девушка стали зелеными. Генерал приотворил дверь и шепотом позвал:

— Сонюрка, поди-ка сюда...

Сонечка тотчас же встала и, улыбаясь, подошла. Вдвоем они стали смотреть сквозь цветные стекла.

— Фу! — опять сказал Алексей Алексеевич.— Задала мне бабушка феферу, я в нее подносом бросил, фу.— Генерал, зажмурясь, покрутил головой...

— Зачем вы не сдерживаете себя? — сказала Сонечка и поцеловала деда в плечо.

— Ну вот поди же ты! А ты что — пила кофе?

— Я вас ждала.

— А думала о чем?

Сонечка опять улыбнулась, и они сели к столу, развернули накрахмаленные салфетки. Лакей Афанасий, курносый, рыжий и нахальный, любимец генеральши, налил кофе. Генерал, мешая ложечкой, задумался.

Глядя на ласковое, вдруг опустившееся его лицо, на поднявшиеся от печального недоумения брови, пожалела Сонечка деда. Стараясь не стучать, налила она сливок в кофе, отломила кусочек сладкого хлеба, положила в рот,

но уже поднятая к губам позолоченная внутри чашка задрожала в ее руке, синие глаза заволоклись слезами.

— Поди ко мне,— взволнованно проговорил генерал, привлекая Сонечку.— Не надо плакать, бабушка тебя любит и сама знает, что говорит напрасно,— у нее характер тяжеловатый, но она добрая... А ты поменьше к сердцу принимай...

— Нет,— отвечала Сонечка, качая головой,— я знаю, что мне нужно уехать отсюда.

— Да тебя никто и не отпустит. Знаешь что — идем и помиримся с бабушкой. Хорошо?

Алексей Алексеевич бодро встал, обнял Сонечку за плечи, но, должно быть, не очень верил в это «хорошо», так как замедлял шаг, идя по коридору, и уже совсем тихо постучал в дверь.

Сонечка взглянула на деда, как бы спрашивая: а что, если?.. На стук громко застонали за дверью; Алексей Алексеевич поднял брови, прошептал: «Слышишь!» — и смелее постучал в дверь.

— Кто там? — был слабый голос.

— Это мы, бабушка,— весело крикнул Алексей Алексеевич.— Отопри, пожалуйста,— и с хитрым видом мигнул Сонечке.

Но за дверью не отозвались. Потом с шумом упало там что-то, зазвенело стекло...

— Ай! — прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал...

Ответа не было.

— Села в бест! — сказал генерал уныло.— Надолго.

И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик — «Вешние воды».

«Не виновата,— подумала Сонечка,— и ничего такого не сделала».

Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.

Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом пла-

тье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.

Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.

«Вот глупая»,— подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад,— ах, да,— и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.

Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на спинку стула, мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.

На нем — доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Полы сюртука отдувает ветер. Он ищет — кого? Он думает — о ком?

Себя Сонечка считала недостойной его — слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку.— Идем! — Ведет в беседку...

Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.

Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.

«Как же с бабушкой? — думала она.— Может быть, обойдется, а уж я все сделаю,— постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».

Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снеся яйцо, тихо стонала — не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.

Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе осталась только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.

Да еще двое белоголовых мальчиков — один в штанах, другой без штанов — возятся на куче золы, набивая золой продранный валенок.

Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Искупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.

В полдень не легче и Алексею Алексеевичу.

Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково:

— Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?

Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете, где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.

В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.

— Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще...— в отчаянии говорил генерал, шестой раз подойдя к двери.

— Что тебе надобно? — ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голоском.

— Мириться, мириться! — Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку.— Ну, полно же тебе.

— Я спрашиваю: что тебе от меня надо?

Генерал опешил.

— Как что? Я думал...

— А что ты думал, когда убивал меня подносом?

— Степочка!

— Я до сих пор дрожу от страха,— может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.

— Степочка! — воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике.— Прости меня, я все сделаю.

— Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.

— Боже мой, что же тебе нужно?

Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:

— Напиши письмо Смолькову...

— Кому? — спросил генерал, хотя ясно услышал.— Кому?

— Смолькову,— громко сказала генеральша.— Я хочу, чтобы он сюда приехал.

Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.

«Все равно,— подумал Алексей Алексеевич.— Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».

Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в P. S. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка...

Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, растроганного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.

У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студеный ключ.

В саду на полянках, очищенных от вишенника,— под грушей или яблоней,— стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синею краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зеленью дерев поднимались полинявшие луковицы древнего храма с железными крестами.

Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое баловство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных своих рясках, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего за белой стеной, а мать Голендуха только вздыхала, говоря: «Какое же это ангельское пение? — один блуд».

Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви... В одной половине его, лицом в сад, находились трапезная и келья игуменьи, а в другой, окнами на скотный двор и курятники,— кельи сестер.

— Пусть их на курей посмотрят, — говорила мать Голендуха.— Куря всегда ногой в навозе зерно найдет, значит имеет настоящую веру. А мои-то: подай им того, сего — пирогов да моченых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.

О пастве мать Голендуха мнения была неважного:

— Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клитинья двадцать пять яиц за раз съела,— двадцать ведь пять... Соборовали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыхалась,— чистая корова, прости, господи.

Росту мать Голендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым

ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.

Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздухи, бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Голендуха разговаривала, попивая грушевый квас:

— Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай? Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя...

— Где уж нам! — отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично.— Нам-то хоть бы смирение показать.

— Закрой рот,— говорила мать Голендуха и стучала кружкой.— Разговорилась! За язык возьмут тебя черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков.

Монашенки, низко склонясь, молчали. Мать Голендуха вытирала рот, складывала на животе руки.

— Нет,— продолжала она,— ты его побори сначала, зажми ему хвост, а потом смирение показывай... А то тра-та-та, тра-та-та, целый день: «Мать игуменья, дозвольте в лес добежать, сушняку принесть». Сушняку!.. Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит... Не видела я разве, как сестра Гликерья в ручье мужеские вретища полоскала...

Мать Голендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала:

— Вот в старые времена задрали бы тебе ряску да на горячую плиту и посадили: грей проклятое место.

Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило ее и беспокоило. Кроме вишневого сада, обитель владела еще тремястами десятин пустошей да Свиными Овражками — неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прохладный ключ.

Всего этого едва хватало для пропитания тридцати

душ и благолепия церкви, а о прикоплении денег или покупке земли нечего было и думать.

Поэтому мать игуменья благословила одну из сестер, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм.

Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью, всегда веселая и говорливая, собирая с крестьян по копеечке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная: не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, тотчас же справлялась на базаре, кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом, хозяюшке предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подарочек словами — не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сума была у матери Нонны.

Попивая чаек, любила рассказывать Нонна приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы проявились, да кто на ком женится... Чертей видела она три раза. Один — маленький, хворый — был к ней даже привычный, звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим — Полканка,— очень жалела.

Возвращалась мать Нонна обыкновенно к рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по два, забредя за Окиян. Тогда мать Голендуха, для поддержания средств, объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках — три копейки за штуку, пятак пара — дивную воду.

Но недавно господь воистину сжалился над монастырем. Сестра Клитинья, после того как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику, а потом отдельно матери игуменье, что помирает не от своего аппетита, а оттого, что хранит страшную тайну — старинный клад, зарытый на крови.

Мать Голендуха выспросила все подробно — как сусек выскребла — и, отобрав у Клитиньи какой-то документ, возликовала в своем сердце, ожидая для монастыря великих милостей.

Сначала мать Голендуха думала сама копать клад, но, рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, и бес там замешан, послала монашенку к генеральше Степаниде Ивановне.

Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали — Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались поставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генеральша говорила кучеру: «Смотри, держи, чтобы не разнесли». На что кучер отвечал беспечно: «Помилуйте, не впервой».

По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церкви, белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда, генеральша беспокойно задвигалась на подушках, вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу.

Мать игуменья встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу. Степанида Ивановна сложила зонт, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо.

— Благодетельница,— запела мать Голендуха, закрыв глаза,— все это вы порхаете, все порхаете, как птица-голубь, а я-то, грешная, все сырею, все толстею,— так и думаю: выйду в лихой день на крылечко, оступлюсь и расколюсь, как дыня.

При этих словах щеки у матери Голендухи расплылись, действительно став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытая листом, на бахче.

Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегающий вниз вишенник, сказала со вздохом:

— Отдохнуть приехала в ваш рай земной. Устала от забот...

При этом она поглядела искоса на игуменью. Игуменья в свою очередь — также искоса — поглядела на генеральшу.

— И, какой у нас, благодетельница, рай, мы еще многих иных грешнее.

Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенника веял пахнущий смолой ветер, пролетали грузные пчелы, а невдалеке, должно быть — из кельи, слышалось монотонное пение духовного стиха. Умиротворилась, казалось, душа певуньи, не дивится более ничему и поет только потому, что по всей земле, в каждом листе, во всем, что живет и дышит, бьется вечный, однообразный шум живых ключей.

На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая монашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек.

— Грешница, люблю чаек попить,— проговорила мать Голендуха,— но не такой это грех, как сумасшедшие капли. Вон у нас священник на пасху наприкладывался сумасшедших капель,— водки то есть выпил, а пьет он, как насос,— и пошел служить молебен к доктору, а у доктора аптечный шкап картинками обклеен разного веселого содержания. Поп-то повернулся к шкапу и давай кадилом махать. Доктор ему: «Батюшка, образ вон в том углу, а это непотребство; извините, что я его простыней не закрыл...» — «Это,— говорит поп,— мне все равно, я к этому отношусь неглижа». Видишь ты, до неглижа и довели его сумасшедшие капли.

Степанида Ивановна сделала губами звук «тсс...» Качнула кружевной косынкой и сказала:

— Варенье прекрасное у вас, мать игуменья. Из своей вишни варили?

— Из своей, для гостей держим хороших...

— А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты?

— Множество.

— Говорят, вы знаете один такой, интересно бы послушать.

От глаз игуменьи тотчас же побежали морщинки. Хитрейшие стали глазки. Грузно повернувшись на стуле, она сказала:

— Сестра Клитинья, подойди к нам.

Тотчас же к столу подошла в порыжевшей ватной рясе Клитинья. Сложив руки на груди, поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и, опустив желтое скуластое лицо, стала у притолоки.

В глухих деревнях рождаются такие большеголовые дети, которые едят и не могут наесться. Чувство голода передается им по наследству, как иным талант. Так и у Клитиньи было желтое лицо и большой рот, полный жадности.

Степанида Ивановна со страхом и отвращением оглядела монашенку. Игуменья, степенно сунув пальцы в пальцы, молвила:

— Расскажи нам, сестра, все, что знаешь.

Клитинья облизнула губы и тихим голосом стала рассказывать все, что знала изустно от отца и деда о предке своем Осипе Кабане.

«Был он, Осип Кабан, мальчишкой о двенадцати годках. Позвали его на гетманский двор ночью и повели с двенадцатью молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им пищу приносили. Рыли они три месяца, а когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: «Идите за мной, слуги мои, возьмите сундуки кованые, поставьте их в те подвалы. Когда все сделаете по моему слову — награжу по-царски».

Понесли они кованые сундуки. Шесть их было насыпано серебром, три — красным золотом, три — жемчугом, а Осип Кабан нес корону золотую, весом пять фунтов с четвертью.

Позади всех шел гетман Мазепа и держал острую саблю.

Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуравили дверь, и приказал гетман казакам стать на колени, вынул книгу и начал читать заклятые слова. Потом взял Мазепа острую саблю и отрубил голову всем двенадцати казакам, а Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: *каменную голову, орла и четырехконечный крест.*

Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перед смертью прочесть

«Отче наш...» Когда Осип сказал «аминь», гетман взмахнул саблей, а рука у него закостенела,— не опустить... Понял злодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья.

А Осип Кабан как преклонял на молитве колени, так и остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть божьего чуда. Аминь».

Клитинья кончила рассказ и опять стала глядеть на еду, а Степанида Ивановна все еще слушала,— на щеках у нее выступили пятна, глаза были сухи.

— К тому имеются у нас документы и план,— сказала игуменья строго.— Осип Кабан, помирая, план оставил.

Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, не в силах молвить слова. Мать Голендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала:

— Вот план и надпись: «Сей план снимал Осип Кабан, господней милостью остался жив и руку приложил». Вот описание плана и приметы, и вот опись, что есть в сундуках... Уйди, Клитинья,— окончила мать Голендуха и, прикрыв полной рукой ветхие листки, сделала сладчайшее лицо.— А лежат сии подвалы, благодетельница Степанида Ивановна, на нашей монастырской земле, как раз в Свиных Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного, нет, не хотим,— гонимся за небесным: не земного ждем, а небесного жениха...— При этом у матери Голендухи глаза укатились под лоб, рот раздвинулся, показав единственный передний зуб, а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха.

— Так продайте же мне Свиные Овражки! — необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула.

Но мать Голендуха печально покачала головой и ничего не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее возможно...

С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былую славу.

Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен плед и, оглядываясь на монастырь, шептала:

— *Корона там, его корона,* сама судьба ведет меня. Ах, Алексей, если бы знал, как я вознесу тебя!

Степаниде Ивановне казалось, что если так внезапно и просто дается в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада, чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря. Можно продать гнилопятский заповедник и всю рожь. Потом скорее сбыть с рук Софью — помеху в такое важное время.

Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, генеральша подумала:

«В сущности не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано — не воротишь, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду,— приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый! Ведь все это для тебя, для твоего счастья».

Чуя дом, кони побежали под горку рысью. Околицу отворил пастух с котомкой на спине, снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сонечка сильно перетрусила, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше.

Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидев, что щеки бледны, похлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал:

— Не робей, Сонюрка, бабушка добрая, ты только молчи да ручку поцелуй.

— Хорошо,— сказала Сонечка улыбаясь.— И потом к вам забегу, расскажу.— И пошла на цыпочках по коридору.

Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, привлекла девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке.

— Зачем ты так туго закручиваешь косы? — сказала генеральша.— Их нужно плести совсем легко.

— Хорошо,— ответила Сонечка, робея.— Я больше не буду.

— Я на тебя не сержусь, глупая, сядь сюда, я покажу, как нужно убирать волосы.

Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепаховым гребнем медленно их расчесывать.

— Вся сила женщины в волосах — в них заключено электричество, и, смотри, никогда не надевай на ночь шелковых чепцов. Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица: тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами, волосы должны пахнуть тобой.

— Бабушка,— прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральши,— я не собираюсь замуж.

Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвила их вокруг лба и перевязала синей лентой.

— Теперь ты красива,— проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову.— Посмотри на меня. Ах, дитя мое! Ты женщина, тебя ждет все та же участь.

Она отошла от туалета и, шурша лиловым платьем, прилегла на диван у окна. Становилось сумеречно.

— Тебе нужно замуж,— сказала вдруг генеральша иным, таинственным голосом.— Ты совсем поспела, как плод.

Сонечка молча наклонила голову, Степанида Ивановна раскрыла и закрыла кружевной веер.

— Я нашла тебе подходящего мужа, он красив. Хорошо иметь красивого мужа. Но нужно иметь каменное сердце...

Вспомнив, должно быть, старое, генеральша вытянулась на диване. Шелк ее платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком слу-

чае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном тормошились воробьи перед сном. Попугай нежным голосом назвал себя по имени. Генеральша сказала:

— Мне писали из Рима,— святой отец занемог. Что?

— Я не знаю,— растерянно пробормотала Сонечка.

— Такое горе для христианского мира. Что?

— Да, бабушка...

— Это возвышенно думать о боге, мы все его дети...

И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера — светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл — «лущить горох».

Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала невпопад.

В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с нарумяненными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась...

— Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу: «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право, не заслужил»; он был очень мил в эту минуту.

«Почему лента? — думала Сонечка.— Почему болен римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце?.. Должно быть, я действительно глупа».

— Что же ты молчишь, ты глуха? — опять иным голосом спросила генеральша.

— Нет, бабушка.

— Ты не ответила — хочешь ли замуж?

— Я постараюсь...

— Что постараюсь?..

— Я не знаю...

— Хорошо, ступай к себе. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья.

Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась — слава богу, обошлось! — и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет.

Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешано всевозможное оружие — коль-

чуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусиновая штора.

Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал:

— А я сейчас думал... Садись-ка рядом... А я сейчас думал и решил: наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана, вон видишь того — кривого.

Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза.

— У ятагана есть достоинства — он сам режет, саблю же надо тянуть при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколешь.

Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту тем и другим оружием.

— Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку.

Он сел опять, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково:

— Помирились с бабушкой?

— Помирились,— ответила Сонечка кротко.

Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться.

— Вот пример: еду я близ крепостной стены, и наскакивает на меня преогромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня — ятаганом, я его — саблей; он — рубить, я — колоть. Что же думаешь — лошадь моя Султанка выручила, ухватила турка зубами за ногу, завизжал он, я в это время и проткнул его в живот.

— Вот ужас! — Сонечка вздрогнула.— Вам не было страшно?

— Страшно не было, но потом все чудилось, что я разрезал лимон.

Алексей Алексеевич, удовлетворенный, что исчерпал вопрос о саблях, похлопал Сонечкины руки.

— Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили. Сватала она тебя?

Глаза Сонечки испуганно раскрылись.

— Вы серьезно, дедушка? Но я не знаю, мне не хочется замуж.

Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая:

— Ты права, деточка, для тебя это очень серьезный шаг. И в этом и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывало, она так же... Вспоминаешь и думаешь,— было нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как венчались?.. В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковка дрожала,— такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир, а вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват, Степан Налымов — тучный был старик,— стал, по обычаю, на запятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе, без шапки.

Алексей Алексеевич долго еще улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой.

— Тогда казалось — конца-края не хватит счастью,— ожидалось замечательное что-то в жизни. А жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь? Книгу возьмешь — ну что, думаешь, я в ней прочту нового,— все равно помирать надо.

— Что вы, дедушка! — воскликнула Сонечка жалобно.— В какой вы меланхолии.

— В меланхолии, в меланхолии,— ты права. Делом мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Так нет же, Сонюрка, попляшу я на твоей свадьбе. Меланхолия у меня от сумерек. А мы ее побоку. Слушай, что бабушка-то придумала!

И он рассказал про план Степаниды Ивановны и про письмо.

— Понравится тебе Смольков — бери его в мужья, а не понравится — другого сыщем...

Сонечка ничего не сказала, только руки ее похолодели. Она представила Смолькова своим всегдашним героем...

В дверь осторожно стукнули, вошел Афанасий и, доложив, что подан ужин, зажег на письменном столе четыре свечи, соединенные вместе зеленым колпачком.

Ужин благодаря теплому времени был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жеманно облокотясь на кресло.

Два канделябра тихо оплывали от легкого дуновения ночи, и множество бабочек и жучков кружилось у света, падало на белую скатерть.

Генерал тотчас же, как только сел на свое место, засунул салфетку за воротник кителя и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук, Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки.

— Солдаты говорят: в походе и жук — мясо. А ты, Степанида Ивановна, ничего не ешь?

Генеральша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие ее губы.

— Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел,— проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затенила ладонью лицо от света...

— Что же такое случилось?

— Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство...

Генерал выронил вилку, открыл рот. Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая.

— Откуда же? — спросил, наконец, Алексей Алексеевич.— Откуда же? Разве кто-нибудь умер?

— Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад гетмана Мазепы.

Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна все-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному себе слову рассказала о кладе все, что слышала и видела в монастыре...

— Ты понимаешь теперь, Алексей,—*я должна* купить Свиные Овражки.

— Но это безумие,— воскликнул генерал,— покупать никому не нужные Овражки!

— Это безумие так отвечать! — крикнула генеральша.

— Что? — спросил генерал, начиная хмуриться, но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил

прибавить:— Я понимаю,— ты пошутила, не будем ссориться...

— Я ничуть не шучу,— генеральша стукнула кулачком,— я должна иметь через две недели деньги для покупки. Ах, я знаю,— ты хочешь сделать меня нищей. Мало всех огорчений, которые ты мне доставил, ты вырываешь последнюю надежду.

Генерал начал пыхтеть, надуваться; быть бы ссоре, но Афанасий, почтительно наклонясь над Степанидой Ивановной, выждал многоточие в разговоре и сказал:

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, все верно, как вы изволите говорить...

— Что, как ты смеешь! — закричал генерал.— Пошел вон!..

— Оставь его, Алексей. Продолжай, Афанасий...

— Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на Свиных Овражках монеты. Изволите посмотреть.

Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский злотый и подал генеральше.

— Вот видишь, я всегда права! — воскликнула Степанида Ивановна.— Посмотри — тысяча семьсот третьего года. Спасибо, Афанасий.

Генерал сказал:

— Да, старинная. Странно!

Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать — «залущила горох». Передернула плечиками. «Ах, здесь сыро, на этом балконе!» И выпорхнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щек: «Ерунда!» — и швырнул монету в сад.

Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в свое изображение на изогнутой меди: подняла голову — и лоб ее вырос, сверху приставилась вторая голова; опустила — щеки раздались вширь, лицо сплющилось.

— Никакого клада нет, одна, черт знает, глупость! — закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись.— А денег уйдет — фить! А попробуй я не дать денег — все перевернет, как Мамай!

Чертыхнувшись, генерал лягнул стул и ушел попытаться разговорить Степаниду Ивановну, пока она еще не окрепла в своем решении.

Сонечка долго сидела одна, глядя на зелененьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившего ногу. Вздохнула, задула один из канделябров и вышла в темный сад.

В ее голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя не доступные ее разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, ни шелеста, только — шорох шагов по песку. Сквозь черную листву просвечивали звезды на безлунном небе. От запруженной реки Гнилопяты стлался по траве еле видный туман...

«Вот идет,— думала Сонечка,— девушка в темноте; на ней белое платье; в саду таинственно и тихо; у девушки опущены руки, и никого нет кругом; она одинока. Где же ее друг? Он не слышит! Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резедой!»

Сонечка действительно села, смахнув с лица и с шеи прильнувшую паутину...

«Ночной холодок пробегает по спине; девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что *он* уже близко; *он* в шляпе, надвинутой на глаза. *Его* шаги близко... В самом деле, кто-то идет!» — испугалась Сонечка и прислушалась: от пруда по аллее кто-то шел, мягко ступая на всю ногу.

Шаги приближались. Испуганнее билось Сонечкино сердце, но в темноте нельзя было рассмотреть идущего.

Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановясь:

— Во имя господа Иисуса Христа дозвольте женщине бесприютной ночь провести.

— Пожалуйста,— отвечала Сонечка, успокаиваясь.— Вы кто такая?

— А Павлина,— как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе.

— Вы на богомолье идете?

Павлина ответила не сразу,— протянула усталым, равнодушным голосом:

— Куда нам богу молиться, не сподобилась. Брожу все. А вы кто будете,— барышня?

— Барышня...

— Степаниде Ивановне внучка?

— Вы пойдите на кухню, вас покормят...

— Пойду, пойду. Спаси вас господь...

Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна ее обмотанная шалью огромная голова.

Сонечке было неловко сидеть молча, она встала, но Павлина вдруг подняла руку и кликушечьим высоким голосом заговорила нараспев:

— Чую дому сему великий достаток и веселье. Понаедут человеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слезы прольет, да вспомянется слово мое, аминь...

Сказав «аминь», поклонилась Павлина поясным поклоном и молча пропала в темноте; хрустнули кусты, затихли мягкие шаги.

Так в дому Степаниды Ивановны появился новый человек, решительно повлиявший на судьбу дальнейших событий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера.

Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилась какая-то, помимо обычного, неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту,— во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон.

В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в стакане.

«Вспомнить бы по порядку,— думал Николай Николаевич.— Встал я, надел коричневый костюм и этот галстук с горошком, поехал завтракать, нет,— сначала

поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж, нет, потом с визитом... Как же я в пиджаке с визитом поехал?.. Ах, да, к княгине... Вот что!..»

В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго, потом позвал слабым голосом (до звонка трудно было дотянуть руку):

— Тит!

Никто не ответил... Николай Николаевич, пошарив, нашел портсигар, спички и закурил. Табачный дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил все: как вчера, после годовой разлуки, встретил Муньку Ва́рвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось,— не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в «Самарканде» ужинали с цыганами; как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то «батюшки́, матушки́»; как на столе лежали Мунькины толстые ноги и так далее, и так далее... Цыгане, шампанское, Мунькины духи... Даже сейчас ими пахли руки... Но скверное случилось после, когда в два часа возвращались на автомобиле: на углу Кирочной поравнялась с ними карета, из окна выглянула сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что... фу!.. фу!..

Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул:

— Тит, осел!

Вошел мрачный мальчик-грум, по имени Тит, отдернул, звеня кольцами, штору, и дневной свет залил небольшую низкую комнату, кровать из карельской березы и желтое, длинное, измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками.

Николай Николаевич зажмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушел и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной рюмке.

— Вчера я очень напился, Тит?

— Обыкновенно,— отвечал Тит, глядя в сторону.

— Все-таки сильнее, чем всегда?

— Пожалуй, сильнее.

— Знаешь, Тит, сколько вчера я выпил? — И Николай Николаевич принялся мечтательно перечислять сорта и марки выпитых им вчера вин.

— Вставать надо,— перебил Тит.— Французик сейчас придет.

— Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком.

— Ладно уж...

— Дурак!..

Тит помолчал.

— Рубль тридцать копеек всего осталось вашего капиталу,— сказал он,— больше нет! — И, наконец, посмотрел на барина.— Так-то.

Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать... Придется у Лизы просить или у дяди... Бросив окурок на поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые, в рыжих волосах, ноги.

— Тит, одень.

Тит надел барину гимнастическое трико на все тело, затянул живот ремнем и, поправляя кровать, сказал:

— Сегодня эта поутру приходила, толстогубая-то ваша, прошлогодняя.

— Ну! — воскликнул Николай Николаевич, с испугу садясь опять.— Что же ты?

— Ну, не пустил. Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу.

Смольков долго молчал, потом сказал уныло:

— Она так и сделает... Эх, Тит!

— Портной прибегал, я прогнал! Да еще этот вертлявый насчет векселя...

В прихожей позвонили. Тит пошел отпирать.

Плохо начинался сегодняшний день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза.

Княгиня Лиза — троюродная Николаю Николаевичу тетка — являлась главной его опорой в жизни. В мини-

стерстве иностранных дел жалованье было ничтожное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку — диванами, по сорока рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фолиантов сколько туда влезет. Но основой все-таки была княгиня Лиза.

Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснении чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви.

Тогда завязалась у нее со Степанидой Ивановной — в то время ярой спириткой — переписка, в которой княгиня не открыла ни имени Смолькова, ни даже земного его происхождения, но уверяла, что смущает ее некто, имя которому Эдип...

Имя это Степаниде Ивановне показалось странным, и она проверила его спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же — Един. Степанида Ивановна ответила княгине письмом, в котором просила Лизу остерегаться, так как Един и Эдип — не есть ли одно из имен Люцифера?

Странно было это имя и для Николая Николаевича, забывшего давно лицейский курс мифологии, но во время свиданий он все же стал называть себя Дипой, так же и подписывался в любовных записочках.

Ревновала княгиня Лиза своего любовника ужасно: не только не позволяла думать ни о ком, кроме себя, но, когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. Выходило, что у него — Смолькова — ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа, и то не его.

Поэтому, вспоминая вчерашнюю встречу, морщился Николай Николаевич, мотал головой и повторял:

— Плохо, очень скверно.

В это время вошел профессор бокса — маленький француз m-r Loustaleau — и, сделав приветствие рукой, лягнул жирной ножкой: «Начнем!»

Николай Николаевич потянулся, зевая надел толстые перчатки и ткнул француза в лицо, на что тот ска-

зал: «Очень хорошо!» — и велел присесть три раза. Потом Смольков колотил кожаный шар, который отскакивая, пребольно ударял по голове; француз показал, как нужно лягать в живот, и Николай Николаевич лягал Лустало, дверь, позвал Тита и лягал Тита.

Наконец, взмокнув так, что щеки порозовели, сел он на кровать, отдуваясь, и Тит растер его тело мохнатым полотенцем. Француз, попросив денег, ушел. Тит подал умыванье, свежее белье, выглаженный костюм, галстуки, и Николай Николаевич, одетый, бодрый и почти веселый, вышел на подъезд. Швейцар подал письмо. Он узнал почерк княгини Лизы и, болезненно поморщившись, сунул письмо в карман.

Месячный извозчик на сером рысаке понес Николая Николаевича по Галерной, повернул направо вдоль Гвардейского экипажа и налево на Морскую, где, не спрашивая, остановился около парикмахерской.

Дома Николай Николаевич не причесывался, предоставляя делать это ловким рукам парикмахера — Жана, родом из Турции, имеющего сто двадцать секретов краски для волос. Жан во время работы рассказывал свежие новости, те, что прочел в газете, и те, что сообщали утренние посетители... Парикмахера этого Николай Николаевич звал «мой журнал» — и давал рубль на чай, сам иногда занимая у него небольшие суммы, как думал сделать и сегодня.

— Сегодня князь Тугушев заезжали, подстригали бакенбарды,— сообщил парикмахер.— Об вас спрашивали,— он тонко улыбнулся.— Вчера князь тоже в «Самарканде» был.

Николай Николаевич обернулся к нему и нахмурился, но, вспомнив, что нужно перехватить денег, спросил беспечно:

— Ну что ж из этого?

— Много князь смеялись, говорили, что Варвар опять в ход пошла.

«Тугушев не преминет доложить обо всем Лизе, черт!» — подумал Николай Николаевич и завертелся на стуле.

Парикмахер, окончив туалет, сказал: «merci!» — и крикнул «мальшик!» бородатому человеку, стоявшему

у дверей с метелкой... Расплатившись и дав рубль на чай, Николай Николаевич, уже одетый, поманил парикмахера пальцем в угол:

— Понимаете, мой друг, ужасно глупо, забыл деньги дома. Что?

Парикмахер сделал серьезное лицо, быстро сунул Николаю Николаевичу двадцать пять рублей, расшаркался и сам растворил дверь.

«Дурак,— подумал Николай Николаевич.— Завтра же ему отдам весь долг». Садясь на извозчика, он вскрыл письмо от княгини Лизы.

«M-r Smolkoff,— писала княгиня,— очень прошу Вас быть у меня сегодня между тремя и четырьмя. Княгиня Тугушева».

«Начинается,— подумал Николай Николаевич,— о господи!»

— Дмитрий, на Литейный к князю!

Князь и княгиня Тугушевы занимали вдвоем двухэтажный особняк с таким количеством комнат, зал и галерей, что было необходимо приобрести особые привычки, чтобы наполнить собою пустой дом.

Поэтому у князя было пять кабинетов: в одном он принимал, в другом писал мемуары, в третьем ничего не делал, а два остальных были приготовлены на случай, если князь получит министерский портфель. Но правительство, к удивлению Тугушевых, не спешило дать ему портфеля.

Княгиня Лиза из всех огромных и пустых комнат особенно любила в глубине дома темный закоулок, где, входя, испытывала всегда некоторый страх.

Комната эта соединялась с остальным домом через узкий коридорчик и потайную дверь. Говорили, что там, лет сто назад, один гвардейский офицер, проникнув через тайник, убил старуху — владелицу дома — и ушел, никем не замеченный. Про эту старуху будто бы написали целую историю под названием «Пиковая дама», но княгиня брезговала русской литературой и не читала повести. Комната была обита кожей, уставлена старыми диванами и единственным окном из цветных стекол выходила в глухую стену.

В полумраке, никем не слышимая, принимала здесь княгиня Лиза своего любовника и занималась спиритизмом.

Ливрейный лакей доложил Смолькову, что княгиня в приемной, и пошел вперед, распахивая двери. Николай Николаевич бросил в глаз монокль, отличающий его как молодого дипломата, сделал скучающее лицо и, втайне довольный, что объяснению помешают гости, вошел в зал, описывая букву S, как человек светский, воспитанный и желающий нравиться.

В глубине зала на невысоком помосте, покрытом сукном, сидели трое. Посредине — фрейлина и кавалерственная дама графиня Арчеева-Ульрихстам, родная сестра княгини Лизы, налево сидел князь Тугушев, слегка раскрыв рот и опустив чайного цвета длинные усы, направо, в низком кресле, княгиня Лиза восторженно глядела на сестру.

Все трое громкими голосами говорили о политике. Графиня Арчеева-Ульрихстам, очень толстая дама, глядя в лорнет, произносила очень громко:

— Я рекомендую *служить* царю-батюшке. Тот, кто не служит, есть враг своего отечества...

— Я согласен, надо служить и служить,— так же громко отвечал князь.— Но я спрашиваю — разве нельзя не служить, но быть полезным... Например, музыкант? — И князь раскрыл рот.

— Музыкант увеселяет общество, но не служит; кроме того, музыкант — артист, но дворянин не может быть артистом.

— Я бы мог служить,— сказал князь,— у меня есть государственный план, он таков: сначала нужно дать плетку, а потом реформу. Так поступил Петр Первый.

Столь торжественные и странные приемы князь и княгиня устраивали графине каждый раз, когда она заезжала на больших своих рысаках на несколько минут к сестре. Князю нужно было ее влияние, чтобы получить портфель или по крайней мере концессию на ловлю котиков в Тихом океане. На котиков он и намекал, отрицая службу, и жаловался, что русских обкрадывают на Дальнем Востоке. Графиня поняла и указала на входящего Николая Николаевича, как на племян-

ника Ртищева, в руках которого было нужное князю дело.

— Котики, котики, графиня,— воскликнул Николай Николаевич, кланяясь,— эти животные стоят мне много крови.

Графиня поднялась.

— Ты уходишь! — жалобно воскликнула Лиза.— Приезжай, сестра, ты знаешь, как ты нам дорога.

И, привстав, она вся изогнулась, голову склонила набок и, словно в забытьи, лепетала слова, прижимая к себе руку графини и отталкивая...

Графиня освободилась от сестры и вышла, сопровождаемая князем. Княгиня Лиза словно без сил опустилась в кресло, закрыла рукой глаза и после молчания простонала:

— Развратник!..

— Ради бога, Лиза,— в тоске пролепетал Николай Николаевич.

— Развратник, который обманывает на каждом шагу, ничтожный человек.

Но в это время вернулся князь, морща узкий свой лоб.

— У графини государственный ум,— сказал он.— Это дипломат и деятель. Я всегда был в ней уверен.

— Ах,— проговорила княгиня,— я ее обожаю...

— Да, m-r Смольков,— продолжал князь,— я все забываю, как называется эта проволочка, после которой я войду в свои права... Ну, вот эта — с котиками. Я решил энергично приняться за котиков.

Опустив голову, он заморгал светлыми ресницами. Николай Николаевич стал объяснять дело.

— Николай Николаевич, я вас жду,— холодно сказала княгиня и вышла, кривляясь на ходу всем телом так, что едва не споткнулась о ковер. Выйдя за дверь, она схватилась рукой за грудь и прошептала:— Боже, дай мне силы перенести еще и этот удар! — понюхала кружевной платочек, надушенный густыми духами, вынула письмо Степаниды Ивановны о Смолькове и, стараясь не шуметь платьем, поспешно прошла через среднюю залу и зимний сад в темную комнату,— оставила приотворенной за собою дверь в красный коридорчик.

Волнение и гнев княгини происходили от двух причин: письма Степаниды Ивановны и вчерашней встречи.

Вчера, возвращаясь домой, она встретила Николая Николаевича с неприличной женщиной, у которой было лицо каторжанки,— ехали они в красном автомобиле. Княгиня рассердилась так, что не могла дышать, но потом цвет автомобиля навел ее на мысль, что не замешан ли тут один из злых духов, часто путавший ее во время спиритических сеансов: дух, очевидно, ревновал и, приняв личину того, кого люди называли Смольковым, захотел поссорить его с княгиней. Но сегодняшние рассказы князя о «Самарканде» и еще письмо Степаниды Ивановны убедили ее, что на автомобиле ехал Николай Николаевич, что каторжница — его любовница и что сам Смольков не Эдип, а ничтожный обманщик, человек, как все: из мяса и костей, и притом развратник.

— Пусть женится,— шептала княгиня, десятый раз перечитывая письмо Степаниды Ивановны,— пусть плодит детей, обыкновенный, жалкий человек.

Услышав поспешные шаги Смолькова, она подняла молитвенно глаза и не пошевелилась, когда он вошел.

— Помолись о моем грешке,— прошептал Николай Николаевич, шаловливо присев на диван.

Лиза отодвинулась.

— Прочтите,— сказала она, подавая письмо.

Он сделал вид, что не замечает ее холодного тона, прочел письмо и засмеялся:

— Они хотят женить меня на этой Репьевой. Если бы они знали, Лиза...

— Вы женитесь.

— Я?.. Но я не собирался...

— Вы соберетесь, мой друг...

— Лиза, почему ты холодна?..— Николай Николаевич надул губы, сделав вид шаловливого ребенка.— Не шути так, мне больно за нашу любовь...

— Нашей любви больше нет, мой друг...

Бледные щеки княгини порозовели, серые ее глаза подернулись влагой, и молодое еще в сумраке комнаты лицо, с неуловимым очертанием овала, осветилось словно изнутри...

Николай Николаевич в испуге отодвинулся.

— Грубые люди,— проговорила княгиня печально,— что им нужно — кусок хлеба и крепкий сон. Живите, я не из вашей породы.

«За что ты меня лишаешь всего?» — хотел сказать Николай Николаевич, но вместо этого сделал привычную при их свиданиях надутую гримасу и прошептал:

— Поцелуй Дипа...

Княгиня покачала головой.

— В моем поцелуе смертельный яд, а вам нужно жить... Встаньте! — воскликнула она, так как Николай Николаевич присел на ковер у ее ног.

— Лиза, я пошалил, прости...

— Я запрещаю,— шептала княгиня Лиза и, заплакав, откинулась назад, скользя руками по коже дивана...

Когда затем Николай Николаевич хотел подняться, Лиза удержала его голову в своих ладонях, нежно поцеловала в глаза и шепнула сквозь слезы:

— Милый мой мальчик, отдаю тебя чужим людям, так надо. Прощай!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Николай Николаевич, полагая, что Лиза простила ему грех, жестоко ошибся: княгиня не только не простила, но со странным упрямством настояла, чтобы Смольков тотчас ушел и более не возвращался,— словно несколько минут слабости только утвердили ее решение разорвать связь.

Отстранив Смолькова, княгиня подошла к потайной двери.

— Вы забыли запереть дверь, мой друг,— дрогнувшим голосом сказала она.— Нас могли слышать.

И она почти побежала вперед. Близ входа в оранжерею сидел князь, глядя на пол, и вяло трогал себя за длинные усы.

— Я показывала нашему другу комнату, где была убита старая графиня,— очень громко, повышенно проговорила Лиза.

Князь посмотрел на нее, на Николая Николаевича, но не в глаза, а пониже, и ничего не сказал и опять стал трогать усы холеными ногтями.

— Я еду сейчас к дяде,— сказал Николай Николаевич.— Я все узнаю относительно котиков и постараюсь устроить вам, князь, это дело. До свиданья. Княгиня, я ухожу, до свиданья...

Николай Николаевич ушел и, садясь на извозчика, подумал: «Вышвырнула, как котенка, дура мистическая».

— Эй, ты,— крикнул он кучеру,— на Итальянскую к Ртищеву.

Иван Семенович Ртищев, сановник, дородный, преклонных уже лет человек, похожий лицом на льва, сидя в розовом нижнем белье в вольтеровском кресле у пылающего камина, диктовал секретарю свои мемуары.

Занятие это было ответственное и тяжелое, так как, по мнению Ртищева, его мемуары должны были произвести впечатление землетрясения в дипломатическом мире. В мемуарах все было на острие. Острием был сам Иван Семенович, прошедший в свое время стаж от секретаря посольства до посланника. Европа была им изучена от дворцов до спален уличных девчонок. Но, несмотря на катастрофическую ответственность и острие, мемуары Ивана Семеновича сильно напоминали приключения Казановы, чему он весьма противился. Он даже отдал распоряжение секретарю — останавливать его каждый раз, когда он начнет сбиваться.

Иван Семенович запустил пальцы в бакенбарды, седые и еще роскошные, которые хорошо помнила Европа, и, покачивая туфлей в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом:

— ...Дефевр передал запечатанный конверт барону Р...у. В тот же день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время ее приближенной, ее доверенной, ее другом была девица Ламот. Стоило пересечь океан, чтобы взглянуть на купающуюся Ламот.

Секретарь кашлянул. Ртищев, сердито покосившись на него, продолжал вдохновенно:

— Грудь девицы Ламот напоминала два яблока. Точнее — две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы Ламот заставила корсет того времени опуститься до талии.

— Иван Семенович,— сказал секретарь,— быть может, это мы опустим.

— Вы болван! — сказал Ртищев.— Грудь девицы Ламот стоила нам Севастополя... Итак...

В это время вошел Смольков. Иван Семенович повернулся к нему всем грузным телом в кресле и глядел круглыми глазами. Смольков стал спиною к камину, раздвинул полы сюртука, чтобы согреть зад. Но Иван Семенович эти штуки с согреванием зада понимал насквозь.

— Ты зачем ко мне пришел? — спросил он, постукивая пальцем по креслу.

— По делу о котиках, дядя. Князь Тугушев просил меня навести справки. Он, кажется, не прочь сам взять концессию.

— Ты сколько у него взял?

Николай Николаевич поморщился. Иван Семенович сказал:

— Отойди от огня, у тебя зад дымится. Этому болвану Тугушеву скажи, что он болван. И денег я тебе не дам.

Николай Николаевич оглянулся на секретаря, пожал плечами, затем стал смотреть на свои башмаки.

— Дядюшка, вы сами не раз бывали в подобных обстоятельствах.

— Что?

— Я говорю, чертовски скучно — постоянное безденежье. Я чертовски ломаю голову. Весь расчет был перехватить у вас — до пятницы. Если нет — то чертовски...

— Хорошо,— сказал Иван Семенович и сейчас же протянул руку, чтобы племянник не кинулся к нему обнимать.— Хорошо. У тебя будут деньги. Я тебя женю.

— Дядюшка, я чертовски...

— Молчи. Я не могу содержать тебя и твоих любовниц. Мой бюджет шатается от твоих долгов. Я думал

о тебе все это время. Черт возьми, у меня третий день изжога от этих забот. Ты должен жениться.

— Но я не хочу.

— Молчать!

Иван Семенович поднялся во весь огромный рост и блестяще развил мысль о предстоящей женитьбе Николая Николаевича, о всех преимуществах женатого человека. Говоря, он подталкивал племянника слегка к двери, затем обнял, больно прижав его нос, и Николай Николаевич очутился в прихожей.

Николай Николаевич стоял с минуту ошеломленный. Проворчал: «Вывернулся, старый мошенник!» Медленно сошел вниз, в голове — мутно, ноги подкашивались, и велел кучеру ехать, вообще — ехать! Черт!

Николай Николаевич все же перехватил в этот день небольшую сумму. Но ресторан поглотил и сумму и остаток энергии. Кучер шагом вез Николая Николаевича домой, на Галерную.

Дом на Галерной был старый, с темной прихожей, со скрипучим паркетом, со старомодной потертой мебелью. Большая часть комнат была закрыта.

Семья Смольковых, издавна жившая в этом мрачном дому, теперь частью вымерла, частью разбрелась по свету. И все эти ветхие диваны, темные картины, скрипучие полы наводили Николая Николаевича на грустные размышления. Дом очень походил на усыпальницу.

Николай Николаевич и сам понимал, что нужна бы ему обстановка, где не стыдно принять светскую женщину. Однажды в светлую минуту он заказал даже эскиз кокетливой мебели в модном магазине, но не было денег. Денег, денег, денег, все равно сколько, все равно откуда — только бы жить беспечно, а то хоть пулю в висок!

Так раздумывал Николай Николаевич, мрачно вылезая из пролетки у подъезда своего дома. Тит отомкнул дверь, молча принял трость, пальто и цилиндр и вдруг усмехнулся углом рта...

— Что? — спросил Николай Николаевич, прошел в столовую и сел на стул.— Был кто-нибудь?..

— Что был! — ответил Тит насмешливо.— И сейчас в спальне сидит!

— Кто? — Николай Николаевич испуганно приподнялся.— Она?

Тит кивнул головой. Николай Николаевич осторожно отодвинул стул и, шепча: «Скажи ей, что я уехал надолго», на цыпочках побежал в переднюю.

Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в шляпе, с зонтом в руке.

— Ах, ты здесь? — воскликнул Николай Николаевич сладким голосом.— Как мило!

Густые брови Муньки Варвара, изломанные у висков, сошлись, ноздри короткого и тупого носа раздулись, и челюсть выдвинулась вперед, как у волкодава.

— Здесь! — протянула Мунька, и грудь ее колыхнулась.— И сундук мой здесь, жить приехала...

Николай Николаевич подвинулся к Титу и вдруг закричал:

— Вон из моего дома! Тит, гони ее в шею...

С прошлого еще года привыкла Мунька к характеру Смолькова, поэтому сейчас ни капли не испугалась, подняла зонт и ударила китайскую вазу, которая сейчас же разбилась...

— Не то еще будет, голубчик,— и Мунька проткнула зонтом картину... Затем разбила абажур, опрокинула ногою стол и остановилась, сверкая глазами.— Что? Видел?

Николай Николаевич во все время этих действий присмирел и сел на стул у двери. Тит подбирал осколки.

Характер у Муньки был решительный, такие сцены в прошлом году повторялись нередко, и Николай Николаевич, оберегая себя, обычно затихал, садился на стул и раскрывал зонт, уверяя, что идет дождик. На Муньку, как на первобытного человека, действовало это умиротворяюще,— она принималась хохотать, взявшись за живот. Но сегодня чувствовала, что Николай Николаевич не совсем в ее власти.

— Слушай,— сказала Мунька,— ты, мозгляк, с другой связался?

Николай Николаевич, не отвечая, топнул ногой.

— Что вы пристаете? — сказал Тит.— Мало вам набезобразничали!

— Я набезобразничала! Да я еще с ним разговариваю.— Она проворно вытащила булавки и швырнула шляпу на стол вместе с зонтом и жакетом.— Идиоты несчастные! Кончено! Остаюсь! — Она поправила волосы и села.

Николай Николаевич громко вздохнул...

— Тит,— сказала Мунька,— принеси сыру, фруктов и бутылку шампанского. Хлеба не забудь...

— Денег нет,— сказал Тит мрачно.

— Честное слово, один рубль остался,— Николай Николаевич радостно подскочил на стуле.

— В таком разе, колбасы купи и водки. Поедим и в кровать...

Тит не двигался. Мунька задышала сильно.

— Сходи, Тит, купи,— поспешно сказал Николай Николаевич.

Тит убежал. Мунька сообщила, что «тело тоскует, пойти корсет снять», и, шаркая башмаками, пошла в спальню. Николай Николаевич, облокотясь на колени и сложа руки ладонями вместе, сидел не шевелясь... Все на свете ополчилось против него. Господи, где же выход? Николай Николаевич одним глазом поглядывал на темную иконку в углу, не совсем уверенный, что бог поможет... «Жениться разве на самом деле? Сонечка Репьева, наверно, глупа, толста, влюбчива,— барышня из провинции. Очень, очень плохо».

Вернулся Тит с колбасой и водкой, вышла Мунька в розовом капоте, который все время запахивала, чтобы мальчишка задаром не глядел на ее прелести, и принялась за еду. Выпивала, крякала, ела колбасу, задрав ногу на колено.

Николай Николаевич глядел на Муньку, и к ненависти его примешивалось странное уважение перед силой девушки и здоровьем... «Жует вкусно и твердо, так что даже щекотно в скулах, и пища, наверно, отлично переваривается в желудке; ляжет в постель и тотчас заснет, жаркая, как печь, и будет видеть глупые сны, а наутро их расскажет... Но все-таки Мунька свинья»,— подумал он.

В это время позвонили в прихожей... Тит побежал отворять и сейчас же вернулся; лицо у него было испуганное и отчаянно любопытное.

— Князь Тугушев! — сказал он вполголоса.

Мунька весело подмигнула. Николай Николаевич кинулся к ней, шипя: «Уйди же, уйди», затем метнулся в прихожую. Мунька проворчала: «Вот еще, у князя глаза не лопнут на меня смотреть, не чужие, слава богу...»

В прихожей, снимая перчатки, стоял князь. Руки он Николаю Николаевичу не подал, а, глядя на вешалку, сказал по-русски: «Мило, очень мило...»

То же самое он пробормотал, войдя в столовую... Николай Николаевич пододвинул стул, князь сел и слегка раскрыл рот...

— Здравствуйте,— обиженно сказала Мунька.— Не узнаете, что ли?

— Ах, это вы, крошка, я узнал. Очень мило! — Князь вынул серебряный портсигар, осторожно, как драгоценность, взял худыми пальцами папироску, но, спохватившись, положил обратно... Затем пробормотал невнятное.

— Что? — крайне предупредительно спросил Смольков, но князь, не глядя на него, показал портсигаром на Муньку.

— Нельзя ли нам одним?

Николай Николаевич сделал испуганно-сердитые глаза. Мунька пожала плечами и ушла в спальню.

— Я принужден...— сказал князь, одутловатые щеки его подпрыгнули, он закрыл глаза.— Одним словом, я все видел и слышал сегодня, я принужден бить вас по лицу.

При этом он слегка поклонился. Николай Николаевич быстро поднялся, застегивая пуговицы, и стал глядеть на перстень на руке князя.

— Но это не все. Я принужден, но я этого не сделаю: я не хочу сплетен. Вы принуждены будете уехать и как можно скорее сделать что-нибудь, жениться, например,— этим вы спасете честь... честь...— Князь заикнулся и встал, все еще не открывая глаз.— Я вам напишу рекомендательное письмо...

Смольков поклонился. Князь открыл глаза, и бледный рот его пополз криво вбок.

— С этими котиками вы тоже мне устройте, услуга за услугу...

Николай Николаевич сделал жест, изображающий нетерпение и бешенство.

— Имею честь. Тит, проводи князя...

Князь боком вышел из комнаты, держа в отставленной руке цилиндр и трость. Николай Николаевич оторвал пуговицу и сказал:

— Сговорились они, что ли, черт возьми! Женись! Превосходно! Назло всем женюсь!

Он присел к столу и, сжимая виски, думал о себе, о княгине Лизе, о князе...

— Ох, да, Мунька,— вспомнил он и пошел в спальню.

Мунька лежала в прозрачной рубашке на кровати и, зевая до слез, рассматривала картинки во французском романе. Николай Николаевич взял книгу и швырнул ее под кровать...

— Ты что? — спросила Мунька.— Князь ушел?

— Пошла вон отсюда! — заорал Николай Николаевич.— Я женюсь!

— Вот дурак,— равнодушно ответила она и повернулась спиной к Смолькову.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По травяным межам к гнилопятскому гумну тянутся, скрипя и колыхаясь, телеги, полные снопов. На гладко убитом току гудит и пылит паровая молотилка. Бабы подхватывают снопы, летящие с телег, разрезают свясла серпами и подают задатчику. У него борода и волосы полны пыли, руки в голицах ходят вправо и влево, вдвигая в хрустящую пасть машины раскинутый полотном хлеб.

Барабан, пожирая колосья, глухо и ровно гудит: заторопится вдруг, когда задатчик, остановившись, отирает рукавом пот и грязь с лица своего, ухает от

поданного вновь и, пережевав, переколотив, бросает в нутро молотилки солому, зерно и пыль.

Соломотряс дребезжит, подпрыгивая, выкидывает солому на убитый ток, девки гонят ее граблями, конный возильщик подхватывает ее доской и рысью едет к новому омету. Зерно бежит на железные грохота, просеивается сквозь сита и сыплется золотыми струйками в мешок. Соединенный вечно бегущим ремнем, попыхивает длинной трубой зеленый локомобиль, на колесах его и на меди блестит августовское солнце... Светит оно и на жеребят, со ржанием бегающих около возов, на пестрые рубахи и платки баб, на запачканные в дегтю шаровары веселых парней и в синие глаза Сонечки, приехавшей с Алексеем Алексеевичем на молотьбу.

Все — запах дегтя и хлебной пыли, заглушенные воем молотилки голоса, окрики и песни знакомы Сонечке давно. Вот подъехал конный возильщик, высокий парень, остановил лошадь и, вынув кисет, свертывает папироску; генерал погрозил ему пальцем: «Я тебя, пожар наделаешь!» Парень спрятал кисет и улыбнулся; лицо у него загорелое, чернобровое, ласковое. Сонечка подошла к нему и взяла вожжи: «Дай-ка, я поеду». Парень опять усмехнулся: «Не справитесь», и хлестнул лошадь, зацепив доской большую кучу свежей соломы. Сонечка стала на доску и взяла парня за ременный поясок. Солома нажала ей колени. Лошадь, влегая в хомут, поволокла и солому, и парня, и Сонечку... Девки смеялись, генерал кричал: «Смотри, не упади!» Когда доехали до омета, парень сказал: «Берегитесь, тут валко»,— и въехал на вороха. Сонечка, не успев соскочить с доски, упала в солому, нечаянно увлекая за собой и парня, но он, хрустнув мускулами, поднялся, как стальной, спросил: «Что, не ушиблись?» — и, посмеиваясь, ушел за лошадью, широко расставляя ноги в синих штанах.

Сонечка осталась лежать в пахучей соломе. Опять подъехал парень и закивал ей головой, как бы говоря: «Как мы давеча-то опрокинулись», и все так же расставлял крепкие ноги, и она увидела, что он был необычайно красив собой, ласковой, о себе не знающей красотой.

Ей показалось, что все это уже было — вороха свет-

ло-желтой соломы, бархатная травка около омета, парень и рыжая лошадь в хомуте. Засвистел локомобиль, призывая рабочих к обеду. Гул молотилки замолк, и явственнее стали человеческие голоса. Народ, подбирая с земли одежду, шел к стану, где курился дымок под чугунным котлом.

Поднялась и Сонечка, оправила волосы и пошла навстречу Алексею Алексеевичу.

— Что же, попробуем каши,— сказал генерал, подмигнув.

Между бочкой с водой и телегой, полной печеного хлеба, сидели в два круга — бабы и мужики. Мужчины — на корточках или подсунув под себя кизяк или одежду — ели степенно,— сначала жижу, слитую с каши и сдобренную конопляным маслом, затем кашу, мятую с салом. Старший, царапая караваем по полушубку, резал хлеб большими ломтями.

Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую,— как овцы. Каши бабы не кушали,— принесли с собой кто кислого молока, кто блинов, кто луковку. Порядка у них не было — тараторили, пересмеивались. Иная — девка — гляделась в круглое зеркальце, обитое жестью, подмазывала на лице,—чтобы не загорать,— белила, ядовитую мазь. Мужики с бабами обедать брезговали.

Генерал и Сонечка влезли на телегу, где стояла бочка с водой, полной инфузорий. Кашевар принес в небольшой чашке каши и два ломтя хлеба, густо посоленные. Сонечка стала искать глазами давешнего парня.

Он сидел на корточках и, держа ложку, медленно жевал,— крепкие желваки двигались на его загорелых скулах.

«Сильный и, наверно, добрый,— подумала Сонечка.— Счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж. Кого он любит? Вон ту, что отвернулась? Вот ту, с зеркальцем, сероглазую?»

Сонечка внезапно встретилась глазами с парнем, усмехнулась и сейчас же покраснела. Он, как и давеча, радостно закивал ей головой: «Хорошо, мол, опрокинулись...» Сонечка откусила от ломтя и нагнулась над чашкой с кашей.

— А вон и бабушка едет за нами,— сказал генерал.— А у меня, знаешь, от каши изжога началась...

Сонечка взглянула на дорогу: оставляя за собой пыльное облако, быстро приближалась коляска с покачивающимся над ней красным зонтиком Степаниды Ивановны.

— Бабушка не одна,— сказала Сонечка,— с ней кто-то в белом.

Генерал, защитив глаза ладонью, всматривался.

После примирения с женой, написав письмо княгине, Алексей Алексеевич, по совести говоря, забыл о предполагающемся приезде Смолькова и обо всем, что должно было за этим последовать. Казалось невероятно, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины, да еще и жениться.

Но теперь, разглядывая длинное и бледное лицо Николая Николаевича, с выдавшейся вперед нижней губой, почувствовал генерал все, что скажет этот жених, все фальшивые, трескучие, петербургские слова, нужные одной только Степаниде Ивановне, и удивлялся: как это так все вышло? И смутился, не отвечая Сонечке на вопрос: кто же едет?..

«Эге,— подумал он,— мы еще посмотрим, как она выйдет за вас замуж... Погоди, Степочка, отбрею я твоего жениха». И генерал, расхрабрясь, сказал:

— По-моему, с ней Смольков...

— Смольков? — И Сонечка вдруг залилась румянцем.

Коляска остановилась. Николай Николаевич, одетый весь в белую фланель, вылез из экипажа и с учтивостью помог вылезть генеральше.

Степанида Ивановна улыбнулась и, тряся головой (что, к ужасу ее, начало делаться при встрече с молодыми людьми), подняла зонтик, ступила на землю и распустила по соломе шлейф. Генерал, подбоченясь, стоял около бочки, ожидая кривляний со стороны генеральши, но она, подойдя со Смольковым, просто представила его. Николай Николаевич выставил перед собой руку лопаткой, кланяясь, как опереточный пейзан. Генерал даже попятился, но генеральша так посмотрела на мужа, что пришлось любезно ответить на поклон.

«Ах ты, черт, вот так — пейзан»,— подумал Алексей Алексеевич. Сонечку кинуло в жар, похолодели руки, она присела, как девчонка,— «макнула свечку», не поднимая глаз. Не подняла она их и тогда, когда Смольков, задержав ее руку в своей, сказал бархатным голосом:

— Как мил на вас деревенский костюм. Вы, должно быть, работали, я помешал. Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду граблить сено.

«Какой у меня деревенский костюм? — растерянно подумала Сонечка.— Что он говорит? Граблить сено? Какое же это сено? — рожь».

Она чуть подняла глаза и увидала сначала пиджак Николая Николаевича, из такой же материи, как ее парадная юбка — фланель в полоску, потом красный галстук с цветочками и булавкой, потом высокий, так что нельзя двигать шеей, накрахмаленный воротник и гладко выбритый подбородок. Выше Сонечка не решилась смотреть и потупилась.

— Очаровательно,— продолжал Смольков.— Работающие крестьяне. Я этого никогда не видал...

— Да! Знаете ли, работают,— басом вдруг сказал генерал и начал было выкатывать глаза на Смолькова, но Степанида Ивановна поспешно проговорила:

— Господа, едем, у нас сегодня ботвинья. Но будете ли вы кушать ботвинью, m-r Смольков?.. Ах, Петербург! Ах, большой свет!.. А мы здесь совсем опростились... Мы чернозем... Не правда ли, что?.. Ах, нужно привыкать, привыкать к простоте.

«Что это с ней? — подумал генерал, подходя к коляске.— Что-то новое. Однако этот ферт развязен».

Смольков и Сонечка сели на переднюю скамью, напротив генерала и генеральши. Коляска покатила по мягкой дороге. На повороте, около омета, Сонечка увидала давешнего парня,— он стоял с вилами и серьезно глядел на удаляющийся экипаж... Она быстро отвернулась, стала рассматривать загорелые свои руки.

«Ручищи исцарапаны, ну и пусть!»

Николай Николаевич, обращаясь ко всем троим, рассказывал, что представлял себе раньше сельское хозяйство сохой, за которой идет мужик, а помещик стоит подле на горке, крестится и молит бога послать дождь.

«Я так и думал. Что?» И он захохотал деревянным смехом.

Генерал задышал было, но генеральша больно нажала ему каблуком на сапог.

После хозяйственного разговора Смольков перескочил на восхищение природой и продекламировал небольшое французское стихотворение. Затем спросил, знает ли генеральша Собакиных, и рассказал множество новостей о Собакиных.

Алексею Алексеевичу очень захотелось спросить про генерала Собакина, но он не хотел раскрывать рта. Смольков же, как нарочно, говорил только о знакомых Собакина и перешел было к анекдотам. Тогда генерал, надвинув огромный козырек фуражки на глаза, воскликнул:

— Сотоварищ мой, генерал Собакин, умер, жаль!

— Что вы, и не думал! — обрадовался Смольков — и рассказал и о Собакине и еще о десяти по крайней мере генералах.

Подъехали к дому, все взошли на крыльцо. Николай Николаевич снял шляпу и, сделав постное лицо, сказал:

— Со свиданьицем, генерал! — и полез троекратно целоваться, чему Алексей Алексеевич был несказанно удивлен, но и на этот раз покорился.

Сегодняшний приезд Смолькова застал Степаниду Ивановну врасплох.

Афанасий встретил Николая Николаевича в одной рубахе — распояской, в сенях мыли полы, а сама генеральша, думая, что приехали из монастыря, вышла на крыльцо в утреннем неглиже.

Словом, ни в чем не удалось выдержать светского тона, который Степанида Ивановна хотела сразу же установить со Смольковым, и, зная, что исправлять ошибки было бы смешно, поспешила представиться опростившейся помещицей. Она прослезилась, когда Николай Николаевич, войдя в дом, стал истово креститься в пустой угол и поклонился в пояс, говоря:

— Я русский человек и люблю все русское.

Поэтому она и повезла немедленно же Смолькова на гумно и всю дорогу говорила о хозяйстве. Николай Николаевич, ожидая найти две старые песочницы, нащупывал теперь подходящий тон, потому что оказалось, в деревне не кланяются друг другу в ноги, не носят на шее образов и не мажут голову коровьим маслом.

Обед еще не был готов. Генеральша, поведя всех в гостиную, начала легкий разговор... Николай Николаевич положил на колено ногу, обхватил ее у щиколотки и сделал множество остроумных замечаний, но, видя, что генерал все еще хмурится, сказал со вздохом:

— Вы меня простите за болтовню, генерал, я болтаю, как ягненок.

— Гм,— сказал Алексей Алексеевич,— пожалуй, болтайте...

Николай Николаевич поднял брови. В это время Афанасий, натянувший нитяные перчатки и серую куртку, доложил: «Кушать подано».

Степанида Ивановна взяла Смолькова под руку и повела в столовую. Стол был накрыт старым серебром и цветами. Генеральша извинилась за простоту. Смольков, прежде чем сесть, размашисто перекрестился.

— Люблю русский обычай.

Сонечка взглянула на генерала, Алексей Алексеевич толкнул ее коленом и вдруг, откинувшись на спинку стула, захохотал, тряся животом стол.

— Что, что?—спросила Степанида Ивановна, бледнея, и поспешно обратилась к Смолькову: — У нас простые обычаи, мы смеемся и плачем, когда хотим...

Все же Николай Николаевич насторожился,— очень не понравился ему генеральский смех.

Сонечка еле притрагивалась к еде. Украдкой, но внимательно следила она за всеми переменами Смолькова. То смешным он ей казался, то слишком сложным. И все время она теряла ту легкую нить, по которой сущность одного человека переходит в сердце другого. Генеральша делала сердитые глаза, приказывая разговаривать. Сонечка хотела быть послушной, но не могла преодолеть застенчивости. Николай Николаевич решил пока не запугивать «захолустного птенца» и довольствовался краткими ее ответами. От хорошего вина и еды он пове-

селел и насмешил даже генерала. Степанида Ивановна была в восторге.

После обеда Смольков поцеловал ручку генеральши и вдруг, рассеянно подойдя с портсигаром в руках к Алексею Алексеевичу, воскликнул:

— Теперь после еды и на боковую, генерал?

— Да, уж вы меня извините,— и Алексей Алексеевич, рассердясь, бросил салфетку и ушел...

Генеральша нагнала его в коридоре,— Алексей Алексеевич лениво брел, ведя пальцем по обоям,— и зашептала, дергая его за рукав:

— Ты, кажется, намерен извести меня своими замечаниями!

— Степочка, он дурак,— сказал генерал.— Неужели ты не видишь? Капитальный болван.

— Да, да, он жених Софьи, и прошу тебя в мои дела не вмешиваться. Понял?..

— Понял,— ответил генерал и рассердился.— Делайте, что хотите, только, пожалуйста, чтобы он не лез ко мне со своей рожей целоваться и все там прочее...

Генеральша вернулась в столовую и, взяв Николая Николаевича под руку, повела к себе.

Сонечка осталась стоять у окна, глядя перед собой пустыми глазами.

«Боже, что-то будет?»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Вот мое скромное убежище,— сказала Степанида Ивановна, введя Смолькова в спальню.— Здесь я вспоминаю друзей, гляжу на их портреты, думаю о прошлом...

Она полулегла на канапе, прикрыв платьем ноги. Николай Николаевич оглянул комнату.

На стенах висело множество портретов и миниатюр, среди которых он многих узнал. На шифоньерках и бюро стояли всевозможные шкатулочки и безделушки, трогательные воспоминания. Столы, кресла и диваны были старые, с потемневшей бронзой, хранящие за обивкой засунутое когда-то письмо или платок.

— Все это напоминает кабинет моей покойной матушки,— сказал Николай Николаевич, моргнув ресницами, и склонился к руке генеральши.

— Рассказывайте, рассказывайте,— томно прошептала она,— что вам передала Лиза? Как вы надумали сюда приехать?..

— Я не посмел ослушаться ваших приказаний.

— Значит, вы читали письмо?

— Да.

Генеральша помолчала.

— Это мой друг и собеседник,— вдруг сказала она, показывая на попугая.— Попочка, скажи «здравствуйте». Он спит, бедный... Я очень рада, Николай Николаевич, что здесь вам нравится, я боялась — вы будете скучать. Как вы нашли Sophie?..

— Она очаровательна...

— Правда? Милое дитя и совсем наивна. Ее отец, Илья Леонтьевич, прекрасный воспитатель, и хотя не богат, но дает за дочерью имение по банковской описи в тридцать тысяч.

При этих словах Степанида Ивановна искоса поглядела на Смолькова; он же, заметив ее взгляд, сделал слегка оскорбленное лицо. Генеральша продолжала:

— Я люблю ясность, мой друг. Любовь в шалаше — это для греков, но мы привыкли пользоваться комфортом... Что?

Смольков сделал жест, говорящий: «Увы, мы не греки!» Генеральша приподнялась немного и, положив кончики пальцев на руку Николая Николаевича, взглянула проницательно.

— Мы старые друзья, не правда ли? Будьте со мной откровенны...

— Степанида Ивановна,— воскликнул Смольков глухим голосом,— я приехал просить руки Софьи Ильиничны, но я не уверен...

Генеральша облегченно вздохнула.

— Я так за нее боюсь, она молода, но я люблю вас, милый друг, и верю. Ах, ах! — Она подняла к глазам платочек.— Любите ее, она ангел! Вы не поверите, как женщина чувствительна к ласке, семья — вот ее жизнь, а Соня...

Генеральша уже нюхала соль. Николай Николаевич, тоже растроганный, объяснял, как страстно жаждет он домашнего очага...

В это время Люба принесла кофе и, нагнувшись, прошептала что-то Степаниде Ивановне. Генеральша улыбнулась:

— Я хочу показать вам замечательную женщину... Люба, велите ей войти... О том, что мы говорили, пока ни слова, постарайтесь увлечь девушку, а ваше сердце, я уверена, тотчас же будет в плену. Теперь об этой женщине... Ее послал ко мне бог, внезапно, когда я сомневалась во всем... Она появилась ночью, вошла ко мне, поклонилась в ноги и сказала: «Мать, купи Свиные Овражки...» (Я вас посвящу в мое дело...) И представьте, на следующий день приезжает игуменья и предлагает Овражки за десять тысяч. Я немедленно совершила купчую...— В это время дверь поскребли ногтем.— Вот и она. Здравствуй, Павлина. Как ты спала?

Николай Николаевич был крайне изумлен, глядя на просунувшееся в дверь рябое, ухмыляющееся, похожее на спелую тыкву, курносое лицо; затем появилась и вся баба, в теплом платке и в ряске, перепоясанной фартуком. Губы у бабы были такие толстые, словно только что она поела киселя с молоком. Павлина прокралась вдоль стены к Степаниде Ивановне, поцеловала ее ножку и села на ковер.

— Спала я, кормилица моя, как в раю ангелы спят: на одно крылышко лягут, другим покроются, а голову в перышки спрячут,— так и я спала.

После этих слов Павлина уставилась совершенно круглыми глазами на Николая Николаевича.

— Здравствуйте,— сказал он и поглядел на генеральшу, которая, касаясь плеча бабы, спросила:

— Знаешь, кто приехал?

— Жених,— сказала Павлина быстро.— Хватило бы на семерых, а одной достался. Великий муж...

— Откуда вы меня знаете?

— А я всех знаю.

— Она феномен,— сказала генеральша.

— Женись, женись,— продолжала Павлина.— Сон я про тебя видела. Ох, лютой сон! Ох, мать моя, муж

мне предстал, акурат на него схожий, весь огненный, силищи мужской нечеловеческой,— так я с постели и покатилась без памяти.

— Это чертовски странно! — сказал Смольков.

Обрадованная генеральша сделала значительные глаза.

— Она умна — и предвидит многое. Вы ей понравились,— это хороший знак. А теперь идите в сад и разыщите вашу погубительницу.— Когда Смольков был уже у дверей, она громко прошептала: — У него крылья на ногах.

Смольков ушел. Генеральша нагнулась к бабе.

— Ну, что — каков жених, Павлинушка?

— Жеребец, мать моя. Ты не смотри, что он тощий,— в таких жил много.

— Какие ты глупости говоришь! — Генеральша закрыла глаза и принялась смеяться, тряслась всем телом. Вытерла глаза.— Ох, Павлинушка,— только бы женился.

— Женится, лопни глаза. От сладкого еще никто не отказывался. А ты вот что послушай.— Павлина потянула генеральшу за рукав.— Жениха осмотреть надо. Может, он порченый или у него где-нибудь недохватка? Я тебя научу: как ему спать ложиться,— напущу я в его постель блох. Ляжет он. Вскочит. Рубашку с себя сорвет,— тогда ты и гляди. Все увидишь.

Степанида Ивановна взглянула на бабу. Всплеснула руками и долго и много смеялась. У ног ее хихикала Павлина.

Сонечка шла любимой липовой аллеей, добегающей до пруда, и повторяла в уме все слова, сказанные Смольковым. Этот человек страшил ее и привлекал тем, что был совсем непонятен. Словами, движениями, всей внешностью он замутил Сонечкин покой, как камень, брошенный в пруд.

Сонечка дошла до пруда и глядела на тихую воду. На ней плавали листочки ветел, как лодочки, бегали паучки, в глубине плавали головастики,— поднимаясь, касались поверхности щекотным ртом. Летали сцепив-

шиеся коромысла,— сели на камыш, качнулись, опять засверкали — полетели. Из-под ног Сонечки шлепнулась в пруд лягушка,— и пошли круги, колебля листы, паучков и водоросли... Вдруг мыслями ее нечаянно завладел другой образ.

«Конечно, он нечаянно меня толкнул. Хотя чересчур уж смел.— Она начала краснеть, уши ее стали пунцовыми. Она сломала ветку и ударила себя по щекам.— Скверно не он, а я поступила,— конечно, не нужно было ехать на возилке, и потом так неловко упала... Фу, как нехорошо!.. Дался же мне этот парень».

Сонечка бросила веткой в коромысло.

По берегам пруда росли старые серебряные плакучие ветлы, шумливо кидающие ветви свои во время непогоды; теперь они свесили их лениво. Из тени на зацветшую воду выплывал выводок уток, оставляя позади борозды, словно скользя в зыбком мху. Грачи неумолчно кричали над гнездами.

«А этот здесь ничего не поймет,— думала Сонечка.— Граблить сено. Никогда ему не скажу, как люблю все это.— Она обвела глазами пруд, мостки, плакучие ветлы.— Может быть, он увидит все это и станет *моим?* Нет, у *моего* черные глаза, черные кудри, он много думает, на него можно молиться. И вдруг взять и сказать: я вас не люблю, выйду за того, кого люблю».

Сонечка вздохнула:

«Господи, до чего я глупа! Смольков даже и не подумает делать предложение. Вот, скажет, провинциальная барышня, только глаза таращит...»

Сонечка заложила руки за спину (привычку эту переняла от отца) и пошла назад по аллее. Мысли ее были противоречивые, и все время три человека — герой мечтаний, сегодняшний красавец парень и Николай Николаевич — вставали перед глазами, то порознь, то сливаясь в одного, нависающего над ее фантазией.

Но о Смолькове проще было думать — он был дозволен и доступен. Понемногу с остальных перенесла Сонечка все идеальные качества на Смолькова. И когда живой Николай Николаевич явился в пятнистой от солнца аллее и, морща губы, приподнял соломенную шляпочку, она не узнала его и остановилась, затрепетав ресницами.

— Здесь очаровательно,— сказал Смольков.— Мне давно хотелось пожить в старом дворянском гнезде,— очаровательно!

«Такие парниковые огурцы бывают»,— подумала Сонечка.

Смольков дотронулся до ее руки, заглянул в глаза и что-то говорил слегка надтреснутым, точно непроспанным голосом,— до Сонечки доходили лишь отдельные слова, которым она придавала *свое* значение...

— Я помешал вашей прогулке, Софья Ильинична, вы мечтали?..

«Как это мне можно помешать? — дивилась она.— Да отвечай же ему, дура!..»

— Я всю жизнь мечтал ходить по парку рядом с любимым существом, но жизнь, Софья Ильинична, тяжелая вещь...

«Так вот что, он несчастный».— И сердце Сонечки вдруг стало мягче.

Они дошли до пруда.

— Какая роскошь! — воскликнул Смольков.— Здесь есть лодка? Мы покатаемся, и вы споете? Да?

— Нет,— ответила Сонечка,— лодка есть, только гнилая.

— Жаль,— Смольков сел на пень, прищурился и охватил колено.— Я хотел, чтобы вы были со мной откровенны...

— Зачем?

Смольков сказал: «Гм!» — и слегка покачивался на пне, щурился на сияющую воду. У него были изумительные шелковые носки, изумительная рубашка, изумительный галстук. Глаза, конечно, не те, и нос — слишком велик... Но все же... Сонечка даже приоткрыла ротик — так внимательно вглядывалась. Вдруг Смольков чихнул, поднял коленку и добродушно засмеялся.

— А вы не глядите на солнышко,— сказала Сонечка,— а то опять чихнете...

— Великолепно! Я буду глядеть на вас. Можно? Вы будете мое маленькое солнце, даже лучше солнца, потому что я не буду чихать. Что? — Он, смеясь, взял ее руку...

«К чему ведет?.. Знаю, к чему ведет,— отчаянно ста-

раясь не краснеть, думала Сонечка.— Сейчас скажет: прошу вашей руки... Господи, помоги...»

— Софья Ильинична, мне нужно маленькое солнце, нежная, девичья привязанность...

«Началось... Сейчас убегу...»

— Софья Ильинична, прикосновение невинной руки целит мою измученную душу. Я одинок, я устал... Я много жил, но люди оставили во мне лишь горе... К чему я стремлюсь: чистые взгляды, невинные речи... Природа... Голубые, голубые, ваши глаза... Серебристый смех... боже, боже... Я знаю — между нами пропасть... Вы никогда не сможете мне дать эту милостыню — девичью дружбу...

Все же его пальцы все выше пробирались по ее руке. У Сонечки звенело в голове. Она несколько раз глотнула. Ничего уже не было видно — ни пруда, ни ветел, ни ленивых белых облаков за рощей... Она упорно глядела на красные искорки на галстуке Николая Николаевича... И так ничего ему не ответила на все слова,— в жизни еще не было у нее такой застенчивости... Когда Николай Николаевич отпустил, наконец, ее руку, она стала пятиться и ушла не сразу, и ушла не так, вообще, как люди ходят, а как-то даже подскакивая... Николай Николаевич сдвинул шляпу на затылок, закурил папироску. «Глупа на редкость,— подумал он,— глупа, но мила, очень, очень мила. Гм... Но — глупа... И чертовски мила».

Сонечка пришла к себе, упала на постель, обхватила подушку и лежала долго, как мертвая. Затем быстро села на кровати, запустила пальцы в волосы — все, что произошло у пруда, перебрала в памяти,— точно ножом себя царапала,— когда же вспомнила, как уходила вприпрыжку, легла опять ничком и заплакала, кусая губы.

Когда Сонечка наревелась и в соленых слезах выплакала острый стыд и свою застенчивость, когда полегче стало ненавидеть себя и Смолькова,— овладело ею мрачное настроение.

«Про любовь в романах пишут, да еще такие дуры, как я, о ней мечтают. А в жизни никакой любви нет. Замуж выходят потому, что нужно, или потому, что ува-

жают человека. Любовь приходит после брака в виде преданности мужу. Да, да. Любовь до брака — вредная страсть. Поменьше о себе думай, очень спесива. Можешь дать человеку счастье в жизни — вот тебе и награда. Все равно — под холмик ляжешь, в землю, под деревцо... Не очень-то распрыгивайся, мать моя...»

Мрачно прошел для Сонечки этот день. Она сходила к полднику и к ужину. Старалась не встречаться глазами со Смольковым. Он был весел, острил, рассказывал анекдоты из военной жизни. Генеральша мелко, не переставая, смеялась. Генерал тоже похохатывал...

Сонечка сослалась на головную боль и ушла наверх. Поглядела в последний раз на себя в зеркало, подумала: «Тоже рожа», с горьким вздохом разделась и, вытянувшись в прохладной постели, раскрыла глаза в темноту.

В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся с подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

— Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

— Замуж хочется тебе? — переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

— Бабушка, что вы, я боюсь.

— Слушай,— генеральша наклонилась к уху девушки,— я сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки.

— Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

— Смольков. Павлина так устроила, придумала... Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких... Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи,

принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас...

— Больно это и грешно,— шептала генеральша.— Самый страшный грех на свете — любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку...

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец совсем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дней через пять Павлина увидела сон первейшей важности. Сны видела Павлина часто, на все случаи жизни, сама по себе и по приказанию Степаниды Ивановны.

Но эта особенность не была прирожденной, а накатила на нее после одного случая с офицерами. До того жила она при монастыре и за свое безобразие исполняла должность привратницы.

— Через тебя, сестра, и дьявол не перескочит,— говорила ей мать Голендуха и спала спокойно. Павлина обитала в келейке у ворот, стучала по ночам гвоздем в чугунную доску.

В то время в монастыре жила чернобровая веселая монашенка, за свое пение прозванная «дудка-веселуха», имела она обязанность ухаживать за мирянами, приезжавшими во время праздников. Однажды заехали в монастырь бывшие в тех местах два офицера. Понравилась ли им тихая обитель, засыпанная снегом, или напугал буран, но только они остались ночевать в пу-

стой келейке. Увидели чернобровую сестру «дудку-веселуху», влюбились и решили ее увезти... Час побега назначен был под крещенский сочельник, когда бесовское племя так и шмыгает по всем заповедным местам и монашенки запираются по кельям, шепча со страхом отговорные молитвы. Приготовили офицеры коней и возок, но мать Голендуха все это пронюхала, допытала красавицу и с утра заперла ее на ключ.

Ничего не ведая, прискакали на тройке офицеры в назначенный час и постучали замочным кольцом, ожидая, что, по уговору, выйдет к ним чернобровая красавица. Действительно, ворота приоткрылись, и просунулась закутанная голова Павлины, вглядываясь — кого бог послал в такую темную ночь?

— Садись! Живей! Ходу! — крикнули офицеры, схватили привратницу, положили на возок; один вскочил рядом с ямщиком, другой застегнул полость, и помчались.

Павлина молчала. Кровь у офицера военная, не теряя времени, обнял он Павлину и, ободренный ее молчанием, не посмотрел ни на возок, ни на зимнее время. Павлина и тут смолчала. Офицер удивился.

— Хорошо ли,— спрашивает,— тебе, душенька?

— Хорошо,— ответила ему Павлина медвежьим голосом.

Офицер сейчас же зажег спичку и, увидя перед собой лицо привратницы, вскрикнул не своим голосом и на всем ходу выкинул Павлину из саней в снег. Так она и осталась лежать в снегу у дороги, пока на рассвете не прибежали монашенки... Обступили они Павлину и спрашивают:

— Что с тобой, милая?

— Бес меня искушал.

— Какой бес?

— В огненном образе.

— Что же ты не кричала, голос не подала?..

— И, милые, не всякий день бес искушает, а этот был со шпорами.

Больше ничего и не добились от глупой привратницы. Села она опять у ворот, но глянула на дорогу и затосковала.

— Уйду я, мать игуменья, пускай беса из меня лютыми ветрами выдует.

Собрала Павлина котомку и пошла по лютым ветрам, надеясь втайне — не встретит ли опять двух бесов?

И с той поры начала видеть всевозможные сны.

Бродила Павлина три года, питаясь подаянием. Иногда заживалась у помещиков, у вдовых купчих. Иногда возвращалась в монастырь, исполняла в миру кое-какие поручения матери Голендухи.

Так попала она к Степаниде Ивановне и теперь видела сны о Свиных Овражках.

Степанида Ивановна, наладив сватовство и приведя Сонечку в крайнее возбуждение, написала Репьеву о предстоящей свадьбе и теперь снова предалась прерванному делу.

Но на первых же порах возникли затруднения: хотя Овражки и план подземелий были приобретены, но никто из монастырских не мог или не хотел указать места, откуда начать копать. Второй уже день партия землекопов, нанятая Афанасием, курила цыгарки на бугре близ овражка, а генеральша в отчаянии гадала и раздумывала и раз двадцать посылала Афанасия осматривать заколдованное место.

Сегодня, наконец, Павлина увидела жданный сон и рассказала его обрадованной Степаниде Ивановне.

— Некий муж,— говорила Павлина,— явился мне в облаке и указал перстом: крутись, говорит, раба, вокруг себя десять и еще три раза; где остановишься, там и бросай камень через плечо. Где падет камень, там место сие... Сказал муж сие и подал камень.

Павлина бережно развертывала тряпицы и показывала Степаниде Ивановне камень.

— Пойми же,— говорила генеральша,— мы не знаем места, откуда крутиться начать...

— Этого мне некий муж не говорил,— вздыхала Павлина.— Надо опять поспать.

— Когда же ты? Раньше вечера не заснешь, а рабочие ждут. Ах, Павлина, всегда ты что-нибудь напутаешь...

— Разве Афанасия позвать?

— Поди позови Афанасия.

Павлина убежала и сейчас же вернулась с Афанасием.

— Придумал ты что-нибудь? — с тоской спросила генеральша.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, весь овраг излазил.

— Нашел что-нибудь?

— Не извольте беспокоиться, все в порядке...

Афанасий подал генеральше кусок кирпича.

— Старинный, ваше превосходительство, от самого подземного места отломался, не извольте беспокоиться.

— Кирпич,— воскликнула генеральша и набожно перекрестилась.— Слава богу! Едем!.. Веди, Афанасий, рабочих, вели мне подавать коляску.

И Степанида Ивановна, взволнованная, пошла к Алексею Алексеевичу. Генерал за эти пять дней махнул рукой на семейные дела.

Попытки «отбрить» и выжить Смолькова в самом начале были генеральшей прекращены. Сонечку, очевидно, жених волновал, а сам Смольков проявил столько веселости и добродушия в ответ на генеральские подкопы, что Алексей Алексеевич однажды за столом объявил:

— Измором меня взяли, быть по-вашему! — и занялся хозяйством, чтобы рассеять скуку.

Для начала придумал он проект особенной зерносушилки и велел кузнецу сделать железную трубу с дырочками. Трубу сделали, но погода назло стояла отличная, и хлеб не подмокал. Тогда генерал решил в трубе вялить яблоки, чтобы всю зиму кормить рабочих компотом: от такой пищи, он высчитал, производительность мужика увеличится на семь процентов. За опытом над новым проектом и застала генеральша Алексея Алексеевича: стоя у окна, палочкой перемешивал он высыхающие на солнце яблоки и отгонял мух...

— Алексей! — воскликнула генеральша.— Благослови меня, я начинаю...

— Дай тебе бог, Степочка, только трать поменьше денег, все-таки, знаешь ли...

— Ах, опять не доверяешь,— жалобно воскликнула генеральша.— Руки опускаются. Пойми, не для богат-

ства, не из каприза ищу я этот клад, а для славы твоего имени. Сейчас ничего не скажу, но потом ты узнаешь. Тебя, Алексей, ждут не только слава и почести, но и могущество.

— Ну, куда мне его, Степочка. Вот яблоки...

— Ты рожден под счастливой звездой, Алексей. Твоя бабка Вальдштрем... Это шведская королевская кровь... Подумай об этом...

Степанида Ивановна подняла палец, чепец ее сдвинулся набок, на щеках проступили красные пятна.

Свиными Овражками называлась неглубокая котловина, поросшая шиповником и бурьяном, на перевале между Гнилопятами и монастырем.

Со стороны монастыря, откуда начиналась дубовая рощица, лежали на бугре остатки строения, из него уцелели несколько ступеней и часть рухнувшей стены, овитая плющом... Между камней рос шиповник, и корни деревьев разрушали неизвестно кем и когда построенное это жилище. От ступеней овраг круто падал вниз в высокий бурьян и снова поднимался, уже полого, вплоть до голого выгона гнилопятских лугов. Считая развалины и угол рощи, площадь Свиных Овражков не превышала пяти десятин.

Перегнав по дороге рабочих, Степанида Ивановна оставила лошадей у края овражка и пошла пешком вниз через кусты, которые заботливо перед ней раздвигал Афанасий.

— Где же, где твое место? — повторяла генеральша, задыхаясь от трудной ходьбы и волнения.

Афанасий смотрел под ноги, нагибался, лег даже на землю от расторопности и, наконец, воскликнул, ударив сапогом ветхий камень:

— Сюда становись, Павлина, начинай!..

Павлина осторожно развернула из тряпиц камень, поджала деловито губы, попросила генеральшу и Афанасия отойти и вдруг забормотала истошным голосом, закрутилась и кинула камень через плечо. Генеральша подбежала к тому месту и увидела, что вокруг Павлининого камня на земле набросан щебень.

— Кирпич сам из земли пошел,— сказала Павлина.— Копайте!

Рабочие осмотрели место, побросали в траву одежду и баклажки, поплевали на руки и стали копать, но не очень шибко. Когда же генеральша, разгневанная их ленью, обозвала мужиков бессовестными, старшой сказал:

— Без вина не наша вина, поднесешь — сами руки заходят...

Афанасий на пристяжной поскакал в Гнилопяты за водкой. Рабочие быстро очистили место от корней и щебня и стали копать вглубь.

— Вы зря-то не ковыряйте,— говорил старшой.— Ты линию найди; как линию найдешь, так она и пойдет сама тебе галдареей...

— Кирпич,— сказал один рабочий.

— Верно, кирпич,— сказал другой рабочий.

— Нашли, Степанида Ивановна,— сказал старшой,— галдарея...

Степанида Ивановна сама влезла в яму и глядела по плану. Но кирпич оказался единственным, и, порыв еще немного, решили рабочие копать рядом. Скоро, однако, они утомились и сели курить. Генеральша в отчаянии пошла на гору посмотреть, не едет ли Афанасий с водкой...

Наконец Афанасий прискакал. Мужики сняли шапки, и каждый из стаканчика медленно потянул вино, словно полагая, что встанет в жилах его богатырская сила... Выпив, поблагодарили и без шуток быстро принялись рыть. На новом месте открылись стены кирпичного колодца, идущего наклонно вниз. Степанида Ивановна всех благодарила и, садясь в коляску, сказала Павлине:

— Сегодня, Павлинушка, всю ночь не буду спать.

В это время Сонечка и Николай Николаевич сидели в саду на качелях, тихо покачивались. Сонечка похорошела за эти дни и похудела так, что под веками легли у нее тени, глаза блестели. Держась за веревку, она отталкивалась ногой в синем шелковом чулке — подарке

бабушки — и говорила без умолку, боясь молчания, той напряженности, когда сердце громко стучит и понимаются затаенные мысли.

На поляне позади качелей на грядках росли огурцы. Сонечка очень хотела сорвать один из них и дать Николаю Николаевичу; Смольков же все время намеревался поцеловать девушку в шею, где завиваются волоски. Глядя на краснеющее от стыда это место, он вдруг спросил:

— А что, дедушка ваш целует еще бабушку или уже нет?..

Сонечка взглянула на него, ахнула и медленно засмеялась.

— Какие вы глупости говорите!

— Нет, отчего, бабушка, по-моему, еще очень красива.

— Знаете, у нее раз карандаш весь вышел, которым брови подводят, я ей обожженную пробку принесла, так вот она такие себе брови намазала...

— Вы злая.

— По-вашему, в самом деле я злая?

— Конечно, я, например, очень хочу одну вещь сделать, а вы мне не позволяете...

— Какую? — Сонечкина рука крепко сжала веревку.— Ну, вы что-нибудь мудреное попросите.

— Можно шейку поцеловать? Один раз?

Одну только минуту подумала она: «Что со мной? Все как во сне!» — но опять засмеялась, отодвигаясь. Николай Николаевич нагнулся и нежно ее поцеловал. Она приоткрыла рот.

— Съешьте огурец, я вам принесу.— Сонечка, спрыгнув с качелей, нагнулась над огуречными листьями. Николай Николаевич, не отрываясь, глядел на ее спину. Сонечка подала ему огурец, с одной стороны пожелтевший, и опять села на качели близко к жениху.

На днях Смольков сделал предложение. Случилось это просто и как-то никого не удивило. Одетый в сюртук, при шляпе, он вошел к Сонечке в комнату, извинился, сел на стул и заговорил о значении семьи для государства. Глаза его были полузакрыты, и все лицо ка-

менное, точно перед ним у окна стояла не Сонечка, а какой-нибудь министр. Затем, кончив вступление, он подошел на три шага и, совсем закрыв глаза, предложил быть его женой... Сонечка ахнула только. Он ушел, и немедленно ворвалась генеральша, обняв девушку, поздравила, а про Смолькова выразилась, что он «идеальный муж». С этой минуты все стало как сон.

— Дни, как черепахи, ползут,— говорил Николай Николаевич, грызя огурец.— Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется — конца этому не будет.

— А я так рада, что побольше времени до свадьбы остается...

— Почему же вы рады?

— Так, рада...

— Я знаю, почему — трусите.

— Чего же я буду трусить, вот тоже...

Она усмехнулась. Николай Николаевич осторожно обнял ее, сначала легко, потом все крепче, отыскал губами ее рот и медленно, мучительно и бесстыдно поцеловал. Сонечка, вся пунцовая, вырвалась, закрыла лицо.

— Степанида Ивановна приехала,— с трудом выговорил Смольков.— Пойду встречать.

И, не оборачиваясь, он ушел, а Сонечка осталась сидеть на качелях. Возбуждение ее сразу упало, опустились руки. Несколько часов смеха, двусмысленностей и ставших особенно легкими кокетливых движений утомили Сонечку, и теперь ей было гадливо, и с отвращением глядела она на бессовестные свои чулки, одетые напоказ, на вымазанные с вечера кремом, по совету генеральши, руки. Даже в легоньком новом платье не было невинности.

«Откуда все это у меня взялось? — тоскливо думала она.— Как он меня не остановит? Ведь я бог знает до чего дойду...»

Она передернула плечами и поглядела туда, где за косматыми ветлами садилось красное перед ненастьем солнце. Лиловые тучи багровели по разодранным краям,— в них было грозовое, тяжелое предчувствие. В саду затихли птицы, только дикий голубь все еще тосковал, сидя на верхушке березы.

«И этому я стану чужая,— подумала Сонечка.— Он

любит ли меня? Должно быть, любит. Надо очень строго следить за собой. Буду больше молчать, не надену больше этих чулок со стрелками. Так просто: перестану кривляться и скажу: я вас, должно быть, очень люблю, милый мой, милый Николай».

Она долго сидела, держась за веревку качелей, положив голову на руку. Когда невдалеке послышался голос Смолькова, идущего с генеральшей, выступили от умиления слезы у Сонечки на глазах, захотелось тотчас же подойти и сказать что-нибудь очень душевное.

За ужином она глядела на Смолькова «собачьими», как он определил, глазами. Генеральша, подергиваясь, рассказывала о каких-то кирпичах. У Николая Николаевича разболелась голова от волнения и вина, и он, захватив свечку, ушел к себе.

Поставив свечу около кровати, Смольков снял пиджак, сунул руки в карманы и, наклонясь над Сонечкиной карточкой, закусил нижнюю губу.

— Больше не могу,— прошептал он, вдыхая свежий воздух.— Монастырь, черт его возьми, какой-то! Целоваться на качелях! Конечно, она может ждать хоть сто лет — птенец. А я что?

Он забегал по комнате, думая все об одном, на чем мысли сосредоточились, как в фокусе,— точка эта была страшно чувствительна, остальной мир понемногу темнел, отпадая. Стали различимы запахи старых книг, ветхой мебели, сада и неуловимых женских духов, пропитавших старую мебель, на которой бог знает кто сидел.

Наконец Смольков остановился посреди комнаты, медленно провел языком по высохшим губам, взмахнул рукой, точно говоря: «Ну, что же я могу тут поделать?», отворил дверь и громко прошептал:

— Афанасий.

Афанасий пришел и стал затворять окно, но Николай Николаевич, потрепав его по плечу, сказал пересмякшим голосом:

— Послушай, друг, как у вас насчет этого самого?..

— Это насчет чего?..

— Ну, этого самого, понимаешь?

— Что вы, барин,— осклабясь, ответил Афанасий,— мы этим не занимаемся.

— Где-нибудь на селе, наверно, есть эдакое?..

— На селе как девкам не быть, только вам не понравятся. Солдатка есть, да ничего, чистая.

— Ну вот, вот, сведи меня к солдатке, голубчик. Сейчас я переоденусь... Постой... вот тебе на чай полтинник. Так ничего солдатка-то... а?

— Солдатка — ничего, мягкая.

Спустя время, осторожно, через черный ход, пробрались Смольков с Афанасием в сад, миновали сырые аллеи, плотину и побежали лугом до села.

У крайней избы в траве на пригорке сидели три девушки и негромко пели; в темноте лица их под платками казались маленькими и странно блестели глаза. Афанасий, словно мимоходом, подошел к ним, поклонился, разведя руками.

— Наше вам с кисточкой!

— Кто такие? — спросила одна недружелюбно.

— Хуторские, позвольте посидеть с вами.

Девушки переглянулись, засмеялись, и одна сказала:

— Нет уж, идите, откуда пришли.

Афанасий обиделся, влез в разговор, но Николай Николаевич потянул его за рукав, шепча:

— Пойдем, пойдем к солдатке...

— Придете на хутор,— я вам припомню,— пригрозил Афанасий девкам.

Они что-то крикнули вдогонку, затем было видно, как поднялись, побежали в темноту.

К солдаткиной избе нужно было идти по задам, перелезть через плетень и насвистать собаку, которая сначала кинулась с лаем, но, узнав голос Афанасия, побежала вперед. Боязливо на нее поглядывая, Николай Николаевич покорно прыгал в какие-то канавы, изорвал штаны, промок, попав в навозную жижу, и, наконец, выйдя на пустой дворик, увидел стоящую на крыльце высокую бабу.

— Марина,— бойко сказал Афанасий,— принимай гостей.

— Ах, батюшки, я-то испугалась,— низким веселым голосом молвила баба.— Что же, если с добром, захо-

дите! А это кто? — шепнула она Афанасию и после ответа еще приветливее закачала головой.

Николай Николаевич снял шляпу, поклонился и взошел на крыльцо, но в избу Марина его не ввела, а осталась в сенях, сев на кровать. Привыкшие к темноте глаза Смолькова различили постель со множеством подушек («Воображаю,— подумал он,— каковы подушки»), дойницу с молоком и зыбку, висевшую около на ремне.

— В избе сестрица больная лежит,— прошептала солдатка и весело поглядела Николаю Николаевичу в лицо.

— Ну, как же ты? — спросил Смольков, повертелся и обнял бабу.

Марина засмеялась, освободилась.

— Вино будете пить?

— Да, да, вот — рубль. Купите вина.

Афанасий взял деньги и побежал к какой-то своей куме. Николай Николаевич остался, наконец, вдвоем с женщиной и, сердясь на свою непредприимчивость, придумывал, что бы такое ей сказать, чтобы разрушить странную эту, какую-то необычайно простую действительность.

— Почему ты меня не поцелуешь? — сказал он томно и подумал: «Пахнет молоком и чем-то съестным, не то печеным».

— Чего? — совсем уже весело спросила Марина и, закрыв рот ладонью, проговорила, вся трясясь от веселости: — Что это вы, барин, ко мне пришли... ну и барин!

Затем, не выдержав, она стала смеяться так, что затряслась и заскрипела кровать.

Смольков рассердился: страсть его уменьшалась с каждой секундой; он засопел, хотел выругать глупую бабу, но живот его сам по себе начал подпрыгивать, и Николай Николаевич визгливо захохотал.

— Дура, вот дура!

— Я думала, он насчет молока, а он — вон зачем явился,— плача от смеха, говорила Марина.

Николай Николаевич начал уже чувствовать к ней что-то вроде родственного добродушия и, придвинувшись ближе, ударил ее по спине. Она пхнула его под

бок. Оба они покатывались со смеху. Неизвестно, долго ли бы продолжалась эта игра, но вдруг в светлом четырехугольнике двери появился Афанасий.

— Беда, барин,— проговорил он испуганной скороговоркой,— девки к нам ребят подослали... Бросайте бабу, бегимте...

Действительно, на улице были уже слышны голоса, шепот. Ударили в ворота... Николай Николаевич выбежал на двор. Через ворота, через плетень лезли парни. Николай Николаевич завизжал и пустился бежать по задам, через канавы и плетни... За ним молча, рысью летел Афанасий. А сзади, топая сапожищами, неслись парни, вскрикивая дикими голосами так страшно, что волосы у Николая Николаевича стояли дыбом...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром, в темной каморке за лестницей, на лежанке сидели Афанасий с Павлиной и не то чтобы разговаривали, но кряхтели больше да почесывались.

Перед ними на столе, за ветхостью отнесенном из парадных комнат в лакейскую, попискивал последнюю песню самовар, в топленом молоке плавала деревянная ложка... Особенно вздыхал и почесывался Афанасий, с утра сегодня бегавший два раза в село и на Свиные Овражки. Павлина, умильно на него поглядывая, благообразно икала после чаепития, крестила рот. Конечно, Павлина могла бы и не икать, но делала это, чтобы показать, как она вот и сыта и довольна,— а когда человек сыт и доволен, не грех ему и побаловаться.

— Полно, сокол, вздыхать,— говорила Павлина,— не ропщи, тепло тебе и сытно, куда же еще больше? А что грехов полон рот, так на том свете все равно простят,— мы неученые.

— Ерунду ты, баба, мелешь,— отвечал ей Афанасий,— отроду тебе ходить в лаптях, а мы в шевровых башмачках ходим... Скажи вот лучше, что делать? Генеральша-то наша совсем сбесилась: копайте, говорит, дальше, ничего я знать не хочу...

— Петухов купил?

— Десять рублей выдала, птиц двенадцать штук купил. Только, по-моему, петухи в этом деле ни к селу ни к городу. Что за глупость — петух! Петух — обыкновенная птица, цыпленок. Эх, дура ты, баба.

— Без петуха шагу нельзя ступить,— ты, сокол, умен, да мало понимаешь...

— Ох, а ты много знаешь!

— Как мне не знать,— наши монастырские, чай, три года в этом месте копали, да бросили,— взяться не умели...

— А ты умеешь?

Павлина опустила глаза, поджала губы, степенно вздохнула. Афанасий поглядел на нее, подумал: «Шельма баба».

— Генеральша что теперь делает? Надо бы уж ехать,— сказал он.

— Генеральша письмо читают.

Афанасий потянулся, лениво спрыгнул с лежанки.

— Вот что я тебе скажу, а ты помни: против меня не иди — плохо будет; а вместе за дело возьмемся — деньгу зашибем.— При этих словах Афанасий трыкнул языком, ткнул бабу под микитку и, захватив из сеней лукошко с петухами, поехал на работы.

Степанида Ивановна действительно читала в это время письмо, собрав всех у себя в комнате. Письмо было от Ильи Леонтьевича — четыре страницы, исписанные мелким и четким почерком.

«Благодарю вас за ваши сердечные заботы о дочери моей,— писал Репьев.— Господь милостив, послав мне таких друзей. В лице же будущего любезного зятя я уверен встретить твердого христианина и наставника моей дочери. Так я сужу по вашему о нем отзыву и заранее радуюсь счастью Софьи. На бракосочетание приехать не могу — привязывают меня к дому хозяйственные заботы. Кроме того, считаю, что столь важный шаг в жизни молодых людей должен быть совершен скромно, по возможности без свидетелей. Прошу поэтому много не тратить на свадебные приготовления, а необходимые издержки возмещу тотчас же переводом денег. Приданое Софьи давно готово. В именьице ее, Сосновка, озимые

засеяны и пар вспахан,— все в порядке. Приедут молодые, пускай вьют себе гнездо».

Сонечка очень огорчилась отказом отца приехать на свадьбу, потому что знала: если он, увидав жениха и поговорив, одобрит, все сомнения ее улетят, как дым, и она будет спокойна и счастлива.

Пожалел и Алексей Алексеевич: давно ему хотелось повидать старого друга. Но, видно, уж до смерти не придется.

Степанида Ивановна, обняв и перекрестив Сонечку и Николая Николаевича и заставив то же проделать генерала, послала к сельскому попу приказание — оглашать молодых. Присела с веером в руках на канапе, рассказала о какой-то Симичевой, которая кому-то послала письмо, а сама внезапно вышла замуж,— причем никто о Симичевой ничего не понял,— и собралась ехать на раскопки, приглашая с собой Смолькова и Сонечку.

По дороге она рассказала, что работа на Свиных Овражках до сегодняшнего дня шла успешно. Вынув изнутри кирпичного колодца землю, рабочие наткнулись на свод, полого идущий под горою, образуя собой галерею шириною в полтора аршина. Но, пройдя около трех сажен, галерея уперлась в скалу, и сколько рабочие, совместно с советами Павлины, ни бились — не могли найти дальнейшего хода. Очевидно, в этом месте и началось заклятье, которое нужно отомкнуть. Это было вчера. Генеральша далеко за полночь совещалась с Павлиной и услала ее, наконец, видеть сон. Чуть свет Павлина объявила, что нужно в том месте зарезать двенадцать петухов — пролить кровь. Двенадцать потому, что Мазепа заколол двенадцать казаков, петухи же были выбраны как единственное земнородное, которого боится нечистая сила.

— Я очень надеюсь на средство это,— весьма значительно проговорила генеральша, когда коляска остановилась около раскопок.

Рабочие были все в сборе. Павлина сидела на камне, закрыв глаза, очевидно приготовляясь к заклятию. Афанасий в обеих руках держал по шести петухов, бивших крыльями, и почтительно глядел на подъехавших.

Степанида Ивановна пересчитала птицу и приказала

начинать. Павлина сняла ваточную кофту, попробовала на пальце нож, приказала поддерживать себя под мышки и так спустилась в наклонный колодезь. Афанасий бросил ей черного петуха, который бил крыльями и кричал. Степанида Ивановна в волнении глядела, как баба сначала не смогла словить птицу, потом, ухватив одного петуха за шею, поползла вниз и скрылась под землею. Слышны были только ее причитания и возня. Потом все замолкло. Павлина высунулась на свет, протягивая окровавленную руку за новым петухом.

Павлинина растрепанная голова появлялась из-под земли двенадцать раз. Генеральша чувствовала, что ее мутит. В это время один резаный, но недорезанный петух вылетел из ямы, обдал генеральшино платье кровью, побежал по траве и кувырнулся... Степанида Ивановна, побледнев, прошептала: «Это дурной знак!» — но осталась стоять, превозмогая себя. Наконец птиц всех порешили. Павлина вылезла из-под земли и, отирая о траву руки, сказала скороговоркой:

— Теперь камень, как воск. Копайте, ребята, прямо,— не вбок и не вперед. О, силушки моей нет, легла на меня кровушка... Тьфу! тьфу! тьфу!..

Рабочие, посмеиваясь, полезли под землю, и старшой, осклабясь, спросил:

— Насчет курей, Степанида Ивановна, дозвольте в обед сварить?

— Варите, варите, ничего,— отвечала Павлина,— наперед только святой водой окропите, а то поешь, да и пошел сам петухом кричать.

Сонечка и Николай Николаевич, плечом касаясь плеча, сидели все это время на бугорке среди шиповника и тихо разговаривали.

Смольков присмирел после ночного похождения, сделался тише воды,— деревня не казалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни. В ушах еще до сих пор отдавались крики парней, от которых едва тогда ушел ночью. Сонечка думала: «Боже, как я в нем ошибалась: милый, кроткий и совсем не страшный».

Солнце стояло высоко. Сонечке было жарко, лениво,

приятно. Пекло руку, лежащую на колене. Медом и зноем пахла трава.

— Посмотрите, что это с бабушкой,— усмехаясь, сказал Смольков,— хватается за грудь... Что-то нашли, должно быть.

— Покажите какой — каменный? *католический*? — донесся голос Степаниды Ивановны.

— Должно быть, нашли крест,— ответила Сонечка,— я помню, что это *первая примета* по плану; другие две — *орел и каменная голова*. Видите, как все сбывается; я знаю, что клад найдут. Один только дедушка в него не верит.

Николай Николаевич повернулся и сощурил глаза:

— А что бабушка думает с кладом сделать?

— Я не знаю, что,— наверно себе возьмет.

В это время Степанида Ивановна закричала:

— Дети, идите сюда!

И когда они сбежали с горки, подняла обеими руками до этого прижимаемый к груди каменный крест.

— Сбылось... сбылось!..

Говорить генеральша не могла, маленькое лицо ее покрылось под румянами лиловыми пятнами, шляпка сбилась, платье было испачкано петушиной кровью и землей...

Перепуганная Сонечка подхватила ее под один локоть, Смольков под другой, и повели генеральшу к коляске: усадили и повезли домой. Дорогой Степанида Ивановна плакала и целовала крест.

Степанида Ивановна выпила черного кофе и приказала просить к себе генерала, но Алексея Алексеевича в кабинете не оказалось: он ушел к амбарам, где насыпали отсеянную рожь на воза.

Покупка Свиных Овражков и приготовление к свадьбе заставили генерала поторопиться продажей хлеба. Он решил сам теперь вникать во все мелочи хозяйства, присутствовал при насыпке, а вечером сегодня собирался в город, чтобы на утреннем базаре самому продать рожь.

Довольный, что нашел дело по душе, Алексей Алексеевич стыдился немного приказчика, с улыбкой выслу-

шивавшего решительные его приказания, и, чтобы устранить всякое постороннее влияние, послал приказчика считать деревья в заповедном лесу, хотя это можно было сделать и в другое время. Приказчик обиделся, но ушел, а генерал летал от веялок к амбару, от амбара к возам и зычным голосом покрикивал на рабочих,— красный весь, одухотворенный, будто на войне.

К полднику в пять часов генерал явился в промокшем насквозь кителе и поспешно принялся есть. Очень этим недовольная, Степанида Ивановна начала обиженным тоном издалека рассказ о сегодняшней находке, но генерал перебил:

— Хорошо, хорошо, Степочка, отлично... Нашла какую-то штуку... после доскажешь.

И убежал, крича Афанасию закладывать лошадей.

— Не штуку, а крест! — крикнула вдогонку генеральша.— Сумасшедший человек, бурелом!.. Чувствую, дети мои,— с этой продажей хлеба — кончится плохо.

Вечером того же дня подъезжал Алексей Алексеевич по ровной и голой степи к уездному городу. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Тащились навстречу телеграфные тощие столбы вдоль дороги. Впереди за канавой торчали кресты кладбища, еще далее — заборы, крыши предместья и колодезные журавли. Тихой рысью бежали лошади, поднимая пыль. У дороги валялась падаль, оскаля зубы. Становилось тусклее с каждой минутой, тоскливее.

Алексей Алексеевич сначала бодрился, откинув на затылок генеральскую фуражку и подбоченясь, но тоска, наконец, и его проняла.

— Погоняй, что ли!

— Но, милые,— уныло покричал кучер, помахал варежкой и опять сгорбился, так что линялая его рубашка надулась пузырем.

Наконец, поравнявшись с первой избой, тарантас тяжело въехал в песок улицы. У ворот поклонился генералу седой мещанин в жилетке; опустив крылья, побежала под лошадей курица; Алексей Алексеевич прочел заржавленную вывеску синими буквами: «Стрижка,

бритье, также починка часов»,— поморщился и сердито крикнул на мальчишку, который норовил присесть сзади тарантаса. Дома были с воротами и крашеными ставнями, но ближе к центру стали попадаться и каменные, под охру или дикого цвета. На углу переулка дремал в заплатанном кафтанишке извозчик, линейка его и сивая лошадь были до того стародавние,— казалось, со времен еще Екатерины дремал он на этом углу. В переулке появился первый керосиновый фонарь, и тарантас, громыхая, въехал на большую площадь, где стояли собор, лавки и въезжий трактир.

Алексей Алексеевич приказал здесь остановиться, на вопрос кучера, не завернуть ли лучше в «Ливерпуль», ответил, что приехал не спать, а дело делать, и крикнул отворять ворота.

Рыжий мужик, в нагольном полушубке, но босой, со скрипом отворил ворота, и лошади, чавкая по навозной жиже, въехали во двор.

— Не были еще воза из Гнилопят? — спросил генерал.

— Нет, возов из Гнилопят не было,— отвечал мужик.— А что, овес у вас свой или хозяйский?

— Хозяйский, хозяйский,— сказал кучер,— у нас господские кони, едят овес без песку.

— Зачем хаешь, у нас овес хороший,— сказал мужик.

Генерал вылез из тарантаса, разминая отекшие ноги, потянулся, через широкое, затоптанное грязью крыльцо вошел в трактир. В большой, низкой и грязной горнице у окна за самоваром сидели три человека в суконных чуйках и негромко разговаривали. Один был толстый, с висячей губой,— сопя, втягивал он в себя чай и крякал; другой — безбородый парень, круглолицый и курносый, говорил прибауточками, вытирая полотенцем скулы, которые до того были крепки: колоти по ним кулаком — мозоли набьешь; у третьего — седая борода и умные серые глаза.

На вошедшего генерала чаепийцы посмотрели равнодушно, но, когда он сел на лавку и отвернулся, перемигнулись.

«Запашок!» — подумал Алексей Алексеевич и, раз-

глядывая липкие, ободранные обои, захарканный пол, заметил еще четвертого посетителя,— должно быть, землевладельца из мужиков, в суконном кафтане, сидевшего поодаль, подсунув под себя руки... Мужик слушал, что говорилось, на генерала же не обернулся... Говорили о прошлых ценах, об урожае и о каком-то Ниле Потапыче Емельянове.

— Вы тоже рожь привезли? — спросил генерал мужичка, подсунувшего руки.

Мужик зевнул, ладонью провел вверх и вниз по лицу и кивнул головой.

— А какие, вы думаете, цены назавтра будут?

— А кто их знает, все от бога...

— Цены, господин генерал, плохие,— бойко сказал парень,— ржи очень много навезли. Да вы подсаживайтесь, сделайте милость,— не угодно ли стаканчик чайку?..

«Э, да у них я все разузнаю,— подумал генерал и пересел к чайному столу.— У меня, кажется, с собой бутылка вина есть и пирожки».

— Степан! — постучав пальцем в окно, позвал он.— Принеси-ка погребец. Так вы говорите, низкие цены?

— Хлеб хоть в речку ссыпай, вот какие цены,— хрипло сказал толстый человек...

— Жаль, а у меня так сошлись семейные дела, что вынь да положь сейчас деньги,— сказал генерал и спохватился.— Хотя не сойдусь в цене — отправлю за границу.

Чаепийцы уставились глазами в стол, старик сказал:

— Нет, рожь за границу не идет... Пшеничка — другое дело...

— Куда ее с базара повезешь, провоз денежки стоит,— сказал толстый человек.

— Мы уж и так горюем,— подхватил парень.

Мужик, сидевший на лавке, перебил их с сердцем:

— Горюем. Горе твое вот где у меня,— и показал себе на шею... Все трое захохотали, а мужик громко плюнул, снял кафтан и лег, ворча:— Мошенники, прасолы, осиновым вас колом...

— Так вы мои завтрашние покупатели? — спросил генерал...

— Нет,— отвечал парень,— где нам, мы для себя берем возик или два.— И стал расспрашивать Алексея Алексеевича о хозяйстве и о том, почему сам приехал, а не послал приказчика. Генерал охотно на все это отвечал, радуясь, что ловко сумел угостить нужных ему людей...

Потом пришла босая и заспанная баба, унесла самовар и привернула лампу... Прасолы, встав из-за стола, пошли спать, должно быть, на сеновал или в телеги. Алексей Алексеевич разостлал на лавке плед, под голову положил кожаную подушку и, не думая заснуть в такой духоте и вони, скоро задремал, чувствуя, как дрожат стены и стекла, хлюпает что-то, рвется, задыхаясь, будто ходит по горнице мокрый вихрь,— то похрапывал христианской своей утробой землевладелец из мужиков... Потом пришел какой-то человек, сел на пол и стал раздеваться,— оказалось, это был Смольков во фраке с графином кваса в руке... «Дайте-ка напиться»,— сказал ему генерал. «А по сорока семи копеек за пуд хочешь?» — ответил Смольков, и у него отвисла губа. «На кого он похож? — со страхом думал генерал.— Э, да это убитый турок! Ах ты!..» Но турок стал на четвереньки и вдруг ударил в барабан. В ужасе генерал проснулся, сбросил ноги и посмотрел.

За окном брезжил рассвет и кричали петухи; кто-то, выйдя из избы, ударил дверью.

«Зачем я сюда попал? — подумал генерал.— Пить как хочется... Ах, да...» — И, поспешно надев пальто, вышел во двор.

На дворе очертания крыш четко рисовались на небе, едва тронутом с востока оранжевой зарей, и было так тихо, что слышался хруст жующих сено лошадей. Кучер Степан, в армяке от утреннего холодка, подошел к Алексею Алексеевичу и не громко еще, по-ночному, сказал:

— Воза приехали, ваше превосходительство.

Алексей Алексеевич кивнул головой и, вздрагивая от дремоты, вышел через калитку на площадь.

Площадь, пустая с вечера, теперь была заставлена возами,— поднятые оглобли их торчали, как лес после пожара. Распряженные лошади жевали сено, и слыша-

лись голоса проснувшихся крестьян. Предрассветный ветер пахнул навозцем, сенной трухой и дегтем. Алексей Алексеевич, ходя меж возов, после долгих расспросов отыскал, наконец, свои сто сорок восемь телег, стоявших на дальнем конце площади, у реки.

— Что, ребята, благополучно? — спросил генерал, подходя к своим.

Трое или четверо возчиков сняли шапки, один ответил:

— Все слава богу, Алексей Алексеевич.

— Хорошо продадим — на водку получите.

— Благодарим покорно,— ответил тот же голос.

Генерал взлез на телегу и закурил папироску. Вчерашний задор соскочил с него, и продажа хлеба вовсе не казалась простой и веселой, к тому же от душной комнаты тошнило, болела голова и хотелось пить... Но генерал пересилил себя и в трактир не пошел, а дождался, когда откроют пекарню, и послал одного из возчиков купить горячего хлеба и молока.

«Расскажу Сонюрке,— думал он,— как я на возу молоко пил. Фантастично! Что же эти дураки купцы не идут, пора бы, совсем светло... А вдруг они ко всем подойдут, а ко мне не подойдут? Гм!»

Светало быстро. Лошади ржали, хотели валяться. Задвигался, разговорился народ.

Генерал, держа в одной руке калач, оглядывался, поджидал, стараясь придать себе равнодушный вид. Вдруг между возов появилась синяя чуйка — вчерашний парень... Алексей Алексеевич сразу ободрился и помахал чуйке калачом. Но парень, как будто не замечая генерала, заглядывал в чужие воза и сошелся со вчерашним землевладельцем из мужичков, принявшись о чем-то кричать и хлопотливо рыться в его возу.

Алексей Алексеевич огорчился таким невниманием, но решил ждать терпеливо. Солнце поднялось над крышами, и многие воза снялись с площади и уехали. Торг, очевидно, шел вовсю. Слышались пьяные голоса...

«Что за дьявольщина, почему ко мне не подходят?» — думал генерал и начал уже сердиться, вертясь на возу. Вдруг позади окликнул его деловитый голос:

— Послушайте, что продаете?..

Это говорил вчерашний парень и, морщась, пересыпал рожь из ладони в ладонь. Алексей Алексеевич опешил:

— Как что? Рожь!

— Разве это рожь,— сказал парень, бросая зерно в телегу,— ржишка, прошлогоднее гнилье...

— Гнилье,— закричал генерал,— сегодняшний урожай! Да вы смеетесь! Гнилье!

— Нам смеяться не время. Сорок семь копеечек от силы могу дать...

И, поправив картуз, он отошел, а генерал, дернув плечами, гневно отвернулся, прошипев:

— Нахал, мальчишка!..

Цена ржи на нынешнем базаре стояла шестьдесят три копейки за пуд (так сообщили генералу возчики, бегавшие слушать, как торгуются), отдать же по сорока семи значило потерять рублей пятьсот, вернее — подарить их этому нахалу прасолу. Воза продолжали разъезжаться, и Алексей Алексеевич все более гневался и недоумевал. Тогда подошел к нему вчерашний толстый прасол, подал жирные пальцы лопаткой и, не хваля, не хая, предложил сорок пять копеечек за пуд...

— Шестьдесят,— сказал генерал не глядя и добавил дрогнувшим голосом: — Эх ты, бессовестный!

Прасол развел руками и лениво отошел.

Долго не мог побороть гнева Алексей Алексеевич и, насупясь в седые усы, не глядел на окружающих. Когда же поднял глаза, мимо, не замечая его, проходил третий вчерашний знакомец — старик.

— Послушай, покупаешь... рожь? — спросил генерал.— За пятьдесят девять отдам...

— Это не цена,—не останавливаясь, проговорил старик,— цена сорок три копейки за твою рожь, барин...

— Дурак! — крикнул генерал.— Болван!

Воза развезли все, и на площади, усеянной объедками сена, остались одни гнилопятские, посреди которых на телеге сидел на людское посмешище генерал, сутулясь и поводя покрасневшими глазами. Дворянская фуражка его съехала набок, и коробом торчало запачканное серое пальто. По очереди подходили прасолы и, явно издеваясь, давали сорок, даже тридцать пять

за пуд, а он не отвечал, выжидая, когда подвернется кто поближе, чтобы хоть ударить по морде обидчика.

Возчики стояли поодаль и смеялись; смеялись приказчики, выйдя на порог лавок; под колесами вертелись босоногие мальчишки, и по всей площади полетел слух о сердитом барине, которого травят прасолы и заставят чуть не даром отдать хлеб или везти домой, что еще более накладно и обидно.

Прасолов же подговорил купец Нил Потапыч Емельянов, который теперь и шел по площади в длиннополом сюртуке, надетом на ситцевую рубаху, широко расставляя ноги и еще шире улыбаясь. Подойдя к сердитому генералу, Нил Потапыч сдернул картуз с помазанных коровьим маслом кудрей своих, отнес его вбок и сказал с широким поклоном:

— С почтением Алексею Алексеевичу, поиграли дермом и за щеку, как говорится. Вели запрягать, даю пятьдесят пять копеечек с половиной...

— Вон! — вдруг побагровев, заревел генерал.— Не позволю, зарублю!..— И, спрыгнув с телеги, трясясь и брызгая слюной, побежал к лошадям.— Мужики! мужики! негодяи! Запрягай! вали все в воду... к черту!..

— Что ты, что ты? — говорил Нил Потапыч, отступая.— Одурел человек!..

Алексей Алексеевич сам отвязывал лошадей, за недоуздки тянул их к возам и, подставляя мужикам кулаки под самый нос, кричал: «Запрягать! запрягать! запрягать!» Воза скоро зашевелились, и генерал заметался около них, хватал вожжи, кнутом бил лошадей по мордам, и все сто сорок восемь телег, скрипя и колыхаясь, понеслись под гору к речке...

Кричал генерал сначала басом, потом пронзительно и, наконец, замолк — порвался голос, и он только шептал:

— Вали в воду, подвертывай! — сам схватился за первый воз, рванул брезент, и с шумом зерно посыпалось в тихую реку.

Мужики захохотали и с криком опрокинули телегу колесами вверх... Подвозили еще и еще и переворачивали. На горке у дома собрался народ. Нил Потапыч стоял все еще без картуза, расставя в изумлении ноги

и руки. Заголосила какая-то баба. Густым золотым слоем по всей речке плыло зерно...

Долго глядел на реку Алексей Алексеевич, потом повернулся к народу и показал шиш.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Уйди, Павлина, пропади с моих глаз! — в отчаянии говорила Степанида Ивановна.

Павлина, хватая ее за платье, вопила:

— Я ли не старалась! Взгляни на меня, ягодка, глазочком погляди на меня, дуру!

— Я тебе вверилась, Павлина, хорошо ты меня отблагодарила.

Павлина ударилась головой о половицу и пуще принялась стонать.

— Разум отшибло! От сладкой пищи жиром я, окаянная, заплыла, огорчила свою благодетельницу!..

— Петухи ей понадобились, а зачем? Смеяться надо мной или денег выманивать? Ты бы сказала, я бы тебе просто денег дала...

— Ох, смерть пришла, ох, мочи моей нет! — причитывала баба.

— Уходи, Павлина, вон! — Генеральша повернулась на диванчике лицом к стене.

Произошел такой разговор потому, что вчера ночью обрушился не укрепленный подпорками свод и землей завалило всю галерею. Землекопы кобенились, уверяя, что это — чертова работа, и просили расчет. Им прибавили поденную плату и поставили ведро водки, с которой они напились влоск и завалились спать на Свиных Овражках, в густом папоротнике. Афанасий ходил их будить, не добудился, сам как-то нечаянно напился и, вернувшись, побил Павлину. На глупую бабу пала вся вина.

— Что за глупости придумала — петухов! — после молчания продолжала генеральша.— Не знаешь ничего, так и говори: ничего не знаю, ваше превосходительство. Наверно, и все сны твои дурацкие.

Павлина сидела на полу, пригорюнясь. С покрасневшего ее носа падали слезы. Вдруг она вскочила и ударила себя по бокам.

— Догадалась! Лопни мои глаза! Петухов-то надо купить *неторгованных*.

— Как неторгованных? — спросила Степанида Ивановна и с живостью спустила ноги на ковер.

— *Неторгованный* петух *силу* имеет, благодетельница, а *торгованный* есть *суповая куря*. Сколько спросили за птицу, столько за нее и давай. Слава тебе, господи, вспомнила. Пожалуйте денежек, я сейчас побегу...

— Ну, нет,— сказала Степанида Ивановна твердо,— хотя я вижу, в чем была ошибка, но денег тебе не дам, сама поеду и куплю.

Генеральша подробно расспросила, каким образом покупать петухов, где и когда. В это время вошел Афанасий и, прикрывая ладонью рот от винного духа, доложил, что генерал вернулся, прошел прямо в кабинет и никого к себе не пускает.

— Вонь какая от тебя,— сказала генеральша.— Ах ты пьяница!

— Это бензин-с,— извинялся Афанасий,— для чистки его превосходительства панталон-с.

— Поди узнай, хорошо ли продали хлеб.

— Никак нет, ваше превосходительство, кучер мне говорил, что его превосходительство хлебец в воду изволил высыпать.

— Что? В воду? Ужас! Быть не может!

Генеральша побелела, как носовой платочек, ноги ее подкосились, и она села на диван, но вскоре оправилась и поспешила к Алексею Алексеевичу.

На стук в дверь он не ответил; услышав же голос жены, кашлянул, зашаркал туфлями и повернул ключ. Степанида Ивановна толкнула дверь и ахнула: перед ней стоял, сутулясь, Алексей Алексеевич, желтый, со спутанными волосами, страшный, в грязном военном пальто.

— Запах какой-то от тебя, Алексей. Что ты наделал? — закричала генеральша.

Генерал пошевелил губами и, держась за косяк, опустился на колени.

— Прости меня, Степанида Ивановна, я утопил весь хлеб.— И, подняв плечи, покрутил поникшей головой.

— Милый ты мой,— охватив его руками, торопливо заговорила Степанида Ивановна,— ты болен, совсем болен... ляг... Афанасий, воды горячей! Что за слуги ужасные! — вскрикнула она, звоня в колокольчик.— Ложись, ложись и молчи.

С трудом поднялся генерал и, поддерживаемый генеральшей, прилег на диван, вздохнул судорожно, заморгал, и слезы потекли по грязным щекам. Степанида Ивановна молча прижимала его голову к груди.

Принесли воды, омыли генерала, одели в чистое белье, спустили в кабинете шторы.

Генеральша сидела на диване, держа мужа за руку; когда же он начинал шевелиться и вздыхать, повторяла:

— Не бывает счастья без горя, вот тебе горе было и прошло, а на смену счастье придет. Верь только мне. Я найду тебе иные сокровища. Крепись, Алексей, и терпи.

— Хорошо, буду терпеть, только ты-то меня прости,— шептал генерал.

Принесли заваренной крепко малины, рому, генерал откушал, и ему полегчало. Генеральша дождалась, когда Алексей Алексеевич уснул, и велела позвать к себе кучера; он рассказал все, как было.

Генеральша ему и всем настрого запретила напоминать генералу о несчастии и, не теряя времени, поехала в село.

Теперь, когда хозяйство потерпело такой урон, было совсем необходимо скорее окончить дело с кладом. Силы генеральши возросли, и она объездила все дворы, но петухов нашла только двух; бабы уверяли, что без петухов в хозяйстве трудно,— не самим же им кур топтать,— и за птицу держались крепко.

В соседних деревнях могли тоже не продать или всучить каких-нибудь дохлых кочетов; поэтому, чтобы сыграть наверняка, решила Степанида Ивановна поехать в город и попросила Николая Николаевича сопровождать себя в пути...

Смольков надел охотничий костюм, и они поехали. Городской базар давно отошел, когда гнилопятские

измокшие от быстрой езды лошади остановились на большой площади около лавки со съестным. На вопрос Степаниды Ивановны, есть ли живые петухи, расторопный приказчик принес без малого половину туши говядины; генеральша рассердилась.

— Я у тебя петухов спрашивала, а не говядину твою вонючую...

— Не извольте гневаться,— возразил приказчик, похлопывая по туше,— говядина у нас первый сорт, а вам куда петуха: естество у него лиловое, жесткое.

— Дурак ты, отец мой,— отрезала Степанида Ивановна и приказала кучеру пойти по домам спросить, не продадут ли птиц — барыня, мол, не торгуется.

Кучер, передав Смолькову вожжи, ушел. Из соседней галантерейной лавки вышел приказчик, держа картуз на отлет, и предложил только что полученного уральского балычку. Приглашали также зайти в мучной лабаз и в квасную. Какой-то лохматый мужик в бабьей кацавее привел на веревке продавать тощего телка.

— Отъезжайте, Николай Николаевич,— воскликнула разгневанная генеральша,— вот сюда, поближе к реке,— и стала внимательно глядеть на берег, где ходило множество кур и вспархивающих голубей...— Здесь его мучили,— прошептала она,— вон следы от колес, и эти птицы! Николай Николаевич, отъезжайте подальше от ужасного места... Злые, гадкие люди...

Генеральша заплакала в платочек, не выдержав волнений сегодняшнего дня. Смольков растерялся, упустил вожжу и в утешение сказал:

— Ободритесь, побольше энергии...

Кучер явился и объявил, что бабы ломят несуразную цену — по рублю семи гривен за цыплака, а он предлагал даже восемьдесят, а гусей, мол, сколько угодно.

— Ну, не глуп ли ты? — вытирая слезы, укорила его Степанида Ивановна.— Говорила я: нельзя торговаться... Иди за мной...

У ворот двухэтажного дома генеральша вылезла и вошла во двор. Во дворе у черного крыльца стояла с

решетом в руках худая мещанка в ярко-зеленом платье и звала:

— Цып, цып, тега, тега, уть, уть! — бросая из решета птицам размоченный хлеб... Вошедших Степаниду Ивановну и кучера она подозрительно оглянула: — Вам что нужно?

— Продайте мне вот этого,— сказала генеральша, с волнением глядя на голенастого красного петуха.

— Самим надобен, ищите у других.

— Я не торгуюсь. Сколько хотите?

— А вам зачем?..

— Это не ваше дело,— вспылила генеральша,— я спрашиваю, продадите петуха?

— Не мое дело, так на чужие дворы не шляйтесь,— с тоскливой злобой проговорила мещанка, отворачиваясь.

На следующем дворе оказалось, что петуха вчера только задавила свинья, а то бы непременно продали, в третьем месте совсем было удалось купить, но когда девчонка стала ловить покупку, петух заорал и улетел через забор.

После долгих хождений Степаниде Ивановне удалось приобрести трех птиц, и кучер посоветовал поехать в слободку. В слободке, очевидно, прослышали про барыню, которая не торгуется, и бабы нанесли великое множество петухов, прося за них совсем уже несуразные цены. Наконец лукошко, привязанное к козлам, наполнилось, и генеральша приказала поскорее гнать лошадей домой, так как солнце зашло и с запада надвигалась черная туча, усугублявшая вечернюю темноту.

Гладкая степная дорога, дойдя до пашни, испортилась: плугари, заворачивая плуги на обратную борозду, исцарапали путь; коляску стало подбрасывать так, что Николай Николаевич прикусил язык, лукошко трясло, и один из петухов, приподняв плетеную крышку, оглянулся, ударил крыльями, выпрыгнул и побежал по пашне, за ним выскочил другой и сел на траву.

— Стой, стой! Держи, держи его! — закричала генеральша, обхватив лукошко. Смольков проворно вылез из коляски и побежал за голенастым петухом, мель-

кая белыми панталонами по пашне. Петух заметался. Когда Смольков нацеливался, чтобы его схватить, нырял он между ног, и Николай Николаевич, потеряв равновесие, падал. Так они далеко забежали по пашне, и, только нагнувшись, можно было видеть на вечерней заре силуэты человека и впереди бегущей птицы. Степанида Ивановна подобрала смирного петушка, сидевшего в траве около коляски, поцеловала, посадила в лукошко и, вздернув юбки, побежала, спотыкаясь, на помощь Смолькову.

— Берегитесь, он страшно клюется,— кричал издали Николай Николаевич.

Промокший и грязный, вернулся он со Степанидой Ивановной к экипажу,— петух же удрал, где-то присев за кочкой.

Стал накрапывать дождь, подняли верх у коляски и скоро въехали в удельный лес. В лесу стало совсем темно, пропала из глаз серая полоса дороги. Только дождь стучал в кожаный верх экипажа да глухо роптали невидимые во мраке листья. Лошади шли шагом, потом остановились совсем, и кучер, нагнувшись, сказал, что придется переждать, пока прояснит, иначе можно сгубить коляску и коней, въехав на буреломное дерево или в канаву. Генеральша очень рассердилась, но делать было нечего; из саквояжа вынула она двухствольный, взятый из генеральской коллекции пистолет, положила на колени и проговорила громким шепотом:

— Никому не доверяю в такое время.

— Разве есть опасность? — поспешно спросил Смольков.

— Посмотрите, какая темнота, лица вашего не вижу, а здесь по дорогам шалят...

Лошади в это время захрапели, кучер прикрикнул на них, но они продолжали пятиться: кто-то, очевидно, приближался. Вот чавкнула нога по грязи, хрустнул сук.

Степанида Ивановна, услышав, как стучат у Смолькова зубы, прошептала:

— Перестаньте же, стыдно! — и, высунувшись из-за кожуха, сказала громко: — Не подходи, я стреляю!..

— Зачем стрелять,— совсем близко ответил кроткий голос,— я не лихой человек. Видишь — темень какая засилила — и глаз не надо...

— Кто ты?

— А сторож удельный. Изба моя неподалече, заходите, если не побрезгуете.

— Нет, благодарствуй. А что? Скоро прояснит?

— Прояснит,— ответил сторож уверенно,— бог милостив.

В голосе его было столько ласкового спокойствия, будто не человек это говорил, а шумело дерево листьями. В лесах рождаются такие голоса, в широких степях, и нет в них ни злобы, ни страсти, утром они звонкие, в сумерках вечерние. Слушая их, чувствуешь, как во всем — и в камне, и в птице, и в человеке — одна душа.

Умиротворилось сердце Степаниды Ивановны, пропал у Смолькова ночной страх, и долго еще слушали они, как, удаляясь, постукивал сторож палкой по стволам...

— Вот будто звезда проглянула,— сказал кучер негромко.

Дождь переставал; Степанида Ивановна, откинувшись в глубь коляски, улыбалась своим мыслям. Смольков вполголоса принялся декламировать французские стихи...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сегодня в двенадцать часов в монастырской церкви назначено было бракосочетание. Сонечка рано проснулась в белой своей постели и лежала, глядя на солнце, играющее на подоконнике и на полу. В окно неверным полетом влетели белые бабочки и вновь унеслись на свет. Сонечка перевела глаза и на стуле увидела приготовленное тонкое, в кружевах, подвенечное белье. Платье, заколотое в простыню, лежало около, и на нем стояла пара белых туфелек. Вечером, ложась спать, Сонечка очень боялась увидать поутру эти белые, приготовленные для нее вещи и долго не тушила свечи,

думая об ужасных подробностях, рассказанных Степанидой Ивановной тогда ночью. Думы эти растравили ее и распалили; подобрав под себя колени, зарылась она с головой и уснула только на рассвете.

Но сейчас с радостью чувствовала себя ясной и спокойной; может быть, только в страшной глубине сердца у нее была как бы натянута струна.

Сообразив, что не стоит два раза на дню переодеваться, Сонечка спустила на коврик ноги и осторожно развернула шелковые чулки.

«Пожалуй, протрутся,— подумала она,— такая тонизна»; из тумбочки вынула ножницы и, подняв к подбородку колено, стала подстригать ногти на ноге, но не коротко, как обычно, а округленно их выравнивая. Уличив себя в этом, Сонечка покраснела: «Вот глупости, кому это нужно»,— и подошла к умывальнику. Здесь опять вместо ежедневного казанского мыла лежало в новой серебряной мыльнице французское... «Какое душистое»,— еще подумала она и тщательно вымыла себе руки, шею и грудь.

Надела белье и остановилась в раздумье,— какое выбрать платье? Пока она так думала, вошла Люба, неся на обеих руках зеленое шелковое платье, в котором (Сонечка его сейчас же узнала) генеральша еще в молодости снималась.

— Ах, милая барышня, вы уж встали, генеральша вам этот туалет к утреннему чаю приказали надеть. Все еще спят, вы не торопитесь.

— Все равно, погуляю.— Сонечка покраснела и, с помощью Любы надев пахнущее старыми духами, шуршащее платье, вышла в сад.

Садовник поливал в клумбах георгины и отцветающие уже левкои и резеду. Сонечка ласково поздоровалась с садовником и осторожно, чтобы не оброситься, пошла по дорожке к пруду.

— Прощай, пруд, прощайте, мои липы! — сказала она громко и оглянулась — не подслушивает ли кто-нибудь. Но было совсем тихо, даже не кричали молодые и старые грачи — улетели на поля.

Сонечка села на скамейку, склонила голову немного набок и усмехнулась:

— Вы так и не пришли, а я выхожу замуж. До свиданья. Оставайтесь с вашей *высокой шляпой и черным плащом.*

Проговорив все это, она сломила соломинку и стала дразнить козявку, у которой на спине было нарисовано красными точками глупое лицо.

«Сколько этих козявок у нас дома».— И сердце Сонечки сжалось воспоминаниями милого, тихого детства...

Чай пили все по своим комнатам. Афанасий, состоя в этот день при Николае Николаевиче, суетился ужасно: чистил штиблеты, выколачивал платье; разболтал всем про какие-то необыкновенные подтяжки с колесиками у молодого барина. Несколько раз раздавался из окна голос Смолькова: «Афанасий!» — и Афанасий бежал, топая ногами так, будто без него вообще ничего не могло случиться.

Когда Сонечка вошла в генеральшину комнату, Степанида Ивановна стояла посреди чудовищного беспорядка. Повсюду валялись платья, белье, пахло духами, и, цапаясь клювом о клетку, кричал попугай. Брови у генеральши были подведены от переносицы почти до ушей, лицо пятнами обсыпано пудрой, в шиньоне торчал испанский гребень.

— Одеваться, мать моя! — воскликнула она.— Фу, как все делается не по-настоящему. Снимай платье, я тебя сейчас одену...

— Разве пора? — спросила Сонечка и на одну только минуту затрепетала.— Хорошо, я сейчас.— Генеральша помогла ей раздеться, оглянула и строго сказала:

— Ну, нет, это не белье. Люба, достань из шифоньерки — ты знаешь какие — с брюссельскими... Да поворачивайся, мать моя.

Затем, поворачивая Сонечку, трогая и разглядывая, генеральша забормотала:

— Здесь родимое пятно, это хорошо, на удачном месте. Я, признаться, думала, что ты кособокая. А это что? Софья! Ты по крыжовнику, что ли, ползала? Стыдно... Загар с рук сведи рассолом.

Затем, притянув к себе пунцовую от стыда девушку,

генеральша шепнула ей на ухо такое, от чего Сонечка похолодела, ахнула и замерла, чувствуя — вот рухнет все призрачное ее спокойствие.

Но она превозмогла себя и, со слезами на глазах, стала глядеть в сторону, предоставив генеральше возиться и бормотать, сколько хочет.

С этой минуты все происходящее потеряло для нее значение. Как во сне, она оделась. Пошла в кабинет, где на коврике опустилась перед Алексеем Алексеевичем на колени; приняла благословение походным образом, с надписью от полка; поцеловала дрожащую, с синими жилами руку генерала; потом проделала то же перед генеральшей; вместе с ней села в карету и поехала в монастырь, где за оградой в деревянной церковенке должен был ее повенчать заштатный поп.

По дороге, глядя в окно, замечала каждый куст близ дороги. Узнала на Свиных Овражках флаг с изображением петуха, поставленный иждивением Павлины, и улыбнулась. Ветка орешника со спелым орехом-тройчаткой задела ее по руке. У монастырских ворот поклонились две монашенки, как черные куклы. На песке, распушась, сидел глупый воробей, колесом его чуть не задело...

Сонечка сама отворила дверцу кареты, вылезла на паперть, помогла выйти генеральше и, под руку с нею, пошла по чистому половику, подбирая тяжелый шлейф. В церкви было ярко и зелено от листьев, льнущих извне к окнам. Солнце, разбитое на множество пыльных лучей, играло на золотом иконостасе. Сонечка вдохнула запах ладана и свечей и стала молиться.

Когда послышался шум в дверях, она догадалась, что приехал Смольков, угадала его голос, но, когда он, весь в черном, с испуганным лицом, стал подле, прошептав: «Здравствуй!», не узнала его и улыбнулась.

Священник начал обряд. Сонечка верила всей душой в совершающееся таинство. Когда приказали ходить,— словно полетела, не чувствуя пола под ногами. Рука ее не ощущала чужой руки, глаза не видели ничего, кроме огня свечи, и, когда махнули кадилом,— вдохнула грудью ароматный дым ладана. Свет свечи,

все увеличиваясь, разлился по всему ее телу, и кто-то сказал: «Невесте дурно».

Но она знала, что не дурно ей, а легко. Только боясь испугать добрых людей, решила она опуститься на землю и, стукнув туфелькой о плиту, почувствовала, как все тело покрылось капельками пота, рука Смолькова поддерживает ее и наклоняются странные его глаза.

Служба не прерывалась и скоро пришла к концу. Сонечку поздравили, а она все глядела на бледное лицо Николая Николаевича, думая: «Какой же он мне муж!»

В карете на обратном пути Смольков сказал особенным шепотом:

— Наконец-то, милая моя Соня! — и поцеловал ее в губы, а она, подняв брови, глядела, не отклоняясь, на эти такие близкие, странные и страшные сейчас, полузакрытые глаза мужа.

Генерал и генеральша, приехав первыми, встретили с образом молодых и повели к столу. Все громко старались шутить и смеяться. Сонечка, слушая их голоса словно издалека, чувствовала ту же легкость, как в церкви, и не притрагивалась к еде. Шампанское пригубила и выпила весь бокал и попросила еще.

— Она трусит, поэтому пьет,— уверяла генеральша, слишком много смеясь. Поминутно чокалась она, проливая вино на скатерть.

Генерал сказал:

— Жаль, что музыки нет, я бы пошел трепака!

— Все равно, выходи, выходи,— воскликнула Степанида Ивановна, покачиваясь, вышла на середину комнаты и подняла платочек.

— Эх, старина! — крикнул генерал, вскочил и лихо затопал ногами.

Генеральша покачнулась и, визгливо смеясь, упала бы, если бы не поддержал Смольков. Генерал продолжал топтаться... Сонечка, подперев щеку, глядела на них, и глаза ее были полны слез.

После обеда все, с тяжелыми головами, не отдыхая, начали слоняться по дому и не знали, что начать, потому что делать обычное казалось неловким.

В саду, около веранды, собрались дворовые и парни

с девушками из села,— разодетые в кумачи... По настоянию генерала Николай Николаевич вынес им четверть водки, а Сонечка поднос, полный орехов и пряников. Девушки, став полукругом, прославили молодых, захлопали в ладоши и пошли плясать, подпевая:

Ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, ду.
Била Дуня Ваню колом на леду.

Выискался музыкант на жалейке и подхватил припев; тогда из толпы выскочил парень, схватился за шапку, крикнул и, загребая тяжелыми сапогами, пустился плясать.

Сонечка, отыскав глазами в толпе своего красавца парня, теперь добродушно смеявшегося пляске, подумала с грустью: «Минуло все это, минуло, прощайте».

К вечеру народ ушел, и долго еще с плотины слышались песни и девичий визг. В саду и на веранде стало тихо. Вздохнув, генеральша принесла шкатулку с фотографиями и показала портреты еще живых и давно умерших. Алексей Алексеевич в молодости был красавец. О каждой карточке рассказывала генеральша долгие истории.

Генерал в свою очередь принес военную карту и описывал поход через Дунай.

Так старики делали, что могли, развлекая молодых. Когда же сошла ночь и отпили последний чай на той же веранде, Степанида Ивановна сказала:

— Дети, проститесь с нами и подите спать. Люба вас отведет в вашу новую комнату, я своими руками постлала белье и приготовила все, что нужно.

Николай Николаевич скрылся незаметно. Сонечка так смутилась, что стояла посреди террасы, словно иша помощи у людей. Степанида Ивановна обняла ее и, ласково уговаривая, повела.

Генерал остался один,— задумчиво всматриваясь в тусклую, давно отгоревшую полоску заката, курил он трубочку и думал о невеселой своей жизни. Наконец вернулась жена, села близко около него и вдруг, вся собравшись в комочек, сказала:

— Алешенька, приласкай меня, ты уж давно меня не ласкал...

Генерал бережно обнял Степаниду Ивановну, прижал к себе и стал гладить по волосам...

— Вот мы и отжили свой век,— сказал он негромко.

Генеральша покачала головой.

— Не говори так,— нам еще много, много предстоит впереди. Ах, только сердце у меня очень ноет...

В нижнем окне правого крыла дома, против веранды, зажегся свет,— это была комната молодых с особой дверью в сад — бывшая гостиная.

— Свет у них,— сказала Степанида Ивановна.— Глупые дети...

— Мне показалось, будто вскрикнули,— после долгого времени спросил генерал,— ты ничего не слыхала?..

— Дай-то ей бог,— прошептала генеральша.

Спустя немного стеклянная дверь во флигельке звякнула, от стены отделился Смольков и быстро зашагал на длинных белых ногах через клумбы к веранде, говоря задыхающимся с перепугу голосом:

— Степанида Ивановна, помогите, моя жена без чувств, я, право, не понимаю...

Степанида Ивановна поспешно поднялась, вгляделась:

— Прикройтесь же по крайней мере, сударь, наденьте панталоны,— воскликнула она с негодованием.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мокрые тучи заволокли небо, лишь вдали, у края степи, виднелся мутный просвет. Туда, к длинной щели под тучами, уходила черная разъезженная дорога. Пара почтовых лошаденок тащила кое-как плетеный тарантас по дорожным колеям, отсвечивающим свинцовой водой. Ямщик покрикивал уныло. Кругом — мокрые жнивья, ровные поля, тоска, степь.

Николай Николаевич, закутавшись в чапан, залепленный сзади лепешками грязи, потряхивался в тарантасе и покачивался в ту сторону, куда покачивался

тарантас. Нос его покраснел, душа была в глубочайшем унынии: ну и заехали! — мокрые тучи, мокрая голая степь, впереди тоскливый просвет, отражающийся в свинцовых лужах и колеях дороги, сутулая спина мужика на козлах да два лошадиных хвоста, подвязанные под самую репицу.

Рядом с Николаем Николаевичем потряхивалась на подушках Сонечка, тоже закутанная в чапан, в оренбургский платок. Молчит и думает. Молчит и ямщик, изредка подстегивая взъерошенную от мокрети, неопределенного цвета пристяжную. Молчит и Николай Николаевич,— еще бы! Не хватало еще и разговаривать среди этой безнадежной грязищи. И понесло же их из уютных Гнилопят через всю Россию — с пересадками, вонючими вокзалами и вот теперь на почтовых — в это захолустье к какому-то скучнейшему старику, Илье Леонтьевичу. Какая была надобность? Высказать родственные чувства? Родственные чувства обычно высказываются с гораздо большим успехом в телеграмме или в письме. Сыро, ногам холодно, от тряски болит голова, половинки отсиделись. Вот она, расплата за легкомыслие! Сейчас бы в Петербург! Господи! Посидеть бы хоть с полчасика в парикмахерской у Жана! Никогда, никогда ничего больше не будет, кроме этой дороги куда-то к черту, в щель под тучами!

— Соня, долго нам еще ехать? — спросил Николай Николаевич.

Сонечка отогнула воротник чапана, взглянула на мужа,— личико у нее было бледное, на щеке лепешка грязи,— оглянулась на степь.

— Мы еще Марьевку не проехали,— сказала она негромко и кротко,— проедем Марьевку, направо будет Хомяковка, а налево — Коровино, оттуда уже близко.

— Доедем,— сказал мужик на козлах, не оборачиваясь.

Николай Николаевич надул щеки и по крайней мере минут пять выпускал из себя воздух,— торопиться было некуда.

Наконец проехали Марьевку, увидели направо обветренные соломенные крыши Хомяковки, налево —

ометы, соломенные крыши и одинокую на юру ветряную мельницу Коровина. Сонечка начала волноваться, распахнула чапан, щеки ее порозовели: из-под горки поднимались поредевшие старые ветлы, желтые кущи сада, блеснула свинцовая вода длинных прудов, отразивших тучи.

— Репьевка,— сказала Сонечка, указывая на ветлы, на краснеющую за ними крышу деревянного дома.

Ямщик подстегнул взъерошенную пристяжную, прикрикнул: «Но, милые, выручай!» Покатили под горку, проехали мягкую плотину, где пахло вянущей листвой и сыростью пруда, встретили кучу грязных и охрипших от злости собак и остановились у крыльца, заехав колесом на цветочную клумбу.

Дощатый обветренный фасад дома с деревянными колоннами и с разбитым слуховым окошком посреди треугольного портика, замаранного голубями, был обращен к белесоватой щели в небе.

Сонечка выпрыгнула из тарантаса и, путаясь в полах чапана, взбежала на крылечко, за ней поплелся Николай Николаевич. Толстое бабье лицо метнулось за окошком, и пошли скрипеть двери. Сонечка звонко крикнула:

— Анисья, где папа?

— В саду, милая барышня, здравствуйте, с приездом...

Илья Леонтьевич с утра возился в саду. Мелкий дождь моросил на седую его бороду, на черную безрукавку, на сизую траву вокруг, на опадающие золотые листья берез. Налегая ногой на лопатку, покряхтывая, Илья Леонтьевич перекапывал розовый куст. Когда лопатка задевала за корень, он морщился, опускался на колени и пальцем отковыривал корешок, бормоча по давнишней привычке вслух:

«Терпение можно испытывать лишь до известной границы, далее — я могу впасть в раздражительность, и это дурно. Но если это дурно, все же не значит, что я не могу быть раздражителен».

Скверное настроение у Ильи Леонтьевича началось неделю тому назад по ничтожному поводу. Еще летом

он послал племяннику своему Михайле Михайловичу, по его просьбе, свой, лет двадцать лежавший в сундуке, дворянский мундир с золотым шитьем, совсем новешенький. Дворянские выборы давным-давно прошли, но Михайла мундира назад не присылал. При встрече Илья Леонтьевич не мог глядеть в глаза племяннику и сердился на него и на себя за мелочность. Хотя мундир Илье Леонтьевичу был совершенно не нужен, все же неделю тому назад он послал за ним нарочного, который и привез мундир, но не тот, что Илья Леонтьевич дал этим летом Михайле поносить, а какой-то весьма поношенный мундир с обшарканным шитьем. Тогда Илья Леонтьевич написал Михайле:

«Я оставил тебе мундир поносить, а ты прислал мне взамен какие-то скверные обноски. Мне обидно не то, что ты взял мой мундир, прислав негодный, а обидна эта манера, взгляд на вещи; также и то, особенно, что ты, обидев меня, сам же меня считаешь мелочным, что и высказывал Анне Аполлосовне, и даже смеялся, представляя в жестах, как, будто бы я, надев мундир, расхаживаю один по дому... Повторяю, что мундир мне не нужен и расхаживать в нем я не собираюсь, тем более — потешать других, но прошу тебя все же мой мундир вернуть в целости, а присланный тобою, обшарканный, отсылаю...» И так далее и так далее...

Досадовал Илья Леонтьевич на всю эту историю и не мог найти в себе ни подобающего спокойствия, ни душевной тишины. А нынче ночью к тому же и видел во сне Михайлу,— стоит будто бы он в новом мундире, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и показывает язык.

Отковыряв пальцем раздражавший его корень розы, Илья Леонтьевич, кряхтя, вытащил из ямы куст, обил землю и завернул его в рогожу.

В это время в саду появилась Анисья, крича еще издали:

— Илья Леонтьевич, барышня приехали!

Это уже было ни на что не похоже: внезапно, не известив, свалиться как снег на голову.

Подходя к дому, Илья Леонтьевич увидел, как ямщицкий тарантас съезжал с цветочной клумбы и лохма-

тая пристяжная походя хватила зубами ветку недавно посаженного тополя, на котором еще не осыпались желтые листья...

— Разбойник,— закричал Илья Леонтьевич,— что ты мне весь палисадник вытоптал!

Ямщик покосился на сердитого барина и, пристегнув лошаденок, ни слова не отвечая, уехал. На лестнице, на крылечке, в лакейской,— повсюду на чисто вымытых сосновых старых полах увидел Илья Леонтьевич лепешки грязи...

«Дом в конюшню обратили»,— подумал он, еше сильнее раздражаясь на то, что вот приехала дочь с мужем, а он только и знает, что сердится на мелочи.

Илья Леонтьевич пошел к себе в спаленку за занавеску, вымыл в рукомойнике руки и лицо, расчесал влажную бороду и вышел в столовую, где слышался запах дорогого табачного дыма.

Сонечка сидела на диване,— было на ней незнакомое (Илья Леонтьевич осудительно подумал: «из Парижа, чай, выписали») шелковое платье, шелковые чулочки, тоненькие башмачки копытцами, лицо похудевшее, чужое, волосы подобраны неестественно,— чистая кукла! Николай Николаевич стоял у окна, глядя через заплаканные стекла на умирающий сад. Голова у зятя была огурцом, с плешинкой, спина унылая. «Фертик»,— подумал Илья Леонтьевич и сейчас же с отвратностью подавил в себе гадкую мысль. Сонечка, увидев отца в дверях, легко вскрикнула, подбежала на каблучках-копытцах. Илья Леонтьевич расцеловался с дочерью.

— Папа, мой муж,— она указала глазами и улыбкой на почтительно, почему-то даже с оттенком некоторой скорби, кланяющегося Николая Николаевича, затем, умоляюще глядя в глаза отцу, так вдруг покраснела, что выступили слезы.

Илья Леонтьевич обнял зятя,— поцеловал в висок.

— Ну,— сказал он со вздохом,— поздравляю, рад, рад. Спасибо, что приехали... Садитесь.

Он сел на старенький кожаный диванчик, Сонечка робко присела отцу под крыло, Николай Николаевич сел напротив, нагнул голову.

Сквозь заплаканные стекла едва теперь был виден

сад, весь мокрый и серый в тумане, за пеленой отвесного дождичка. Полукруглые окна вверху были затянуты паутиной. Казалось, пыльная эта паутина висит во всех темных углах столовой, во всем репьевском доме.

Сонечка стала рассказывать,— вкратце и немного сбивчиво, как урок,— о свадьбе, о Гнилопятах, о генерале и генеральше, о поездке. Илья Леонтьевич кивал бородой, вынул из кармана и вертел в пальцах тавлинку с нюхательным табаком.

— Жалею, жалею,— сказал он,— хотел быть на свадьбе, но не мог: дорога тяжела, расходы большие и хозяйство не на кого было оставить. Да вы, по правде сказать, и без меня хорошо обошлись. Не сетую, не сетую,— новое поколение, новые нравы... Вчера познакомились, а сегодня уж и обвенчались, а завтра и разъехались по сторонам... В шутку это говорю, да, да, шучу.— Он захватил щепоть крупной крошки французского табачку, прищурил правый глаз и нюхнул, затем узловатыми пальцами слегка отряхнул бороду.— Шучу. Рад, что приехали. Ну, как же вы думаете начать жить?

Николай Николаевич моргнул несколько раз, затем сделал неопределенный жест... Глаза у него слипались от сумерек, от скучнейшей этой беседы, от усталости после дороги.

— Мой дядя определенно обещал мне пост в министерстве иностранных дел,— сказал Николай Николаевич.— Вот вы нас здесь побалуете несколько дней, потом поедем.

— Что же так? Несколько дней? Я не гоню, живите, покуда можно.

— Нет, нет, мы здесь поживем,— поспешно сказала Сонечка.— Знаешь, Николай, как хорошо здесь будет осенью: заморозки, иней, хрустальный воздух. Длинные вечера, беседы... Будем вслух читать...

Николай Николаевич странно, пустыми глазами посмотрел на жену,— она опустила голову.

Илья Леонтьевич сказал после некоторого молчания:

— Жить в деревенской глуши — надо иметь привычку. Ежели вы,— он из-под бровей уставился на зя-

тя,— ищете поминутных развлечений,— деревня вам покажется скучна. Здесь не найдете ни суетливых улиц, ни гостиных с пустой болтовней, ни развращающих душу и тело ресторанов. Но вы найдете здесь тишину, мудрый укрепляющий труд, суровую справедливость действительности. Вот все мои родственники — та же Соня, тот же племянник Михаил — думают, что я все хандрю и сержусь. Неправда,— по натуре я не хандрун, у хандруна в глазах потемки, я же вижу ясно и полагаю, что глупо считать меня за ворчуна.— Борода у него затряслась, он опять нюхнул табачку.— Все мы подвержены слабости и падению. Мы не хотим, мы страшимся понять, что все окружающее, равно как и все находящееся внутри нас, дано не нам одним, но и нашим предшественникам и будущим поколениям. Мы лишь приказчики наших сокровищ. Мы лишь ответчики за большее или меньшее радение о нашем имуществе. От непонимания этой суровой истины — все наши пламенные желания, вся жажда наслаждений, для которых нужны деньги и деньги,— накопление и вновь расточение. Оттого и вечное недовольство, помрачение рассудка, слепота...

«Эге,— подумал Смольков,— старик-то вон куда гнет... Нет, брат, на эти штуки меня уже ловили, шалишь».

— Пример я беру,— продолжал Илья Леонтьевич,— скажем, есть у меня мундир с золотым шитьем, в полной сохранности. Должен я его швырнуть какому-то шалопаю на ветер, или я должен его сохранить, беречь, ибо я его временный владелец? — Илья Леонтьевич сильно запустил в нос две понюшки.— Можно, разумеется, представить, что старик выжил из ума и по вечерам разгуливает в мундире по пустым комнатам... Да, да, мне мундир не нужен,— пускай его носят на здоровье,— важен принцип...

Николай Николаевич, сморщившись, старался понять: в чем тут дело, о каком мундире говорит Репьев? Но так и не понял,— мигреневой болью вдруг разболелся затылок. А Илья Леонтьевич все продолжал говорить, путано и сложно,— сам себе отвечал на мысли, ворчал и нюхал табак.

А за окном лил и лил дождик на примятую траву, на рыхлые клумбы,— шумел в водосточных трубах.

Николай Николаевич давно уже перестал слушать. «Действительно, ничто другое здесь и не придет в голову человеку,— подумал он,— тоска, мокреть, от самого себя стошнит».

Наконец Анисья внесла самовар, стреляющий искрами из решетки, и вздула лампу над белой скатертью круглого стола. В комнате стало уютнее,— дождь и сырость ушли за окна... Илья Леонтьевич сунул тавлинку в карман и сказал, подымаясь с диванчика:

— Прошу, чем бог послал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вторую неделю доживали молодые Смольковы в Репьевке. А дождик, не переставая, лил и лил,— мелкий отвесный. Сырость и скука проникли во все углы репьевского дома. В штукатуренных стенах повсюду торчали гвозди; на диванах, на просторных креслах лежали пыльные связки картин, портретов и книг; под диванами, под ножками кресел стояли заколоченные ящики. В иных комнатах никогда не отворявшиеся окна были так затянуты паутиной, что едва пропускали свет. Странный был этот дом.

Лет пятнадцать тому назад, когда внезапно умерла Марья Аполлосовна, Сонечкина мать, Илья Леонтьевич в безмерном отчаянии решил было навсегда покинуть усадьбу — переехать в город. Картины, книги, вещи были уже упакованы в ящики,— но как-то так вышло, что не переехали. Часть вещей снова поставили на свои места, а часть так и осталась лежать в ящиках и на диванах. Несколько раз Илья Леонтьевич заговаривал с дочерью, что хорошо бы привести дом в порядок, развязывал пачку портретов, задумывался над ними и клал их на старое место. Но сейчас, по случаю приезда молодых, все же прибрали наверху две комнаты — спальню и горенку, где супруги могли без помехи с глазу на глаз проводить время. Супруги время проводили

однообразно: вставали поздно и в кроватях кушали остывший чай, спускались вниз только к завтраку, когда Илья Леонтьевич, насуетившийся спозаранку по хозяйству, уже сидел на своем месте — на кожаном диванчике — и поварчивал в бороду.

После завтрака Сонечка вместе с Анисьей занимались переборкой старых вещей — носильного платья, белья, кружев, лежавших в ящиках огромных комодов. Николай Николаевич бродил без определенного занятия по комнатам, — курил, глядел в окошки или свистал, заложив пальцы в кармашки полосатого коричневого жилета. Илья Леонтьевич уходил соснуть. Затем пили чай. Затем сидели в сумерках, — любимый час Ильи Леонтьевича, когда он, понюхивая табачок, заводил обычно длинную беседу о предметах высоких и отвлеченных. Затем — ужинали и расходились по своим комнатам до следующего утра.

Днем и ночью шумел дождь в водосточных трубах. Николай Николаевич бродил по дому, поглядывал на углы, где висела паутина. Такого уныния он еще не испытывал в жизни. В ожесточенной душе его зрело отчаяние.

— Коленька, может быть, ты почитать что-нибудь хочешь? Вот, я взяла у папы «Вестник Европы», — сказала Сонечка, с тревогой всматриваясь в бледное в сумерках лицо мужа, сидевшего у стола перед недопитым стаканом чая.

— Уволь, пожалуйста, от твоего чтения, — сказал Николай Николаевич. — Твой отец очень странный человек, я нахожу. Да, да, очень странный.

Сонечка положила книгу, села у стола.

— Что случилось, Коленька?

— В том-то и дело, что здесь ровно ничего не случается.

Голос его как-то даже особенно зазвенел. Николай Николаевич взял со стола книгу, раскрыл, закрыл.

— Прислал «Вестник Европы»... Ха, ха... Может быть, мне также четьи минеи надо читать? Я совершенно серьезно начинаю подумывать, не заняться ли искусственным выведением цыплят или, например,

поступить в сельские учителя... Из меня бы вышел достойный местный деятель...

Николай Николаевич швырнул «Вестник Европы» под диван, отошел к окну и, сунув пальцы в карманы жилета, засвистел мотивчик:

Папиросочка, мой друг,
Ты меня пленяешь,
Сон навеваешь,
Люблю тебя всей душой,
Всей душой, да.

После того как песенка о папиросочке была спета, Сонечка сказала чуть слышно:

— Я давно заметила, что ты сердишься на папу... Я не знаю, что у вас произошло... Но я знаю — папа нам хочет только добра...

— Папа хочет! — воскликнул Николай Николаевич, с яростью оборачиваясь. — Папа хочет, чтобы я выучился доить коров и так далее. Да-с, это он мне сам вчера заявил в виде аллегории. Папа хочет сделать из меня высокоморального человека, второго Франциска Ассизского... А денег нам на поездку в Париж давать не хочет!..

— Коля!

— Что Коля? От этих — двадцать четыре часа в сутки — разговоров под дождик о душе и всемирной любви меня тошнит и рвет...

Николай Николаевич выпуклыми глазами уставился на Сонечку, — под его взглядом ей стало холодно спине, упало сердце.

— Я раздражен, да-с. Мало того, — я в крайнем возмущении. Только скупые старики и старые, истерические бабы могут разглагольствовать о величии души, о любви в шалашах, о разных Эдипах и прочей омерзительной гадости... Но ты — моя жена, ты не должна способствовать этому жалкому надувательству... Ты должна понять, что я светский человек, а не пастух... Я хочу жить, а не торчать целые дни носом в мокрых окошках... Нам нужны деньги... Мы должны успеть к началу сезона быть в Париже... У меня есть план страшно выиграть в Энгиен в рулетку... В де-

кабре мы должны вернуться в Петербург... Во всяком случае — я должен, я это сделаю, черт возьми!

Он повернулся на каблуках, фыркнул носом и выбежал из столовой. Сонечка осталась сидеть у стола, опустив на кулачок голову. Ею овладело оцепенение, истинная грусть. Твердо и ясно проговорила она те слова, о которых раньше боялась и думать:

— Не любит меня, никогда не любил.

Все это время, с первой встречи со Смольковым в Гнилопятах, жила Сонечка как бы в забытьи, — в ней все было притушено и заглушено. Генеральша — тогда ночью со свечою — нагнала на Сонечку ужас и разбудила любопытство. Смольков использовал его. Сонечка смутно чувствовала, что отношения ее с женихом — а затем с мужем — «совсем не то», но не знала, что же «то», и лишь всеми силами души стремилась наградить Николая Николаевича качествами необыкновенными, прекрасными, возвышенными, и самой быть такою, какою он хотел, чтобы она была.

Минутами ей дико казалось ощущать себя — новую: все в ней было новое, чужое, не пролюбованное — платье, белье, башмаки, движения, голос, запах волос (раньше она думала, что завиваться и душиться — дурно). Бывали минуты, когда в ней поднималось тошненькое отвращение к этому новому существу. Но она повторяла: «Так нужно, так хочет Коленька».

Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелев, приблизил к Сонечке страшное лицо свое — выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, — хрустнул зубами и повалился вместе с женой на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины.

Затем прибежала генеральша, поила Сонечку каплями, прикладывала припарки, с кривой усмешечкой, шепотком на ушко спрашивала об ужасном и стыдном.

Николай Николаевич, крайне недовольный всей этой возней с припарками, бродил в саду и громко чихал, так как в эту ночь выпала обильная роса.

В первые дни Сонечка думала, что сойдет с ума от страха и отвращения, — сама себе казалась растоптанной, как кошка, попавшая под колесо. Но вот — с ума не сошла и плакать перестала. Николай Николаевич был весел и даже шутлив, нежны и ласковы — генеральша и генерал.

И уже Сонечка вновь корила себя за то, что глупая, за то, что — неумелая жена. Быстро мелькнула послесвадебная неделя в Гнилопятах. Николай Николаевич сам настоял на поездке к тестю. Прощанье было грустное, — генеральша расплакалась, стоя на крылечке, в тоске подняла глаза к небу, где в осенней синеве улетал клин журавлей. Алексей Алексеевич вытирал глаза малиновым платком:

«Прощайте, дети, дай бог вам счастья, живите долго. Увидишь отца, — кланяйся ему, Сонюрка, обними. Видно, уж нам не увидаться с ним. А жаль, хороший старик... Напомни ему, как мы в шахматы играли».

В дороге Николай Николаевич был несносен, — капризничал, сердился, жаловался на желудок и на сквозняки. У Сонечки точно оторвалась душа после прощанья на крылечке с генералом и генеральшей. От духоты вагона, от табачного дыма, от визгливого голоса Николая Николаевича болела голова, — это были будни, настоящая жизнь. Ах, журавли, журавли в осеннем небе над Гнилопятами!

И вот здесь, в отцовском доме, под шум дождя, в сумерках разоренных комнат, где торчали гвозди, висела паутина, Сонечка почувствовала, что далее не может притворяться и лгать себе и ему. С печалью и твердостью сказала она: «Не любит, и я не любила и не люблю его».

Она вздохнула, заложила руки за спину и пошла в библиотеку, где было слышно, как чиркал спичками Николай Николаевич.

В библиотеке вдоль трех стен стояли черные высокие шкафы, полные ветхих книг. Пахло мышами и книжной плесенью. В каминной трубе, с давних времен заткнутой вороньим гнездом, подвывал ветер. Николай Николаевич сидел на библиотечной лесенке, зажмурив глаза от дыма папироски.

— Знаешь, здесь пять тысяч книг и все — духовно-нравственного содержания, — сказал он и швырнул книжку в кучу книг на полу. — Скажи — сделай милость, — что за люди здесь жили? Отшельники? Или их всех, что ли, отсюда живыми на небо брали?

— Эту библиотеку начал собирать прадедушка, Илья Ильич, масон, — сурово ответила Сонечка. — Он был возвышенный и образованный человек, мы чтим его память. Таким же был и дедушка, такой же и отец. Николай, можно тебя отвлечь на минуту? Я бы хотела спросить об очень серьезном...

Сонечка, заложив руки за спину, смутным очертанием ходила вдоль окон, за которыми повисли тяжелые, мокрые ветви сосен. Николай Николаевич чиркнул спичкой, усмехнулся, сказал:

— Ого, это что-то новое у тебя.

— Я хочу спросить, Коленька... Мы живем вместе, целуемся, смеемся, вот теперь — скучаем. Но я не знаю — любишь ты меня? — Сонечка приостановилась, как бы прислушиваясь к этим новым для нее словам, к спокойному, твердому, тоже совсем новому голосу. — Я хочу сказать, — нужна ли я тебе душевно? Конечно, если бы я тебе совсем не нравилась, ты бы не был моим мужем... Нет, я хочу спросить, — любишь ли ты меня, именно меня... Есть ли у тебя хоть немного жалости ко мне?

Николай Николаевич молчал. Сонечка пронзительно всматривалась, — кажется, он опустил глаза, кажется — жалобно, жалобно у него задрожали губы... И вдруг ее самое пронзила жалость к этому в сумерках сидящему на лесенке человеку. Сонечка стремительно схватила его руку. Но он руку освободил, отошел к пыльному окну и сказал:

— Дорогая, мы не дети. Нужно жить реальностью, а не фантазиями. Подобных разговоров просил бы не

возобновлять. Ты не глупа, мой друг, и отлично понимаешь, что я прискакал из Петербурга и женился на тебе лишь в крайнем отчаянии. — Он поднял руку, останавливая ее восклицание. — Я был принужден обстоятельствами, на шее у меня висела петля. Если бы ты была уродом, — и тогда бы я на тебе женился... К счастью, ты оказалась хорошенькой. Ты очень миленькая женщина... В чем же дело? Просто, в этом мне на этот раз повезло... Ты видишь перед собой человека, который совершенно искренне доволен... Что же еще тебе нужно? Чтобы я лгал о «духовном общении», «сродстве душ», влез в халат и елейным голосом читал бы «Отцов церкви» по вечерам?.. Я не сутенер, я себя не продавал...

— Николай, ради бога, что ты говоришь!..

— Пожалуйста, без этих «ради бога»... Я же ведь не спрашиваю — для чего ты вышла за меня... Отлично знаешь, что у меня ломаного гроша за душой нет... Нечеловеческой красотой не блистаю... Вышла потому, что срок пришел, нужен мужчина... И вообще все, что произошло, — вполне естественно, нормально и прилично... Но уж когда мне вместо денег, на которые я имею право, обещают загробное блаженство, требуют от меня сродства души, при этом же считают меня прохвостом, — это, дорогая моя, свинство и шулерство. Этого я повторять не перестану, покуда твой отец не даст мне денег, вексель, закладную, — плевать, все равно...

Он слез с лесенки, фыркнул и вышел, но на этот раз уже не засвистал про папиросочку. Сонечка опять осталась одна. Безнадежное омерзение, как мрак, опустилось на ее сердце. В окна дребезжал дождик, ветер подвывал в трубе, заваленной вороньим гнездом. Ох, если бы можно было содрать с себя всю опоганенную кожу!

Смольков был мудр во всем, что касалось удовольствий, — поэтому перед сном всегда мирился с той женщиной, с которой ложился в постель.

Так намеревался он поступить и с Сонечкой в вечер разговора в библиотеке. Ужин прошел в молчании. Илья Леонтьевич дремал, намаявшись по хозяй-

ству. Сонечка сидела как истукан, опустив глаза, — не притрагивалась к еде, щипала корочку хлеба. Николай Николаевич покушал обильно. Наливая себе из графина воды, подмигнул и сказал:

— А ведь чертовски вкусный напиток — вода. Еще немножко — и я привыкну пить воду.

Сонечка подняла брови. Илья Леонтьевич сказал хриповато и сонно:

— Вино разрушает организм и вместе с ним духовный скелет человека, вода же полезна.

Николай Николаевич подтвердил, что действительно вода полезна, но разговор не наладился. Тогда Смольков простился с тестем, пристально посмотрел на Сонечку и пошел наверх. Разделся, надушился, лег в постель и с удовольствием закурил папиросу. Сонечка не шла. Он выкурил три папироски. Черт знает, что такое! Сидят, наверно, с отцом на диванчике и тянут мистическую резинку!

Лежа и куря, Николай Николаевич стал припоминать все несправедливости, испытанные им за эти дни в Репьевке. Возмутительно! Обращаются с ним, как с малолетним преступником! Спит — значит грех. Ходит — грех. Курит — грех. Раскроет рот — грех, ужасно, преступно! Тьфу! Наняли раба! Купили мужа за ломаный пятак!.. Отвратительнее всего было то, что в кошельке Николая Николаевича оставалось только три рубля тридцать копеек. «Пять тысяч томов, — подумал он. — Если бы старик вдруг сегодня ночью помер, — продать бы эту библиотеку: полгода беззаботной жизни в Париже!» Николай Николаевич стал представлять, как тесть, Илья Леонтьевич, проглотит дробинку от дичи, дробинка попадет в слепую кишку, — ну, конечно, старику — крышка... И вот — все перевертывается в жизни... В половине десятого — прогулка верхом по Булонскому лесу. В одиннадцать Николай Николаевич переодевается к завтраку. Идет пешком в кафе Фукьетц на Елисейских полях. Садится на воздухе, — палка между ног, шляпа на затылке, в петлице — фиалка. Гарсон наливает коктейль «Мартини». Мимо бегут девчонки. Плывут струи духов, сверкают глаза из-под огромных шляп, мелькают креп-

кие ножки. Он бросает мелочь гарсону, кладет трость на плечо и идет — куда? К Лярю? Нет, к Грифону. Маленький ресторан, диваны красной кожи, посредине — тележка с гигантским блюдом, покрытым серебряным колпаком, — гордость дома Грифон, единственное в мире фо-филе! Черт! А вечер! Тугая рубашка фрака, шелковый цилиндр, надвинутый глубоко! Огни, огни и пахнущая ванилью и пудрой золотая пыль Монмартра. Черт, — и все это решает ничтожная дробинка...

Послышался скрип винтовой лестницы и — шаги жены. Николай Николаевич погасил окурок и сделал сладенькое лицо. Сонечка вошла, не взглянув на мужа, присела к туалетному зеркалу и не спеша стала вынимать шпильки из волос.

— А я заждался. Где ты пропадала? — спросил Николай Николаевич и, опершись о локоть, исподволь завел разговор о мужском самолюбии, о лишних словах, сказанных в гневе, о честности прежде всего и о вреде романтики и мистических настроений. Голос у него был бархатный.

Сонечка медленно чесала волосы перед зеркалом, — не отвечала и не слушала. Как давеча сжалось сердце, так и не отпускало, — холодная лень овладела ею. Она заплела волосы в косу, поднялась и зашла за распахнутую дверцу платяного шкафа, расстегивая платье и раздеваясь.

— Ну, детка, это глупо, — сказал, вытянув губы, Николай Николаевич, — иди же ко мне... Ты знаешь, как я люблю тебя голенькую.

Он потянулся и захлопнул дверцу шкафа. Сонечка со злобой вскрикнула, прикрылась рубашкой. Он все же поймал ее за локоть, но она резко выдернула руку и стала вдруг такой ненужной и некрасивой, что Смольков дернул на себя одеяло, повернулся спиной.

— Ну, и убирайся! Холодная лягушка! Деревяшка!.. Подумаешь — одна-единственная. Ханжа!

Он с яростью задул свечку. Сонечка легла рядом, с самого краю, вытянула руки поверх одеяла и стала глядеть в темноту. Она знала, что не заснет всю ночь, и приготовилась лежать терпеливо.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Николай Николаевич, несмотря на всю видимость, был робок, а теперь, когда денежные средства его не превышали трех рублей тридцати копеек, впал также и в нерешительность.

Чего, казалось, проще — поговорить с тестем о деньгах? Но у него сердце замирало. А вдруг под каким-нибудь предлогом старик откажет! Кошмар! Николай Николаевич подталкивал Сонечку на разговор с отцом (этим и объяснялась сцена в библиотеке). Но Сонечка была, как известно, глупа и не могла понять, что только от денег сейчас зависит и ее и его счастье. А тесть помалкивал.

Над садом, над мокрыми ветлами лежало беспросветное небо. Земля, не принимая больше влаги, взбухла и стала оползать на неровностях дорожек и клумб. Николай Николаевич продолжал слоняться по дому, барабанил ногтями в стекла, но, конечно, такая жизнь могла убить кого угодно. В крайне нервном состоянии он ждал подходящей минуты для разговора с хитрым стариком.

И вот минута эта наступила. День начался, как обычно. Сонечка встала рано и поспешила спуститься в столовую, где Илья Леонтьевич, согнувшись над своей чашкой, пил чай с горячими лепешками. Сонечка поцеловала отца в руку и в висок и села напротив.

— Анисья просила выдать сахару и крупы, — ты дашь ключи, папочка?

Илья Леонтьевич полез в карман, выбрал связку ключей, не спеша отыскал ключ от кладовой и подал его вместе со всей связкой Сонечке.

— Одну ее все-таки не оставляй в кладовой, сама запри дверь. Сахару идет, я тебе скажу, ужасно много у нас. Не в сахаре, конечно, дело, но чрезмерное употребление его вызывает в организме отложение солей и жиров. Ну, да бог с ним, с сахаром. Как спала?

— Спасибо, хорошо.

— У вас все благополучно, значит?

— Спасибо, да...

— Ну, ну, а то я смотрю, как мыши на крупу оба надулись... Вставать нужно раньше и раньше ложиться — в этом вся сила, скажи это мужу-то... А то — спит, как медведь.

— Скажу.

Сонечка собрала в ладонь крошки на скатерти и ссыпала их в чашку. Илья Леонтьевич, кряхтя, поднялся со стула. Он и Сонечка надели резиновые плащи, калоши и вышли на двор. Илья Леонтьевич сейчас же заметил беспорядки около каретника и пошел туда, повторяя в досаде:

— Ах, кляузники! Ах, черти окаянные!

Сонечка побрела к пруду, мутному сейчас и полноводному. Тихо, тихо шумел дождь по воде, по ветвям огромных, корявых осокорей, по вянущим листьям под ногами.

Сонечка смотрела на пруд, на еще зеленые бережки, слушала однообразный шум дождя, вдыхала запах увядания, и душа ее в этой печали словно набиралась сил для большей беды.

Возвращаясь домой, продрогшая, с капельками дождя на волосах, полуприкрытых капюшоном, Сонечка увидела у крыльца работника, гонявшего сегодня на почту, и взяла у него «Вестник Европы», газеты за три дня, бандероль — семейный каталог и — на имя Н. Н. Смолькова — телеграмму и письмо.

Николай Николаевич, только что поднявшийся с постели, сидел в столовой, курил и зевал до слез.

— Тебе, — сказала Сонечка, положив перед ним телеграмму и письмо, и пошла наверх. У Смолькова собралась кожа на лбу, некоторое время бессмысленными глазами глядел он на телеграмму, затем осторожно разорвал заклейку, повернулся к свету и прочел:

«Назначен Париж посольство вторым секретарем точка поздравляю браком обнимаю точка Петербург не заезжай Ртищев...»

— Ура, — шепотом сказал Николай Николаевич, — ура! Свободен! Жизнь! Париж!..

Он пробежался по комнате, глубоко засунув кулаки в карманы штанов. Затем неслышно, на цыпочках,

принялся лягаться ногами вбок, вернулся к столу, взял письмецо, с любопытством повертел, понюхал, — гм! — распечатал, — каракулями было написано:

«Я слышала — ты женился, — дурак. А вот мне Викторчук — шулер — выиграл в игорном дому двенадцать тысяч, — я их моментально положила на сберегательную книжку. И Викторчука я бросила, потому что он скотина. Люблю тебя, *прямо помираю.* Третьего дня мы в одной компании напились, в рояле устроили аквариум, налили туда пива и напустили сардинок, — вот было смеху, у Шурки Евриона — корсет лопнул. Приезжай скорей, — женатый, вот свинья! Жене письмо не показывай. Целую тебя незабвенно.

Мунька».

Старым, разгульным временем пахнуло на Смолькова от записочки Муньки Варвара. «Вот это — люди, жизнь! Вот эта женщина любит меня. Зверюга!»

Сонечка сидела на полу перед выдвинутым ящиком комода и перебирала старые платья. В комнату ворвался Николай Николаевич, потрясая телеграммой.

— Сонюрка, ура! Назначен в Париж... Смотри, читай, — вторым секретарем, через год — первый секретарь, затем советник посольства... Когда поезд? Нельзя ли нам еще сегодня отсюда уехать?

Сонечка прочла телеграмму и опять нагнулась над ящиком с прабабушкиными вещами.

— Собираться нам — полчаса. Некоторая задержка только за... папой (он впервые так назвал Илью Леонтьевича). Понимаешь, — я готов здесь хоть всю зиму прожить, но долг, долг: мы все обязаны служить государству!

Сонечка опустила на колени кружевной чепчик, подняла голову, взглянула на Николая Николаевича. Глаза у нее были синие, спокойные.

— Я не поеду с тобой, Николай...

— То есть — как?.. Ну, да, — ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперед... Гм... Это имеет некоторый резон...

Я, так сказать, скачу передовым, устраиваю дела (надо же осмотреться), меблирую квартиру... В ноябре — декабре ты приезжаешь в Париж, прямо в свое гнездышко... Но как я буду тосковать по тебе!.. Детка моя...

— Нет, Николай, я совсем не поеду в Париж...

— Почему?..

— Я не люблю тебя.

— Постой, постой! — Он замигал рыжими ресницами, вдруг изменился в лице, провел рукой по лбу. — Ну да, ты — о том разговоре в библиотеке. Чепуха, мелочи! Я люблю тебя, *прямо помираю.* У тебя прескверный характер, должен тебе сказать. Молчишь, и вдруг — бац! Сонюрочка! — Он нагнулся и поцеловал ее в пробор. — Ну, моя детка незабвенная. Поди поговори с папой.

Упрямым движением она освободила темя от его поцелуя.

— Я не люблю тебя. Уезжай, куда хочешь.

Николай Николаевич молча стоял за ее спиной. Сонечка глубоко засунула руки в ящик, вытащила кучу шуршащих платьев, положила их на колени. Ее затылок с чистеньким пробором в русых волосах был упрямый и неподкупный.

— Я понимаю — у тебя настроение. Но настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы. Прошу тебя, Соня, поговори с отцом, — у меня три рубля тридцать копеек...

— Я не люблю тебя, Николай, — в третий раз тихоньким, но твердым голосом сказала Сонечка.

— Тьфу! — Николай Николаевич даже плюнул, подумал: «Народится же на свет такая дура...» Хлопнул дверью и пошел вниз.

Когда удалились шаги мужа, Сонечка уронила руки на кучу прабабушкиных робронов, пахнущих пачулей, и, не сдерживаясь больше, принялась плакать. Слезы капали часто, обильные, крупные, точно капли дождя с листьев. Она не вытирала их и не жалела.

Тесть, как и надо было ожидать, сидел в столовой на диванчике и нюхал табак. Николай Николаевич крупными шагами озабоченно подошел к нему и показал телеграмму.

Илья Леонтьевич прочел и ни особенной радости, ни изумления не выразил.

— Ну что же, очень хорошо. Когда думаете ехать?

— Я, если позволите, еду завтра — передовым... Жена думает задержаться некоторое время... Я — завтра, если...

— Вот как, — не вместе едете?

— Нет... Я — передовым... То-се... Квартиру присмотреть... Суета... То-се...

Николай Николаевич замолчал, надул щеки. Пальцы у него на руках и ногах замерзли. Тесть постукивал по лубяной табакерке.

— Ну, ну, — сказал он тихо, — это дело ваше. Новое поколение, новые нравы. Дело ваше. Вы верующий, Николай Николаевич?

— Я? — Смольков даже вздрогнул.

— Богу на ночь молитесь?

— Молюсь... Бывает, иногда манкирую...

— В церковь ходите?..

— Бывал.

— Вы простите меня, старика, давно я хотел побеседовать с вами на эту тему. Все откладывал, — грешен в нерадении... Завтра уедете, бог знает, когда увидимся. Но вы муж моей дочери, ее духовный водитель...

У Николая Николаевича сразу же заболел низ живота, заскулило во всем теле невыносимо...

— Дорогой тесть, на минуту, простите прерву вас... — Он выкрикнул это так отчаянно, что Илья Леонтьевич поднял брови и посмотрел на него. — Дорогой тесть... Я чертовски в глупом положении... Не рассчитал, были чертовские расходы. Осталось три рубля с мелочью... Глупо. Что?

— Денег вам нужно?

— Да, да... Именно, именно. Чертовски...

— Каким же образом я могу вам дать денег, — не понимаю еще.

— Сонечка говорила, вы сами писали относительно Сосновки...

— Да, я писал. Но Сосновка принадлежит Софье Ильиничне... К тому же доход с этого имения весь вложен в обсеменение полей, в запашку пара и в покупку

рогатого скота... Я рассчитывал, признаться, что вы здесь зазимуете. А вдруг — Париж. Денег? Надо было месяца за два предупредить. Какие же в деревне деньги?.. Удивлен чрезвычайно...

Посиневшими губами Николай Николаевич пролепетал:

— А если векселек?

Илья Леонтьевич поднялся с дивана и опять сел. У Николая Николаевича ходили огненные круги перед глазами. Тесть сказал:

— Вы хотите выдать вексель Софье Ильиничне? Но у нее денег нет...

— Знаю, но если, дорогой тесть, сделать так: я дам вексель моей жене, она же в свою очередь даст на таковую же сумму вексель вам... Деньги дадите, собственно, вы... Это страшно, страшно просто. Что?

Илья Леонтьевич был сбит с толку и проговорил упавшим голосом:

— Посмотрим, какова будет воля Софьи Ильиничны...

Сонечка, как и надо было ожидать, сказала мужу: «Ради бога, все, что тебе будет угодно». Тогда Илья Леонтьевич заявил, что у него нет вексельной бумаги и поэтому придется гнать в город за бумагой, мучить по распутице лошадей и людей. Но в чемодане Николая Николаевича оказалась вексельная бумага,— возил он ее с собой на случай. Затем серьезная разноголосица с тестем вышла из-за суммы, говорили об этом до сумерек. Наконец оба векселя были подписаны (на три тысячи семьсот рублей). Илья Леонтьевич щелкал у себя в кабинете счетами, рвал какие-то бумажки. Переслюнив и отсчитав деньги, перевязав их бечевочкой крест-накрест, он пошел наверх, к молодым. Сонечка, склонясь у свечи, пришивала пуговицу к рубашке мужа. Николай Николаевич жевал папироску, шагал по комнате под низким потолком, совал в чемодан колодки от башмаков. Увидев тестя и, особенно, в руках его пачку денег, он нагнул голову, как будто говоря: «Нет, нет, не надо, не надо...» Пошел — и обнял старого Репьева:

— Так грустно, так тяжело, папа, люблю ее, как бога, и вдруг — разлука.

Илья Леонтьевич освободился от объятий и передал деньги. Сонечка откусила нитку, расправила рубашку и, встав, положила ее в чемодан.

— Пойдем вниз, — сказала она Илье Леонтьевичу, ласково беря его под руку. — Ты еще не пил чаю? Николай уложится и без нас.

В столовой Сонечка села близко к отцу, налила ему чаю и сама положила сахар, налила сливок и, обхватив его руку у плеча, прижалась щекой. Илья Леонтьевич сидел сутулясь, чуть тряся седой головой, точно кивал преогромной чашке, на которой было написано: «Со днем ангела».

Наконец он почувствовал сквозь рубашку горячую влагу слез, обхватил Сонечку за плечи и спросил сдержанно:

— Как же это у вас вышло все?

— Слава богу, что скоро вышло, не так больно, — ответила Сонечка, глядя на огонь лампы, висящей над столом.

— Навсегда, что ли, расстаетесь?

— Навсегда, папочка, — не люблю его.

Неслышно в комнате появился кот, гладкий, ласковый. Подняв торчком хвост, мяукнул еле слышно, но, видя, что хозяева внимания на это не обращают, отправился по своим тайным делишкам. Илья Леонтьевич сказал:

— Не понимаю... Нет, не могу понять таких отношений.

Тогда Сонечка принялась рассказывать ему все, что было. Прошлое в этом рассказе представилось ей отошедшим далеко, точно она передавала чужую повесть. Точно не она мечтала в гнилопятском парке о жгучих глазах под черными полями шляпы, точно не ее — другую — заставил жгуче покраснеть красавец парень, опрокинув вместе с возилкой в ворох соломы, точно не ее тревожно и бесстыдно поцеловал на качелях Николай Николаевич.

Глаза Сонечки потемнели, лицо обтянулось, стало строгим. Илья Леонтьевич с изумлением глядел на

дочь. Сонечка-девочка умерла. Перед ним сидела и печальным голосом раздумчиво рассказывала глупенькую и трогательную повесть Сонечка-женщина.

— Я, может быть, рада, что миновало девичество. Был сладкий туман, — ничего в нем не оказалось, кроме слез. Теперь — если придет новое чувство — буду любить, любить... Ах, отец, отец... Я чувствую, как могу полюбить человека... Во мне столько нежности... Не может быть, — неужели же я никому, никому не нужна?..

Она опять крепко прижалась к его плечу, и сквозь рубашку Илье Леонтьевичу снова стало горячо...

— Ну, конечно, мне тяжело, мне больно.. Ты сам все видишь, отец...

— Много нужно страдать, много, — сказал Илья Леонтьевич, — человек, как зерно, прорастает — через страдание, через тягость борьбы. А что же полечку-то всю жизнь танцевать! Прыгает, прыгает человек, — смотришь: от него уж одна тень прыгает... Не бойся, не беги страдания, Соня, — страдай во всю глубину и люби во всю глубину женскую... Вот также твоя мать, такая же, как ты, была... То же лицо дорогое...

— Папочка, милый, не плачь.

Рано поутру Николай Николаевич уехал. Прощаясь, он сильно задумался, — смутило его спокойное равнодушие Сонечки. Не было ли здесь какой-нибудь неожиданной ловушки? И совсем уже он призадумался, когда оглянул жену с «птичьего полета». Он сидел в тарантасе, она стояла на крылечке, держа обеими руками под руку Илью Леонтьевича. Она показалась ему вдруг и выше ростом, и похудевшей, и прекрасной, — никогда он еще такою ее не видел: спокойная, с грустной улыбкой стояла она в беличьей шубке, в пуховом платочке. «Ах, черт, а не захватить ли ее с собой? Ох, кажется, упущу большое удовольствие», — подумал он, в нерешительности высовывая одну ногу из тарантаса. Но Сонечка сказала:

— Прощай, Николай, прощай, голубчик.

Кучер, подхватив вожжи, прикрикнул уныло: «С богом!» Лошади тронули, от колес полетели комья

грязи. Белые гуси, потревоженные на лугу, где щипали траву, зашипели вслед тарантасу.

На повороте за околицей Смольков оглянулся. Крыльцо было пусто, подошедшая собака обнюхивала следы. Сжалось сердце у Николая Николаевича. «Э, пустяки, через месяц напишу письмецо, — прискачет», — и он плотнее завернулся в чапан.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Степанида Ивановна, пригорюнившись, сидела у окна, за ним опадали желтые листья. Солнце к восьми часам пригрело, и только в тени дома да кое-где под кустами синела от студеной росы трава. Много птиц улетело за моря, дом опустел. Алексей Алексеевич, шаркая туфлями, ходил по комнатам и вздыхал, бог знает о чем. Лицо его все желтело, и гнулась спина, что очень заботило генеральшу. Утомилась ли она за это лето, или осень слишком опечалила ее думы, но только реже ездила Степанида Ивановна на раскопки, особенно с тех пор, как едва не прогнали от дела Афанасия, изолгавшегося без совести.

Афанасий однажды в присутствии генерала принес ворону и, держа ее за крыло, уверял, что это и есть вторая примета — *орел,* черный же он оттого, что долго лежал в земле. Генерал немедля вышвырнул Афанасия вместе с вороной за дверь. В тот же день из города был выписан немец — специалист по земляным работам.

Немец повел раскопки аккуратно; поставил солидные крепи, в слабых местах вывел свод, нанял новых рабочих, действительно нашел старые ходы под землей, идущие зигзагами, принес генеральше птичьи косточки в прозеленевшем горшке и, наконец, выкопал грубо высеченную из камня *человеческую голову,* на лбу которой был начертан план подземелий. Оказалось, что голова эта стояла на половине пути, и от нее подземелья шли в глубину горы, страшно запутанные и рухнувшие. Раньше ноября нечего было и думать добраться до клада, и генеральша была весьма этим расстроена и даже обессилена.

— Копаем, — говорил прокуренный табачищем немец, — еще три аршина прошли. Пожалуйте денег.

Не так разговаривали Афанасий и Павлина. Слова их были таинственны и волновали генеральшу. Каждое утро она ждала, бывало, с нетерпением рассказа о Павлинином сне. Вечером Афанасий приносил ей какие-нибудь черепки и рассказывал, как едва не утянула нечистая сила под землю мальчишку-поденщика. У генеральши глаза выкатывались от ужаса и любопытства.

— Я так и знала, это очень опасно. *Они* охраняют, но мы победим.

Павлина жила в своей каморке за лестницей, но на глаза показывалась редко и то для того только, чтобы наговорить на проклятого немца в пользу Афанасия, мрачно прислуживавшего у стола.

— Мне и самой надоел немец, — сказала раз генеральша, — но как его прогнать, когда он честный...

Видя такое недовольство Степаниды Ивановны, Афанасий поступил решительно: выворотил шубу, ночью вошел к спящей Павлине, завалился к ней на лежанку и, скрежеща зубами, объявил, что он и есть огненный бес, всю жизнь искушавший бабу.

Павлина обмерла, а бес сказал, что если завтра же не прогонят пузатого немца и к работам не приставят раба Афанасия, то он, бес, обрушит, все вырытые ходы, а Павлину ухватит поперек живота, потащит в пекло.

— Хорошо, батюшка, все так будет, — вся дрожа, шептала в темноте Павлина.

Бес царапнул ее по спине ногтями и ушел...

Павлина все это, конечно, подробно рассказала генеральше. Степанида Ивановна тотчас рассчитала немца. Повеселевший Афанасий уехал на работы и в тот же вечер привез известие, что «гудит». Все поверили и удивились, хотя никто не знал, что гудит.

Но теперь, когда с кладом дело было налажено, началась у Степаниды Ивановны новая забота — тайная и усиленная переписка с одним старичком шведом. Это и было то главное и огромное *дело*, из-за которого начала она рыть клад.

С каждым днем забот становилось больше, сил уже не хватало. С трудом оканчивала генеральша

свой день и засыпала тяжелым, глухим, как смерть, сном; и постоянно томило ее какое-то беспокойство; она приписывала это усталости и суете.

С каждым днем все более волновал ее Алексей Алексеевич: генерал таял, как воск, тосковал, не притрагиваясь ни к какой работе.

Началось это со злосчастной продажи хлеба. Простудился ли тогда Алексей Алексеевич, или сердце его, не перенеся удара, слишком надорвалось, — неизвестно, только пышные усы его и белые волосы на голове заметно стали редеть. Ночью, лежа подле жены, генерал часто стонал во сне.

Невеселые мысли проходили сейчас перед Степанидой Ивановной. Облокотясь о подоконник, глядела она на желтый лист, повисший на паутине, и трясла головой в кружевном чепце.

По коридору, медленно шаркая ногами, шел Алексей Алексеевич. Генеральша прошептала:

— Как он ноги волочить стал, а прежде, бывало, взбежит по лестнице — не задохнется.

Генерал медленно, несколько раз нажимая скобку двери, вошел, кротко улыбнулся и, показав попугаю палец, сказал:

— Что, брат, видно, осень пришла...

— Он хворает, — поспешно ответила генеральша, — совсем не разговаривает...

Генерал постоял немного и ушел.

Степанида Ивановна, наморщив лоб, глядела на то место, где только что стоял муж, — все ей представлялась сутулая его спина и жалостливая улыбка.

«Ах, сколько раз я его огорчала, — думала она, — а он такой добрый: видеть не могу, как он улыбается; бедный мой Алешенька».

Она положила руки на подоконник и голову на руки и застыла, слушая, как бродит генерал по комнатам, будто не находит места.

«Что он все ходит, все ходит... В самом деле, у нас пусто и скучно в доме».

Когда, спустя долгое время, генерал опять вошел в ее спальню, генеральша проговорила:

— Сядь, Алексей, расскажи, что с тобой? Отчего у тебя так ноги шаркают. Болен? Или скучно тебе?

— Странная вещь, — ответил Алексей Алексеевич глухим голосом, — я нигде не могу найти мой носовой платок... Куда... — Он не окончил говорить и сел на стул позади генеральши.

После долгого молчания Степанида Ивановна услышала странные звуки, словно во рту генерала шипел и вертелся валик от игрушечного органчика.

Содрогнулась она, как бы от толчка в спину, и тупые иглы забегали по телу. Понимая, что смертельно испугалась, она взглянула: один глаз у генерала стал оловянный и выпучился, другой был закрыт; рот и все побагровевшее лицо его перекосило; из лиловых губ вылетел странный звук.

— Ай! — закричала генеральша, махая на мужа руками.

А он все клонился на правую сторону, пока не съехал на ковер.

На крик генеральши прибежали слуги, подняли огромного Алексея Алексеевича. Он двигал одной левой рукой и ногой, не говорил, а только шипел, вращая глазом. Его положили на диван.

Степанида Ивановна, пронзительно вскрикивая, билась в руках Павлины и Афанасия. Увидев, что генерал жив и шевелит пальцами по краю тужурки, она метнулась, упала подле него на колени и быстро, словно смахивая пыль, стала гладить волосы его и лицо:

— Алешенька, оправься. Друг ты мой, скажи, что тебе не больно. Скажи, что пошутил. Помнишь, бывало, я покричу на тебя, а ты ляжешь на кровать и притворишься, что умираешь... Алешенька! Алексей, где болит у тебя? Сейчас компресс положим. Афанасий, вина принеси и воды горячей. Выпей. Рот разожми. Не можешь? Отчего не отвечаешь? Постой, я другой глаз тебе открою... Больно? Алексей, что с тобой, да ты жив ли? Жив?

Она обеими руками трясла мужа и снова бормотала:

— Не огорчай меня, сделай усилие, оправься. Посмотри, как я боюсь. Доставь мне удовольствие. Я умру от страха. Алексей! Посмотри — вот я рассердилась,

ухожу, буду плакать... Доктора! За доктором послать! Скорее! — вдруг закричала она, подбежала, вернулась и опять припала к Алексею Алексеевичу.

Афанасий поскакал в село за земским врачом. Степанида Ивановна, увидав, что Павлина снимает с генерала туфли, оттолкнула ее, сама раздела мужа, закутала в теплый плед и села у его изголовья, поминутно наклоняясь.

Жужжать генерал перестал. В открытом его глазу исчезло выражение ужаса, веки полузакрылись. Тогда генеральша, сняв башмаки, на цыпочках подошла к образу, опустилась и шептала:

— Отче наш... иже еси на небеси... — Она обернулась, с ужасной тоской взглянула на мужа и на минуту припала лбом к холодному полу. — Не так нужно просить. Ему душа надобна. Он не поймет, почему я не хочу отдавать ему Алексея... Отче наш, повремени, он не уйдет от тебя... Ах, ты меня не слышишь...

И генеральша снова припала к паркету. Такой ее нашел, потирая только что вымытые руки, местный доктор. Генеральша поглядела на короткие, в рыжих волосах пальцы врача, стремительно поднялась и поцеловала их. Врач смутился и занялся больным.

Глядя доктору в глаза, выслушала Степанида Ивановна, что, если не будет еще удара, генерал выживет, в противном же случае, — тут доктор тяжело вздохнул и, разведя руки, поклонился, — тогда конец.

— Конец, — твердо повторила генеральша.

Быстро сделав все, что было прописано, она затворила дверь на ключ и с решительным лицом подошла к Алексею Алексеевичу, готовая на крайнее, но верное средство, которое, пробудив в генерале дух, поднимет и ослабевшее его тело.

— Алексей, — сказала Степанида Ивановна торжественно, — я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Брагиных по женской линии есть престолонаследная ветвь *шведских королей* Бернадотов. Теперешний шведский король бездетен и скоро умрет, после него единственным наследником престола являешься ты. Для этого все предварительное сделано, остается теперь объявить себя претендентом. Ты узнал все, и

перст всемогущего указал на тебя: Алексей, корона шведских королей, потерянная Карлом Двенадцатым, утаенная Мазепой, в моих руках. Алексей, встань!

Степанида Ивановна, сверкая глазами, подняла руку. Волнение ее, должно быть, передалось Алексею Алексеевичу. Когда генеральша приказала: встань! — он здоровой рукой оперся о кровать, приподнялся до половины, вдруг икнул громко, закинул голову и повалился с дивана на ковер. Присев около мужа, генеральша стала царапать себе лицо, потом легла на Алексея Алексеевича и застыла так на много часов.

Омытый, одетый в парадный мундир, со всеми орденами и лентами, третий день лежал Алексей Алексеевич в зале на столе, скрестив на груди большие руки.

Павлина, опухшая от слез и довольная, что сподобилась походить за таким покойничком, распоряжалась похоронами. У аналоя, между двух свечей, не переставая читали монахини. Третья свеча таинственно светила в лицо мертвому Алексею Алексеевичу. Смутно были озарены зеркала, занавешенные черным тюлем, огромный гроб и подле — маленькая генеральша, комочком сгорбленная на своем стуле.

Сложив руки на коленях, склонив голову, терпеливо ждала Степанида Ивановна, когда в столовой пробьют часы, — тогда она приподнималась и заглядывала мужу в лицо. Ей чудилось — вот Алексей Алексеевич очнется от ужасной неподвижности, улыбнется ей живыми губами, облизнет на них полоску сукровицы.

Но ни один волос генерала не шевелился, хотя сквозь желтую кожу щеки как будто проступал румянец: может быть, играл это свет свечи.

Генеральша терпеливо садилась опять и ждала, жалобно, иногда в недоумении улыбаясь.

На третьи сутки появился в комнате священник, дьяк и мужики. Отворили все двери и ставни. В душную комнату ворвался день, и от синего его света генерал сразу позеленел. Степанида Ивановна испугалась и отошла к стене. Священник облачился в бархатную с серебром ризу, дьяк кашлянул в кулак, забасил густо,

все запели. Генеральша подумала, что Алексею Алексеевичу приятно слышать, как о нем скорбят и поют.

Наконец Павлина брякнулась около гроба, и все пошли прикладываться к мертвой руке. Парни, с белыми полотенцами, толкаясь, отодвинули свечи и подняли гроб на плечи. Генеральша побежала за ними, умоляя поосторожнее браться, — не толкать и не тревожить Алешеньку. Топоча, его понесли ногами вперед в раскрытую стеклянную дверь.

— Куда вы? — спросила генеральша, но ей не ответили, и все несли с крыльца на двор, через плотину, по дороге в гору, мимо Свиных Овражков — в монастырь.

Спотыкаясь, спешила генеральша за гробом и удивлялась, — чего же она не понимает? Для чего нужно ей так далеко бежать на одеревенелых ногах?

В церкви подошла к ней мать Голендуха и, поцеловав в губы, измочила слезами. После службы, опять шепотом споря и толкаясь, понесли парни Алексея Алексеевича на мирской лужок и, опустив гроб, наложили крышку, стали заколачивать гвозди.

— Тише вы, отчаянные, — сказала генеральша и заглянула в глубокую яму... Туда на веревках опустили гроб, священник первый бросил горсть земли.

— Вы в него землей бросаете? — спросила генеральша и снова заглянула вниз, где на глинистом дне лежал Алексей Алексеевич. — Как можно, он привык спать на мягкой постели...

Она раскрыла широко глаза и часто-часто затрясла головой, поняла, наконец, то, что все эти дни было от нее скрыто. Она поспешно подобрала платье, чтобы прыгнуть вниз к мужу, не оставить его одного навсегда. Но Степаниду Ивановну схватили и повели к экипажу... Она вырвалась и опять побежала. Тогда ее с руками закутали в плед, положили в коляску и погнали Ахиллеса и Геркулеса, и долго еще крестьяне, неторопливо расходясь, слышали удаляющийся по дороге тонкий крик:

— Алексей! Алексей!

Дома генеральша обеспамятела. Павлина спрыснула ее с уголька, — это помогло, и Степанида Ивановна, как каменная, пролежала до вечера в неубранной

постели. На закате внезапно поднялась, оправила платье и, крикнув Павлину, пошла со свечой по комнатам, заглядывая во все углы...

Так обошли они весь низ дома, где в необитаемых покоях пыльные окна были темны и страшны, поднялись в Сонечкины белые антресоли, спустились по скрипучей лесенке обратно и остановились перед кабинетом.

— Как ты спал, хорошо? — громко вдруг сказала генеральша. — Голова не болит? А у меня, знаешь, самое темя ломит. — И она, прикрывая ладонью свет, вошла в кабинет. А Павлина поползла по коридору, — не помнила, как очутилась в кухне, где сейчас же рассказала, что генеральша разговаривает с мертвым барином.

В кабинете Степанида Ивановна поставила свечу на курительный столик и прилегла на диван.

— Знаешь, Алексей, любовь наша не угасла, нет, нет... Я, как прежде, влюблена в тебя. Я много передумала за эти дни и решила, что несправедливо тебя обижала. Я хочу сегодня просить у тебя прощения.

Она оглянулась, вздохнула коротко, посидела еще, пригорюнясь, и побрела к себе, в дверях обернулась, сказала:

— Спи спокойно.

У себя она затворила окно; дождь в него наплюхал лужу на ковре. Сильный ветер шумел деревьями, лепил желтые листья к стеклам, подвывал в трубе.

Присев перед зеркалом, Степанида Ивановна сняла чепец, из флакона налила на плечи и грудь густых духов и, подняв свечу, стала разглядывать свое лицо.

— Ничего еще, я все-таки хороша. Нужно очень следить за собой...

Заячьей лапкой она нарумянила ярко щеки и уши, подвела дугою брови и надела парадную наколку из кружев.

— Видишь, — она жеманно улыбнулась, — это еще не все. — Вынула темно-красные кораллы, окрутила их кругом шеи, в левую руку взяла кружевной платочек, правую подняла и, погрозив пальцем, оглянула всю себя в большое зеркало. Голова у нее затряслась. Потом она зажгла два канделябра на стене, легла на постель и, повертевшись, проговорила громким шепотом:

— Что же ты не идешь?

Прошло долгое время, и генеральша зашептала:

— Знаешь, Алексей, я почему-то все вспоминаю поход на Дунай: ты приходил усталый в палатку и сейчас же засыпал. На мне было премиленькое черное платье, я садилась подле тебя и все глядела. У тебя во сне горели щеки, нельзя было не любоваться тобой. Теперь мне очень жалко, что умерла наша дочка. Она так мило перебирала пальчиками, она была похожа на тебя... Алексей, я вот уже час как разговариваю, а ты не идешь. Тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королем, откажись по крайней мере один раз, потребуй, чтобы весь народ просил тебя взойти на престол. У меня много жемчуга. Ты ведь знаешь, жемчуг умирает, если его не носить, а в земле опять оживает. Мой жемчуг двести лет лежал под землей. Алексей, для тебя я добыла из земли сокровища... Что же ты медлишь?

Генеральша прислушалась. Ветер хлестал дождем в окно, обсыпалась штукатурка в печной трубе. Мрачно выл угол дома.

— Алексей, может быть, ты меня обманываешь, — привстав, сказала генеральша, — может быть, к тебе пришла *она*. Я понимаю твою комедию. Ты подстроил, чтобы тебя похоронили, и *там* хочешь встретиться с *ней*. Она всю жизнь душила меня по ночам. Теперь она смеется... Иди ко мне... Оттолкни ее... Это ты его убила!.. Алексей, Алексей!..

Генеральша соскочила с кровати, тряся головой, сжала кулачки.

— Ты воспользовался гадким случаем, чтобы обмануть... Я отомщу...

Степанида Ивановна стремительно побежала в кабинет, ощупала пустой диван, кресло, углы за шкафами и остановилась, тяжело дыша.

— Они *там*, у церкви, на погосте, там встретились...

Сняв со стены двуствольный пистолет, генеральша побежала в прихожую, накинула плед и отворила стеклянную дверь на веранду. Мокрый ветер подхватил ее покрывало, сорвал, иссек дождем, закрутил ее иссохшее

тело. Обессиленная, упала Степанида Ивановна на каменные холодные плиты...

. . . .

— Дверь будто звякнула, — прошептал Афанасий, сидя на лежанке. — Слушай-ка, крикнули, не случилось ли беды какой с нашей барыней, Павлина. Пойти посмотреть...

Взяв коптилку, пошли Афанасий и Павлина, подсовывая друг друга, пугаясь скрипящих половиц, туда, где под дождем лежала обезумевшая Степанида Ивановна.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нас великое горе: Алексея Алексеевича нашел господь в возрасте сына царствия божьего, — помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, как в шарманке, — набрались страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха, Степанида Ивановна, совсем ополоумела. Не знаем, что с нею и делать. Срамотища, — соблазн и грех на всю округу. Монашки мои, дуры, — все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помутилась моя голова, не рада, что и связалась со Степанидой Ивановной. Увезите ее, Христа ради, от нас. В Гнилопятах — поток и разорение, — воруют кому не лень. Простите за глупое письмо сие, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря, смиренная игуменья Голендуха».

Как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Голендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в Гнилопяты, где мучилась, покинутая всеми, сумасшедшая генеральша.

Афанасий и Павлина подняли тогда ночью Степаниду Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, несла несуразное и соблазнительное.

Всю ночь проскулила Павлина, сидя на своей лежанке:

— Крышка нашей благодетельнице! Ох, Афанасьюшка, прошли наши красные денечки...

Но, к удивлению всех и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю «околемалась» и даже встала с постели. Маленькое ее личико, до костей иссушенное лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающих десен, показывали, что горит еще в птичьем ее теле огонь и спокойно генеральша не уйдет в землю.

Днем Степанида Ивановна лежала, одетая, на постели, не отвечала ни звука на слезливые словечки Павлины, не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятая рукой, и, волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала:

— На твою душу падет мой новый грех. Ты, ты сам довел меня до отчаяния. Знай — не успокоюсь, покуда тебе не отомщу. — И заламывала руки. — Ах, как двери скрипят! Ах, не могу видеть эти стены!.. Ах, как пусто, пусто!

В тоске она шла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креп, всматривалась в свое изображение и деловито охорашивалась — и была похожа на маленькую, густо нарумяненную девочку, с трясущейся головой, с оскаленным ртом. Ревность, злоба, неутоленные желания изглодали ее, высушили, как корешок. Вся воля ее была устремлена на одно — отомстить.

— Ты нарочно завез меня в проклятые Гнилопяты! Бросил, обманул, и *там* сейчас тешишься со своей первой... Погоди, погоди! *Ты там* утешаешься, а *я здесь* отомщу...

Она вынимала из ларчика драгоценности — колье, фермуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаяние: «Нет, нужны царские сокровища, — затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года».

Генеральша снова начала прерванные раскопки...

После смерти генерала были предъявлены ко взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и

главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Павлина докладывала о них ежедневно. Генеральша только сердилась, требовала себе денег — золотыми монетами — и ссыпала их на дно ларца. Гневалась она также на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. По дну Свиных Овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы.

Неожиданно генеральша потребовала у матери Голендухи двух монашенок и усадила их переделывать и обновлять многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазн и разговоры.

Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в гнилопятском доме, о ночных прогулках Степаниды Ивановны, о раскрываемых в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрелась, говорят, даже совсем нагишом, о странных криках в кабинете покойного генерала, о шумах и стуках, о стонах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черниц.

Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на Свиные Овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно била вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть. Четыре дня генеральша не отходила от работ и ночевала там в овраге, в нарочно привезенной карете.

На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал:

— Ваше превосходительство, нашли!

Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала вставными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарем повел генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю... После множества заворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро,

как в могиле. В глубоких нишах пещеры, под сводами, стояли глиняные горшки; два были разбиты, один валялся на полу... Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, взобралась, как обезьяна, в нишу, ухватилась за край горшка, заглянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно:

— Пуст, пуст! Ограбили!..

Обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охали, разводили руками. Афанасий заглянул в остальные горшки, они тоже были пусты... Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разбитой крышкой: обшарил его и в пыли и прахе нашел камешек величиною с грецкий орех, поплевал на него, отер, и затеплилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужина необычайной величины... Степанида Ивановна выхватила ее у Афанасия, зажала в кулачке, хрипло, дико засмеялась.

Степанида Ивановна лежала навзничь на кровати и глядела на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки, — все остальное было погружено в красноватый полумрак.

Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающими, как ей казалось, в живом, то молочном, то алом, то зеленоватом теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся, мучительное. Видела генеральша мокрое истоптанное поле; в конце его тусклая, вечная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма. Ноги скользят, сыплются комья. Нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. «Алешенька, — зовет генеральша, — я тебя все-таки нашла. Холодно тебе одному? Что ты какой мерзлый». Кругом нет ничего, нечем согреться, все мокрое, все холодное. А прыгнуть туда, прильнуть — страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его, щурится. И вдруг из-под генерала заструился дымок

и вылизнули красные, огненные язычки... Генерал розовеет, скрещенные руки его трепещут... Он шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать... «Ведь это муки адские», — думает генеральша. И силится оторваться от злого видения, и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. «Алешенька, — шепчет она, — взгляни на меня, мучаюсь». Он глядит на нее и не видит. И чувствует она — нет той силы, какая могла бы соединить их глаза... Уже вся яма в огне, по всему полю танцует огонь, не жаркий, ледяной. И в глубокую яму к веселому генералу стремительно сходит тень... Это та, *другая,* Вера...

Мечется генеральша на постели, вскрикивает.

— Что, матушка, благодетельница, или головка болит? — медовым голоском спрашивает Павлина.

— Боюсь я смерти, Павлина! Боже мой, как боюсь! Ведь потом будут только муки, муки, муки!.. Нам раз дано жить, насладиться. А потом темнота, холод, ужас!..

У Павлины из головы не шел недавний разговор с генеральшей, которая все повторяла в исступлении и бреду о том, как она ослепит золотом и кокетством какого-то нечеловеческой красоты желтого кирасира и предастся с ним таким излишествам, что Алексею Алексеевичу станет тошно на том свете. Даже сейчас, истерзанная неудачей с сокровищами Мазепы, не отказалась Степанида Ивановна от мысли — отомстить. Она судорожно цеплялась за уходящие часы жизни, ее беспокойство и муки возрастали.

Павлина узнала, что найденная в пещере жемчужина одна стоит много тысяч, и, вынимая ночью для генеральши драгоценности из ларца, прикинула и ахнула: если продать все эти броши, серьги и браслеты да прибавить к ним червонцы на дне ларца — навек можно стать богатейшей барыней... А попадет все это какому-нибудь пьянице офицеру.

Всю ночь проворочалась Павлина на лежанке и утром подъехала к Афанасию, пившему в столовой кофе. (Генеральша просыпалась только вечером, и весь день прислуга в доме делала, что хотела.)

Павлина стала за его стулом, вытерла губы и сказала умильно:

— Счастья твоего желаю, Афанасьюшка, бездольные мы с тобой, безродные... Умрет наша благодетельница — куда пойдем?

— Не знаю, как ты, баба, — сказал Афанасий, закуривая генеральскую сигару и развалясь, — я ничего себе живу, хорошо. А старуха умрет — открою трактир при монастыре. Ты же пошла от меня прочь, видишь, я сигару курю.

— Да я уйду, Афанасьюшка, уйду, коли гонишь. А быть бы тебе барином, не то что в трактире тарелки мыть. В двести тысяч могла бы тебя произвести.

Афанасий посмотрел на Павлину. «Ох, рожа хитрущая у бабы, ну и рожа!»

— Рассказывай, слушаю.

— У благодетельницы нашей деньгами и брошками акурат эта сумма лежит. Без меня не видать тебе ломаного пятака. Женись на мне — счастье найдешь, не хочешь — другого отыщу... Вашего брата много тут бегает, — давеча приказчик ко мне подъезжал.

— Ты не грабить ли задумала? Ой, донесу.

Но тут Павлина, присев рядышком, подробно и толково принялась рассказывать все, что надумала за эту ночь. Афанасий, слушая, бросил сигару, потом начал отплевываться и, наконец, хватив бабу по спине, заржал на весь дом.

— Не люблю, сударь, такого обращения, — сказала Павлина. — У меня спина женская. Даю тебе день сроку, подумай и сам решай. Рожа-то я рожа, а ума ни у кого не займу.

К утру Афанасий действительно додумался и поехал в город, где взял себе у парикмахера фрачную пару, парик и накладные усы.

Павлина за это время не отходила от Степаниды Ивановны и, едва генеральша переставала бредить, заводила разговор о каком-то господине Фиалкине, писаном, говорят, красавце мужчине, который собирается заехать в Гнилопяты — познакомиться с генеральшей: прослышал, так и рвется повидать.

— О каком Фиалкине говоришь? О каком Фиалки-

не? Не знаю такого, — с тоской спрашивала Степанида Ивановна, — разве я могу сейчас принять молодого человека? Дай поправлюсь, пополнею немножко... Отстань от меня!

— Красивый, сытый, на слова бойкий, — шептала Павлина, — увидит женщину — так весь на нее и прыгает, как жеребец... Редкий мужчина... Уж сама не знаю, благодетельница, допускать ли его до вас?

Генеральша промолчала. Затем потребовала зеркало и долго огромными глазами всматривалась в ужасное лицо свое. Без сил уронила руки и сказала, едва слышно, с отчаянием:

— Не вижу ничего, Павлина, — темно. Скажи, не слишком ли я стара?.. Скажи правду.

— И, благодетельница, нечего душой кривить, — не восемнадцати лет... Червоточинка есть, но самую малость, — припудритесь, хоть кого в дрожь вгоните. А я еще и лампу приверну, — чистый ангел небесный! В ваши-то года — баба-ягода. С ума его сведем, нашего Фиалкина-то.

— Какого Фиалкина? Ничего я не пойму... Путаешь ты меня, глупая баба.

В тот же вечер в спальне Степаниды Ивановны появился странный господин. У него были черные, густые, как баранья шерсть, волосы и необыкновенно длинные усы. На нем был фрак, красный галстук и скрипящие сапожки. Он прошел из дверей до середины комнаты, снял фуражку с кокардой, поклонился генеральше и раза три топнул ногой, как жеребец, — только что не заржал.

Она приподнялась на локте. «Что это — опять бред? Какой гнусный!» Но поскрипывают сапожки, — ближе, ближе бараньи усы. Господин говорит басоватым голоском:

— Я Фиалкин... Ехал по частным делам, но — вот так штука! — сломался тарантас. Нельзя ли, ваше превосходительство, переночевать у вас?..

С ужасом глядела Степанида Ивановна на господина Фиалкина, не понимала — бред это или сам черт за ней явился?

Он сел на постель, расправив фалды, — впереди всего торчали у него черные усы.

— Так как же насчет ночевки? А кроме того, большой я любитель насчет проклятого... Хи-хи... Насчет этого самого. Хо-хо... Сладкого... Ги-го-го...

Он, как дьявол, зашевелил усами, закрутил носом. Генеральша едва слышно проговорила:

— Кто вы такой? О чем вы говорите? Что вы так странно смотрите?

— Лют я до вашего пола. Ни одной не пропущу. Я мастак. Хо-хо!

— Какой вы страшный.

— Это хорошо, что я страшный. Я до баб, как черт, лютый.

— Так я же старая, что вы...

— Это мы посмотрим. А мне по вкусу.

— Уйдите...

— Нет, грешить — так грешить.

Фиалкин ткнул пальцем Степаниду Ивановну под ребро. Она ахнула и хихикнула. Он ткнул с другой стороны. Тогда она начала смеяться, отмахиваться. Слезы потекли по сморщенному ее личику. Теплая, тягучая паутина поползла по всему телу, затягивала лицо, застилала глаза.

А Фиалкин гудел, ржал, щекотал пальцами. Черные усы шевелились, вставали дыбом. Басок все гудел о каких-то брошках, червонцах... Генеральша ежилась, собиралась в комочек... Не сводила глаз с этого человека. Но он уже расплылся в глазах. Быстро-быстро наматывалась вокруг нее паутина. Это он, огромный червяк, обматывал ее, душил...

— Пустите... Мне душно... — простонала Степанида Ивановна. Фиалкин исчез....

. . . .

— Старуха-то помирает.

— Врешь!

— Посинела вся.

— Зачем ты ее сразу-то облапил, надо бы легче.

— Я думал, сразу надо.

Афанасий, стоя за дверью, вытирал потное лицо. Один ус отстал у него, не приклеивался. Павлина, таращась, шептала:

— А помрет — деньги сейчас же брать надо да вещи с брильянтами. Закопаем их в землю — и знать ничего не знаем...

— А власти наедут?

— Ну что ж! И — отопремся. И посидим — выпустят... Деньги-то большие... Ну, иди опять к ней, наскакивай.

— Ой, не могу, противно. С души воротит.

— Иди, говорю, напугай ее хорошенько. Один конец...

Афанасий зашевелил усами, втянул голову, растопырил пальцы и пошел к постели. Но генеральша уже не видела его. Лежа на бочку, она только часто-часто стонала. Крошечное тело ее потрясали мелкие судороги.

— Кончается? — зашептала Павлина, просовываясь в дверь. Афанасий и Павлина сели на кровать, глядели на генеральшу, ждали. Павлина вынула из кармана юбки два пятака — прикрыть глаза покойнице. В это время на дворе усадьбы малиново, весело залился колокольчик.

Афанасий сорвал с себя усы и побежал на крыльцо. Павлина грохнулась около генеральшиной постели и заголосила на три голоса сразу. К дому подкатила коляска, в ней сидели Сонечка и Илья Леонтьевич.

Степаниду Ивановну похоронили. В ларчике ее, среди драгоценностей, было найдено завещание Алексея Алексеевича. По его воле все движимое и недвижимое имущество Гнилопят, в случае его и генеральшиной смерти, переходило Сонечке Смольковой.

Сонечка сказала, что не хочет жить в Гнилопятах. Она просила все в доме оставить стоять на своих местах, как было при генерале и генеральше, и дом закрыть наглухо. С утра до ночи рабочие стучали молотками, заколачивая досками двери и окна. Гулко раздавались удары по пустым комнатам.

В один из этих печальных часов Сонечка сидела у пруда, по-осеннему синего и прозрачного. Осыпались последние листья. Сонечка думала:

«Промчится жизнь. Приду когда-нибудь осенью и сяду на эту скамью. Пруд будет таким же ясным. Наклонюсь и увижу себя, — седые волосы, потухшие глаза. Будут стучать молотки, заколачивая за мною дверь. Как прожить мимолетную жизнь? Как остановить из этого потока хотя бы одну минутку, — не дать ей утечь?»

Сонечка подумала о недолгой женской жизни, о муже, — вздохнула и покачала головой: муж припомнился ей, словно вычитанный из какой-то пыльной книжки.

Долетел из-за рощи удар колокола, — в монастыре звонили к вечерне. Сонечка обернулась и долго слушала и снова опустила голову.

«Нет, этот зов не для меня. Успокоение? Нет!» Тревожно билось сердце, — молило: «Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст, раскинув огненные руки к этому синему небу, к этой печальной земле... Прими, вот я вся взвилась огнями перед тобой!»

КОММЕНТАРИИ

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые напечатана под заглавием «Мой путь» в журнале «Новый мир», 1943, № 1, январь. Написана в конце 1942 года по просьбе отдела кадров Академии наук СССР, действительным членом которой был А. Толстой.

Дополненная и с некоторыми исправлениями стилистического характера, озаглавленная «Алексей Толстой «Краткая автобиография», вошла в книгу А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)» изд-ва «Советский писатель», М. 1944.

Эта автобиография самая поздняя по времени написания и наиболее полная. Кроме нее, А. Толстым написаны автобиографии: в 1913 году («Русские ведомости», 1863—1913 гг. Сборник статей, М. 1913); в 1916 году (осталась в рукописи); «О себе» («Новая русская книга», № 4, 1922); в 1928 году (книга «Писатели», изд-во «Современные проблемы», М. 1928); в 1929 году «О себе» (I том Собр. соч. ГИЗ и изд-во «Недра», 1929); в 1933 году «О себе» («Литературная газета», 1933, № 4—5, 29 января).

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», с исправлением явно ошибочных фактических данных и дат.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СТАРАЯ БАШНЯ

Впервые напечатан в журнале «Нива», 1908, № 21, май.

В автобиографической заметке «О себе» А. Толстой вспоминал о «Старой башне»: «В 1908 году напечатал первый рассказ в «Ниве».

Материалом для создания произведения послужили впечатления от пребывания на Невьянском металлургическом заводе (Урал), на котором писатель проходил практику после окончания 4-го курса Технологического института, в мае 1905 года. В то время по России прокатилась очередная волна стачек и революционных выступлений пролетариата. Бастовали и рабочие Невьянского завода. На этом фоне и развертывается сюжет рассказа.

Мистический бой часов, который является причиной забастовки, таинственные силы, вызывающие трагическую гибель инженера Трубы, пытающегося снять колокол, были данью молодого писателя символизму.

В новой редакции рассказ «Старая башня» вошел в сборник «Гамаюн» (1911), изданный в пользу пострадавших от землетрясения в Семиреченской области. Переработка преследовала цель придать реалистическую мотивировку финалу рассказа.

Второй вариант концовки наводит читателя на мысль, что убийца Трубы техник Петров. Писатель подчеркивает озлобленность Петрова, его нарождающуюся ненависть к счастливому сопернику, дает понять, что техник лазил на башню заводить часы.

В процессе редактирования рассказ подвергся и стилистическим исправлениям.

В дальнейшем рассказ «Старая башня» автором не переиздавался. Печатается по тексту сборника «Гамаюн», П. 1911.

СОРЕВНОВАТЕЛЬ. ЯШМОВАЯ ТЕТРАДЬ

Рассказы, объединенные общим заглавием «Два анекдота об одном и том же», впервые напечатаны в альманахе «Любовь», 1909, издание «Нового журнала для всех».

Под общим заглавием в первой публикации было дано посвящение: «К. Сомову. Меланхолия, мечтательность и отвага — спутники счастливого любовника, и горе тому, кто, не чувствуя в себе одного из этих качеств, отважится на похождение, достойное быть осмеянным».

К. А. Сомов — художник-символист из группы, объединившейся вокруг декадентского журнала «Мир искусства». Многие картины К. А. Сомова стилизованы под XVIII век.

Включая оба рассказа в собрания своих сочинений (ГИЗ и изд-во «Недра», 1929), автор в примечании к ним писал: «Рас-

сказы «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь», написанные летом 1909 года в Крыму, я считаю началом моей работы над художественной прозой». А. Толстой не упоминает здесь более ранний свой рассказ — «Старая башня».

«Два анекдота об одном и том же» написаны в Коктебеле на даче у М. А. Волошина. Об этом периоде А. Толстой вспоминал в автобиографии: «Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан началом моей новеллистической работы. Летом 1909 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники» (см. настоящий том, стр. 56).

А. Толстой, рассказывая о первых опытах в прозе, о трудностях начала работы над языком повествования, писал: «Недочеты я скрывал под стилизацией (XVIII век)» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 566).

Это авторское признание в первую очередь относится к «Соревнователю» и «Яшмовой тетради». Вместе с тем вполне явна пародийная направленность этих рассказов против символистских вычурных эстетских стилизаций, идеализирующих быт дворянской усадьбы XVIII века.

Рассказы «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь» автор включал во все собрания своих сочинений. Для издания 1929 года рассказы подверглись довольно значительной стилистической правке.

Печатаются по тексту 1 тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

Из первой публикации рассказа «Соревнователь» восстановлен абзац: «Дядюшка запутался...» до слов «Старый гусар пьет здоровье несравненной!», без которого нарушается смысл текста.

АРХИП

Впервые напечатан в «Новом журнале для всех», 1909, № 12, октябрь.

Данных о том, чтобы судить, какие материалы легли в основу сюжета рассказа, явно навеянного воспоминаниями о жизни в Заволжье, почти нет. Известно лишь, что неподалеку от хутора Сосновки, где рос А. Толстой, жила богатая помещица, носившая

так же, как и соседка героя рассказа Собакина, фамилию Чембулатовой.

Доказательством использования писателем запомнившихся с детства эпизодов и сцен из быта Заволжья служит и близость описания конной ярмарки в рассказе «Архип» и в автобиографической повести «Детство Никиты».

В статье «Как мы пишем» А. Толстой вспоминал, как трудно давался ему вначале язык прозы: «Первый опыт, рассказ «Архип» (про конокрада), доставил мне немало огорчений,— я переписывал его пять раз, меняя расстановки слов и фраз, заменяя одни слова другими. Но прочности текста так и не получилось: можно было без ущерба еще раз все перечеркать» (Полн. собр. соч., т.13, стр. 566).

Рассказ «Архип» автор включал в цикл произведений, объединенных общим заглавием сначала «Заволжье», а позднее «Под старыми липами».

Для собрания сочинений 1929 года (ГИЗ и изд-во «Недра») А Толстой провел стилистическую правку рассказа. Авторская правка в дальнейших переизданиях рассказа незначительна.

Печатается по тексту книги А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», изд-во «Советский писатель», М. 1944.

СМЕРТЬ НАЛЫМОВЫХ

Впервые напечатан в газете «Утро России», 1909, № 40, 24 ноября

По-видимому, так же как и для произведений цикла «Заволжье», в которых тема оскудения русского поместного дворянства получает дальнейшее развитие, в рассказе «Смерть Налымовых» использованы предания семейной хроники В воспоминаниях тетки писателя М. Л. Тургеневой есть упоминание о камердинере Глебушке, служившем у ее отца. Других материалов к творческой истории рассказа нет

В 1913 году писатель включил «Смерть Налымовых» в III том собрания своих сочинений, выпущенных «Книгоиздательством писателей в Москве», в раздел с общим заглавием «Минувшее». В это издание рассказ вошел с исправлениями и сокращениями. Наибольшей правке подверглись эпизод с гусаром и финал. В первой редакции о подлости гусара говорилось более определенно.

Автор не включал рассказ «Смерть Налымовых» в цикл «Заволжье» и в послереволюционные собрания сочинений.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 2-е изд., 1917.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Впервые напечатан в «Общедоступном литературно-художественном альманахе», издание т-ва издательского дела «Студенческая жизнь», Москва, 1911, книга первая.

При последующих публикациях рассказа автором указываются разные даты написания, и 1910 год и 1909 год. Более вероятна первая дата, судя по времени появления рассказа в печати.

На источник сюжета «Однажды ночью» некоторое указание находим в описании степной дороги в село Марьевку из рассказа А. Толстого «Сватовство»: «У перекрестка дорог, в ямах, росли кусты шиповника. Рассказывали, что здесь стояла когда-то усадьба, но помещика убил его же кучер. Привязал к конскому хвосту и пустил в степь...».

Упомянутая в «Сватовстве» вскользь, эта история скорее всего была услышана А. Толстым еще в юности при очередной поездке из Сосновки в Марьевку и в какой-то мере натолкнула его на тему рассказа «Однажды ночью».

С исправлениями автор включил рассказ в III том своего собрания сочинений, изданном «Книгоиздательством писателей в Москве», издание первое, 1913. Для собрания сочинений 1929 года (ГИЗ и изд-во «Недра») писатель провел вторую правку. В первом варианте мельник не говорил прямо, что видел барина привязанного к конскому хвосту. История убийства раскрывалась в словах Марины, вспоминавшей вслух происшедшее. Появление в финале призрака старого Балясного придавало рассказу мистический характер. Мистический налет снимался писателем последовательно двумя правками.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПЕТУШОК
Неделя в Туреневе

Впервые под названием «Неделя в Туреневе», с подзаголовком — «Повесть», с иллюстрациями В. П. Белкина напечатана в художественно-литературном ежемесячнике «Аполлон», 1910, № 4, январь.

В автобиографии А. Толстой вспоминал: «Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Туреневе» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, перешедшее к интенсивным формам хозяйства,— в моей книжке не затронуто, я не знал его».

В беседе с начинающими писателями А. Толстой рассказывал, как в 1909 году после творческих поисков, идущих еще в русле подражания, он «напал на собственную тему. Это были рассказы моей матери, моих родственников об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства. Мир чудаков, красочных и нелепых. В 1909—1910 годах на фоне наступающего капитализма, перед войной, когда Россия быстро превращалась в полуколониальную державу,— недавнее прошлое — эти чудаки предстали передо мной во всем великолепии типов уходящей крепостной эпохи. Это была художественная находка» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 411).

Уже в рассказах «Архип» и «Смерть Налымовых» писатель использовал некоторые моменты и детали знакомого ему быта поместного дворянства Самарской и Симбирской губерний. Сюжет «Недели в Туреневе» целиком построен на подлинном эпизоде, и почти все персонажи повести имеют своих прототипов.

В воспоминаниях Марии Леонтьевны Тургеневой — сестры матери А. Толстого — рассказывается об одном из ее племянников— Левушке Комарове. Этот повеса, не окончивший шести классов гимназии, «попал,— как пишет Тургенева,— в руки одной пожилой дамы из общества... много юношей она сгубила — приучая их пить и вести рассеянную жизнь» (ЦГАЛИ). Затем «его подцепила знаменитая камелия Мунька». Мария Леонтьевна, узнав, что эта пара, продав и заложив все, что у них было, бедствует, с помощью своего друга Евгения Степановича Струкова уговорила их ехать вместе с ней в имение Тургенево, которым она управляла после смерти отца, еле сводя концы с концами.

О жизни Л. Н. Комарова и Марии Антоновны (Муньки) летом 1906 года в Тургенево Мария Леонтьевна пишет: «...они каждый день выпивали, тонких вин не было, пили водку и играли в карты... что меня поставило в окончательный тупик, это то,

что Лева увлекся барышней Гумилевской, которая гостила у тургеневской учительницы».

А. Толстой хорошо знал Л. Н. Комарова, Е. С. Струкова, несколько раз встречался с Марией Антоновной, много раз бывал в Тургенево. Образ попа Ивана, насколько можно судить по воспоминаниям Марии Леонтьевны, имеет много общего со священником Григорьевым из другого имения семьи Тургеневых — Коровино.

О близости повести к событиям, разыгравшимся в Тургенево летом 1906 года, о сходстве созданных образов с Л. Н. Комаровым, М. Л. Тургеневой, Марией Антоновной, Гумилевской и Е. С. Струковым свидетельствует также одно из писем М. Л. Тургеневой А. Толстому. Вскоре после напечатания «Недели в Туреневе» — 18 февраля 1910 года — она писала: «Дорогой Алеханушка, прочла повесть,— но я не могу быть судьей — слишком это близко, и те чувства, которые так недавно пережиты и болезненны в душе, затемняют самую повесть. Осталось тяжелое чувство взворошенных, незажитых ран. Но все же и я чувствую тонкий юмор, который во всей повести.

Одно место в этой повести мне кажется слабым — это то, что все действующие лица, по-моему, не могли оставаться без действия во время пожара — они должны были в это время забыть и Николушку и Машутку. Пожар в деревне такое событие угрожающее, что оно заслоняет собой все...» (ЦГАЛИ).

В конце 1910 года, включая «Неделю в Туреневе» в сборник своих «Повестей и рассказов», выходящий в изд-ве «Шиповник», автор провел небольшую правку текста. В 1916 году на сюжет «Недели в Туреневе» А. Толстым была написана пьеса «Касатка» (см. т. 9 наст. собр. соч.).

Значительной переработке повесть подверглась в 1921 году. Про этот период в автобиографии А. Толстой писал: «...начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мной до сих пор написано...»

В новой редакции повесть под заглавием «Петушок». с подзаголовком «Неделя в Туреневе» и с датировкой «1910—1921 гг.» вошла в сборник рассказов и повестей А. Толстого «Китайские тени», изд-во «Огоньки», Берлин, 1922. При переработке несколько изменилась обрисовка двух образов произведения. Писатель усилил черты распущенности и похотливости Николушки, что определило новое заглавие произведения, и сравнительно небольшими

штрихами придал характеру тетушки больше твердости. Последнее позволило изменить концовку повести — заключительную фразу Африкана Ильича, который в первом варианте заявлял: «Воротятся»,— выражая этим неверие в то, что тетушка взяла в руки племянника и его похождения закончились.

Для усиления динамичности развития сюжета автор снял такой эпизод, как приезд врача к больной тетушке, и некоторые отступления. Большую работу писатель провел над стилем повести.

Дальнейшие переиздания «Петушка» выходили с незначительной авторской правкой.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ЗЛОСЧАСТНЫЙ

Впервые под заглавием «Поэт злосчастный», с рисунком В Чехонина рассказ напечатан в журнале «Искорки» (приложение к газете «Копейка»), 1910, № 5—6, февраль

С некоторыми исправлениями, под заглавием «Злосчастный», датированный 1909 годом, рассказ вошел в III том Сочинений А. Толстого «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913.

В первом варианте рассказа барон Нусмюллер был склонен к поэтическому творчеству, что и определяло первоначальное заглавие. Конец рассказа был мистичен,— голубая карета исчезала с картины.

Кроме смысловой правки, автор внес в текст ряд стилистических исправлений.

А. Толстой не включал рассказ в послереволюционные собрания своих сочинений.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 2-е изд., 1917.

МЕЧТАТЕЛЬ

(Аггей Коровин)

Впервые напечатан под заглавием «Аггей Коровин», с иллюстрациями Б. М. Кустодиева в художественно-литературном ежемесячнике «Аполлон», 1910, № 8, май — июнь.

В 1922 году рассказ подвергся стилистической правке и сокращению. В новой редакции, под заглавием «Мечтатель (Аггей Коровин)», вошел в сборник А. Толстого «Утоли моя печали», изд-во «Огоньки», Берлин, 1922.

Тексты последующих публикаций рассказа почти не имеют разночтений с изданием 1922 года.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

МИШУКА НАЛЫМОВ

(Заволжье)

Впервые напечатана под заглавием «Заволжье», с посвящением: «Посвящаю моей жене» — в литературно-художественном альманахе «Шиповник», 1910, книга 12.

Рукопись повести, хранящаяся в архиве А. Толстого, не датирована. Время написания можно отнести к весне — лету 1910 года.

Сюжет повести и ее центральные образы навеяны семейными хрониками. По воспоминаниям М. Л. Тургеневой, одна из ее сестер — Ольга Леонтьевна — была влюблена в своего дальнего родственника Сергея Шишкова, «а он ухаживал, но не в серьез,— что ни город, то новое увлечение». В 1882 году Ольга Леонтьевна вышла замуж за старшего из братьев Шишковых — Николая, а через год умерла от скоротечной чахотки,— по семейным преданиям — от несчастной любви. Сергей и Николай Шишковы, которых А. Толстой знал уже в более поздний период, послужили ему прообразами Сергея и Никиты Репьевых.

Для образа Петра Леонтьевича Репьева А. Толстой взял некоторые факты биографии и отдельные черты характера своего деда — Леонтия Борисовича Тургенева. О нем Мария Леонтьевна пишет: «...отец мамину часть (земли.— *Ю. К.)* продал за 30 тыс., все деньги затратил на суконную фабрику, и эта фабрика сгорела не страхованная, отец никогда не страховал ничего...» (ЦГАЛИ).

Мягкий по характеру, мало практичный, Леонтий Борисович в 90-х годах разорился и жил некоторое время у своей сестры, а затем у родственницы — М. Ю. Шишковой в имении «Репьевка— Архангельское тож». Одну из фамильных фотографий, на которой снят Леонтий Борисович со своей сестрой, А. Толстой использовал для описания внешности брата и сестры Репьевых в начале второй главы повести.

Косвенные данные позволяют предположить, что, создавая образ Мишуки Налымова, писатель опирался на биографические данные и отдельные черты характера дальнего родственника Тургеневых — Михаила Михайловича Наумова — предводителя дворянства одного из уездов Симбирской губернии. М. Л. Тургенева пишет в своих воспоминаниях, что родня называла его Мишукой. В романе «Сестры» А. Толстой вскользь упоминает о симбирском суконном фабриканте, «которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку...» (Полн. собр. соч., т. 7, стр. 244). Мишуку Налымова за подобную выходку корит Ольга Леонтьевна.

По сравнению с «Петушком» («Неделей в Туреневе») в «Заволжье» значительно больше художественной выдумки. Писатель, взяв для сюжетной завязки эпизод семейной хроники, дал в повести иные родственные связи действующих лиц, усложнил ситуацию отношением Мишуки Налымова к Вере Ходанской. Для более яркой типизации персонажей А. Толстой прибавил к отдельным фактам из биографии прототипов эпизоды, взятые из жизни других людей. Так, например, в Африку ездил не Сергей Шишков, а его третий брат — Владимир. Сцены свадьбы Веры Ходанской и смерти Мишуки Налымова схожи с описанием в воспоминаниях М. Л. Тургеневой свадьбы матери А. Толстого и смерти деда Ю. С. Хованского.

Повестью «Заволжье» писатель открыл свою первую книгу прозы «Повести и рассказы», вышедшую в изд-ве «Шиповник» в конце 1910 года. Кроме «Заволжья», в сборник входили «Неделя в Туреневе», «Аггей Коровин», «Два друга» и «Сватовство». Прочитав эту книгу, М. Горький писал 20 ноября 1910 года М. М. Коцюбинскому: «Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого,— собранные в кучу его рассказы еще выигрывают. Обещает стать большим, первостатейным писателем, право же!» (М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, стр. 138). В это же время М. Горький писал в Болонью слушателям Высшей социал-демократической школы для рабочих: «Хотелось бы побеседовать с Вами о Толстом (Льве.— *Ю. К.)* и о целом ряде литературных явлений последнего времени,— меня утешает лишь то, что товарищ Луначарский может рассказать Вам об этом блестяще и шире, чем мог бы я. Обратите его внимание на нового Толстого, Алексея — писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства. К сожалению, я

не могу послать Вам книжку Толстого, у меня ее утащили,— Вам было бы приятно и полезно познакомиться с этой новой силой русской литературы» (т а м ж е, стр. 142).

Повесть «Заволжье» автор ставил на первое место во всех сборниках произведений, темой которых, по его определению, была «трагикомедия остатков погибшего класса», а персонажами «либеральные чудаки, вымирающие зубры, деклассированные господа, сохранившие от былого величия подусники и красный околыш».

Общим заглавием «Заволжье» А. Толстой в 1917 году объединил повести и рассказы I тома собрания своих сочинений.

В 1922 году повесть «Заволжье» подверглась значительной переработке. В новой редакции, под названием «Мишука Налымов», со сноской к заглавию: «Новый вариант повести «Заволжье», напечатана в альманахе «Струги», книга 1, изд-во «Манфред», Берлин, 1923.

Кроме большой стилистической правки, коснувшейся почти каждого абзаца, автор значительно развил характеристики действующих лиц. В новой редакции подчеркнуты черты самодурства Мишуки Налымова, называется его официальное положение предводителя дворянства и несколькими штрихами раскрываются политические воззрения этого крепостника.

Более глубокое психологическое раскрытие получил образ Веры Ходанской в сценах с Никитой, Сергеем и Мишукой.

Снял автор в процессе переработки некоторую гротескность в описании чудачеств Петра Леонтьевича и акцентированное подчеркивание глухоты Никиты.

В последующих публикациях повесть автором почти не правилась.

Печатается по тексту книги А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», изд-во «Советский писатель», М. 1944.

АКТРИСА

Впервые напечатан под заглавием «Два друга», с посвящением А. Комарову в «Альманахе для всех», издание «Новый журнал для всех», Петербург, 1910, № 1.

А. Н. Комаров — двоюродный брат А. Толстого. От него писатель услышал немало семейных хроник и разных историй из жизни помещиков Симбирской губернии.

О существовании прототипов «двух друзей» говорят следующие строчки в записной книжке А. Толстого: «Теплов толстый, болтун и враль, говорит в нос, поговорки: честное слово, ты прости меня, причем крестился. Языков худой, все молчит, англичанин; (У тебя жена есть? Есть... Где она? В Москве. Она тебе изменяет? Наверно).

Языков пошел весной на берег реки, у него болел живот.

Языков и Теплов — земские началь[ники]. Живут в гостинице в Мелекесе.

Одни в номере пьют» (А. Толстой — «Заметки и выписки 1909 г., июль». Архив Л. И. Толстой).

Дата на обложке записной книжки относится к первым заметкам, приведенная же запись сделана писателем, очевидно, летом 1910 года во время поездки к родственникам, жившим в имении Войкино под Мелекесом.

Рассказ «Два друга» автор включил в цикл повестей и рассказов «Заволжье».

В 1913 году по сюжету рассказа «Два друга» А. Толстой написал пьесу «Выстрел», получившую после переработки в 1917 году название «Кукушкины слезы» (см. т. 9 наст. собр. соч.). В пьесу вошли под другими именами основные персонажи рассказа. Языков в пьесе стал Хомутовым, Теплов — Яблоковым и Ольга Семеновна — Марьей Петровной Огневой. Лишь вместо действующего в первой редакции рассказа богатого помещика Колокольцева — грубого и циничного — в пьесе появился Бабин — «землевладелец из крестьян». Он нежно и глубоко любит Наташу — девушку из дворянской семьи — персонаж, отсутствующий в рассказе.

Для пьесы автор отверг трагическую развязку рассказа — уход Ольги Семеновны на содержание к Колокольцеву и самоубийство ее мужа. Большая любовь к жене дает Хомутову силы для морального возрождения.

В 1920 или 1921 году (в разных публикациях указаны разные даты) А. Толстой существенно переработал рассказ «Два друга» и назвал его «Актриса». В новой редакции рассказ вошел в книгу А. Толстого «Лунная сырость», Берлин, 1922.

При переработке писатель ввел отдельные эпизоды из пьесы «Кукушкины слезы» и заменил помещика Колокольцева купцом Бабиным, который ближе к Бабину из пьесы, чем Колокольцеву из первого варианта рассказа. От трагического финала писатель не отказался.

Переработка затронула композицию и развитие сюжета рассказа. Автор убрал многое, что уводило в сторону от основного действия. Так в первой редакции целая глава была посвящена описанию города. В ней подробно рассказывалось о доме купчихи, о попе Иване и его занятиях астрономией. Читатель знакомился с основными героями лишь во второй главе (всего их было семь). Приехавшую актрису Теплов устраивал у попа Ивана, затем у купчихи.

Для второго варианта А. Толстой написал ряд новых сцен, как, например, эпизоды с половым Алешкой, с письмом Ольги Семеновны, ее рассказ Бабину о своей жизни. Заново написан портрет Ольги Семеновны, данный в восприятии Бабина.

Стилистической правке была подвергнута та, сравнительно небольшая, часть текста, которая вошла из первого варианта во второй.

Последующие публикации рассказа автором почти не правились.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

СВАТОВСТВО

Впервые напечатан в литературно-художественном альманахе «Шиповник», 1910, книга 13.

«Сватовство» автор неизменно включал в цикл произведений «Заволжье», названный впоследствии «Под старыми липами».

Описанное в рассказе село Марьевка расположено в 25-ти верстах от хутора Сосновка, где прошло детство А. Толстого. Отчим писателя в письме 23 января 1899 года упоминает о встрече в Марьевке с земским начальником Павалой.

В ответ на критику рассказа «Сватовство» М. Л. Тургеневой А. Толстой писал ей: «Милая тетя, ты напрасно думаешь, что обидела меня критикой, ведь это только одно из мнений о «Сватовстве», а их было много. Сам я никак об этой вещи не думаю — написал, и слава богу; мне еще рано подводить под незыблемый свод мысли свои убеждения и взгляд на вещи, я только ищу, и в этом моя задача, а что я нашел — дело читателей и критики принять или отвергнуть — я не в об[иде]: не понравилось — выплюнь.

Искусство не имеет постоянного, постоянное для него смерть, искусство вечно течет, как река, то разливаясь спокойно, то прыгает через пороги. Относительно фактической стороны я прав;

нынешним летом мне рассказывал земский нач[альник], что они собирают недоимки» (Архив Л. И. Толстой).

В 1922 году рассказ подвергся стилистической и смысловой правке. Писатель, в частности в сцене пирушки у Кати, снял моменты, носившие натуралистический характер и намекавшие на противоестественные отношения брата с сестрой.

В новой редакции рассказ вошел в сборник А. Толстого «Утоли моя печали», изд-во «Огоньки», Берлин, 1922, и без изменений перепечатывался во всех последующих собраниях сочинений.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

КАЗАЦКИЙ ШТОС

Впервые с иллюстрациями А. Койранского напечатан в газете «Утро России», 1910, № 335, 25 декабря (рождественский номер).

Со сноской к заглавию — «Вариант» — напечатан в журнале «Новая Россия», 1911, № 4, 25 ноября. От первой редакции вариант отличается значительными смысловыми и стилистическими изменениями. Образ Потапа Образцова при переработке раскрывается более глубоко. По первопечатному тексту увлечение Наденькой не вызывало в нем временной вспышки честности. Он не рвал «верных» карт, не предлагал офицерам идти ва-банк на выигранные им деньги, лишь бы иметь возможность закончить игру. В первом тексте отсутствует фраза: «Скажи всем, что сегодня я был честный человек». Концовка там иная. Образцов, оставив банковать за себя прапорщика Бамбука, на тройке въезжает на каток за Наденькой. Бамбук проигрывает «на мелок» тридцать тысяч. Офицеры удивлены долгим отсутствием Потапа. «Но в это время быстро, не снимая шубы, вошел Потап; сдернув с дивана медвежью полость и крикнув: «Штос»,— накрыл ею стол и все записи; свечи упали, погаснув, и на обоях затанцевали тени рук и голов и красные пятна фейерверка.

Потап перекинул полость через плечо, поклонился и вышел, и за окном залились бубенцы».

Второй вариант рассказа с дальнейшей небольшой стилистической правкой вошел во II том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве» во все три издания. В послереволюционные собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту Сочинения «Книгоиздательства писателей в Москве», 3-е изд., 1917.

КАТЕНЬКА

(Из записок офицера)

Впервые напечатан с посвящением О. Судейкиной в «Альманахе для всех», издание «Нового журнала для всех», 1911, книга 2.

О. А. Судейкина — жена художника С. Г. Судейкина.

Авторская датировка — 1910 год. Для сцены приезда героя рассказа в крепость, перекликающейся отдельными деталями с аналогичным эпизодом в повести А. Пушкина «Капитанская дочка», А. Толстой использовал как материал записки П. С. Рунича (1747—1825) «Пугачевский бунт» («Русская старина», 1870, т. II, стр. 63). Начало VII главы этих записок пересказывает следующая заметка А. Толстого в записной книжке 1909 года:

«Из записок Рунича. 18 век. Рунич переодетый приезжает к воеводе в Шацк. В земляной крепости 4 старика подделывают лафет к пушке. В передней комнате воеводы спит слуга, держа в руках чулок, который вязал». Далее следует подробная запись диалога между Руничем и слугой и описание встречи с воеводой, в сравнительно небольшой переработке вошедшие в рассказ.

В послереволюционные собрания сочинений рассказ автором не включался.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 2-е изд., 1917.

РОДНЫЕ МЕСТА

Впервые напечатан в ежемесячнике «Новый журнал для всех», 1911, № 27, январь. Рукопись не сохранилась. Авторская датировка более поздней публикации рассказа — 1910 год.

Включая рассказ во II том своих «Повестей и рассказов», вышедших в изд-ве «Шиповник» в 1911—1912 годах, А. Толстой провел стилистическую правку и некоторые сокращения текста, а также изменил фамилию Коли. В первом варианте он был не Шавердов, а Девятов.

Семья Девятовых существовала в действительности. В. Р. Девятов был волостным писарем в селе Колокольцовка, расположенном, так же как и Утевка, недалеко от хутора Сосновка. А. Толстой в детстве дружил с одним из сыновей В. Р. Девятова — Николаем. По его устным воспоминаниям, В. Р. Девятов вскоре после появления в печати рассказа «Родные места» встре-

тился с А. Толстым и выговаривал ему за придуманную биографию. По-видимому, эта претензия вызвала перемену фамилии одного из персонажей рассказа.

При переработке был дописан финал рассказа, кончавшегося в первой публикации уходом Коли Девятова: «...собрав узелок, шел он по той же дороге, какой уехала Аннушка в город Самару, и, стуча палкой,— поглядывал на ясный месяц.

«Я теперь понял, какие они есть люди... Заморюсь, а дойду до Аннушки, а в село не вернусь никогда»,— думал Коля и крепко сжимал в кармане Аннушкин чулок, найденный на берегу».

Дальнейшей, но уже менее значительной правке рассказ подвергся в 1929 году при включении в Собрание сочинений А. Толстого (ГИЗ и изд-во «Недра»).

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПАСТУХ И МАРИНКА

Впервые напечатан во «Всеобщем журнале литературы, искусства, науки и общественной жизни», 1911, № 2, январь.

Общий колорит рассказа, пейзаж в нем навеяны впечатлениями жизни в Коктебеле, где А. Толстой провел лето 1909 года. При жизни автора рассказ больше не публиковался.

Печатается по тексту первой публикации.

МЕСТЬ

Впервые напечатан в петербургской газете «Речь», 1911, № 84, 27 марта. Авторская датировка — 1910 год.

Для собрания сочинений 1929 года (ГИЗ и изд-во «Недра») А. Толстой переработал рассказ: проделал значительную стилистическую правку, отказался от описания двух встреч князя с Сивачевым, которыми начиналась 2-я глава, снял эпизод с письмом, в котором Сивачев намеревался вернуть Назарову деньги, выигранные при состязании в стрельбе; изменил завязку рассказа,— в первом варианте скандал в ресторане на Крестовском происходил из-за того, что Сивачев прыгал на стол к обедавшим старикам.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

В ЛЕСУ

Впервые, с подзаголовком «Пасхальный рассказ», напечатан в журнале «Огонек», 1911, № 15, апрель.

Место действия рассказа знакомо автору по поездке на Урал летом 1905 года (см. примеч. к рассказу «Самородок»).

С небольшой стилистической правкой рассказ вошел во II том «Повестей и рассказов» А. Толстого изд-ва «Шиповник». В послереволюционные собрания сочинений рассказ автором не включался.

Печатается по тексту II тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 3-е изд., 1917.

ПРОГУЛКА

Впервые напечатан в газете «Речь», 1911, № 102, 16 апреля. В Собрание сочинений А. Толстого «Книгоиздательства писателей в Москве», первое издание, 1913, рассказ вошел в новой редакции Кроме стилистической правки, автор сделал значительные сокращения текста, что усилило динамичность развития сюжета. Второй редактуре рассказ подвергся при включении в собрание сочинений А. Толстого 1929 года (ГИЗ и изд-во «Недра»).

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

САМОРОДОК

Впервые напечатан в газете «Русское слово», 1910, № 89, 18 апреля.

Рассказ навеян впечатлениями от поездки на Урал летом 1905 года. А. Толстой больше месяца охотился и вел разведки золота, живя на заимке около озера Еланчик, в нескольких верстах от станицы Кундравинской.

В дневнике этого периода (хранится в архиве писателя в Институте мировой литературы им. А. М. Горького) часто упоминается Лопыгин — один из рабочих-золотоискателей.

Вскоре после возвращения с Урала А. Толстой написал рассказ без заглавия (Архив А. Н. Толстого), который можно считать черновым наброском к рассказу «Самородок». Основной завязки сюжета — находки самородка — в этом наброске еще нет, отсутствует рассказ о золотом долочке и сцена гадания. Расска-

зывается о золотоискателе Лопыгине, его ночном приключении у казачки, увиденных им ворах. Все это близко к дневниковым записям. Позднее А. Толстой вернулся к этому материалу, организовал его единым сюжетом и написал рассказ «Золотой долок» (Архив А. Н. Толстого), близкий по тексту к окончательной редакции, названной «Самородок».

В прижизненные собрания сочинений А. Толстого рассказ не включался.

Печатается по тексту первой публикации.

ЭШЕР

Впервые под названием «Проклятие» напечатан в петербургской газете «Речь», 1911, № 130, 14 мая. Рассказ написан по впечатлениям поездки А. Толстого в апреле 1911 года на Кавказ (см. примеч. к повести «Неверный шаг»). В дневнике писателя этого периода есть запись: «Абхазский князь Саджая или Анчабадзе, княжна Эшер, князь Джето».

«(Княжна топится в круглом голубом озере). Селение — Цебельда, Гукурфа, Эшеры (подчеркнуто Толстым.— *Ю. К.).*

За Гудаутом — Лыхны — селение, где стоит многотысячелетний дуб, под ним собирались абхазцы в старые времена.

Граница Абхазии и Мингрелии Самурзакань.

Абхазский бедный князь, нанимает батрака, сеет кукурузу, сам же охотится, сын его ободранный ходит из духана в духан с копчиком на руке. Абхазцы целуют ему полу.

Когда мингрелец (или абхазец) в трауре — отпускает волосы и бороду.

Едят кукурузу — мамалыгу.

Женщины у абхазцев разводят шелковичных червей, не работают, только ткут, прядут и вышивают. Любят швейную машинку.

Женщины носят шаровары, юбку, разрезанную спереди и сзади, на голове черный платочек. Любят все черное. Духанщики все мингрельцы. Мингрельцы православные, абхазцы же прав[ославные] и магом[етане].

Если абхазец честный, он спит вместе со скотиной, если вор — скотина его гуляет» (Дневник 1911 года).

В Собрание сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1913, рассказ вошел в новой редакции под заглавием «Эшер». Кроме значительной стилистической правки, проведены

некоторые сокращения текста, носящие смысловой характер. В первой публикации Алек с товарищем во время подъема в горы вели политический спор.

При переработке изменена сцена пленения Джеты и конец рассказа. В первой публикации урядник захватывал Джету с двумя солдатами, почти без борьбы. Эшер издали следила, как вели Джету. Увидев его гибель, она прыгала за ним в пропасть. Урядник оставался ненаказанным за свое коварство.

Включая рассказ в собрание сочинений 1929 года (ГИЗ и изд-во «Недра»), А. Толстой вторично отредактировал его. Снята картина разгрома, который учинил в духане загулявший урядник. Вычеркнута песня Эшер, ожидающей Джету:

Для того глаза темны,
Чтобы лучше видеть сны.
Для того и алый рот,
Чтобы крикнуть у ворот:
«Жду, скачи скорее».
И ступни мои легки,
Чтоб домчаться до реки
Да носить шальвары
Все пою; а ты нейдешь,
Отточу мой острый нож,
Нож мой из Байдары.

Для собрания сочинений 1935 года рассказ снова подвергся, на этот раз незначительной, правке.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

НЕВЕРНЫЙ ШАГ
(Повесть о совестливом мужике)

Первая известная публикация — во II томе «Повестей и рассказов» А. Толстого, изд-ва «Шиповник», 1912. Авторская датировка — «Париж, 28 июля 1911 г.»

Материалом для повести послужили впечатления, полученные писателем во время поездки на Черноморское побережье Кавказа весной 1911 года. А. Толстой с издателем «Шиповника» С. Копельманом ездил к родственнику его жены Б. Беклемишеву, владевшему в Абхазии под Сухуми небольшим имением.

16 апреля А. Толстой записал в дневнике: «Беклемишев — худой, сутулый и рыжий, с большими голубыми глазами, никогда не чешется, бреется раз в месяц, моется не всегда. Сегодня льет

дождь, море грязное, померзлые пальмы еще больше поникли. Беклем[ишев] сидит у окошка, покрикивает на собак, собирается сечь гусыню, которая не сидит на яйцах. Читает по ночам запоем, проглатывая по книжке в ночь, причем не знает ни автора, ни названия. Когда поздно поутру тетка приносит ему стакан чаю, он курит и опять читает. В комнате пахнет бог знает чем — кожами, порохом, потом, окурками и грязью. На столах беспорядок, в котором Бек[лемишев] один разбирается. Тут же ящик с орехами и яблоками, большая кружка с водой; повсюду «реликвии» охоты. Книжки кипами набросаны повсюду. На кровати грязные простыни сбиты. Когда, наконец, он встает, то сразу кричит «исть». Тетка добродушно ворчит, и в столовой у нее шипят уже две керосинки.

Тетка, видя в нас людей интеллигентных, с утра до вечера говорит с нами не переставая: о школах, о Кони (терпеть не может: фигляр), о Сологубе (старый развратник), о китайской войне, современной молодежи — интеллигентных тружениках (это ее сфера), о сухумских дамах, которые ищут всегда кавалера, который кормил бы их в ресторане «до расстройства желудка», о Толстом (кумир), о деторождении (отрицает); все время ходит — сухонькая и черная, курит папироски, смеясь закрывает рот и словно воркует; почти ничего не ест. Беклемишев дразнит ее: «оригинальная женщина», на что она: «что это, Борис, полно тебе глупости молоть» или «право, Борис, у тебя одна гниль в голове» или «ну, он еще совсем глупый». Тогда Борис «казнит ее», т. е. схватывает на руки и вертит. Этого она очень боится.

Она читает все, даже словари, видела очень многих. Борис дразнит ее «Афонька Проклятый» (А. Толстой, Дневник 1911 г. Архив Л. И. Толстой).

Б. Беклемишев и его тетка послужили прообразами героев рассказа.

Другая запись того же времени, озаглавленная «Отец Андрей — пустынник в великом постриге», раскрывает источник, навеявший писателю центральный образ повести.

«О. Андрей ушел в горы на Большой хребет. Ушел от великого распутства. О. настоятель на духу отдул его палкой за баловство с богомолкой. На хребте он посеял картошку, построил шалаш. Около росли груши, когда-то посаженные черкесами. Приходили медведь и кабаны. Медведь тряс груши, и кабаны их жрали, медведь очень сердился. Однажды ночью пришел тигр из Персии. О. Андрей залез в шалаш; ноги наружи, думал, что,

если тигр начнет жрать ноги, успеет он отходные молитвы прочесть; монах со страху «трусился». Тигр поревел и к утру ушел. О. Андрей однажды пошел на хребет. Налетела гроза. Он хотел укрыться в пещеру. Только сунулся в темную дыру, оттуда фыркнуло, большое, будто копна, другой и третий... Видит о. Андрей — голова с рогами и бородой. «Черт»,— подумал он и побежал. Потом одумался и стал подходить — из пещеры вышли зубры. Видел о. Андрей в лесу салфетка постлана, сидит монах расстегнутый и держит двух баб» (цитированный выше дневник).

На этих же страницах дневника А. Толстой записал несколько наблюдений над поведением разных животных.

Эти записи, так же как запись об отце Андрее, сделаны скорее всего по рассказам Б. Беклемишева, охотника, хорошо знавшего повадки зверей и жизнь края.

В том же виде, в каком она публиковалась впервые, повесть включена во II том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», причем в третьем издании — 1917 год — все рассказы тома объединены общим заглавием «Неверный шаг».

В послереволюционные собрания сочинений автор не включал повесть.

Печатается по тексту II тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 3-е изд., 1917.

НОЧЬ В СТЕПИ

Впервые напечатан в газете «Речь», 1911, № 228, 21 августа.

С небольшой стилистической правкой вошел во II том «Повестей и рассказов» А. Толстого изд-ва «Шиповник», 1912, без изменений перепечатан в Собрании сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1913.

Печатается по тексту II тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 3-е изд., 1917.

ХАРИТОНОВСКОЕ ЗОЛОТО

Авторская датировка написания — «Петербург, декабрь 1911 г.» Впервые рассказ напечатан в газете, название которой, а также дата опубликования не установлены. При жизни писателя рассказ не перепечатывался. В настоящем издании текст

приводится по хранящейся в архиве А. Толстого газетной вырезке с небольшой авторской правкой.

Легенды о доме Харитонова в Екатеринбурге А. Толстой, по-видимому, слышал во время своей поездки по Уралу в 1905 году. Этот дом описан в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка — «Приваловские миллионы».

ТЕРЕНТИЙ ГЕНЕРАЛОВ

Впервые напечатан с подзаголовком «Святочный рассказ», с иллюстрациями С. В. Животовского в журнале «Огонек», 1911, № 52, 25 декабря.

В записной книжке А. Толстого за 1909—1910 годы перекликается с рассказом следующая запись:

«Верхотурье. Федот.

Пескарь рыба нежная, нужно уметь его съесть. Так говорил Федот (50 л.). Усы, брит, барашковая шапка, кривые ноги. слесарь.

Удил рыбу, ловил пескаря и на диво толпе, хлопнув чарку водки, закусывал живым пескарем.

Когда пил запоем, брал с собой для компании собачку от соседей.

Однажды, рассказывал, еду это я на лодке, позади блесна тянется, вдруг меня сдернуло с лодки в воду, я поплыл стоймя, вылез на берег, потянул за лесу,— а на конце русалка — очень я ей понравился.

Надевал кашемировую рубаху, брал гармонь и шел разгуляться с девками — это когда деньги были.

Происхождения Федот дворянского, не кончил гимназию. В Верхотурье приехал 20 лет ссыльным (остальное узнать)...»

Далее идет запись о том, как Федот чинил часы у генеральши,— эпизод, не нашедший отражения в рассказе.

С небольшими стилистическими исправлениями рассказ «Терентий Генералов» печатался в дореволюционных собраниях сочинений А. Толстого.

В 1923 году на аналогичный сюжет, но перенесенный в послереволюционную обстановку, А. Толстой написал рассказ «На рыбной ловле», называвшийся в последующих редакциях «Глухое место» и «Гидра».

В 1923 году писатель предполагал на ту же тему написать гротескно-бытовую фантастическую комедию, но этот замысел не был осуществлен.

Печатается по тексту II тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 3-е изд., 1917.

ЧУДАКИ

(Роман)

Роман в первом своем варианте назывался «Две жизни» и состоял из двух частей. Впервые напечатан в литературно-художественном альманахе «Шиповник», книги 14 и 15, С-П. 1911. В автобиографии 1916 года А. Толстой вспоминал: «Летом 1910 г. я пишу роман-хронику «Две жизни».

«Две жизни» — первый роман молодого писателя. В основу сюжета романа и образов большинства его героев положены семейные хроники Тургеневых. Дед А. Толстого Л. Б. Тургенев был женат на дочери генерала от кавалерии А. Ф. Боговут. Рано овдовев, Боговут снова женился. Его вторая жена была,— как пишет в своих воспоминаниях М. Л. Тургенева,— «Оригинальная особа. Красива собой в молодости — влюблена в деда до безумия, ревнива невероятно — даже ревновала к покойной жене и говаривала, когда уже похоронила деда, что он теперь с Мари, а не с ней. Во всех походах деда она участвовала, ездила всегда верхом за дедом, боясь его увлечений» (ЦГАЛИ).

У Боговута было под Бердичевом имение Скрегеловка.

По-видимому, по рассказам М. Л. Тургеневой А. Толстой сделал следующие заметки в записную книжку 1909—1910 годов: «Бабушка ищет клады. Начальник над работами Афанасий, плут и балагур, является каждый день с отчетами, говорит, что «гудит». Чтобы взять клад, нужно зарезать 12 неторгованных петухов. Бабушка сама едет с племянницей в карете на базар. Мужики, зная, ломят цену. Карета нагружается. Петухи разлетаются.

Бабушка любит продавать и покупать. Еврей говорит, что продается имение. Едет ночью лесом, держа в руках пистолет. Ночуют в лесу. Зять рассказывает истории про звезды, читает стихи.

После смерти деда едет она в Петерб[ург]. Знакомится с Ватбул(? — Ю. К.), та сводит ее с актером, который, притво-

ряясь, что влюблен в 75 лет[нюю] старуху, возит ее по ресторанам. Старуха умирает, и ее обкрадывают. Даже фамильный образ

Ревновала к мужу внучек. Устраивала сцены с битьем посуды. Тряслась голова в чепце, мазалась, кокетничала.

Мужу ее в день смерти матери явился ея дух, пролетев сразу по всей анфиладе и потушив свечи.

Во время рытья кладов нашли Орла, принесли ворону.

Афанасий плутовал, его прогнали, взяли немца, но немец не мог врать интересно и был скучен, говоря правду. Прогнав его, взяли опять Афанасия. Когда Афанасий врал, дедушка убирал его с бабушкиных глаз и накл[адывал] по шее» (А. Толстой, Записная книжка 1909—1910 гг., стр. 27—29).

В дневнике писателя есть и такая запись о генеральше: «Бабушка Боговут спала *в кораллах,* губы накрашены, старая; кровать двухспальная. Шелком не покрывалась, так как шелк разъединяет электричество. В спальне попугай.

Умерла в нужде, сидя в кресле.

За мужем в походы ездила верхом, даже беременная.

На 3 день родов поехала на бал следить за мужем, муж ее узнал по косе» (там же, стр. 33).

«Дедушка на морозе срывает повязку, показывает государыне рану.

Проигрывается в карты и посылает телеграмму жене: проиграл 70 тыс., стреляюсь.

Когда бабушка его донимала, ложился на кровать и стонал, уверяя, что умирает...

Когда бабушка ревновала его к Варе, брал палку и колотил все что ни попало.

Бабушка претендовала на Норвежский престол. В родстве с королем Бернадотом.

Павлина Густафовна гадала на каждый будущий день о кладе. Входила она в сделку с Афанасием» (там же, стр. 39—41).

В образе Смолькова писатель воплотил некоторые черты мужа своей тетки Варвары Леонтьевны Тургеневой — Н. А. Комарова, чиновника министерства иностранных дел. Игрок, много увлекавшийся женщинами, он испортил жизнь жены и дочери. «Приданое Вари пошло Комарову, чтобы откупиться от француженки, с которой он жил»,— пишет М. Л. Тургенева (ЦГАЛИ). Многие сцены из жизни Смольковых, описанные в романе, яв-

ляются художественным претворением эпизодов из жизни Комаровых, рассказанных М. Л. Тургеневой. Н. А. Комарова А. Толстой знал лично и в письмах к родным всегда отзывался о нем резко отрицательно. В дневнике писателя есть такая запись: «Комаров, когда его любовница вечно устраивала сцены, раскрывал зонт и садился в угол, говоря, что идет дождь» (цитированная выше записная книжка, стр. 42).

Образ Сонечки — результат более сложного, чем остальные персонажи, синтеза биографических черт и характеров В. Л. Комаровой и ее дочери Кати. Судьбу Кати, тяжело заболевшей и перешедшей в католичество, повторяют последние страницы истории Сонечки во 2-й части романа «Две жизни», отброшенной впоследствии автором.

Во многом близок к деду писателя — Л. Б. Тургеневу — образ старого Репьева. Если в «Мишуке Налымове» для Петра Леонтьевича Репьева А. Толстой взял от своего деда главным образом мягкость и непрактичность в житейских делах, то для Ильи Леонтьевича Репьева в романе были отобраны и подчеркнуты своеобразные религиозно-философские взгляды Л. Б. Тургенева. Писатель знакомился с ними по семейной переписке. В конце 1910 года он сообщал М. Л. Тургеневой о письмах ее отца. «Теперь я целые дни занимаюсь разборкой и чтением его писем, нужных мне для второй части романа».

По записным книжкам А. Толстого, воспоминаниям М. Л. Тургеневой, письмам ее отца, а также сведениям из разной переписки Тургеневых о Боговутах и Комаровых видно, что для романа «Две жизни» писатель провел тщательный отбор известных ему фактов и деталей, отбросил многое второстепенное, не характерное и значительно обогатил материал семейной хроники творческой выдумкой. При этом в последующих переработках своего первого романа А. Толстой, стремясь к более яркой типизации образов в ряде случаев, все дальше уходил от их прототипов.

Роман несколько раз подвергался значительной авторской правке. Наиболее коренные переделки А. Толстой предпринял при первом переиздании романа в 1916 году.

В первом варианте 2-я часть «Двух жизней», состоявшая из 12-ти глав, начиналась с приезда молодых Смольковых в Репьевку. Четыре главы были посвящены описанию их жизни в Репьевке и закончившемуся драматически для Сони посещению Смольковыми родственников — отца и сына Образцовых.

В Образцовке происходила скандальная встреча с Мунькой Варвар и пьяная оргия помещиков.

Назревавшее у Сонечки сознание совершенной ошибки не приводило ее к решению остаться одной в Репьевке. Вместе с мужем она ехала в Париж. Уже там, измученная отношением Смолькова, она уходила от него к поэту Максу, но тот не мог ответить на ее чувство. Потеряв последнюю надежду на счастье, тяжело больная после попытки самоубийства, Сонечка решала уйти в католический монастырь.

Несколько иначе, чем в последующей редакции, ближе к своей записи о генеральше Боговут, А. Толстой рассказывал о судьбе Степаниды Ивановны. После смерти мужа она, охваченная безумной идеей отомстить ему за измену на том свете с первой женой, ехала сопровождаемая Репьевым в Петербург, где умирала в обстановке, аналогичной описанной впоследствии. Только вымогателями ее ценностей были не Афанасий и Павлина, а соседи по квартире, нанятой для нее Репьевым.

Во второй части первого варианта романа уделялось много места религиозным метаниям Репьева. Рассказывалось о его встрече с поэтом Максом при поездке в Гнилопяты, о хлопотах с генеральшей в Петербурге, о приходе к неверию и самосожжении в Репьевке.

Уже при первой переработке романа писатель отбросил почти всю 2-ю часть. Осталось из нее в измененном виде только сцена смерти генеральши.

Почти заново была написана последняя глава о Сонечке, оставшейся с отцом после разрыва с мужем. Значительные сокращения А. Толстой провел в первой части романа, достигнув более динамического развития сюжета, устранив некоторую композиционную рыхлость.

В новой редакции роман, названный «Земные сокровища» (старое название «Две жизни» указывалось в подзаголовке), напечатан в VIII томе Сочинений А. Толстого «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916.

В 1923—1924 годах роман был снова переработан и под заглавием «Чудаки» вошел в I том Сочинений А. Толстого изд-ва И. П. Ладыжникова, Берлин, 1924.

Почти не меняя общей композиционной структуры романа, писатель значительно развил характеристики отдельных персонажей. Более психологически обосновано отношение Сонечки к мужу и ее решение расстаться с ним. Характеристика Смоль-

кова углубляется введением почти целой страницы его пошлых рассуждений о кутежах в ресторанах Парижа. Значительно глубже раскрыт образ петербургского аристократа Ртищева. Изменилась концовка романа, в которой зазвучала оптимистическая устремленность героини к радостям жизни.

В 1925 году автор снова сделал ряд исправлений в тексте. Они сводятся главным образом к устранению оставшихся мотивов мистики и богоискательства у Сонечки и Репьева. Так, например, был снят сон Репьева, как бы предвещавший смерть генерала.

Последнюю переработку «Чудаков», в основном стилистического характера, А. Толстой предпринял в 1929 году, готовя роман для издания во II томе собрания своих сочинений (ГИЗ и изд-во «Недра»).

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Николаевич
Толстой

Собр. сочинений, т. 1

Редактор *Л. Красноглядова*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *В. Брагина*
и *Л. Коншина*

*

Подписано к печати с матриц 5/VI 1958 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂.—19,63 печ. л. 32,19 усл. печ. л. 29,77 уч.-изд. л. + 2 вкл. = 29,87 л. Заказ № 1929. Тираж 675 000 (450 001—675 000). Цена 12 р. 50 к.

Гослитиздат.
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Отпечатано в типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Управления полиграфической промышленности Ленинградского Совета народного хозяйства, Ленинград, Гатчинская, 26, с матриц Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Московского городского Совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

1